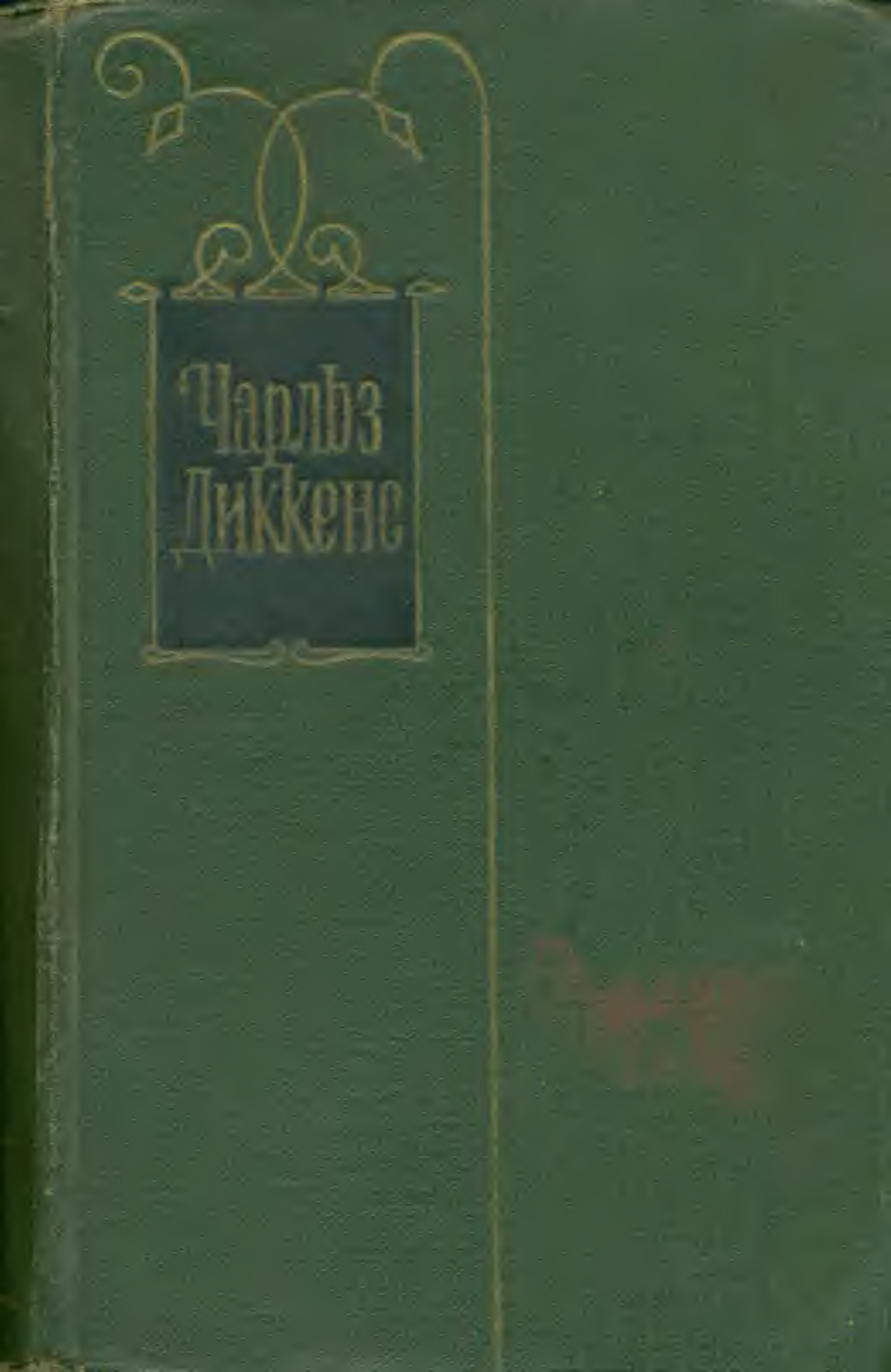

Чарльз
Диккенс

ЧАРЛЬЗ
ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

Под общей редакцией

А. А. АНИКСТА, В. В. ИВАШЕВОЙ,
ЕВГЕНИЯ ЛАННА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1957

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ОЧЕРКИ БОЗА

МАДФОГСКИЕ ЗАПИСКИ

Перевод с английского
под редакцией
М. ЛОРИЕ и В. ТОПЕР

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1957

CHARLES DICKENS

SKETCHES by BOZ

THE MUDFOG PAPERS

1833—1838

Иллюстрации
ДЖОРДЖА КРУКШЕНКА



ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

1

В декабре 1833 года в одном из лондонских журналов «Monthly Magazine» появился рассказ «Обед на Поплар-Уок». Редакция не рискнула поставить под ним подпись: автор печатался впервые и никому не был известен. Как его встретит читатель журнала, осторожному редактору Холланду было неясно. Так или иначе, журнал рисковал немногим — новичкам он не имел обыкновения платить гонорары... Но рассказ обратил на себя внимание и проложил путь целой серии других, под которыми вскоре стала появляться подпись «Боз»[1] и которые известны теперь миллионам читателей как «Очерки Боза». Так начинался творческий путь писателя, чье имя дорого сейчас всему миру.

Когда Диккенс добился — не без трудностей — опубликования своего первого рассказа, ему шел всего двадцать второй год. Несмотря на свою молодость, он был хорошо известен в кулуарах парламента как блестящий стенограф и способный репортер и успел уже пройти нелегкую жизненную школу. Еще с детства он испытал всю горечь нужды, социального неравенства и жестокой несправедливости современной ему

[1] «Боз» — псевдоним молодого Диккенса, шутливое прозвище, данное в детстве его брату. Писателя часто называли так даже после того, как он начал подписывать свои произведения настоящим именем.

общественной системы, и это во многом определило демократизм его убеждений и симпатий.

Детство и ранняя юность Диккенса — сына мелкого служащего, всю жизнь безуспешно пытавшегося «выйти в люди»,— протекали в беднейших кварталах Лондона и даже в долговой тюрьме, в которую попала вся семья после неудачных попыток Диккенса-старшего выбиться из нужды и перейти в ряды «респектабельных» — то есть обеспеченных — представителей «среднего класса».

Еще в раннем детстве будущему великому писателю Англии пришлось познакомиться с кричащими контрастами крупнейшего города тогдашнего капиталистического мира, испытать на себе всю тяжесть и все убожество жизни «восточной стороны» Лондона — Лондона обездоленных. Он мечтал учиться, но положение семьи было таково, что ему и думать не приходилось о систематическом образовании. Шестнадцати лет Диккенс, получив недолгий, но тяжкий опыт работы подручного на небольшом предприятии, производившем ваксу, начал самостоятельную трудовую жизнь сначала в качестве писца, а потом клерка в конторе адвоката. Позднее он стал стенографом, потом репортером палаты общин. Отнюдь не уверенный еще в своем даровании, он решил испытать силы на поприще художественной литературы. Один за другим пишет Диккенс небольшие очерки из жизни Лондона, которые он потом объединил и издал под названием «Очерки Боза». Успех был огромный. В 1836 году, когда автору «Очерков» было предложено выступить литературным комментатором юмористических рисунков знаменитого карикатуриста Сеймура, он отказался от этого и вскоре подчинил художника своей творческой воле. Так возникли «Посмертные записки Пиквикского клуба», которые прославили не художника Сеймура, а того, кому хотели отвести скромную роль литературного комментатора рисунков. Уже к концу 1836 года Диккенс стал известен всей Англии и приобрел популярность в широчайших кругах английских читателей. После огромного успеха «Посмертных записок Пиквикского клуба» слава его с каждым годом росла. На протяжении всей жизни Диккенс оставался в Англии самым любимым писателем.

В годы, когда начали появляться первые очерки и рассказы Диккенса, намечались значительные сдвиги в развитии английского общества. Это были первые годы после избирательной

реформы, закрепившей решительные изменения во всей социальной структуре страны. Избирательная реформа 1832 года, проведенная в результате социальной борьбы и длительного всенародного движения, жестоко обманула народные массы, не дав им ничего и закрепив лишь политическое господство новой буржуазии — владельцев фабрик и заводов, которые давно уже являлись фактическими хозяевами экономической жизни страны, но добивались политической власти, монополизированной землевладельцами.

«Остававшаяся еще в руках аристократии политическая власть, которую она направила против притязаний новой промышленной буржуазии, стала несовместимой с новыми экономическими интересами» [1],— писал Энгельс о положении в Англии накануне 1832 года. Парламентская реформа покончила с этим устаревшим порядком. Это было тем более легко, что интересы английской землевладельческой аристократии давно уже во многом совпадали с интересами буржуазии.

Англия становилась ведущей державой капиталистического мира. Внутри страны происходил бурный подъем промышленности. Захват колоний приобрел неслыханные масштабы. Буржуазная Англия богатела, быстро росло ее мировое могущество. Но развитие капитализма породило острейшие социальные противоречия, обнаружившиеся в Британии после реформы с особенной ясностью.

Промышленная революция, начавшаяся здесь в 60-х годах XVIII века и длившаяся вплоть до 30-х годов XIX века, создала не только новый класс промышленников, но и класс фабричных рабочих, численность которого быстро возрастала. Социальные контрасты обнажились в Англии больше, чем где бы то ни было на Западе, и самая развитая капиталистическая страна стала страной самой бесчеловечной эксплуатации, самой вопиющей пауперизации миллионов людей. К началу 30-х годов положение народных масс в Англии было весьма бедственным.

Характеризуя положение широчайших народных масс в Англии послереформенного периода и рисуя картину социальной жизни страны в этот период, Энгельс с горечью отмечал:

«Только потолкавшись несколько дней по главным улицам, с трудом пробиваясь сквозь толпы людей, бесконечные

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, М. 1948, стр. 99.

вереницы экипажей и повозок, только побывав в „трущобах" мирового города, начинаешь замечать, что лондонцам пришлось пожертвовать лучшими чертами своей человеческой природы, чтобы создать все те чудеса цивилизации, которыми полон их город... социальная война, война всех против всех провозглашена здесь открыто. Подобно любезному Штирнеру, каждый смотрит на другого только как на объект для использования; каждый эксплуатирует другого, и при этом получается, что более сильный попирает более слабого и что кучка сильных, т. е. капиталистов, присваивает себе все, а массе слабых, т. е. беднякам, едва-едва остается на жизнь... Везде варварское равнодушие, беспощадный эгоизм, с одной стороны, и неописуемая нищета — с другой, везде социальная война, дом каждого в осадном положении, везде взаимный грабеж под охраной закона, и все это делается с такой бесстыдной откровенностью, что приходишь в ужас от последствий нашего общественного строя»[1].

Годы, последовавшие за реформой, усугубили страдания народа и привели к нарастанию общественного конфликта. Положение масс неизбежно должно было вызвать их протест. Во второй половине 30-х годов конфликт между предпринимателями и рабочими привел к мощному пролетарскому движению: родился чартизм, имевший огромное влияние не только на английскую литературу, но и на всю умственную жизнь Англии XIX века.

С протестом против социальной несправедливости, царившей в Англии, с критикой страшных зол, порожденных современной общественной системой, выступили еще в начале столетия лучшие английские писатели во главе с Байроном и Шелли. После 1832 года вся передовая английская литература насыщена социальной темой и так или иначе выражает протест народа. Особенно властно протест этот звучит в поэзии чартизма. С огромной художественной силой выражен он в творчестве тех писателей-реалистов, которых Маркс в одной из своих статей 1854 года назвал «блестящей школой романистов в Англии»[2] — Диккенса и Теккерея, Ш. Бронте и Гаскел.

Разительные контрасты, столь характерные для Англии послереформенных лет, бедственное положение миллионных

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, М. 1955, т. 2, стр. 263—264.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Об искусстве, М.— Л. 1938, стр. 320.

масс, пустая говорильня в парламенте — все это было хорошо известно молодому автору «Очерков Боза» и «Посмертных записок Пиквикского клуба». Такие рассказы, как «Смерть пьяницы», «Черная вуаль», «Посещение Ньюгетской тюрьмы» и другие, вошедшие в том первых произведений Диккенса, ярко демонстрируют отношение писателя к страшной судьбе бедняка, а главы «Посмертных записок», посвященные парламентским выбором в Итенсуилле, суду над Пиквиком и изображению Флитской тюрьмы, показывают, насколько хорошо знакома была молодому писателю изнанка жизни новой буржуазной Англии.

Но до 1836 года Диккенс совершенно сознательно не углублялся в изображение темных сторон современного ему общества. В первые годы своей деятельности он весело и добродушно смеется над тем, что смешно, не задерживаясь на мрачном и трагическом.

«Есть темные тени на земле, но тем ярче кажется свет,— пишет Диккенс в одной из заключительных глав повести о приключениях забавных чудаков из псевдоученого клуба, основанного мистером Пиквиком,— некоторые люди, подобно летучим мышам или совам, лучше видят в темноте, чем при свете. Мы, не наделенные таким органом зрения, предпочитаем бросить последний прощальный взгляд на призрачных товарищей многих часов одиночества в тот момент, когда на них падает яркий солнечный свет».

Эти строки, написанные в 1836 году, относятся в равной мере как к комической эпопее, посвященной приключениям Пиквика и пиквикистов, так и к первым очеркам молодого Диккенса, написанным в предыдущие годы. Мир, который рисует Диккенс в первые годы творчества, существует еще по законам оптимистической философии автора. В нем есть конфликты, которые он безусловно видел в действительности, но эти конфликты стираются из памяти читателя в целом потоке неотразимо смешных положений, сцен и эпизодов. Диккенс еще не хочет задерживать внимания на теневых сторонах жизни. Говоря о них, он еще не пытается осмыслить причины возникновения и существования подобных явлений. Социальное неравенство, угнетение, несправедливость не обходятся молодым художником, принимавшим близко к сердцу страдания народа, но они не являются в те годы основным предметом его изображения.

В первых очерках Диккенса есть некоторые критические мотивы и интонации. Есть они и в «Записках Пиквикского клуба», хотя здесь они едва ощутимы. Но неприглядная английская действительность 30-х годов в первых произведениях начинавшего свой творческий путь писателя смягчалась комедийной трактовкой образов, веселым добродушным юмором.

Большинство рассказов и очерков Диккенса 1833—1835 годов представляют собой зарисовки быта различных слоев лондонского мещанства, различных представителей той среды, которую близко знал молодой автор. Пронизанные юмором, сверкающие остроумием, лукавой, хотя и добродушной шуткой, они выдержаны в манере карикатуриста, и Диккенс еще не пытается отступать от некоторого схематизма в изображении типического. Хотя «Очерки Боза» в своей совокупности дают реалистическую картину Лондона в различных разрезах, но ни в них, ни в «Записках Пиквикского клуба» у автора нет еще стремления нарисовать полную картину общественных отношений своего времени, всесторонне раскрыть многоликую и противоречивую жизнь современной ему Англии.

Впоследствии Диккенс создал много книг, более значительных по силе реалистического обобщения, чем его первые рассказы и «Пиквикский клуб», книг, отражающих жизнь Англии с большей полнотой. Но и самые первые произведения писателя, проникнутые благодушным юмором и светлым оптимизмом, говорят о силе его таланта и большом гуманизме.

Обстановка, сложившаяся в Англии в ту пору, когда молодой Диккенс уверенно и энергично прокладывал себе путь в литературу, социальные бои, отдаленные раскаты которых все явственней доносились до молодого автора, изменили не только тематику, но и самую интонацию тех книг, которые были написаны им в последующие годы.

1837 год ознаменовался обращением чартистов в парламент с петицией — тысячи рабочих требовали всеобщего избирательного права, которое не обеспечила реформа 1832 года. Общественные противоречия обострялись с каждым днем. В мае 1838 года создается Большой Северный Союз, который призывает к вооруженной борьбе с правительством, отвергшим хартию. Начинается бурный период в истории освободительного движения на родине Диккенса. 1838 год — год массовых демонстраций в промышленных городах, ночных

митингов, на которых чартистские лидеры призывают рабочих бороться за свои права и за свое освобождение. Доведенные до отчаяния нищетой и голодом, рабочие жгли дома фабрикантов и лавки торговцев, в Бирмингеме и других промышленных городах вспыхивали восстания. Британское правительство ответило репрессиями, заставившими рабочих вспомнить дни массовой расправы на Питерфилде в Манчестере (1819), получившей многозначительное название «Питерлоо».

Молодой Диккенс, ставший после выхода в свет «Записок Пиквикского клуба» знаменитым писателем, не забыл о тех страданиях простых людей, которые и сам испытал еще в детстве. Не забывал он о них и в последующие годы, когда приобрел полную материальную обеспеченность. «Сердце поэта и в то время, когда он был почетным гостем министров и находился в тесной дружбе со всеми знаменитостями Англии, оставалось всегда с бедными и несчастными, из среды которых он с поразительной духовной и жизненной энергией выбился на дорогу ослепительной славы» [1],— отметил Ф. Меринг. Полный сочувствия к народу и возмущения против тех, кто эксплуатировал детей и превращал взрослых людей в бесправных рабов, Диккенс не мог остаться равнодушным к тому, что происходило на его глазах. Закон о бедных и учреждение работных домов, этих ненавистных трудящимся «бастилий для бедных», толкнули его на создание первых социальных романов. Впоследствии всякая несправедливость и жестокость, в какой бы форме они ни проявлялись, немедленно вызывали в нем решимость своим творчеством содействовать их устранению, высказать против них самый горячий протест.

Писатель, только что закончивший эпопею, повествующую о приключениях забавных чудаков, обращается к социальному роману.

Хотя веселый смех Диккенса-юмориста отнюдь не замолк в произведениях, написанных непосредственно после «Пиквика», однако смех этот начал приобретать обличительные интонации. Критические мотивы все больше и глубже проникают в ткань новых романов, задуманных и написанных после завершения «Записок». Социальная тема выдвигается в них на первый план. Диккенс пишет роман о работных домах и трущобах Лондона — «Приключения Оливера Твиста» (1837—1838) — и

---

[1] Ф. Меринг. Литературно-критические статьи, 1934, II, стр. 236

роман о чудовищных школах для бедных — «Жизнь и приключения Николаса Никльби» (1838—1839), в котором мимоходом набрасывает блестящий по силе типизации образ парламентария Грегсбюри.

Изображение современной жизни развертывается как в «Оливере Твисте», так и в «Николасе Никльби» вокруг истории одного героя. В первом романе — это маленький Твист, родившийся в работном доме и прошедший затем ряд тяжелых житейских испытаний; во втором — Николас, расправившийся с извергом Сквирсом, издевавшимся над вверенными ему для воспитания детьми бедняков, Николас, прокладывающий себе нелегкий путь к благосостоянию в мире лжи и корысти, который его окружает.

Сила первых социальных романов Диккенса отнюдь не в их сюжетах, обнаруживающих черты мелодраматизма и сентиментальности и в известной мере традиционных. Еще Белинский заметил по этому поводу: «Большая часть романов Диккенса основана на семейной тайне: брошенное на произвол судьбы дитя богатой и знатной фамилии преследуется родственниками, желающими незаконно воспользоваться его наследством. Завязка старая и избитая в английских романах» [1].

Но как бы традиционна ни была завязка фабулы этих первых романов Диккенса и как бы мало она ни определяла значение и ценность их взятых в целом, нельзя пройти мимо того, с какой теплотой нарисованы некоторые образы, вокруг которых строится сюжет.

Диккенс нашел исключительно теплые интонации, говоря о судьбе несчастного ребенка, родившегося в работном доме и с первых лет жизни разделившего суровую участь миллионов обездоленных, о несчастных жертвах «воспитательной» системы Сквирса.

Дети всегда глубоко волновали Диккенса как художника. В ряде романов, написанных им в последующие годы, писатель создал трогательные портреты детей, чаще всего терпящих всяческие лишения и преодолевающих непосильные для них моральные испытания.

Незабываемы образы забитого и отупевшего от побоев Смайка в «Николасе Никльби», маленькой Нелли в «Лавке древностей», Дэвида Копперфилда в одноименном романе. До

---

[1] В. Г. Белинский, Собр. М. 1948, , стр. 644.

глубины души потрясает читателя трагический образ Флоренс, ребенка, отвергнутого родным отцом (в «Домби и Сыне»), маленького оборвыша Джо, покрытого «доморощенными паразитами и доморощенной грязью». Эти портреты — лишь немногие из тех многочисленных детских образов, которые были созданы писателем на протяжении его творческого пути. Диккенс надеялся потрясти сердца, вызвать у читателя сочувствие и сострадание, заставить его задуматься над участью тысяч других таких же детей в стране и этим добиться улучшения их доли. Но, конечно, содержание первых романов не исчерпывалось этой темой.

К концу 30-х годов, то есть тогда, когда завершалась публикация «Николаса Никльби», Диккенс уже вполне сложился как художник. Особенности его творческого метода выявились совершенно отчетливо, и хотя в последующие годы, в процессе идейной эволюции писателя, метод его претерпевал значительные изменения, основы его сохранялись.

Художественный метод молодого Диккенса — в основе своей безусловно реалистический — сложен и противоречив; он отражал те противоречия в сознании писателя, которые выявились с первых лет его литературной деятельности и не были преодолены до конца ни на одном из последующих этапов развития художника.

Ключом к пониманию принципиальных основ метода (в частности, метода его в ранние годы творчества) и мировоззрения Диккенса, которое их определило, служит предисловие, написанное самим автором к первому книжному изданию «Оливера Твиста»[1]. Диккенс здесь заявляет о своей творческой платформе и прямо говорит о своем намерении не только правдиво изображать жизнь, но и обличать пороки современной общественной жизни.

Еще в предисловии к первому изданию «Очерков» (1836) Диккенс писал: «Задачей автора было дать картину быта и нравов такой, какая она есть в действительности». Обобщение жизненных явлений и создание типических образов — такова программа, намеченная Диккенсом уже в конце 30-х годов. Но наряду с задачей показать «суровую правду жизни»

---

[1] Романы Диккенса, как и всех его современников в Англии, первоначально публиковались небольшими ежемесячными выпусками и лишь после этого выходили отдельной книгой.

в этом программном предисловии ставилась и другая — чисто дидактическая — задача, которая объективно приходила в столкновение с реалистическим замыслом художника.

Идеалистическое толкование законов жизни, которую Диккенс намерен был реалистически изобразить, вытекало из философии молодого Диккенса, чрезвычайно прямолинейной в своих исходных принципах. Писатель был уверен в удовлетворительности мирового порядка. По его убеждению, «принцип Добра» неизменно в конечном счете побеждает «принцип Зла» в мире.

Реалистически живописать картину жизни, утверждая принципы своей философии, Диккенс без компромисса не мог. И это определило своеобразие и сложность его художественного метода.

Когда от бытовой юмористической повести, посвященной приключениям мистера Пиквика и ученых пиквикистов, Диккенс перешел к созданию социального романа, одна комедийная юмористическая трактовка образов не могла уже удовлетворить художника, остаться единственным способом раскрытия жизни. Писатель ощутил настоятельную потребность расширить рамки изображения действительности и, добиваясь большей полноты и глубины в описании социальных явлений, применить новые художественные средства.

Будучи убежденным реалистом, Диккенс все же не мог отказаться от дидактической тенденции, на которой держалось обоснование его социального оптимизма.

Художественный метод молодого Диккенса представляет переплетение строго документированного реалистического описания, юмора и морализации. Комедийная (юмористическая) и строго документальная манера повествования чередуется с патетической манерой и сентиментальной дидактикой. Идейному замыслу романов подчинена и их композиция. Нравоучительная повесть развивается на широком социальном фоне. Как реалист, Диккенс проявляет всю силу своего дарования в обрисовке правдивых характеров и тех социальных обстоятельств, в которых эти характеры складываются. В ранних романах Диккенса яркие образы живых людей перемежаются с бедными портретами абстрактных носителей определенных моральных принципов,— острый юмор, яркое и точное реалистическое описание с патетическими сентиментальными сентенциями и морализаторскими рассуждениями.

В соответствии с философией молодого Диккенса персонажи его первых романов резко делятся на положительных и отрицательных («добрых» и «злых»). Прием постоянного сталкивания контрастных характеров, составляющий одну из особенностей ранних романов Диккенса, также вырастал из идейного замысла. И поскольку действительность представлялась молодому Диккенсу ареной борьбы добра и зла, люди воспринимались им как «добрые» и «злые» в зависимости от того, в какой мере они были человечны и как понимали свои общественные задачи.

В «Николасе Никльби» Диккенс, исходя из тех творческих принципов, которые сложились и оформились в «Оливере Твисте», применил, однако, некоторые новые приемы, новые художественные средства изображения, к ним он прибегал и в последующих произведениях,— он подчеркивал одну ведущую черту в характере своих персонажей, одну определяющую их деталь, названную в зарубежном литературоведении «лейтмотивом». Так возникают те заостренно «комплексные» образы Диккенса, без которых трудно представить себе его романы.

Различными вариациями одного и того же мотива Диккенс добивался сильнейшего эффекта, подчеркивая главное и ведущее. Во всех своих образах, построенных на принципе выделения одного мотива, Диккенс достигал огромной выпуклости изображения, величайшей убедительности и живости реалистического рисунка.

В те годы, когда Диккенс пишет «Оливера Твиста» и «Николаса Никльби», он уже не только один из крупнейших писателей своей страны, но писатель, приобретающий мировую известность. Его дом становится центром литературной жизни Лондона. Его произведения переводят на различные языки, его приглашают в различные страны.

В 1836 году Диккенс женится на Кэтрин Хогарт, дочери своего бывшего издателя. Дом его наполняется новой жизнью. Страстный любитель театра, Диккенс организует у себя драматические постановки, в которых участвуют и он сам и виднейшие представители тогдашнего литературного мира и искусства — писатели, художники, публицисты.

Не все, написанное Диккенсом в конце 30-х годов, равноценно. Отношение писателя к происходившим на его глазах

общественным процессам было противоречиво, этим объясняется некоторое отступление от реализма, которым отмечены такие его романы, как «Лавка древностей» (1840) и «Барнеби Радж» (1841—1842).

При всем своем искреннем народолюбии Диккенс не мог принять чартизм, не мог принять идею вооруженного восстания. Восстание в Ньюпорте в 1841 году, нарастание грозы народного движения заставили Диккенса задуматься, и писатель не сразу определил свою позицию в меняющейся с каждым днем обстановке. Он пишет «Лавку древностей», где противопоставляет жестокому миру реальной действительности мир вымышленной идиллии, пишет исторический роман «Барнеби Радж», в котором, пользуясь материалом прошлого, осуждает выступление народных масс и вооруженное восстание. В художественных образах он выражает свое отрицательное отношение к революционной борьбе.

Вопрос о том, как облегчить тяжелую долю трудового народа, как искоренить то социальное зло, которое он видел повсюду, не только продолжал стоять перед Диккенсом в 40-е годы, но волновал его значительно острее, чем в пору создания озаренной оптимизмом первой большой повести «Записки Пиквикского клуба». Но активность самого народа в разрешении коренной социальной проблемы, революционный путь ее разрешения Диккенс, как и большинство его современников, критических реалистов, не мог принять. Творчество Диккенса в 1840—1841 году обнаружило глубокую борьбу, происходившую в сознании большого и честного художника.

Еще только вступив в литературу, Диккенс начал говорить об общественной миссии писателя, о его долге наставлять и учить людей. Всякое представление о «чистом» искусстве, о художнике, свободном от задачи воздействия на свою аудиторию, было ему с первых и до последних дней его творчества полностью чуждо. Деятельность писателя он рассматривал как служение народу.

«Когда я писал, я служил своей стране,— писал Диккенс.— Я хотел разобраться в социальной несправедливости и помочь правильно решить общественные вопросы».

Но правдиво воспроизводить действительность, выполняя при этом миссию наставника, возможно было в сложной общественной обстановке начала 40-х годов только при одном условии: Диккенс почувствовал себя обязанным найти свое

место в происходящей борьбе, занять позицию, в правильности которой он считал бы себя уверенным.

В начале 1842 года Диккенс, неоднократно до того отклонявший приглашения поехать в США, внезапно согласился и, едва закончив последнюю главу «Барнеби Раджа», выехал за океан. Причины, побудившие его именно теперь решиться на поездку, перспектива которой его долго не привлекала, очевидны: Диккенс решается ехать в США в надежде на то, что «образцовое демократическое государство», «страна свободных», как ее называли тогдашние радикалы, политическую платформу которых разделял Диккенс, поможет ему многое понять и во всем окончательно разобраться.

Поездка в США жестоко разочаровала Диккенса. Это разочарование прозвучало и в письмах к друзьям, которые вскоре начали приходить из Америки, но особенно горько в насыщенных глубоким и справедливым гневом «Американских заметках» (1842), написанных и опубликованных писателем немедленно после его возвращения на родину.

«Страна свободы» предстала перед острым и наблюдательным глазом художника в далеко не привлекательном свете. Настоящее лицо Америки вовсе не походило на тот идеал, который рисовался Диккенсу на основании статей и работ современных ему буржуазных публицистов.

Вся система общественных отношений в Америке, весь уклад ее жизни опровергли мечту Диккенса о гуманном общественном строе, при котором социальная проблема решалась бы без борьбы и насилия, мечту о всеобщем братстве при нерушимости собственности.

Диккенс вернулся на родину, не преодолев терзавших его противоречий и не разрешив для себя те жизненно-важные вопросы, которые надеялся разрешить. Им овладела мучительная тревога, он начал искать выход в новых творческих выступлениях.

40-е годы XIX века названы были современниками «голодными сороковыми». Усилившаяся эксплуатация масс доводила их до отчаяния. Промышленный кризис 1842 года, крайне обостривший бедственное положение миллионов тружеников, стимулировал рост недовольства в стране. Волны нараставшего чартизма угрожали подмыть фундамент буржуазного господства. В 1842 году вспыхнула всеобщая стачка. Освободительное движение в стране достигло величайшего напряжения. Правящие

классы ответили на выступление народа неслыханными репрессиями, и всеобщая стачка была жестоко подавлена.

То, что писатель увидел у себя на родине по возвращении из Америки, не только не укладывалось в его прежние представления о плохом и хорошем, но и подрывало основы его оптимизма.

Обстановка «голодных сороковых» оказала сильное влияние на творчество Диккенса. Писатель приходит к мысли, что, как художник, он должен воздействовать на совесть людей, убедить представителей имущих классов в необходимости облегчить долю бедняка, внести справедливость в отношения между классами. Он еще продолжал считать, что ответственность как за народные бедствия, так и за те социальные бои, которые происходили на его глазах, несут отдельные представители класса собственников — «плохие люди», «эгоисты» в его терминологии. Диккенсу казалось, что эти отрицательные представители класса буржуазии, носители современной философии пользы и эгоизма (утилитаризм), породили порочные явления, которые он наблюдал в общественной жизни своей страны. Диккенс был еще далек от того, чтобы объявить порочной в своей основе всю систему буржуазного общества. Но он создал такие образы, которые объективно звучали обвинительным приговором целому классу.

Юмориста в творчестве Диккенса 40-х годов властно начал вытеснять сатирик. Если в первых книгах Диккенса сатирические мотивы были уже различимы, то веселая комедийная стихия в них все же превалировала. Романы и рассказы, написанные в 40-х годах — «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита» (1843), «Рождественские повести» (1843—1848), «Домби и Сын» (1848) — были созданы в новом эмоциональном ключе, с новой интонацией и настроенностью.

Впервые подлинным гневом звучит здесь голос художника-реалиста. По-новому звучит здесь и смех писателя. Но он по-прежнему мягок, когда писатель с большой теплотой и участием рисует маленького человека: душевное величие, подлинную человечность он находит и изображает только в таких людях, которых не коснулось тлетворное влияние звериного мира наживы.

Образы представителей английского «темного царства» Чезлвитов, Пекснифов и Скруджей, Файлеров и Кьютов, Домби и Каркеров, созданные Диккенсом в 40-х годах, сказали больше

того, что хотел сказать писатель, рассматривавший их как «эгоистов». Вне зависимости от того, как сам Диккенс понимал роль таких персонажей, как Домби или Пексниф, в английской общественной жизни, объективно созданные им образы раскрывали порочную сущность той общественной системы, которую сам великий художник-реалист не был готов осудить.

В «Мартине Чезлвите» — романе, написанном Диккенсом сразу после «Американских заметок»,— в едких сатирических тонах рисуется ханжество и лицемерие, прикрывающее алчность и своекорыстие, которые были типичны для исторически сложившегося характера английского буржуа. Там же с потрясающей убедительностью показывается другое типическое для буржуазного общества явление — связь погони за наживой с преступлением. Наконец, в американских главах романа, как и ранее в «Американских заметках», писатель еще раз подчеркивает в художественных образах самые типические общественные явления, которые он наблюдал в США. Эпизоды, обнажающие оборотную сторону «американского образа жизни», являются не только развитием и дополнением основной темы романа — это язвительный и злой памфлет, написанный гневным сатириком. Писатель тем самым еще раз разоблачал легенду об Америке как «стране свободных». Диккенс в «Мартине Чезлвите» нигде не утверждает открыто, что эгоизм — порождение капиталистического общества, однако образы типических представителей капиталистического мира, созданные им в романе, дополнили то, чего не сказал автор и что он до конца жизни не решался признать. Резкость его сатиры, глубина и острота обличения говорят о вступлении писателя в новый этап творчества.

«Придет час,— с горечью восклицает писатель,— и человек, как нельзя более уверенный в своей проницательности и прозорливости, человек, который похваляется своим презрением к другим людям и доказывает свою правоту, ссылаясь на нажитое золото и серебро, усердный поклонник мудрого правила «каждый за себя, а бог за всех» (— ну, разве это не высокая мудрость считать, что всевышний на небесах покровительствует корысти и эгоизму! —),— придет час, и человек этот узнает, что вся его мудрость — безумие идиота по сравнению с чистым и простым сердцем!»

В первые годы после возвращения из Америки Диккенс все чаще в кругу друзей высказывал глубокую озабоченность тем, что происходило вокруг него. Его друг и биограф Джон Фор-

стер отметил непривычную склонность писателя именно в этот период «серьезно ставить вопросы, мимо которых он прежде достаточно легко проходил».

Диккенса все больше, все острее волнует положение в стране, нищета народа, нечеловеческие условия труда миллионов людей. В середине 40-х годов социальные антагонизмы обострились до крайних пределов. Писатель понимал, что борьба могла кончиться революцией.

Сознание исключительной серьезности положения толкнуло Диккенса на замысел «Рождественских повестей». Праздник рождества всегда был связан в Англии с иллюзией примирения врагов, доброго взаимного понимания между людьми различных общественных состояний и положений, и Диккенс разделял эти иллюзии. Рождественский праздник был для него воплощением принципов, проповедью которых он рассчитывал добиться огромных результатов.

«Рождественские повести», задуманные Диккенсом, должны были выходить ежегодно в дни рождества и заключать проповедь, обращенную как к бедным, так и к богатым во имя улучшения участи бедняков и исправления богачей. Это был итог длительных раздумий и исканий, и писатель считал, что его замысел выполняет социальную миссию огромной важности.

Диккенс ошибочно видел в «рождественской проповеди» осуществление высшего гуманизма. Объективно он выступал с пропагандой теории классового мира. Система идей, которая положена в основу рассказов, достаточно очевидна: простейшая формула «рождественской философии» — достижение классового мира путем исправления одних и воспитания бодрости и терпения у других. Но значение «Рождественских повестей» отнюдь не исчерпывается этой проповедью.

«Рождественские повести» 1843—1848 годов (в особенности первые две из них) были сложным художественным сплавом, в котором соединялась тенденция обличительная с тенденцией морализаторской. Они построены по принципу прямого сочетания реалистического повествования и сказочной фантастики. Альтруистическая проповедь, которую произносит автор, а в особенности те моральные перерождения, которые он хочет показать, плохо укладывались в рамки какого-либо из реалистических жанров. И Диккенс обратился к жанру святочной

сказки, которая не только допускает мотивы исправлений и перерождений, но почти не мыслится без них.

В таких повестях, как «Рождественский гимн» или «Колокола», Диккенс-сатирик достигает огромного мастерства в изображении некоторых типичных явлений современной писателю жизни. Скряга Скрудж, предоставляющий работным домам позаботиться о бедных и упрекающий (в согласии с учением Мальтуса) родного племянника в том, что он, женившись, увеличит рождаемость в своей стране, на что не имеют права бедняки; Файлер и Кьют, сообщающие дочери бедняка законы Мальтуса, по которым нищие не имеют права порождать себе подобных,— могут быть причислены к тем образам художника-реалиста, в которых он достигает наибольшей глубины сатирического обобщения.

В 1848 году Диккенс завершил работу над большим романом «Торговый дом Домби и Сын». Идейный смысл этого романа раскрывается по мере того, как раскрываются характеры героев и развертывается действие.

Рисуя портрет Домби, Диккенс прибегает к излюбленному художественному средству построения комплексного образа — черта за чертой, деталь за деталью создает образ типичного коммерсанта, торгового короля Сити.

Бесчеловечности Домби и его управляющего Каркера — людей, посвятивших свою жизнь наживе,— Диккенс противопоставил душевное величие и подлинную человечность Флоренс и ее друзей из народа — «бедняков», «маленьких людей» Лондона. Это юноша Уолтер Гэй и его дядюшка Соломон Джилз, это друг Джилза — капитан в отставке Катль, это, наконец, семейство машиниста Тудля, сам машинист и его жена — кормилица Поля — миссис Ричардс. Домби уверен, что все на свете можно купить на деньги, но эти простые скромные труженики неподкупны, бескорыстны и прекрасны своими душевными качествами.

«Домби и Сын» — первый роман Диккенса, лишенный той оптимистической интонации, которая была так характерна для него в ранние годы творчества. В романе звучат мотивы, которые никогда прежде не звучали у Диккенса,— мотивы сомнения, смутной печали. Убежденность в конечной удовлетворительности всего существующего, в возможности увещеванием воздействовать на ход истории покидала Диккенса. И в то же время он не мог преодолеть в себе привычные пред-

ставления о незыблемости существующей системы общественных отношений.

Мотив неудовлетворенности и тревоги, повторяющийся в упоминаниях о непрерывном потоке воды, уносящем с собой все в своем неумолимом течении, настойчиво звучит на протяжении всей книги. В различных вариантах возникает в ней и мотив неумолимой смерти. Трагическое решение главной темы романа, связанной с раскрытием образа Домби, усиленное рядом дополнительных лирических мотивов и интонаций, делает «Домби и Сын» романом неразрешимых и неразрешенных конфликтов. Эмоциональная окраска всей образной системы романа говорит о кризисе, который назрел в сознании большого художника к концу 40-х годов.

Метод Диккенса в «Домби и Сыне» остался таким же, каким он был в романах 30-х годов. В нем по-прежнему соединяются различные художественные приемы. Однако юмор и комическая стихия оттесняются здесь на задний план, выступают в обрисовке второстепенных действующих лиц. Главное место в романе начинает занимать психологический анализ внутренних причин тех или других действий и переживаний героев. Реалистический портрет приобретает большую полноту; однолинейность изображения, некоторый схематизм, присущий комическим персонажам раннего Диккенса, исчезает. Тенденции, которые намечаются в «Домби и Сыне», получат дальнейшее развитие в романах 50-х годов.

Тщательней, чем когда-либо прежде, работает Диккенс над языком романа. «Домби и Сын» — одно из совершеннейших произведений Диккенса-реалиста.

Характерно, что Белинский, внимательно следивший за всем, что писал Диккенс, и давший его романам справедливую оценку, объявил роман «Домби и Сын» лучшим из всего созданного писателем до этого времени. «Читали ль вы «Домби и Сын»? — писал он П. В. Анненкову.— Если нет, спешите прочесть. Это чудо. Все, что написано до этого романа Диккенсом, кажется теперь бледно и слабо, как будто совсем другого писателя. Это что-то до того превосходное, что боюсь и говорить: у меня голова не на месте от этого романа» [1].

В феврале 1848 года во Франции вспыхнула революция. В первые дни после февральских событий, в период, когда,

[1] В. Г. Белинский. Письма. Спб. 1914, стр. 320—321.

по словам Маркса, царило «сантиментальное примирение противоположных классовых интересов» ...«фантазерское воспарение над классовой борьбой»[1], писатель целиком разделял настроения, характерные в то время для широких кругов буржуазно-демократической интеллигенции. Он охвачен иллюзиями всеобщего братства, восторженно приветствует революцию, произошедшую во Франции.

Но эти настроения не оказались у Диккенса ни длительными, ни стойкими. Когда революционный пожар охватил все страны европейского континента и Англия оказалась на пороге революционных событий, Диккенса смутил размах расширявшейся революционной борьбы.

Нет никакого сомнения в том, что Диккенс-гуманист не мог одобрить террор, которым английские господствующие классы пытались задушить чартизм весной 1848 года, однако он не нашел в себе силы осудить палачей рабочего класса. В те исторические дни, когда пролетариат выступил как самостоятельная сила против буржуазии, великий писатель не смог подняться над своими классовыми предрассудками и преодолеть владевшие им буржуазные представления.

После революционного 1848 года Диккенс выпустил новый роман — «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» (1850). Писатель здесь не касался больших общественных проблем. Этот роман, в большой мере автобиографический, отличался от всего созданного им в 40-е годы.

Но хотя Диккенс под воздействием событий революционных лет и отошел от проблематики социального романа, он отнюдь не утратил того народолюбия, которым дышало его творчество предыдущих лет. Теплота в описании простых людей (семья Пеготти), изображение душевного величия маленького человека в «Дэвиде Копперфилде» обеспечили этому замечательному роману успех у самого широкого читателя.

В 50-х годах, когда в силу исторических причин как в Англии, так и во всех странах Западной Европы наметилась тенденция к упадку критического реализма, Диккенс, напротив, поднялся до вершин своего реалистического и сатирического мастерства, создал произведения, которые по силе художественного воздействия не только не уступают таким

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. VIII, стр. 13.

произведениям, как «Мартин Чезлвит» и «Домби и Сын», но в некоторых отношениях (широта социальной картины, раскрытие общественных связей и т. д.) представляют даже шаг вперед в творческом развитии писателя. В условиях возраставшей реакционности буржуазного строя и буржуазной литературы Диккенс продолжал писать произведения, не только насыщенные социальным содержанием, но еще более обличительные, чем прежде. В 50-е годы Диккенс создает такие социальные полотна, как «Холодный дом» (1852), «Тяжелые времена» (1854) и «Крошка Доррит» (1856).

Демократизм Диккенса, постоянная забота его о судьбе народа объясняет позицию художника в те годы, когда в творчестве почти всех его современников критический реализм был на ущербе.

Романы, написанные Диккенсом в 50-х годах, заметно отличаются не только от его ранних романов, но даже от тех, в которых уже намечались серьезные сдвиги в художественной системе писателя, таких, как «Мартин Чезлвит» и «Домби и Сын». Картина жизни, выступающая с полотен этих романов, гораздо шире, значительней они и по своему общественному содержанию, и обличительная тенденция в них острее. Хотя Диккенс и продолжает создавать комедийные образы, по характеру своему не уступающие его ранним карикатурам (клерки Уивл и Гаппи или Тарвидроп в «Холодном доме»), однако юмор в больших социальных романах писателя 50-х годов решительно вытесняется сатирой. Сатира Диккенса, созревшая уже в «Мартине Чезлвите», развиваясь вширь, одновременно идет и вглубь. В таких романах, как «Холодный дом», «Тяжелые времена» и «Крошка Доррит», она принимает разнообразные формы, приобретает еще большую, чем прежде, художественную убедительность. Критическому изображению подверглись в них не только отдельные представители собственнического класса (как в «Мартине Чезлвите» или «Домби и Сыне»), но и общественные явления, воспринятые и показанные в их связи и взаимодействии.

Так, «Холодный дом» — сатира не на твердолобого аристократа Дэдлока или даму-патронессу, просвещающую светом евангелия обитателей тихоокеанских островов, а на общественные анахронизмы, поддерживаемые реакционным классом, и буржуазную филантропию, показанную в сопоставлении с нищетой и невежеством общественных низов большого ка-

питалистического города. «Тяжелые времена» не сатира на Гредграйнда или Баундерби — типичных представителей определенных слоев тогдашней буржуазии,— а сатирическое изображение всей практики промышленной буржуазии, ставшей фактическим хозяином капиталистической Англии. Наконец, «Крошка Доррит» не сатира на Мердлей и Спарклеров, а мощное сатирическое обличение коррупции и бюрократизма, царящих в английском государственном аппарате (Полипы и Министерство Околичностей), смыкания землевладельческой аристократии с финансовыми магнатами, управляющими всей общественной и государственной жизнью страны.

При всей сатирической остроте романов 50-х годов, при всем том, что в них наблюдается углубление критического реализма Диккенса, те же романы наиболее противоречивые из всех произведений великого писателя.

Вещи переставали укладываться в те простые и готовые схемы, за которые писатель еще недавно настойчиво держался. В мировоззрении Диккенса уже не было места прежней уверенности в закономерности конечной победы Добра и Справедливости над Злом.

Писателю-реалисту, который был свидетелем событий 10 апреля 1848 года в Англии и современником июньских дней во Франции, трудно было сохранить уверенность в конечной удовлетворительности всего существующего и возможности переделать мир путем «рождественской проповеди». Действительность перестала быть понятной и простой, какой она казалась автору «Записок Пиквикского клуба» и даже «Николаса Никльби».

В «Крошке Доррит» Диккенс прямо говорит о возможной катастрофе британского корабля, который со всех сторон облепили полипы. Он призывает британцев вовремя предотвратить крушение, не допустить, чтобы весь корабль пошел ко дну. Но каковы должны были быть меры спасения корабля Британии, Диккенс не знал или не хотел знать. Он так и не ответил на вопрос, который сам поставил в своем романе.

В романах 50-х годов Диккенс оставил открытым вопрос о возмездии Злу, о перспективах торжества Добра и Правды. Гуманные идеалы его опровергались жизнью, иллюзии, которые он себе создавал, рушились на его глазах.

Трагедия Диккенса заключалась в том, что, утратив наивный оптимизм, порожденный представлением о буржуазном

мире как о высшей ступени в развитии человечества, писатель не мог перейти к оптимизму, возникшему на другой основе: для этого ему не хватало глубокого понимания законов общественного развития. В связи с этим наряду с острым критицизмом в произведениях писателя появлялись мотивы грустной примиренности.

Крах «рождественских» идей Диккенса отразился на художественной системе романов 50-х годов, на их композиции и на характере раскрытия образов.

Диккенс еще решительнее, чем в «Домби и Сыне», отступил в этих романах от композиционной схемы, типичной для его ранних произведений. При большом внутреннем единстве все романы 50-х годов отличаются многообразием сюжетных линий, пестротой жанрового профиля. Это многообразие подсказывалось писателю самой жизнью. И «Холодный дом» и «Крошка Доррит» не только социальные романы, но и психологические и авантюрно-детективные. Один сюжетный стержень, развивающийся на широком социальном фоне (композиция, типичная для романов 30-х годов), сменяется сюжетом, распадающимся на несколько связанных между собой и переплетающихся линий или потоков.

Более того, в процессе работы над такими романами, как «Холодный дом» или «Крошка Доррит», Диккенс передвигал центр тяжести с одной сюжетной линии на другую, производил в процессе работы над книгой существенную перегруппировку сюжетных мотивов. Так, от социальной проблемы, выдвинутой на первый план в начале «Холодного дома» (темы Канцлерского суда), Диккенс постепенно переходит к теме семейной драмы в доме Дэдлоков и психологическому конфликту леди Дэдлок, с тем чтобы под конец романа сконцентрировать все свое внимание на авантюрно-детективных мотивах сюжета.

Романы 50-х годов начинаются как социальные и кончаются как семейно-психологические («Тяжелые времена») или авантюрно-фабульные («Холодный дом», «Крошка Доррит»).

Диккенс во всех романах 50-х годов продолжает проповедовать альтруизм и оптимизм, но уже мало верит в действенность своей проповеди. Этим объясняется нарастание тоскливых интонаций в его романах этого времени, неубедительность их счастливых концовок, плохо вяжущихся с развитием предыдущих событий. Благополучное окончание романов, которое отнюдь не противоречило философии молодого Диккенса, уже в

«Домби и Сыне» кажется неоправданным. Счастливые концовки в романах 50-х годов перестают убеждать читателя.

Сдвиги в сознании писателя отразились и на манере раскрытия им изображаемых характеров. Романы строятся на сочетании строго реалистических картин с заостренно-сатирическим гротескным изображением. В изображении тех персонажей, которые подвергаются наиболее острому сатирическому раскрытию, увеличиваются элементы шаржа, граничащего с гротеском (Крук в «Холодном доме», Гредграйнд и Баундерби в «Тяжелых временах», Полипы в «Крошке Доррит» и т. д.). Обращаясь к шаржу и гротеску, Диккенс расширял аллегорическое значение многих образов. Внешнее уродство образов подчеркивало их уродство внутреннее. Прием лейтмотивного раскрытия образов сохранился только в гротеске.

Глубже и настойчивей раскрывается внутренний мир многих героев романов, фиксируются все их душевные движения, оттенки настроений и переживаний (образ леди Дэдлок, Джарндиса, Эстер Саммерсон и т. п. в «Холодном доме», Рейчел в «Тяжелых временах»). Положительные герои Диккенса хотя и идеализированы, как прежде, но не являются в романах 50-х годов основными. Раунсуэл и Эстер в «Холодном доме», Сисси в «Тяжелых временах», Миглз в «Крошке Доррит» отнюдь не ведущие герои романов, как Николас Никльби или Мартин Чезлвит.

Социальные романы Диккенса 50-х годов — целая энциклопедия английской жизни.

Особое место не только в наследии Диккенса, но и в наследии всего английского реализма XIX века занимает роман «Тяжелые времена». Здесь на последней волне чартизма, поднявшейся в 1853—1854 годах, Диккенс впервые нарисовал картину борьбы двух основных классовых сил своего времени — промышленников и индустриального пролетариата. Хотя Диккенс продолжал и в своей публицистике и в других высказываниях отстаивать идею классового мира, однако в годы создания «Тяжелых времен» он впервые признал право рабочих на забастовки.

«Я не могу выдавать себя за человека,— писал Диккенс в 1856 году соредактору издававшегося им с 1850 года журнала «Домашнее чтение» Уиллсу,— придерживающегося того

мнения, что все забастовки, поднятые тем несчастным классом общества, которому с таким трудом удается мирным путем добиться, чтобы прислушивались к его голосу, обязательно преступны, потому что я этого не думаю... тогда невозможна никакая гражданская война, никакое восстание».

Обстановка в Англии во время и после Крымской войны — господство аристократической олигархии, пагубное для народа укрепление консерваторов, бедственное положение народных масс, которое несколько смягчилось, но отнюдь не было устранено в эпоху так называемого английского «процветания»,— все это оживило у писателя настроения 40-х годов, предчувствия тяжелых потрясений, все напоминало ему обстановку во Франции накануне буржуазной революции 1789—1794 годов, о чем он постоянно говорит в переписке с друзьями.

«Я считаю,— писал Диккенс в 1855 году известному политическому деятелю Лайарду,— что недовольство в стране тем страшнее, что оно тлеет, не вспыхивая пожаром. То, что происходит у нас, чрезвычайно напоминает мне настроения во Франции накануне первой революции и может привести к взрыву по любому, самому незначительному поводу».

Под влиянием этих мыслей Диккенс начал свой второй (и последний) исторический роман «Повесть о двух городах» (1859). Правящим классам, уверенным в прочности своего господства, Диккенс напоминал о бедствиях французского народа накануне революции 1789—1794 годов и о той страшной расплате, которая уже однажды постигла угнетателей. «Повесть о двух городах» должна была предостеречь английского читателя от возможности повторения того, что однажды уже испытало человечество. Насилию революции Диккенс здесь противопоставлял подвиг жертвенности (Картона) и идею непротивления злу.

Сила романа в сатирическом изображении старого режима, в создании потрясающих образов голодного, жестоко эксплуатируемого французского народа, в сатирических портретах представителей первых двух сословий и т. д. Но картина якобинского террора 1793 года рисовалась Диккенсом тенденциозно, она должна была заставить читателя содрогнуться.

«Повесть о двух городах» была последним романом самого плодотворного периода в творчестве великого реалиста и первым его романом, знаменующим начало нового, и последнего, творческого этапа. В романах 60-х годов — последнего десяти-

летия жизни и творчества Диккенса («Большие надежды» — 1861, «Наш общий друг» — 1864, «Тайна Эдвина Друда» — 1870) писатель еще обличает пороки буржуазного общества (мистер Подснеп в романе «Наш общий друг» — классический тип ограниченного, тупого буржуа, Веніринг в том же романе — образец аристократического чванства), по-прежнему противопоставляет буржуазному эгоизму и бессердечию добродетели и человечность честных тружеников (кузнец Гарджери в «Больших надеждах», «маленькие люди» в «Нашем общем друге»), однако острота сатиры и критицизм смягчаются, диапазон изображения значительно уже, чем в романах 40-х и 50-х годов.

Романы 60-х годов подчеркнуто фабульные. Хотя именно в них Диккенс достигает большего, чем когда-либо, мастерства в раскрытии психологического мира своих персонажей, основное внимание писателя сосредоточивается на построении сложной интриги, создании запутанного сюжета. В те же 60-е годы Диккенс пишет ряд рассказов, которые почти лишены социального содержания, обращается к детективной теме («На работе с инспектором Филдом», «Вниз по течению», «Пара перчаток», «Сыскная полиция»).

Лучшее из того, что создано великим реалистом, относится, бесспорно, к предшествующим годам его творческой деятельности. Однако и в романах 60-х годов, где социальная тема звучит глуше, Диккенс остается великим гуманистом.

Несмотря на то, что острота критики в этих романах снижается, они представляют несомненную ценность на фоне того упадка, которым характеризуется английская буржуазная литература эпохи «процветания».

Диккенс еще с 1850 года становится во главе литературно-общественного журнала («Домашнее чтение», переименовано в 1860 году в «Круглый год»), он уделяет много времени и внимания работе с литературной молодежью, редактированию материалов, поступавших на его заключение.

С конца 50-х годов Диккенс начал выступать с чтением отрывков из своих романов перед широкой публикой в различных городах Англии. Успех этих чтений был огромным. Диккенс совершил ряд поездок по родной стране, а в 1867 году вновь выехал в Америку, где также читал отдельные эпизоды из своих наиболее популярных произведений.

Публичные чтения вскоре стали систематическими и начали все больше захватывать писателя. Уже с юных лет Диккенс тянулся к сцене и часто высказывал сожаление, что не стал актером. Он много и охотно выступал в кругу друзей в любительских спектаклях, с увлечением играл самые сложные и разнообразные драматические роли. Теперь, согласившись на выступления с чтением своих собственных произведений, Диккенс не только читал, но «играл» своих героев.

Выступления перед огромными аудиториями, которые оказывали знаменитому писателю восторженный и шумный прием, вскоре настолько увлекли Диккенса, что оттеснили на задний план все остальные виды его деятельности — творческую работу художника и публициста, заботы редактора и издателя.

Перенапряжение не преминуло сказаться. В 1870 году великого писателя не стало. Сидя за работой над начатым им незадолго до того романом «Тайна Эдвина Друда», он внезапно потерял сознание и, не приходя в себя, вскоре скончался. Роман «Эдвин Друд» остался незавершенным.

Смерть писателя Англия переживала как всенародное горе.

Английский народ потерял не только одного из крупнейших своих художников, но и одного из наиболее близких и понятных массам простых людей «защитника низших классов против высших... карателя лжи и лицемерия» [1].

Гениальный художник, Диккенс создал такую широкую картину жизни современной ему Англии, какую не создал ни один из его английских современников. По широте охвата изображаемой действительности Диккенс может быть сопоставлен с одним лишь создателем грандиозной эпопеи «Человеческой комедии» — Бальзаком. Огромная ценность всего творчества Диккенса определяется прежде всего блестящим мастерством реалистической типизации.

Взглядам Диккенса была свойственна большая противоречивость, которая не могла не сказаться на его творчестве. Противоречивость эту заметил и превосходно выразил еще Белинский, о ней писал и Салтыков-Щедрин.

Несмотря на то, что Диккенс так до конца жизни и не освободился от многих иллюзий и предрассудков (прежде всего

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Дневник, Полн. собр. соч., т. I, стр. 358.

проповеди классового мира), в его творчестве всегда объективно звучал мощный протест против бесчеловечности буржуазного общества и отражались настроения народных масс. Алчным представителям буржуазного общества он неизменно противопоставлял в своих произведениях честных тружеников, «маленьких людей», бедняков. Диккенс с любовью и сочувствием рисовал людей, задавленных нуждой и лишениями, тепло показывал их честность, трудолюбие, готовность прийти на помощь попавшему в беду, подчас такому же нищему, как они сами. Именно это присущее Диккенсу уменье пробудить внимание, сочувствие и уважение к людям труда, к неимущим и было восхищенно названо Горьким «изумительным постижением труднейшего искусства любви к людям» [1].

2

Задачу писателя Диккенс рассматривал как задачу учителя жизни, обязанного воздействовать на окружающую действительность, исправлять ее недостатки, бороться за ее переделку. Писать означало для Диккенса на всех этапах его деятельности прежде всего убеждать.

Когда к Диккенсу обращались с предложениями выставить свою кандидатуру в парламент,— а такие предложения писатель получал неоднократно,— он неизменно отказывался, мотивируя свой отказ тем, что не может «служить двум господам». Свою деятельность писателя Диккенс рассматривал как деятельность общественную.

В «Обращении к читателям», помещенном в первом номере журнала «Домашнее чтение», Диккенс в 1850 году писал, что основная цель его как редактора и издателя — «поднять дух обездоленных и бороться за улучшение условий социальной жизни».

В 1858 году Диккенс переживал тяжелый внутренний кризис. Зарубежные литературоведы по-разному пытались его объяснить: не сказать о нем было невозможно. Одни пытались объяснить кризис в творчестве романиста личными и семейными причинами (Диккенс в 1858 году разошелся с женой, однако разрыв этот подготовлялся в течение многих лет); другие —

[1] М. Горький, В людях. Собр. соч., М. 1951, т. 13, стр. 448.

ослаблением творческих сил. На самом деле кризис, переживаемый Диккенсом в конце 50-х годов, был связан с утратой прежнего оптимизма, прежней веры в возможность исправления темных сторон жизни без коренной ломки всей общественной системы. Именно в этот период писатель задумывает создание рассказа, в котором хочет показать возможность бегства от действительности («Сдается внаем» — 1858). Но учитель и гуманист взял верх. Замысел Диккенса терпит крушение. «Нельзя отгородиться от жизни,— писал он по этому поводу своему другу и единомышленнику Уилки Коллинзу,— каждый человек — часть окружающей его жизни и неизбежно должен быть связан с нею».

«Упорная борьба за правду в искусстве — радость и горе жизни всех настоящих служителей искусства»,— писал Диккенс известному актеру Макриди в одном из своих писем 1857 года. Миссия художника в его понимании была неразрывно связана с этической миссией исправления нравов: ту жестокость и бесчеловечность, которую Диккенс видел повсюду вокруг себя в буржуазном мире, он рассматривал как явление, устранимое силой моральной проповеди.

Отношение Диккенса к своей задаче художника определило тематику его романов. Отчасти оно определило и ту широту охвата действительности, которая отличает все его творчество. Диккенс показал в своих романах всю Англию своего времени, представителей почти всех ее классов и общественных слоев, самые разнообразные стороны общественной жизни.

Внимание писателя в течение двадцати лет творческой деятельности — после «Записок Пиквикского клуба» и до «Крошки Доррит» — приковано к животрепещущим проблемам современности. При этом Диккенс всегда пишет о том, что хорошо знает, что видит вокруг себя. Даже тогда, когда он (всего два раза за всю свою творческую жизнь) обращался к прошлому, создав исторические романы «Барнеби Радж» и «Повесть о двух городах»,— романы эти не только дышали интересами современности, но совершенно сознательно были направлены на разрешение актуальных ее проблем через сопоставление с прошлым, через использование опыта прошлого, как бы его писатель ни интерпретировал.

Диккенс рисовал Англию того времени, когда патриархальное прошлое страны окончательно уходило в область преда-

ния и крепла мощная индустриальная держава — «мастерская мира», занявшая первое место в капиталистическом мире. Портрет коммерсанта Домби («Домби и Сын»), написанный Диккенсом в период высшего подъема его художественного мастерства,— это портрет магната, типичного именно для капиталистической Англии 40-х годов, портрет Мердля («Крошка Доррит») — финансиста того времени, когда Англия уже стояла на пороге империализма (1856). Схватывая наиболее типичное для своего времени, Диккенс рисует преимущественно Англию больших городов, и прежде всего Англию, отраженную в жизни Лондона — центра, к которому сходились жизненные нити со всех концов страны.

«Мне трудно выразить, как необходимы мне запруженные народом улицы Лондона,— писал Диккенс Джону Форстеру из Швейцарии летом 1846 года.— Улицы его дают моему мозгу какую-то особую силу, без которой он ослабевает. Я могу колоссально много написать за неделю-две полного уединения, но один день в Лондоне подбадривает меня и заряжает для новой работы. Усилия, которые приходится прилагать, работая день за днем без этого волшебного фонаря, огромны. Мои пальцы коченеют, когда вокруг меня нет лондонской толпы».

Действие почти всех романов Диккенса развертывается на фоне Лондона. Более того, книги его трудно представить себе без описания улиц Лондона, шума Лондона, пестрого и разнообразного его населения. Диккенс изучил и изобразил все стороны жизни любимого города — все его самые нарядные и самые заброшенные глухие кварталы. От проницательного взгляда художника не ускользала ни одна деталь в жизни города, ни одна из происходивших в нем перемен.

Разорение мелкого собственника в процессе быстрого роста и развития английского капитализма — такова одна из сторон современной жизни, которая постоянно рисуется на страницах романов Диккенса. Наступление мощного делового Сити на мир жалких лавчонок типа «Деревянного мичмана» — тема не только «Домби и Сына». Судьба старого антиквара и его внучки Нелли Трент в «Лавке древностей», старьевщика Крука в «Холодном доме», бесчисленного количества мелких ремесленников и торговцев, действующих в романах Диккенса, отражает явление, типичное для послереформенной Англии, крупнейшей державы капиталистического мира в XIX веке.

Другая коренная для эпохи закономерность — столкновение между рабочими и предпринимателями — показана Диккенсом в его романе «Тяжелые времена». Противопоставление Баундерби и Блэкпула, изображение забастовки и ее причин — большая заслуга Диккенса как художника, даже если образ чартиста Слэкбриджа тенденциозен, в силу отрицательного отношения автора к политической активности рабочего класса. Заслуга Диккенса тем значительней, что прямое противопоставление капиталистов и рабочих, изображение их как представителей двух социальных полюсов мы встречаем в английской литературе XIX века, помимо Диккенса, считанное количество раз.

В каждом из своих романов Диккенс раскрывает какую-нибудь новую сторону современной жизни, новую форму общественных отношений, ставит новую, но всегда важную и актуальную проблему своего времени. И каждая новая его книга дополняет другую. Все вместе они дают типическую картину английской жизни XIX века.

Величие и убожество, роскошь и нищета выступают со страниц романов Диккенса, и чем больше созревает мастерство художника, тем больше изображение этих контрастов придает реалистическую убедительность раскрытию двух противостоящих миров в системе одного общества.

На протяжении всего своего творчества Диккенс с неизменной горячей симпатией и величайшим сочувствием рисовал простых тружеников, чаще всего обездоленных и угнетенных в современном обществе. Он неизменно показывал их душевное величие, их большую и подлинную человечность.

В романах Диккенса трудящиеся люди объективно всегда стоят не только выше тех «эгоистов» и «гордецов», какими предстают в них господствующие классы, но обнаруживают такое душевное благородство и подчас величие, какое недоступно людям, знающим только личный интерес и личную выгоду.

Достаточно вспомнить замечательный образ Марка Тэпли в «Мартине Чезлвите», этого скромного и всегда веселого спутника Мартина Чезлвита-младшего, своими душевными качествами стоящего неизмеримо выше своего господина. Нельзя пройти мимо таких образов, как образ машиниста Тудля и его жены — кормилицы маленького Поля Домби, всех тех «маленьких людей», которые противопоставлены черствому коммерсанту Домби в романе «Домби и Сын». Незабываемы и

работница Рейчел в романе «Тяжелые времена» и семья Пеготти в «Дэвиде Копперфилде». Обитатели Подворья Кровоточащих Сердец в «Крошке Доррит» — глубоко трогающие нас герои этого романа, содержащего страницы сурового обличения и острого шаржа.

Метод Диккенса-реалиста чрезвычайно своеобразен. Он богат оттенками и органически переплетающимися противоречивыми тенденциями. Понять его до конца можно лишь поняв его обусловленность противоречивым мировосприятием художника.

Какие бы сдвиги ни происходили в сознании писателя, основы миропонимания Диккенса не менялись. Творческий метод Диккенса определяется прежде всего сочетанием в нем реалистического и романтического начал. В нем переплетается трагическое и комическое, строгий реалистический рисунок и неповторимая, ему одному присущая фантастика, точнейшие, граничащие с документацией описания и причудливый гротеск, драматические сцены и эпическое повествование.

Стремясь охватить всю «правду жизни», все жизненные факты в их сложных проявлениях, Диккенс обращался к различным художественным приемам.

Художник был полон решимости изобразить действительность «такой, какая она есть», но в то же время пытался приписать ей желательные для него закономерности. Именно поэтому мир диккенсовских образов — это мир, отражающий в одно и то же время и реальную Англию эпохи королевы Виктории и мир идеальных героев, страшных злодеев и смешных чудаков. Скрудж — лондонский делец и скряга — и переродившийся Скрудж, несущий богатые подарки и открытое сердце в скромный дом бедного племянника; суровый Домби, живущий по законам наживы и обогащения, и тот же Домби — добрый отец и дедушка, познавший всю сладость раскрывшихся сердец,— возможны только в романах Диккенса.

«Идеальные образы» в произведениях Диккенса рождались из его убеждения в возможности духовной перестройки людей, не подчиненной законам реальных отношений.

В первых своих произведениях, писавшихся в середине 30-х годов, Диккенс предстает перед читателем прежде всего как юморист и комедиограф. Нет никакого сомнения в том, что как в «Очерках Боза», так и в «Записках Пиквикского

клуба» звучали уже критические интонации, но говорить о сатире в настоящем смысле слова здесь еще нет основания. Рисунок Диккенса не носит еще сатирического характера, обличительная интонация смягчена шуткой и веселым смехом.

В произведениях 1833—1836 годов Диккенс сглаживает все мрачное и печальное, все жестокое и уродливое. Молодой Диккенс видит изнанку современных парламентских выборов и возмущается ею, но, создавая интенсуиллский эпизод в «Пиквикском клубе», изображает выборы скорее в комическом, чем в сатирическом свете. Он несомненно видит всю нелепость судебной практики и существующего законодательства, но, рисуя процесс Бардл против Пиквика, создает такую картину суда, в которой обличительная интонация ослаблена комичностью изображаемой картины.

Юмор молодого Диккенса богат разнообразными оттенками, служит различным целям. Порой в его ранних рассказах и романах смех и шутка, комическое изображение людей и событий не только смягчают критицизм, но и сглаживают идеализацию в творчестве писателя.

Диккенс часто, умиляясь добротой и человечностью того или другого из своих персонажей, тут же подмечает комическую черту в его характере, манерах или поведении и забавно вышучивает его слабости. Недостатки героев уравновешиваются в его комедийной трактовке достоинствами тех же героев, достоинства рисуются наряду с неотразимо комическими слабостями. Смех не дает умилению Диккенса перерасти в идеализацию. Люди, умственно ограниченные (Пиквик), подкупают моральным величием, трусливые (Уинкль) — добротой и порядочностью. Любуясь человеческими достоинствами основателя Пиквикского клуба, читатель в то же время смеется над его «научными открытиями» и наивным простодушием, позволяющим ему верить в любую небылицу и принимать за достоверную истину грубейший вымысел ловкого проходимца — Джингля.

Так юмор, в котором Диккенс с первых творческих шагов достиг огромного мастерства, помог ему держаться в рамках реалистического изображения действительности даже тогда, когда он особенно близко подходил к романтической идеализации.

По определению Н. Г. Чернышевского, комическое — это «внутренняя пустота и ничтожность (имеется в виду ничтожность определенных проявлений жизни.— *В. И.*), прикрываю-

щаяся внешностью, имеющею притязание на содержание и реальное значение»[1]. Комедийные образы, созданные Диккенсом-юмористом,— лучшее подтверждение справедливости этого определения. Источник смеха в них — комическое несоответствие формы выражения существу изображаемого. Комизм положений часто вытекает не столько из нелепости поступков действующих лиц, сколько из той нарочитой серьезности, с которой автор о них сообщает. Писатель торжественно и глубокомысленно говорит о вещах, по своей природе не только совершенно незначительных, но часто нелепых, сообщает о самых нелогичных поступках своих героев в тоне полного спокойствия и невозмутимости.

Так: «На всех лицах изобразился ужас и отчаяние,— сообщает Диккенс, описывая, как мистер Пиквик проваливается в прорубь на катке,— мужчины побледнели, а женщинам стало дурно; мистер Снодграсс и Уинкль схватились за руки и в безумной тревоге смотрели на то место, где скрылся их учитель, в то время как мистер Тапмен, дабы оказать скорейшую помощь, а также внушить тем, кто мог находиться поблизости, наиболее ясное представление о катастрофе, во всю прыть мчался по полю, крича «пожар!».

Веселая шутка, даже буффонада и фарс, вносимые порой совершенно неожиданно в самое серьезное и даже трагическое повествование, неразрывно связаны в творчестве молодого Диккенса с оптимизмом, который определяет отношение писателя к окружающему его миру в первые годы творчества. Достаточно вспомнить комедийные эпизоды во Флитской тюрьме («Записки Пиквикского клуба»), в работном доме («Оливер Твист»), в школе для бедных, руководимой извергом Сквирсом («Николас Никльби»). Они переплетаются с остро критическими и далеко не смешными эпизодами, постоянно сменяют и даже вытесняют их.

Однако в романах «Оливер Твист», «Николас Никльби» вместе с усложнением тех задач, которые перед собой ставил автор, метод Диккенса усложнялся новыми элементами — строгим эпическим описанием, морализаторским пафосом. Начали в нем появляться и сатирические мотивы. Сатириком Диккенс становится не сразу, а лишь постепенно; по мере того как мрачнеет общественно-политический горизонт в его родной

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., II, стр. 31.

стране, происходят сдвиги в сознании самого писателя. Подлинным сатириком, смех которого теряет добродушие и мягкость, Диккенс выступает лишь в «Мартине Чезлвите». Только после американской поездки и возвращения на родину в 1842 году сатирические мотивы и образы в творчестве Диккенса становятся ведущими.

Диккенс-сатирик продолжает пользоваться оружием смеха, но смех его приобретает новую интонацию, существовавшую в ранних романах лишь в намеке.

Диккенс был убежден в том, что он изображает людей, исключительных по своему моральному уродству, однако на самом деле он рисовал типические характеры в типических обстоятельствах.

По мере того как вера писателя в конечное торжество добра все больше колебалась, обличительный голос его звучал все громче, наполнялся все большим гневом и пафосом. В 50-е годы, когда пишутся такие значительные социальные романы, как «Холодный дом», «Тяжелые времена», «Крошка Доррит», Диккенс все чаще прибегает к приему едкого шаржа, сатирического преувеличения и гротеска (Министерство Околичностей и Полипы в «Крошке Доррит»).

Ученые диккенсоведы за рубежом много писали о «статической однолинейности» («лейтмотивности») образов Диккенса. Многие персонажи в романах Диккенса, в особенности персонажи ранних его романов, действительно часто запоминаются по какой-либо одной основной характеризующей их черте — жесту, манере говорить или двигаться, повадке и т. д.

Невозможно представить себе капитана Катля без железного крючка, заменяющего ему руку. Микобер немыслим без его поговорки — «что-нибудь да подвернется». Тетушку Бетси Тротвуд нельзя себе представить иначе как прогоняющей ослов, а злодея Урию Хипа олицетворяет липкий след, который его палец оставляет на бумаге...

Изображение того или другого лица через одну характерную деталь подчеркивается и теми именами, которые Диккенс иногда дает своим героям, как лаконичную и меткую характеристику.

Называя болтливого лгуна Джинглем (от слова jingle — звенеть, тарахтеть), гробовщика — Моулдом (от mould — земля, прах), судебного крючкотвора Фэнгом (от fang — клык), Дик-

кенс самим именем уже предвосхищает основную черту в последующей его характеристике. Одна и та же характерная черта выступает затем не только во всем поведении героя, в его манерах, речи, внешности, но и в той обстановке, в которой он живет,— в его вещах, мебели, доме, даже утвари. Если гуманные и добрые коммерсанты в романе «Николас Никльби» зовутся Чирибль (от cheer — веселые), то и дом, в котором они живут, и улица, на которой этот дом стоит, и сад, который его окружает, дышат весельем и добродушием. Весельем и добродушием веет и от их наружности, и от принадлежащих им вещей, и даже от тех людей, с которыми они связаны. Напротив, Домби — чопорный и черствый, сухой и холодный — живет в таком же чопорном и холодном доме, как и он сам, на такой же холодной и мрачной улице, и все окружающие его вещи холодны, неприветливы, унылы, как и сам Домби.

«Однолинейность» в изображении характеров, которая в ранних произведениях Диккенса действительно превалирует, со временем все больше вытеснялась более многообразным и полным портретом, в котором психологическая характеристика становилась все более и более развернутой и тонкой. Диккенс подбирает такие реалистические детали, которые раскрывают не только существенные черты определенного социального типа, но и особенности того или другого индивидуального характера. По мере того как в сознании писателя происходили сдвиги, находившие отражение в его методе и стиле, углублялся анализ внутреннего мира героев. Диккенс показывает своих героев в более сложных и многогранных общественных отношениях. Достаточно вспомнить, с одной стороны, Пиквика, Чириблей («Николас Никльби»), Квилпа («Лавка древностей») и миссис Чик («Домби и Сын»), майора Бэгстока и миссис Скьютон («Домби и Сын»), а с другой стороны — манеру изображения Эстер Саммерсон или ее матери леди Дэдлок («Холодный дом») или Стивена Блэкпула («Тяжелые времена)», Мердля или Кленнема («Крошка Доррит»).

Но как бы ни совершенствовалось портретное мастерство в творчестве Диккенса, он всегда создавал свои образы по одному художественному принципу: писатель всегда пользовался приемом контрастов и повторов, всегда подчеркивал какую-нибудь одну типическую деталь, один типический мотив, который оставался затем ведущим. Благодаря этой черте образы

Диккенса приобретали четкость и наглядность и в силу своей огромной выразительности надолго запечатлевались в памяти читателя.

В зрелых романах Диккенса лейтмотив теряет характер внешней детали и начинает раскрывать сущность образа. Так у сэра Дэдлока («Холодный дом») частое повторение имени Уота Тайлора — отнюдь не механическая поговорка. Повторение это подчеркивает консерватизм Дэдлока, его боязнь социальных перемен и революционных переворотов. В поговорках Баундерби, не забывающего напоминать всем окружающим, что он «родился в канаве», и неизменно упрекающего всех рабочих в том, что они хотят есть черепаший суп золотой ложкой, заключается не только его индивидуальная характеристика. Философия целого класса метко передана через типический лейтмотив, которым писатель характеризует Дэдлока и Баундерби — этих представителей двух господствующих классов современной ему Британии.

Герои произведений Диккенса запоминаются благодаря постоянному подчеркиванию их характерных особенностей. С другой стороны, многие образы именно в силу этой лейтмотивности в характеристике приобретают почти аллегорический смысл. Зубы Каркера, которые всячески обыгрывает Диккенс, помогают понять природу хищника, нарисованного им. Черный цвет, связанный с Талкингхорном, вестником смерти, вязанье мадам Дефарж (каждой новой петлей своего непрерывного вязанья вписывающей новое преступление аристократов в свою летопись) — все это способствует раскрытию типических образов.

Диккенс, мастер широких обобщений, умел блестяще находить те реалистические детали, без которых невозможна полнота и конкретность художественного рисунка. Дело не только в том, что настойчивое повторение характерных деталей — неотъемлемая особенность стиля Диккенса, дело в том, какого совершенства достигает типическая деталь в лучших, наиболее зрелых романах Диккенса. «Мелочи», незначительные на первый взгляд, но на самом деле в высшей степени типические, приобретают в романах Диккенса большую значимость, сообщают образам неожиданную выразительность, расшифровывают то значение, которое им хочет придать автор. Так, говоря о миссис Джеллиби, устремившей свои взоры к далеким островам Тихого океана, жителей которых она

намерена просветить светом евангелия. Диккенс как бы мимоходом замечает, что волосы ее не чесаны, а платье на спине расстегнуто. Суетливая и неопрятная, беспорядочная в своей нелепой деятельности носительница «Тихоокеанской филантропии» предстает через эту, незначительную на первый взгляд деталь в том свете, в каком ее видит и хочет представить автор. Не менее красноречивы детали в описании обстановки в доме замкнутого и умеющего долго хранить зловещую тайну юриста Талкингхорна («Холодный дом»): густой турецкий ковер, заглушающий звуки, свечи, льющие самый слабый свет, книги, ушедшие в переплеты и как бы прячущиеся от людских взоров...

Особенности мастерства Диккенса обуславливают живость и убедительность созданных им картин. Рисунок его не только предельно выразителен, но и в высшей степени колоритен. Образы обладают почти осязательной выпуклостью. В распоряжении автора огромное богатство изобразительных средств. Особенной экспрессивностью отличаются в его описаниях метафоры — всегда неожиданные и необычные, чрезвычайно яркие и убедительные.

Молодая мать в одном из «Очерков Боза» чем-то напоминает холодную телятину... Дубовая кафедра в старой церкви покрывается в осенние дни холодным потом... «Слои грязи нарастают на улицах Лондона подобно сложным процентам...», «Снежные хлопья в прокопченном городе одеты в траур по солнцу». Рано утром немногие пешеходы на пустынных улицах «кажутся такими же неуместными в ослепительном свете солнца, как забытые кое-где тусклые мигающие огни фонарей...»

Уже в первых очерках Диккенса комизм той или иной сцены, того или другого образа очень часто был всецело обусловлен формой словесного выражения. В романах зрелого периода язык стал еще более мощным оружием великого художника.

Полнота и богатство словаря, свежесть и оригинальность выражения — отличительные особенности глубоко народного языка Диккенса.

Диккенс применяет нередко эвфонию, передавая сочетанием звуков настроение персонажей, ритм движения (достаточно вспомнить страницы, посвященные изображению путешествия Домби после смерти сына). Язык Диккенса то лиричный, то приподнято патетический, то разговорный, то торжественный.

Разговорная речь в книгах Диккенса насыщена идиомами и народными оборотами его времени.

Писатель добивается особенной виртуозности в характеристике персонажей через их речь, необыкновенной тонкости в передаче языка комических персонажей. Каждый из персонажей Диккенса говорит не только в собственной, ему одному присущей манере, но обнаруживает ему одному присущие интонации, свой речевой стиль. Речевую манеру Сэма Уэллера в «Пиквикском клубе» немыслимо спутать с манерой речи какого-либо другого персонажа Диккенса. Своим «стилем» обладают почти все сколько-нибудь подробно выписанные персонажи его романов. У каждого свой словарь, и этот словарь особенно красочен, когда писатель рисует портреты людей из народа, представителей наиболее демократических слоев общества, или лондонского мещанства — кокни.

Объективизм в изображении жизни всегда был глубоко чужд Диккенсу. Именно поэтому не только речь его героев, но и авторская речь никогда не бывает у него бесстрастной. Она всегда насыщена большой эмоциональностью, всегда раскрывает отношение писателя к тому, что он рисует.

Творчество Диккенса — одного из величайших народных писателей Англии — навсегда вписано в историю английской прогрессивной литературы и составляет справедливую гордость английского народа.

Книги Диккенса не только переведены почти на все языки мира: они до настоящего времени читаются всеми народами мира, до настоящего времени пользуются любовью миллионов людей как на родине, так и далеко за ее пределами.

Сочинения Диккенса получили в XIX веке в России более широкое распространение, чем в других странах Европы, и слава писателя у нас значительно превысила славу и популярность его в других европейских странах.

Демократизм и глубокий гуманизм творчества Диккенса был созвучен тому направлению в русской литературе, которое складывалось в те же годы, когда начинал писать великий английский реалист. Произведения Диккенса начали переводиться и распространяться в России сразу после того, как «Записки Пиквикского клуба» сделали имя писателя известным по всей Англии. Русский читатель познакомился с первыми

романами Диккенса в начале «гоголевского периода» в русской литературе, то есть тогда, когда в ней уже ярко выявились демократические тенденции. Достоевский справедливо заметил в 1873 году, что русский читатель знает и понимает Диккенса «почти так же, как англичане». «Мы, может быть,— добавляет Ф. М. Достоевский,— любим его не меньше его соотечественников» [1].

Русские критики еще при жизни Диккенса увидели главную заслугу писателя в осознанной демократической и социальной тенденции его творчества и в порожденной ею силе разоблачения современного ему буржуазного общества. Они же увидели и подчеркнули неразрывную связь художественного мастерства Диккенса с этой тенденцией.

Белинский, Чернышевский, Писарев высказали глубокие и верные суждения о творчестве крупнейшего английского реалиста; все значение их высказываний можно понять лишь в сопоставлении с тем, что писалось о Диккенсе зарубежными и, в частности, английскими критиками и исследователями. Салтыков-Щедрин, отмечая противоречия в творениях Диккенса, вместе с тем высоко оценивал его реализм, который любил противопоставлять бесстрастному документализму натуралистов.

Еще при жизни Диккенса английская критика разделилась в оценке его произведений. Наиболее консервативные рецензенты осуждали писателя за критицизм, за обличительные образы.

Либеральная критика еще при жизни Диккенса нарочито преувеличивала его роль как проповедника христианского всепрощения и сторонника классового мира, тем самым освещая его творчество односторонне и превратно.

Охотнее же всего буржуазная критика и при жизни Диккенса и после его смерти замалчивала социально обличительную силу мастера критического реализма. Английские буржуазные литературоведы, сделавшие немало по изучению биографии писателя и его произведений, собиранию и опубликованию оставшихся после его смерти документов и материалов, не хотели проникнуть в сущность того, что писал Диккенс. Они много говорят об оптимизме Диккенса, о его веселом смехе

---

[1] Ф. М. Достоевский, Дневник писателя за 1873 г., Полн. собр. соч., Спб. 1911, т. 19, стр. 231.

и мягкости его юмора. Более того: они склонны все творчество Диккенса расценивать как творчество юмориста.

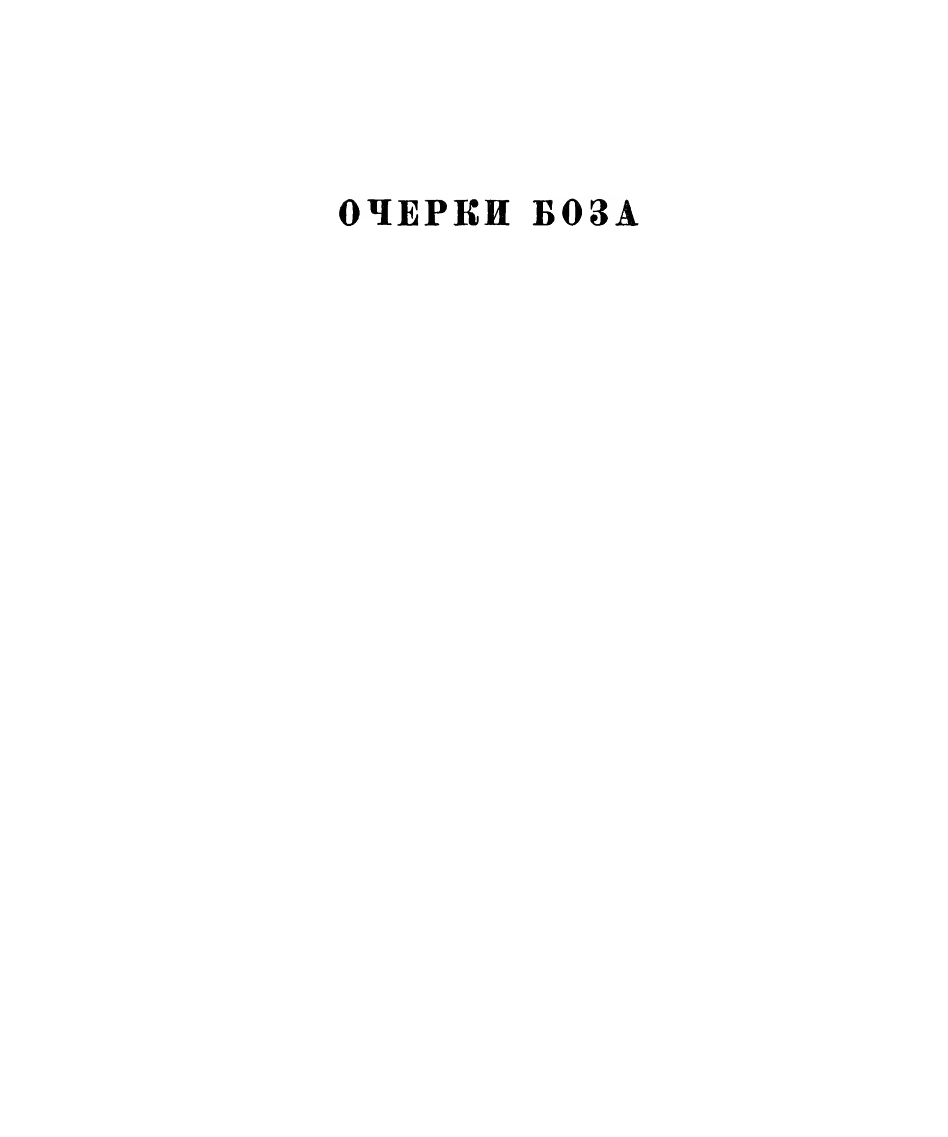
Диккенс на родине официально признан величайшим писателем. О нем написаны серьезные исследования (Ф. Киттон и У. Декстер). Тщательно изучается его наследство. Издаются диккенсовские энциклопедии, создаются диккенсовские клубы. Издается специально диккенсовский журнал («Диккенсиана»). Однако при парадной отдаче почестей Диккенсу часто оказывается, что изучение его наследия носит поверхностный характер.

Современная реакционная критика на Западе о Диккенсе либо молчит, либо посвящает ему объемистые исследования, в которых устанавливаются новые, чаще всего «сенсационные», факты из его биографии: разыскиваются новые документы, раскрывающие личную жизнь писателя, его юношеские увлечения, романтические встречи и т. п. В защиту Диккенса выступили английские прогрессивные критики (Джексон, Кетль, Линдсей и др.), подчеркнувшие социальное значение творчества великого реалиста.

Правдиво отражая жизнь, Диккенс неизменно боролся за человечность в отношениях между людьми. И книги его, насыщенные гневом и возмущением против всяческой несправедливости, против всякого лицемерия, дышащие горячей любовью к человеку и его счастью, помогают и сейчас народам всего мира в их борьбе за прогрессивные идеалы, за счастливую жизнь трудящихся людей.

В. ИВАШЕВА

ОЧЕРКИ БОЗА



ПРЕДИСЛОВИЕ

Все эти очерки были написаны и опубликованы, один за другим, когда я был очень молод. Они были собраны и переизданы, когда я все еще был очень молод, и пошли гулять по свету со всеми своими недостатками (весьма многочисленными).

Это — мои первые писательские опыты, если не считать нескольких трагедий, созданных в зрелом возрасте восьми-девяти лет и сыгранных с огромным успехом при переполненной детской. Я отлично понимаю, что многое здесь недоделано и недодумано, носит следы спешки и неопытности — особенно в том разделе настоящей книги, который озаглавлен «Рассказы».

Но поскольку сборник этот родился не сейчас и при первом своем появлении был встречен очень снисходительно и благосклонно, я решил ничего в нем не менять и не вычеркивать, кроме отдельных слов и фраз.

1850

Наш приход

ГЛАВА I

Приходский надзиратель. Пожарная машина. Учитель

Как много мыслей заключено в одном этом коротком слове «приход»! Как часто за ним скрывается повесть о нищете и несчастье, о погибших надеждах и полном разорении, о неприкрытой бедности и удачливом плутовстве. Бедный человек с маленькими заработками и большой семьей едва перебивается изо дня в день, с трудом добывая семье пропитание; денег ему хватает в обрез, только чтобы утолить голод сегодня, о завтрашнем дне он не в состоянии позаботиться. За квартиру он вовремя не платит; срок платежа давно прошел, подходит второй платежный срок, он не может уплатить,— его вызывают в приход. Имущество описывают за долги, дети плачут от голода и холода, и самую постель, на которой лежит его больная жена, вытаскивают из-под нее на улицу. Что ему делать? К кому обратиться за помощью? К частной благотворительности? К добрым людям? Нет, конечно,— есть же у него свой приход. Есть и приходская канцелярия, и приходская больница, и приходский лекарь, и приходские чиновники, и приходский надзиратель. Образцовые учреждения, добрые, мягкосердечные люди. Умирает женщина — приход ее хоронит. О детях некому позаботиться — приход берет это на себя. Человек сначала

ленится, потом уже не может получить работу — приход дает ему пособие; а когда нужда и пьянство сделают свое дело, его, тихого, неведомо что бормочущего идиота, сажают в приходский дом сумасшедших.

Приходский надзиратель — одно из самых важных, а быть может, и самое важное лицо среди местного начальства. Он, разумеется, не так богат, как церковный староста, не так образован, как приходский письмоводитель, и от него зависит не столь многое, как от первых двух. Тем не менее власть его очень велика, и он со своей стороны прилагает все усилия к тому, чтобы достоинство его высокой должности не пострадало. В нашем приходе надзиратель Симмонс — отличный малый. Одно удовольствие слушать, как в приемные дни он разъясняет глухим старухам существующие законы о бедных, стоя в коридорчике перед комнатой приходского совета; как повествует о том, что он сказал старшему церковному старосте и что тот сказал ему; и как «мы» (то есть приходский надзиратель и прочие лица) решили поступить в таком-то случае. Убогого вида женщина, будучи вызвана в приходский совет, жалуется на крайнюю нужду, рекомендуясь вдовой с шестью малыми детьми.

— Где вы живете? — спрашивает один из попечителей.

— Снимаю комнату на третьем этаже по черной лестнице, добрые господа, у миссис Браун, номер три по переулку короля Вильгельма, она вот уж пятнадцать лет там живет, знает, как я тружусь, рук не покладаю; еще когда покойный муж был жив, господа, а помер он в больнице...

— Ну, хорошо,— прерывает ее попечитель, записывая адрес,— завтра утром я пошлю Симмонса, пусть проверит, правду ли вы рассказываете; если правду, так вас, пожалуй, надо устроить в работный дом... Симмонс, завтра первым делом ступайте к ней с утра, слышите?

Симмонс кланяется в знак согласия и выпроваживает женщину за двери. Ее прежнее восхищение «советом» (все они сидят, уставившись в большие книги, и все они в шляпах) не может сравниться с почтительным трепетом, который внушает ей блистающий галунами провожатый; а ее рассказ о том, что происходило в приемной,

еще усиливает, если только возможно, то почтение, которое выказывает толпа просителей этому важному лицу. Что же касается до вызова в суд, то, если за это берется Симмонс, как представитель прихода,— пиши пропало. Он знает наизусть все титулы лорд-мэра, излагает дело без единой запинки; говорят даже, как-то раз отпускал шуточки и, по словам старшего лакея лорд-мэра (который при этом присутствовал и по доверенности поделился мнением со своим приятелем), они ничем не хуже острот мистера Хоблера *.

Стоит посмотреть на него и в воскресенье — в парадном мундире и треуголке, с длинным жезлом в левой руке для парада и коротенькой тростью в правой для работы. Как торжественно он разводит детей по местам! И как скромно и невинно посматривают на него мальчишки, когда все они уже уселись и он напоследок окидывает их особенно грозным взглядом, свойственным одному только приходскому надзирателю! После того как старосты и попечители должным порядком уселись на скамьи за занавесями, он садится и сам на скамеечку красного дерева, сооруженную специально для него в проходе между скамьями, и внимание его делится между молитвенником и мальчишками. Вдруг, как раз в середине проповеди, когда паства погружена в глубокое молчание, нарушаемое только голосом священника, по всей церкви с удивительной ясностью разносится звон монетки, упавшей на каменный пол. Обратите внимание, сколько такта у приходского надзирателя! Невольное выражение ужаса мгновенно сменяется на его лице выражением полного равнодушия, как будто он один из всех присутствующих не слышал никакого шума. Хитрость удается. Осторожно вытянув вперед правую ногу, наподобие щупальца, мальчишка, уронивший монетку, после одной-двух попыток поднять ее, отваживается, наконец, нырнуть за нею, а надзиратель, обойдя свою жертву кругом и беззвучно подкравшись, приветствует круглую головенку, снова вынырнувшую из-под скамьи, градом ударов, нанося их той самой тростью, о которой мы уже говорили, к величайшему удовольствию трех молодых людей на соседней скамье, которые начинают громко кашлять и кашляют до самого конца проповеди.

Таковы некоторые черты, из коих можно видеть всю важность и солидность приходского надзирателя — солидность, ничем не нарушавшуюся во всех случаях, какие нам приходилось наблюдать, кроме тех, когда требовалось пустить в ход чрезвычайно полезный механизм — приходскую пожарную машину: тогда действительно творится бог знает что. Двое мальчишек со всех ног бегут к приходскому надзирателю и сообщают ему, что они своими глазами видели, как в трубе у соседей загорелась сажа; машину поспешно выкатывают из сарая, сгоняют к ней целый отряд мальчишек, и, припряженные к ней веревками, они с грохотом волокут ее по мостовой, а надзиратель бежит,— мы не преувеличиваем,— бежит рядом; наконец, машина подкатывает к дому, вокруг которого сильно пахнет сажей, и приходский надзиратель стучит в дверь не менее получаса, не теряя при этом солидности. Так как никто не обращает внимания на массу затраченного им ручного труда, а воду уже спустили, то пожарная машина поворачивает обратно под крики мальчишек и опять подкатывает к работному дому; а на другой день надзиратель закатывает выговор несчастному домовладельцу и взыскивает с него сколько полагается по закону. На настоящем пожаре нам пришлось видеть приходскую пожарную машину всего один раз. Она прибыла с невиданной скоростью, делая по крайней мере три с половиной мили в час, запас воды был солидный, и на место она явилась первой. Заработал пожарный насос, толпа уже кричала «ура!», с приходского надзирателя градом катился пот; но, к несчастью, когда уже совсем собрались тушить пожар, обнаружилось, что никто не знает, как надо наливать воду в эту самую машину, и что восемнадцать мальчишек и один взрослый двадцать минут качали изо всех сил впустую, без всякого толку!

После надзирателя самые значительные лица в приходе — это смотритель работного дома и учитель. Приходский письмоводитель, как всем известно, коротенький, пухлый человечек в черном, с толстой и довольно длинной золотой цепью, на конце которой болтаются две большие печати и ключ. Он ходатай по делам и вечно спешит, всего же больше тогда, когда устремляется на какое-нибудь приходское собрание, комкая в одной руке перчатки,


George Cruikshank

а другой придерживая под мышкой большую красную книгу. Что же до церковных старост и попечителей, то их мы касаться не будем, ибо нам о них известно только то, что по большей части это почтенные торговцы, которые носят шляпы с полями, скорее плоскими, нежели загнутыми кверху, и что время от времени, выставив где-нибудь на видном месте в церкви извещение — золотыми буквами на синем фоне,— они сообщают нам о том важном обстоятельстве, что хоры подверглись перестройке и украшению, а орган — ремонту.

Смотритель работного дома в нашем приходе — да обыкновенно и в любом приходе — не из тех людей, у которых лучшая часть жизни уже позади и которые дотягивают последние годы на какой-нибудь маленькой должности, вспоминая о прошлом только тогда, когда чувствуют себя униженными и не слишком довольны настоящим. Мы никак не можем установить точно, какое положение занимал этот человек прежде; нам кажется, что он был чем-то вроде конторщика у какого-нибудь ходатая по делам, а может статься, и учителем в начальной школе,— но кем бы он ни был раньше, ясно, что теперь его положение изменилось к лучшему. Доходы его, конечно, невелики, о чем свидетельствует порыжелый черный сюртук с потертым бархатным воротником; зато ему не надо платить за квартиру, ему выдают уголь и свечи (строго ограниченное количество), и в своем маленьком королевстве он пользуется почти неограниченной властью. Он высок ростом, худ и костляв; всегда носит башмаки и черные нитяные чулки; и если вы проходите мимо окон его квартиры, он смотрит на вас так, словно ему хочется, чтобы вы были нищий,— показал бы он вам тогда свою власть! Это замечательный тип мелкого тирана: угрюмый, злой, как собака, вечно не в духе; грубый с низшими, угодливый с высшими, смертельно завидующий влиянию и авторитету приходского надзирателя.

Наш школьный учитель являет собой полную противоположность этому любезному чиновнику. О таких людях, как он, нам иногда приходится слышать,— несчастная судьба словно отметила их своей печатью: за что бы он ни взялся, в чем бы ни принял участие, все это обречено

на неудачу. Богатый родственник, который его воспитал, объявил во всеуслышание, что позаботится о нем, и оставил ему по завещанию десять тысяч фунтов, а потом в дополнительной приписке взял да и отменил эту свою волю. Познав таким образом необходимость трудиться ради хлеба, он нашел себе место в какой-то канцелярии. Молодые чиновники, ниже его по положению, мерли так, словно их косила чума; зато старики, занимавшие места повыше, одно из которых он сам надеялся занять, жили себе да жили, словно бессмертные. Он начал играть на бирже — и проиграл. Опять пустился в спекуляцию — и выиграл, но денег своих не вернул. Способности у него были большие, характер покладистый и щедрый, размах широкий. Приятели пользовались одной стороной его характера и злоупотребляли другой. Потеря следовала за потерей, несчастье за несчастьем; каждый день подводил его все ближе и ближе к грани самой безысходной нужды, а те из бывших друзей, которые всех горячее изъявляли ему свои чувства, стали до странности холодны и равнодушны. У него были дети, которых он любил, и жена, которую он обожал. Дети отвернулись от него, жена умерла с горя. Он поплыл по течению — это всегда было его недостатком, и у него не хватило мужества вынести столько ударов подряд,— он и прежде не умел заботиться о себе, а единственное существо, которое заботилось о нем в нищете и несчастье, было отнято у него судьбой. Как раз в это время он обратился к приходу за пособием. Один добрый человек, знавший его в более счастливые времена, оказался в том году церковным старостой, и с его помощью бедняга был назначен на должность учителя.

Теперь он уже старик. Из множества приятелей-собутыльников, некогда толпившихся вокруг него ради веселой компании, одни умерли, другие пали так же низко, как и он, третьим повезло в жизни, но все они забыли его. К счастью, время и невзгоды ослабили его память, а привычка заставила притерпеться к своему новому положению. Кроткий, безропотный, усердный к службе, он был оставлен на своей должности и по прошествии законного срока; и нет сомнения, что он будет занимать место учителя до тех пор, пока болезни не подорвут его сил или смерть не освободит его. Когда этот седовласый старик

в перемену между уроками шаркает своими слабыми ногами по солнечной стороне школьного двора, самым близким из его прежних друзей поистине трудно было бы узнать в приходском учителе своего старого приятеля, некогда беззаботного и счастливого.

ГЛАВА II

Младший священник. Старая леди. Отставной капитан

Предыдущую главу мы начали с описания нашего приходского надзирателя, потому что нам хорошо известно, какая это важная и почетная должность. Во второй главе вы прежде всего познакомитесь с лицом духовного звания. Наш младший священник, человек совсем еще молодой, наделен столь располагающей внешностью и столь обходителен, что через месяц после его приезда к нам одна половина наших юных прихожанок ударилась в набожность с сильным оттенком меланхолии, другая же предалась любовной тоске. Воскресная служба у нас в церкви никогда еще не собирала такого множества девиц, а щекастые ангелочки с надгробья мистера Томсона в боковом приделе никогда еще не видывали, чтобы на земле проявляли такое благочестие. Младший священник приехал к нам в двадцатипятилетнем возрасте и сразу же покорил всех нас. Он причесывался на прямой пробор, так что лоб его выступал из-под волос полукругом, наподобие норманской арки, носил кольцо с бриллиантом чистейшей воды на безымянном пальце левой руки (коей то и дело трогал левую щеку во время чтения молитв) и говорил густым загробным басом с чрезвычайно торжественными интонациями. Не было числа визитам к нему предусмотрительных мамаш, не счесть приглашений, которыми его одолевали и которые, надо сказать, он охотно принимал. Младший священник произвел сильное впечатление на свою паству, обращаясь к ней с кафедры, но когда он стал появляться в частных домах, симпатии к нему возросли в десятикратном размере. Скамьи в непосредственной близости к кафедре и аналою расхватывали в один

миг, крайние места вдоль среднего прохода брались с бою, в первый ряд на хорах нельзя было протиснуться ни за какие деньги, и дошло даже до того, что трех сестер Браун, владелиц весьма незавидной фамильной скамьи позади церковных старост, обнаружили однажды в воскресенье на бесплатных местах у боковой двери, где они засели, подкарауливая младшего священника на его пути в ризницу. Вскоре он стал читать проповеди, повинуясь порывам вдохновения, и тут даже солидные отцы семейств заразились всеобщей любовью к нему. Однажды холодной зимней ночью он покинул постель только ради того, чтобы окрестить в лохани младенца прачки, и паства просто не знала, как выразить ему свою благодарность. Церковные старосты и те расщедрились, и по их настоянию приход полностью оплатил нечто вроде караульной будки на колесах, которую младший священник заказал себе для выездов на погребения в дождливую погоду. Одна бедная женщина, разрешившаяся от бремени четырьмя близнецами, получила от него три пинты каши и четверть фунта чая,— прихожане снова умилились. Он предложил начать подписку в ее пользу — роженица была обеспечена на всю жизнь. На собрании под лозунгом «Долой рабство!», созванном в ресторации «Коза и Ботфорты», он говорил час двадцать пять минут — восторг прихожан достиг своего предела. Было решено преподнести ему какой-нибудь ценный подарок в знак благодарности за его неоплатные услуги приходу. Подписной лист заполнили в мгновение ока, причем на сей раз наши прихожане не стали соперничать друг с другом, как бы увильнуть от взноса, а старались вырваться на первое место. Заказали великолепную серебряную чернильницу и выгравировали на ней приличествующую случаю надпись; младшего священника пригласили на завтрак все в ту же «Козу и Ботфорты», где бывший церковный староста мистер Габбинс вручил ему дар прихода и в складной речи выразил чувства всех прихожан. Чернильница была принята с такими изъявлениями благодарности, что присутствующие не могли удержаться от слез — слуги и те размякли.

Казалось бы, что к этому времени популярность младшего священника достигла высшей точки. Ничуть не бывало. Он начал кашлять; четыре приступа между лита-

нией и чтением апостола и пять во время вечерней службы. У младшего священника чахотка! Какое печальное и вместе с тем интересное открытие! Юные прихожанки и раньше были само сочувствие, сама заботливость, а теперь их рвение просто не знало удержу. Такой душечка, такой ангел — и вдруг чахотка! Этого нельзя перенести. Анонимные подношения в виде банок с черносмородиновым вареньем и леденцов от кашля, а также эластичные жилеты, фуфайки, шерстяные чулки и прочие предметы зимней экипировки в таком изобилии посыпались на младшего священника, будто он собирался в экспедицию на Северный полюс; изустные бюллетени о состоянии его здоровья передавались по приходу несколько раз на дню. Младший священник был в зените своей славы.

Приблизительно в это время в умонастроении прихожан произошла некоторая перемена. Почтенный, тихий и вечно сонный старичок, двенадцать лет служивший в нашей часовне, скончался в одно прекрасное утро, никого не предупредив о своих намерениях. Это обстоятельство оттеснило интерес к младшему священнику на задний план, а приезд нового священнослужителя заставил прихожан и вовсе забыть о нем. Новый пастырь был худой и бледный, большие черные глаза горели огнем на его изможденном лице, черные волосы висели длинными прядями; одевался он до последней степени неряшливо, изяществом манер похвалиться не мог и в проповедях высказывал крайне смелые суждения; короче говоря, это была полная противоположность младшему священнику. Наши прихожанки толпами повалили в часовню — сначала потому, что у нового пастыря такой необычный вид, затем потому, что у него такое выразительное лицо, затем потому, что он так хорошо читает проповеди, и, наконец, потому, что, воля ваша, а в нем есть что-то не поддающееся описанию. О младшем священнике ничего дурного не скажешь, но, воля ваша, а нельзя же отрицать, что он... он... словом, к нему уже привыкли, а тот, другой, всем в новинку. Изменчивость общественного мнения давно вошла в пословицу — прихожане один за другим перекочевали в часовню. Младший священник мог сколько угодно заходиться от кашля — это ничему не помогало.

Он дышал через силу — это равным образом ни в ком не пробуждало сочувствия. В нашей приходской церкви снова можно спокойно занять любое место, а часовню собираются расширять, так как по воскресеньям молящиеся задыхаются в ней от тесноты.

Наибольшей известностью и наибольшим почетом среди жителей нашего прихода пользуется одна старая леди, поселившаяся здесь задолго до того, как имена многих из нас занесли при крещении в церковную книгу. Приход наш находится в городском предместье, а старая леди живет в одном из тех хорошеньких домиков, что стоят в самом лучшем его переулке. Домик этот ее собственный, и все в нем, за исключением самой хозяйки, чуть постаревшей за последние десять лет, остается таким же, как было при жизни старого джентльмена — его хозяина. Маленькая гостиная, где старая леди обычно проводит дни, являет собой образец нерушимого покоя и порядка; ковер там покрыт суровой холстиной, рамы зеркал и портретов аккуратно обтянуты желтой кисеей; стол освобождается от чехла лишь в тех случаях, когда его раздвижные доски натирают скипидаром и воском, каковая операция проводится через день ровно в половине десятого утра; разные безделушки и сувениры занимают раз и навсегда отведенные им местечки. Бо̀льшая часть этих безделушек — подарки девочек с той же улицы, но двое старинных часов (которые показывают разное время, причем одни на четверть часа отстают, а вторые на четверть часа спешат), маленькая литография — принцесса Шарлотта и принц Леопольд * в королевской ложе театра Друри-Лейн — и еще два-три сувенира уже многие годы украшают эту гостиную. Старая леди сидит здесь целыми днями и быстро вяжет что-то, глядя на свое вязанье сквозь очки. Летом кресло ее передвигают поближе к окну, и стоит ей только увидеть, что вы поднимаетесь по ступенькам крыльца, как она бежит открыть вам дверь, не дожидаясь вашего стука (разумеется, если вас любят в этом доме), и так как вы утомились после прогулки по жаре, вам прежде всего дадут выпить два стаканчика хереса, и лишь тогда позволят приступить к беседе. И в вечерние часы она встретит вас приветливо, но вид ее покажется вам более серьезным, а на столе вы увидите

открытую библию, из которой Сара, такая же любительница раз и навсегда заведенных порядков, как ее хозяйка, ежедневно прочитывает вслух две-три главы.

Гостей старая леди почти не принимает, если не считать вышеупомянутых девочек, а им каждой назначен определенный день для визита, и малышки ждут не дождутся своей очереди, считая эти приглашения к чаю величайшим удовольствием в жизни. Сама старая леди редко куда ходит дальше, чем через дом справа и слева, а когда ее приглашают туда на чаепитие, Сара бежит вперед и громко стучит в дверь, чтобы ее хозяйка, боже упаси, не простудилась, дожидаясь, пока ей откроют. Старая леди чрезвычайно щепетильна в вопросах этикета — на каждое приглашение следует ответный прием, и когда она просит пожаловать к себе мистера и миссис таких-то и супружескую чету такую-то, обе они с Сарой наводят блеск на спиртовку и чайник, перемывают праздничный чайный сервиз, сметают пыль с доски для игры в «Папессу Иоанну» * и торжественно принимают гостей в самой парадной комнате. Родных у старой леди раз-два и обчелся, они разбросаны по всей Англии и редко видятся с ней. О сыне, который служит в Индии, она отзывается как о прекрасном молодом человеке с завидной внешностью — в профиль вылитый покойный отец, вон его портрет над буфетом... и тут же добавляет, грустно покачивая головой, что ей много пришлось перестрадать из-за сына, и был такой случай, когда он чуть не разбил ее материнское сердце, но оно, с помощью божьей, преодолело тяжкое испытание, и теперь лучше об этом не вспоминать. На попечении старой леди много бедняков, и по субботам, когда она возвращается с рынка, в передней у нее, как на дворцовом приеме, толпятся старики и старушки, ожидающие своего еженедельного вспомоществования. Ее имя всегда возглавляет подписные листы на благотворительные цели, и ее взносы в пользу «Общества по распределению угля и супа в зимние месяцы» всегда самые щедрые. Она пожертвовала двадцать фунтов стерлингов на орган для нашей приходской церкви и, услышав в первую же воскресную службу, как органист аккомпанирует детскому хору, так расчувствовалась, что старушке, хранящей ключи от скамей, пришлось под руку вывести ее

на свежий воздух. Появление ее в церкви по воскресным дням всякий раз вызывает легкий шум на боковых скамьях, так как бедняки, сидящие там, встают, и кто отвешивает поклон, кто приседает, а тем временем хранительница ключей ведет старую леди на ее постоянное место, сама делает почтительный реверанс и уходит, прикрыв за собой дверцу. Точно такая же церемония повторяется и после конца службы. В сопровождении семьи, которая живет через дом от нее, старая леди покидает церковь и, для начала спросив самого юного своего спутника, откуда священник взял текст для проповеди, всю дорогу обсуждает ее.

Так проходит эта скромная жизнь, в которую вносят разнообразие только ежегодные поездки в какое-нибудь тихое местечко у моря. Вот уже много лет ничто не нарушает ее мирного течения, и не далек тот день, когда она подойдет к концу. Старая леди ждет своего последнего часа спокойно, бестрепетно. Надежды не обманут ее, ибо страшиться ей нечего.

Теперь мы познакомим вас с фигурой, весьма примечательной в нашем приходе, хоть и нисколько не похожей на старую леди. Это обитатель соседнего с ней дома — морской офицер в отставке, чье беззастенчивое и даже дерзкое поведение иной раз вносит заметное расстройство в ее хозяйственные дела. Начать с того, что отставной капитан имеет привычку курить сигары в садике перед домом, и когда после курения его вдруг одолевает жажда — а это бывает довольно часто,— он дотягивается тростью до молотка на двери своей соседки и требует, чтобы ему подали через ограду стакан эля. Вдобавок к этой бесцеремонной повадке он считает себя мастером на все руки или, пользуясь его же словами, «настоящим Робинзоном Крузо», и больше всего на свете любит производить разные опыты во владениях старой леди. Так однажды утром он поднялся чуть свет и высадил на клумбы перед ее домом распустившиеся ноготки, а она, выглянув утром в окно, приняла их с перепугу за какую-то странную сыпь, высыпавшую за ночь у нее в саду. В другой раз этот мастер на все руки разобрал часы с недельным заводом, стоявшие у старой леди на лестничной площадке, заявив, будто бы они нуждаются в чистке, и собрал их снова, но

сборка была произведена таким удивительным, ранее никому не известным способом, что с тех пор часовая стрелка никак не хочет отставать от минутной. Увлекшись ни с того ни с сего разведением шелковичных червей, он по нескольку раз на дню посещал старую леди и показывал ей своих питомцев, причем каждое такое посещение кончалось тем, что два-три червяка уползали у него из коробочки. Вследствие этого однажды утром на лестнице был обнаружен весьма дородный червяк, который поднимался по ступенькам, видимо решив проведать своих друзей, так как при дальнейшем обследовании выяснилось, что его сородичи устроились на жительство по всему дому. Старая леди, доведенная шелковичными червями до полного отчаяния, уехала к морю, и пока она отсутствовала, предприимчивый сосед ухитрился стереть начисто ее имя с дверной дощечки, задавшись целью придать ей блеск с помощью азотной кислоты.

Но все это пустяки по сравнению с теми бесчинствами, которые старый капитан позволяет себе на общественном поприще. Он не пропускает ни одного собрания прихожан, спорит с представителями власти, мечет громы и молнии на церковных старост, обвиняя их в расточительстве, грозит судом письмоводителю, заставляет сборщика налогов обивать пороги своего дома, и когда тот окончательно падает духом, посылает ему деньги через третье лицо; придирается к каждой воскресной проповеди, говорит, что органист играет так, будто у него нет ни стыда, ни совести, клянется — хоть на пари! — что сам он споет псалмы лучше всех детей вместе взятых, как мальчиков, так и девочек,— словом, ведет себя самым вызывающим и непозволительным образом. Но этого мало: питая глубокое уважение к старой леди, он хочет видеть в ней единомышленницу и, то и дело появляясь у нее в гостиной с газетой в руках, часами разглагольствует о политике. Впрочем, несмотря на все это, капитан человек добрый, отзывчивый, и хотя старая леди частенько огорчается по его милости, в основном между ними царит полное душевное согласие, и когда у нее отляжет от сердца после очередной его выходки, она так же незлобиво подсмеивается над ним, как и прочие наши прихожане.

ГЛАВА III

Четыре сестры

В том переулке, где среди прочих домов стоят дома старой леди и ее беспокойного соседа, проживает, без всякого сомнения, больше примечательных личностей, чем на всех остальных улицах нашего прихода взятых вместе. Но так как мы не имеем возможности уделить приходским делам более шести очерков, разумно будет, пожалуй, выбрать из числа этих личностей наиболее примечательных и без дальнейших предисловий познакомить с ними читателей.

Итак, четыре мисс Уиллис поселились в нашем приходе тринадцать лет назад. Старинная поговорка о том, что волна и время людей не дожидаются, справедлива, увы, и для прекрасной половины рода человеческого; а мы при всем желании не можем утаить то обстоятельство, что и тринадцать лет назад четыре мисс Уиллис были не столь уж юны. Долг приходского летописца обязывает нас прежде всего к точности, и потому, отбросив все иные соображения, мы вынуждены сообщить, что тринадцать лет назад авторитеты в матримониальных делах считали положение младшей мисс Уиллис уже весьма близким к критическому; что же касается старшей из сестер, то она решительно была признана безнадежной. Но так или иначе девицы Уиллис наняли в нашем приходе дом — и тотчас же закипела работа; все заново побелили, перекрасили, переклеили, стены в комнатах обшили деревянными панелями, мраморные доски вымыли, каминные решетки сняли, а вместо них поставили медные дверцы, такие блестящие, что в них можно было смотреться, как в зеркало; в садике за домом посадили четыре дерева, в садике перед домом усыпали гравием дорожки; привезли несколько фургонов нарядной мебели, навесили на окна шторы; мастера, чьими руками совершались все эти приготовления, починки и переделки, поделились с соседскими служанками своими впечатлениями насчет того, что сестры Уиллис устраиваются на широкую ногу;

служанки рассказали об этом своим госпожам, госпожи — своим приятельницам, и вскоре по всему приходу прошла молва, что в доме № 25 на Гордон-Плейс поселяются четыре незамужних обладательницы огромного состояния.

Наконец, девицы Уиллис переехали, и жизнь пошла своей чередой. Дом мог служить образцом аккуратности — и четыре мисс Уиллис тоже. Все в нем было церемонным, чопорным, холодным — и четыре мисс Уиллис тоже. Никогда не случалось, чтоб хоть один стул оказался не там, где ему надлежало быть; и никогда не случалось, чтобы хоть одна мисс Уиллис оказалась не там, где надлежало быть ей. В один и тот же час они всегда сидели на одних и тех же местах и занимались одним и тем же делом. Старшая мисс Уиллис вязала, вторая рисовала, две младшие играли в четыре руки на фортепьяно. Казалось, они сговорились скоротать зиму жизни вместе, и с тех пор ни одна из них не существует сама по себе. Они были точно три грации, которых вдруг стало на одну больше,— три парки с прибавлением четвертой,— сиамские близнецы в удвоенном количестве. У старшей мисс Уиллис разливалась желчь — и тотчас же у всех четырех мисс Уиллис наблюдалось разлитие желчи. На старшую мисс Уиллис нападала хандра и молитвенное усердие — и все четыре мисс Уиллис принимались хандрить и усердствовать в молитвах. То, что делала старшая, служило примером для всех остальных; то, что делал кто-либо посторонний, становилось предметом дружного осуждения. Так они и жили потихоньку, блаженствуя в своем ледяном спокойствии и время от времени подмораживая соседей, так как им случалось и выезжать в гости и «запросто» принимать у себя. Три года миновали подобным образом — и вдруг произошло совершенно необычайное и непредвиденное событие. В доме девиц Уиллис появились признаки весны; мороз понемногу спал, и началась бурная оттепель. Возможно ли! Одна из четырех мисс Уиллис сделалась невестой!

Откуда взялся будущий муж, какие чувства могли воспламенить беднягу и какая нить рассуждений помогла девицам Уиллис дойти до мысли, что кто-то может жениться на одной из них, не став при этом мужем всех

четырех,— на эти сложные вопросы мы не беремся ответить; но истина такова, что мистер Робинсон (джентльмен с положением, солидным окладом по должности и сверх того некоторыми личными средствами) был принят в доме,— что четыре мисс Уиллис получали от упомянутого мистера Робинсона обычные в таких случаях знаки внимания,— что соседи из кожи вон лезли, стараясь дознаться, которая именно из четырех мисс Уиллис является счастливой избранницей, и что трудностей, связанных с решением этой задачи, ничуть не уменьшило заявление, сделанное старшей мисс Уиллис: «Мы выходим замуж за мистера Робинсона».

Случай был в самом деле незаурядный. Сестер настолько привыкли не отделять друг от друга, что весь переулок — не исключая даже старой леди — положительно изнывал от любопытства. Вопрос обсуждался на каждом маленьком сборище, за карточным ли столом, за чашкой ли чая. Пожилой джентльмен, увлекавшийся разведением шелковичных червей, не колеблясь, высказал твердую уверенность в том, что мистер Робинсон — выходец с Востока и в его намерения входит жениться на всех четырех сестрах сразу; прочие же обитатели переулка глубокомысленно качали головами, считая все дело в высшей степени загадочным и выражая надежды на благополучный его исход; разумеется, все это выглядит очень странно, но было бы невеликодушно выносить какие-либо суждения, не имея для того вполне твердых оснований, и во всяком случае все мисс Уиллис уже достаточно взрослые, чтобы отвечать за свои поступки, и в конце концов кому какое дело, и так далее и тому подобное.

Но вот в одно прекрасное утро, ровно без четверти восемь, две кареты со стеклами подъехали к дому девиц Уиллис, куда уже за десять минут до того прибыл в кэбе мистер Робинсон, одетый в голубой фрак и казимировые панталоны, каковой костюм дополнялся бальными туфлями, белоснежным шейным платком и перчатками светлой кожи. По свидетельству служанки из № 23, которая как раз в это время подметала крыльцо, его поведение говорило о крайней взволнованности. Из того же источника не замедлили поступить сведения, что кухарка, отворившая дверь, была в щегольском головном уборе,

украшенном бантом небывалых размеров и нимало не похожем на скромный чепец, предписанный домашними правилами девиц Уиллис для обуздания прихотливых вкусов, проявляемых обычно домашней прислугой женского пола.

Новость быстро распространилась от дома к дому. Было совершенно ясно, что торжественный день наступил. Все население переулка заняло наблюдательные посты у прикрытых шторами окон верхних и нижних этажей и с нетерпением ожидало развития событий.

Наконец, дверь дома девиц Уиллис отворилась; отворилась и дверца передней кареты. Два джентльмена и соответственно две дамы — должно быть, ближайшие друзья. Стукнула подножка, хлопнула дверца, карета отъехала, и вторая заняла ее место.

Снова отворилась парадная дверь — переулок затаил дыхание... мистер Робинсон под руку со старшей мисс Уиллис! «Я так и думала,— сказала дама из № 19,— я всегда говорила, что он женится на старшей».— «Ну, знаете ли!» — воскликнула молодая дама из № 18, обращаясь к молодой даме из № 17. «Да уж, знаете ли!» — отозвалась молодая дама из № 17, кивая молодой даме из № 18. «Это просто неслыханно!» — вскричала неопределенных лет старая дева из № 16, присоединяясь к их разговору. Но как описать общее изумление, когда на глазах у целого переулка мистер Робинсон подсадил в карету *всех четырех* мисс Уиллис одну за другой, а затем и сам втиснулся в уголок, после чего вторая карета резво покатила вслед за первой, которая в свою очередь резво катила прямо к приходской церкви. Как передать замешательство, охватившее священника, когда *все четыре* мисс Уиллис преклонили колена перед алтарем и вполне внятно стали повторять обеты, предусмотренные брачной церемонией,— и какими словами изобразить смятение, поднявшееся, когда (уже после того, как были устранены возникшие в силу этого затруднения и обряд благополучно пришел к концу) *все четыре* мисс Уиллис ударились в слезы, так что стены божьего дома загудели от их дружных рыданий!

Однако знаменательное событие ничего не изменило в жизни сестер; они продолжали — теперь уже вкупе с

мистером Робинсоном — жить в том же доме, и замужняя сестра, кто бы она ни была, по-прежнему никогда нигде не показывалась иначе, как в обществе трех остальных, а потому весьма вероятно, что соседям так и не пришлось бы выяснить, которая же из мисс Уиллис сделалась миссис Робинсон, если бы не одно весьма деликатное обстоятельство, возможное, впрочем, даже в лучших семьях. На исходе третьей четверти года свет истины забрезжил, наконец, перед обитателями переулка, и об известном вопросе стали говорить, как о чем-то само собой разумеющемся, проявляя особый интерес к здоровью миссис Робинсон — урожденной мисс Уиллис-младшей. Каждое утро, часов в девять-десять, то одна, то другая соседская служанка, взбежав на крыльцо дома № 25, спешила передать «привет от хозяйки, и нельзя ли узнать, как чувствует себя сегодня миссис Робинсон». На что неизменно следовал ответ: «Привет от миссис Робинсон, и скажите, что настроение у нее бодрое и чувствует она себя не хуже, чем вчера». Не слышались больше звуки фортепьяно, отложены были спицы, заброшено рисованье, и любимой забавой всего семейства стало изготовление швейных изделий миниатюрнейшего размера. В гостиной теперь не всегда царил прежний образцовый порядок, и, явившись с визитом в утренний час, можно было увидеть на столе, под небрежно наброшенной газетой, два-три крохотных чепчика, чуть побольше, чем на средней величины куклу, с узким кружевцем, вшитым сзади в форме подковы, или же белое платьице несообразной с шириною длины, с тесемочками у ворота и оборкой на подоле; а однажды нам на глаза попалась длинная полоса белой материи с голубой каймой по краям, назначение которой мы никак не могли угадать. Затем прошел слух, что местного эскулапа, мистера Доусона из углового дома, где над входом висит разноцветный фонарь, чаще прежнего стали беспокоить по ночам; и, наконец, однажды, в третьем часу утра, переполошив весь переулок, к дверям миссис Робинсон подъехал извозчичий экипаж, и из него вылезла толстая старуха в накидке и ночном чепце, с узелком в одной руке и деревянными калошами в другой, всем своим видом показывавшая, что ее только что подняли с постели ввиду неотложной надобности.

Утром, выйдя на улицу, мы увидели, что дверной молоток обмотан старой лайковой перчаткой, и по своей неопытности (мы в то время еще не успели обзавестись семьей) никак не могли понять, что бы это могло значить, пока не услышали голос старшей мисс Уиллис, с величайшим достоинством самолично отвечавшей на очередной вопрос: «Привет от *меня,* и передайте, что миссис Робинсон чувствует себя как нельзя лучше и малютка тоже». Тем самым все разъяснилось для нас, как и для прочих обитателей переулка, и нам даже показалось странным, как это мы раньше не догадались, в чем дело.

ГЛАВА IV

Выборы приходского надзирателя

Недавно в нашем приходе имело место знаменательное событие. Закончилась ожесточенная борьба; совершился переворот, поставивший все вверх дном. Была одержана блистательная победа, о которой страна или, скажем, приход — это все едино — долго будет хранить память. У нас состоялись выборы: выборы приходского надзирателя. Приверженцы старой системы надзора были разгромлены в своей цитадели, и поборники новых великих принципов окончательно взяли верх.

Наш приход, как и все другие приходы,— это свой обособленный мирок, и не со вчерашнего дня он расколот на две партии; и хотя вражда между ними порой и утихала, она неизменно вспыхивала с удвоенной силой, как только представлялся удобный случай. Вокруг местных налогов — на ночных сторожей, на бедных, на церковь, на освещение улиц, починку мостовых, вывоз нечистот — то и дело разгоралась жаркая битва, а беспощадность, с какой велась борьба по вопросам опеки, просто не поддается описанию.

Лидер правящей партии — испытанный покровитель церковных старост и стойкий защитник попечителей — живет по соседству с нами. Этому почтенному старцу принадлежат с полдюжины домов на нашей стороне улицы,

и он всегда ходит по другой, откуда особенно удобно сразу охватить взором все его владения. Он высок ростом, сухопар и костляв, у него острые, пронырливые глазки и пытливый нос, самой природой предназначенный для того, чтобы соваться в чужие дела. Он глубоко сознает свою ответственность за жизнь прихода и весьма высокого мнения об ораторском искусстве, коим он на собраниях услаждает слух прихожан. Кругозор его мы назвали бы скорее ограниченным, чем широким, а взгляды — скорее косными, чем передовыми. Ему случалось ратовать за свободу печати, но он же требует отмены гербового сбора на периодические издания, ибо, говорит он, ежедневные газеты, которые ныне взяли на откуп общественное мнение, никогда полностью не печатают отчетов о приходских собраниях. Он надеется, что его не заподозрят в себялюбивых побуждениях, но ведь нельзя же отрицать, что *есть* такие речи — хотя бы, к примеру, его собственная знаменитая речь о жалованье пономарю и обязанностях оного,— которые публика прочла бы не только с удовольствием, но и с пользой для себя.

Самый главный его соперник в общественной деятельности — капитан Пардей, тот самый отставной моряк, которого мы уже отрекомендовали нашим читателям. Так как моряк решительный противник законной власти, кем бы она ни была представлена, а наш друг — неизменный приверженец таковой, опять-таки вне зависимости от личных качеств ее носителей, то надо ли удивляться, если между ними частенько происходят жестокие стычки. По их милости четырнадцать раз в церковном совете дебатировался вопрос об отоплении церкви водой вместо угля; и оба оратора произносили столь пламенные речи о свободе и бюджете, о расточительстве и горячей воде, что весь приход пребывал в крайнем возбуждении. В другой раз капитан, состоя членом инспекционной комиссии, после обследования работного дома выдвинул против своего врага, бывшего в то время попечителем, ряд тяжких обвинений, открыто заявил о том, что отказывает в доверии нынешним властям, и, в частности, потребовал обнародования рецепта, по которому варят похлебку для бедных «с приложением всех относящихся к сему бумаг». Попечитель решительно отверг это требование; он подкре-

пил свои доводы ссылками на прецеденты, на прочно установившийся обычай и отказался предъявить бумаги на том основании, что всякое служение обществу станет невозможным, если бумаги столь сугубо частного свойства, как те, которыми обмениваются смотритель работного дома и стряпуха, будут вытаскивать на свет божий по первому слову любого члена совета. Резолюция была отклонена большинством в два голоса; тогда капитан, никогда не признающий себя побежденным, внес новое предложение — о создании комиссии для расследования всего вопроса в целом. Дело приняло серьезный оборот; бесконечные дебаты происходили и на собраниях прихожан и на заседаниях совета; ораторы произносили речи, отражали нападки, переходили на личности, давали объяснения, и страсти разгорались все сильнее, пока под самый конец, когда уже казалось, что решение вот-вот будет принято, члены совета не спохватились, что они безнадежно запутались в процедурных тонкостях и что из этого тупика им не выбраться, не уронив своего достоинства. Поэтому прения были прекращены, вопрос остался открытым, и все с важностью разошлись, очень довольные тем, что потрудились на славу.

Таково было положение в нашем приходе недели две тому назад, когда скоропостижно скончался Симмонс, приходский надзиратель. Бедняга надорвался, водворяя в карцер сильно захмелевшую пожилую обитательницу работного дома. Уже ослабленный преклонным возрастом организм не выдержал такого потрясения, тем более что незабвенный покойник, ревностно и неутомимо руководивший пожарной командой, схватил жестокую простуду, нечаянно направив струю воды не на огонь, а на собственную особу; и вот к исходу второго дня церковный совет получил весть о том, что Симмонс приказал долго жить.

Не успел покойный надзиратель испустить последний вздох, как появились претенденты на освободившуюся должность, причем все они, домогаясь поддержки избирателей, преимущественно восхваляли свою многосемейность, словно должность приходского надзирателя была учреждена с единственной целью — содействовать размножению человеческой породы. «Голосуйте за Банга! Пятеро

детей!», «Голосуйте за Гопкинса! Семеро детей!!», «Голосуйте за Тимкинса! Девятеро детей!!!» Подобные воззвания, выведенные черными буквами по белому полю, во множестве красовались на стенах домов и в окнах больших лавок. По общему мнению, победа должна была достаться Тимкинсу: несколько многодетных матерей уже почти обещали ему свою поддержку, и девятка ребятишек несомненно выиграла бы гонки, не появись внезапно новый плакат, возвестивший о еще более достойном кандидате: «Голосуйте за Спраггинса! Десять человек детей (из них пара двойняшек) и жена!!!» Кто мог устоять перед этим? Десяток детей и сам по себе покорил бы все сердца, а тут еще вдобавок прихотливая игра природы, о которой так трогательно сообщалось в скобках, и не менее трогательное упоминание о супруге кандидата! Никто не сомневался в исходе выборов. Спраггинс сразу стал фаворитом, и личное участие миссис Спраггинс в предвыборной кампании (причем каждый мог воочию убедиться, что в недалеком будущем следует ожидать нового прибавления семейства) еще подогрело всеобщие симпатии к нему. Остальные кандидаты, кроме одного только Банга, отчаявшись, вышли из игры. День выборов был назначен; и та и другая сторона энергично и настойчиво вербовала голоса.

Виднейшие прихожане, разумеется, тоже заразились лихорадочным волнением, которое всегда царит в предвыборные дни. Что касается прекрасного пола, то большинство прихожанок с самого начала высказались за кандидатуру Спраггинса; поддержал ее и экс-попечитель на том основании, что должность приходского надзирателя спокон веку достается отцам многочисленного семейства; нельзя не сознаться, что в других отношениях Спраггинс своему сопернику и в подметки не годится, но все же это давний обычай, и совершенно незачем давние обычаи нарушать. Отставной моряк только того и ждал. Он немедленно объявил себя приверженцем Банга, самолично обходил избирателей, писал на Спраггинса пасквили и уговорил своего мясника нацепить их на деревянные спицы, которыми скрепляют куски туши, и выставить для всеобщего обозрения в витрине; свою соседку, старую леди, он чуть не довел до сердечного припадка, разоблачая чудо-

вищные злодеяния покровителей Спраггинса; он кидался как угорелый во все стороны — вправо и влево, вверх и вниз, взад и вперед, и здравомыслящие жители прихода в один голос предсказывали, что он задолго до выборов умрет от воспаления мозга.

Наконец, день выборов наступил. Это уже была не просто борьба за одного из соперничающих кандидатов, а решающий бой между правящей партией и оппозицией. Вопрос стоял так: либо тлетворное влияние попечителей, засилие церковных старост и вопиющий деспотизм приходского письмоводителя превратят выборы в пустую формальность и церковный совет навяжет приходу своего ставленника, дабы тот выполнял волю совета и проводил его политику,— либо прихожане, бесстрашно отстаивая свои неоспоримые права, изберут собственного, независимого приходского надзирателя.

Выдвижение кандидатов должно было состояться в ризнице, но набежала такая огромная толпа любопытных, что решили перейти в церковь, и там с надлежащей торжественностью и открылось собрание. Появление церковных старост и попечителей — нынешних и отставных,— за которыми следовал Спраггинс, возбудило всеобщее настороженное внимание. Спраггинс — щуплый человечек в порыжелом черном сюртуке, с длинным бледным лицом, всем своим видом выражал усталость и заботу, что равным образом можно было приписать и многодетности кандидата и его тревоге за исход выборов. Соперник его щеголял в ярко-синей, усеянной блестящими пуговицами тужурке с капитанского плеча, в белых штанах и полусапожках. Его открытое лицо дышало таким невозмутимым спокойствием, в его полной достоинства осанке была такая уверенность, а взор столь красноречиво говорил: «Ну, теперь держитесь!», что сторонники его приободрились, а противники явно пали духом.

Поднялся один из бывших церковных старост и предложил кандидатуру Томаса Спраггинса на пост приходского надзирателя: он знает Спраггинса давно, много лет приглядывался он к нему, а в последние месяцы приглядывается вдвойне бдительно. (Тут один из прихожан спросил с места, уж не двоится ли у оратора в глазах, но это замечание потонуло в хоре гневных голосов, требующих

тишины.) Он может только повторить, что годами наблюдал Спраггинса, и заверяет прихожан, что в жизни своей не встречал человека более порядочного, добронравного, более воздержанного, скромного и уравновешенного. И где еще найдешь отца столь многочисленного семейства? (Аплодисменты.) Нашему приходу нужен деятель, на которого можно положиться. («Правильно!» — на скамьях партии Спраггинса, вперебивку с ироническими возгласами сторонников Банга.) Именно такого кандидата он и рекомендует на пост приходского надзирателя. («Верно!» — «Неверно!») Он не намерен, продолжал бывший церковный староста, по примеру прославленных ораторов прибегая к фигуре отрицания, касаться поведения некоторых личностей. Он не упомянет джентльмена, который некогда достиг высокого чина на службе его величеству; он не станет утверждать, что этот джентльмен недостоин звания джентльмена; он не скажет, что этот человек недостоин звания человека; он не обвинит его в крамоле; он не скажет, что он вносит смятение в жизнь прихода, и не только при нынешних обстоятельствах, но постоянно; он не скажет, что это один из тех вечно ропщущих и коварных умов, которые неизменно, где бы они ни появились, вызывают брожение и сеют смуту. Он не скажет, что в его черствой душе таится зависть, ненависть и злоба. Нет! У него одно желанье — чтобы все обошлось тихо и мирно, и поэтому он не скажет о нем ничего. (Аплодисменты.)

Речь капитана была выдержана в том же, истинно парламентском духе. Он не скажет, что изумлен словами предыдущего оратора; он не скажет, что возмущен до глубины души. (Аплодисменты.) Он не станет отвечать бранью на брань (продолжительные аплодисменты); он не напомнит о людях, некогда облеченных властью, но, к счастью, ныне лишенных ее, которые бесчинствовали в работном доме, мучили бедняков, разбавляли пиво, недопекали хлеб, на жаркое давали одни кости, работы спрашивали все больше, а похлебки наливали все меньше. (Гром аплодисментов.) Он не спросит, чего заслуживают подобные люди. (Голос с места: «Посадить на хлеб и воду».) Он не скажет, что, возбудив всеобщее негодование, они заслуживают быть изгнанными из прихода, кото-

рый они осквернили своим присутствием. («Так его! Задай ему перцу!») Он ни в чем не упрекнет несчастного простака, чью кандидатуру здесь выдвинули на должность... нет, он не скажет — послушного орудия церковного совета,— на должность приходского надзирателя. Он ни словом не обмолвится о его семействе; он не сошлется на то, что десять человек детей, двойняшки и жена в придачу — весьма дурной пример для бедняков. (Громкие возгласы одобрения.) Равным образом, он не станет подробно останавливаться на достоинствах своего кандидата, ибо вон он стоит, и при нем он не скажет того, что, быть может, хотел бы сказать в его отсутствии. (Тут мистер Банг, под прикрытием шляпы, приставил большой палец правой руки к кончику носа и, прищурив левый глаз, подмигнул соседу.) Известно, что кое-кто возражал против кандидатуры Банга на том основании, что у него всего только пятеро детей. («Ого!» — на скамьях оппозиции.) Он должен сознаться, что впервые слышит о существовании закона, в силу которого право на должность приходского надзирателя обусловлено точно установленным числом потомков; но даже если допустить, что обширное семейство обязательно для занимающего эту должность, он просит прихожан обратиться к фактам и принять во внимание некоторые бесспорные положения. Бангу тридцать пять лет, Спраггинсу,— которого он заверяет в своем глубочайшем уважении,— пятьдесят. Разве трудно предположить, более того — предсказать, что к тому времени, когда Банг достигнет такого же возраста, его потомство численностью, быть может, затмит потомство Спраггинса, которым тот похваляется. (Бурные аплодисменты, возгласы одобрения, женщины машут платочками.) В заключение своей речи капитан, под гром рукоплесканий, призвал всех ударить в набат, ринуться к урнам, сбросить с себя гнет тирании — либо навеки остаться рабами.

На другой день началось голосование; такого неистового волнения не бывало в нашем приходе с того самого памятного дня, когда мы составляли знаменитую петицию об отмене рабства, оказавшуюся столь ценной, что палата общин по предложению депутата от нашего округа постановила опубликовать ее. Капитан нанял две кареты и один кэб для сторонников Банга; кэб предназначался подвы-

пившим избирателям, кареты — пожилым избирательницам, и благодаря энергичным действиям капитана большинство старушек было доставлено к урнам и опять развезено по домам, прежде чем они успели опомниться и мало-мальски сообразить, что же, собственно, они сделали. Противная сторона упустила из виду эти меры предосторожности, что привело к печальным для нее последствиям; день выдался знойный, и многие прихожанки, которые тихим шагом направлялись в церковь с намерением голосовать за Спраггинса, соблазненные галантным приглашением занять место в карете, отдавали свои голоса Бангу. Надо сказать, что немалую роль сыграли и доводы капитана в пользу кандидата оппозиции; но исход выборов предопределило другое, а именно: позорная, бесчеловечная попытка церковного совета при помощи угроз оказать давление на избирателей. Было установлено, что приходский письмоводитель имел обыкновение каждую неделю покупать пышки на сумму в шесть пенсов у одной старухи, проживающей хоть и не в собственном, а наемном домике, но в ближайшем соседстве со старожилами прихода; и вот на прошлой неделе, когда она, как обычно, принесла пышки, ей было сообщено через посредство кухарки,— правда, путем таинственных намеков, но с достаточной ясностью,— что впредь аппетит письмоводителя на ее пышки будет целиком и полностью зависеть от того, за какого кандидата она подаст голос. Этим решилось все: общественное мнение, которое и раньше склонялось в пользу Банга, теперь твердо и единодушно стало на его сторону. Партия Банга объявила, что старухе обеспечена еженедельная продажа пышек на сумму в один шиллинг до конца ее земного бытия; прихожане открыто выражали свое негодование, и ничто уже не могло спасти Спраггинса от провала.

Напрасно миссис Спраггинс стояла в дверях церкви, держа на правой руке мальчика, а на левой девочку, одетых в одинаковые платьица и одинаковые, подобранные под цвет чепчики; ни двойняшки, ни сама она ни в ком больше не вызывали умиления. Подавляющее большинство голосов — четыреста двадцать восемь — было подано за Банга, и правое дело прихожан восторжествовало.

ГЛАВА V

Помощник судебного пристава

Волнение, вызванное выборами, улеглось, и поскольку в нашем приходе вновь воцарилось относительное спокойствие, мы можем теперь уделить внимание тем из прихожан, которые стоят в стороне от наших межпартийных схваток, а также от шума и суеты общественной жизни. С искренней радостью мы пользуемся случаем засвидетельствовать, что в собирании материала для этой работы нам оказал большую помощь сам мистер Банг, перед которым мы теперь в неоплатном долгу. Жизнь этого джентльмена всегда отличалась пестротой; он знавал переходы — не от мрачности к веселью, ибо никогда не был мрачен, и не от легкомыслия к суровости, ибо суровость вовсе ему не свойственна; нет, у него колебания бывали между крайней бедностью и бедностью сносной или, пользуясь его собственным, более красочным слогом,— между днями, «когда ходишь не евши и когда удается заморить червячка». Как сам он изволил выразиться, и притом весьма решительно, он «не из тех счастливчиков, которые, если нырнут под баржу с одного бока в чем мать родила, выплывают с другого бока в новеньком костюме и с талончиком на даровую порцию супа в жилетном кармане». Не принадлежит он и к тем, чей дух бесповоротно сломлен нуждой и горем. Просто он — один из тех беззаботных, никчемных, неунывающих людей, которые, как пробки, держатся на поверхности, а все, кому не лень, играют ими — швыряют туда и сюда, вправо и влево, то подкинут в воздух, то пустят ко дну, да только они всегда всплывают и, подпрыгивая на волнах, весело несутся дальше по течению. За несколько месяцев до того, как мистера Банга уговорили баллотироваться в приходские надзиратели, нужда заставила его пойти в помощники к судебному приставу, что позволило ему ознакомиться с положением чуть ли не всех беднейших обитателей прихода; и на эту-то его осведомленность больше всего ссылался его покровитель — капитан, когда стал склонять в его пользу общественное мнение. Не так давно случай столкнул нас с

этим человеком. С самого начала нас привлекло подкупающее нахальство, проявленное им во время выборов; мы не удивились, обнаружив при ближайшем знакомстве, что это неглупый и сметливый человек, наделенный изрядной долей наблюдательности; а после нескольких разговоров с ним нас поразила (как, вероятно, не раз поражала наших читателей при других обстоятельствах) способность некоторых людей не только сочувствовать переживаниям, им самим совершенно чуждым, но и понимать таковые. Выразив новоиспеченному чиновнику наше удивление по поводу того, что он когда-то служил в упомянутой нами должности, мы постепенно навели его на воспоминания о некоторых случаях из его практики. И так как по зрелом размышлении мы склонны считать, что лучше изложить их по возможности его собственными словами, нежели пытаться приукрасить, мы порешили озаглавить их

РАССКАЗ МИСТЕРА БАНГА

— Истинную правду изволили сказать, сэр,— так начал мистер Банг,— жизнь у помощника судебного пристава незавидная; и вам, конечно, не хуже моего известно, хоть вы этого и не говорите, что нашего брата ненавидят и гнушаются нами, потому что мы — все равно как вестники несчастья для бедного человека. Но что мне было делать, сэр? Не возьмись я за это дело, взялся бы другой, и никому бы от этого не было лучше; а раз я, беря под надзор чужое имущество, мог тем самым приумножать собственное свое имущество на три с половиной шиллинга в день и с помощью чужих невзгод мог облегчить невзгоды мои и моей семьи, неужели же мне было отказываться от этой работы? Видит бог, она мне никогда не нравилась, я все время присматривал себе что-нибудь получше, и как только нашел, так и бросил это занятие. А если грешно быть орудием в таком деле — не забудьте, я ведь только выполнял чужие распоряжения,— так правда и то, что для новичка во всяком случае должность наша несет в себе и наказание. Сколько раз мне хотелось, чтобы меня изругали или побили, я бы и слова не сказал, принял бы это как должное; но вот когда просидишь пять дней один в

комнате, где и старой газеты почитать не найдется и из окна ничего не видно, кроме задворок да крыш, а слышно только, как тикают старые стоячие часы, да время от времени плачет навзрыд хозяйка, или соседки за стеной утешают ее шепотом, чтобы «он» не услышал, да иногда вдруг отворится дверь, заглянет какой-нибудь малыш, посмотрит на тебя и удирает в испуге,— вот тут-то и начинаешь чувствовать себя подлецом и стыдиться, что родился на свет; огонь в зимнее время разводят такой, что только и остается вспоминать, как иногда у камина тепло бывает, а еду приносят с такой физиономией, точно желают тебе подавиться, да наверно и впрямь желают этого от всего сердца. Если попадутся люди особенно любезные, они в той же комнате стелют тебе на ночь постель, если нет — постель присылает начальство; но о том, чтобы умыться или побриться, и думать нечего, и все-то тебя сторонятся, и никто-то тебе слова не скажет, разве что зайдут в обед спросить, не хочешь ли ты добавка, да таким тоном, точно говорят: «Попробуй только сказать, что хочешь»; либо вечером придут справиться, не принести ли тебе свечу,— это после того, как ты уже битых три часа просидел в потемках. Я вот, бывало, сижу так и думаю, думаю, думаю, пока не станет мне тоскливо, как котенку, когда он залезет в прачечный котел, а его ненароком закроют крышкой. Впрочем, люди опытные, кто понаторел в этом деле, те вообще не думают. Некоторые даже говорили мне, что они и думать-то не умеют.

В свое время (продолжал мистер Банг) я предъявил немало ордеров на арест имущества и, разумеется, довольно скоро понял, что не все одинаково достойны жалости и что люди с приличным доходом, которые попадают в затруднительные положения и день за днем, неделю за неделей из них выпутываются, со временем так к этому привыкают, что им уже все нипочем. Помню, самый первый дом, где мне пришлось дежурить, был в этом приходе и принадлежал одному джентльмену, про которого каждый сказал бы, что он просто не может очутиться без денег, даже если бы постарался. Начальник мой Фиксем и я пришли туда утром, около половины девятого; я позвонил у черного хода; ливрейный слуга отворил дверь. «Хозяин дома?» — «Дома,— говорит слуга,— только он

сейчас завтракает».— «Это ничего,— говорит Фиксем,— вы ему доложите, что к нему пришел джентльмен и хочет поговорить с ним по личному делу». Слуга пялит глаза и оглядывается по сторонам,— не иначе как ищет, где же этот самый джентльмен, потому что Фиксема только слепой мог принять за джентльмена; а что до меня, так я и вовсе был франт не хуже огородного пугала. Но потом все-таки поворачивается и идет в малую столовую, уютную комнатку в конце коридора, а Фиксем (как у нас полагается) следует за ним и, не дав ему вымолвить «с вашего разрешения, сэр, тут какой-то человек хочет с вами поговорить», входит без доклада и с приятной улыбкой на лице. «Кто вы такой, черт возьми, и как вы смеете без разрешения входить в дом джентльмена?» — говорит хозяин, злющий, как бешеный бык. «Моя фамилия,— говорит Фиксем, а сам подмигивает хозяину, чтобы отослал слугу, и передает ему ордер, сложенный наподобие записочки,— моя фамилия Смит, а пришел я от Джонсона по известному вам делу Томпсона». Тот сразу смекнул. «Ах, вот что, говорит, ну, как Томпсон себя чувствует? Прошу вас, мистер Смит, садитесь. Джон, выйдите отсюда». Слуга ушел, а хозяин и Фиксем до тех пор глядели друг на друга, пока глаза не заслезились, а тогда выдумали новую забаву — повернулись к двери, где я все время стоял, и стали глядеть на меня. Наконец, джентльмен говорит: «Значит, сто пятьдесят фунтов?» — «Сто пятьдесят фунтов,— отвечает Фиксем,— плюс пошлины, проценты шерифу и прочие привходящие расходы».— «Гм,— говорит джентльмен,— это я могу уладить завтра к концу дня, не раньше».— «Очень сожалею, но на это время я буду вынужден оставить здесь своего человека,— говорит Фиксем, притворяясь, будто весьма этим опечален».— «Очень досадно,— говорит джентльмен,— потому что у меня сегодня гости и если они догадаются, как обстоит дело, я разорен». Он помолчал, а потом добавил: «Попрошу вас сюда на минутку, мистер Смит». Фиксем отошел с ним к окну и после долгих перешептываний, недолгого звона золотых монет и выразительных взглядов, брошенных в мою сторону, воротился и говорит: «Банг, вы, я знаю, малый расторопный и честный. Этому джентльмену требуется на сегодня лишний лакей — чистить серебро и подавать к

столу, так что ежели у вас найдется время,— говорит старик Фиксем, а сам ухмыляется во всю пасть и сует мне в руку два золотых,— он будет рад воспользоваться вашими услугами». Ну, я рассмеялся, и джентльмен тоже рассмеялся, и все мы рассмеялись, и Фиксем побыл там, пока я сходил домой приодеться, а когда я вернулся, Фиксем ушел; и я чистил серебро, и подавал к столу, и морочил прислугу, и никто даже и не заподозрил, по какому делу я здесь нахожусь, хотя была минута, когда все чуть-чуть не открылось: уже поздно вечером один из последних гостей спустился в сени, где я сидел, протянул мне полкроны и говорит: «Приведите мне, любезнейший, карету, и вот вам за труды». Я уже решил, что это уловка и меня просто задумали выпроводить на улицу, и собрался ответить ему в этом духе, не слишком вежливо, как вдруг вижу — хозяин дома (он-то все время был начеку) бежит вниз по лестнице в большой тревоге. «Банг!» — кричит он словно бы в ярости. «Сэр?» — говорю я. «Что же вы, черт возьми, оставили без присмотра серебро?» — «Я как раз хотел послать его за каретой»,— говорит второй джентльмен. «А я как раз хотел сказать...» — начал я, но хозяин меня перебил. «Пошлите кого-нибудь еще, дорогой мой, кого-нибудь еще». А сам, знай, подталкивает меня к двери. «Этому человеку я вверил все серебро и прочие ценные вещи и ни под каким видом не могу допустить, чтобы он выходил из дома. Банг, бездельник вы этакий, сейчас же идите и пересчитайте вилки в малой столовой». Тут я понял, что никакого подвоха не было, и, уж поверьте, от души посмеялся. Денежки наш джентльмен уплатил на следующий день, и на мою долю кое-что перепало; прямо скажу, более приятного дельца в нашей практике я не запомню (да и старик Фиксем, наверно, тоже).

Однако это — светлая сторона картины, сэр,— продолжал мистер Банг, отбросив хитрую мину и плутовские ужимки, с какими он рассказывал вышеизложенный случай,— а эту сторону мы, к сожалению, видим много, много реже, чем другую, темную. Любезность, которую можно купить за деньги, почти никогда не распространяется на тех, у кого денег нет; и беднякам недоступно даже такое утешение, как выпутываться из одной трудности в ожида-


George Cruikshank

нии следующей. Дежурил я раз в одном доме в Джордж-Корт — есть такой тесный, грязный тупичок позади газового завода,— так, боже мой, я, кажется, никогда не забуду, в какой нищете там жили люди! С них причиталась квартирная плата за полгода, два фунта и десять шиллингов или около того. Весь дом состоял из двух комнат, и так как коридора не было, верхние жильцы проходили через комнату хозяев; и всякий раз — а проходили они через комнату раза по три в четверть часа — они бранились и скандалили, потому что на их вещи тоже наложили арест и включили в опись. Перед домом был огороженный квадратик голой земли, по нему вела к двери дорожка, посыпанная золой, возле двери стояла кадка для дождевой воды. В окне болталась на провисшем шнуре полосатая занавеска, внутри на подоконнике примостился треугольный осколок зеркала. Надо полагать, что предназначалось оно для пользования, но вид у обитателей комнаты был до того замученный и несчастный, что даже если один раз им удавалось глянуть на свое лицо и не умереть со страху, едва ли они решались на это вторично. Было в комнате два-три стула, которые в лучшие свои дни стоили от восьми пенсов до шиллинга штука; был маленький некрашеный стол, пустой буфет в углу да кровать — из тех, что вечно встают дыбом, так что ножки у нее торчат в воздухе и вы можете либо стукаться о них головой, либо вешать на них шляпу; ни тюфяка, ни подушки, ни одеяла. Перед камином был постлан вместо коврика старый мешок, и четверо не то пятеро детей возились на земляном полу. Арест на имение наложили только для того, чтобы выселить семью из дома,— взять в уплату за долги было нечего; и здесь я пробыл целых три дня, хотя и это было всего лишь формальностью, потому что я, конечно, знал и все мы знали, что заплатить они никак не могут. На одном из стульев, у холодного очага, сидела старуха — такой страшной и грязной старухи я в жизни не видел — и все раскачивалась взад и вперед, взад и вперед без передышки, только изредка стиснет иссохшие свои руки, а потом опять раскачивается и все потирает себе колени, судорожно поднимая и опуская пальцы. По другую сторону очага сидела мать с грудным младенцем на руках, который плакал, пока не засыпал, а чуть проснувшись,

опять принимался плакать. Старухиного голоса я ни разу не слышал: она, как видно, совсем отупела; а что до матери, так лучше бы и ее так же пришибло, потому что с горя она превратилась в сущего дьявола. Доведись вам услышать, какими словами она ругала голых ребятишек, что ползали на полу, и увидеть, как она колотила малютку, когда он плакал от голода, вы бы ужаснулись не хуже моего. Так оно и шло. Дети время от времени жевали хлеб, да еще я отдавал им добрую половину обеда, который мне приносила жена; а женщина — та вовсе ничего не ела, и никто из них не ложился на кровать, и комнату за все время ни разу не подмели и не убрали. Соседям было не до них — им своей бедности хватало; а отца, как я понял из проклятий и брани верхней жилички, за несколько недель до того услали на каторгу. Когда положенное время истекло, хозяину дома, да и старику Фиксему тоже, стало страшно — что будет с этой семьей, и вот они подняли шум и добились, чтобы всех их взяли в работный дом. За старухой прислали носилки, и в тот же вечер Симмонс забрал детей. Старуху поместили в лазарет, где она вскорости умерла. Дети и по сей день в работном доме, им там по сравнению с прежним куда как хорошо. А с матерью никакого сладу не было. Раньше она как будто была смирная, работящая женщина, но от нужды и горя форменным образом помешалась. Ее раз пять сажали в карцер за то, что она запускала чернильницей в попечителей, кляла церковных старост и на всякого, кто подходил к ней, набрасывалась с кулаками; а потом у нее лопнула какая-то жила, и она тоже умерла, и это было избавление не только для нее самой, но и для других бедняков, особенно стариков и старух, которые, бывало, так и валились от нее во все стороны, точно кегли от удара шаром.

Да, это было достаточно скверно,— сказал мистер Банг и шагнул к двери, словно давая понять, что рассказ его почти окончен.— Это было достаточно скверно, но в другом доме, где мне пришлось дежурить, я видел одну леди, и ее тихое горе,— вы понимаете, что я хочу сказать, сэр,— растрогало меня куда больше. Неважно, где именно находился этот дом; я бы, пожалуй, даже предпочел не называть адреса, но дело было того же порядка.

Фиксем и я пришли туда, как обычно,— за квартиру год как не плачено; дверь отворила маленькая служанка, и нас ввели в гостиную, где было трое или четверо хорошеньких детишек, чистеньких, но очень уж скромно убранных, как, впрочем, и самая комната. «Банг,— сказал мне Фиксем вполголоса,— мне кое-что известно про это семейство, и мое мнение — ничего у нас здесь не выйдет».— «Вы думаете, им нечем заплатить?» — спросил я в тревоге — очень уж мне эти детишки понравились. Фиксем покачал головой и только хотел ответить, как дверь отворилась и вошла леди — в лице ни кровинки, одни глаза красные, видно пролила немало слез. Вошла она твердым шагом, впору мне самому так входить в комнату, плотно прикрыла за собою дверь и села, а лицо совсем спокойное, точно каменное. «Что такое, господа,— спрашивает, и голос ни чуточки не дрожит, просто на удивление,— неужели арест имущества?» — «Именно так, сударыня,— отвечает Фиксем. Леди посмотрела на него все так же спокойно, будто и не поняла его слов.— «Именно так, сударыня,— повторил Фиксем,— вот, сударыня, пожалуйте вам ордерок»,— и протягивает ей бумагу так учтиво, словно это газета, которую он обещал по прочтении передать джентльмену за соседним столиком.

У леди задрожали губы, когда она брала бумагу. Она глянула на нее, и Фиксем начал было объяснять ей что к чему, но я-то видел, что она, бедняжка, и не читает вовсе. «О господи!» — говорит она вдруг и, ударившись в слезы, роняет ордер и закрывает лицо руками.— О господи! Что же с нами будет?» Тут в комнату вошла девушка лет девятнадцати,— она, должно быть, все время слушала за дверью. На руках у нее был маленький мальчик, и она, ни слова не говоря, посадила его к матери на колени, а та прижала несчастного крошку к груди и заплакала над ним так, что даже старый Фиксем надел свои синие очки, чтобы скрыть две слезы, которые поползли у него по грязным щекам. «Дорогая мама,— говорит девушка,— вы же до сих пор держались так стойко. Ради всех нас, говорит, ради папы, прошу вас, не падайте духом».— «Нет, нет, конечно,— говорит леди, торопливо утирая слезы,— как это глупо с моей стороны, но мне уже лучше, гораздо лучше». И она заставила себя встать,

ходила с нами из комнаты в комнату, пока мы составляли опись, сама открывала все ящики, разобрала детскую одежку, чтобы облегчить нам работу; и все это так спокойно и невозмутимо, будто ничего и не случилось, только словно бы очень спешила. Когда мы опять спустились в гостиную, она помялась немножко, а потом говорит: «Господа, говорит, я перед вами виновата и боюсь, как бы у вас из-за этого не было неприятностей. Я от вас утаила единственную драгоценность, которая у меня осталась,— вот она.— И кладет на стол миниатюру в золотой рамочке.— Это, говорит, портрет моего покойного отца. Не думала я, что буду когда-нибудь благодарить бога за смерть того, с кого эта миниатюра писана, а теперь благодарю, и уже сколько лет, денно и нощно. Возьмите ее, сэр, говорит. Это лицо никогда не отвращалось от меня в болезни или в горе, и трудно мне, трудно отвратиться от него сейчас, когда, видит бог, того и другого ниспослано мне с избытком». Я слова не мог вымолвить, только поднял голову от бумаги, в которую вносил все по описи, и посмотрел на Фиксема; тот кивнул мне многозначительно, и я перечеркнул буквы М-и-н-и, которые уже успел написать, и оставил миниатюру на столе.

Так вот, сэр, короче говоря, пришлось мне провести положенное время и в этом доме; и хоть я человек неученый, а хозяин дома был и образованный и умный, я увидел то, чего он не видел; теперь-то он отдал бы полмира (если бы у него было полмира) за то, чтобы вернуть прошлое и быть повнимательнее. Я увидел, сэр, что жена его чахнет от забот, на которые никогда не жалуется, и обид, о которых никому не рассказывает. Я видел, что она умирает у него на глазах; я знал, что одним усилием он мог бы спасти ее, но он ничего не сделал. Я его не осуждаю; скорей всего, он просто неспособен был взять себя в руки. Она так долго предупреждала каждое его желание и все за него решала, что сам он уже ни на что не годился. Я, бывало, смотрю на нее, на бедное ее платьишко — оно и на ней-то выглядело затрапезным, а на всякой другой было бы вовсе неприлично,— и думаю, что, будь я джентльменом, у меня бы сердце кровью обливалось при виде женщины, которая была нарядной, веселой девушкой, когда я ее сватал, а теперь так изменилась, через свою

любовь ко мне. Погода стояла холодная, сырая, но все три дня она в этом своем жиденьком платье и стоптанных ботинках с утра до ночи где-то бегала, добывая деньги. Ну, что ж, деньги добыли и долг выплатили. Когда деньги принесли, вся семья собралась в той комнате, где я находился. Отец очень радовался, что недоразумение улажено, как — об этом он, наверно, и не знал; детишки опять повеселели; старшая дочка хлопотала по хозяйству,— в этот день они могли спокойно пообедать в первый раз с тех пор, как мы явились к ним с ордером; и матери, конечно, приятно было, что все так довольны. Но если я когда-нибудь видел смерть на лице женщины, так это в тот вечер, и на ее лице.

Я не ошибся, сэр,— продолжал мистер Банг, поспешно проведя рукавом по лицу.— Дела семьи поправились, пришла и удача. Но было поздно. Детишки эти растут теперь без матери, а отец отдал бы все, что с тех пор приобрел,— дом, имущество, деньги, все, чем он владеет или будет когда-нибудь владеть,— только бы вернуть жену, которой он лишился.

ГЛАВА VI

Дамские общества

Наш приход изобилует дамскими благотворительными учреждениями. Зимой, когда промочить ноги не редкость и простуда тоже обычное дело, у нас имеются дамское общество для раздачи супа, дамское общество для распределения угля и дамское общество для раздачи одеял; летом, когда много фруктов и не меньше желудочных заболеваний, у нас имеются дамская аптека и дамский комитет для посещения больных; и круглый год у нас существуют дамское общество детских экзаменов, дамское общество по распространению библий и молитвенников и дамское общество по снабжению новорожденных приданым на первый месяц жизни. Два последних общества несомненно важнее всех прочих; больше ли они приносят пользы, чем остальные, этого мы сказать не можем, зато берем на себя смелость утверждать самым

решительным образом, что шуму и суеты они производят больше, чем все остальные вместе взятые.

При поверхностном взгляде на вещи можно было бы предположить, что общество раздачи библий и молитвенников менее популярно, нежели общество по снабжению новорожденных; однако за последние год или два значение общества библий и молитвенников сильно возросло, совершенно неожиданно получив поддержку от оппозиции общества детских экзаменов, причем оппозиция эта выразилась в следующем: в то самое время, когда младший священник завоевал общие симпатии и все девицы нашего прихода вдруг прониклись необыкновенной серьезностью, дети неимущих прихожан сделались предметом усиленных забот и особенных попечений. Все три мисс Браун (восторженные поклонницы младшего священника) обучали, проверяли и перепроверяли несчастных детей до тех пор, пока мальчики не побледнели, а девочки не зачахли от зубрежки и переутомления. Три сестры Браун перенесли все это весьма стойко, потому что сменяли одна другую; зато дети, которых никто не сменял, выказывали все признаки усталости и тоски. Легкомысленные прихожане только посмеивались; но более вдумчивые остерегались выразить свое мнение, пока не будет случая выяснить, что об этом думает младший священник.

Такой случай не замедлил представиться. Младший священник читал с благотворительной целью проповедь для бесплатной школы и в этой благотворительной проповеди распространялся в самых теплых выражениях насчет весьма похвальной и неутомимой деятельности некоторых почтенных личностей. Вдруг с той скамьи, где сидели три сестры Браун, послышались рыдания; все заметили, что старушка прислужница побежала по среднему проходу к ризнице и сейчас же возвратилась со стаканом воды. Засим послышался тихий стон; еще две старушки бросились на помощь и вывели из церкви всех трех мисс Браун, а минут через пять ввели обратно, причем все три утирали глаза белыми платочками, словно возвращаясь с похорон. Если у прихожан оставались еще сомнения насчет того, к кому может относиться намек священника, то теперь эти сомнения рассеялись. Реши-

тельно всех обуяло желание экзаменовать приходских детей, и все в один голос упрашивали трех мисс Браун разделить школу на классы, а каждый класс препоручить ведению двух молодых девиц.

Мало знать — опасно, но раздавать должности, хотя бы и маленькие,— еще опаснее; три сестры Браун назначили в учительницы одних только старых дев, а молодых старательно оттерли. Девствующие тетушки торжествовали, любящие маменьки погрузились в бездну отчаяния, и трудно сказать, в какой бурной форме проявилось бы негодование общества, если бы не подвернулся случай, явно ниспосланный свыше и произведший полный поворот в общественном мнении. Миссис Джонсон Паркер, мать семерых прелестных дочерей — при этом незамужних,— поспешила сообщить мамашам других незамужних дочек, что пять стариков, шесть старух и несметное множество детей, сидящих на бесплатных местах рядом с ее скамьей, имеют обыкновение являться по воскресеньям в церковь без библии и даже без молитвенника. Разве это можно терпеть в цивилизованной стране? Разве это можно допускать в христианском государстве? Ни в коем случае! Немедленно образовалось дамское общество раздачи библий и молитвенников: председатель — миссис Джонсон Паркер, казначеи, ревизоры и секретарь — девицы Джонсон Паркер; собрали взносы, накупили книжек и роздали всем сидящим на бесплатных местах; и вот в следующее после этих событий воскресенье, во время чтения евангелия, поднялось такое шуршание страниц и такой шум от роняемых на пол книжек, что в течение пяти минут при всем желании невозможно было расслышать ни одного слова из службы.

Три сестры Браун и вся их партия заметили надвигающуюся опасность и попытались предотвратить ее насмешками и колкостями. «Хотя старикам и старухам роздали теперь книги, но читать они все-таки не умеют»,— говорили все три мисс Браун. «Ничего, они научатся»,— возражала миссис Джонсон Паркер. «Дети тоже не умеют читать»,— язвили три сестры Браун. «Не беда, их можно научить»,— отвечала миссис Джонсон Паркер. Коса нашла на камень. Девицы Браун устраивали детям публичный экзамен — симпатии прихожан склонялись к обще-

ству экзаменов. Девицы Джонсон Паркер публично раздавали библии — настроение изменялось в пользу раздачи библий. Перышко могло бы поколебать чашу весов, и перышко ее поколебало. Из Вест-Индии возвратился один миссионер: после женитьбы на богатой вдове его должны были принять в Диссидентское общество миссионеров. Джонсон-Паркеры начали делать авансы диссидентам. Цель у обоих обществ одна и та же, почему бы им не устроить объединенное собрание? Предложение было принято. О собрании оповестили всех, как полагается, и народу набилось столько, что можно было задохнуться. Миссионер вышел на эстраду, публика восторженно приветствовала его. Он пересказал разговор двух негров о благотворительных обществах, который ему удалось подслушать, стоя за изгородью; рассказ встретили шумным одобрением. Миссионер удачно подражал ломаному языку этих негров: от рукоплесканий едва не рухнул потолок. Насколько мы заметили, именно с этого времени (за одним только незначительным исключением) начала возрастать популярность общества раздачи библий, и при этом так, что слабая и несостоятельная оппозиция партии экзаменов только способствовала усилению этой популярности.

Большим достоинством общества снабжения новорожденных приданым является то, что оно менее зависит от колебаний общественного мнения, нежели общество раздачи библий или общество детских экзаменов; как бы там ни было, у него нет недостатка в клиентах и всегда найдется на кого излить свои щедроты. Наш приход один из самых населенных в столице и ее окрестностях, и надо сказать, что он поставляет даже несколько больший процент новорожденных, чем ему полагается. А следовательно, общество снабжения новорожденных приданым процветает, и на долю его членов выпадает множество самых завидных хлопот и беготни. Считая, по-видимому, что время можно делить только на месяцы, общество проводит ежемесячные чаепития, на которых заслушиваются ежемесячные отчеты, избирается секретарь на весь следующий месяц и тщательно осматриваются те ящички с бельем, которые остались невыданными в этом месяце.

Нам не приходилось бывать на этих собраниях, куда мужчины, ясное дело, не допускаются, но мистера Банга раза два приглашали в дамский комитет, и на основании его свидетельства мы беремся утверждать, что дамские собрания ведутся по всем правилам и в большом порядке: там ни под каким предлогом не дозволяется говорить больше чем четверым ораторам зараз. Постоянный комитет состоит исключительно из замужних дам, однако в почетные члены принимают и незамужних, главным образом молодых девиц в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет, частью потому, что они весьма полезны для пополнения запасов белья и посещения рожениц; частью потому, что весьма желательно познакомить их с самых юных лет с ожидающими их более серьезными женскими обязанностями; а частью и потому, что, как нам известно, предусмотрительным маменькам нередко удавалось козырнуть этим обстоятельством в своих матримониальных махинациях.

Вдобавок к ежемесячной выдаче ящичков с бельем (которые всегда бывают выкрашены в голубой цвет, причем название общества выписано большими белыми буквами на крышке) общество иногда посылает своим подопечным бульон и напиток, состоящий из теплого пива, пряностей и яичных желтков с сахаром, именуемый «глинтвейном». И тут опять требуются услуги почетных членов общества, которые только рады быть полезными. Навещать новорожденных посылают целые депутации, по две и по три девицы, и тут начинаются такие пробы бульона и глинтвейна, такое усиленное помешивание чего-то в маленьких кастрюлечках на огне, такое одевание и раздевание младенцев, такое укутывание, пеленание и зашпиливание, такое нянченье и согревание ножек и ручек перед огнем, такая восхитительная смесь болтовни и стряпни, суматохи, важничанья и ненужной суеты, какие нигде больше не могут доставить столько удовольствия!

Соперничая с этими двумя учреждениями и делая, так сказать, последнее усилие для завоевания популярности в приходе, общество экзаменов на днях решило устроить большой публичный экзамен для приходских детей. С согласия приходского начальства и при его содействии для

этой цели был отведен большой класс начальной школы. Приглашения были разосланы всем видным прихожанам, включая, само собой разумеется, и главарей двух остальных обществ, в назидание коим и устраивалась вся церемония; случай был такой, что непременно ожидалось большое стечение публики. Полы были вымыты чисто-начисто еще накануне, под непосредственным наблюдением трех сестер Браун; скамейки для посетителей расставлены рядами; образцы ученических прописей старательно выбраны и не менее старательно подправлены, так что изумилась не столько публика, которая их читала, сколько дети, которые их писали; задачи на сложение именованных чисел заучивали и переучивали до тех пор, пока все дети не вытвердили ответы наизусть; и вообще приготовления делались на широкую ногу и стоили многих трудов. Наступило утро: детей мыли желтым мылом, оттирали фланелью, а потом уже насухо вытирали полотенцем, так что лица у них засветились; каждому школьнику и школьнице расчесали волосы так старательно, что они лезли в глаза; девочек нарядили в снежно-белые пелеринки и в чепцы, державшиеся на голове с помощью одной только алой ленты; шеи старших школьников были упрятаны в воротнички устрашающей высоты.

Двери распахнулись настежь, и три мисс Браун с помощницами представились взорам, облаченные в простые белые муслиновые платья и такие же чепцы — такова была форма для детских экзаменов. Комната наполнилась публикой; знакомые громко и сердечно приветствовали друг друга. Общества раздачи дрогнули — их популярность оказалась под угрозой. Старший из учеников выступил вперед и произнес умилостивительную речь из-за ограды своего воротничка. Это было произведение пера мистера Генри Брауна, и ему все рукоплескали единодушно, а Джонсон-Паркеры похолодели от страха. Экзамены продолжались с большим успехом и закончились положительно триумфом. Общество экзаменов одержало победу, а Джонсон-Паркеры были разбиты наголову.

В тот же вечер состоялось тайное совещание общества раздачи под председательством миссис Джонсон Паркер, для обсуждения вопроса, каким способом лучше возвратить утраченные симпатии прихода. Что можно устроить?

Опять собрание? Увы! Кто же на него пойдет? Миссионеры два раза подряд не годятся, а рабов уже освободили. Надо предпринять какой-то смелый шаг. Так или иначе, надо удивить приход, однако никто не мог додуматься, какой именно смелый шаг надо предпринять. Наконец, одна совсем дряхлая старушка пробормотала едва слышно: «Эксетер-Холл!»* И вдруг все собрание точно озарило. Решили единогласно, что депутация из трех старушек отправится к какому-нибудь знаменитому оратору и будет просить его, чтоб он оказал им такую милость, произнес бы речь; кроме того, депутация должна была нанести визит еще трем выжившим из ума старушкам, не нашего прихода, и пригласить их на собрание. Просьба была уважена, собрание состоялось, оратор (ирландец) прибыл. Он говорил о зеленом острове — об иных берегах — об океанских просторах — морских глубинах — христианском милосердии — о кровопролитии и об искоренении — о прощении в сердцах — об оружии в руках — об алтарях и домашних очагах — о ларах и пенатах. Он вытирал глаза, сморкался, приводил латинские цитаты. Эффект был потрясающий — латынь имела решительный успех. Никто не понял, о чем, собственно, идет речь, но все подумали, что это должно быть очень трогательно, если сам оратор так расчувствовался. Популярность общества раздачи библий до сей поры остается непревзойденной у дам нашего прихода, а общество экзаменов все более клонится к упадку.

ГЛАВА VII

Наш ближайший сосед

Приятно и увлекательно, бродя по улицам, предаваться размышлениям о том, что за люди здесь живут и чем они занимаются; и ничто так ощутимо не помогает нам в этих догадках, как вид входных дверей. Прекрасный и интересный предмет для изучения представляет собою человеческое лицо со всеми оттенками сменяющихся на нем чувств; но и в физиономии дверного молотка есть нечто едва ли не столь же своеобразное и почти столь же

верно отражающее характер владельца. Посещая человека впервые, мы с величайшим любопытством всматриваемся в черты молотка на двери его дома, ибо хорошо знаем, что между хозяином и молотком всегда есть большее или меньшее сходство и единодушие.

Вот, например, образчик дверного молотка, весьма распространенный в прежние времена, но быстро исчезающий: большой круглый молоток в виде добродушной львиной морды, которая приветливо улыбается вам, пока вы, дожидаясь, чтобы вам открыли, завиваете покруче кудри на висках или поправляете воротнички; нам ни разу не случалось увидеть такой молоток на дверях скряги — как мы убедились на собственном опыте, он неизменно сулит радушный прием и лишнюю бутылочку винца.

Никто не видывал такого молотка у входа в жилище мелкого стряпчего или биржевого маклера; они отдают предпочтение другому льву — мрачному, свирепому, с выражением тупым и злобным; это своего рода глава ордена дверных молотков, он в чести у людей себялюбивых и жестоких.

Есть еще маленький бойкий египетский молоток с длинной худой рожицей, вздернутым носом и острым подбородком; этот в моде у наших чиновников, тех, что носят светло-коричневые сюртуки и накрахмаленные галстуки, у мелких, ограниченных и самоуверенных людишек, которые ужасно важничают и неизменно довольны собой.

Несколько лет тому назад мы были крайне смущены появлением новой разновидности дверного молотка, у которого лица нет вовсе — вместо него венок или цветочная гирлянда; рукоятка такого молотка иногда имеет форму руки. Впрочем, потратив толику внимания и усилий, мы сумели и эту новую разновидность примирить с нашей любимой теорией. Вы непременно найдете такой молоток на дверях людей холодных и церемонных, которые всегда спрашивают: «Почему вы у нас не бываете?», но никогда не скажут: «Приходите!»

Фасон медного молотка, обычного для загородных вилл и для пансионов, где учатся дети состоятельных родителей, всем известен; упоминанием о нем мы заканчиваем перечень всех наиболее выдающихся и строго определенных видов.

Френологи уверяют, что различные страсти, возбуждая мозг человека, вызывают соответствующие изменения в форме его черепа. Да не подумают, что мы заходим в нашей теории чересчур далеко и готовы утверждать, будто всякая перемена в характере человека тотчас отражается и на облике его дверного молотка. Но мы уверены, что в случае перемены в характере владельца магнетическая связь, безусловно существующая между ним и его молотком, заставит его снять со своей двери прежний молоток и подыскать новый, более родственный его новым чувствам и склонностям. Если человек без всякой видимой причины переселяется из одного дома в другой, не сомневайтесь, что, хотя бы он сам того и не сознавал, объяснение кроется в разладе между ним и дверным молотком. Это совершенно новая теория, и, однако, мы осмеливаемся выдвинуть ее, ибо она ничуть не менее остроумна и непогрешима, чем тысячи других весьма ученых теорий, провозглашаемых, что ни день, во имя общего блага, а также и личного обогащения их творцов.

Итак, дверной молоток для нас предмет далеко не безразличный, и нетрудно вообразить смятение, охватившее нас, когда на днях мы увидели, что с двери соседнего дома окончательно и бесповоротно снимают молоток и заменяют его колокольчиком. Такой беды мы никак не ждали. Самая мысль, что кто-то может существовать без молотка на дверях, слишком дика и невероятна, и в нашем воображении доселе ни на миг не возникала подобная картина.

В глубоком унынии побрели мы по направлению к Итон-скверу, который в то время только еще застраивался. Каково же было наше изумление, наше негодование, когда мы убедились, что колокольчики на дверях быстро становятся общим правилом, а молотки — редким исключением! Наша теория затрещала по всем швам. Мы поспешили домой; и, предчувствуя, что уже недалек тот день, когда дверной молоток будет окончательно упразднен, решили отныне все догадки о ближайших соседях основывать на непосредственных наблюдениях. Дом по левую руку от нашего был необитаем, и потому мы могли сосредоточить все наше внимание на соседях справа.

Дом справа от нас, на двери которого не было молотка, снимал некий конторщик, и в окне первого этажа виднелось четко написанное объявление, извещавшее о том, что здесь сдаются комнаты для одинокого джентльмена.

Это был опрятный и скучный домик на теневой стороне улицы; пол в прихожей устилал узкий новенький коврик, лестницу, ведущую на второй этаж,— узкая новенькая дорожка. Обои были новые, и краска всюду новая, и мебель новая; и все это — обои, краска и мебель — свидетельствовало об ограниченных средствах владельца дома. В гостиной лежал красный с черным ковер, едва закрывавший середину пола; тут было еще несколько полированных стульев и раскладной стол. На небольшом буфете красовалась чайница на подносе, а справа и слева — по розовой раковине; еще несколько раковин на каминной доске и три павлиньих пера, со вкусом расположенных над ними, довершали убранство гостиной.

Предполагалось, что в этой комнате одинокий джентльмен будет пребывать днем и принимать гостей, а крохотная комнатка окном во двор в том же этаже должна была служить ему спальней.

Вскоре после того как в окне вывесили записку, появился и претендент на сдающиеся комнаты — плотный, добродушного вида джентльмен лет тридцати пяти. В цене, должно быть, сошлись быстро,— после первого же его визита объявление исчезло из окна. Дня через два одинокий джентльмен въехал на новую квартиру, а немного погодя обнаружился и его истинный характер.

Он проявил необычайную склонность засиживаться до трех, до четырех часов ночи, потягивая виски с содовой и покуривая сигару; кроме того, он приглашал к себе приятелей, они приходили часам к десяти вечера, и настоящее веселье начиналось после полуночи, когда гости давали выход своему превосходному настроению, распевая песни в полдюжины куплетов каждая, причем куплет состоял из двух строчек, а припев — из десяти, и вся компания в полном составе с воодушевлением подхватывала этот припев и выкрикивала его во всю мочь, что приводило в величайшее негодование соседей и доставляло крайние неудобства другому одинокому джентльмену, жившему этажом выше.

Это было само по себе достаточно неприятно, поскольку такие пирушки происходили обычно раза три в неделю, но это еще не все: когда гости, наконец, расходились по домам, они не шли по улице тихо, как приличествует добропорядочным гостям, а напротив, развлекались, поднимая отчаянный шум и крик и подражая визгу перепуганных женщин. А однажды ночью некий краснолицый джентльмен в белом цилиндре начал ломиться в дверь дома № 3, где проживал почтенный старец, ходивший с пудреными волосами; почтенный старец, решив, что одной из его замужних дочерей раньше срока понадобилась помощь врача, торопливо проковылял вниз по лестнице, с великим трудом отодвинул все засовы, отпер все замки, отворил дверь — и тут краснолицый джентльмен в белом цилиндре выразил надежду, что его извинят за причиненное беспокойство и не откажут ему в стакане холодной воды; он был бы весьма признателен также, если бы ему ссудили шиллинг, чтобы он мог нанять кэб и добраться домой; почтенный старец захлопнул дверь перед носом посетителя, поднялся наверх и выплеснул в окно всю воду из кувшина — выплеснул очень метко, но только не на того, на кого следовало; и вся улица приняла участие в поднявшейся суматохе.

Шутка есть шутка; и даже грубая шутка может быть очень забавна, да только тот, с кем ее сыграли, чаще всего не способен ее оценить; население нашей улицы не видело ничего смешного в подобных развлечениях, а потому наш сосед вынужден был попросить своего постояльца больше не принимать у себя приятелей, иначе, как это ни печально, придется ему съехать с квартиры. Одинокий джентльмен выслушал все это с величайшим благодушием и к общему удовольствию пообещал впредь проводить вечера в кофейне.

Первый вечер прошел спокойно, и все были в восторге; но назавтра шум и веселье возобновились с еще небывалой силой. Друзья и приятели одинокого джентльмена, не имея более возможности проводить у него три вечера в неделю, решили провожать его до дому каждый вечер; а прощаясь, они напутствовали его столь громкими и нестройными криками, и сам он так шумно взбирался затем по лестнице и с таким грохотом скидывал башмаки, что


George Cruikshank

терпеть все это не было никакой возможности. Итак, наш сосед попросил одинокого джентльмена, который в других отношениях был прекрасным жильцом, выехать; и одинокий джентльмен удалился и стал принимать своих приятелей где-то в другом месте.

Следующий претендент на сдающиеся комнаты в первом этаже обладал совсем иным характером, чем только что выехавший одинокий джентльмен, доставлявший окружающим столько беспокойства. Это был высокий худощавый молодой человек с густой каштановой шевелюрой, рыжеватыми бакенбардами и едва пробивающимися усиками. Он носил венгерку со шнурами, светлосерые панталоны и замшевые перчатки, и у него была внешность и повадки военного. Ничего общего с тем гулякой! Такие вкрадчивые манеры, такое приятное обращение! А какой серьезный ум! Впервые осматривая свое будущее жилище, он прежде всего осведомился, может ли он твердо надеяться на постоянное место в приходской церкви; а выразив согласие снять эти комнаты, тотчас поинтересовался, какие в приходе имеются благотворительные учреждения, и сообщил о своем намерении внести скромную лепту в помощь наиболее достойному из них.

Наш ближайший сосед был теперь совершенно счастлив. Наконец-то у него появился жилец, вполне разделяющий его собственный образ мыслей,— серьезный, благонамеренный человек, чуждающийся суетных забав и склонный к уединению. С легким сердцем снял он с окна объявление о сдающихся комнатах и уже рисовал себе мысленно длинную череду мирных воскресных дней, когда он и его постоялец будут обмениваться знаками дружеского внимания и воскресными газетами.

Серьезный человек прибыл на свою новую квартиру, а его багаж должен был прибыть из провинции на следующее утро. Он попросил у своего хозяина взаймы чистую сорочку и молитвенник и рано удалился в спальню, попросив разбудить его назавтра ровно в десять часов утра, но не раньше, так как он очень устал.

К нему постучали, чтобы разбудить его точно в назначенный час, но он не отозвался; постучали снова, но ответа не было. Наш сосед встревожился и распахнул

дверь. Серьезный человек таинственно исчез, а с ним исчезли чистая сорочка, молитвенник, чайная ложка и простыни.

Быть может, это происшествие, вместе со странностями предыдущего постояльца, внушило нашему соседу отвращение к одиноким джентльменам,— этого мы не знаем; знаем только, что следующее объявление, появившееся в окне гостиной, извещало просто о сдаче меблированных комнат в первом этаже. Объявление скоро убрали. Новые жильцы пробудили в нас сначала любопытство, а затем и живейшее участие.

Это оказались юноша лет восемнадцати — девятнадцати и его мать, женщина лет пятидесяти или, может быть, моложе. Лицо матери скрывала вдовья черная вуаль, сын тоже носил глубокий траур. Они были бедны, очень бедны; у них не было никаких средств к существованию, кроме того, что зарабатывал юноша перепиской и переводами для книгопродавцев.

Они переселились в Лондон откуда-то из провинции, отчасти потому, что юноша здесь скорее мог найти работу, а отчасти, вероятно, ими руководило вполне естественное желание покинуть те места, где прежде судьба была милостивее к ним и где все знали об их нынешней бедности. Они были горды и переносили невзгоды молча, скрывая от постороннего глаза свою нужду и лишения. Как тяжки были эти лишения и как неутомимо трудился бедный юноша, чтобы хоть немного облегчить их бремя, об этом знали только мать и сын. Ночь за ночью до двух, до трех, до четырех часов слышали мы, как стукнет изредка кочерга, вороша последний скудный жар в камине, да раздастся глухой придушенный кашель, и это означало, что юноша все еще корпит над своей работой; и день ото дня все ясней видели мы, как светится его скорбное лицо тем светом, который зажигает природа, точно сигнальный огонь, возвещая о самом жестоком из посылаемых ею недугов.

Повинуясь, как нам кажется, чувству более возвышенному, нежели простое любопытство, мы завязали сначала знакомство, а потом и дружеские отношения с этими бедняками. Наши худшие опасения подтвердились; юноша таял, как свеча. Оставшуюся часть зимы, а потом и всю

весну и лето он неустанно трудился; мать тоже пыталась хоть как-нибудь — шитьем, вышиваньем — заработать кусок хлеба.

Шиллинг-другой — вот и все, что ей время от времени удавалось выручить. Сын продолжал упорно работать; с каждой минутой он приближался к смерти, но ни разу никто не слышал от него ни ропота, ни жалобы.

Однажды ясным осенним вечером мы, по обыкновению, зашли навестить больного. В минувшие два-три дня последние силы быстро оставляли его, и теперь он лежал на диване у открытого окна и задумчиво смотрел на заходящее солнце. Мать читала ему вслух из библии; когда мы пришли, она закрыла книгу и поднялась нам навстречу.

— Я сейчас говорила Уильяму, что нам надо непременно уехать куда-нибудь в деревню,— сказала она.— Там он сможет хорошо поправиться. Он ведь не болен, просто у него не очень крепкое здоровье и в последнее время он слишком утомлялся.

Бедная женщина! Слезы, которые заструились сквозь ее пальцы, когда она отвернулась и подняла руки, словно поправляя свой вдовий чепец, свидетельствовали о том, что она тщетно пытается обмануть самое себя.

Мы молча сели подле больного,— было ясно, что жизнь быстро и неотвратимо покидает юношу; дыхание его слабело, и с каждым вздохом все тише, все медленней билось сердце.

Он протянул нам руку, другою сжал руку матери, поспешно привлек ее к себе и нежно поцеловал в щеку. Минуту мы все молчали. Юноша снова откинулся на подушку и долгим, глубоким взглядом посмотрел на мать.

— Уильям, Уильям,— прошептала мать после долгого молчания.— Не смотри на меня так, скажи мне что-нибудь, мой мальчик!

Он слабо улыбнулся, но тотчас на лице его снова появилось выражение торжественного и безучастного покоя.

— Уильям, милый! Очнись! Не смотри на меня так, мой мальчик, умоляю тебя! О господи, что же мне делать! — в отчаянии воскликнула вдова.— Мальчик мой! Он умирает!

Собрав последние силы, юноша приподнялся и судорожно стиснул руки.

— Мама, милая мама, похорони меня в открытом поле — где хочешь, только не в этом ужасном городе. Я хотел бы лежать там, где ты могла бы видеть мою могилу, но только не здесь, не в этом тесном, душном городе. Эти многолюдные улицы убили меня. Поцелуй меня еще раз, мама, обними меня...

Он упал на подушки, и странное выражение проступило на его лице; то была не боль, не душевная мука, но ледяная неподвижность каждой черты, каждого мускула.

Юноша был мертв.

Картинки с натуры

ГЛАВА I

Улицы. Утро

Улицы Лондона в летнее утро, за час до восхода солнца, представляют собою картину, удивительную даже для тех немногих, кто, в злосчастной ли погоне за удовольствиями, или в не менее злосчастной погоне за наживой, достаточно к ней пригляделся. Холодом печали и запустения веет от безлюдных улиц, которые мы привыкли в другое время видеть заполненными шумной, бурливой толпой, от притихших, наглухо закрытых зданий, где день-деньской кипит жизнь,— и уже это одно поражает воображение.

Последний пьяница, который еще доберется до света домой, только что прошел мимо заплетающейся походкой, горланя припев вчерашней застольной песни; последний бездомный бродяга, которого нищета выгнала на улицу, а полиция не удосужилась оттуда убрать, забился, дрожа от холода, в какой-нибудь угол между каменных стен, чтобы хоть во сне увидеть тепло и пищу. Пьяные, распутные, отверженные скрылись от человеческих взоров; более трезвые и добропорядочные жители столицы еще не восстали для дневных трудов, и на улицах царит безмолвие смерти; она как будто сообщила им даже свою окраску, до того холодными и безжизненными кажутся они в

сером, мутном предутреннем свете. Пусты стоянки карет на перекрестках; закрылись ночные трактиры; и ни души на панелях, где выставляет себя напоказ жалкий разврат.

Лишь кое-где на углу стоит полицейский, вперив скучающий взгляд в пустую даль проспекта; да какой-нибудь гуляка-кот, украдкой перебежав через улицу, спускается в свой подвал — прыг на кадку с водой, оттуда на мусорное ведерко и, наконец, на каменную плиту перед черным ходом — и все так осторожно и хитро, точно его репутация навеки погибнет, если кто узнает о ночных его похождениях. Там и сям приотворено окошко в спальне — погода стоит жаркая и от духоты плохо спится; да изредка мигнет за шторой ночник в комнате томимого бессонницей или больного. Если бы не эти скудные признаки жизни, можно подумать, что улицы вымерли, а дома необитаемы.

Проходит час; шпили церквей и крыши самых высоких зданий чуть озаряет свет восходящего солнца, и постепенно, почти нечувствительно, улицы начинают оживать. Потянулись на рынок подводы с товаром: вон сонный возница сердито понукает усталых лошадей или тщетно пытается разбудить мальчишку, который сладко спит, растянувшись на корзинах с фруктами, и уже не помнит, как давно и страстно мечтал поглядеть на Лондон со всеми его чудесами.

Странного вида нечесаные, осоловелые существа — нечто среднее между трактирщиком и кучером наемной кареты — начинают отворять ставни в питейных заведениях, и на тротуаре в обычных местах появляются некрашеные столики с принадлежностями для раннего завтрака. Мужчины и женщины (главным образом женщины) с тяжелыми корзинами фруктов на голове шагают друг за дружкой по южной стороне Пикадилли к Ковент-Гарденскому рынку, образуя длинную цепочку от самого угла Найтсбридж.

Вот бодрым шагом прошел на работу каменщик, в руке у него узелок с обедом; а вот бежит стайка школьников, задумавших без спросу искупаться в реке, и от шумного их смеха щемит сердце, когда смотришь на маленького трубочиста, который до боли в руке стучал и звонил в


BAKER
THE RISING SUN
George Cruikshank

дверь, а потом, поскольку милосердный закон, щадя его легкие, запрещает ему заявлять о своем присутствии криком, покорно уселся на пороге ждать, когда проснется служанка.

Ковент-Гарденский рынок и все подъезды к нему забиты повозками всевозможных размеров и видов — от тяжелого, громоздкого фургона, запряженного четверкой сытых битюгов, до дребезжащей тележки уличного торговца, которую тащит чахоточный ослик. Мостовая уже усыпана гнилыми капустными листьями, разорванными свяслами и прочим неописуемым мусором овощного рынка; орут мужчины, пятятся повозки, ржут лошади, дерутся мальчишки, чешут язык торговки, пирожники выхваляют свои изделия, и громко кричат ослы. Эти звуки и сотни других сливаются в хор, достаточно нестройный даже для привычного уха лондонцев и вовсе не переносимый для приезжих из деревни, впервые остановившихся в гостинице «Хаммамс».

Проходит еще час, и день окончательно вступает в свои права. Служанка, в течение получаса не отзывавшаяся на звонок хозяйки под тем предлогом, что у нее, мол, сон страх какой крепкий, слышит из уст самого хозяина (которого хозяйка послала для этого в халате на верхнюю площадку лестницы), что время уже половина седьмого; тут она сразу просыпается и, хорошо разыграв удивление, идет вниз, на кухню, где начинает высекать огонь, горько сетуя на то, что принцип самопроизвольного возгорания не распространяется на уголь и кухонную плиту. Но вот огонь разгорелся, служанка отворяет дверь на улицу, чтобы забрать молоко, и обнаруживает, что по странному совпадению служанка из соседнего дома тоже вышла забрать молоко, а молодой человек из лавки мистера Тодда, что напротив, по столь же странной случайности как раз отпирает ставни. Вполне естественно, что она тут же решает дойти с молочником в руках до соседней двери, чтобы поздороваться с Бетси Кларк, и что молодой человек от мистера Тодда решает перейти улицу, чтобы поздороваться с ними обеими; а поскольку вышеупомянутый молодой человек почти такой же красивый и любезный, как сам булочник, беседа у них завязывается очень увлекательная и могла бы стать еще увлекательнее,

если бы хозяйка Бетси Кларк, которая вечно ходит за ней по пятам, не вздумала гневно постучать в окно спальни; услышав этот стук, молодой человек от мистера Тодда пускается в обратный путь к своей лавке гораздо быстрее, чем шел оттуда, хоть и пытается непринужденно что-то насвистывать, а девушки, метнувшись каждая к своей двери, прикрывают ее за собой с необычайными предосторожностями, но через минуту уже высовываются из окна нижней гостиной, как будто для того, чтобы посмотреть на почтовую карету, которая как раз проезжает мимо, а на самом деле — чтобы еще хоть одним глазком глянуть на молодого человека от мистера Тодда; он же, в свою очередь, питая большое пристрастие к конной почте, но еще большее — к почте амура, бросает на карету всего один короткий взгляд, а на девушек два, и притом долгих, к полному удовольствию всех заинтересованных сторон.

Что же до кареты, то она в положенное время подкатывает к почтовому двору, и первые пассажиры, отбывающие из города, удивленно взирают на первых пассажиров, прибывших в город, а у тех вид унылый и помятый, и они явно в том странном состоянии, порождаемом ездой, когда кажется, что со вчерашнего утра прошло по меньшей мере полгода, и люди всерьез гадают, сильно ли изменились в их отсутствие родные и друзья, с которыми они не виделись две недели. На почтовом дворе необычайное оживление, вокруг отбывающих карет, как всегда, толпятся евреи и еще какие-то загадочные личности, неведомо почему воображающие, что каждый, кто собирается сесть в карету, непременно должен запастись в дорогу апельсинами — не меньше, чем на шесть пенсов,— перочинным ножом, бумажником, футляром для карандашей, губкой и небольшим набором карикатур.

Еще полчаса — и вот уже солнце весело посылает свои лучи на оживающие улицы; яркий свет его пробудил от сонной одури мальчика-подручного, и он принимается подметать лавку и поливать тротуар перед нею, то и дело отрываясь от работы, чтобы сообщить мальчику из соседней лавки, занятому тем же, что день, видать, будет жаркий, или чтобы постоять, заслонившись правой рукой от солнца, а левой опершись на метлу, и поглядеть вслед

«Чуду», или «Немвроду», или «Ату его!», или еще какой-нибудь почтовой карете, пока она не скроется из глаз; а тогда он возвращается в лавку и завидует пассажирам на империале и вспоминает красную кирпичную школу «у нас в деревне», куда он ходил мальчуганом; и, оттесняя в небытие все лишения и невзгоды — разбавленное молоко и грубый хлеб, чуть помазанный маслом,— встает в его памяти зеленый луг, где так хорошо было играть с товарищами, и зеленый пруд, в который он посмел свалиться, за что и был высечен, и прочие радости школьных дней.

По улицам, ведущим к почтовым дворам и пристаням, бойко мчатся кэбы — чемоданы и картонки пристроены между ног возницы или спереди на фартуке; а на стоянках кэбмены и кучера наемных карет усердно протирают украшения своих замызганных экипажей, причем первые вслух дивятся, как это можно променять приличный кэб с добрым рысаком на омнибусы, в которых «людей, прости господи, возят точно диких зверей в клетках», а вторые громко поражаются, как это седоки не боятся «залезать в эти душегубные кэбы, когда могут честь честью ехать в карете — и сидеть покойнее и лошади верные, никогда не понесут»,— мысль утешительная и бесспорно основанная на фактах, ибо никто еще не видел, чтобы лошадь, запряженная в наемную карету, не то чтобы понесла, но вообще побежала, «кроме одной,— как замечает остряк кэбмен, стоящий впереди своего экипажа,— только та бежала вспять».

Уже открылись все лавки, и хозяева со своими подручными спешат навести чистоту и разложить товар в витринах. В городских пекарнях толпятся служанки и дети, ожидая, когда вынут из печи первую партию булок; в пригородах это свершилось еще час назад, потому что несчетные клерки из Сомерс-Тауна и Кемден-Тауна, Излингтона и Пентонвилла уже хлынули потоком в Сити, либо направляют свои стопы к Чансери-лейн и Иннс-оф-Корт. Люди пожилые, чье жалование если и увеличилось за последние годы, то отнюдь не в такой же пропорции, как их семейства, идут, не глядя ни вправо ни влево, не видя впереди иной цели, кроме своей конторы; они знают в лицо почти всех, кого обгоняют или кто попа-

дается навстречу, потому что вот уже двадцать лет видят их каждое утро (кроме воскресений), однако не заговаривают ни с кем. Если случится им нагнать знакомого, они на ходу обмениваются с ним поклонами и спешат дальше либо рядом с ним, либо впереди, смотря по тому, насколько быстро тот шагает. Но боже их упаси остановиться, пожать приятелю руку либо взять его под локоть: наверно им кажется, что раз за это не платят, значит и права такого им не дано.

Маленькие рассыльные в больших цилиндрах, ставшие взрослыми прежде, чем успели побыть детьми, спешат на работу парами; первый в жизни сюртучок старательно вычищен, а на белых брючках, которые носятся с воскресенья, обильные следы чернил и пыли. Мальчиков, видно, так и подмывает купить из денег, предназначенных на обед, черствых пирожков, соблазнительно выставленных на пыльном лотке у входа в кондитерскую; но внутренняя борьба длится недолго: спасает сознание собственной значительности и мысль, что они зарабатывают семь шиллингов в неделю, а скоро, вероятно, получат прибавку и тогда будут зарабатывать восемь; и, лихо сдвинув цилиндр набекрень, они начинают заглядывать под шляпки встречным мастерицам, что живут в обучении у модистки или корсетницы — самых, кстати сказать, разнесчастных созданий в городе: столько их заставляют работать, так мало им платят, так скверно с ними подчас обращаются.

Одиннадцать часов. Облик улиц опять изменился. Товары в витринах манят взор покупателя; лавочники облачились в приличные сюртуки с белым шейным платком и делают вид, что в жизни своей не мыли окон и даже не знают, как за это взяться. В Ковент-Гардене не осталось ни одной повозки: фургонщики разъехались по домам, уличные торговцы отбыли на свои заповедные промыслы в предместья; клерки давно сидят по конторам, куда сейчас в кэбах, омнибусах, одноколках и верхом едут их хозяева. На улицах полно народу — тут щеголи и оборванцы, богатые и бедные, бездельники и работяги. Жара, сутолока, спешка — близится полдень.

ГЛАВА II

Улицы. Вечер

Но во всей красе улицы Лондона предстают перед вами в темный, промозглый зимний вечер, когда влаги оседает достаточно, чтобы тротуары стали скользкими, но слишком мало для того, чтобы смыть с них грязь и мусор; когда тяжелый, ленивый туман обволакивает все предметы и в окружающем мраке особенно яркими кажутся газовые фонари, особенно великолепными освещенные витрины. Всем, кто в такой вечер сидит дома, хочется устроиться как можно уютнее, и пешеходы на улицах недаром завидуют счастливцам, которые греются у своего камелька.

На тех улицах, что пошире и получше, занавески в столовых плотно задернуты, в кухнях жарко топится плита, и вкусные запахи горячего обеда дразнят обоняние голодных путников, устало шагающих вдоль ограды. В пригородах маленький продавец пышек дольше обычного задерживается на узкой улочке, которую он обходит со своим товаром. Оно и понятно: ведь не успела миссис Маклин из дома № 4 приоткрыть дверь на улицу и во весь голос вскрикнуть «пышки!», как миссис Уокер из дома № 5 высовывается в окно гостиной и тоже восклицает «пышки!». И не успело это слово слететь с ее губ, как миссис Пеплоу из дома напротив выпускает на волю маленького Пеплоу, и он мчится по улице с быстротой, которую можно объяснить только предвкушением пышек с маслом, и силой тащит разносчика к своему дому, а миссис Маклин и миссис Уокер — чтобы не заставлять этого бедного разносчика мотаться взад и вперед, а заодно чтобы перекинуться словечком с миссис Пеплоу,— перебегают улицу и покупают пышки у ее двери. Миссис Уокер спешит поделиться с приятельницей новостью, что дома у нее чайник как раз вскипел, и чашки уже на столе, погода нынче такая ужасная, что она решила погреться, выпить чайку,— и оказывается, что по странной случайности обе ее соседки одновременно с ней приняли точно такое же решение.

Завязывается оживленный разговор об ужасах погоды и прелестях чая, с кратким отступлением на тему о том, какие озорники все мальчишки, за редкими исключениями вроде сыночка миссис Пеплоу; но вскоре миссис Уокер замечает в конце улицы своего мужа, и так как он, бедняга, наверно страх как хочет чая — шутка ли, тащился пешком по такой грязи от самых доков,— она бежит к себе, подхватив свои пышки, миссис Маклин следует ее примеру, и, обменявшись на прощанье несколькими словами, все три соседки скрываются в своих домиках и захлопывают двери на улицу, и теперь эти двери отворятся еще только один раз, чтобы впустить разносчика пива, который явится в девять часов со своим лотком и фонариком и скажет, давая миссис Уокер почитать вчерашний номер «Морнинг Адвертайзер», что пальцы у него совсем закоченели, еле держат кружку, а газету и вовсе не чувствуют, потому что холод нынче собачий, он и не запомнит такого, разве что в ту ночь, когда какой-то человек до смерти замерз на пустыре.

Потом разносчик пива, задержавшись возле полисмена на углу, выскажет ему свои предположения касательно вероятной перемены погоды и наступления морозов и возвратится в хозяйскую пивную, где и проведет остаток вечера, прилежно орудуя кочергой и почтительно вставляя свое словечко в беседу достойных мужей, собравшихся у огня.

В такой вечер на улицах вокруг Марш-Гет и театра Виктории неуютно и грязно, и люди, которых здесь видишь, отнюдь не способствуют тому, чтобы рассеять это впечатление. Даже маленький железный храм, посвященный богу печеной картошки и украшенный по верху разноцветными плошками, выглядит не так весело, как обычно; а уж о лотке паштетника и говорить нечего — его слава совсем померкла. Ветер уже сто раз задувал свечу в фонаре из промасленной бумаги с орнаментом, и паштетник, наскучив бегать за огнем в соседний погребок, махнул рукой на освещение, так что теперь о местопребывании его свидетельствуют только яркие искры, которые длинным растрепанным хвостом вырываются из его переносной печки всякий раз, как он открывает ее, чтобы достать покупателю порцию горячего паштета.

Продавцы фруктов, устриц и камбалы уныло жмутся к тротуарам, тщетно стараясь привлечь покупателей. А маленькие оборванцы, которые в обычное время развлекаются на мостовой, сбились в кучки под крышей какого-нибудь подъезда либо под парусиновым навесом сырной лавки, где в свете большущих газовых рожков горами навалены сыры, ярко-красные и бледно-желтые, вперемежку с пятипенсовыми кусочками лежалой грудинки, бочонками присоленного масла и пыльными комками «лучшего свежего».

Здесь мальчуганы коротают время в разговорах о театре — недавно им опять посчастливилось попасть за полцены в театр Виктории,— с восторгом вспоминают поединок, который актеры всякий раз повторяют по требованию публики, толкуют о том, как здорово у Билла Томпсона получается двойной кульбит, а то и сами пытаются изобразить сложные фигуры матросского танца.

Время близится к одиннадцати часам; холодный мелкий дождь, уже давно начавшийся, грозит превратиться в нешуточный ливень. Продавец печеной картошки отбыл восвояси, паштетник потащил домой свою кухню, над витриной сырной лавки спустили штору, и мальчишки разбежались. Перестук деревянных подошв по скользкому неровному тротуару и шуршание зонтиков под яростными порывами ветра говорят о том, что ненастью не видно конца; и полисмен на углу, в доверху застегнутом клеенчатом плаще, придерживая на голове шляпу и пытаясь увернуться от дождя и ветра, которые так и налетают на него со всех сторон, едва ли с особенной радостью думает о предстоящем дежурстве.

Закрывается мелочная лавочка с надтреснутым колокольчиком у двери, который так жалобно звонил всякий раз, когда кому-нибудь требовалось четверть фунта сахара или пол-унции кофе. Толпы народа, весь день сновавшего взад-вперед, быстро тают; и печальную тишину ночи нарушают только крики да ругань, несущиеся из кабаков.

И еще один звук нарушал тишину, но этот звук теперь умолк. Вон та несчастная женщина, что держит на руках хилого ребенка, заботливо кутая его в остатки своей рваной шали, пыталась спеть популярную балладу, в

надежде, что сердобольные прохожие подадут ей несколько пенсов. Но люди только грубо посмеялись над слабым ее голосом. Слезы градом катятся по ее бледным щекам, ребенок озяб и проголодался, тихий, приглушенный его плач терзает сердце матери, и она в полном изнеможении со стоном опускается на мокрый холодный порог.

Пение! Многие ли, проходя мимо этих несчастных, задумываются над тем, каких усилий, какой душевной муки стоит им даже попытка запеть! О, горькая ирония! Болезнь, одиночество, нужда чуть слышно повторяют слова развеселой песни, под которую мы столько раз пировали. Здесь не над чем издеваться. Слабый, дрожащий голос рассказывает страшную повесть нищеты и лишений; и если жалкая исполнительница этой бесшабашной песни умолкнет, ее ждет смерть от холода и голода.

Час ночи! Шлепая по уличной слякоти, люди расходятся из театров; быстро проезжают кэбы, кареты, коляски, последние омнибусы; конюхи с мутными, забрызганными фонарями в руках и медными бляхами на груди, умучившись за последние два часа от беспрерывной беготни и крика, удаляются в распивочные, чтобы предаться земным утехам — трубке и горячему элю с полынной настойкой; в трактиры вваливаются завсегдатаи дешевых мест в театральных ложах и задних рядах партера; и среди неописуемого шума и гама, клубов табачного дыма, стука ножей, беготни и болтовни официантов на столиках появляются бараньи отбивные, почки, заяц, устрицы, портер, сигары и бесчисленные «стаканчики».

Театралы более музыкального склада отправляются после спектакля на какой-нибудь концерт. Любопытства ради пойдем туда ненадолго и мы.

Рассевшись в высокой, просторной зале, около сотни гостей грохают по столам оловянными кружками и стучат черенками ножей, точно здесь работает целая артель плотников. Это они выражают свое одобрение песне, которую только что исполнили три певца «профессионала», сидящие во главе стола посредине комнаты. Один из них — осанистый человек, чья лысая голова чуть возвышается над воротником зеленого сюртука,— председатель; по правую руку от него толстяк с высоким голосом, по левую — сухопарый брюнет в черном. Маленький

председатель — личность в высшей степени забавная, столько в нем величавой снисходительности и какой голос!

— Бас! — внушительно говорит своему соседу молодой человек в синем галстуке, сидящий рядом с нами.— Еще бы не бас! Таких низких нот, какие он берет, никому не взять. Иногда он поет так низко, что его даже не слышно.

И это правда. Слушать, как его рокочущий голос спускается все ниже и ниже, так, что уже не может выбраться обратно, доставляет истинное наслаждение. А проникновенность, с какой он выводит «Добрый старый Хок» или «В горах мое сердце», хоть кого растрогает до слез. Толстяк тоже склонен к чувствительности: он щебечет «Умчимся, о Бесси, от шумного света» нежно, точно молодая девица, и при этом пускает самые обольстительные трели.

— Кому что угодно, джентльмены, прошу вас,— говорит бледнолицый человек с рыжей шевелюрой; и со всех концов залы несутся громогласные заказы на стаканчик джина или стаканчик бренди, пинту портера или сигару — только не крепкую. «Профессионалы» греются в лучах своей славы и удостаивают тех, кто бывает здесь постоянно, покровительственного кивка или даже милостивого слова.

А вон тот круглолицый мужчина в кургузом табачного цвета сюртучке и белых чулках — дока по части комических номеров. Какая смесь самоуничижения и уверенности в собственных талантах написана на его лице, когда он поднимается с места в ответ на приглашение председателя!

— Джентльмены,— говорит осанистый человечек, сопровождая это слово ударом председательского молоточка по столу,— джентльмены, разрешите просить вашего внимания, сейчас перед вами выступит наш друг мистер Смаггинс.

— Браво! — кричат собравшиеся. Смаггинс в виде вступления долго откашливается, потом очень смешно пофыркивает, вызывая этим всеобщий восторг, и, наконец, поет комическую песенку, за каждым куплетом которой следует припев из всяких «фальдераль-тольдераль», намного длиннее самого куплета. Его награждают бурной овацией, а затем, после того как некое юное дарование

вызвалось продекламировать стихи и потерпело позорное фиаско, осанистый человечек опять стучит молоточком по столу и объявляет:

— А теперь, джентльмены, мы, с вашего разрешения, споем на три голоса.

Слова эти покрывают оглушительные возгласы одобрения, причем самые рьяные выражают свою радость тем, что сбивают с ног несколько бокалов — милая шутка, нередко, впрочем, приводящая к довольно резкому обмену мнений, когда официант предлагает выполнить небольшую формальность, а именно — заплатить за убытки.

Подобные сцены длятся обычно до трех-четырех часов утра; и даже когда они кончаются, для любознательного новичка еще остаются в запасе другие зрелища. Но описание их, хотя бы самое беглое, составило бы целый том — содержания, пусть поучительного, но отнюдь не изящного; а посему мы отвешиваем публике поклон и опускаем занавес.

ГЛАВА III

Лавки и их хозяева

Какое обилие пищи для размышлений находишь на лондонских улицах! Мы никогда не разделяли чувств Стерна, жалевшего тех, кто мог совершить путь от Дана до Вирсавии * и не увидеть ничего кроме пустыни; нам не внушает ни малейшего сострадания тот, кто способен прогуляться от Ковент-Гардена до собора св. Павла и обратно, и не извлечь из этой прогулки ничего приятного — мы чуть было не сказали «полезного». А между тем подобные личности есть; их встречаешь каждый день. Широкий черный галстук и светлый жилет, трость с агатовым набалдашником и недовольная физиономия — вот отличительные признаки этой породы. Другие люди деловито шагают, направляясь по своим надобностям, или весело торопятся навстречу развлечениям; эти же уныло бредут по улице, не более радостные и оживленные, чем полицейский на посту. Ничто их не удивляет, не трогает;

чтобы выйти из своего оцепенения, им нужно по меньшей мере быть сбитыми с ног встречным посыльным с ношей или угодить под колеса экипажа. В погожий день их всегда можно встретить на любой из людных улиц; а попробуйте вечером остановиться у витрины сигарной лавки где-нибудь в Вест-Энде, и если только вам удастся заглянуть в щелочку между синими занавесями, повешенными для защиты от нескромных взоров, вы станете свидетелями того времяпрепровождения, которое составляет для них единственную утеху в жизни. Вон они — расселись на круглых бочонках с табаком или сигарных ящиках, во всей солидности своих холеных бакенбард и позолоченных часовых цепочек, и нашептывают разные пустяки девице в желтом платье, с длинными серьгами в ушах, которая восседает за прилавком в ореоле славы и света газовых рожков, к восхищенью всех служанок из соседних домов и зависти всех модисток в округе.

Одно из любимейших наших занятий заключается в том, чтобы год от года следить за счастливой или горестной судьбой некоторых домов, где расположены лавки. Мы облюбовали несколько таких, в разных концах города, и обстоятельно познакомились со всей их историей. Мы легко могли бы насчитать десятка два, о которых нам достоверно известно, что владельцы их вот уже шесть лет как не платят налогов. Ни один арендатор не удерживается в них больше двух месяцев, и, пожалуй, мы не ошибемся, если скажем, что под их кровом находили себе пристанище решительно все отрасли розничной торговли.

Среди этих домов есть один, чью историю можно считать примерной; его судьба особенно волновала нас, потому что мы имели возможность наблюдать ее с тех самых пор, как там открылась первая лавка. Стоит он на южном берегу Темзы, чуть поодаль от Марш-Гет. Поначалу это был просто весьма недурной жилой дом; но со временем владелец запутался в долгах, дом попал под судебную опеку, арендатор покинул его, и дом пришел в полный упадок. Таким мы и узнали его впервые: с облупившейся краской, с выбитыми стеклами; спуск в подвал позеленел от плесени, потому что туда натекала вода из бочки, стоявшей без крышки, а парадная дверь едва держалась

на петлях. Вся окрестная детвора повадилась собираться на крыльце и что есть мочи колотить в дверь — к большому удовольствию всех обитателей квартала, особенно нервной старой леди, проживавшей через дом. Немало упреков и жалоб сыпалось на головы нарушителей спокойствия, немало лилось на них холодной воды, но ничто не помогало. Наконец, старьевщику, чья лавка помещалась на углу, пришла в голову спасительная мысль унести дверной молоток и продать его — после чего вид у злополучного дома сделался еще более жалкий.

Однажды случилось так, что мы несколько недель не могли навестить нашего бедного друга. Каково же было наше удивление, когда, вновь придя на знакомую улицу, мы не нашли и следов старого дома! На его месте красовалась нарядная лавка, уже почти законченная отделкой; наклеенные на ставнях афиши извещали публику о том, что в скором времени здесь откроется торговое заведение «с большим выбором мануфактурных и галантерейных товаров». В назначенный срок открытие состоялось. Вход украсила вывеска, на которой имя владельца «и К°» было выведено золотыми буквами, до того блестящими, что от них слепило глаза. Какие ленты, какие шали! А какие два красавчика за прилавком — в чистых воротничках, в белых шейных платках, ни дать ни взять опереточные любовники. Что же до самого хозяина, то он только расхаживал по лавке взад и вперед, пододвигал стулья покупательницам и обменивался многозначительными замечаниями со старшим из двух красавчиков, о котором проницательные соседи сразу сказали, что он-то и есть «К°». С грустью глядели мы на все это; нас не покидало предчувствие, что лавку подстерегает злой рок,— и это предчувствие оправдалось. Беда пришла не сразу, но все же пришла. Забелели в окнах билетики о распродаже; потом штуки фланели с ярлыками на них были выставлены на крыльцо; потом на двери появилось объявление о сдаче внаем верхнего этажа без мебели; потом один из красавчиков исчез вовсе, а другой пристрастился к шейным платкам черного цвета, сам же хозяин пристрастился к вину. Лавка заросла грязью, разбитые стекла так и торчали в окнах, товару становилось все меньше и меньше. Наконец, явился агент водопроводной компании и закрыл

воду, а вслед за этим мануфактурщик вскрыл себе вены, оставив домовладельцу записку и ключи.

После него помещение снял торговец писчебумажными принадлежностями. На этот раз оно было отделано поскромнее, но вид имело чистый и опрятный; однако нам с первых же дней стало почему-то казаться, что дела заведения идут не слишком хорошо. Мы от души желали хозяину удачи, но в то же время сомневались в ней. Человек этот, видимо, был вдовец и состоял где-то на службе, судя по тому, что он каждое утро в одно и то же время проходил мимо нас в сторону Сити. Торговлю вела его старшая дочь. Бедняжка! Она не испытывала надобности в помощниках. Порой в полуоткрытую дверь жилой комнаты, примыкавшей к лавке, можно было заметить двух или трех малышей, одетых в траур; и когда бы мы ни проходили в вечерний час мимо лавки, мы неизменно видели старшую сестру, тоже в трауре, склонившейся над работой,— то она чинила детям платье, то мастерила какие-нибудь изящные безделки на продажу. Слабый огонек свечи еще сгущал тень печали и невеселых дум на ее бледном лице, и часто у нас являлась мысль, что, если бы беззаботные особы, подрывающие жалкую торговлю подобных бедняжек, хотя бы отчасти знали, какие лишения, какую горькую нужду терпят те в своих усилиях честным трудом заработать кусок хлеба, они, быть может, отказались бы от удовлетворения своих тщеславных претензий, чтобы не толкать бедных тружениц на тот последний и страшный путь, одно упоминание о котором оскорбило бы тонкие чувства этих *благотворительниц*.

Но мы уклонились от своего предмета. Итак, мы продолжали следить за судьбою дома, где помещалась лавка, и не могли не видеть, что его обитателям с каждым днем приходится хуже и хуже. Дети,— правда, всегда чисто умытые,— ходили в поношенной, заплатанной-перезаплатанной одежде; на верхний этаж так и не удалось найти жильца, а между тем без этого нельзя было сколотить денег для уплаты аренды; старшая дочь, силы которой медленно, но верно подтачивала чахотка, уже не могла работать, как раньше. Наступил срок взноса арендной платы. Домовладелец, потерпевший убытки по вине прежнего арендатора, не захотел пощадить нынешнего, и по-

требовал наложения ареста на имущество. Однажды утром, проходя мимо знакомого дома, мы увидели, как оттуда вытаскивают убогую мебель торговца писчебумажными принадлежностями, а свеженаклеенная афишка на двери сообщила нам, что помещение снова «СДАЕТСЯ ВНАЕМ». Что сталось с арендатором и его семьей, нам так и не довелось узнать; но можно предположить, что старшая дочь скоро избавилась от всех земных забот и страданий. Дай бог, чтобы это было так.

Не без любопытства ожидали мы, что будет с домом дальше,— в том, что ничего хорошего не будет, теперь уже не приходилось сомневаться. Афишка вскоре исчезла, и было заметно, что в помещении производятся какие-то работы. Нам не терпелось поскорей узнать, в чем дело; мы терялись в догадках, перебирая все известные нам отрасли торговли — ни одна из них не подходила к нашему представлению о печальной судьбе дома. Но вот, наконец, двери отворились — и нам показалось непонятным, как это мы сразу не угадали истину. Помещение, и в лучшие-то времена не слишком просторное, разгородили пополам; в одной половине поселился мастер, изготовляющий шляпные болваны, в другой открылась табачная лавчонка, где продавались также трости и воскресные газеты; разделяла их тоненькая перегородка, оклеенная пестрыми обоями.

Табачный торговец продержался дольше всех арендаторов, которых мы можем припомнить. Это был довольно бесцеремонный субъект с багровой физиономией, прошедший, судя по всему, сквозь медные трубы и чертовы зубы и привыкший не унывать ни при каких обстоятельствах. Он продавал столько сигар, на сколько находилось покупателей, а остальные выкуривал сам. Он жил в доме, пока мог ладить с домовладельцем, а когда увидел, что больше ладить не удается, он преспокойно смыл свое имя с оконного стекла и смылся сам. После того обе каморки переходили из рук в руки несчетное число раз. Преемником табачного торговца стал театральный парикмахер, украсивший витрину многочисленными портретами актеров и изображениями кровавых поединков. Изготовитель болванов уступил место зеленщику, а цирюльника Мельпомены сменил портной. Так много было этих перемен, что

в конце концов нам осталось только отмечать про себя своеобразные, но верные признаки того, что дом все больше теряет свое былое достоинство. Совершалось это постепенно, едва заметными переходами. Одну за другой уступали арендаторы комнаты верхнего этажа, и под конец сами они уже ютились лишь в тесных каморках, примыкавших к лавкам. И вот уже появилась на дверях у лестницы, ведущей наверх, медная табличка с четко выгравированной надписью *«ШКОЛА ДЛЯ ДЕВИЦ»;* за ней последовала еще одна; вскоре к ним присоединился колокольчик, потом другой.

Останавливаясь поглядеть на нашего старого друга, мы с грустью наблюдали все эти признаки нужды и думали: вот теперь уже дом дошел до последней степени падения — дальше некуда. Но мы ошиблись. Когда мы недавно заглянули в те края, оказалось, что в подвале устроили курятник, и с десяток унылого вида кур забавлялись тем, что вбегали в дом с переднего крыльца и выбегали через заднее.

ГЛАВА IV

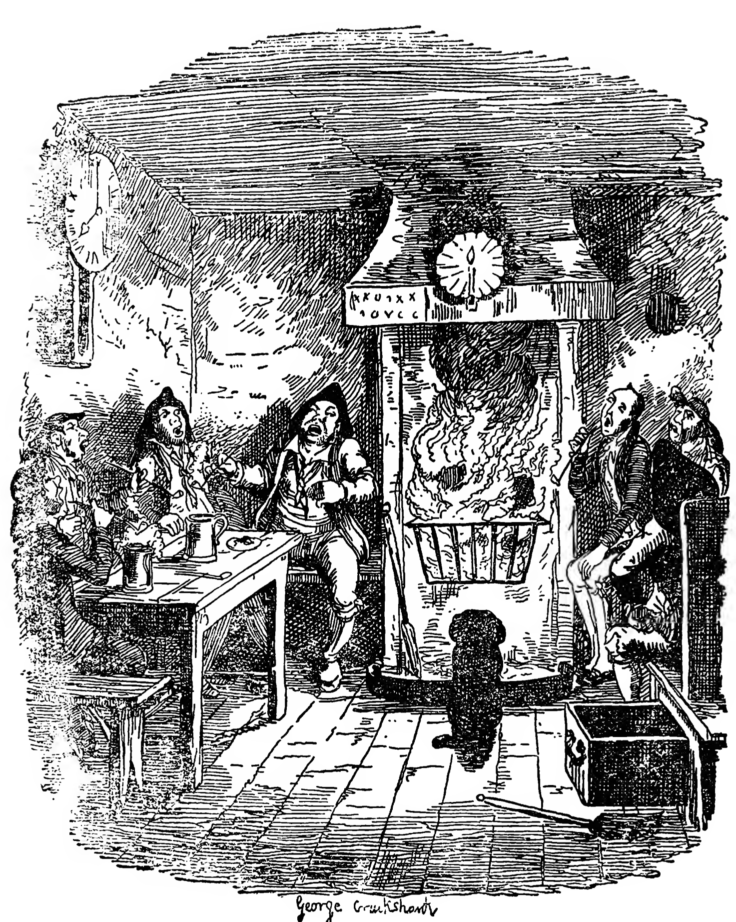
Скотленд-Ярд

Скотленд-Ярд — это маленькая, очень маленькая полоска земли между Темзой и садами Нортамберленд-Хаус, упирающаяся с одной стороны в конец Нортамберленд-стрит, а с другой — в Уайтхолл-Плейс. Несколько лет тому назад некий приезжий провинциал, заблудившийся на Стрэнде, случайно открыл эту землю и обнаружил на ней первых поселенцев: то были портной, два кухмистера, содержатель распивочной и пирожник. Кроме них, там проживало племя туземцев, рослых и сильных людей, которые каждое утро, часов в пять или шесть, отправлялись в Скотленд-Ярдские доки, доверху нагружали углем тяжелые ручные тележки и расходились во все концы города, чтобы снабдить топливом его обитателей. Когда тележка пустела, они возвращались за новым запасом угля; и так изо дня в день, круглый год.

Поселенцы кормились тем, что удовлетворяли житейские нужды людей, промышлявших этим нехитрым делом, а потому все, чем они торговали, и самые места, где происходила торговля, были приноровлены ко вкусам и желаниям этих людей, что сразу и бросалось в глаза. У портного в окне были выставлены кожаные гетры, словно сшитые на лилипута, и такая же крошечная рабочая блуза, а у дверей висели образцы мешков для угля. Обе кухмистерские прельщали взоры окороками и пудингами такой величины, что никто, кроме угольщиков, не мог бы их оценить в должной мере; а у пирожника на выскребленном добела подоконнике лежали пухлые белые произведения из муки и сала, с розовыми подтеками, выразительно намекавшими на обилие сладкой начинки,— зрелище, от которого у дюжих угольщиков слюнки текли.

Но лучшим уголком Скотленд-Ярда была старая распивочная на углу. Здесь, в комнате с потемневшими от времени деревянными панелями, уютно освещенной пламенем очага и украшенной огромными стенными часами с белым циферблатом и черными стрелками, подолгу просиживали дюжие угольщики, кружку за кружкой глотая «Лучшее Пиво Барклея» и пуская клубы дыма, заволакивавшего все кругом густой темной пеленой. Отсюда до самого берега Темзы доносились их мощные голоса, когда порой в зимний вечер они затягивали веселую песню, или дружным хором подхватывали припев, так усердно нажимая на последние слова, что крыша тряслась у них над головой.

Здесь же старики любили пускаться в длиннейшие рассказы о том, какой была Темза в минувшие времена, когда оружейный завод еще не был построен, а о мосте Ватерлоо никто и не помышлял; окончив же рассказ, многозначительно качали головами в назидание толпившемуся вокруг них молодому поколению угольщиков, и выражали сомнение, добром ли все это кончится; после чего портной, вынув трубку изо рта, замечал, что хорошо, если добром, да только едва ли, и если что, то тут уж ничего не попишешь,— каковое загадочное суждение, высказанное пророческим тоном, неизменно встречало единодушную поддержку присутствующих. И так они продолжали пить пиво и сомневаться в будущем, пока стрелка часов


George Cruikshank

не доползала до цифры десять; тут в распивочную являлась жена портного с твердым намерением загнать его домой, и вся теплая компания расходилась, чтобы на следующий вечер собраться вновь в тот же час и на том же месте, для тех же занятий и тех же разговоров.

Но вот речные баржи, шедшие снизу, стали привозить в Скотленд-Ярд тревожные вести: будто бы кто-то в Сити сказал, что лорд-мэр без обиняков грозится снести старый Лондонский мост, а на его месте построить новый. Сперва этим слухам не придавали значения, считали их праздной болтовней досужих людей, ибо жители Скотленд-Ярда были совершенно уверены, что если бы лорд-мэр и в самом деле замыслил такое темное дело, его бы тотчас упекли в Тауэр на недельку-другую, а затем предали казни за государственную измену.

Слухи, однако, повторялись все чаще и все настойчивей, и, наконец, одна баржа вместе с грузом отборного уолсендского угля привезла вполне достоверное известие, что несколько пролетов старого моста уже закрыто для пропуска судов и что полным ходом идут приготовления к постройке нового. Какое волнение царило в тот памятный вечер в старой распивочной! Люди с тревогой смотрели друг на друга, и каждый читал на лице соседа, бледном и растерянном, те самые чувства, которые теснились и в его груди. Самый старый из угольщиков неопровержимо доказывал, что, как только будут снесены устои старого моста, вся вода из Темзы утечет и на месте реки останется сухая канава. Как будут ходить тогда угольные баржи, что ждет исконный промысел Скотленд-Ярда, чем будут существовать его обитатели? Портной в тот вечер особенно зловеще качал головой и, мрачно косясь в сторону лежавшего на столе ножа, советовал набраться терпения и ждать. Он ничего не утверждает — решительно ничего; но если лорд-мэр не падет жертвой народного гнева, то он лично будет этим весьма удивлен; вот и все.

Ждать так ждать; но баржа приходила за баржей, а о народной расправе с лорд-мэром все не было ничего слышно. Меж тем состоялась закладка нового моста; герцог — брат короля — положил первый камень. Прошли года, и мост был открыт, причем сам король совершал церемонию открытия. Что же до старого моста, то его

устои были снесены в должное время; и хотя жители Скотленд-Ярда встали на другой день в полной уверенности, что смогут теперь переходить в Педларс-Эйкр, не замочив подошв,— оказалось, к их неописуемому удивлению, что Темза течет себе, как и текла.

Этот первый шаг по пути новшеств привел к совершенно иным последствиям, чем ожидали обитатели Скотленд-Ярда, и это не замедлило сказаться на их жизни. Содержатель одной из двух кухмистерских стал заискивать перед общественным мнением и заботиться о том, как бы привлечь клиентов из иного круга. Он накрыл свои столики белыми скатертями и заказал подручному маляра надпись на оконном стекле, в которой говорилось что-то насчет горячих мясных блюд от двенадцати до двух. Новое стало быстрыми шагами подбираться к самому порогу Скотленд-Ярда. В Хангерфорде открылся рынок, а на Уайтхолл-Плейс обосновалась сыскная полиция. Уличное движение в Скотленд-Ярде стало более оживленным; в палате общин прибавилось депутатских мест, новые депутаты от столицы нашли, что путь через Скотленд-Ярд удобнее и короче, и многие другие пешеходы стали следовать их примеру.

С грустью созерцали мы успехи цивилизации. У того из кухмистеров, который сумел устоять против соблазнов скатертной реформы, дела шли все хуже и хуже, а у его конкурента все лучше и лучше, и смертельная вражда возгорелась между ними. Поклонник новшеств вместо обычной кружки пива в Скотленд-Ярде пил теперь каждый вечер джин на Парламент-стрит. Пирожник остался верен старой распивочной, но завел привычку курить сигары и читать газеты и стал именовать себя кондитером. Угольщики по-прежнему собирались вечерами у знакомого камелька, но разговоры у них шли невеселые, а громких песен и выкриков не было и в помине.

Что сталось со Скотленд-Ярдом! Как изменились его прежние нравы; куда девалась сердечная простота, отличавшая некогда его обитателей! Покосившуюся старую распивочную перестроили в просторный и нарядный «Винный погреб»; буквы на вывеске, венчающей вход в него, покрыты золотой фольгой, и высокое искусство поэзии призвано возвещать прохожим, что если выпьешь такого-то

элю, будешь пьян потом неделю. В окне у портного выставлена теперь коричневая хламида чужеземного покроя с шелковыми пуговицами и меховой оторочкой на вороте и обшлагах. Сам он ходит в панталонах с кантом вдоль шва; и однажды мы подсмотрели, что и его подмастерья (ибо он уже не обходится без подмастерьев) щеголяют подобными же украшениями.

На углу переулка, в кирпичном домике-коробочке открыл мастерскую башмачник, и среди прочей обуви, изготовленной на продажу, выставил в окне сапоги — настоящие веллингтоновские сапоги*, каких еще несколько лет тому назад никто из местных жителей не только не видывал — даже и понаслышке не знал. А совсем недавно в другой такой же коробочке, чуть подальше, обосновалась швея; когда же мы решили, что беспокойный дух новизны уже больше не может преподнести нам никаких сюрпризов, в том же переулке объявился ювелир, который мало того что устроил в окне целую выставку позолоченных колец и медных браслетов, но еще повесил объявление — оно и сейчас там висит — о том, что «здесь прокалывают дамам уши». Швея взяла в услужение девицу, которая носит передник с карманами; а портной довел до всеобщего сведения, что мужское платье изготовляется по желанию из сукна заказчика.

Среди всей этой лихорадки перемен и нововведений лишь один человек все еще оплакивает уходящую старину Скотленд-Ярда. Одинокий и молчаливый, сидит он на деревянной скамеечке у стены углового дома, прямо против выхода на Уайтхолл-Плейс, и смотрит, как резвятся его гладкие, упитанные собаки. С людьми он не разговаривает. Этот старик — живая память Скотленд-Ярда. Год за годом проносится над его головою, но в любую погоду, в жару и в холод, в сушь и в туман, льет ли дождь, сыплет ли град или снег — он всегда там, на своем привычном месте. Горе и нужда написаны у него на лице; плечи согнулись под тяжестью лет, волосы поседели в перенесенных испытаниях, но каждый день он приходит сюда и сидит на этой скамье, погруженный в свою грустную думу о прошлом; и будет приходить каждый день, ковыляя на слабеющих ногах, до тех пор, пока сумрак могилы не скроет от него и Скотленд-Ярд и весь мир.

Пройдут еще года, и какой-нибудь ученый любитель старины из числа наших потомков, перелистывая пожелтевшую летопись тех страстей и борьбы, что в наше время сотрясали мир, наткнется, быть может, и на эти страницы; но пусть даже это будет большой знаток истории прошлых лет, умелый чтец готических письмен и опытный собиратель старинных книг — ни ученые труды всей его долгой жизни, ни пыльные тома на его полках, стоившие целое состояние, ничто не поможет ему определить былое местоположение Скотленд-Ярда и найти хотя бы одну из тех примет, которые упоминаются в нашем рассказе о нем.

ГЛАВА V

Сэвен-Дайелс

Мы всегда были уверены, что если бы Том Кинг и Француз * не обессмертили ту часть Лондона, которая носит название Сэвен-Дайелс, она все равно обрела бы бессмертие сама по себе. Сэвен-Дайелс! Родина стихов и песен — первых юношеских излияний и последних жалоб умирающего,— места, освященные именами Кэтнача и Питса *, при звуке которых всегда будут оживать в нашей памяти крики уличных разносчиков и музыка шарманки — даже тогда, когда грошовые песенки будут вытеснены грошовыми журнальчиками и смертная казнь отойдет в прошлое.

Взгляните на расположение улиц в округе. Распутать Гордиев узел было в свое время мудреным делом; нелегко найти выход в лабиринтах Хэмптон-Корта или Бьюла-Спа; * а правильно завязать узел шейного платка (когда такие платки из негнущейся белой ткани были в моде) представляло бы самую трудную задачу на свете — если бы не существовало другой, вовсе уж не разрешимой задачи: развязать его снова. Но какая неразбериха может сравниться с неразберихой Сэвен-Дайелс? Где еще можно найти подобный лабиринт улиц, переулков, дворов, тупиков? И где еще встретишь такое смешение англичан и

ирландцев, как здесь, в этой запутаннейшей части Лондона? Дерзнем заявить, что мы сомневаемся в достоверности той легенды, на которую только что ссылались. Можно представить себе человека, у которого хватит наивности прийти в набитый жильцами дом и спрашивать какого-нибудь мистера Томпсона — хотя совершенно очевидно, что в каждом, даже сравнительно небольшом лондонском доме найдется по меньшей мере двое или трое Томпсонов; но француз — француз в Сэвен-Дайелс! Скорей всего это был не француз, а ирландец. Просто Том Кинг, в образовании которого имелись существенные пробелы, не понимая половины из того, что говорил этот человек, решил, что он говорит по-французски.

Приезжий, который впервые очутился в этих местах и стоит, подобно Бельцони *, на перекрестке семи неведомых путей, не зная, какой выбрать, увидит вокруг себя немало такого, что способно надолго привлечь его внимание и любопытство. От площади неправильной формы разбегаются во все стороны улицы и переулки, но глубь их тонет во мгле нездоровых испарений, что нависла над крышами домов, туманя и искажая перспективу; и на каждом углу, словно торопясь глотнуть струйку свежего воздуха, которой удалось просочиться сюда, но уже не хватает напора, чтобы рассосаться по всем окружающим закоулкам, толпятся кучки людей, чей вид и времяпрепровождение могли бы удивить всякого, кроме исконных лондонцев.

Вот тесный кружок обступил двух почтенных особ, которые, потребив за утро изрядное количество горького пива с джином, не сошлись во взглядах на некоторые вопросы частной жизни и как раз сейчас готовятся разрешить свой спор методом рукоприкладства, к большому воодушевлению прочих обитательниц этого и соседних домов, разделившихся на два лагеря по признаку сочувствия той или другой стороне.

— Всыпь ей, Сара, всыпь ей как следует! — восклицает в виде ободрения пожилая леди, у которой, видимо, не хватило времени завершить свой туалет.— Чего ты церемонишься? Если б это *мой* муж вздумал угощать ее у меня за спиной, я бы ей, мерзавке, глаза выцарапала!

— Что тут случилось, сударыня? — осведомляется другая матрона, только что подоспевшая к месту действия.

— Что случилось? — подхватывает спрошенная, не спуская глаз с той из противниц, которая вызывает ее антипатию.— А то случилось, что порядочной матери семейства — я говорю про бедную миссис Салливен, у которой, слава богу, пятеро деток,— так вот порядочной матери семейства уже нельзя спокойно отлучиться по хозяйству, потому что сейчас же находятся бесстыдницы, которые норовят сманить из дому ее законного мужа, с которым она состоит в браке вот на пасху будет ровно двенадцать лет — я сама видела брачное свидетельство, когда пила у нее чай в прошлую среду. Еще я ей тогда же сказала: «Миссис Салливен», сказала ей я...

— Это что такое значит «бесстыдницы»? — вступается представительница противной стороны, которая явно не прочь затеять дополнительный поединок и принять в нем участие. («А ну, а ну! — поддает жару случившийся тут же паренек из винной лавки.— Пропиши ей, Мэри, пусть знает!») — Что такое значит «бесстыдницы»? — воинственно повторяет она.

— Не ваше дело, сударыня! — следует немедленный отпор.— Вы ступайте-ка лучше домой да заштопайте себе чулки, когда протрезвитесь.

Этот выпад личного характера, намекающий не только на недостаточную воздержанность собеседницы, но и на состояние ее гардероба, естественно, возбуждает ее гнев, и она с готовностью следует энергичным советам зрителей «всыпать» обидчице. Возникает общая потасовка, после чего, выражаясь языком театральных афиш, «появляется полиция, действие переносится в полицейский участок и завершается эффектным апофеозом».

Кроме тех, кто толпится у дверей кабачков или принимает участие в уличных перебранках, нужно упомянуть еще любителей стоять, прислонясь к столбу. У всех столбов на улице есть свои завсегдатаи, которые с тупым упорством часами простаивают, прислонясь к ним спиной. Любопытно, что в Лондоне существует целое сословие людей, не знающих, видимо, никаких иных развлечений, кроме как стоять, прислонясь к столбу. Мы не знаем ни


George Cruikshank

одного каменщика, который проводил бы свой отдых иначе — разве что в драке. Пройдитесь в будний вечер по Сент-Джайлсу — вон они, каменщики, стоят, прислонясь к столбам, в своих бумазейных рабочих блузах, перепачканных известкой и кирпичной пылью. Прогуляйтесь воскресным утром где-нибудь близ Сэвен-Дайелс — вот они опять стоят, прислонясь к столбам, только теперь на них плисовые штаны, коричневые или серые, блюхеровские башмаки*, синие куртки и ярко-желтые жилеты. Ведь придет же в голову — принарядиться по-воскресному, чтобы целый день простоять, прислонясь к столбу!

Своеобразный характер этих улиц, и то, что каждая из них как две капли воды похожа на соседнюю, отнюдь не уменьшает растерянности прохожего, который впервые забрел сюда. Он видит расставленные вкривь и вкось грязные, закоптелые дома; порой вдруг открывается узкий двор, застроенный лачугами, такими же хилыми и уродливыми, как полуголые ребятишки, копошащиеся в сточных канавах. Кое-где между домами приютилась тесная и темная мелочная лавка, за дверью которой прилажен надтреснутый колокольчик, оповещающий о приближении покупателя или какого-нибудь юного джентльмена, в ком рано обнаружился интерес к содержимому чужих касс. Иная такая лавочка, словно ища опоры, жмется к нарядному высокому строению, выросшему на месте приземистой грязной хибарки, где помещался кабак. На окнах с разбитыми и кое-как залепленными стеклами, в горшках, таких же грязных, как все в Сэвен-Дайелс, стоят цветы, которые цвели, должно быть, в ту пору, когда эти кварталы только строились. Лавки старьевщиков, скупающих всякую рухлядь, тряпки, кости, ржавую кухонную посуду, соперничают в чистоте с закутками кролиководов и продавцов птиц, напоминающими Ноев ковчег, с той только разницей, что ни одна здравомыслящая птица, будучи выпущена отсюда, разумеется, никогда уже не вернется назад. Лавки, где торгуют подержанными вещами (нечто вроде благотворительных заведений для бездомных клопов), чередуются с вывесками грошовых балаганов, объявлениями содержателей частных школ, владельцев катков для белья, составителей прошений и таперов, предлагающих свои услуги для

свадеб и балов; и все это вместе составляет декоративный фон, который приятно оживляют фигуры грязных мужчин, неряшливых женщин и замурзанных ребятишек, табачный дым, мелькание волана, кучи гниющих овощей и более чем сомнительных устриц, тощие кошки, унылые псы и скелетообразные куры.

Итак, внешний вид домов и их обитателей не слишком ласкает глаз; впрочем, более близкое знакомство едва ли может смягчить это первое впечатление. В каждой комнате — свой наниматель, и почти каждый наниматель — глава многочисленного семейства; должно быть, здесь действует тот же таинственный закон, который заставляет усиленно «плодиться и размножаться» какого-нибудь сельского священника.

Хозяин лавчонки торгует запеченными бараньими головами или занимается продажей дров или еще какимнибудь видом коммерческой деятельности, требующим не более восемнадцати пенсов оборотного капитала; квартирой ему и его семейству служит помещение лавки и крохотная жилая комната позади. В первом этаже со стороны двора обитает семья рабочего-ирландца; со стороны улицы — семья поденщика, промышляющего выбиваньем ковров или чем придется. Во втором этаже комнату окном на улицу тоже занимает целое семейство, а в комнате окном во двор живет молодая женщина, вышивальщица, которая «любит модничать», постоянно говорит про своего «друга» и «очень о себе воображает». Население верхних этажей представляет собою точную копию населения нижних, исключая разве обитателя мансарды, бедняка из благородных, который каждое утро ходит пить кофе в соседнюю кофейню, где имеется комнатушка с камином, громко именуемая «залой», и надпись над камином вежливо призывает посетителей «во избежание недоразумений» расплачиваться «при подаче заказанного». Личность бедняка из благородных в известной мере окружена тайной, но поскольку жизнь он ведет весьма уединенную и никогда ничего не покупает (не считая перьев), кроме кружки кофе, однопенсового хлебца и склянки чернил, соседи решили, что он сочинитель; и ходят даже слухи, будто он пишет стихи для мистера Уоррена *.

Постороннему, который жарким летним вечером проходит по этим улицам, мимо крылечек, где, собравшись в кружок, судачат обитательницы дома, может показаться, будто здесь царит мир и лад и редко где встретишь таких простых, душевных людей, как коренные жители Сэвен-Дайелс. Увы! Хозяин лавчонки держит собственное семейство в постоянном страхе; выбивальщик ковров пробует на жене свое профессиональное уменье; передняя комната второго этажа питает смертельную вражду к передней комнате третьего из-за того, что в передней комнате третьего любят пускаться в пляс, как только в передней комнате второго улягутся спать; задняя комната третьего постоянно воюет с ребятами из передней комнаты первого; ирландец что ни вечер является пьяным и задирает всех соседей, а вышивальщица по всякому поводу устраивает истерики. Страсти кипят между этажами; даже подвал не желает отставать. Миссис А. надавала шлепков отпрыску миссис Б., «чтобы не кривлялся». Миссис Б. вылила кувшин воды на отпрыска миссис А., «чтобы не ругался». Призываются на подмогу мужья — в ссору втягиваются новые силы,— продолжением ее служит драка, а развязкой — приход полицейского.

ГЛАВА VI

Раздумья на Монмут-стрит

Мы всегда питали необычайно теплые чувства к Монмут-стрит, как к единственной улице, где стоит покупать старую одежду. При мысли о древности Монмут-стрит нас охватывает благоговейный трепет, полезность ее внушает уважение. Холиуэлл-стрит мы презираем; рыжих, бородатых евреев, которые насильно затаскивают человека в свои лавчонки и напяливают на него костюм, хочет он того или нет,— ненавидим от всей души.

Обитатели Монмут-стрит — это особое, очень смирное племя. Живут они замкнуто, большую часть времени проводят в глубоких подвалах или в тесной комнате за лавкой, а на свет божий выползают только по вечерам, когда

спадает жара: в летние сумерки они сидят на стульях, вынесенных из дома, курят трубки или смотрят, как резвятся в сточной канаве их прелестные детки — беззаботная орава малолетних золотарей. На лицах у взрослых задумчивость и грязь — несомненные признаки приверженности к торговле; а жилища их отличает полное пренебрежение к красоте и удобствам, столь обычное среди людей, которые поглощены сложными расчетами и делами и ведут сидячий образ жизни.

Мы уже упоминали о древности нашей любимой улицы. «Камзол с Монмут-стрит» было ходячим словечком сто лет назад, а Монмут-стрит все такая же, как была. На смену нескладному камзолу со шнурами и пышными сборами пришла флотская шинель с деревянными пуговицами; вышитые жилеты с огромными лацканами уступили место двубортным, клетчатым, с отложным воротником; а смешную треуголку вытеснила шляпа кучерского склада с низкой тульей и широкими полями. Но это изменились времена, а отнюдь не Монмут-стрит. При любых преобразованиях и нововведениях Монмут-стрит всегда оставалась кладбищем мод и, судя по всему, останется им до тех пор, пока не исчезнут моды и нечего будет нести на кладбище.

Мы любим бродить по обширным владениям этих знаменитых покойников и предаваться размышлениям, которые они навевают. На какое-нибудь порождение нашей фантазии мы примериваем то усопший сюртук, то мертвые панталоны, то бренные останки роскошного жилета и по фасону и покрою одежды стараемся вообразить прежнего ее владельца. Мы так увлекались порою этим занятием, что сюртуки десятками соскакивали со своих вешалок и сами собой застегивались на фигурах воображаемых людей, а навстречу сюртукам десятками устремлялись панталоны; жилеты так и распирало от желания на кого-нибудь надеться; и чуть ли не пол-акра обуви разом находило ноги себе по мерке и принималось топать по улице с таким шумом, что мы пробуждались от своих грез и медленно, с ошалелым видом, брели прочь, провожаемые удивленными взглядами добрых людей с Монмут-стрит и явно вызвав подозрения у полисмена на противоположном углу.


MONMOUTH STREET
CLIPE TAILOR
P. PATCH
BOOT & SH
2/6

Вот и на днях мы развлекались таким образом, пытаясь обуть в башмаки на шнуровке несуществующего мужчину, которому они, правду сказать, были номера на два малы, когда взгляд наш упал невзначай на несколько костюмов, развешанных снаружи лавки, и нам тут же пришло в голову, что в разное время все они принадлежали одному и тому же человеку, а теперь, по странному стечению обстоятельств, оказались вместе выставлены на продажу. Нелепость этой мысли смутила нас, и мы внимательнее вгляделись в одежду, твердо решив, что не дадим так легко ввести себя в заблуждение. Но нет, мы были правы: чем больше мы смотрели, тем больше убеждались, что первое впечатление нас не обмануло. Вся жизнь человека была написана на этих костюмах так же ясно, как если бы он показал нам свою автобиографию, крупными буквами начертанную на пергаменте.

Первым с краю висел много раз чиненный, порядком измазанный костюм «скелетик» — узкий футляр из синего сукна, в какие засовывали маленьких мальчиков до того, как вошли в обиход свободные платьица с кушаками и вышли из обихода старые понятия,— хитроумное приспособление, позволявшее полностью оценить стройность детской фигурки, ибо состояло оно из очень тесной курточки, украшенной на обоих плечах рядом пуговиц, поверх которой пристегивались штаны, от чего создавалось впечатление, будто ноги у мальчика растут прямо из-под мышек. Мы сразу поняли, что мальчик, носивший этот костюм, рос в городе: куцые рукава и штанины, пузыри на коленях — все это свойственно юным жителям лондонских улиц. Водили его, очевидно, в какую-нибудь маленькую школу для приходящих учеников: в пансионе ему не разрешили бы вечно играть на полу и протирать коленки. А мать его не отличалась строгостью, и в мелочи у него не было недостатка,— об этом свидетельствовали многочисленные пятна на карманах и возле ворота, оставшиеся от чего-то липкого; даже торговец при всем своем искусстве не сумел их вывести. Семья не нуждалась, но и не утопала в богатстве, иначе не вырос бы он так из синего костюмчика, прежде чем сменить его на эти вот плисовые штаны с курткой; а в них он уже ходил в настоящую школу и учился писать, притом чернилами вполне доста-

точной густоты, если верить тому месту на штанах, о которое он вытирал перо.

Черный костюм; вместо куртки — первый сюртучок. Умер отец, и мать устроила мальчика рассыльным в какую-то контору. Этот костюм пришлось носить долго, но и порыжелый, сношенный, он до конца оставался чистым. Бедная женщина! Как старалась она, наверно, казаться веселой за скудным обедом, как отказывала себе в каждом куске, лишь бы ее мальчик был сыт. Неотступная тревога за его судьбу, гордость за него — вот какой большой вырос! — и порою мысль, почти невыносимо горестная, что с годами его любовь к ней остынет, что забудутся и ее заботы и его обещания; жгучая боль, которую уже в то время причиняло ей резкое слово или холодный взгляд,— все это представилось нам так явственно, точно жизнь матери и сына проходила у нас на глазах.

Такое случается ежечасно, и все мы это знаем; а между тем, когда мы увидели или вообразили, что видим — не все ли равно? — те перемены, что здесь произошли, нам стало так тяжело на душе, словно раньше мы даже в мыслях не допускали такой возможности. Следующий костюм — франтоватый, но неряшливый, как будто бы и нарядный, однако и в половину не столь приличный, как сношенное платье рассыльного, сохранивший отпечаток развинченной походки и дурного общества,— этот костюм яснее слов сказал нам, что душевному покою вдовы скоро, скоро пришел конец. Нетрудно было вообразить, да что вообразить — увидеть, мы сами сотни раз это видели! — как сюртук этот в компании трех-четырех других, такого же разбора, проводит время в каком-нибудь злачном месте.

Из запасов той же самой лавки мы на скорую руку одели нескольких юношей лет по пятнадцати — двадцати, дали им в зубы сигару, засунули их руки в карманы и глядели, как они прошествовали по улице и задержались на углу, отпуская непристойные шутки и пересыпая свою речь божбой. Мы провожали их глазами до тех пор, пока они, круче сдвинув шляпы набекрень, не ввалились в трактир; а потом мы побывали в печальном жилище, где несчастная мать до поздней ночи сидела одна-одинешенька; вот она, снедаемая тревогой, стала шагать из

угла в угол, вот отворила дверь, вгляделась во мрак пустынной улицы и вернулась на место, и опять вскочила, и все напрасно. Мы видели, как покорно стерпела она бессмысленные угрозы, даже удар пьяного кулака; и слышали рыдания, вырвавшиеся, казалось, из самого ее сердца, когда она упала на колени в своей пустой, убогой комнате.

Миновало много времени, и еще более существенные произошли перемены, прежде чем был отставлен тот костюм, что висел выше других. Носил его дородный, плечистый мужчина, и мы сразу поняли, как понял бы всякий, взглянув на этот широкополый зеленый сюртук с крупными светлыми пуговицами, что, когда владелец его выходил на улицу, по пятам за ним обычно шла собака, а рядом с ним — какой-нибудь негодяй и бездельник вроде него самого. Пороки юноши еще усугубились в мужчине, и мы представили себе, как выглядел теперь его домашний очаг, если только можно здесь употребить это слово.

Мы увидели тесную комнату — голые стены,— где прозябают его жена и дети, бледные, голодные, истощенные; увидели, как сам он, ответив проклятием на их жалобы, двинулся в кабак, откуда только что перед тем воротился, а за ним, с плачем прося хлеба, поплелась жена и хилый ребенок; услышали ругань и шум — это он ударил жену, и на улице началась потасовка. А затем воображение перенесло нас в работный дом, зажатый где-то в лабиринте лондонских улиц и переулков, полный зловонных испарений и неумолчного буйного крика, где в душной темной каморке лежала изможденная старая женщина, моля перед смертью бога простить ее сына, и не было около нее родного человека, который подержал бы ее за руку, и ни одно дуновение чистого небесного ветерка не овевало ее лоб. Чужие люди закрыли глаза с застывшим пустым взглядом, чужие люди услышали последние слова, слетевшие с побелевших полуоткрытых губ.

И вот — последняя глава: грубая куртка, обтрепанный шейный платок из миткаля и прочие не менее жалкие предметы одежды. Тюрьма. И приговор — может быть, виселица, может быть, ссылка на каторгу. Чего бы не дал он тогда, чтобы снова стать скромным, довольным своею судьбой тружеником, как в юные годы, чтобы вернуться в

жизнь на одну неделю, на день, на час, на минуту,— лишь бы успеть страстным раскаянием вымолить слово прощения у той, чей холодный труп истлевает в могиле для бедняков! Дети его — во власти улицы, их мать — нищая вдова; позор отца и мужа лежит на них несмываемым клеймом, нужда толкает в ту же пропасть, в которую он сам скатился,— к медленной смерти за тысячи миль от родины. Ничто не подсказывало нам конца этой повести, однако угадать его было нетрудно.

Мы пошли прочь, но скоро опять остановились и, чтобы вернуть себе более свойственное нам бодрое расположение духа, принялись надевать на призрачные ноги всевозможную обувь, выставленную на откинутом твориле подвала, да так быстро и ловко, что впору самому опытному мастеру по обувной части. Были там одни сапоги — веселые, добродушные, симпатичнейшие сапоги с отворотами, которые особенно нам приглянулись. Едва познакомившись с ними, мы сунули в них чудесного, румяного весельчака-фермера, и они пришлись ему как нельзя лучше. Огромные, толстые его икры выпирают над отворотами, обхватившими их так плотно, что он даже не мог упрятать внутрь ушки, за которые натягивал сапоги; между отворотами и короткими плисовыми штанами виден чулок; синий фартук подоткнут под пояс; красный шейный платок, синий сюртук; белая шляпа сдвинута набок; и вот он уже весь перед нами, с широкой улыбкой на большом, румяном лице, и посвистывает себе, точно нет и не было у него других забот, кроме как радоваться жизни.

Да, этот человек был нам по душе! Мы все о нем знали; сто раз мы видели, как он едет на Ковент-Гарденский рынок в своей зеленой таратайке, подгоняя откормленную лошадку; и только мы успели еще раз окинуть ласковым взглядом его сапоги, как вдруг, откуда ни возьмись, кокетливая служаночка вскочила в стоявшие рядом с ними прюнелевые ботинки, и мы сразу узнали в ней ту самую девушку, которую он, не далее как во вторник на прошлой неделе, нагнал по сю сторону Хэммерсмитского висячего моста и предложил ей подвезти ее в город, куда мы сами в то утро ехали из Ричмонда.

По другую сторону сапог стояли, аккуратно сдвинув носки, серые суконные полусапожки, обшитые черной

тесьмой и бахромкой, и в них сунула свои ноги какая-то весьма видная особа в нарядной шляпке, которой, судя по всему, очень хотелось привлечь внимание нашего приятеля-фермера; но что-то не похоже было, чтобы он поддавался на ее авансы: он только раз хитро подмигнул, словно говоря, что прекрасно понимает все эти штучки, а потом и вовсе перестал ее замечать. Впрочем, его равнодушие с лихвой окупалось чрезвычайной галантностью дряхлого старичка, обладателя трости с серебряным набалдашником: тот влез в огромные войлочные боты, стоявшие на уголке творила, и с помощью разнообразных жестов выражал свое восхищение особой в суконных полусапожках,— к несказанному удовольствию некоего юнца, которого мы обули в длинноносые бальные туфли и который теперь хохотал до того, что мы уже побаивались, как бы не лопнул сюртук, соскочивший с вешалки ему на плечи.

Полюбовавшись некоторое время на эту пантомиму, мы вдруг увидели, что участники ее, и еще целый кордебалет из сапог и туфель, в которые мы наспех сунули все ноги, какие только попались под руку, приготовились к танцам. Зазвучала музыка, и они тотчас пустились в пляс. Фермер оказался танцором хоть куда, сердце радовалось на него глядя. Сапоги его так и ходили ходуном — направо, налево, шаркнуть, притопнуть, сделать антраша перед прюнелевыми ботинками, и вперед, и назад, и боком, а потом опять сначала — да так легко, словно им все нипочем.

И прюнелевые ботинки ни чуточку от них не отставали — прыгали и взлетали во все стороны сразу; и хоть они выделывали па не так правильно, как суконные полусапожки, и такт держали хуже, зато очень уж лихо они отплясывали и сами веселились больше, а потому и смотреть на них, скажем по чести, было приятнее. Но всего уморительнее был старичок в войлочных ботах: мало того, что он пыжился от натуги, стараясь казаться молодым и влюбленным, но вдобавок всякий раз, как он делал шаг вперед, чтобы отвесить поклон особе в суконных полусапожках, юнец в бальных туфлях умудрялся со всего размаху наступить ему на ногу, от чего он испускал жалобный вопль, а все остальные покатывались со смеху.

Мы от души наслаждались этим весельем, как вдруг услышали пронзительный и отнюдь не музыкальный возглас: «Ну, чего уставился, бесстыдник этакий?» — и, вглядевшись получше, чтобы удостовериться, откуда исходил этот возглас, убедились, что кричала не молодая особа в суконных полусапожках, как мы сперва были склонны предположить, а дородная и пожилая женщина, которая восседала на стуле возле лесенки в подвал, надзирая за продажей выставленной здесь обуви.

Шарманка, игравшая во всю мочь где-то у нас за спиной, внезапно смолкла; в то же мгновение танцоры, которых мы так старательно обували, обратились в бегство; и сообразив, что в раздумье, сами того не замечая, мы, должно быть, с полчаса весьма невежливо глазели на почтенную женщину, мы тоже обратились в бегство и скоро затерялись в непроходимых дебрях близлежащего Сэвен-Дайелс.

ГЛАВА VII

Стоянки наемных карет

По нашему твердому убеждению, наемные кареты в настоящем своем виде — явление столичной и только столичной жизни. Нам могут возразить, что и в Эдинбурге тоже существуют наемные кареты; а чтобы не искать примеров так далеко, напомнят, пожалуй, что имеются они и в Ливерпуле, и в Манчестере, «и в других крупных городах» (по обычному выражению парламентских отчетов). Мы готовы согласиться, что во всех названных пунктах встречаются экипажи, которые почти так же грязны и даже почти так же медлительны, как лондонские наемные кареты; но мы с негодованием отвергаем самую мысль о том, что тамошние извозчики, их лошади или их стоянки могут хоть в какой-либо мере равняться со столичными.

Представьте себе обычную неуклюжую тряскую карету лондонского извозчика старой школы — найдется ли смельчак, который станет утверждать, что встречал где-либо на свете нечто, на нее похожее — если только, ра-

зумеется, это не была другая карета тех же времен. Увы! Как ни грустно говорить об этом, в последнее время все чаще и чаще можно увидеть на стоянке какую-нибудь щеголеватую зеленую коляску или желтую лакированную карету, у которых все четыре колеса выкрашены под цвет кузова, хотя всякому, кто серьезно занимался изучением этого вопроса, хорошо известно, что колеса должны быть все разного цвета и разной величины. Подобные новшества, равно как и другие так называемые усовершенствования, лишь говорят о пагубном брожении умов, наблюдающемся в обществе, и о том, что мы разучились уважать наши освященные веками установления. Зачем, спрашивается, извозчичьим каретам чистота? Наши предки ездили в грязных и не жаловались. И почему это мы, будучи одержимы духом беспокойства, непременно желаем трястись по мостовой со скоростью шести миль в час, тогда как они довольствовались четырьмя? Все это веские соображения. Извозчичьи кареты — плоть от плоти и кость от кости нашего правопорядка; закон их утвердил и парламентская мудрость снабдила номерными знаками.

Так почему же их теперь вытесняют кэбы и омнибусы? Почему разрешается людям ездить быстро, платя всего восемь пенсов за милю, раз парламент торжественно постановил, чтобы они платили шиллинг за милю и ездили медленно? Мы ждем ответа; но зная, что нам его не дождаться, начинаем новый абзац.

Наш интерес к стоянкам наемных карет — постоянный интерес. Словно бы для того, чтобы при всех возможных спорах не сомневаться в своей правоте, мы давно уже сделались чем-то вроде ходячего справочника проездных цен. Мы знаем в лицо всех конюхов на стоянках вокруг Ковент-Гардена и считали бы, что нас знают в лицо все извозчичьи лошади на три мили кругом, не будь половина из них слепыми. Наемные кареты издавна милы нашему сердцу, но ездим мы в них редко: почему-то всякий раз, когда нам случалось отправиться куда-либо в такой карете, она по дороге непременно опрокидывалась. Мы очень любим лошадей, извозчичьих и всяких других — не меньше, нежели известный всем уличным торговцам мистер Мартин *,— однако мы никогда не ездим верхом. Из всех видов седел мы признаем лишь седло молодого

барашка в жареном виде; тесней всего соприкасаемся с лошадью, когда сидим на диване, набитом конским волосом, и хоть нам и случалось охотиться за развлечениями, но ни разу в жизни мы для развлечения не охотились. А потому пусть ездят верхом любители носиться по земле (или лежать на ней врастяжку); мы же, предпочитая на ней стоять, будем держаться ближе к стоянкам.

Такая стоянка находится, кстати, под самым окном, у которого пишутся эти строки; сейчас там стоит всего лишь одна карета, но она — типичнейший образец той породы экипажей, о которых мы говорили выше: громоздкое угловатое сооружение, грязно-желтое, как лицо заболевшей желтухой брюнетки, с узенькими стеклами в широченных рамах; на дверцах еще можно разглядеть очертания герба, напоминающие анатомический препарат летучей мыши, оси выкрашены в красный цвет, а три из четырех колес — в зеленый. Козлы прикрыты остатками старой шинели и еще каких-то непонятных одеяний; из сиденья, прорвав холщовую обивку, торчит там и сям солома, словно бы не желая отстать от сена, что выглядывает из щелей багажного ящика. Лошади понуро стоят на мокрой соломенной подстилке, всем своим видом выражая кротость и терпение; облезлые гривы и хвосты придают им сходство с парой изрядно потрепанных деревянных коней-качалок; время от времени то одна, то другая вздрогнет, забренчав сбруей, или вдруг поднимет морду к самому уху соседки, словно признается ей шепотом, что с удовольствием убила бы кучера. Самого кучера на месте нет — он пошел в распивочную пропустить стаканчик; а конюх, засунув руки в карманы на всю глубину, отплясывает перед колодцем джигу, чтобы согреть озябшие ноги.

Вдруг напротив, в доме № 5, служанка в чепчике с розовыми лентами отворяет дверь, и четверо детишек вылетают на улицу, пронзительно вопя: «Извозчик!» Конюх, отскочив от колодца, хватает обеих лошадей под уздцы и тянет их вместе с каретой к крыльцу дома № 5; при этом он во все горло зовет кучера — от чего у нас звенит в ушах, или, вернее, гудит, так как природа наделила его зычным басом. Кучер, не замедлив откликнуться, спешит на зов, оглашая улицу стуком своих деревянных подошв,

и тут, к величайшему восторгу детворы, начинается шумная возня, топтанье на месте, скрежет колес о тротуар — все для того, чтобы поставить карету дверцей как раз напротив парадной двери дома. Суета невообразимая! Старая леди, месяц гостившая у замужней дочери, собралась домой. Один за другим несут баулы и свертки, и вот уже полкареты завалено багажом; дети путаются у всех под ногами; самый младший пострадал при попытке самостоятельно дотащить зонтик, и его уносят, ревущего и брыкающегося. Но вот все возвращаются в дом, и ненадолго наступает тишина: должно быть, старая леди поочередно целует внуков на прощанье. Наконец, она сама появляется на крыльце в сопровождении дочери, всех внуков и обеих служанок, которым, с помощью кучера и конюха, удается в конце концов благополучно водворить ее в карету. Туда же суют теплый салоп и корзинку, в которой — мы готовы побожиться! — уместилась небольшая бутылочка и бумажный кулек с сандвичами. Взлетает вверх подножка, хлопает дверца; «Гостиница «Золотой Крест», Чаринг-Кросс, Том»,— говорит конюх кучеру; «До свиданья, бабушка!» — пищат ребятишки, и карета отъезжает со скоростью трех миль в час, а маменька и детки скрываются в доме; только один маленький негодник сумел ускользнуть и теперь мчится во всю прыть по улице, удирая от догоняющей его служанки, которая охотно пользуется случаем показать себя во всей красе. Но вот беглец настигнут, и она уводит его в дом, успев метнуть два-три благосклонных взгляда, предназначенных не то нам, не то трактирному слуге, после чего дверь захлопывается — и на стоянке стоит теперь только тишина.

Забавно бывает наблюдать, как какая-нибудь «прислуга за все», посланная за извозчичьей каретой, с нескрываемым наслаждением разваливается на подушках; если же с таким поручением является мальчик, то для него верх блаженства — взгромоздиться на козлы. Но самое забавное зрелище в этом роде нам пришлось однажды увидеть на Тоттенхем-Корт-роуд. Из узенькой улочки близ Фицрой-сквера появились четверо: невеста в длинном белом платье и с круглыми красными щеками, подружка невесты — добродушная маленькая толстушка, разумеется тоже должным образом принаряженная, жених и шафер,

оба в синих фраках, желтых жилетах, белых панталонах и нитяных перчатках. Вся эта компания остановилась на углу, и жених величественным жестом подозвал извозчичью карету. Как только они уселись, подружка невесты небрежным движением прикрыла номер на дверце большой красной шалью, которую она, без сомнения, нарочно захватила с собой — расчет был, как видно, на то, что доверчивые прохожие примут наемную карету за собственный выезд. Так они и покатили, нимало не сомневаясь в успехе своей затеи и не подозревая, что сзади на кузове красуется открытый всем взорам номерной знак величиною с грифельную доску школьника. Шиллинг за милю! Да удовольствие, которое они получали от этой поездки, стоило по меньшей мере пяти!

Какую интересную книгу могла бы написать обыкновенная извозчичья карета, если бы обладала даром слова и не в пример иным ее седокам не тратила бы слова̀ даром. Мы уверены, что история старой наемной кареты ничуть не менее занимательна, чем история старого наемного писаки. Как много могла бы она порассказать о тех, кому случалось ехать в ней по деловым надобностям или по житейским — навстречу радости или горю! И как печальна порой оказывалась бы повесть одной жизни, прослеженная на протяжении лет. Молодая девушка только что из деревни — женщина в крикливом, безвкусном наряде — спившаяся проститутка! Новичок-подмастерье — распутный кутила — вор!

Что там кэбы! Кэбы хороши, когда требуется спешка, когда нужно лететь сломя голову, чтобы не сломать себе шею, когда не поспеть вовремя на этом свете — значит прежде времени угодить на тот. Но ведь мало того, что кэб не обладает и тенью того своеобразного величавого достоинства, которое присуще карете; не следует забывать, что кэб — детище вчерашнего лишь дня и никогда ничем иным не был. Кэб — он так и явился на свет наемным экипажем, тогда как извозчичья карета — это обломок былого величия, жертва житейской суеты, домочадец старинного английского семейства; украшенная фамильным гербом, она когда-то не выезжала иначе как под эскортом ливрейных слуг; но прошли года, и вот с нее сняли пышный наряд и выгнали ее на все четыре стороны,

как состарившегося лакея, который уже недостаточно молодцеват для своей должности, и пошла она мыкаться по свету, спускаясь все ниже и ниже по ступеням экипажной иерархии, пока не докатилась до последней — до извозчичьей стоянки.

ГЛАВА VIII

Докторс-Коммонс

Проходя недавно без определенной цели мимо собора св. Павла, мы свернули в переулок, дошли по нему до конца и очутились, как и следовало ожидать, перед Докторс-Коммонс *. Название «Докторс-Коммонс» известно всем и каждому, ибо здесь, в этих стенах, влюбленным парам дают брачные свидетельства, а неполадившим — развод; здесь регистрируют завещания тех, кому есть что завещать, и наказуют вспыльчивых джентльменов, неуважительно отзывающихся о дамах в их присутствии. Название это было известно и нам, и вот, не успели мы понять, где находимся, как у нас возникло похвальное желание познакомиться с Докторс-Коммонс поближе, а поскольку любопытнее всего нам казалось то судилище, вердикты которого могут расторгнуть даже брачные узы, мы справились, где оно находится, и без всяких отлагательств направили туда свои стопы.

Войдя на тихий сумрачный двор, вымощенный камнем и окруженный с четырех сторон хмуро взирающими на него кирпичными домами, на дверях которых были выведены краской имена ученых законников, мы остановились перед низкой дверью, усаженной по зеленому сукну медными шляпками гвоздей, и, осторожно толкнув ее, очутились в помещении, сразу поразившем нас своими крохотными оконцами, темной резной панелью стен и полукруглым помостом в дальнем его конце, где сидели несколько важных джентльменов в париках и ярко-красных мантиях.

Посреди этой залы, за кафедрой, поставленной еще выше, восседал толстый, краснолицый джентльмен в очках с черепаховой оправой, чей внушительный вид подсказал

нам, что это судья, а под кафедрой, у длинного, крытого зеленым сукном стола, похожего на бильярдный, только без бортов и луз, помещались несколько напыщенных особ в тугих галстуках и черных мантиях с меховой оторочкой у воротника, в которых мы сразу узнали прокторов *. Кресло во главе бильярдного стола занимал некто в парике,— как потом выяснилось, секретарь суда, а за небольшим столиком ближе к двери сидели еще двое: почтенного вида толстяк фунтов эдак на полтораста, весь в черном, и господин с мясистой самодовольной физиономией, в черной мантии с брыжами, в черных лайковых перчатках, штанах до колен, черных шелковых чулках, с серебряным жезлом в руке, но без парика. В нем не трудно было узнать судейского, и подтверждение нашей догадки мы получили от него самого, ибо, подойдя к нам, он первый завел с нами беседу и за какие-нибудь пять минут успел рассказать, что сам он судебный пристав, а то должностное лицо, которое помещается с ним за одним столом,— смотритель судебного здания. Среди прочих интересных сведений мы услышали, что находимся в Суде Архиепископа *, потому и адвокаты здесь в красных мантиях, а у прокторов меховая оторочка на воротнике, и что членам других судебных коллегий, заседающих здесь, не полагается ни париков, ни красных мантий. Кроме смотрителя здания и чиновника, в дальнем конце залы виднелось еще одно должностное лицо — щуплый сгорбленный старичок с длинными седыми волосами, которому вменялось в обязанность, как поведал нам наш словоохотливый собеседник, звонить в колокольчик весьма солидных размеров при открытии судебных заседаний, чем он занимался, вероятно, по меньшей мере двести лет — такой у него был замшелый вид.

Краснолицый джентльмен в черепаховых очках ораторствовал на всю палату — ораторствовал блистательно, только, пожалуй, слишком быстро, чему виной привычка, и слишком хрипло, чему виной неумеренность в потреблении съестного и напитков. Пока он держал речь, у нас было время осмотреться по сторонам. Любопытство наше привлек к себе один из джентльменов в парике и красной мантии. Широко расставив ноги, он стоял перед камином в позе этакого меднолобого Колосса Родосского и загора-

живал доступ к огню всем остальным. Чтобы сильнее припекало, мантия у него была подобрана сзади, как это делают со своими юбками неряшливые женщины в слякоть; парик сидел набекрень, косичка болталась где-то сбоку, обуженные серые штаны и едва доходящие до колен черные гетры — все самого дурного покроя, только подчеркивали его неопрятный вид, а плохо накрахмаленный стоячий воротничок лез ему в глаза. Отныне нам придется распроститься с репутацией физиогномиста, ибо, внимательно присмотревшись к этому джентльмену, мы не вычитали на его физиономии ничего, кроме самомнения и тупости, а наш новый знакомец с серебряным жезлом как раз тут-то и шепнул нам на ухо, что это доктор прав, и перечислил еще бог весть сколько всяких ученых званий. Следовательно, мы ошиблись, не сумев распознать в человеке высокой одаренности! Впрочем, джентльмен у камина столь искусно скрывал отпущенные ему природой таланты,— видимо, не желая подавлять своим величием людей заурядных,— что его можно было принять за первейшего болвана в мире.

Джентльмен в очках огласил свой вердикт, и когда гул голосов в зале стих, секретарь суда объявил слушание следующего дела по иску, предъявленному Бамплом к Сладберри. Движение в публике — и наш услужливый друг с серебряным жезлом шепчет нам: «Теперь будет повеселее! Дело о непотребстве!»

Такое пояснение показалось нам маловразумительным, но из речи адвоката истца мы поняли, что, согласно допотопному закону, принятому еще во времена одного из Эдуардов, суд имеет право подвергнуть отлучению от церкви любое лицо, кое будет признано виновным в «непотребстве» или «бесчинстве» в церкви, а также в примыкающей к ней ризнице. Как явствовало из двадцати восьми свидетельских показаний, зачитанных адвокатом, такого-то числа, на собрании прихожан такого-то прихода, ответчик по данному делу Томас Сладберри употребил и применил к истцу Майклу Бамплу выражение «пропади ты пропадом»; когда же помянутый выше Майкл Бампл и другие лица указали помянутому выше Томасу Сладберри на недостойность его поведения, помянутый выше Томас Сладберри повторил помянутые выше слова: «про-

пади ты пропадом», а далее осведомился и пожелал узнать, «какого ему, помянутому выше Майклу Бамплу, надобно рожна», пояснив при этом, что «если помянутый выше Майкл Бампл хочет получить по морде, то за ним, помянутым выше Томасом Сладберри, задержки не будет», и присовокупил к сему другие дерзостные и греховные слова, кои, по разумению Бампла, подпадают под соответствующую статью закона, вследствие чего он, Бампл, радея о душе и покаянии Сладберри, просит отлучить его от церкви.

Начались бесконечные прения сторон, весьма назидательные для переполнившей залу публики, которая проявляла горячий интерес к приходским кляузам, и когда пространные, обстоятельные речи за и против были произнесены, краснолицый джентльмен в черепаховых очках занялся подведением итогов, на что потребовалось еще полчаса, а потом огласил суровый приговор, согласно которому Сладберри подвергался отлучению от церкви на две недели и уплате судебных издержек. Вслед за тем торговец лимонадом Сладберри — маленький человечек с цветущей и весьма хитрой физиономией, обратился к суду и сказал, что если с него снимут судебные издержки, а взамен отлучат от церкви по гроб жизни, это ему вполне подойдет, так как он в божий храм вовсе не заглядывает. Джентльмен в черепаховых очках смерил подсудимого взглядом, исполненным благородного негодования, и не удостоил ответом его апелляцию, после чего Сладберри удалился вместе со своими друзьями. Поскольку человек с серебряным жезлом сказал нам, что на этом судебное заседание закончится, мы тоже удалились, размышляя по пути о возвышенном духе древних узаконений, о добрых, братских чувствах, которые им надлежало бы исторгать из людских сердец, и о нерушимой приверженности к церкви, которую, казалось бы, они должны воспитывать в верующих.

Мы были так погружены в свои мысли, что, не разбирая дороги, свернули в первый попавшийся переулок и вдруг наткнулись на дверной косяк. Подняв голову, чтобы посмотреть, что это за дом, мы прочли надпись крупными буквами: «Канцелярия суда по делам о наследствах», а так как доступ в это здание был свободный и любозна-

тельность наша все еще не угасла, нас сразу повлекло туда.

Мы очутились в длинной комнате, разделенной по обе стороны перегородками на маленькие клетушки; клерки, сидевшие там, изучали или же переписывали завещательные распоряжения. Посредине стояло несколько высоких конторок, и около каждой из них теснились по три-четыре человека, погруженных в чтение больших, толстых книг. Мы знали, что они заняты розысками завещаний, и решили приглядеться к ним повнимательнее.

Как любопытно было сравнить леность и равнодушие адвокатских писцов, которые листали страницы толстых книг по долгу службы, с сосредоточенностью и рвением тех, кто, не имея прямого касательства к этой канцелярии, отыскивал здесь завещания покойных родственников. Первые то и дело прерывали свою работу досадливыми зевками или разглядывали сновавших мимо людей; последние же не поднимали головы от лежащих перед ними книг и, безучастные к тому, что делалось вокруг, пробегали один за другим длинные столбцы имен.

Был здесь один маленький человечек в синем фартуке и с чумазой рожей, который все утро копался в документах пятидесятилетней давности, наконец отыскал то, что нужно, и теперь слушал, как чиновник, невнятно бормоча себе под нос, читал ему интересующее его завещание по объемистой книге с пергаментными листами и большими застежками. Но чем дальше углублялся чиновник в чтение документа, тем меньше и меньше понимал его человечек в синем фартуке. Когда книгу внесли в канцелярию, он снял шляпу, пригладил волосы, удовлетворенно улыбнулся и так посмотрел на чтеца, будто обещал запомнить все до последнего слова. В первых двух-трех строках никаких головоломок не было, но потом пошла юридическая терминология, и человечек в синем фартуке явно начал теряться, дальнейшие же пункты и вовсе затуманили ему мозги. Чиновник все читал и читал, а маленький человечек слушал, открыв рот, и так ошарашенно таращил глаза, что мы не могли удержаться от смеха, глядя на него.

Немного дальше старик — худой, весь в морщинах, напряженно вчитывался в длинное завещание, нацепив на

нос очки в роговой оправе. Отрываясь изредка от книги, он украдкой переписывал себе для памяти суммы завещательных даров. Каждая морщинка вокруг его беззубого рта, около пронзительных глаз — все говорило об алчности и коварстве. Одежда на нем была чуть ли не ветхая, однако носил он ее явно не по нужде, а по доброй воле; все его повадки, движения — даже то, как он брал из маленькой табакерки крохотные понюшки табака, выдавали в нем богача, скупца и скрягу.

Он не спеша закрыл книгу, сдвинул очки на лоб, спрятал свои записи в большой кожаный бумажник, и мы представили себе мысленно, какое выгодное дельце совершит он с одним из задавленных нуждой наследников по этому завещанию, который, прождав много лет, не достанется ли ему пожизненная рента, уступит свою наследственную долю за двенадцатую часть ее истинной стоимости как раз в то время, когда она могла бы принести большой доход. Что и говорить, выгодное, верное дельце! Старик сунул бумажник во внутренний карман шинели и с торжествующей усмешкой заковылял прочь. Это завещание омолодило его по меньшей мере лет на десять.

Сделав несколько таких портретов, мы, вероятно, не остановились бы на этом и описали бы еще человек десять, но — увы! — изъеденные червями старые книги одну за другой стали захлопывать и класть по местам, из чего следовало, что канцелярию сейчас закроют и тем самым лишат нас предвкушаемого удовольствия, а наших читателей уберегут от мук.

Когда мы возвращались домой, нас не покидала мысль об этих странных реестрах согласия и раздоров, зависти и мести, любви, бросающей вызов самой смерти, и ненависти, не угасающей даже в могиле,— безмолвные, но столь разительные доказательства сердечной чистоты и душевного благородства и рядом с ними печальные примеры низости человеческой натуры. И сколько людей, лежа в немоте и беспомощности на смертном одре, отдали бы все на свете, лишь бы обрести силы на то, чтобы уничтожить эти доказательства вражды и злобы, которые свидетельствуют против них в Докторс-Коммонс!

ГЛАВА IX

Лондонские развлечения

Склонность людей, занимающих незаметное место в жизни, перенимать обычаи и повадки тех, кто волею судеб вознесен над ними, нередко толкуется вкривь и вкось, а подчас вызывает и осуждение. Что и говорить, замашки эти в значительной степени присущи так называемым «благородным» небольшого достатка, мнящим себя аристократами. Лавочники и клерки — главы семейств, где читают нашумевшие романы и где дочки берут из библиотеки книги на дом,— снимают невзрачное «зало» в какой-нибудь второсортной гостинице и, стараясь изо всех своих скромных сил, чтобы все было, как у Олмэка *, принимают там гостей с не меньшим самодовольством, чем те счастливчики, которым дарована возможность щеголять своим великолепием в излюбленном ими блистательном чертоге, помянутом нами выше. Мечтательные юные девы, начитавшись пламенных газетных отчетов о «великосветских базарах», вдруг ударяются в благотворительность; будущие победы и замужество так и стоят у них перед глазами; отыскивается какое-нибудь в высшей степени почтенное общество, по странному стечению обстоятельств никому до сих пор не известное и находящееся при последнем издыхании; арендуется «зало» у Томсона или зимний сад у Джонсона, и вышеупомянутые юные девы, руководствуясь только благотворительными целями, три дня подряд выставляют там себя на всеобщее обозрение от двенадцати до четырех часов пополудни за весьма умеренную плату в один шиллинг — цена входного билета. Впрочем, если не считать этих слоев общества да еще кое-каких жалких ничтожеств, склонность к подражательству, которой мы здесь коснулись, не так уж широко распространена. Нас гораздо больше интересуют другие способы увеселений, принятые в других кругах, и мы решили посвятить им этот очерк, в надежде, что они заинтересуют и наших читателей.

Если у дельца из Сити, который покидает агентство Ллойда в пять часов дня и едет домой в Хэкни, Клептон,

Стэмфорд-Хилл или какое-нибудь другое лондонское предместье, есть радость в жизни, кроме ежедневного обеда,— так это его сад. Рук он к нему никогда не прикладывает, но гордится им ужасно, и если вы собираетесь ухаживать за его младшей дочкой, не забудьте восхищаться каждым цветком и каждым кустиком в этом саду. Если же у вас, из-за скудости выразительных средств, возникает вопрос, чему отдать предпочтение — саду вашего любезного хозяина или его винам, смело рекомендуем вам сосредоточить все восторги на первом. Утром, перед тем как ехать в Сити, наш делец совершает прогулку по своим владениям и особенно печется о поддержании чистоты в прудике, где разводится рыба. Придя к нему воскресным летним днем за час до обеда, вы застанете его на лужайке позади дома — в кресле, с газетой в руках, на голове соломенная шляпа. Поблизости непременно будет стоять большая металлическая клетка с пестрым попугаем; бьемся об заклад десять против одного, что обе его взрослые дочки прогуливаются в это время по боковой дорожке в обществе двух-трех кавалеров, которые прикрывают им головки зонтиками — разумеется, только от солнца! — а маленькие дети уныло бродят в тени под присмотром младшей няни. Если не считать воскресных дней, то сад доставляет ему радость не сам по себе, а как одна из статей собственности. Когда, получив от него приглашение к обеду в будни, вы едете вместе с ним за город, он сидит рядом с вами усталый и даже немножко брюзжит; но вот посуду со стола убрали, пропущены три-четыре стаканчика портвейна, и ваш хозяин приказывает распахнуть стеклянную дверь столовой (которая, разумеется, смотрит в сад), прикрывает голову шелковым платком, откидывается на спинку кресла и начинает разглагольствовать о красотах своего сада и о том, во сколько ему обходится такое удовольствие. Это делается для того, чтобы вы — юный друг дома — сумели должным образом оценить как великолепие сада, так и состоятельность его владельца; когда же этот предмет исчерпан до конца, ваш любезный хозяин спокойно засыпает.

Есть еще другой разряд людей, тоже увлекающихся садоводством, но они совсем не похожи на тех, которых мы только что описали. Возьмем одного из представите-

лей этой людской разновидности, проживающего недалеко от Лондона — ну, скажем, на Хэмстед-роуд, Килберн-роуд или на какой-нибудь другой подобной же улице, где домики небольшие, чистенькие, и каждый с садиком позади. Он с женой — оба такие опрятные, маленькие, поселились в этом домике лет двадцать назад, с тех самых пор, как ему настало время удалиться от дел. Детей у них нет. Единственный сын их умер в пятилетнем возрасте. Портрет ребенка висит над камином в парадной гостиной, а игрушечная колясочка, которую он катал, бережно хранится в память о нем.

В ясные дни старый джентльмен почти все время возится в саду, а в плохую погоду часами любуется им из окна. У него всегда найдется там какая-нибудь работа — вот он перекапывает землю, вот метет дорожку, подрезает ветки, сажает что-то, и вы чувствуете, какое это доставляет ему удовольствие. Весной в садике конца нет посеву семян, и возле зарытых в землю семечек втыкается дощечка с надписью, точно с эпитафией им, покойникам, а по вечерам, после заката, вы диву даетесь, глядя, как неутомимо старый джентльмен таскает одну за другой тяжелые лейки. Единственным развлечением, помимо сада, служит ему газета, он штудирует ее ежедневно, от начала и до конца, а самые интересные новости читает вслух жене за завтраком. Старая леди большая любительница цветов; свидетельством тому — на подоконнике в гостиной стаканы для выращивания гиацинтов, а во дворике перед домом горшки герани. Садом она тоже гордится, и когда на одном из четырех кустов крыжовника вырастает особенно крупная ягода, ее бережно кладут на буфет, под винный бокал, для всеобщего обозрения и показывают гостям, поясняя при этом, что куст, породивший такую громадину, посажен мистером имярек собственноручно. Летними вечерами, после того как большая лейка наполнена и опорожнена раз четырнадцать подряд и старички умаялись с ней, вы застанете их в маленькой беседке. Они сидят там довольные, умиротворенные, любуются тихими сумерками, следят за тенями, которые окутывают их садик и, с каждой минутой становясь все гуще и мрачнее, гасят самые яркие цветы на клумбе. Неплохая эмблема долгих лет, что неслышно протекли над этой четой, при-

глушив в своем течении самые светлые краски ее былых надежд и чувств. Таковы скромные утехи наших старичков, и других они не требуют. Все то, что дает покой и внутренний мир, таится в глубине их сердец, и единственное, чего испрашивает себе и он и она,— это умереть первым.

Мы ничего не приукрасили в этом очерке. Таких супружеских пар, как только что описанная, прежде было много; число их, вероятно, уменьшается и будет уменьшаться с каждым годом. Нам не хотелось бы затрагивать здесь вопрос о поверхностности, наблюдающейся последнее время в воспитании девушек, и о том, не приведет ли их увлечение суетными пустяками к тому, что они окажутся непригодными для тихой семейной жизни, которая раскрывает женскую прелесть больше, чем любое многолюдное сборище. Уповаем, впрочем, что опасения наши напрасны.

А теперь давайте перейдем к другим слоям лондонцев, развлечения которых представляют собой разительный контраст только что описанным,— мы говорим о тех, кто веселится лишь по воскресным дням. Попросим же читателей вообразить, будто они стоят бок о бок с нами в одном из наиболее любимых лондонцами загородных садов «с подачей крепкого чая и других напитков».

День сегодня выдался на редкость жаркий, и у людей, которые ежеминутно прибывают сюда целыми компаниями, физиономии пылают ничуть не меньше, чем столики, только что покрашенные красной краской. Какая здесь пылища, какой шум, говор! Мужчины и женщины, юноши и девушки, супружеские пары и влюбленные, младенцы на руках у мамаш, малыши в детских колясочках, трубки и устрицы, сигары и креветки, чай и табачный дым. Джентльмены в жилетах ошарашивающих расцветок с пропущенными по ним стальными цепочками для часов прогуливаются по трое в ряд, поражая всех своей важностью («павлиньей» — по выражению одного шутника); дамы, обмахиваясь носовыми платками величиной с небольшую скатерть, резвятся на лужайке с прелестной шаловливостью, рассчитанной на то, чтобы привлечь внимание вышеупомянутых джентльменов; женихи, не страшась расходов, заказывают для своих возлюбленных бутылки

имбирного лимонада, а возлюбленные, не страшась последствий, запивают им несметное количество устриц и креветок; юноши в лихо сдвинутых набекрень высоченных цилиндрах покуривают сигары и притворяются, будто это доставляет им удовольствие; джентльмены в розовых рубашках и голубых жилетах помахивают тросточками, время от времени сбивая ими с ног самих себя и других гуляющих.

Здешние туалеты часто вызывают улыбку, но в общем вид у этих людей опрятный, довольный, настроены они благодушно и охотно общаются между собой. Вон те две матроны — обе в нарядных накидках,— которые так доверительно беседуют, приговаривая через каждые три слова «сударыня, сударыня», познакомились минут двадцать назад; поводом для знакомства послужили восторги одной из них по адресу сына второй — крохотного человечка в розовой шелковой треуголке с черными перышками. Двое мужчин в синих сюртуках и бурых панталонах — те, что прогуливаются по саду, покуривая трубки,— их мужья. В соседней беседке сидят весьма типичные образцы завсегдатаев таких садов. Компания состоит из отца, матери, старенькой бабушки, молодого человека и девицы и еще одного джентльмена — видимо, общепризнанного остряка,— которого называют звучным именем «дядюшка Билл». При них шестеро детей, впрочем это явление настолько обычно здесь, что о нем и упоминать не стоит. Из тех посетительниц загородного сада, которые прожили в замужестве несколько лет, каждая, очевидно, раза по два, по три разрешалась от бремени двойняшками, ибо только так и можно объяснить, почему подрастающее поколение столь широко представлено здесь.

Поглядите, с каким ликованием старенькая бабушка встречает блестящие остроты дядюшки Билла: «Чай на четыре персоны, хлеба с маслом на сорок!» Прислушайтесь к взрыву веселья, разразившемуся, когда он прицепил бумажную косичку к воротнику официанта! Молодой человек, очевидно, ухаживает за племянницей дядюшки Билла, и намеки последнего, такие, как: «Не забудьте пригласить меня на званый обед!», «Эх! Поскорее бы отведать свадебного пирога, Салли!», «В крестные отцы позовите меня — бьюсь об заклад, что первенец будет маль-



чик», и прочее, и тому подобное — вгоняют юную парочку в краску, а старших восхищают своим остроумием. Что касается старенькой бабушки, так она доводит себя хохотом до приступов кашля, и это продолжается все время, пока они пьют «грог — горячий и с сахаром», который дядюшка Билл заказал «каждому по стаканчику» сразу вслед за чаем, «чтобы не простыть на вечернем ветерке после такой несусветной жарищи, а заодно и подбодриться всей честной компанией».

Темнеет, и публика начинает мало-помалу расходиться. На дороге, ведущей к городу, полно народу; родители устало толкают перед собой детские колясочки, ребятишки умаялись и веселят себя и окружающих плачем или же прибегают к более приятному способу отдохновения, то есть погружаются в сон. Матери подумывают о том, как хорошо было бы очутиться сейчас дома; влюбленные нежничают еще больше, ибо миг расставания близок; при свете двух фонарей, повешенных на деревья для удобства курильщиков, сад выглядит довольно уныло, и официанты, которые провели последние шесть часов в непрерывной беготне, только за подсчетом стаканов и выручки начинают чувствовать, что они тоже малость притомились.

ГЛАВА X

Темза

«Вы любите греблю?» В жаркую летнюю погоду такой вопрос часто задают друг другу молодые люди — судя по их одежде, существа земноводные. «Очень»,— слышится в ответ. «А вы?» — «Торчу на реке с утра до вечера». Это заявление подкрепляется набором эпитетов, выражающих пылкую приверженность к водной стихии. Что же до нас, то при всем нашем пиетете к мнениям, распространенным в обществе и, в частности, в яхт-клубах, мы, с присущей нам скромностью, должны сказать, что у тех, кто изредка совершал прогулки по Темзе, самые тяжелые воспоминания обычно бывают связаны с занятием гребным спортом. Слышал ли кто-нибудь об удачной прогулке

по реке, а если поставить вопрос ребром — видел ли кто-нибудь нечто подобное? Нам приходилось несчетное число раз кататься на лодке, и, положа руку на сердце, мы не упомним ни одной поездки, которая не была бы отмечена таким количеством несчастий, какое, казалось бы, невозможно втиснуть в отрезок времени, ограниченный шестью — девятью часами. Без осложнений дело никогда не обходилось. То обнаружится, что из бутылки с соусом выскочила пробка, то не обнаружится самый приятный член компании, а вместо него выскочит личность всем антипатичная, то свалятся за борт два-три ребенка, то рулевой подвергает опасности вашу жизнь, то джентльмены, вызвавшиеся грести, оказываются «не в ударе» и производят зловещие эволюции с веслами, погружая их в воду без всякой надежды извлечь обратно, или же со страшной силой налегают на них, когда они вовсе не касаются воды; и в первом и во втором случае это приводит к тому, что гребцы со всего размаху стукаются затылком о дно лодки и весьма унизительным для себя образом показывают вам подошвы своих изящных туфель.

Мы признаем, что берега Темзы чрезвычайно живописны у Ричмонда, Туикенема и других гаваней, достичь которых стремятся многие, а достигают — единицы; однако, начиная от харчевни «Красный Дом» и до моста Блекфрайерс картина резко меняется. Слов нет, Исправительный дом поражает благородством своих очертаний, и пловцы, которые обычно облюбовывают эту часть реки, вероятно, представляют собой очаровательное зрелище в далекой перспективе, но, когда вам приходится держаться ближе к берегу на обратном пути и девицы, вдруг залившись краской, устремляют пристальный взгляд куда-то в пространство, а дамы покашливают, опуская глаза долу, вас начинает одолевать мучительное чувство неловкости, особенно если за последние два часа вы делали несмелые попытки настроиться на романтический лад.

Такое отношение к прогулкам по Темзе — плод нашего личного опыта и перенесенных мук, но нам отнюдь не чуждо здоровое чувство юмора, которое пробуждается у всякого, кто смотрит на любителей гребного спорта со стороны. Что может быть забавнее сценок, разыгрывающихся погожим летним утром на лодочной пристани

Серла? Настало время прилива, и штук десять лодок готовятся принять пассажиров, нанявших их заблаговременно. Двое-трое лодочников в необъятных штанах и вязаных фуфайках действуют с прохладцей — принесут пару весел и подушку, перекинутся словечком с каким-нибудь молодцом, который, подобно всем своим собратьям, видимо, только на то и способен, что бить баклуши; потом снова куда-то уходят и возвращаются с навесным рулем и упоркой, снова услаждают себя беседой с приятелями, после чего останавливаются посреди пристани и, засунув руки в бездонные карманы штанов, вопрошают: «Куда же провалились джентльмены, что заказали шестерку?» Главный лодочник, который ходит с подвернутыми у щиколоток штанинами — вероятно, для того, чтобы черпать ими воду, ибо в этой стихии ему вольготнее, чем на суше,— личность весьма примечательная, особенно если учесть, что он тезка знаменитого любителя устриц Дэндо *, ныне покойного. Понаблюдайте за ним, когда, позволив себе минутную передышку от трудов праведных, он лениво присаживается на борт лодки и обмахивает свою широкую, заросшую густыми волосами грудь, используя в качестве опахала шапку, и вполовину не такую мохнатую. Полюбуйтесь на его великолепные (правда, рыжие) бакенбарды, послушайте, как он, с несколько грубоватым юмором, «учит уму-разуму» своих юных подручных или же ловко выманивает у джентльменов на стаканчик джина — напиток, который ему удается потреблять за день в таком количестве, что и шестерым впору, причем без всякого вреда для себя.

Но вот джентльмены наконец-то прибывают, и, выйдя из состояния неуверенности, Дэндо горячо берется за дело. Джентльмены шествуют в полном спортивном обмундировании — куцые синие курточки, полосатые рубашки и головные уборы всех фасонов и размеров, начиная с французских бархатных беретов и кончая бесхитростным колпаком, какой носил его преподобие мистер Дилворт *, если верить портрету, знакомому тем, кто учился по старым букварям.

Вот когда любопытнее всего наблюдать за спортсменами, совершающими воскресные прогулки по Темзе. До сей минуты джентльмены, должно быть, наперебой пре-

возносили свое доскональное знание навигации; вид реки быстро охлаждает их пыл, и самопожертвование, которое они проявляют, уступая друг другу весла, просто умилительно. Но вот после бесконечных пересаживаний и пререканий, сопутствующих выбору загребного,— один джентльмен не может грести с правого борта, второй с левого, третий ни с правого, ни с левого,— гребцы наконец-то усаживаются по местам. «Отчаливай!» — командует рулевой таким бравым и уверенным голосом, точно он ведет судно в Бискайском заливе. Команду выполняют; лодка сразу же делает полный оборот и устремляется к Вестминстерскому мосту, вздымая такие брызги и производя такое бурление воды, какого не было видано со дня гибели «Ройял Джорджа» *. «Табань! Табань! — кричит Дэндо.— Эй, на корме!» Каждый из гребцов думает, что это относится именно к нему, все дружно начинают табанить и лодка задним ходом возвращается к причалу. «Эй, на корме! Табань, табань! На носу! Налегайте, сэр! Что вы дремлете?» — во все горло орет Дэндо. «Налегай, Том! Что ты дремлешь?» — подхватывает один из гребцов. «Том не на носу»,— говорит другой. «Нет, на носу!» — кричит третий, и несчастный молодой человек, не считаясь с тем, что у него вот-вот лопнут кровеносные сосуды, изо всех сил налегает на весло до тех пор, пока лодка не поворачивает носом по направлению к мосту Воксхолл. «Вот так! Правильно! Теперь дружно, все разом! — снова командует Дэндо, добавляя вполголоса рядом стоящим: — Видали таких недотеп?» — а тем временем лодка зигзагами мечется из стороны в сторону, потому что каждым из шести весел молотят вразнобой, не соблюдая такта. Пристань снова пустеет до появления следующей партии.

Шлюпочные гонки на Темзе зрелище увлекательное, прямо-таки захватывающее. По реке снуют лодки всех родов и видов; зрители занимают места на угольных баржах, пиво и табак потребляются в огромных количествах; мужчины, женщины и дети, затаив дыхание, ждут начала гонок, шестерки и восьмерки не спеша скользят по воде, готовясь сопровождать своих фаворитов; духовые оркестры вносят во все это если не гармонию, то уж оживление-то наверняка; лодочники толпятся на ступеньках причалов и выхваляют каждый своего кандидата на первое

место, а приз, уготованный победителям,— изящный ялик, который медленно курсирует у берега на паре весел,— приковывает к себе взоры всех.

Бьет два часа, и зрители настороженно вглядываются в арочный проем моста, откуда должны появиться призеры. Два часа тридцать минут — всеобщее волнение, не выдерживая затяжки, начинает спадать, как вдруг раздается пушечный выстрел, издали, по обоим берегам, нарастает «ура!», зрители вытягивают шею, приветственные клики все громче, все ближе, лодки, что в ожидании стояли у моста, мчатся вверх по реке, под мостовой аркой показывается вельбот с полной командой, и гребцы в нем громко подбодряют еще никому не видимые гоночные шлюпки.

«Вот они!» — дружно восклицают зрители, и первая шлюпка стрелой выносится из-под моста; гонщики в ней по пояс голые, и всем видно, какую работу задают они своим мускулам, чтобы не потерять достигнутого преимущества; четыре соперницы ее совсем близко — просвет между ними равен самое большее длине двух шлюпок; бурные возгласы на баржах и на пристани, азарт зрителей достиг высшей точки. «Розовая! Давай, давай!» — «Покажи им, красная!» — «Салливен! Ура-а!» — «Браво, Джордж!» — «Сильнее, Том! Ну, еще... еще! Что же твой сосед ленится!» — «Ставлю на желтую! Пинту против кружки!» — и так далее и тому подобное. Харчевни, даже самые маленькие, палят из пушечек, поднимают флаг над крышей, и победители подходят к финишу в каскаде брызг, под немолчные крики, топот,— словом, вокруг такое столпотворение, что тем, кто не видал шлюпочных гонок, трудно даже вообразить себе, как это бывает, и никакими описаниями тут делу не поможешь.

Летом одно из самых любопытных зрелищ представляют собой пароходные пристани у Лондонского моста и у доков св. Екатерины, особенно в утренние часы по субботам, когда пароходы на Грейвзенд или Маргет набиты до отказа. Мы надеемся, что, побывав вместе с нами на лондонских пристанях, читатели не откажутся сопровождать нас и на борт грейвзендского парохода.

Экипажи то и дело подъезжают к пристани, и нельзя удержаться от смеха, глядя, как их седоки, растерянные,

ошарашенные, отдают себя и свой багаж в руки носильщиков, а те хватают вещи и убегают с ними неведомо куда. Маргетский пароход стоит у самого причала, грейвзендский (который отходит первым) — во втором ряду; для перехода с одного на другой переброшены мостки с поручнями, что отнюдь не способствует уменьшению неизбежной в таких случаях путаницы.

— На Грейвзенд? — спрашивает солидный отец столь же солидного семейства, которое следует за ним под присмотром мамаши и служанки, рискуя, что двое-трое из его членов затеряются в толпе.— На Грейвзенд?

— Будьте любезны пройти, сэр,— отвечают ему.— Вон туда, сэр.

Поскольку солидному отцу семейства такой ответ кажется маловразумительным, а солидная мать семейства в волнении за своих детищ вообще мало что соображает, все они скопом валят на маргетский пароход. Солидный отец радуется, что им удалось занять удобные места, и пробирается к трубе посмотреть, тут ли их вещи, смутно припоминая, как он кому-то сколько-то заплатил, чтобы их куда-то снесли. Ничего такого, что хотя бы отдаленно напоминало формами и размерами его багаж, обнаружить у трубы не удается; тогда солидный отец громким голосом требует помощника капитана и излагает ему суть дела в присутствии другого отца другого семейства — человечка тщедушного, щуплого, который поддерживает его в том, что пора, давно пора обуздать пароходные компании, а если этого не удалось добиться с помощью закона о городском самоуправлении *, надо принять какие-то другие меры; в самом деле, как они смеют так обращаться с имуществом публики! Если багаж не будет разыскан немедленно, надо написать об этом в газету, ибо нельзя приносить публику в жертву крупным монополиям. Помощник капитана в свою очередь заявляет, что компания «Доки св. Екатерины» с первого дня существования обеспечивает сохранность жизни и собственности своих пассажиров, чего нельзя сказать о компании «Лондонское пароходство» (ее конкурента), за нравственные устои которой никто отвечать не может; что же касается данного случая, так тут произошло явное недоразумение, и он

готов принести присягу перед судом, что джентльмен отыщет свой багаж до прибытия в Маргет.

Тут солидный отец с полной убежденностью в неотразимости своего довода отвечает, что — представьте себе! — он едет отнюдь не в Маргет и что пункт назначения «Грейвзенд» выведен на его багаже огромными буквами, после чего помощник капитана в двух словах разъясняет ему его ошибку, и тогда солидную мамашу вместе с солидным семейством и служанкой срочно гонят на грейвзендский пароход, куда они поспевают как раз вовремя, чтобы убедиться в наличии своего багажа и в отсутствии удобных мест. Вскоре слышится яростный звон колокола, возвещающий отплытие грейвзендского парохода, и люди начинают носиться как угорелые под его трезвон — одни на палубу, другие с палубы. Колокол отзвонил, пароход отчалил. Те, кто прощался с друзьями на палубе, волей-неволей отправляются в путешествие, а те, кто прощался с друзьями на берегу, убеждаются, что церемония эта оказалась совершенно излишней, ибо о путешествии им теперь нечего и думать. Пассажиры с сезонными билетами сходят вниз завтракать; пассажиры, успевшие запастись утренней газетой, погружаются в чтение, а те, кому впервые пришлось очутиться на Темзе, начинают подумывать, что и пароходы и сама река гораздо привлекательнее, когда смотришь и на то и на другое издали.

За Блэкуоллом наше судно прибавляет ходу, и настроение у пассажиров соответствующим образом повышается. Старушки с большими плетеными корзинами деловито уничтожают пухлые сандвичи и, заметно веселея, пускают по кругу стаканчик, куда то и дело подливается винцо из плоской фляги, похожей на грелку; первым угощают джентльмена в фуражке, играющего на арфе,— отчасти в знак признательности за уже исполненные пьесы, а отчасти для того, чтобы он сыграл «Дамбл-дамблдири» для Элика, а тот спляшет под музыку. Угощение не пропадает даром, и Элик — рыхлый, вялый бутуз в красных шерстяных носках — делает несколько прыжков по палубе к несказанной радости всех своих родичей. Девицы, извлекшие было из ридикюлей первую книжку нового романа, вдруг начинают томным голосом распространяться

насчет голубизны небесного свода и прозрачности речных струй, а мистер Браун или же мистер О'Брайен (раз на раз не приходится) не сводит с них глаз и отвечает вполголоса, что за последнее время он (мистер Браун или мистер О'Брайен) стал совершенно нечувствителен к красотам природы, ибо все его помыслы и желания сосредоточены на одном предмете... Юная девица возводит очи, но, не будучи в силах выразить взглядом полную безмятежность, снова опускает их да еще притворяется, будто никак не может перевернуть страницу книжки, что дает молодому человеку повод задержать свою руку на ее пальчиках.

Подзорные трубы, сэндвичи и порции бренди с водой, без сахара, начинают пользоваться все бо̀льшим спросом, а застенчивые джентльмены, созерцающие машинное отделение в открытый люк, находят к своей величайшей отраде благодатную тему, на которую они могут беседовать друг с другом,— тему, надо сказать, неисчерпаемую: пар!

«Поразительная это вещь, сэр!» — «Да-а! (Глубокий вздох.) Замечание справедливое, сэр».— «Могучая сила».— «Что и говорить, сэр!» — «Ему везде можно найти применение, сэр».— «Да-а!» (Снова вздох, подтверждающий безмерность этой силы, и многозначительные кивки.) — «Вы правы, сэр, правы!» — «Подождите! То ли еще будет!» Дальнейшие высказывания в том же духе кладут начало беседе, продолжающейся всю поездку, и иной раз завязывается знакомство между пятью-шестью пассажирами, которые ездят домой в Грейвзенд по сезонному билету и ежедневно встречаются на пароходе за обедом.

ГЛАВА XI

Цирк Астли

Лишь только перед нашими глазами мелькнут где-нибудь — на страницах ли книги, в окне лавки, или на афише — большие, жирные черные буквы, как нам отда-

ленно, смутно вспоминается то время, когда нас посвящали в тайны алфавита. Мы будто видим перед собой кончик спицы, переползающий с буквы на букву, чтобы запечатлеть каждую в нашем смятенном мозгу, и даже невольно жмуримся, как бы чувствуя твердые костяшки пальцев, которыми почтенная старая леди, вбивавшая нам в голову основу всех наук за девять пенсов в неделю или десять шиллингов шесть пенсов в четверть года, имела привычку постукивать по нашему младенческому затылку, ибо, по ее мнению, это наилучшим образом устраняло путаницу, всегда царящую в мыслях учеников. Такое же чувство преследует нас и в ряде других случаев, но ничто не напоминает нам детства сильнее, чем цирк Астли *. В те далекие годы он еще не назывался «Королевским амфитеатром», и Дюкроу * еще не успел озарить классической пантомимой и фейерверками опилки на его арене; однако вся атмосфера там была такая же, как в наши дни, те же ставились пьески, такие же шутки отпускали клоуны, так же блистателен был шталмейстер, так же острили комики, так же хрипели трагики и так же артачились «покорные дрессировщику лошади». Годы изменили цирк Астли к лучшему, нас — к худшему. Наша любовь к зрелищам увяла, и мы должны признаться к своему стыду, что теперь нам гораздо интереснее и приятнее следить за публикой, чем за пышными представлениями, когда-то так пленявшими нас.

Мы любим присматриваться в цирке Астли к зрителям, которые целыми семьями приходят туда на пасхальной неделе или же летом, в Иванов день,— папа, мама и их потомство человек в девять-десять, ростом от пяти футов шести дюймов до двух футов одиннадцати дюймов и в возрасте от четырнадцати до четырех лет. Не так давно, мы только успели занять в цирке Астли одну из центральных лож, как в соседней появилось семейство, представляющее с нашей точки зрения тот самый идеальный образчик, который нам хочется описать.

Три мальчугана и одна девочка первыми ступили в ложу и, повинуясь указаниям папы, чей зычный голос послышался в дверях, заняли места у самого барьера; следом за ними молодая девушка — видимо, гувернантка, ввела еще двух девочек. Потом вошли еще три мальчика,

одетые, как и первая троица, в синие костюмчики с белыми отложными воротничками; затем в первый ряд передали совсем юное дитя в обшитом тесьмой платьице и в крайней степени изумления, судя по его широко открытым глазам, причем передача эта сопровождалась мельканием в воздухе голеньких розовых ножек; далее появились папа, мама и старший сын — юноша лет четырнадцати, который делал вид, будто он здесь сам по себе и не имеет никакого отношения к этому семейству.

Первые пять минут ушли на то, чтобы снять с девочек шали и оправить им банты на голове; потом вдруг обнаружили (и вовремя!), что один из малышей сидит за колонной и ничего не видит, поэтому туда ткнули гувернантку, а малыша пересадили на ее место. Потом папа стал муштровать мальчиков и велел им спрятать носовые платки, а мама показала гувернантке кивком головы и глазами, чтобы та оттянула девочкам платья с плеч, и горделиво выпрямилась, оглядывая все свое маленькое стадо; осмотр, видимо, удовлетворил ее, ибо она бросила самодовольный взгляд на папу, который стоял в глубине ложи. Папа ответил ей тем же и внушительно высморкался, а бедная гувернантка, робко выглянув из-за колонны, постаралась, чтобы мама поймала и ее взгляд, исполненный восхищения прелестными детками. Потом двое мальчиков, обсуждавших вопрос, во сколько раз цирк Астли больше театра Друри-Лейн, решили узнать, что думает по этому поводу «Джордж», но «Джордж» — не кто иной, как помянутый выше юный джентльмен,— вскипел и, не стесняясь в выражениях, отчитал братьев за то, что они неприлично громко произносят его имя в общественном месте. Малыши так и прыснули, услышав это, и один из них заявил под общий хохот: «Джордж у нас воображает себя взрослым мужчиной»,— после чего папа с мамой тоже рассмеялись, а Джордж (настоящий денди при тросточке и с пробивающимися бачками) буркнул себе под нос, что «Уильяму любая дерзость сходит с рук», и, скорчив презрительную гримасу, не расставался с ней до конца вечера.

Представление началось, и мальчики позабыли обо всем на свете. Папа увлекся не меньше их, но — хоть и

тщетно, а старался не подать виду, как ему все это нравится. Что же касается мамы, то она буквально упивалась остротами главного комика и под конец так зашлась от хохота, что пышные банты на ее огромном чепце заходили ходуном. Тут гувернантка снова высунулась из-за колонны и, ловя взгляд хозяйки, прижимала платок ко рту, стараясь показать по долгу службы, что ее просто корчит от смеха. Но вот герой в блестящих доспехах поклялся спасти героиню, а нет — так погибнуть, и мальчики восторженно захлопали в ладоши, причем больше всех усердствовал один малыш — видимо, не член семьи, а гость,— весь вечер по-ребячески любезничавший с маленькой ветреницей лет двенадцати — точной копией мамаши, только меньшего размера, а она вместе со своими сестричками — девицами столь же невинного возраста, в котором, как известно, больше всего и кокетничают, была страшно шокирована, когда оруженосец рыцаря поцеловал наперсницу принцессы.

После мелодрамы начались цирковые номера, и тут восторгу детей не было предела, а папа, окончательно махнув рукой на чувство собственного достоинства, встал и аплодировал так же бурно, как и они. После каждого номера вольтижировки гувернантка, наклоняясь к маме, повторяла ей умненькие замечания детей по поводу всего происходящего, и мама, расщедрившись, угостила гувернантку кисленькой конфеткой, и гувернантка, польщенная тем, что ее наконец-то заметили, с просветлевшим лицом снова спряталась за колонну. Вся компания веселилась, кроме денди в глубине ложи, который, будучи персоной слишком значительной, чтобы обращать внимание на всякую мелюзгу, и слишком незначительной, чтобы привлекать чье-либо внимание к себе, занимался тем, что время от времени потирал пальцами то место, где надлежит расти усам, и пребывал в гордом одиночестве.

Пусть тот, кто был в цирке Астли раза два-три и, следовательно, может оценить упорство, с которым одни и те же остроты повторяются там из вечера в вечер, из сезона в сезон,— пусть он попробует сказать нам, что ему не доставила удовольствия хотя бы одна часть представления, а именно цирковые номера. Что касается нас, то мы при-

знаемся в следующем: когда обруч с газовыми рожками опускают, а занавес поднимают для того, чтобы легче было изгнать с арены тех, кто купил билет за полцены и занял чужое место; когда апельсинную кожуру убрали и круг с математической точностью усыпали опилками,— мы испытываем в эти минуты такое же радостное чувство, какое волнует самых юных зрителей, и вместе с ними встречаем хохотом нашего старого знакомца — клоуна, возвещающего пронзительным голосом: «А вот и мы!» Столь же трудно отказаться нам от глубокого уважения к шталмейстеру, который выходит следом за клоуном с длинным бичом в руке и, полный чувства собственного величия, отвешивает церемонный поклон публике. Это вам не какое-нибудь убожество в нанковой венгерке с коричневыми шнурами, а первоклассный шталмейстер, наблюдающий за вольтижировкой главной наездницы. На нем военный мундир с небольшой скатертью вместо манишки, чем он волей-неволей напоминает нам фаршированную индейку. Он... впрочем, стоит ли описывать того, кто не поддается никакому описанию? Этого человека все знают, всем памятны его начищенные сапоги, его стройная («деревянная», по ложному утверждению завистников) фигура, его иссиня-черные волосы, разделенные посредине пробором, что придает ему вдумчивый и поэтически грустный вид. Благородной осанке шталмейстера как нельзя более соответствуют звуки мягкого, бархатистого голоса, когда он снисходит до шуток с клоуном или вдруг, спохватившись, строго, с достоинством восклицает: «Ну, довольно, сэр! Будьте любезны узнать, готова ли мисс Вулфорд?» Да это просто невозможно забыть! А изысканность, с которой он пропускает мисс Вулфорд на арену и, подсадив ее в седло, следует по кругу за прелестной наездницей! Какое неизгладимое впечатление производит эта изысканность манер на всех присутствующих в цирке горничных и кухарок!

Когда и мисс Вулфорд, и ее скакун, и оркестр все разом останавливаются, чтобы перевести дух, шталмейстер с присущей ему благожелательностью принимает участие в диалоге, который начинает клоун. Между ними происходит обмен репликами, вроде нижеследующих: «Послушайте, сэр!» — «Да, сэр?» (Диалог ведется в самом учти-

вом тоне.) — «Известно ли вам, сэр, что я служил в армии?» — «Нет, сэр».— «Служил, сэр, служил и произошел там все гимнастические упражнения, сэр».— «Вот как, сэр?» — «Хотите, покажу, сэр?» — «Будьте столь любезны, сэр. Ну, живо, живо!» (Щелканье длинного бича, и реплика клоуна: «Осторожнее! Еще что выдумали!») Клоун падает на землю и, корчась в акробатических судорогах под одобрительные возгласы с галерки, то складывается пополам, то снова раскручивает руки и ноги — словом, ведет себя так, будто испытывает нечеловеческие муки, и это длится до тех пор, пока агонию его не прерывает свист бича и приказанье посмотреть «не нужно ли чего мисс Вулфорд». Тогда он немедленно осведомляется у наездницы, вызывая своим вопросом бурю восторга на галерке: «Чем могу услужить, удружить, угодить, ублажить, сударыня?» Наездница с очаровательной улыбкой щебечет, что ей нужны два флажка, и он, гримасничая, выполняет ее просьбу, а после этой торжественной церемонии говорит с игривым смешком: «Хи-хи-хи! Видали, сэр? Мисс Вулфорд меня узнала, она улыбнулась мне!» Повторное щелканье бича, оркестр играет что-то бравурное, лошадь берет с места галопом, и мисс Вулфорд снова скачет по кругу, пленяя своим искусством всех зрителей, и старых и малых. В следующую паузу добавляется еще несколько подобных же острот, с той лишь разницей, что, веселя публику, клоун корчит страшные рожи каждый раз, как шталмейстер поворачивается спиной, и наконец, улучив минуту, когда тот занят чем-то другим, покидает арену, прыгнув через его голову.

Замечал ли кто-нибудь из наших читателей тех людей, что торчат днем у артистических входов в маленькие театрики? Проходя мимо этих боковых дверей, вы почти всегда увидите там небольшую группу мужчин, беседующих между собой с тем трудно поддающимся описанию фанфаронством, которым отличаются завсегдатаи трактиров, с подчеркиванием каждого слова, каждого жеста — повадкой, свойственной людям этой категории. Им все кажется, будто они привлекают к себе взоры всех, огни рампы не меркнут у них перед глазами. Вон тот молодой человек в выгоревшем коричневом сюртучке и широчен-

ных светло-зеленых панталонах вытягивает из-под рукавов манжеты своей клетчатой рубашки таким элегантным жестом, точно они у него тончайшего полотна, и так лихо сдвигает на правый глаз позапрошлогодний белый цилиндр, точно он куплен всего лишь позавчера. Посмотрите на эти грязноватые нитяные перчатки и дешевенький шелковый платок, торчащий из кармана его поношенного сюртучка. Достаточно беглого взгляда, чтобы узнать в нем актеришку, который в течение получаса щеголяет на сцене в синем сюртуке с чистым воротничком и в белых панталонах, а потом снова напяливает свое старье. Это тот, кому приходится вечер за вечером похваляться своим богатством с мучительным сознанием, что сам-то он получает всего лишь один фунт стерлингов в неделю, да еще должен выкраивать из них на обувь, требующуюся по роли; это тот, кому приходится расписывать прелести отцовского поместья и в то же время вспоминать о своей собственной убогой мансарде где-нибудь на Нью-Кат, выслушивать льстивые речи, вызывать к себе зависть в качестве возлюбленного богатой наследницы и думать о том, что его жена-танцовщица давно без ангажемента, да к тому же ожидает ребенка.

Рядом с ним вы, по всей вероятности, увидите человека в лоснящемся черном костюме, худого, с бледной унылой физиономией, который будет задумчиво постукивать ясеневой тросточкой по той части своего башмака, где когда-то был каблук. Это исполнитель нудных ролей — таких, как благородные отцы, добродетельные слуги, священники, сквайры и тому подобное.

Кстати об отцах! Как бы нам хотелось посмотреть хотя бы одну пьесу, где все действующие лица были бы сиротами! Отцы влачат за собой смертную скуку на сцену и подробно объясняют герою или героине, что было до поднятия занавеса, приступая к своему рассказу следующим образом: «С того дня, как твоя блаженной памяти матушка (тут голос у них, у злодеев, начинает дрожать) оставила тебя, дитя мое, у меня на руках, прошло девятнадцать лет. Ты была тогда малюткой», и так далее и тому подобное. Или же им вдруг приходит в голову, что тот или та, с кем они, ничего такого не подозревая, находи-

лись в непрестанном общении все три длинных акта,— их сын или дочь, после чего вы слышите возгласы: «Боже! Что я вижу! Этот браслет! Эта улыбка! Эти документы! Эти глаза! Неужто зрение обманывает меня? Нет, сомнений быть не может! Дитя мое!» — «Отец!» — восклицает дитя, и они заключают друг друга в объятия и смотрят друг другу через плечо под бурные рукоплескания зрителей.

Мы отвлеклись в сторону после того, как повели речь о людях, которые часто выставляют себя напоказ у артистических входов в наши маленькие театрики. Около цирка Астли их еще больше. В амбразуре окна, глядишь, сидят конюхи, по тротуару прохаживаются двое-трое потрепанных джентльменов в клетчатых шейных платках и застиранном белье, под мышкой — пара штиблет, кое-как завернутых в старую газету. Несколько лет назад мы, бывало, глазели на них с открытым ртом, как завороженные, а сейчас, держа перо в руке, только улыбаемся при воспоминании об этом. Нам не верилось, что блистательные, грациозные существа в молочно-белых камзолах, розовых трико и голубых шарфах,— те, что вечером проносились у нас перед глазами на белоснежных, украшенных искусственными цветами скакунах, в блеске огней, под гром оркестра,— превращаются при дневном свете в бледных, потрепанных горемык.

Нам и теперь трудно поверить в это. Захудалых актеров мы насмотрелись достаточно и, не слишком напрягая воображение, можем отожествить статиста с «затрапезным денди», исполнителя комических куплетов — с трактирным завсегдатаем, а трагика — с пьянством и злосчастьем. Но цирковые артисты! Нет, это существа сказочные, их видят только на арене, только в одеяниях богов и сильфид! Если не считать Дюкроу, которого вряд ли можно причислить к их сонму, посмеет ли кто-нибудь похвастаться близким знакомством с наездником из цирка Астли, лицезрел ли его кто-нибудь не в седле? Может ли наш друг в военном мундире вдруг появиться в отрепьях или снизойти до будничного неподбитого ватой в груди сюртучишки? Нет! Мы не допускаем, мы не хотим допустить даже мысли об этом!

ГЛАВА XII

Гринвичская ярмарка

Если парки Лондона — это его легкие, то что же такое, спрашивается, Гринвичская ярмарка? Периодическая вспышка эпидемии, надо полагать, нечто вроде трехдневной весенней лихорадки, которая на полгода унимает жар в крови и оправившись от которой Лондон мгновенно и решительно возвращается в привычную трудовую колею, словно никаких потрясений и не происходило.

В былые времена мы из году в год посещали Гринвичскую ярмарку. Мы отправлялись туда и возвращались оттуда в самых различных экипажах, какие только есть на белом свете. По чести, мы должны покаяться, что проделали однажды это путешествие в рессорном фургоне в обществе тринадцати мужчин, четырнадцати женщин, точно не установленного количества детей и бочонка с пивом; смутно помнится нам также, что как-то раз в числе восьми пассажиров, находившихся на империале наемной кареты часов так около четырех утра, были и мы, хотя в ту минуту представление о нашем имени и местожительстве было у нас несколько туманным. С тех пор мы стали старше и солиднее, поуспокоились, попритихли, и самое разлюбезное дело для нас теперь — провести пасху, да и прочие праздники, в каком-нибудь тихом углу, с людьми, которые нам по душе. Однако сдается нам, что мы еще помним Гринвичскую ярмарку и ее завсегдатаев. Во всяком случае — постараемся припомнить.

Пасхальный понедельник. Дорога на Гринвич с утра до поздней ночи шумит и бурлит. Кэбы, наемные кареты, фаэтоны, коляски, фургоны угольщиков, омнибусы, дилижансы, двуколки, тележки, запряженные осликами, все пошло в ход, все набито людьми до отказа (вытянет ли скотина — это не вопрос, выдержал бы экипаж!) — и мчится во всю прыть; пыль стоит столбом; пробки хлопают, как ружейные залпы; на крылечках пивных полно народу — кто потягивает пиво, кто посасывает трубку; чуть ли не в каждом доме открылась чайная; скрипки нарасхват; в любой фруктовой лавчонке прилавок завален

имбирными пряниками и грошовыми игрушками; сборщики пошлины на заставах в отчаянии; лошадей не сдвинешь с места, а колеса сами собой слетают с осей; женщины визжат от страха при каждом столкновении экипажей, а их спутники считают своим долгом, для поднятия духа, придвинуться к ним как можно ближе; служанки, которым не разрешают заводить кавалеров, отпросившись со двора, спешат наверстать упущенное с каким-нибудь верным поклонником, который ежевечерне торчит на углу в надежде урвать минуту свидания, когда его «предмет» побежит за пивом; подмастерья становятся сентиментальны, а модистки — отзывчивы. И все спешат, все охвачены единым порывом — как можно скорее попасть на ярмарку или в парк.

Кучка пешеходов застревает у обочины дороги возле толстой особы, которая предлагает всем желающим, уплатив пенни, с трех раз сбить игрушку, укрепленную на палочке. Другие поддались еще большему соблазну, увидав круглую доску с тремя наперстками и одной горошиной, обладатель которых держит перед зеваками примерно такую речь:

— Вот игра, которая развеселит вас на всю жизнь и еще на семь лет после смерти, даже волосы у вас поседеют от радости! Смотрите сюда — три наперстка и одна маленькая горошина... Раз, два, три, и раз, два, три — нука, поймай ее, кто может. Гляди в оба, не зевай! Расход не велик, не пожалейте медяка. Игра честная, все как на ладони. Кто не рискует, тот не выигрывает, а храбрецам всегда удача. Бьюсь об заклад с любым из вас, джентльмены, что никто не угадает, под каким наперстком горошина. Спорю на любую сумму — от полкроны до соверена!

Тут какой-нибудь простофиля непременно шепнет на ухо своему приятелю, что он-де отлично видел, как горошина подкатилась под средний наперсток, и это сразу же найдет подтверждение у джентльмена в высоких сапогах, который стоит рядом и сокрушается вполголоса, что, как на грех, забыл дома кошелек и не может принять участия в игре. Джентльмен энергично уговаривает незнакомца не упускать столь редкой возможности. Простофиля попадается на удочку, делает ставку и, разумеется, проигры-

вает, а владелец наперстков утешает его, пряча деньги в карман:

— Все дело случая. На этот раз повезло мне, в другой раз повезет вам, стоит ли горевать из-за двух с половиной шиллингов. Завяжите свои денежки в узелок и попытайте счастья где-нибудь еще. Вот игра, которая...— И оратор снова пускает в ход свое красноречие и свою неистощимую фантазию, а толпа, уже значительно выросшая за счет новых зевак, слушает как зачарованная.

Днем излюбленным местом отдыха, не считая, понятно, пивных, служит парк, а самое большое развлечение здесь — это втащить какую-нибудь девицу по крутому склону на вершину холма, где стоит обсерватория, а затем стремглав стащить ее обратно, с немалым уроном для локонов и шляпки, но с несомненной выгодой для любопытных, которые глазеют на это снизу. Заслуженным успехом пользуются также игры: «Поцелуй в хороводе» и «Вдень нитку в бабушкину иголку». Томные франты под двойным воздействием любви и джина начинают весьма бурно проявлять свои чувства, а очаровательные предметы их страсти набивают цену украденным поцелуям, притворно отбиваясь, склоняя чело долу и восклицая: «Ах, отстаньте, Джордж... Ах, Мэри, душечка, пощекочи его, чтобы он от меня отвязался... Нет, как вам это нравится!..» — и еще что-то, столь же достойное Лукреции. Высохшие старички и старушки, с корзинкой в одной руке и бокалом с отбитой ножкой — в другой, предлагают «глоточек горячительного», и молодые особы, поломавшись сколько положено, уступают, наконец, мольбам кавалеров, а отхлебнув «глоточек», изображают неудержимый приступ кашля, дабы соблюсти приличия.

Старики пенсионеры * за умеренную плату в одно пенни показывают в трубу мачтовые мастерские, Темзу с плывущими по ней судами, место, где преступников подвешивали в цепях, и прочие достопримечательности, а публика, поглядев в трубу, задает вопросы, которые самого Соломона поставили бы в тупик, а также требует, чтобы показали такой-то дом на такой-то улице — задача, которая была бы не по плечу даже мистеру Хорнеру. (Мы имеем в виду не того молодого человека, который поедал начинку из сладкого пирога с помощью большого пальца,

а того мистера Хорнера, чья громкая слава связана с Колизеем *.)

Если две-три парочки расположились где-нибудь на травке, возле них почти наверняка можно увидеть смуглую женщину в красном полушалке, которая гадает девицам и предсказывает им мужей, описание которых не требует особой проницательности, ибо оригиналы находятся у нее перед глазами. Юная красавица, выслушав предсказание, смеется, краснеет и прячет лицо в батистовый платочек, а молодой человек, послуживший моделью для портрета, глупо ухмыляется, жмет ей руку и щедро вознаграждает цыганку; та отправляется дальше, вполне довольная собой, вся компания тоже довольна, и предсказание, подобно многим другим, куда более важным предсказаниям, сбывается в свое время.

Но вот уже темнеет, и толпа в парке поредела — остались только запоздалые гуляки. Вдали за церковью вспыхивают огни — это зажгли ярмарочную иллюминацию,— и долетающий оттуда гул свидетельствует, что народу прибывает. А парк, который час назад звенел от шумного веселья, тих и покоен, словно ничто и не смущало его торжественной тишины; прекрасные старые деревья, величественное здание, осененное их пышными кронами, и горделивая река в отдалении, серебристая от луны,— все это предстает теперь во всей своей красе; нежно тают в воздухе детские голоса, поющие вечерний псалом, и скромный мастеровой, растянувшись на траве, что так приятно холодит его натруженные ноги, уставшие от булыжных мостовых Лондона, глядит на развернувшуюся перед ним панораму и исполняется гордости при мысли, что живет в стране, которая отвела своим верным защитникам такое благодатное местечко, где они могут отдохнуть на склоне лет.

Пять минут ходьбы — и перед вами ярмарка. Это зрелище пробуждает в вас уже совсем иные чувства. У входа расположились торговцы имбирными пряниками и игрушками, палатки весело сверкают огоньками, великое множество самых что ни на есть соблазнительных предметов выставлено в них на продажу, и простоволосые девицы, ревностно блюдя интересы хозяев, хватают вас за рукав и принимаются улещать на все лады: «Сюда, сюда, краса-

вец».— «Ну же, хороший мой...» — «Не скупись, любезный»,— стремясь всучить вам и вправду весьма лакомых конфет, каких у каждого завсегдатая ярмарки всегда имеется при себе около фунта, завязанных в миткалевый носовой платок. Но вот на вашем пути стол, на котором расставлены различные закуски — маринованная лососина в маленьких белых тарелочках — пенни за порцию (пучок укропа за ту же цену), устрицы, такие огромные, что створки их похожи на блюдца, и некая разновидность улиток, плавающая в какой-то ядовито-зеленой жиже. Сигары, так же как и орехи, в большом спросе. Джентльмены, разумеется, должны курить, и вот сигары лежат перед вами — на пенни две штуки — в самом настоящем сигарном ящике, с зажженной сальной свечкой, воткнутой посередине.

Теперь представьте себе, что вы находитесь в огромной толпе, которая несет вас то вперед, то назад, тащит то вправо, то влево, но только не туда, куда вам надобно, прибавьте к этому, что в ушах у вас стоит женский визг, крики мальчишек, удары гонга, пистолетная пальба, звон колокольчиков, лай рупоров, писк грошовых свистулек, гром дюжины оркестров (три барабана в каждом), наяривающих всяк свое, выкрики зазывал и — по временам — рев диких зверей, доносящийся из зверинца,— и вы сразу почувствуете себя в самой гуще ярмарки.

Длинное дощатое сооружение с широкими подмостками, весело мерцающее разноцветными фонариками и плошками,— это «Балаган Ричардсона» *, где вас угостят мелодрамой (с тремя убийствами и одним призраком), пантомимой, комическими куплетами, увертюрой и, если придется, еще другой музыкой,— все это за каких-нибудь двадцать пять минут. А пока что актеры прогуливаются перед занавесом во всем великолепии своих париков, расшитых блестками костюмов, белил и румян. Взгляните, с каким свирепым видом джентльмен, исполняющий роль мексиканского вождя, расхаживает взад и вперед и с каким спокойным достоинством главный трагик взирает сверху вниз на толпу или вполголоса переговаривается о чем-то с арлекином! Четыре клоуна, которые все время пытаются зарубить друг друга палашами, быть может и достаточно занимательное зрелище для любителей низко-

пробных забав,— но эти люди призваны развлекать мыслящую часть общества! И как внушительно выглядят они в своих римских тогах, с выкрашенными желтой краской руками и ногами, с пышными гривами курчавых черных волос, косматыми бровями и свирепым взором, выражающим жажду мести, жажду крови и другие не менее возвышенные и сильные страсти! А актрисы! Встречались ли вам еще где-нибудь такие невинные и внушающие такой трепет создания? Вон они по две, по три прохаживаются на авансцене, обняв друг дружку за талию, или стоят, опираясь на руку своих величественных партнеров. Их усыпанные блестками муслиновые платья и голубые атласные туфельки (чуть-чуть поношенные, ну самую малость) приводят в восторг зрителей, а кокетливые ужимки, с которыми они пресекают все заигрывания клоунов, поистине обворожительны.

— Сейчас начинаем! Прошу, продвигайтесь вперед, продвигайтесь вперед! — в двадцатый раз восклицает человек, одетый поселянином, и все толпой лезут по ступенькам в балаган. Раздаются звуки оркестра, Коломбина и Арлекин первыми пускаются в пляс, их примеру следуют и остальные актеры; римские патриции, подбоченясь, лихо отплясывают шотландский, да и героиня трагедии и любовник из пантомимы танцуют слаженно на диво.

— Начинаем! Все по местам! — кричит зазывала, когда никто уже больше не желает «продвигаться вперед», и главные действующие лица жуткой трагедии, которая будет сейчас представлена, исчезают за занавесом.

На подмостках ярмарочного балагана что ни день идет новый спекталь, но сюжет трагедии почти всегда один и тот же. Законный наследник влюблен в молодую леди и любим ею. Некто, незаконно посягающий на наследство, тоже в нее влюблен, но она его не любит. Незаконный хватает законного и бросает его в темницу с целью прикончить как-нибудь потом, когда представится удобный случай, для чего прибегает к услугам двух наемных убийц — злого и доброго,— которые, оставшись наедине, сразу же начинают убивать друг друга, уже по собственному почину, причем доброму удается убить злого, а злой успевает ранить доброго. Законный наследник томится в темнице; с унылым видом он сидит в огром-

ном кресле, осторожно держа в руках тяжелые цепи, но вот оркестр играет что-то еле слышно (два такта), появляется юная леди и обнимает законного наследника, после чего оркестр играет что-то очень громкое и быстрое («в оркестре буря», два такта), появляется незаконный наследник и начинает вести себя самым непотребным образом — швыряет молодую леди по сцене, словно она не леди, а невесть кто, и всячески поносит законного наследника, восклицает громовым голосом: «О трус, о негодяй!», преследуя при этом двойную цель — передать обуревающую его ярость и не дать внезапным взрывам в оркестре заглушить его голос. Напряжение достигает апогея, когда незаконный наследник выхватывает меч и бросается на законного; сцену заволакивает сизый дым, раздаются удары гонга, и высокая фигура в белом (сидевшая все время за креслом, накрывшись скатертью) медленно вырастает перед зрителями под звуки «Однажды ночью тихой...» Это, понятно, не кто иной, как призрак отца законного наследника, убитого отцом незаконного наследника, и при виде его незаконного наследника хватил удар, и он мешком валится на землю, так как размеры темницы не позволяют ему растянуться во всю длину. Тут входит, шатаясь, добрый убийца и рассказывает, что ему, вкупе со злым убийцей, незаконный наследник поручил прикончить законного и что он немало таких дел сотворил на своем веку, но теперь очень об этом сожалеет и больше никого убивать не будет. Свое обещание он тут же честно выполняет, умирая без проволочки у всех на глазах. Законный наследник сбрасывает с себя цепи; появляются двое мужчин, молодая женщина и моряк (арендаторы законного наследника), и призрак начинает делать им знаки, которые они, каким-то сверхъестественным образом, понимают, хотя, кроме них, никто ничего понять не в состоянии, а затем призрак (который без вспышки голубого пламени не может ступить ни шагу) благословляет законного наследника и молодую леди, напустив на них столько дыма, что они уже едва дышат; тут раздается звон колокольчика, и занавес падает.

Почти такой же популярностью, как представления бродячих трупп, пользуется и странствующий зверинец, или, попросту говоря, «дикие звери». Тут неумолчно

трубит военный оркестр, музыканты одеты в лейб-гвардейские мундиры, на головах у них шапки из леопардовых шкур, а у входа развешаны для привлечения публики большие полотнища с изображением ярко-желтых тигров, отрывающих людям головы, и льва, которого жгут докрасна раскаленными щипцами, чтобы заставить его выпустить из когтей свою жертву.

Главное лицо здесь обычно — здоровенный хриплый малый в пунцовой куртке и с тростью в руке. Он колотит тростью по полотнищам, которые служат ему как бы наглядным пособием, и кричит примерно так:

— Сюда, сюда! Живой лев! (Удар тростью.) Точно такой же, как на этой картине. (Три удара тростью.) Не сомневайтесь, здесь без обмана. Спешите, спешите, самый свирепый лев! (Два удара тростью.) Двенадцати месяцев от роду он уже отгрыз голову одному джентльмену на ярмарке в Кемберуэле, а с тех пор как достиг зрелости, пожирает в среднем трех служителей в год. Лишнего за это не берем, заметьте — плата за вход всего шесть пенсов.— Этот призыв неизменно производит впечатление, и шестипенсовики так и сыплются в ящик.

Карлики тоже предмет всеобщего любопытства, и так как карлика, великаншу, дикого индейца, живой скелет, и «молодую женщину невиданной красоты с совершенно белыми волосами и розовыми глазами», и еще два-три чуда природы показывают обычно всех сразу за небольшую плату в одно пенни, на эту забаву, естественно, находится немало охотников. Карлик особенно интересен тем, что у него имеется при себе небольшой ящичек высотой примерно в два с половиной фута, в котором он благодаря многолетнему навыку довольно ловко умещается, уподобляясь складному ножу в футляре. Этот ящик разрисован снаружи так, чтобы было похоже на настоящий шестикомнатный дом, и когда карлик, сидя в ящике, звонит в колокольчик или стреляет из пистолета из окна второго этажа, простодушным зрителям кажется, что это его настоящее жилье, нечто вроде городского дома, и как в каждом порядочном доме у него там есть спальни, столовая и гостиные. Забравшись в свой ящик, горемычный маленький человечек должен еще развлекать публику, перебрасываясь шутками с хозяином балагана, и, будучи

всегда крепко навеселе, он пытается при этом спеть песенку и отпускает комплименты дамам, что заставляет последних более резво «продвигаться вперед». Великана не так-то легко перетаскивать с места на место, и потому на всеобщее обозрение выставляется обычно только гигантский башмак да пара штанов такой необъятной величины, что двое, а то и трое здоровенных мужчин без труда влезают в одну штанину к неистовому восторгу зрителей, которые вполне довольствуются торжественным заверением, что показанные им предметы — доподлинно часть повседневной одежды великана.

Однако самое грандиозное сооружение на всей ярмарке, привлекающее к себе больше всего народу,— это «Корона и Якорь» — очень длинная танцевальная зала, доступ в которую стоит один шиллинг. Как только вы, уплатив что положено, вступите в залу, так тут же справа от входа увидите буфет, где в самом соблазнительном порядке расставлены холодная говядина, вареная и жареная, французские булочки, портер, вино, ветчина, копченые языки и даже, если память нам не изменяет, дичь. На небольшом возвышении играет оркестр, земляной пол застлан досками — если и не сплошь, то во всяком случае места для кадрили хватает.

Здесь, в этом искусственном раю, нет распорядителя бала — здесь развлекаются просто, грубо, без затей. Пыль слепит глаза, жара — не продохнешь, шум и гам, и все веселятся напропалую. Дамы в невинном своем оживлении дошли до того, что отплясывают, нацепив на голову шляпы своих кавалеров, кавалеры же вырядились в дамские шляпки, а кое-кто не поскупился даже приобрести накладной нос и шляпу с низкой тульей и без полей, похожую на круглую жестянку. Мужчины бьют в детские барабанчики, и дамы подыгрывают им на дудочках.

Дробь барабанов, свист дудок, гром оркестра, неистовство трещоток, крики, топот и шарканье ног — от этого поистине оторопь берет! А сам танец! Ей-же-ей, это нечто неописуемое! Каждая фигура длится не меньше часа, и дамы с редкостным воодушевлением выбегают вприпрыжку на середину залы и также вприпрыжку бегут обратно. Кавалеры, топнув что есть мочи ногой, с сигарой в зубах и шелковым носовым платком в руке, устрем-

ляются вперед, потом бегут обратно и, обхватив своих дам, кружат их, спотыкаются, падают, налетают на другие пары и повторяют все это до тех пор, пока совсем не выбьются из сил. Веселье длится далеко за полночь (перемежаясь время от времени небольшой потасовкой), а наутро не один конторщик или подмастерье очнется с головной болью, пустым кошельком, измятой шляпой и весьма смутным воспоминанием о том, как это получилось, что он так и не добрался до дому.

ГЛАВА XIII

Любительские театры

РИЧАРД ТРЕТИЙ.— *Герцог Глостер* — 2 ф; *Граф Ричмонд* — 1 ф; *Герцог Бэкингемский* — 15 шилл; *Кейтсби* — 12 шилл; *Трессел* — 10 шилл. 6 п; *Лорд Стенли* — 5 шилл; *Лорд-мэр Лондона* — 2 шилл. 6 п.

Так выглядят афишки, расклеенные в любительских театрах по стенам актерской уборной и артистической — там, где таковая имеется; суммы же, обозначенные в афишках, извлекаются из хозяйской кассы или добываются с помощью подложных счетов на канцелярские расходы нашими двуногими ослами, которые готовы идти на все ради удовольствия вынести свое постыдное невежество и глупость на подмостки любительского театра. И чем больше простору дает роль для того, чтобы выказать природное свое слабоумие, тем больше денег готовы они за нее заплатить. Так, роль герцога Глостера вполне стоит двух фунтов, ибо тут можно развернуться вовсю: он носит настоящий меч, и главное — несколько раз на протяжении пьесы вынимает его из ножен. За одни монологи не жаль пятнадцати шиллингов, а тут еще и короля Генриха закалываешь — три шиллинга шесть пенсов. Детская цена! Глядишь, уже восемнадцать шиллингов шесть пенсов окупились. Да еще хорошенько распушишь стражников, охраняющих гроб,— клади восемнадцать пенсов, а если уж говорить начистоту, за это



удовольствие можно бы и больше отдать. Вот уже и фунт набрался. Положите еще десять шиллингов на любовное объяснение с леди Анной и всю кутерьму четвертого акта — разве это дорого? Вот вам уже один фунт и десять шиллингов, а ведь сюда входит и знаменитое «Снять с него голову!» * — верные аплодисменты, которые к тому же и не трудно вызвать. «Снять с него голову!» нужно произнести энергично и скороговоркой, а затем медленно, с убийственным презрением: «И Бэкингему — крррышка!» Не забудьте только сделать ударение на слоге «бэк», отойти куда-нибудь в угол сцены и, произнося реплику, двигать правой рукой, словно вы бредете на ощупь в темноте,— и успех обеспечен. Сцена в палатке, без всяких сомнений, потянет на полфунта, так что поединок вы получаете уж как бы бесплатным приложением, а всякий знает, какого эффекта можно добиться с помощью искусного фехтования. Раз, два, три, четыре — туше! Раз, два, три, четыре — туше! Выпад, полуоборот, прыжок в сторону! На одно колено, и драться в этом положении. Встать, пошатываясь. И продолжать в таком духе, пока публике не надоест, минут десять, скажем, и в заключение — пасть (желательно навзничь) смертью храбрых. Это — вернейший способ произвести эффект. И в цирке Астли и в Сэдлерс-Уэллс * именно так и фехтуют, а уж там-то знают толк в таких делах. Слов нет, ребенок или женщина, вся в белом, придает еще бо̀льшую остроту сцене поединка — по правде сказать, без этого мы даже и не представляем себе сколько-нибудь порядочной и эффектной битвы на палашах. Впрочем, ввести эти фигуры в заключительную сцену «Ричарда Третьего» было бы затруднительно и слишком, пожалуй, уж необычно, и поэтому тут нужно просто выжать из нее все, что можно, и драться подольше.

Чумазые мальчишки, переписчики у стряпчих, большеголовые юнцы, подвизающиеся в конторах Сити, евреи старьевщики, дающие театральные костюмы напрокат и в силу этого всегда имеющие доступ в любительские театры, приказчики, подчас забывающие разницу между своим и хозяйским карманом, и отборнейшая городская шантрапа — вот завсегдатаи любительского театра. Во главе такого театра обычно стоит какой-

нибудь бывший художник-декоратор, содержатель дешевой кофейни, восьмиразрядный актер-неудачник, ушедший на покой контрабандист или, наконец, несостоятельный должник. Самый театр может ютиться где угодно — и на Кэтрин-стрит, и на Стрэнде, и совсем близко к Сити, или по соседству с Грейс-Инн-лейн, или где-нибудь под боком у Сэдлерс-Уэллс, а то прилепится возле моста Ватерлоо, на южном берегу Темзы, в каком-нибудь жалком переулочке, навек лишив его обитателей покоя.

Женские роли раздаются бесплатно, а исполнительницы их, само собой разумеется, почти все принадлежат к известному сословию; зрители, как и следует ожидать, мало чем отличаются от исполнителей, которым дирекция выдает то или иное количество билетов на спектакль в зависимости от суммы, внесенной ими за роль.

В Лондоне вокруг каждого второразрядного театра, особенно вокруг самых дешевых из них, образуется небольшая кучка ревностных театралов из местных жителей. Каждый такой театрик имеет свою постоянную публику; юнцы, в возрасте от пятнадцати лет до двадцати одного года, купив билет за полцены, протискиваются в задние ряды партера или, если цены снижены, гордо шествуют в ложу; там они восседают, небрежно распахнув пальто и отогнув обшлага — ни дать ни взять граф д'Орсэй * с картинки! — и пока занавес опущен, напевают или насвистывают какую-нибудь песенку, чтобы сосед не вообразил, будто они с нетерпением ожидают поднятия занавеса; или ведут беседу об актерах, исполняющих второстепенные роли, фамильярно называя их «Билл такой-то» или «Нэд имярек»; выкладывают все театральные новости, волнующие нашу столицу: в таком-то театре приступили к репетициям новой пьесы «Таинственный Бандит из Невидимой Пещеры», причем роль таинственного бандита досталась мистеру Палмеру, в то время как Чарли Скартон будет играть английского моряка и сразится на палашах один против шестерых таинственных бандитов (театральному моряку положено одолевать в одиночку по крайней мере полдюжины врагов); во втором действии мистер Палмер и Чарли Скартон исполнят матросский танец в кандалах; внутренность невидимой пещеры займет всю сцену... и все в таком роде.

Эти-то джентльмены и составляют армию Ричардов, Шейлоков, Беверлеев и Отелло, Юных Дорнтонов, Роуверов, капитанов Абсолютов и Чарльзов Серфасов, выступающую на подмостках любительских театров.

Но нужно их видеть, когда они восседают где-нибудь неподалеку, в портерной либо в артистической кофейне! Вот где они царствуют безраздельно — в том случае, конечно, если там не окажется какого-нибудь настоящего актера. Походка вразвалку, шляпа набекрень, руки в боки,— можно и в самом деле подумать, что человек получил ангажемент: восемнадцать шиллингов в неделю плюс доля в общем сборе! Тот же, кто знаком хотя бы со статистом из цирка Астли, почитается счастливейшим из смертных. Достаточно взглянуть на его товарищей в то время, как он развязно беседует с каким-нибудь заплесневелым субъектом в пестром шейном платке, со следами жженой пробки на бровях и остатками румян на лице, указывающими на недавнее пребывание его на подмостках театра или на арене цирка,— зависть и восторг, которые одновременно выражают их физиономии, лучше всяких слов говорят о том благоговении, какое питает общество к сим избранникам судьбы!

Конспирации ради — дабы не привлекать к своей особе внимания родных или хозяев,— а также и для того, чтобы с помощью благозвучной фамилии придать еще бо̀льшую прелесть своему выступлению в чужом обличье, наши таланты обычно фигурируют под вымышленными фамилиями, что в свою очередь значительно оживляет афишки, выпускаемые любительскими театрами. Бельвилли, Мельвилли, Тревилли, Беркли, Рандольфы, Байроны, Сен-Клеры и так далее — мы приводим наиболее скромные из них — пестреют на этих афишах, в то время как не столь импозантные фамилии, такие, как Дженкинс, Уокер, Томпсон, Баркер, Соломонс, начисто отсутствуют. Все это, конечно, действует самым впечатляющим образом и вдобавок как нельзя лучше объясняет несколько потрепанный облик носителей этих звучных фамилий. В самом деле, может быть кургузое выцветшее пальтецо, ветхая шляпа, заплатанные, в пятнах, панталоны и даже грязная сорочка — весьма распространенные атрибуты актерской братии,— как знать, может

быть это всего-навсего маскировка, предпринятая в целях строжайшей конспирации? Вымышленные фамилии хороши еще и тем, что избавляют от докучных расспросов и необходимости давать объяснения относительно места работы и рода занятий; тут, на время, каждый сам по себе, и нет этой унизительной и неизбежной иерархии, которую повсеместно вынуждены соблюдать все, даже гении. Зато женщины (милые женщины!) те, само собой разумеется, выше всех этих нелепых условностей: раз вы попали за кулисы — значит вы можете быть допущены в дамское общество, ибо известно ведь, что только в высшей степени порядочным людям дозволили бы вступить с дамами в те короткие отношения, которые неизбежны при совместной игре на сцене. Дамы, конечно, безоговорочно верят антрепренеру, антрепренер же — сама любезность для тех, с кем он успел познакомиться покороче, или, вернее говоря,— с кого он уж раз получил деньги и надеется получить еще.

Без четверти восемь. Надо ждать аншлага — вот уже шесть лож занято; в партере, за креслами — четверо мальчишек и одна женщина; в оркестре — флейта и две скрипки; они уже почти час как играют (начало спектакля было назначено на семь часов), и за это время успели пять раз проиграть увертюру, и собираются исполнить ее в шестой. Лиха беда начало; впрочем, судя по афише, дел тут хватит часов на шесть по крайней мере.

Позади левой ложи, выходящей на просцениум, сидит какой-то джентльмен в белом цилиндре, клетчатой рубашке и коричневом сюртуке с медными пуговицами. Это — мистер Горацио Сент-Джулиен, он же Джем Ларкинс: его призвание — великосветская комедия; удел его отца — возить уголь и картофель в тачке. Он играет Альфреда Хайфлайра в заключительной пьесе, и — по таким деньгам — играет недурно. Джентльмены в ложе напротив, которым он только что кивнул головой,— друзья и поклонники мистера Беверлея (иначе говоря, Логгинса) — сегодняшнего Макбета. Вы только поглядите, как они все стремятся изобразить светскую непринужденность — вон даже ноги на барьер задрали! Здесь это дозволяется по тому же гуманнейшему принципу, по

которому детям бедняков разрешают стучаться в дверь пустого дома, то есть просто-напросто затем, что нигде в другом месте это им не дозволено. Двое тучных мужчин в центральной ложе, на барьере которой торжественно красуется бинокль,— личные друзья антрепренера, и — как он успевает шепнуть всем и каждому — сами они также являются антрепренерами, да, да, весьма состоятельными антрепренерами, набирающими труппу для провинции! Очутившийся тут как тут костюмер мистер Натан, чьи интересы отнюдь не расходятся с хозяйскими, всячески поддерживает эту версию и даже готов присягнуть, если нужно; впрочем, никаких доказательств и не требуется,— простаки и так поверили сразу.

Вот вошли в залу и сели рядышком полная еврейка и тщедушная бледная девочка с голубыми стеклянными бусами — это мать и дочь; девочку готовят для сцены. В качестве ее будущего поприща избрана пантомима, и вот сегодня, после трагедии, ей предстоит выступать в матросском танце. Рядом с мистером Сент-Джулиеном — коротенький щупленький человечек с белым лицом, изрытым оспой; его грязная манишка вышита гладью и усеяна коралловыми запонками, похожими на божьи коровки. Это — буффон и куплетист театра. Остальная публика — к этому времени ее уже набралось порядочно — состоит из дураков и жуликов, вперемежку.

Зажигаются огни рампы; в шести керосиновых фонарях, укрепленных вдоль единственного яруса лож, выворачиваются фитили, и с помощью этого дополнительного освещения легко убедиться в присутствии грязи и отсутствии краски на стенах, что составляет отличительную черту театральной залы. Все эти приготовления, впрочем, говорят о том, что спектакль вот-вот начнется, поэтому давайте, не теряя времени, заглянем за кулисы.

Нельзя сказать, чтобы узенькие коридорчики под сценой блистали особенной чистотой или были залиты ярким светом. К тому же голый каменный пол в сочетании с промозглым запахом плесени ни в какой мере не способствуют уюту. Осторожно! Не споткнитесь о корзинку для столового серебра — это ведь реквизит и слу-

жит котлом в пещере у ведьм. А те три не слишком грациозные фигуры, что держат в руке по сломанной рогатке, какими подпирают веревку для белья, и пьют джин с водой из большого кувшина, и есть вещие сестры. Жалкая комната, озаряемая свечами в подсвечниках, расположенных с большими промежутками друг от друга вдоль стен, служит уборной для актеров мужского пола, а квадратная дыра в потолке и есть люк, в который проваливаются со сцены. Обратите также внимание и на то, что потолок здесь украшен балками, которые поддерживают настил самой сцены, и что он в свою очередь богато и со вкусом задрапирован паутиной.

Персонажи трагедии все уже одеты, причем собственные свои платья они в спешке побросали, как попало, на низкую полку, которая тянется кругом комнаты вдоль ее стен. Личность, стоящая перед зеркалом и напоминающая деревянные фигуры, что ставят у входа в табачную лавку, олицетворяет собой Банко, а молодая особа, так щедро выставившая свои ноги для всеобщего обозрения и любезно гримирующая его с помощью заячьей лапки, одета Флеансом. Дородная женщина, штудирующая ремарки в камберлендовском издании Макбета, играет леди Макбет в сегодняшнем спектакле. Ей всегда перепадает эта роль, по причине полноты и роста, а также оттого, что она чуть-чуть смахивает на миссис Сиддонс * — издали. Вон тот глуповатый юнец, белобрысый и кривоногий — несомненно городской цветок! — совсем еще свеженькая жертва; сегодня он играет Малькольма — для начала, чтобы немного привыкнуть к публике. Со временем дела его наладятся, через месяц-другой он уже будет играть Отелло, а через три, надо полагать, его арестуют за присвоение чужих денег. Черноглазая особа, с которой он так увлеченно беседует, одета «придворной дамой»,— для нее это тоже первое публичное выступление — в подобной роли. Четырнадцатилетний мальчик, которому сейчас мажут брови мылом пополам с белилами,— Дункан, король шотландский; а две замызганные личности, с обильными следами жженой пробки на лице, одетые в сильно подержанные зеленые мундиры и обутые в грязные суконные сапоги, олицетворяют собой «войско».

— Эй вы, там, господа, пошевеливайтесь! — кричит в открытый люк костюмер, рыжеволосый и рыжебородый еврей.— Сейчас дадим звонок, слышите? Флейта вон говорит, что лопнет, а больше играть не станет, да и в первых рядах начинают шуметь.

Тут актеры бросаются к крутой лесенке, ведущей на сцену, и весь этот разношерстный народ сбивается в беспорядочную и взволнованную кучку за боковыми кулисами.

— Ну-ка,— кричит режиссер, поглядывая на список, приколотый с внутренней стороны первой кулисы.— Явление первое, открытое поле, огни притушить, гром и молния... У вас там все готово, Уайт? (Вопрос адресован одному из двух лиц, составляющих «войско».)

— Все.

— Хорошо. Явление второе, комната в замке... Спустили комнату в замке?

— Да.

— Хорошо. Джонс! (Это к той части «войска», что на колосниках.)

— Здесь!

— Когда дадим звонок, подтяните там открытое поле.

— Ладно.

— Явление третье, задник с пейзажем, справа мост. Уайт, мост готов? Кóзлы на месте?

— На месте.

— Хорошо. Освободите сцену! — кричит режиссер, поспешно загоняя всю труппу в крохотное пространство между кулисами и стеной.— По местам, по местам! Ну-ка, ведьмы, Дункан, Малькольм, истекающий кровью офицер... Где истекающий кровью офицер?

— Здесь! — отзывается офицер, который только что загримировался соответственно своей роли.

— Приготовьтесь. Уайт, дайте второй звонок для оркестра.

Актеры, которых публике надлежит увидеть на сцене, поспешно занимают места, а те, кого публике видеть вовсе не надлежит, становятся — от неудержимого желания взглянуть на публику — на самом виду. Раздается звонок, в оркестре звучат три раздельных аккорда. Звонок возвещает начало трагедии(!) — и конец нашего очерка.

ГЛАВА XIV

Воксхолл при дневном освещении

В былые времена того, кто вздумал бы полюбопытствовать, как выглядит Воксхолл днем, встретили бы громким взрывом смеха — так нелепа показалась бы эта мысль. Воксхолл при дневном освещении! Пивная кружка без пива, палата общин без спикера, газовый рожок без газа — и придет же в голову такая чепуха! В те же, стародавние времена поговаривали еще, будто днем Воксхолл становится ареной многочисленных и таинственных опытов; так, повара, по этим слухам, упражняются в искусстве нарезать среднего размера окорок на такие тонкие ломтики, что ими можно было бы вымостить весь парк; под сенью высоких деревьев прилежные естествоиспытатели будто постоянно заняты прикладной химией, стремясь установить предельное количество воды, какое может вместить в себя стакан пунша, а в укромных закоулках парка, располагающих к занятиям орнитологией, мудрецы и ученые по этой части неустанно изучают им одним известные процессы, с помощью которых удается свести дичь к простейшей комбинации из костей и кожи.

Все эти неопределенные слухи — а их было великое множество — придавали Воксхоллу ореол таинственности. Таинственное всегда привлекательно, и нет сомнения, что именно в силу этого обстоятельства радости, которые посетители находили в парке, приобретали — для многих из них во всяком случае — особенную остроту.

Признаться, мы сами некогда принадлежали к этому разряду посетителей. Мы любили бродить в освещенных рощах парка, размышляя об упорной, кропотливой исследовательской работе, которая тут производилась днем, и пожинать плоды этой работы за ужином, который нам подавали при свете фонарей и под звуки музыки, уже поздним вечером. Павильоны, пагоды, косморамы и фонтаны сверкали и били в глаза; красота певиц, изящная осанка певцов пленяли сердце; море огней ошеломляло рассудок; бокал-другой пунша кружил голову. Мы были счастливы.

Но вот владельцам Воксхолла пришла в голову злополучная мысль — открыть парк днем. Нам было жаль пелены таинственности, столько лет окутывавшей это заведение, сквозь которую до сих пор проникало лишь полуденное солнце да покойный мистер Симпсон * и которую ныне так внезапно и грубо сорвали. Мы никак не могли отважиться пойти туда днем — сейчас было бы трудно даже объяснить причину такой робости. Был ли то ипохондрический страх разочарования, или какое-нибудь там роковое предчувствие, или, наконец, просто погода, но только выбрались мы туда не прежде, чем владельцы парка уже во второй, а то и в третий даже раз объявили об имеющем быть состязании двух воздушных шаров. Тут уж мы не выдержали и пошли.

Заплатив, как всегда, шиллинг у входа, мы впервые увидели, что ворота парка ровно ничего волшебного в себе не таят и что перед нами просто-напросто грубо раскрашенные доски и деревянный настил, посыпанный опилками. Проходя мимо оркестра и павильончика, где мы так часто ужинали, мы окинули их беглым взглядом. Мы их узнали — и только! Мы направились к площадке, с которой по вечерам запускают фейерверк,— уж там-то, думали мы, нас не постигнет разочарование. Но дойдя до площадки, мы остолбенели от изумления и досады. *Это* — мавританская башня? Этот деревянный сарай с дверью посредине, размалеванный со всех сторон желтой и красной краской и похожий на гигантский футляр от карманных часов?.. Неужели сюда мы приходили по вечерам любоваться неустрашимым мистером Блекмором *, совершавшим свое головокружительное восхождение посреди багровых языков пламени и артиллерийских залпов? Неужели здесь развевались белые одежды посвятившей свою жизнь благородному делу пиротехники мадам... вот ведь, и имя-то ее позабыли! — когда она взывала к голубому, красному и разноцветному пламени, приказывая ему осветить ее храм? Неужели?.. Но тут раздался звонок, и все, давя и толкая друг друга, ринулись туда, откуда он донесся. Мы же, в силу стародавней привычки, бежали в первых рядах, да еще так стремительно, точно дело шло о спасении жизни.

Звонок возвещал о начале концерта. Какие-то унылые личности в треуголках — их было совсем немного — терзали увертюру к «Танкреду» *. Леди, джентльмены и их отпрыски, в довольно большом количестве, примчались сюда, бросив свои лишь наполовину осушенные кружки пива. Восторженный ропот пробежал по толпе, когда до чрезвычайности коротенький господин во фраке подвел к рампе до чрезвычайности высокого роста даму в голубой мантилье из легкой флорентинской тафты и в такой же шляпке, украшенной пышными белыми перьями, и с места в карьер принялся распевать с ней весьма чувствительный дуэт.

Внешность коротенького господина была хорошо знакома нам по его многочисленным литографированным портретам на обложках нот. Там он был изображен поющим, с раскрытым ртом и бокалом в руке, а на заднем плане виднелся стол с двумя графинами и четырьмя ананасами. Да и на высокую даму мы не раз взирали с восторгом и восхищением. Однако как меняются люди при дневном свете, да еще без пунша! Дуэт был великолепен: началось с того, что коротенький господин задал какой-то вопрос высокой даме, а та на этот вопрос ответила; затем коротенький господин и высокая дама пели вместе, и весьма при том музыкально; затем коротенький господин на что-то гневался соло, от избытка чувств впав в совершеннейший уже тенор, а высокая дама отвечала тем же; потом коротенький господин, а за ним и высокая дама пустили несколько трелей; наконец, они оба неприметно возвратились к первоначальной мелодии, а оркестр взял заключительные аккорды уже в полном неистовстве, и коротенький господин увел высокую даму с эстрады под гром рукоплесканий.

Особенным, впрочем, расположением публики пользовался куплетист, и мы самым серьезным образом опасались, как бы стоявшему подле нас джентльмену с обедом, завернутым в носовой платок, не сделалось дурно от чрезмерного восторга. Удивительно остроумный человек, этот куплетист! Его приметы — парик цвета близкого к соломенному, немолодое лицо, а фамилия как будто совпадает с названием одного из графств Великобритании. Он спел превосходную песенку о семи возрастах чело-

века, первая половина которой доставила публике неизъяснимое наслаждение; относительно второй мы не можем ничего сказать по той причине, что ушли, не дослушав ее до конца.

Мы бродили по парку и на каждом шагу натыкались на новое разочарование. Косморамы, некогда восхищавшие нас, оказались самой грубой мазней; фонтан, столь эффектно сверкавший при свете фонарей, теперь больше всего напоминал водопроводную трубу, давшую течь; украшения оказались жалкими до последней степени, аллеи скучны и унылы. На сцене маленького открытого театра канатоходцы мрачно предавались своему занятию. Солнце заливало ровным светом их костюмчики в блестках, и все представление казалось таким же уместным и так же веселило душу, как, скажем, контрданс, исполненный в фамильном склепе. Так что мы повернули вспять к площадке для фейерверка, и смешались с небольшой толпой, собравшейся посмотреть на мистера Грина *.

Несколько человек стремились сдержать нетерпение одного из воздушных шаров — он был уже надут, и корзинка была уже привязана к нему; а так как разнесся слух, будто на одном из шаров летит «настоящий лорд», толпа была беспокойней и говорливей обычного. Какой-то маленький человечек с неумытым лицом, в черном выгоревшем сюртуке и узеньком, черном, тоже порыжелом от времени шейном платке с красной каймой, беспрестанно заговаривал со всеми, не оставляя без ответа ни одного замечания, долетавшего до его ушей. Скрестив руки на груди и задрав голову, он упорно глядел на шар. Время от времени, когда ему становилось невмоготу таить про себя свое восхищение аэронавтом, он озирался и, поймав чей-нибудь взгляд, изрекал:

— И дошлый же этот Грин! Ведь сегодняшним полетом он уже третью сотню начинает, а? Нет, Грина еще никто не переплюнул. Ждите, когда зубки прорежутся у его соперника,— а уж ждать придется никак не меньше ста лет, так и знайте! А я вот что скажу: коли уж попался талант, да еще отечественный, поощряйте его, всячески поощряйте!

И каждый раз после подобной реплики он еще решительней складывает руки на груди и устремляет взор,

полный горделивого умиления, на шар, как бы давая понять, что никого, кроме Грина да еще себя, ни во что не ставит, так что публика смотрит на него, как на оракула.

— Вы совершенно правы, сэр,— замечает другой джентльмен, прибывший на место с женой, детьми, матерью, свояченицей и целой кучей родственниц, блистающих изысканностью белоснежных носовых платочков, оборочек и накидочек.— У мистера Грина твердая рука, и за него можно не опасаться.

— Опасаться? — воскликнул низенький человечек.— Да нет, вы о красоте-то подумайте! Вот он летит, скажем, со своей женой на одном шаре, а рядышком, бок о бок, летит его сын со своей, и все они проделывают двадцать, а то и тридцать миль за какие-нибудь три часа, а там и обратно на перекладных. И куда только заведет нас эта самая наука! — вот о чем я-то тревожусь.

Среди дам в накидочках вдруг поднялся оживленный говор.

— Что это ваши дамы так развеселились, сэр? — благосклонно осведомился маленький человечек.

— Да вот тут сестра моя, Мэри,— ответила одна из девиц,— боится, как бы лорд не испугался вдруг и не захотел выскочить из корзинки.

— Уж на этот счет, душенька, будьте покойны,— сказал маленький человечек.— Если он без спроса хоть нос высунет, Грин его так хватит по голове своей подзорной трубой, что он тут же повалится на дно корзины, да так и пролежит там, оглушенный, до самой, значит, до земли.

— Неужели? — усомнился второй джентльмен.

— Вот вам и неужели,— ответил маленький человечек.— Да будь с ним сам король, Грин не стал бы раздумывать. Удивительно находчивый человек этот Грин.

Но тут все взоры обратились на шары,— шли последние приготовления. Ко второму шару тоже прикрепили корзинку, и грянул военный оркестр — с таким рвением и пылом, что, кажется, самый робкий человек на свете с радостью согласился бы на любой способ передвижения, лишь бы покинуть тот клочок нашей планеты, на

котором усердствовали музыканты. Мистер Грин-старший со своим благородным пассажиром взошли в одну из корзинок, а мистер Грин-младший со своим — в другую; шары взвились, воздухоплаватели встали во весь рост, толпа издала восторженный рев, а два джентльмена, которые впервые пускались в полет, силились в знак полной своей непринужденности помахивать флажками, не забывая при этом, однако, крепко ухватиться за борт корзины. Шары плавно уносились ввысь, а низкорослый наш друг еще долгое время после того, как оба шара превратились в еле заметные точки на небе, не переставал серьезнейшим образом уверять, будто различает белую шляпу мистера Грина. Народ повалил из парка на улицу, где с криком «ша-а-ры-ы!» носились взад и вперед мальчишки; люди высыпали из лавочек на запруженные народом мостовые, для того лишь, чтобы с риском вывихнуть себе шею, взглянуть на два темных пятнышка в небе, а затем с чувством полного удовлетворения не спеша вернуться в лавку.

На следующий день утренние газеты опубликовали великолепное описание полета, и читающая публика узнала, что это был (не считая четырех других) самый удачный полет на памяти мистера Грина; что аэронавты все время видели землю, пока облака не скрыли ее от их глаз; что отражение шаров в туманных волнах скопившегося пара было живописно и величаво; попутно публике были преподнесены кое-какие сведения научного характера касательно преломления солнечных лучей, с таинственным намеком на атмосферический зной и приливы и отливы воздушных течений.

Там же можно было прочесть презанимательный рассказ о том, как Грин-младший отчетливо услыхал чей-то возглас с лодки на реке: «Ух ты!» — каковое явление мистер Грин-младший объяснял тем, что будто звук, ударившись о поверхность воздушного шара и отраженный ею, таким образом достиг корзинки, подвешенной к шару, в которой находился он, мистер Грин-младший. В заключение статьи как-то вскользь было сказано, что такой же полет предполагается произвести в следующую среду. Все это чрезвычайно поучительно и занятно, в чем наши читатели легко убедятся сами, если заглянут в газеты.

Правда, мы позабыли указать точную дату этой публикации. Ну, да читатель с таким же успехом сможет прочесть соответствующий отчет о первом полете и в будущем сезоне.

ГЛАВА XV

Утренний дилижанс

Мы часто спрашиваем себя, сколько месяцев непрерывной езды в двухместной дорожной карете нужно, чтобы убить человека; и еще один сходный вопрос очень занимает нас: сколько месяцев может выдержать злополучный смертный, вынужденный длительное время путешествовать утренним дилижансом. В старину людей казнили, ломая им кости на колесе, но куда страшнее, когда при помощи четырех колес разбивают ваш сон, ваш покой, ваше сердце, все ваше существо — и только голод ничем не перебьешь. По сравнению с этим кара, постигшая Иксиона * (единственного, кстати сказать, кто открыл секрет вечного движения), показалась бы просто безделицей. Будь мы могущественным князем церкви в то доброе старое время, когда во имя истинной веры кровь лилась рекой и людей косили, как траву, мы тихо и терпеливо выжидали бы, пока не попался бы нам в руки какой-нибудь закоренелый злодей, наотрез отказывающийся обратиться в нашу веру; тогда мы купили бы ему внутреннее место в дилижансе, не останавливающемся ни днем, ни ночью, и, отведя остальные места пассажирам плотного сложения, склонным кашлять и плевать, отправили бы грешника в последнее странствие; без жалости мы обрекли бы его всем пыткам, каким сочтут нужным подвергнуть его официанты и трактирщики, кучера и кондукторы, коридорные и служанки в гостиницах и иные мучители, с которыми он столкнется в пути.

Кто не испытал горестей и страданий, какие неизбежно влечет за собою необходимость внезапно и поспешно пуститься в дорогу? Вас извещают — где и в качестве кого вы бы ни работали,— что по делам службы вам надлежит безотлагательно выехать из Лондона.

С этой минуты вы и все ваши чада и домочадцы ввергнуты в крайнее волнение; спешно посылают в прачечную за бельем; в доме царит суматоха; а вы с плохо скрытым сознанием своей значительности отправляетесь в почтовую контору заказывать место. Тут впервые вас охватывает мучительное ощущение собственного ничтожества: все так холодны, так равнодушны, словно вы и не собираетесь покинуть Лондон и вообще путешествие в сто с лишним миль — сущий пустяк. Вы входите в сырое помещение, украшенное огромными расписаниями карет; высокая деревянная стойка делит комнату на две неравные части, бо̀льшая из них перегорожена дощатыми полками, разбитыми на клетки, в каких перевозят живность помельче странствующие зверинцы, только впереди нет решеток. Человек шесть сдают пакеты в оберточной бумаге, а один из конторщиков швыряет их в упомянутые клетки и проделывает это с такой лихостью, что вы, вспоминая купленный только сегодня утром новенький саквояж, испытываете немалую досаду; стремительно входят и выходят подобные Атласам носильщики с огромными тюками на плечах; дожидаясь минуты, когда вам удастся, наконец, получить необходимые сведения, вы спрашиваете себя, кем были все эти конторщики до того, как они стали служить в почтовой конторе; один из них стоит перед камином, сунув перо за ухо и заложив руки за спину — точь-в-точь портрет Наполеона во весь рост; другой, у которого шляпа еле держится на затылке, с невыразимо оскорбительным равнодушием заносит в толстые книги имена будущих пассажиров; и он свистит, негодяй,— да, да, свистит! — когда его спрашивают, да еще в такой мороз, сколько стоит проезд на империале до самого Холихеда. Сомнений нет, эти люди принадлежат к некоему особому племени, которому чужды чувства и тревоги, волнующие весь род людской. Наконец, очередь доходит и до вас, и, заплатив за проезд, вы с трепетом осведомляетесь: «В какое время мне нужно быть здесь?» — «В шесть утра»,— отвечает свистун, небрежно швырнув соверен, с которым вы только что расстались, в деревянную чашку на столе. «А лучше пораньше»,— прибавляет тот, что, грея спину, едва не влез в камин, и говорит он это так спокойно и небрежно, как


GOLDEN
CHARING
BRIGHTON

будто все на свете встают с постели в пять часов утра. Вы выходите на улицу и по дороге домой размышляете о том, до какой степени привычка к суровым порядкам и обычаям ожесточает сердце человеческое.

Если можно в нашей жизни какой-нибудь жребий назвать более жалким, нежели другие, то одно бесспорно: ничего нет на свете хуже необходимости подниматься затемно, при свечах. Если вы в этом когда-либо сомневались, то в день отъезда на горьком опыте убедитесь в своей ошибке. С вечера вы строго-настрого наказали разбудить вас в половине пятого, и всю ночь не спите, а только дремлете по пять минут кряду и то и дело просыпаетесь в ужасе, оттого что вам примерещилось, будто маленькая стрелка на больших башенных часах с необычайной поспешностью обегает кругом весь циферблат. Но вот, измучившись, вы постепенно погружаетесь в благодатный сон, мысли ваши путаются, дилижансы, которые всю ночь отправлялись в путь у вас на глазах, становятся все менее отчетливыми и окончательно исчезают из виду; в какую-то минуту вы оказываетесь на козлах и сами правите с ловкостью и сноровкой бывалого возницы; а еще через мгновенье гарцуете не хуже циркача Дюкроу на правой передней лошади; и вот уже, тепло укутанный, вы сидите внутри дилижанса — и в кондукторе только что узнали своего школьного товарища, на чьих похоронах (это вы помните даже во сне) вы присутствовали восемнадцать лет тому назад. Потом вы забываетесь сном, и забытье как бы переносит вас в иную жизнь: вам грезится, будто вы ученик мастера, изготовляющего дорожные сундуки; как, когда, почему и отчего вы попали к нему в мастерскую, этим вопросом вы даже не задаетесь; но так уж оно вышло, и вы старательно подклеиваете изнутри обивку к крышке чемодана. Однако, чтоб ему пусто было, этому второму ученику в глубине мастерской, как он стучит своим молотком — тук, тук, тук! Должно быть, на удивленье усердный малый! Вы слышали, как он принялся за дело полчаса тому назад, и с тех пор все стучит не переставая. Вот опять — тук, тук, тук... теперь он что-то говорит... что это он сказал? Пять часов! Сделав над собою неимоверное усилие, вы садитесь на постели. Сновидение тотчас рассеивается;

вы уже не в мастерской сундучника, а у себя в спальне, и стучит не второй ученик, а ваш дрожащий от холода слуга, который уже добрую четверть часа тщетно пытается разбудить вас, рискуя разбить себе костяшки пальцев либо пробить филенку двери.

Вы одеваетесь, спеша изо всех сил. Мигающее пламя нагоревшей свечи дает ровно столько света, чтобы вы могли убедиться, что вещей, которые вам необходимы, нет на том месте, где им следует быть, и вы принуждены еще немного замешкаться, потому что с вечера, в суете сборов, старательно упаковали вместе с остальным багажом один свой башмак. Вскоре, однако, вы заканчиваете свой туалет, ибо ради такого случая изменяете обычной тщательности, а побриться вы успели накануне вечером; итак, вы облачаетесь в пальто из грубого сукна и зеленый теплый шарф и, подхватив правой рукой саквояж, на цыпочках спускаетесь по лестнице, стараясь не разбудить домашних; задерживаетесь на минуту в столовой, чтобы проглотить чашку кофе (столовая, кстати, выглядит необыкновенно уютно, потому что все вещи сдвинуты со своих мест и всюду валяются крошки и остатки вчерашнего ужина), потом снимаете дверную цепочку, отодвигаете засовы — и вот, наконец, вы на улице.

Оттепель, будь она неладна! Мороза как не бывало. Вы смотрите вдоль бесконечной Оксфорд-стрит, мокрая мостовая отражает угрюмые огни газовых фонарей, и нигде не заметно ни единой движущейся точки, нет ни малейшей надежды нанять кэб или карету,— как видно, даже извозчики, отчаявшись, отправились по домам. Моросит мелкий дождик пополам со снегом, не сильный, но упорный — такой может зарядить по меньшей мере на сутки; сырой туман обволакивает крыши и фонари и окутывает вас словно незримым плащом. Вода заливает дворики *, из труб так и хлещет, кадки полны до краев; канавы не успевают пропускать потоки воды, сами собой приходят в действие насосы, ломовые лошади, везущие товары на рынок, скользят и падают, и некому помочь им подняться; у полисменов такой вид, словно кто-то старательно посыпал их толченым стеклом; вон плетется молочница, башмаки у нее обмотаны тряпками, чтобы было не так скользко идти; мальчики, взятые

в ученье «без ночлега в хозяйском доме», но обязанные являться на работу ни свет ни заря, барабанят в двери лавок в напрасной надежде добудиться своих хозяев и плачут от холода; панели на добрых два дюйма покрыты смесью льда, снега и воды; никто не решается ускорить шаг, чтобы согреться, а если бы кто-нибудь и решился, согреться все равно не удалось бы.

Медленно, с трудом шагаете вы к гостинице «Золотой Крест» и, минуя Ватерлоо-Плейс, слышите, как часы на башне бьют четверть шестого, и тут вам впервые приходит в голову, что вы поднялись чуть ли не на час раньше, чем нужно. У вас уже нет времени вернуться домой и негде найти приют, так как всюду еще закрыто; остается одно: идти своей дорогой; так вы и поступаете, необычайно довольный самим собой и всем окружающим миром. Вы приходите в почтовую контору и с грустью оглядываете двор в поисках «Бирмингемской Стрелы», которая, судя по всему, улетела, не оставив следа, ибо нигде не видно ничего похожего на готовящийся к отправке дилижанс. Вы бредете в контору, где горят газовые рожки и пылает в камине огонь, и после пустынного двора она кажется вам очень уютной,— если только может выглядеть уютно какое-либо помещение зимою в шестом часу утра. Все тот же счетовод стоит перед камином в той же позе, словно он со вчерашнего дня и не шевельнулся. Услыхав от него, что лошадей уже закладывают и дилижанс будет подан примерно через четверть часа, вы оставляете в конторе свой саквояж и отправляетесь в соседнюю распивочную. Вы не льстите себя надеждой согреться, ибо понимаете, что об этом и думать нечего, но намереваетесь хотя бы получить стаканчик горячего бренди с водой, который вы и получите, конечно, вот только надо подождать, пока закипит чайник! И он закипает ровно за две с половиной минуты до того, как ваш дилижанс должен отправиться в путь.

Едва вы успеваете пригубить обжигающего напитка, часы на колокольне св. Мартина начинают бить шесть. В две секунды вы оказываетесь в конторе, и в те же две секунды буфетчик в распивочной с наслаждением выпивает ваш грог. Дилижанс уже во дворе, лошади впряжены, кондуктор и двое-трое носильщиков, пыхтя и

отдуваясь, носятся с багажом по лестнице. Во дворе, который лишь несколько минут тому назад был тих и пустынен, теперь все кипит; появились первые продавцы утренних газет, и вас со всех сторон оглушают выкрики: «Таймс», «Таймс»!» — «А вот «Кроникл», «Кроникл»!» — «Возьмите «Геральд», мэм!» — «Необычайное убийство, джентльмены!» — «Нарушено обещание жениться! Читайте, дамы и девицы!»

Те пассажиры, чьи места внутри, уже забрались в дилижанс; те, кому предстоит ехать на империале, все, кроме вас, расхаживают взад и вперед, чтобы не замерзнуть; это — двое молодых людей с длинными, чуть ли не до плеч, волосами, вымокшими и слипшимися в какие-то обледенелые крысиные хвосты; худощавая молодая женщина, озябшая и злая; пожилой джентльмен, не менее озябший и злой; и нечто, утонувшее в плаще и шапке и долженствующее изображать собою армейского офицера; все без исключения закутаны с подбородком в широкие, толстые шарфы, и вид у всех такой, словно каждый усиленно дует в свирель Пана.

«Снимай попоны, Боб»,— говорит появившийся, наконец, возница; он в жесткой синей шинели, пуговицы на широкой спине отстоят так далеко одна от другой, что обе сразу никак не увидишь. «Поспешайте, господа! — кричит кондуктор со списком пассажиров в руках.— Уже на пять минут запаздываем!» В два счета все на местах. Двое молодых людей лезут наверх, не выпуская трубок изо рта, и дымят, как фабричные трубы; пожилой джентльмен громко ворчит. Худощавую молодую женщину втаскивают на империал с великим трудом, подтягивая сверху, подталкивая снизу, помогая со всех сторон,— и в награду за все труды она мрачно объявляет, что уж вниз-то ей теперь нипочем не слезть!

«В лучшем виде,— провозглашает, наконец, кондуктор, вскакивая на козлы.— Тро-гай!» — и тотчас начинает трубить в рожок, показывая силу своих легких. «Отпускай, Гарри, поехали!» — кричит кучер; и мы отправляемся в путь так бодро, словно и утро, как наш дилижанс, тоже «в лучшем виде», — и с таким же нетерпением ждем конца наших странствий, с каким, боюсь, читатели давно уже ждут окончания нашего рассказа.

ГЛАВА XVI

Омнибусы

Кому неизвестно, что нет более обширного поля для полезных и занимательных наблюдений, чем общественный транспорт. А из всех средств передвижения, созданных со времен Ноева ковчега,— кажется, это самый ранний образец,— и до наших дней, мы решительно предпочитаем омнибус. Дилижанс тоже имеет свои достоинства, но там только шесть внутренних мест, и всегда есть опасность, что придется всю дорогу ехать с теми же спутниками, а это однообразно и скучно. Вдобавок после первых двенадцати часов езды пассажиры обычно начинают злиться и клевать носом, а уж если увидишь человека в ночном колпаке, невозможно питать к нему уважение; мы, во всяком случае, на это не способны. Не то вдруг на длинном перегоне по ровной дороге кто-нибудь примется рассказывать бесконечную нудную историю, и даже у молчаливых соседей могут оказаться малоприятные повадки. Однажды нам довелось проехать четыреста миль внутри дилижанса в обществе толстяка, которому на каждой станции, где мы меняли лошадей, подавали в окно стакан горячего рома с водой. Очень это было неприятно. Случалось нам путешествовать и вместе с мальчуганом, бледным, сутулым и светловолосым, который ехал домой в Лондон из школы под присмотром кондуктора, взявшегося привезти его в гостиницу «Скрещенные Ключи» и оставить там до востребования. Это, пожалуй, еще хуже, чем горячий ром в спертом воздухе. А сколько пагубных последствий влечет за собой смена кучера; и какое бедствие подстерегает вас, как только вы задремлете, ибо кондуктору непременно в эту самую минуту потребуется бумажный сверток, а он отлично помнит, что сунул его под сиденье, на котором вы расположились. Начинаются лихорадочные поиски, о сне уже и думать нечего, а когда судорога сведет вам ноги, оттого что вы нечеловеческим усилием держите их на весу, пока кондуктор шарит под лавкой, он вдруг спохватывается,

что положил сверток под козлы. Дверца хлопает; сверток мгновенно найден; карета трогается; и кондуктор изо всей мочи трубит в почтовый рожок, словно издеваясь над вами.

Ничего подобного не грозит вам в омнибусе; и тут уж вы не соскучитесь. Пассажиры меняются столь же часто, как узоры в калейдоскопе, и хотя в них меньше блеска, зато они куда занимательней. Насколько нам известно, не было случая, чтобы человек заснул в омнибусе. А что до длинных историй — кто же отважится, сидя в омнибусе, рассказывать истории? Впрочем, хоть бы и отважился,— что за беда? Говори не говори, все равно ничего не слышно. Опять-таки: дети, если и попадаются в омнибусах, то довольно редко; и к тому же, когда омнибус переполнен,— а он обычно переполнен,— кто-нибудь из взрослых сидит на них, так что их присутствие нисколько не мешает. Да, по зрелом размышлении, опираясь на немалый опыт, мы окончательно пришли к выводу, что из всех видов транспорта, от кареты со стеклами, в которой нас везли крестить, до мрачной колымаги, в которой нам суждено когда-нибудь проделать последний путь на земле, нет лучше омнибуса.

Мы готовы побиться об заклад, что ни один омнибус, идущий по Оксфорд-стрит, не может сравниться с тем, который ежедневно привозит нас в Сити: достаточно взглянуть на яркую наружную окраску, на строгую простоту внутреннего устройства и на прирожденное нахальство его кондуктора. Сей юный джентльмен являет собой поразительный пример самоотвержения: неукротимый пыл, с которым он блюдет выгоду своих хозяев, постоянно доводит его до беды, а то и до Исправительного дома. Однако стоит ему выйти на волю, как он с неостывшим рвением снова приступает к своим обязанностям. Главное его достоинство — предприимчивость. Он сам похваляется, что может «запихнуть старикана внутрь, захлопнуть дверь и отправить омнибус, прежде чем тот сообразит, в какую сторону его везут»; и верно — этот фокус он проделывает частенько к величайшему удовольствию всех присутствующих, кроме самого старикана, который почему-то никак не может понять, что тут смешного.

По-видимому, никто никогда не устанавливал точного числа пассажиров, на которое рассчитан наш омнибус. Но у кондуктора явно сложилось представление, что он с легкостью может вместить столько людей, сколько удастся заманить в него. «Места есть?» — кричит потный, запыхавшийся джентльмен. «Мест много, сэр»,— отвечает кондуктор, чуть приоткрывая дверь и утаивая истинное положение вещей до тех пор, пока несчастный не вскочит на подножку. «Где же они?» — спрашивает одураченный пассажир, делая слабую попытку спрыгнуть на землю. «Да где угодно, сэр,— говорит кондуктор, вталкивая его в омнибус и захлопывая дверь.— Трогай, Билл!» Отступление отрезано; новый пассажир долго тычется во все стороны, потом привалится где-нибудь да так и едет.

В Сити мы въезжаем каждое утро около десяти часов, и потому человек пять пассажиров — наши постоянные спутники. Мы подбираем их на одних и тех же остановках, и занимают они обычно одни и те же места; одежда их тоже не меняется, не меняется и предмет их разговоров — непозволительно быстрая езда кэбов и полное отсутствие нравственных правил у омнибусной прислуги. Один желчный старичок с пудреными волосами всегда сидит у самой двери, справа, сложив ладони на ручке зонтика. Он очень сердитый, и садится на это место нарочно для того, чтобы не спускать глаз с кондуктора и всю дорогу препираться с ним. Он услужливо помогает пассажирам войти и выйти, и всегда рад потыкать зонтиком в кондуктора, если кто-нибудь хочет сойти. Дамам он обычно советует сразу протягивать заранее приготовленные шесть пенсов, чтобы не задерживать отправку; а если сосед опускает окно, до которого старичок может дотянуться, он тут же снова подымает его.

— Чего ради вы останавливаетесь? — каждое утро вопрошает старичок, как только приметит, что омнибус замедляет ход на углу Риджент-стрит; после этого между ним и кондуктором происходит следующий разговор:

— Чего ради вы останавливаетесь?

Кондуктор посвистывает, будто и не слышит вопроса.

— Вам говорят (тычет зонтиком),— для чего вы останавливаетесь?

— Для пассажиров, сэр. Ба-анк — Си-ти!

— Знаю, что для пассажиров; но вы не должны этого делать. Почему вы здесь останавливаетесь?

— Да как вам сказать, сэр? Должно, потому, что ехать неохота, а постоять охота.

— Ну погоди же! — кричит старичок, разозлившись,— вот я потяну тебя завтра в суд, тогда узнаешь. Я давно хотел это сделать. А теперь сделаю.

— Покорно благодарю, сэр,— кривляясь, отвечает кондуктор и прикладывает два пальца к шляпе,— по гроб жизни не забуду, сэр.— Тут пассажиры, из тех, кто помоложе, разражаются хохотом, а старичок сидит весь красный и кипит от ярости.

Полный господин в белом шейном платке пророческим тоном предостерегает из дальнего угла, что если не будут приняты срочные меры против этих нахалов, то одному богу ведомо, до чего мы дойдем, а джентльмен с зеленым чемоданом — благородной наружности, но весьма обтрепанного вида — всецело присоединяется к мнению толстяка, что, впрочем, делал каждый божий день в последние полгода.

Но вот подъезжает второй омнибус и останавливается вплотную за нами. Другой старичок, подняв тросточку, со всех ног бежит к нам; мы сочувственно следим за ним, дверь гостеприимно распахивается, но старичок вдруг исчезает — его перехватил наш соперник. Затем кучер второго омнибуса начинает поддразнивать нашу прислугу, бахвалясь, «как он ловко спер у них старого модника», а в это время «старый модник» громким голосом тщетно протестует против незаконного ареста. Мы трогаемся в путь, второй омнибус трогается за нами, и каждый раз, когда мы делаем остановку, чтобы принять пассажира, второй омнибус тоже останавливается, чтобы принять его; иногда пассажир достается нам, иногда он достается нашим соперникам, но кто бы ни победил, побежденная сторона неизменно заявляет, что пассажир принадлежал ей по праву, и в зависимости от исхода борьбы то один кондуктор, то другой осыпает бранью своего собрата.

По мере приближения к Линкольнс-Инн-Филдс, Бедфорд-Роу * и прочим очагам юриспруденции мы

ссаживаем бо̀льшую часть наших исконных пассажиров и набираем новых, коих ожидает весьма холодный прием. Удивительное дело: люди, уже сидящие в омнибусе, всегда поглядывают на вновь вошедших, словно у них мелькает смутная догадка о том, что этим чужакам здесь вообще не место. Несомненно, именно такая мысль владеет старичком с зонтиком, и появление нового пассажира он явно принимает за личную обиду.

Все разговоры теперь смолкают: каждый тупо смотрит в окно, которое у него перед глазами, и каждый думает, что сосед, сидящий напротив, уставился ему в лицо. Если один пассажир сходит на Шу-лейн, а другой — на углу Фаррингдон-стрит, ворчливый старичок выговаривает второму за то, что он не сошел вместе с первым на Шу-лейн и заставил омнибус останавливаться дважды; опять пассажиры помоложе весело смеются, а старичок сидит надувшись и уже не говорит ни слова до самого Английского банка, где он сходит с омнибуса и рысцой пускается по улице; следом за ним сходим и мы и, пешком продолжая наш путь, от души жалеем всех, кому не довелось позабавиться вместе с нами.

ГЛАВА XVII

Последний кэбмен и первый кондуктор

Среди извозчиков, с которыми мы имели честь и удовольствие познакомиться,— а наш опыт по этой части весьма обширен,— есть один, оставивший неизгладимый след в нашей памяти и пробудивший в душе нашей столь глубокое чувство уважения и восторга, какое — увы! — вряд ли еще когда-нибудь внушит нам человеческое существо. Наружности он был самой скромной и располагающей: темные бакенбарды, белый цилиндр, неформенная одежда; нос его обычно принимал пунцовую окраску, а багрово-синие круги, в которых явно была повинна не природа, частенько окаймляли его глаза, выгодно оттеняя их яркую голубизну; сапоги он носил невысокие, веллингтоновские, подтягивая голенища если и не вплот-

ную к коротким плисовым штанам, то как можно ближе; на шее красовался пронзительно желтый платочек. Летом он держал в зубах цветок, зимой — соломинку, что для вдумчивого наблюдателя служило хоть и малоприметным, но бесспорным признаком горячей любви к природе и склонности к естествознанию.

Кэб его был ослепительно красного цвета, и во всех концах города — в Сити, в Вест-Энде, в Пэддингтоне или Холлоуэе, на севере, востоке, западе и юге — повсюду мелькал красный кэб, то лихо врезаясь в тумбу на углу, то петляя среди карет, ломовых подвод, тележек, фургонов и омнибусов, и каким-то непостижимым образом выскальзывая из таких заторов, куда никакой другой экипаж не сумел бы и втиснуться. Наше преклонение перед красным кэбом не знало границ. Как нам хотелось увидеть его на арене цирка Астли! Головой ручаемся, он проделывал бы там такие замысловатые фортели, что заткнул бы за пояс всю труппу — и индейских вождей, и рыцарей, и швейцарских поселян, и прочих.

Есть люди, которые жалуются, что влезать в кэб очень трудно; другие утверждают, что вылезать еще того хуже; по нашему мнению, такие мысли могут зародиться лишь в развращенном и озлобленном уме. Посадка в кэб, если она проделана с изяществом и вкусом,— зрелище чрезвычайно эффектное. Начинается оно,— как только вы подходите к стоянке и подымаете глаза,— с пантомимы, в которой участвуют все восемнадцать извозчиков, поджидающих седоков. Потом очередь за вами — вы исполняете свой балетный номер. Четыре кэба, готовые к услугам, уже покинули стоянку, и резвые лошади показывают высший класс, приплясывая в водосточной канаве под скрежет колес о край тротуара. Наметив один из кэбов, вы устремляетесь к нему. Прыжок — и вы на первой ступени подножки; полуоборот направо — и вы на второй; затем вы плавным движением ныряете под вожжи, одновременно поворачивая туловище влево,— и дело сделано. О том, куда и как садиться, можно не думать: жесткий фартук одним ударом водворит вас на место, и — поехали!

Выход из кэба, пожалуй, теоретически несколько более сложный маневр, и осуществление его на практике


MANUFACTORY
REAL
SH BLAGUARD
CIGAR DIVAN
OLD BAILEY
To THE BANK

чуточку потрудней. Мы тщательно изучили этот предмет и пришли к выводу, что наилучший способ — просто выброситься вон, положившись на свое счастье. Очень полезно велеть извозчику сойти первым и потом прыгнуть на него — столкновение с ним существенно смягчит удар о землю, и вы не так сильно расшибетесь. Если вы намерены заплатить ровно восемь пенсов, ни в коем случае не заикайтесь об этом и не показывайте деньги, пока не очутитесь на тротуаре. Вообще лучше не скупиться. Ведь вы, собственно говоря, всецело во власти извозчика, и четыре пенса сверх положенного он рассматривает как справедливое вознаграждение за то, что не причинил вам предумышленного увечья. Впрочем, если вам предстоит проехать мало-мальски значительное расстояние, то всякая надобность в каких-либо советах и указаниях отпадает, ибо, по всей вероятности, уж на третьей миле вы легко и свободно вылетите вон.

Насколько нам известно, не было случая, чтобы извозчичья лошадь прошла три мили кряду, ни разу не упав. Ну и что ж? Тем веселей. В наше время нервных расстройств и всеобщей душевной усталости люди готовы даже дорого заплатить за любое развлечение; а уж дешевле этого и не найдешь.

Но вернемся к красному кэбу. Он был вездесущ; чтобы воочию убедиться в этом, стоило только пройтись по Холборну или Флит-стрит, по любой из оживленных улиц города. За первым же углом вас ждало интереснейшее зрелище: вывороченная тумба; разбросанные в живописном беспорядке один-два сундука, шляпная картонка, чемодан, дорожный мешок; лошадь, впряженная в кэб и с самым невозмутимым видом поглядывающая вокруг; и толпа зевак, испускающих радостные вопли, прижимая разгоряченные лица к прохладной витрине аптекарского магазина. «Скажите, пожалуйста, что здесь случилось?» — «Да вот, сэр,— извозчик».— «Кто-нибудь пострадал?» — «Только седок, сэр. Я видел, как извозчик выехал из-за угла, и говорю другому джентльмену: а шустрая, говорю, лошадка, глянь-ка, так и чешет».— «И то,— отвечает другой джентльмен.— Тут извозчик ка-ак налетит на тумбу, седока-то и вытряхнуло на

мостовую». Нужно ли говорить, что это был красный кэб, а молодой человек с соломинкой во рту, который спокойно вышел из аптеки и, без тени смущения взобравшись на свой насест, пустил лошадь вскачь,— его лихой возница?

Наряду с поразительной способностью появляться одновременно в разных концах города, красный кэб обладал еще свойством возбуждать неудержимый смех даже у блюстителей закона. Вы входите, к примеру, в судебную камеру при резиденции лорд-мэра: стон стоит от хохота. Сам лорд-мэр, откинувшись на спинку кресла, так и заливается, тешась своим остроумием; у мистера Хоблера каждая жилка на лице вздулась от смеха: не столько шутки лорд-мэра веселят его, сколько собственные; констебли и другие полицейские чины (по долгу службы) в восторге от балагурства обоих; даже бедняки, почтительно косясь на обычно столь сурового, теперь же ухмыляющегося приходского надзирателя, силятся выдавить из себя подобие улыбки. А перед судейским столом высокий сморщенный старик, заикаясь и шамкая, пытается изложить свою жалобу,— он обвиняет кучера красного кэба в вымогательстве; но кучер красного кэба, лорд-мэр и мистер Хоблер продолжают перекидываться остротами к великому удовольствию всех, находящихся в камере, за исключением потерпевшего. Дело кончается тем, что лорд-мэр, обезоруженный самобытным юмором извозчика, уменьшает размер штрафа до сущей безделицы, и тот галопом уносится в красном кэбе, дабы, не теряя времени, расправиться с очередной жертвой.

Подобно многим другим философам, кучер красного кэба, убежденный в непререкаемости своих нравственных правил, постоянно бросал вызов общественному мнению. Вообще-то говоря, он, быть может, иной раз и предпочел бы доставить седока невредимым к месту назначения, чем вываливать его на полдороге,— даже наверно предпочел бы, ибо в таком случае он, во-первых, получил бы плату за проезд, а во-вторых, подольше насладился скачкой наперегонки с каким-нибудь дерзким соперником. Но общество, взимая с него штрафы, объявило ему войну, и поэтому он вынужден был, как умел, воевать против общества. Так рассуждал кучер красного

кэба и действовал соответственно: он вперял испытующий взор в седока, едва лишь тот, проехав полмили, брался за карман, чтобы приготовить деньги, и если у седока в руках оказывалось ровно восемь пенсов, выкидывал его вон.

В последний раз мы видели нашего друга дождливым вечером на Тоттенхем-Корт-роуд; между ним и маленьким, весьма словоохотливым джентльменом в зеленом сюртуке шел оживленный разговор, носивший, видимо, сугубо личный характер. Бедняга! Как мог он не возмутиться? Ему заплатили только восемнадцать пенсов сверх положенного, и он, естественно, кипел от обиды. Спор становился все ожесточенней, и, наконец, словоохотливый джентльмен, подсчитав в уме проделанный путь и обнаружив, что он и так уже уплатил лишнее, заявил о своем твердом решении завтра же потянуть извозчика в суд.

— Имейте в виду, молодой человек, завтра я вас потяну в суд,— сказал маленький джентльмен.

— Да неужто? Так-таки и потянете? — ухмыльнулся наш друг.

— И потяну,— отвечал маленький джентльмен,— вот увидите. Если только жив буду, завтра утром вам плохо придется.

Столько твердости и неподдельного негодования было в словах седока, столько гнева в энергичном движении, каким он отправил в нос понюшку табаку, что кучер красного кэба несколько опешил. С минуту он, видимо, колебался. Но только с минуту — и тотчас же принял решение.

— Стало быть, потянете? — спросил наш друг.

— Потяну! — подтвердил маленький джентльмен с еще большей яростью.

— Очень хорошо,— сказал наш друг, неторопливо засучивая рукава.— За это мне дадут три недели. Отлично. Срок кончится в половине того месяца. Ежели я заработаю еще три недели, аккурат подойдет мой день рождения и я, как всегда, получу десять фунтов. А покамест я не прочь пожить на казенный счет. Что ни говори, а квартира, харчи, стирка — и все даром. Так что — держись, папаша!

И без долгих проволочек кучер красного кэба сшиб с ног несговорчивого седока, а потом кликнул полицию, чтобы она честь по чести препроводила его в кутузку.

Всякий рассказ должен иметь конец; и потому мы рады засвидетельствовать, поскольку нам это доподлинно известно, что квартира, харчи и стирка были и в самом деле безвозмездно предоставлены нашему другу. А узнали мы об этом вот каким образом: вскоре после описанного нами происшествия мы посетили Исправительный дом графства Мидлсекс с целью посмотреть, как действует недавно введенная система молчания; надеясь встретить здесь нашего утраченного друга, мы пристально вглядывались в лица арестантов. Однако его нигде не было видно, и мы уже думали, что маленький джентльмен в зеленом сюртуке не выполнил своей угрозы; но когда мы шли вдоль огорода, разбитого в дальнем углу тюремного двора, до нашего слуха откуда-то, видимо сквозь стену, вдруг донесся голос, с чувством распевавший трогательную песенку «Шляпа моя, шляпа», которая в то время только что получила всеобщее признание как ценный вклад в отечественную музыку.

Мы круто остановились: — Кто это поет?

Смотритель тюрьмы сокрушенно покачал головой.

— Пропащий человек,— сказал он.— Работать не хочет. Упорно отказывается крутить колесо. Как я ни бился, все впустую. Вот и пришлось посадить его в одиночку. Он уверяет, что ему там очень хорошо, и, кажется, не врет — целыми днями валяется на полу и горланит комические куплеты.

Стоит ли добавлять, что сердце не обмануло нас и что исполнитель комических куплетов был не кто иной, как наш столь желанный друг, кучер красного кэба?

С тех пор он исчез из поля нашего зрения, но — судя по некоторым характерным признакам — мы сильно подозреваем, что сия благородная личность приходилась дальней родней одному конюху, тому самому, которого нам довелось однажды наблюдать, когда мы шли мимо вверенной его попечению извозчичьей биржи; не трогаясь с места, он прехладнокровно следил за тем, как рослый мужчина, пыхтя и отдуваясь, втискивался в кэб, но едва тот уселся, конюх (по обычаю своих собратьев)

кинулся к нему со всех ног и, приложив два пальца к шляпе, потребовал «монету для конюха». Однако седок оказался не из щедрых и очень сердито спросил: «Деньги? За что? За то, что вы пришли поглядеть на меня? Так, что ли?» — «А как же, сэр,— ухмыляясь во весь рот, ответил конюх,— разве это не стоит двух пенсов?»

Впоследствии он достиг видного положения в обществе; и так как нам кое-что известно о его жизни и мы уже не раз намеревались поделиться нашими сведениями, то, пожалуй, сейчас самое время это сделать.

Итак, мистер Уильям Баркер — ибо таково было имя сего джентльмена — родился... впрочем, зачем сообщать о том, где и когда родился мистер Уильям Баркер? Зачем ворошить приходские книги или пытаться проникнуть в сокровенные тайны родильных приютов? Факт тот, что мистер Баркер родился, иначе его не было бы на свете. Есть сын, значит был и отец. Есть следствие, значит была и причина. Мы считаем, что этих сведений вполне достаточно, чтобы удовлетворить самое ненасытное любопытство — даже последняя жена Синей Бороды не потребовала бы большего; а если это и не так, то мы, к сожалению, лишены возможности что-либо добавить к вышесказанному. Можно ли упрекнуть нас в отступлении, хотя бы малейшем, от парламентской практики? Ни в коем случае.

Сожалеем мы и о том, что не можем указать точно, когда и путем каких манипуляций имя этого джентльмена — Уильям Баркер — превратилось в «Билл Буркер». Мы знаем только, что мистер Баркер достиг высокого положения и заслужил добрую славу на том поприще, которому посвятил свои силы, и что коллеги величали его либо дружеским «Билл Буркер», либо лестным прозвищем «Билл-Зараза»: эта игривая и меткая кличка как нельзя лучше определяла незаурядный талант мистера Баркера отравлять жизнь и портить кровь тем подданным ее величества, которых перевозят с места на место посредством омнибусов. О ранних годах мистера Баркера мало что известно, и даже эти скудные сведения весьма сомнительны и недостоверны. Видимо, подобно многим другим гениям, это была натура беспокойная, мятущаяся,

обуреваемая жаждой портера и приверженная всему, что есть на свете непостоянного и зыбкого. Ни прилежное гудение детских голосов в бесплатной приходской школе, ни отдых под сумрачным кровом тюрьмы графства не оказали влияния на непоседливый нрав мистера Баркера. Ничто не могло обуздать его неуемного пристрастия к разнообразию и переменам; никакие кары не могли сломить его прирожденную отвагу.

Если за мистером Баркером в молодости и водился грех, то грех, так сказать, привлекательный, а именно — любовь; любовь в самом широком смысле слова — любовь к прекрасному полу, к спиртным напиткам и к содержимому карманов. Это было бескорыстное чувство; мистер Баркер не замыкался в самодовольной привязанности только к своему собственному имуществу, как это делают большинство смертных. Нет, им двигало более возвышенное стремление — некая всеобъемлющая идея, и любовь его с не меньшей силой распространялась и на чужую собственность.

Такое великодушие не может не вызвать горячего участия. Но горестно сознавать, что оно не получает надлежащего признания. Полицейский участок на Боу-стрит, тюрьмы Ньюгет и Милбэнк — плохая награда за любвеобилие, столь ярко проявившееся в неодолимой тяге мистера Баркера ко всему, созданному на земле. Так думал и сам мистер Баркер. После затянувшихся переговоров между ним и высшими судебными властями он с согласия и за счет правительства покинул неблагодарную отчизну, бросил якорь в далеком краю, и там, подобно Цинциннату *, расчищал и возделывал землю; в этом мирном труде предусмотренные семь лет промелькнули почти незаметно.

У нас нет сведений о том, настаивало ли британское правительство, по истечении этого срока, чтобы мистер Баркер возвратился в Англию, или только не требовало его пребывания за ее рубежами. Однако мы склонны считать второе предположение более вероятным, ибо по приезде он не занял высокого поста, а удовольствовался должностью помощника конюха при извозчичьей бирже на углу Хэймаркет. Именно здесь, сидя на поставленных у края панели бочках, где хранилась вода для лошадей,—

причем грудь его украшала медная бляха с номером, прицепленная к надетой на шею массивной цепи, а щиколотки были преоригинально обернуты соломой,— именно здесь он, очевидно, досконально изучил человеческую природу и приобрел тот богатый опыт, который столь ощутимо сказался в его дальнейшей деятельности.

Через несколько месяцев после того, как мистер Баркер заступил эту должность, появился первый омнибус, что дало новое направление общественной мысли, но помешало многим извозчикам двигаться в каком бы то ни было направлении. С гениальной прозорливостью мистер Баркер сразу проник в самую суть дела — он понял, каким жестоким уроном грозит извозчичьим биржам, а следственно, и конюхам, успешное развитие нового вида транспорта. Смекнул он и то, что теперь самое время подыскать более прибыльное занятие; его предприимчивый ум тотчас подсказал ему, какие доходы сулит возможность заманивать юных, неискушенных пассажиров — а дряхлых и беспомощных просто запихивать — в омнибус, идущий не туда, куда надо, и катать их по городу до тех пор, пока они, доведенные до отчаяния, не откупятся, внеся по шести пенсов с головы; сам мистер Баркер образно называл это «так допечь их, чтоб порастрясли мошну».

Его заветным мечтам вскоре суждено было сбыться. На извозчичьих биржах упорно говорили о том, что скоро начнет ходить омнибус между Лиссон-Гров и Английским банком, по Оксфорд-стрит и Холборну; эти слухи подтверждались появлением все большего числа омнибусов на Пэддингтон-роуд. Мистер Баркер осторожно, под рукой, навел справки. Оказалось, что все — истинная правда: первый рейс «Принца Уильяма» ожидался в ближайший понедельник. Новый омнибус был снаряжен как нельзя лучше: должность кучера занял энергичный молодой извозчик, славившийся своей лихостью — не так давно он полюбовно уладил дело с родителями трех покалеченных детей и только что отсидел положенный срок за то, что сбил с ног одну старушку; что же касается вакантного поста кондуктора, то дальновидный хозяин, осведомленный о высоких достоинствах мистера Баркера, с первых же слов отдал его бывшему конюху. Итак,

омнибус начал курсировать, и мистер Баркер, облаченный в новый наряд, ступил на новое поприще.

Не станем перечислять все усовершенствования, введенные — хоть и медленно, но верно — в омнибусное движение этим необыкновенным человеком: так много места мы не можем уделить ему в нашем беглом очерке. По общему признанию, именно он изобрел тот способ езды, который впоследствии получил столь широкое распространение; заключался он в том, что за каждым омнибусом вплотную следовал второй, и как только первый останавливался, дышло заднего омнибуса либо просовывалось в открытую дверь переднего, либо врезалось в спину пассажиру или пассажирке, собирающихся войти,— весьма остроумная и веселая затея, в которой с особенной силой проявились изобретательность и смелый полет мысли, отличающие все действия этого поистине великого человека.

Разумеется, у мистера Баркера были противники: у какого общественного деятеля их нет? Но даже самые заклятые враги его не стали бы отрицать, что и шести кондукторам, вместе взятым, не удавалось препроводить на остановку «Банк» так много старичков и старушек, желавших попасть в Пэддингтон, и наоборот — завезти в Пэддингтон столько старичков и старушек, хотевших очутиться на остановке «Банк»; и что бы ни говорили недоброжелатели, лицемерно пытающиеся поставить под сомнение неопровержимые факты, им отлично известно, что он силком отправил и на ту и на другую остановку немалое число престарелых особ обоего пола, которые вообще не имели ни малейшего желания куда-либо ехать.

Не кто иной, как мистер Баркер, был тот кондуктор, который в свое время совершил благороднейший поступок — продержал мастерового на подножке омнибуса, шедшего полным ходом, пока всласть не исколотил его, а под конец столкнул на мостовую. И пьяный буян, самым оскорбительным образом выставленный за дверь питейного заведения и в порыве праведного гнева лягнувший хозяина под коленку, от чего тот умер, должен бы оказаться мистером Баркером. Именно «должен бы», ибо только незаурядная личность способна на такой подвиг.

Теперь это событие стало достоянием истории; оно внесено в анналы Ньюгетской тюрьмы; и мы от души желали бы воздать хвалу мистеру Баркеру за проявленное геройство. Однако мы вынуждены признать, что, к сожалению, это не его заслуга. О, если бы, ради поддержания фамильной чести Баркеров, мы могли сообщить, что виновный оказался его родным братом!

Глубокое знание человеческой природы, отличавшее мистера Баркера, помогло ему в совершенстве постичь все тонкости своей профессии. Он с первого взгляда угадывал, куда хочет ехать пассажир, и выкрикивал название этой остановки, ни словом не касаясь истинного пути следования своего омнибуса. Без промаха намечал он старушонку, которая непременно растеряется в толчее и от волнения только тогда спохватится, что ее не там ссадили, когда уже будет поздно; он словно по наитию читал мысли пассажира, молча принимающего решение «завтра же потянуть в суд этого мерзавца»; и заметив миловидную служанку, никогда не упускал случая посадить ее у самой двери, чтобы удобнее было всю дорогу любезничать с ней.

Но человеку свойственно ошибаться, и подчас безответность и долготерпение того или иного пассажира оказывались обманчивыми, и тогда приходил вызов в участок и дело нередко кончалось тюрьмой. Однако такие пустяки не могли сломить вольнолюбивый дух мистера Баркера. Как только истекал срок вынужденного бездействия, он с удвоенным пылом принимался за прерванную работу.

Мы говорим о мистере Баркере и кучере красного кэба в прошедшем времени. Увы! Мистер Баркер опять покинул родные края; и разряд людей, к которому оба они принадлежали, быстро исчезает. Перемены к лучшему уже заглядывают под фартуки наших кэбов и проникают в самые потаенные уголки омнибусов. Скоро грязь уступит место чистоте, пестрый наряд прислуги будет заменен формой. Грубая речь забудется, когда учтивое обращение станет общепринятым; и у лондонских мировых судей, столь просвещенных, сладкогласных, мудрых и отзывчивых, наполовину убавится и дел и развлечений.

ГЛАВА XVIII

Парламентский очерк

Мы надеемся, что наших читателей не испугает это мрачное заглавие. Можем их заверить, что мы не собираемся вдаваться в политику и вовсе не намерены разводить скуку больше обычного,— во всяком случае, постараемся этого избежать. Просто нам пришло на ум, что, вкратце описав, как выглядит палата общин и толпы, стекающиеся к ней в день важных дебатов, мы позабавим читателей; и поскольку мы в свое время не раз бывали в этой самой палате — так часто бывали, что это даже повредило нашему душевному спокойствию, зато позволяет нам без труда исполнить наше намерение,— мы твердо решили попытаться описать ее. Итак, преодолев трепет, какой, естественно, вызывают смутные мысли о нарушении привилегий, о парламентском приставе, о внушительных обличениях и еще более внушительных чаевых, мы без дальнейших предисловий подходим к зданию парламента и к предмету нашего очерка.

Половина пятого, а в пять первый оратор будет уже «на ногах», по новомодному выражению газет,— как будто ораторам случается стоять и на голове. Депутаты вливаются в здание потоком, идут косяками. Немногочисленные зрители, которым удалось протиснуться внутрь и стать в коридоре, впиваются в них любопытными взглядами, и тот, кто сумеет узнать в лицо какого-нибудь депутата, сразу вырастает в глазах окружающих. Время от времени вы слышите взволнованный шепот: «Вот сэр Джон Томсон!» — «Который? Этот, с медалью на шее?» — «Нет, нет; это курьер,— а сэр Джон Томсон вон тот, с желтыми перчатками».— «А вот мистер Смит!» — «Да ну»? — «Здравствуйте, сэр, здравствуйте! (Он наш новый депутат.) Как поживаете, сэр?» Мистер Смит останавливается, оборачивается, сияя любезнейшей улыбкой (ибо сегодня утром распространились слухи о предстоящем роспуске парламента), крепко жмет обе руки избирателю, очень довольному столь сердечным приемом, а затем устремляется в кулуары, явно горя нетерпе-

нием исполнить свой долг перед обществом, и оставляет своего земляка в совершенном восхищении.

Все больше народу, все несносней шум и духота. Служители в ливреях выстраиваются по обе стороны прохода, и вы съеживаетесь, стараясь занимать как можно меньше места, чтобы вас не выставили отсюда. Видите вы плотного мужчину с хриплым голосом, в синем мундире, диковинной широкополой шляпе, белых плисовых штанах и высоких сапогах? За последние полчаса он не умолкал ни на минуту и своим важным видом немало веселил публику. Это главный хранитель мира и порядка в Вестминстере. Заметили вы, с каким изяществом он только что поклонился прошедшему мимо благородному лорду и с каким несравненным достоинством он увещевает толпу? Сейчас он несколько рассержен непочтительным поведением двух юнцов, стоящих позади него,— с той минуты, как они сюда попали, они только и делают что смеются.

— Как вы полагаете, мистер Икс, будут сегодня голосовать? — робко спрашивает из толпы щуплый человечек, в надежде расположить к себе это высокое должностное лицо.

— Да как вы решаетесь задавать подобные вопросы, сэр? — трубным голосом отзывается важная особа и сердито сжимает правой рукой свой тяжелый жезл.— Пожалуйста, не спрашивайте, сэр. Очень вас прошу, не задавайте, пожалуйста, таких вопросов, сэр.— Щуплый человечек до крайности смущен и растерян, а толпа непосвященных корчится от смеха.

В эту самую минуту в конце длинного коридора появляется какой-то простак с крайне самодовольной физиономией. Он ухитрился обмануть бдительность констебля, охраняющего вход на лестницу, и, видимо, очень горд тем, что проник сюда.

— Вернитесь, сэр, здесь нельзя находиться! — кричит охрипший страж, приметив непрошеного гостя; голос его грозен и жесты весьма выразительны.

Тот в нерешительности останавливается.

— Вам говорят, сэр. Угодно вам выйти? — продолжает хранитель порядка, легонько подталкивая нарушителя к дверям.

— Не толкайтесь,— сердито оборачивается нарушитель.

— Буду толкаться, сэр.

— Нет, не будете, сэр.

— Выйдите вон, сэр.

— Уберите руки, сэр.

— Освободите проход, сэр.

— Не по чину заноситесь, сэр!

Как вы сказали?!

Не по чину заноситесь, сэр, и притом вы нахал! — заявляет вконец разъяренный нарушитель.

— Пожалуйста, не вынуждайте меня выставить вас за дверь, сэр,— решительно говорит страж.— Прошу вас. Моя обязанность следить, чтобы проход был свободен, это распоряжение спикера, сэр.

— К черту спикера, сэр! — кричит нарушитель.

— Эй, Уилсон, Коллинз! — задохнувшись от негодования, зовет страж; столь оскорбительные слова кажутся ему едва ли не государственной изменой.— Выведите этого человека! Выведите его отсюда, говорят вам! Как вы смеете, сэр? — И летит бедняга вниз по лестнице, отсчитывая по пять ступенек за раз, поминутно оборачиваясь, порываясь вернуться и осыпая проклятиями и угрозами главу палаты и его клевретов.

— Дорогу, господа! Покорнейше прошу дать дорогу депутатам! — восклицает ревностный страж порядка и возвращается по коридору, а за ним гуськом следуют либеральные и независимые британские законодатели.

Взгляните на этого джентльмена: свирепое лицо его почти такого же грязно-желтого цвета, как и его белье, а огромные черные усы придали бы ему сходство с манекеном в витрине парикмахера, будь в этом лице отпечаток мысли, которого не лишены восковые карикатуры на образ и подобие божие. Он — офицер милиционной армии, самый занятный персонаж в палате общин. Что может быть смехотворней нелепо величественного вида, с каким он шествует в кулуары, вращая белками точь-в-точь как голова турка на дешевых голландских часах с боем? Еще никто никогда не видел его без связки засаленных бумаг под мышкой: предполагают, что это — проект бюджета на 1804 год или еще какие-нибудь столь

же злободневные документы. Джентльмен этот не пропускает ни одного заседания, и его внушительное «правильно! пра-авильно!» нередко смешит всю палату.

Это он однажды послал курьера на галерею для гостей в старом здании палаты общин, чтобы узнать имя человека, смотревшего в лорнет, а затем пожаловался спикеру, что этот субъект с лорнетом корчит ему рожи! Рассказывают и о таком случае: будто он явился в «Кухню Беллами» — ресторан для членов парламента, куда посторонние допускаются, так сказать, из милости, застал там за ужином двоих джентльменов — и, зная, что они не принадлежат к числу депутатов, а стало быть не решатся, находясь здесь, протестовать против его поведения, доставил себе удовольствие усесться за тот же столик и задрать на него ногу в сапоге! Впрочем, он довольно безвреден и всегда забавен.

Проявив терпение и некоторую долю внимания к нашему другу констеблю, мы проникли в кулуары — и когда дверь палаты отворяется, чтобы пропустить кого-нибудь из депутатов, можем на миг заглянуть туда. Там уже собралось много народу, депутаты сходятся кучками и обсуждают наиболее интересные пункты сегодняшней повестки дня.

Вон тот франт в черном сюртуке с бархатными отворотами и манжетами и в цилиндре à la граф д'Орсэй, лихо сдвинутом набекрень,— это «Честный Том», один из депутатов столицы; толстяк в плаще на белой подкладке — не тот, что у колонны, а другой, у которого длинные светлые волосы падают на воротник,— его коллега. Спокойный, почтенного вида джентльмен в серых панталонах, белом шейном платке и в белых перчатках, чей наглухо застегнутый синий сюртук выгодно обрисовывает статную фигуру и широкую грудь,— человек весьма известный. В свое время он выиграл немало сражений, причем, подобно героям древности, побеждал единственно силою того оружия, каким наделили его боги. Стоящий подле него старик с суровым лицом — великолепный образчик породы людей, ныне почти уже вымершей. Это депутат одного графства, депутат с незапамятных времен. Взгляните, какой на нем просторный коричневый сюртук с вместительными карманами, штаны до

колен, сапоги, длиннейший жилет, на котором болтается серебряная часовая цепочка; на голове у него широкополый цилиндр, на шее завязан большим бантом белый платок, свободные концы которого торчат из-под жабо. Такой наряд не часто увидишь в наши дни, а когда те немногие, кто еще носит его, один за другим отправятся к праотцам, он исчезнет бесследно. Этот человек может без конца рассказывать вам о Фоксе, Питте, Шеридане и Каннинге, о том, насколько лучше были в те времена парламентские порядки: заседания, например, заканчивались в восемь-девять часов вечера, если не считать знаменательных дней особо важных прений, о которых депутаты бывали извещены заранее. Он с величайшим презрением относится ко всем молодым депутатам и полагает, что человек не способен сказать ни слова путного, если он не просидел в парламенте по меньшей мере лет пятнадцать, не раскрывая рта. По его мнению, «этот мальчишка Маколей» просто самозванец; он допускает, что от лорда Стэнли, может быть, и будет толк, но пока — «слишком молод, сэр, слишком молод». Он непререкаемый авторитет по части прецедентов и, когда разговорится, выпив стаканчик-другой, может порассказать вам немало интересного: как сэр такой-то, в бытность свою «загонщиком» правительственной партии, однажды, когда нужно было обеспечить большинство, поднял с одра болезни четверых депутатов — и трое из них умерли, не успев вернуться домой после голосования; как разделились голоса по вопросу о том, пора ли вносить новые свечи; как некогда один спикер по недосмотру остался на своем председательском месте после конца заседания — и пришлось ему провести три часа в опустевшей зале, пока не добудились какого-то депутата и не привели его, чтобы он внес предложение объявить перерыв; и еще множество подобных анекдотов.

Вот он стоит, опираясь на трость; с безграничным презрением смотрит на толпящихся вокруг франтов; и перед его мысленным взором вновь встают картины парламентского прошлого, та далекая, невозвратная пора, когда чувства в нем еще не остыли и, как ему кажется, ум, талант, патриотический пыл — все было куда ярче и сильней, чем теперь.

Вы хотите знать, кто этот молодой человек в толстой шинели, который, с тех пор как мы здесь стоим, не пропустил ни одного депутата, не заговорив с ним. Сам он не депутат; он всего лишь «наследственный раб», иными словами — ирландский корреспондент ирландской газеты, только что получивший сорок второй конверт для письма, не подлежащего оплате, от депутата, который его прежде никогда в жизни не видал. Вот он опять двинулся на приступ — еще один конверт! Господи, да у него уже и карманы и шляпа — все полно!

Попытаемся пройти на галерею для гостей, хотя тема нынешних прений настолько волнующая, что вряд ли нам это удастся. Помилуйте, что это вы? Протягиваете ваш пропуск, словно это талисман, пред которым распахнется заветная дверь? Вздор! Поберегите пропуск вместо автографа, если вообще стоит его хранить, и, подходя к двери, повыразительней засуньте большой и указательный пальцы в жилетный карман. Дверь охраняет высокий, плотный человек в черном. «Найдется место?» — «Яблоку упасть негде, уже человек тридцать джентльменов дожидаются внизу, чтобы кто-нибудь вышел». Извлеките из кармана кошелек... «Так-таки нет ни одного местечка?» — «Сейчас пойду посмотрю,— отвечает страж, с грустью покосившись на ваш кошелек,— только, боюсь, не найдется». Он возвращается и с искренним огорчением заверяет вас, что пробраться к галерее нет никакой возможности. Ждать бесполезно. Если уж вас не пропустили на галерею для гостей в палате общин при подобных обстоятельствах, вы можете отправляться домой в совершенной уверенности, что туда и впрямь не протиснешься[1].

Пройдемте назад по длинному коридору, спустимся по лестнице, пересечем Дворцовый двор,— и вот мы у небольшого временного подъезда, рядом с дверями, через которые входит в палату лордов король. По вашему пропуску можно пройти на галерею прессы, откуда неплохо видна палата общин. Осторожнее на лестнице, она не из самых удобных; теперь в эту дверцу — вот так.

[1] Этот очерк был написан, когда еще существовал обычай выставлять депутатов парламента, подобно другим диковинкам, на всеобщее обозрение за необременительную плату в полкроны. *(Прим. автора.)*

Едва лишь ваши глаза привыкнут к сумраку галереи и блеску свечей внизу, вы увидите, что там ораторствует, поднявшись с одной из скамей по правую руку от вас, некий второстепенный представитель правительственной партии, чей голос тонет в гуле и гомоне, не уступающем вавилонскому, с той только разницей, что тут все говорят на одном и том же языке.

Раздается возглас: «Правильно, правильно!», и за ним — взрыв смеха; это кричал наш воинственный друг с черными усами; он сидит в заднем ряду у стены, за спиной оратора, и вид у него столь же свирепый и столь же умный, как всегда. Оглянитесь по сторонам — и ретируйтесь! Внизу полно депутатов; иной задрал ноги на спинку передней скамьи; иной вытянул их во всю длину; одни входят, другие выходят; все разговаривают, смеются, дремлют, кашляют, охают, вздыхают, задают вопросы; подобного шума и столпотворения нигде больше не сыщешь в целом свете,— даже на Смитфилдском рынке в базарный день, даже в разгар увлекательнейшего петушиного боя.

Не забудем, однако, заглянуть и в «Кухню Беллами», иными словами — в ресторан, где закусывают члены обеих палат и куда равно открыт доступ представителям правящей партии и оппозиции, вигам и тори, радикалам, пэрам и ниспровергателям всех основ, гостям с галереи и кое-кому из посторонней публики почище; где досточтенные депутаты самого различного толка доказывают свою полнейшую независимость тем, что во время бурных дебатов преспокойно наслаждаются земными благами; откуда «загонщики» вызывают их, когда подходит время голосования,— и они либо «по велению совести» голосуют по вопросу, о существе которого, говоря по совести, не имеют ни малейшего понятия, либо дают выход игривой фантазии, возбужденной винными парами, в оглушительных выкриках: «Голосовать! Голосовать!», а также порою и в завываньях, лае, кукареканье и иных проявлениях чисто парламентского юмора.

Поднявшись по узкой лестнице, которая в нынешнем временном помещении палаты общин ведет в описываемый нами уголок, вы, вероятно, заметите справа две комнаты, где стоят накрытые к обеду столики. Это еще не

Кухня, хотя обе комнаты имеют то же назначение; Кухня — дальше, по левой стороне, к ней ведут несколько ступенек. Однако, прежде чем подняться по ним, мы попросим вас задержаться перед этим маленьким буфетом с прорезанными в стене окошками; будьте добры, обратите ваше внимание на единственного обитателя этой комнатки — степенного, весьма добропорядочной наружности старика в черном. Николас (мы не прочь назвать его по имени, ибо Николас, как никто другой, поистине — общественный деятель, а имена общественных деятелей должны быть известны обществу), Николас — метрдотель у Беллами, и, сколько помнит старейший из нынешних посетителей, он всегда занимал тот же пост, точно так же одевался и произносил в точности те же слова. Превосходный слуга этот Николас, ему нет равных в искусстве приправлять салаты, готовить содовую с лимоном, как-то по-особенному смешивать холодный грог и пунш, а главное, он — непревзойденный знаток сыров. Если старику хоть в малой мере свойственно тщеславие, то гордится он именно этим своим талантом; и если вообще возможно хоть как-то поколебать его нерушимое спокойствие, то, вероятно, лишь одним-единственным способом: усомнившись в его суждении по этому важнейшему предмету.

Впрочем, нам незачем говорить вам все это, ибо если у вас есть хоть малая толика наблюдательности, взгляните на его непроницаемое, отмеченное житейской мудростью лицо, на безупречный белый шейный платок, который добрых двадцать лет завязывается все одним и тем же неизменным узлом и сливается с мелкими складочками жабо, на всю эту невозмутимую фигуру, затянутую в черный, без пятнышка, без единой пылинки фрак,— и один взгляд даст вам более полное представление об этом человеке, чем целая страница наших бледных описаний.

Сейчас Николас несколько выбит из колеи; отсюда он не видит Кухни, к чему привык в старом здании парламента; там окошко соединяло его стеклянную клетку с помещением ресторана, и на пользу и в назидание самым молодым из своих собеседников он, бывало, часами простаивал у окошка, с явным наслаждением отвечая на почтительные расспросы о Шеридане, Персивале и

Кэстльри и еще бог весть о ком и неукоснительно именуя каждого члена палаты общин «мистер такой-то».

Как все люди его возраста и положения, Николас убежден, что все на свете приходит в упадок. Он редко высказывает вслух свои политические взгляды, но перед тем, как был принят билль о Реформе, нам удалось удостовериться, что Николас — непоколебимый ее сторонник. Каково же было наше изумление, когда, вскоре после первого заседания пореформенного парламента, Николас вдруг оказался ярым, закоренелым тори! Это было очень странно: иные люди меняют свои убеждения потому, что нужда заставляет, другие — из соображений выгоды, третьи — по вдохновенью; но чтобы Николас мог в чем-то перемениться — этого мы никак не ожидали, это казалось нам просто невозможным. И уже совершенно непостижимо было, почему он столь решительно высказывается против статьи, увеличивающей число депутатов в парламент от столицы.

Наконец, мы раскрыли секрет: депутаты столицы всегда обедают дома. Негодяи! К тому же, Ирландии предоставлены дополнительные мандаты, а это еще хуже, это уже прямое нарушение конституции. Помилуйте, сэр, да ведь ирландский депутат, когда приходит обедать, съедает столько, что троим англичанам впору. А вина не спросит; выпьет полгаллона пива, а потом отправляется к себе в Манчестер-билдинг или на Милбэнк-стрит и уже там пьет виски с содовой. А к чему это ведет? Да ведь такой клиент для ресторана — разоренье, сэр, чистое разоренье!

Чудак он, этот Николас, и без него, как без палаты общин, просто нельзя представить себе парламент. Удивительно, как это он покинул старое здание; наутро после пожара мы уже готовы были найти в газетах волнующее известие о некоем почтенном старом джентльмене в черном, который показался в окне верхнего этажа на фоне бушующего пламени и во всеуслышание объявил о своем твердом намерении погибнуть в этих стенах. Должно быть, его вывели оттуда силой. Так или иначе, он вышел оттуда — и вот он перед вами и ничуть не переменился, точно его с минувшей сессии держали для сохранности в картонке. Каждый вечер он на своем посту, точь-в-точь такой, как мы его описали; и так как замечательные

люди встречаются редко, а верные слуги и того реже, пожелаем ему оставаться здесь еще долгие годы!

Теперь, когда мы уселись в Кухне и с должным вниманием оглядели огромный очаг и вертел в одном ее конце, столик, где перетирают стаканы и моют кувшины, в другом конце стенные часы над окном, из которого видна церковь св. Маргариты, простые сосновые столы и восковые свечи, камчатные скатерти и ничем не покрытый пол, серебро и фарфор на столах, рашпер на огне и еще кое-какие достопримечательности,— позвольте указать вам на двоих или троих из присутствующих здесь, наиболее достойных упоминания, кто — по своему положению, кто — благодаря своим странностям.

Половина первого, а голосование ожидается только часа через два, и потому некоторым депутатам больше нравится проводить время здесь, чем исполнять свой общественный долг или дремать в одной из боковых галерей. Вон тот на редкость неуклюжий и нескладный мужчина в пожелтевшем от старости белом цилиндре и в чересчур длинных черных штанах, наполовину закрывающих голенища сапог, который прислонился к экрану перед огнем и, видимо, сам себя тешит иллюзией, будто он погружен в раздумье,— это прекрасный образец члена палаты общин, олицетворяющего собою мудрость всех своих избирателей. Обратите внимание на его парик — темный, но какого-то неопределенного цвета: то ли он был некогда коричневым, но от долгого употребления почернел, то ли был черным, но по той же причине приобрел ржаво-бурый оттенок; заметьте, как подчеркивают умный вид этого мыслителя огромные, точно шоры, очки. Кроме шуток, признайтесь, доводилось ли вам когда-нибудь видеть столь законченное выражение полной и безнадежной тупости, фигуру столь несуразную и нелепую? Он — не оратор, но уж когда обращается с речью к парламенту, действие его речи неотразимо!

Маленький остроносый человечек, который только что с ним раскланялся,— член парламента, бывший олдермен и притом своего рода пожарный-любитель. Он и знаменитая пожарная собака — оба весьма энергично действовали во время пожара, охватившего парламент, оба носились по лестницам вверх и вниз, то вбегали в горящее здание,

то выбегали наружу, путались у всех под ногами, всем мешали, в глубокой уверенности, что делают полезное дело, и яростно лаяли. Потом пожарная машина уехала, а с нею и собака мирно возвратилась в свою конуру, джентльмен же еще несколько недель не переставал шуметь и сделался положительно несносен. Но поскольку нового пожара в парламенте не случилось и, следовательно, больше не было поводов писать в газеты о том, как он, спасая картины, вырезал их из рам и совершал другие патриотические подвиги, он постепенно вернулся в обычное состояние безмятежного покоя.

Девица в черном — не та, которую новоиспеченный баронет только что потрепал по щечке, а вторая, что пониже ростом,— это Джейн, здешняя Геба. Джейн в своем роде столь же примечательная особа, как и Николас. Характерная черта ее — глубокое презрение к большинству посетителей; главное ее качество — любовь к поклонению; вы тотчас убедитесь в этом, заметив, с каким восторгом прислушивается она к тому, что бормочет ей на ушко молодой депутат (язык его почему-то ворочается с трудом), и как игриво тычет она вилкой в руку, которая удерживает ее за талию.

У Джейн острый язычок, она всякого сумеет отбрить и так бойко сыплет шуточками направо и налево, что сторонний человек только диву дается. Порой она подшучивает и над Николасом, однако относится к нему с большим почтением; а Николас невозмутимо принимает ее шутки, смотрит сквозь пальцы, если она порою вздумает порезвиться в коридоре (эти идиллические забавы — единственное развлечение Джейн, и притом вполне невинное), и такая снисходительность — еще одна любопытная черточка в его характере.

Два посетителя за столиком в дальнем углу — здешние завсегдатаи, они обедают у Беллами уже долгие годы; один из них не раз пировал в этих стенах вместе с самыми славными представителями славной поры; потом он перешел в палату лордов; почти все его собутыльники уже разделили судьбу бедного Йорика, и теперь он бывает у Беллами не так уж часто.

Если он и впрямь сейчас ужинает, то что же он ел на обед?! Вот исчезает второй солидный бифштекс,—

один он уже уплел ровно за четыре с половиной минуты по часам, что висят над окном. Да это настоящий Фальстаф! Посмотрите, как он пожирает глазами кусок стилтонского сыра, развязывая салфетку, предохранявшую его костюм от соуса! Как смакует черное пиво, принесенное нарочно для него в оловянной кружке! Прислушайтесь к этому сиплому, низкому голосу, приглушенному и осевшему под грузом плотных обедов и обильных возлияний, и скажите сами, случалось ли вам видеть другого такого чревоугодника? Уж не он ли был тем приятелем Шеридана по парламентским пирушкам, который, отправляясь с ним домой в наемной карете, вызвался править лошадьми и, ненароком опрокинув экипаж, вывалил седоков в канаву?

Полная противоположность ему во всех отношениях — сидящий за тем же столиком тощий старик со скрипучим, пронзительным голосом, поднимающимся на проклятьях до визгливого кудахтанья,— а проклятиями, призываемыми на собственную голову и на головы всех окружающих, он начинает каждую фразу. «Капитан», как его называют, старинный посетитель «Кухни Беллами»; у него вошло в привычку засиживаться здесь, когда прения в палате давно уже окончены (смертный грех в глазах Джейн); и он насквозь пропитан алкоголем — не человек, а ходячая бутылка.

Старому пэру — вернее сказать, просто старику, ибо пэром-то он стал не так давно,— принесли огромный бокал горячего пунша; и его сосед по столу тоже пьет, и бранится, и курит, и снова пьет и бранится. Поминутно входят все новые депутаты, чтобы сообщить, что министр финансов уже заканчивает свою речь, и наспех опрокинуть стаканчик грога, который должен подкрепить их силы во время голосования; те, кто заказал ужин, отменяют заказ и готовятся идти вниз, как вдруг в коридоре раздается неистовый звон колокольчика и крик «загонщиков»: «Го-ло-со-вать!» Повторения не требуется: депутаты наперегонки бросаются к дверям. Кухня мгновенно пустеет; шум быстро стихает; в последний раз скрипнула последняя ступенька — и вы остаетесь с глазу на глаз с левиафаном, поглощающим новый бифштекс.

ГЛАВА XIX

Банкеты

Препотешное зрелище эти лондонские банкеты, будь то обед, ежегодно устраиваемый лорд-мэром в Гилдхолле, или традиционный банкет трубочистов в ресторации «Белый Акведук», обед золотых дел мастеров или мясников, шерифов или кабатчиков. Однако из всех развлечений подобного рода самым потешным мы склонны считать ежегодный банкет какого-нибудь благотворительного общества. На банкете акционеров все люди почти на одно лицо: это старые ветераны, для которых такой обед — те же дела, а следовательно, потешаться тут не над чем. На политическом банкете каждый норовит поспорить, и все любят подолгу ораторствовать, что, кстати сказать, одинаково неприятно. Зато на благотворительном банкете встречается самая разнообразная публика. Правда, вино вам подают далеко не высшего сорта, и нам доводилось встречать бессердечных чудовищ, которые позволяли себе брюзжать по поводу сбора пожертвований, но мы убеждены, что получаемое в таких случаях удовольствие вполне искупает даже эти неудобства.

Предположим, что вы волей-неволей должны присутствовать на одном из подобных обедов,— скажем, на обеде «Благотворительного общества друзей неимущих сирот». Название общества строчки на две длиннее, но остальное не столь важно. Итак, вы довольно ясно припоминаете, что некий знакомый благотворитель навязал вам платный билет; вы влезаете в наемную карету, причем кучер глух ко всем вашим мольбам остановиться на углу Грейт-Куин-стрит и для пущего эффекта подвозит вас к самой двери масонского клуба, где собралась толпа, жаждущая поглядеть на прибытие друзей неимущих сироток. Расплачиваясь с кучером, вы слышите, как за вашей спиной строят догадки, не вы ли тот знатный лорд, который, как говорят, должен председательствовать на банкете, но затем вас спешат обрадовать предположением, что вернее всего вы просто какой-нибудь певец из хора.

Первое, что поражает вас при входе,— это удивительная важность членов комитета. На первой площадке вы замечаете дверь, ревностно охраняемую двумя лакеями; какие-то плотные, очень краснолицые джентльмены то и дело вбегают в эту дверь и выбегают обратно с быстротой, которая никак не вяжется с солидностью их возраста и телосложения. Вы останавливаетесь, встревоженные этой суетой, и в простоте души воображаете, что по крайней мере двух-трех человек в столовой хватил удар. Вас немедленно выводит из заблуждения лакей: «Наверх, пожалуйста, сэр, это комната комитета». Вы послушно идете наверх, недоумевая, каковы же обязанности членов комитета и делают ли они еще что-либо, кроме того, что сбивают друг друга с толку, а лакеев с ног.

Сдав пальто и шляпу и получив взамен крохотный кусочек картона (который вы, само собой, тут же теряете), вы входите в залу, вдоль которой стоят три длинных стола для менее почетных гостей и один стол поперек залы, в дальнем конце ее, на возвышении, для особо близких друзей неимущих сирот. Вам посчастливилось найти прибор без именной карточки, вы благоразумно спешите занять место и теперь можете спокойно оглядеться вокруг. Лакеи, держа в руках большие корзины, выстраивают на столах, на весьма почтительном расстоянии друг от друга, графины с хересом и на таких же дистанциях размещают унылого вида солонки и ветхие судки, которые вполне могли в свое время принадлежать родителям неимущих сирот. Ножи и вилки выглядят так, словно честно несли свою службу на всех лондонских банкетах со времен восшествия на престол Георга Первого. Музыканты извлекают из своих инструментов ужасный скрежет, скрип и визг — это еще не музыка, а только подготовка к ней,— а несколько джентльменов скользят вдоль столов, с беспокойством рыщут взглядами по тарелкам и, не находя на карточках своих имен, мрачнеют все больше и больше.

Вы оглядываетесь на стол за вашей спиной и, не будучи завсегдатаем банкетов, несколько поражены видом кучки людей, на которых случайно упал ваш взгляд. Верховодит этой компанией маленький человечек с длинным, уже воспламененным лицом и седыми волосами, торча-

щими надо лбом; на шее у него мятый жгут из черного шелка, не слишком удачно заменяющий ему галстук; товарищи называют его каким-то односложным именем, вроде «Фитц». Рядом с ним восседает плотный мужчина в белом шейном платке и морковном жилете, с черными лоснящимися, коротко подстриженными спереди волосами и широким, круглым, пышущим здоровьем лицом, на котором он изо всех сил старается удержать слащавую улыбку. А рядом с ним — большеголовый человек с черной шевелюрой и пышными бакенбардами; напротив — еще двое или трое, в том числе и юркий, круглолицый господинчик в жестком парадном галстуке и голубом жилете. Эти люди и выглядят и держат себя как-то пособенному, хотя вы затрудняетесь определить, в чем их особенность; однако вы не можете отделаться от впечатления, что они пришли сюда не только за тем, чтобы выпить и поесть. Впрочем, вам некогда поразмыслить над этим, ибо лакеи, которые рядами двигались вдоль столов, расставляя тарелки, ретируются к дверям; смуглый мужчина в голубом фраке с блестящими пуговицами — один из распорядителей — взглядывает на хоры и громко выкрикивает «музыка!»; оркестр гремит, гости встают, четырнадцать членов комитета, каждый с длинным жезлом в руке, входят в залу, как злые духи в пантомиме; за ними — председатель и, наконец, титулованные гости. Все они стараются прошагать через залу как можно быстрее, все раскланиваются и с видом воплощенной любезности расточают сладкие улыбки. Но вот утихают аплодисменты, произнесена молитва, слышится стук тарелок; и лица гостей радостно оживляются, то ли от присутствия высоких особ, то ли потому, что можно, наконец, приступить к долгожданному обеду.

Что касается обеда, как такового, то он почти всегда проходит одинаково. Суповые миски опустошаются со страшной быстротой, лакеи уносят тарелки с палтусом, чтобы подложить салата из омаров, и приносят тарелки с салатом из омаров, но без палтуса; люди, умеющие разрезать птицу, искренне раскаиваются, что признались в этом, а те, кто не умеет, вовсе не испытывают желания научиться. Стук ножей и вилок приятно аккомпанирует музыке Обера, а музыка Обера была бы приятным аккомп-

панементом обеду, если бы вы могли расслышать хоть что-нибудь, кроме грома медных тарелок в оркестре. Кушанья исчезают одно за другим, молниеносно съедаются горы желе, энергичные едоки, отдуваясь, утирают со лба пот; люди, сидевшие с хмурыми физиономиями, становятся необычайно приветливыми и на удивление радушно предлагают вам вина; старички обращают ваше внимание на галерею, где сидят дамы, и не жалея сил стараются внушить вам, что в этом отношении данному благотворительному обществу чрезвычайно повезло; у гостей постепенно развязываются языки, гул голосов делается все громче и покрывает все другие звуки.

— Господа, благоволите помолчать, сейчас будет исполнен Non nobis! [1] — во всю силу своих могучих легких кричит джентльмен, распоряжающийся тостами; между прочим, у таких распорядителей рубашка, жилет и шейный платок всегда бывают трех разных оттенков серовато-белого цвета.— Прошу внимания — Non nobis!

Хористы — а это те самые господа, которые возбудили ваше любопытство в начале обеда,— «настроив» голоса, тотчас же уныло затягивают «ту-у — ту-у», а старые банкетные ветераны то и дело покрикивают на лакеев: «Тс-тс. Потише!.. Не бегайте!.. Отойдите!» — и другие заклинания, в которых слышится негодующий укор. Послеобеденный псалом спет, и все усаживаются на свои места. Непосвященная часть гостей награждает хор бурными хлопками, словно они исполнили не Non nobis, а какую-нибудь комическую песенку; завсегдатаи банкетов возмущены и скандализованы и тотчас же стараются прекратить это святотатство криками «тише!», но остальные, превратно поняв смысл этого шиканья, хлопают еще неистовее и, чтобы не оставалось сомнения в том, что пенье им понравилось, оглушительно кричат «бис!».

Как только стихнет этот шум, распорядитель снова встает со стула: «Господа, прошу наполнить бокалы!» Графины передаются из рук в руки, бокалы наполнены, и распорядитель продолжает, подымая голос все выше и выше: «Господа,— у — всех — ли — полны — бокалы? Прошу — внимания,— господа,— слово — имеет — пред-

---

[1] «Не нам, [господи]» *(лат.)*.

седатель!» Председатель встает и, заявив, что не видит никакой нужды предварять тост, который он хочет предложить, какими бы то ни было замечаниями, начинает самым невероятным образом путаться и блуждать в дебрях длиннейших фраз, являя собой довольно плачевное зрелище, пока не доходит до слов: «Законная правительница нашего королевства»; тут старички кричат «браво!» и оглушительно колотят по столу черенками ножей. В любом случае, продолжает оратор, он провозгласил бы этот тост с чувством величайшей гордости, величайшей радости,— он, пожалуй, сказал бы даже — удовлетворения. (Одобрительные крики.) Каковы же его чувства сейчас, когда ему выпало счастье объявить, что он получил приказание ее величества обратиться к казначею двора ее величества за ежегодным пожертвованием ее величества на сумму в двадцать пять фунтов в пользу этого благотворительного общества! Сообщение председателя (а такие сообщения регулярно делает каждый председатель с первого дня существования общества, основанного сорок два года назад) вызывает бурные аплодисменты; гости пьют, кричат «ура» и колотят по столу ножами; «господа профессионалы» исполняют «Боже, храни королеву», а господа не профессионалы присоединяются к хору, вследствие чего национальный гимн оказывает действие, которое газеты справедливо определяют, как «поистине гальваническое».

Затем провозглашаются другие «верноподданнические и патриотические» тосты, и все снова пьют с надлежащим воодушевлением; затем джентльмен с шелковым жгутом на шее исполняет комическую песенку, а другой джентльмен — сентиментальную, после чего предлагается самый главный тост — «За процветание Общества». Тут мы снова вынуждены прибегнуть к газетному языку и выразить сожаление, что мы «лишены возможности передать хотя бы суть замечаний именитого лорда». Достаточно сказать, что речь, отличающаяся непомерной длиной, принимается восторженно, и когда все бокалы осушены, члены комитета с еще более важным видом, чем прежде, выходят из залы и тотчас появляются вновь, возглавляя процессию неимущих сирот, мальчиков и девочек, которые, к великому удовольствию гостей, а особенно сидящих на

галерее дам-патронесс, обходят залу, кланяются и приседают, наступая друг другу на пятки, и судя по выражению их лиц, не отказались бы от стаканчика вина. Дети уходят, и опять возвращаются члены комитета; каждый несет в руке голубую тарелку. Оркестр играет веселенькую мелодию, почти все гости роются в карманах и принимают озабоченный вид. Во всех концах залы слышится звяканье соверенов о фарфор.

После краткого промежутка, заполненного пением и тостами, секретарь надевает очки и читает сначала отчет, потом список пожертвований; последний выслушивается с огромным вниманием.

— Мистер Смит — одна гинея; мистер Томкинс — одна гинея; мистер Уилсон — одна гинея; мистер Хиксон — одна гинея; мистер Никсон — одна гинея; мистер Чарльз Никсон — одна гинея. (Внимание! Внимание!) Мистер Джеймс Никсон — одна гинея; мистер Томас Никсон — один фунт и один шиллинг. (Бурные аплодисменты.) Лорд Фиц Бинкл, председатель нынешнего банкета, в добавление к ежегодному пожертвованию в пятнадцать фунтов — тридцать гиней. (Продолжительный стук по столу; некоторые гости в порыве восторга отбивают ножки у бокалов.) Леди Фиц Бинкл, в добавление к ежегодному пожертвованию в десять фунтов — двадцать фунтов! (Длительный стук и крики «браво».)

Наконец, список исчерпан, председатель встает и предлагает выпить за здоровье секретаря, ибо он не знает человека более трудолюбивого и заслуживающего всяческого уважения. Секретарь в ответ благодарит и заявляет, что ему не приходилось знавать более достойной особы, чем председатель,— разве только старейшего члена общества, за чье здоровье он предлагает выпить. Старейший член общества в ответ благодарит и доводит до общего сведения, что не знает более достойной личности, чем секретарь, за исключением, быть может, мистера Уокера, ревизора, за чье здоровье он предлагает поднять бокалы. Мистер Уокер в ответ благодарит, находит какую-то еще более достойную личность, которая превосходит даже старейшего члена общества,— и так они долго предлагают тосты и восхваляют и благодарят друг друга, и только один тост вносит какое-то разнооб-

разие: «За присутствующих здесь дам-патронесс!» — при этом все поворачивают головы к дамской галерее и разражаются громкими криками, а какие-то плюгавые и самодовольные господа, хлебнув больше чем следует, с неимоверными ужимками целуют кончики пальцев.

Мы так затянули описание банкета, что уже не хватает времени, чтобы прибавить хоть одно доброе слово. Нам остается лишь покорнейше просить наших читателей не думать, что если мы пытались найти в благотворительном банкете смешные черты, значит мы не умеем ценить заслуги благотворительных обществ, которыми изобилует Лондон, или те весьма похвальные побуждения, которыми руководствуются их покровители.

ГЛАВА XX

Первое мая

> «Ну-ка, леди, раскошельтесь раз в году для тех, кто лазает по крышам!»
>
> *(Миледи с медным половником.)*
>
> «Чистим, чистим, прочищаем!»
>
> *(Пароль преступного мира.)*

Первое мая! Сколько в этих словах отрадной свежести! Они будят в нас множество мыслей о самой блаженной и прекрасной поре, о восхитительном расцвете природы. Есть ли на свете такой человек, в чью душу не проникло бы волшебное очарование ясного весеннего утра, не заставило бы его перенестись в далекие годы веселого детства, не воскресило бы в нем воспоминаний о зеленой поляне с чуть трепещущими деревьями, где так звонко пели птицы,— никогда уже птицы не пели так звонко с тех пор,— где весело порхали мотыльки,— нигде больше, сколько бы ни скитаться по свету, не увидишь таких мотыльков,— где небо казалось куда голубее, а солнце ярче, где ветерок над зелеными травами был свежее, а запах цветов слаще, где все краски были несравненно богаче и живее, чем теперь! Так глубоки детские чувства и так неизгладимы впечатления от всего

прекрасного, врезавшиеся в детскую душу. Отважный путешественник порою бредет сквозь густую, непроходимую чащу, куда не пробьется луч солнца, где никогда не блеснет клочок ясного неба; или стоит на краю ревущего водопада и, преодолевая головокружение, ошеломленным взглядом следит, как пенистый поток прыгает с камня на камень, со скалы на скалу; или в блаженной лени медлит покинуть плодородные долины какой-нибудь страны, где вечно светит солнце, а в воздухе разливаются упоительные ароматы. Но что эти темные леса, шумные потоки и живописные долины, созданные щедрой природой для услады глаз и пленения чувств человеческих, по сравнению с теми картинами, которые окружали нас в детстве? То были поистине волшебные картины, ибо детское воображение наделило их красками ярче радуги и почти столь же преходящими!

В былые дни весна приносила с собой не только воспоминания о прошлом, но и веселые развлечения — например, пляски вокруг простого, нетесаного столба, воздвигнутого в честь наступления весны и украшенного ее эмблемами. Где все это ныне? И теперь можно встретить столбы, но нетесаных уже не найдешь, а танцоры предпочитают освещенные залы, да и выглядели бы они смешно под открытым небом. К тому же, нет ли тут, чего доброго, безнравственности? Что сказали бы поборники чинного воскресного порядка, если бы аристократы заплясали вокруг колонны герцога Йоркского на Карлтон-Террас или клерки устроили бы кадриль у памятника олдермену Уэйтмену на Флит-стрит, а мелкие домовладельцы — новоиспеченные избиратели с имущественным цензом в десять фунтов — вздумали бы водить хоровод у подножья Обелиска * в Сент-Джордж-Филдс? Увы, романтика не в силах противостоять закону о нарушении общественной тишины, а пастушеская простота недоступна пониманию полиции.

Да, солидность и деловитость давным-давно уже сделались нам присущи, и весенние пляски показались нам ниже нашего достоинства, мы их прекратили, и постепенно они стали достоянием одних лишь трубочистов, а это несомненно означает вырождение обычая, ибо хотя трубочисты — народ по-своему очень славный и даже

чрезвычайно полезный в цивилизованном обществе, все же это не те люди, которые могли бы задавать тон и вносить изящество в подобные увеселения. Однако именно трубочисты завладели обычаем устраивать весенние пляски, сберегли его и передали потомству. Это было жестоким ударом для романтики, которой овеяна встреча весны, но не уничтожило ее совсем, ибо доля этой романтики вместе с традиционными плясками перешла к трубочистам и сделала их предметом особенного интереса. В те дни ремесло трубочиста окутывала некая таинственность. Ходили легенды о богатых джентльменах, которые теряли своих детей и после долгих лет безутешного горя находили их среди трубочистов. Рассказывали истории об одном мальчике, похищенном в детстве и обученном ремеслу трубочиста. Подвизаясь на этом поприще, он однажды случайно попал в спальню своей матери, куда его послали прочищать камин. Мальчик, потный и обессилевший, вылез из трубы и повалился на кровать, в которой так часто спал ребенком. Там его нашла и узнала мать; с тех пор до конца своей жизни она раз в год, ровно в половине второго, устраивала прием для всех лондонских трубочистов, угощала их ростбифом и плумпудингом, а сверх того, оделяла шестипенсовиками.

Подобные истории, а их было немало, окружали трубочистов ореолом тайны, которая сослужила им такую же хорошую службу, как некоторым животным — людская вера в переселение душ. Никто (кроме их хозяев) не смел дурно обращаться с трубочистами: ведь неизвестно, кто он такой,— а вдруг окажется сыном какого-нибудь пэра или знатного лорда? Многие из тех, кто верит в чудеса, стали считать, что чистка дымоходов — своего рода тяжелый искус, после которого рано или поздно трубочисты благородного происхождения вновь обретут свои титулы и звания; поэтому и к ремеслу трубочистов было принято относиться уважительно.

С детских лет мы храним в душе образ маленького трубочиста, примерно одного с нами возраста, курчавого и белозубого; мы искренне и свято верили, что он — похищенный сын какого-нибудь вельможи, и эта вера прочно укрепилась в нашей детской душе после того, как однажды предмет наших фантазий, собираясь лезть

в кухонный дымоход, в ответ на наши расспросы заявил, что он, «надо полагать, родился в работном доме, а кто его отец — неизвестно». С той поры мы больше не сомневались, что в один прекрасный день какой-нибудь лорд признает его своим сыном; и стоило зазвонить колоколам в церкви или кому-нибудь по соседству вывесить флаг, как мы уже думали, что свершилось, наконец, радостное событие: отец маленького трубочиста нашел потерянного сына и приехал в карете шестерней, чтобы увезти его на Гровенор-сквер. Но отец так и не появился, а юный джентльмен, о котором идет речь, теперь уже сам держит подручных трубочистов неподалеку от Бэтл-Бридж, и главные его особенности — это непреодолимое отвращение к мытью и пара хилых ног, непонятно каким образом поддерживающих неуклюжее грузное туловище.

Романтика весеннего празднества исчезла давно, уже не на нашей памяти, и мы были вынуждены утешаться как могли хотя бы той неизвестностью, которая окутывала происхождение постоянных участников праздничной процессии — трубочистов; и в самом деле, это служило нам утешением много лет. Но даже этот жалкий источник утешения в конце концов иссяк — наша вера в таинственность была сильно поколеблена и постепенно угасла совсем. Мы не могли не считаться с тем обстоятельством, что целые семейства трубочистов были законными потомками таких же трубочистов, проживавших в сельских местностях Сомерс-Таун и Кемден-Таун, что старший сын обычно наследовал дело отца, что другие родственники сперва помогали ему, а потом открывали свое собственное дело; что дети их в свою очередь тоже обучались этой профессии и что никаких сомнений в их происхождении не было. Да, мы не могли закрывать глаза на эту грустную правду, но все же не могли заставить себя поверить ей и несколько лет пребывали в состоянии нарочитого неведения. Нас пробудили от этого блаженного сна мрачные намеки, брошенные одним нашим другом; они сводились к тому, что в низших слоях общества дети начинают считать ремесло трубочиста своим призванием; что множество мальчишек обращаются к властям предержащим с просьбой разрешить им добиваться своей жизненной цели с полного согласия и одобрения закона;

короче говоря, что речь идет попросту о юридических сделках. Сколько ни старались мы пропускать такие речи мимо ушей, они медленно, но верно просачивались в наше сознание. Что ни месяц, что ни неделя — нет, даже что ни день, мы узнавали о случаях подобных обращений к начальству. Все покровы были сорваны, все тайны разгаданы, и чистка дымоходов оказалась попросту излюбленным и, очевидно, выгодным ремеслом. Уже не стало надобности похищать мальчиков, ибо мальчики целыми стаями сами напрашиваются, чтобы их взяли в ученики. Ремесло это утратило всю свою романтику, и в наши дни мальчишка-трубочист столь же мало похож на своих собратьев, какими они были тридцать лет назад, как карманный воришка с Флит-стрит на испанского разбойника, или Поль Прай на Калеба Уильямса *.

Словом, постепенно наступил упадок, вывелся обычай похищать юных отпрысков благородных семейств и заставлять их лазить в дымоходы, и это, так сказать, нанесло жестокий удар не только романтике ремесла трубочистов, но и романтике весны. И вдобавок ко всему, несколько лет назад пляски в честь первого мая начали сходить на нет; было замечено, что мальчишки-трубочисты собираются только по двое и по трое, без такого необходимого персонажа, как «Джек-в-Зелени», без «милорда», которому положено возглавлять процессию, и без «миледи», которая собирает «казну». Даже в тех группах, где был «Джек-в-Зелени», он представлял собою довольно жалкое зрелище — прикрыт какой-нибудь маленькой веточкой,— и все, а музыкальное сопровождение ограничивалось обычно лопатами да свирелью Пана, известной больше под названием «губной гармоники».

То были приметы времени, зловещие предвестники грядущих перемен; и что же они предвещали? А вот что: хозяева трубочистов, обуреваемые неугомонным духом нововведений, всей своей властью воспрепятствовали пляскам, заменив их обедом — ежегодным обедом в ресторации «Белый Акведук», где на смену черным лицам с нарумяненными поверх сажи щеками, появились лица умытые, а нанковые панталоны и туфли с бантами уступили место коротким плисовым штанам и сапогам с отворотами.

Джентльмены, имевшие обыкновение ездить на пугливых лошадях, и люди уравновешенные, любящие порядок, превозносят эти перемены до небес, а обращение хозяев с трубочистами считают выше всяких похвал. Но что же происходит на деле? Пусть кто-нибудь попробует отрицать, что однажды, когда убрали скатерть, когда на столе появились чистые кружки и трубки, а гости стали предлагать благонамеренные и патриотические тосты, знаменитый мистер Слеффен с площади Адама и Евы, чей авторитет является бесспорным даже для самых злостных наших противников, высказался следующим образом: раз уж ему дали слово, будь он неладен, если не воспользуется этим и не выложит, что у него на душе,— вот, есть тут некоторые зловредные люди, которые ничего в нашем деле не смыслят, так они стараются настроить трубочистов против их хозяев, и ремесло наше превратить бог знает во что, а детей лишить куска хлеба, иначе зачем бы они тут говорили, будто дымоход можно отлично вычистить и без мальчишек, с помощью всяких машин, а запихивать туда мальчишек — сущее, мол, варварство; а ведь он сам больше тридцати лет работает чистилкой — пусть простит ему председатель столь грубое выражение — он, можно сказать, родился в дымоходе, и уж ему-то доподлинно известно, что никакие машины ни к черту не годятся; а что до жестокого обращения с мальчишками, так все, кто чистит трубы, не хуже его знают, что этих мальчишек хлебом не корми, только дай залезть в трубу.

Мы склонны считать, что именно с этого дня в избранной среде трубочистов окончательно захирел обычай устраивать на первое мая пляски — и с этого времени начинается новая эра для праздников, связанных с наступлением весны.

Мы знаем — люди поверхностные возразят нам, что пляски на первое мая существуют и посейчас, что по улицам каждый год ковыляет, качаясь из стороны в сторону, «Джек-в-Зелени», что перед ним кувыркаются и выделывают разные штуки подростки, одетые клоунами, а следом за ними шествуют лорды и леди.

Допустим. Мы готовы признать, что внешний вид этих процессий значительно улучшился; мы не возра-

жаем против введения соло на барабане; мы не остановимся даже перед тем, чтобы признать достоинства музыкальной фантазии, исполненной на треугольнике; но этим и ограничимся. Мы решительно отрицаем, что в таких процессиях принимают какое-либо участие трубочисты. Мы сурово осуждаем метельщиков улиц, ибо они пускают в глаза публике то, что обязаны сметать с тротуаров. Мы обвиняем мусорщиков, кирпичников и тех джентльменов, что посвятили себя уличной торговле, в том, что раз в году они зарабатывают деньги, выдавая себя за других. Мы с особенной нежностью вспоминаем обычай прошлых дней, и мы закрывали глаза на истину, сколько могли, но она оказалась сильнее нас; и теперь мы заявляем введенной в заблуждение публике, что майские танцоры — *не* трубочисты. Чтобы увериться в этом, достаточно взглянуть на их размеры. Всем известно, что широко распространенная склонность к дымоходам с заслонками значительно повысила спрос на мальчиков хрупкого сложения, в то время как ряженые, которые пляшут на улицах в наши дни, вряд ли пролезут в трубу кухонной плиты, не говоря уж о камине в гостиной. Это, разумеется, убедительное доказательство, хоть и основано на догадках; впрочем, мы располагаем и другим — свидетельством наших собственных пяти чувств. И вот каковы наши показания.

Утром, второго числа веселого месяца мая, в году от рождества Христова одна тысяча восемьсот тридцать шестом, мы вышли прогуляться по городу, слабо надеясь усмотреть хоть какую-нибудь мелочь, которая убедила бы нас, что сейчас в самом деле весна, а не святки. Дойдя до Копенгаген-Хаус и не встретив ничего такого, что могло бы рассеять наше впечатление, будто календари что-то напутали, мы повернули назад и пошли по Мэйден-лейн, намереваясь пройти через обширный квартал, лежащий между этой улицей и Бэтл-Бридж и населенный владельцами тележек и ослов, продавцами вареной конины, черепичниками и просеивателями золы; через этот квартал мы прошли бы, не останавливаясь, если б кучка людей, окружившая невзрачную хижину, не привлекла наше внимание и не заставила нас замедлить шаг.

Говоря «хижина», мы вовсе не имеем в виду строение вроде оранжереи, которое, как поется в старинной песенке, служило обиталищем Любви в ее младые лета; нет, это была деревянная лачуга с окнами, заткнутыми тряпьем и бумагой, с маленьким двориком сбоку, где виднелась тележка для мусора, две корзины, несколько лопат, небольшие горки золы, черепки и битый кирпич. Мы остановились перед этой заманчивой картиной; и чем дольше мы смотрели, тем больше недоумевали, какие же волнующие события заставили людей, стоящих впереди нас, прижимать носы к стеклу окошка в тщетной надежде разглядеть, что происходит внутри. Рассеянно оглядевшись вокруг, мы обратились с вопросом о причинах этого сборища к стоявшему справа мужчине в брезентовом костюме и с трубкой во рту; но так как тот насмешливо осведомился в ответ, не уронила ли нас нянюшка в детстве, то мы предпочли ожидать дальнейших событий молча.

Судите же о нашем благородном негодовании, когда дверь лачуги распахнулась и оттуда вывалилась целая толпа, нарядами и повадками подражавшая трубочистам в день первого мая!

Впереди шел «милорд» в синем фраке с блестящими пуговицами и приметанными ко швам полосками золотой бумаги, в желтых штанах по колено, розовых бумажных чулках, в туфлях и сдвинутой набекрень треуголке, украшенной обрывками разноцветной бумаги; в петлице его красовалась бутоньерка размером с добрый кочан цветной капусты, в правой руке — длинный синий с белым носовой платок, а в левой — тоненькая тросточка. При появлении этой изящной фигуры в толпе (состоящей главным образом из друзей его милости) послышался одобрительный гул, перешедший в бурные аплодисменты, когда следом выскочила его прекрасная партнерша. Ее милость была облачена в розовое прозрачное платье, надетое поверх чехла из простыни, с глубоким вырезом и короткими рукавами. Оборки панталон, весьма заметно вылезавших из-под платья, прикрывали красу ее щиколоток, а так как белые атласные туфли были на несколько номеров больше, чем нужно, они были накрепко привязаны к икрам широкой тесьмой.

Голову ее украшал целый ворох искусственных цветов; в руке она держала большой медный половник, куда должно было сыпаться то, что она образно называла «оловяшками». Далее взорам нашим представился юнец в женском платье и вдовьем чепце; два клоуна, шедшие на руках по грязи к неизмеримому удовольствию всех зрителей; человек с барабаном и еще один, с флажолетом; неопрятного вида женщина в огромной шали, с ящиком для денег под мышкой, и — последний по очереди, но не по значению — «Джек-в-Зелени», представляемый не кем иным, как нашим другом в брезентовом костюме.

Барабанщик забил в барабан, заквакал флажолет, загремели лопаты, «Джек-в-Зелени» побрел вперед, переваливаясь с боку на бок; миледи, выворачивая носок, приподымала то левую ступню, то правую; милорд пробежал несколько шагов и наткнулся на «Джека-в-Зелени», после чего попятился назад, наступая на ноги зрителям, бросился вправо, потом влево, потом протащил миледи вокруг «Джека-в-Зелени» и, наконец, схватив ее под руку, велел мальчишкам кричать погромче, и они заорали во всю глотку, ибо это, как видно, и была праздничная пляска.

Вечером мы случайно опять повстречали ту же группу. Никогда еще нам не доводилось видеть такого пьяного «Джека-в-Зелени», такого сварливого милорда (в самом деле, даже на вечернем заседании в палате лордов мы не встречали подобной сварливости), таких грустных клоунов, такой замызганной миледи и такого жалкого веселья.

Как выродился обычай праздновать первое мая!

ГЛАВА XXI

Лавки подержанных вещей

Чего только не увидишь в лавках подержанных вещей и как много забавного, как много грустного можно было бы узнать из правдивой истории каждой вещи, будь таковая написана! Но прежде всего оговоримся и объясним, о каких именно лавках идет речь. Быть может, прочтя



первые строки этого очерка, читатель мысленно уже перенесся в просторные антикварные магазины, где рядами стоят полированные обеденные столы, палисандровые шифоньерки, умывальники красного дерева, а за ними возвышается кровать под балдахином с четырьмя столбиками, перед которой выстроились солидные стулья для столовой. Быть может, он подумал, что мы говорим о более скромных хранилищах бывших в употреблении предметов обихода, и ему, естественно, представилась улица позади Лонг-Эйкр, где чуть ли не в каждом доме есть лавка, тесно заставленная дешевой, с претензиями на роскошь мебелью; именно там нередко радует глаз своей яркой расцветкой коврик, на котором в красных, голубых и желтых тонах изображена почтовая карета, мчащаяся во весь дух, или некое диковинное животное, первоначально, вероятно, задуманное как собака, с пучком шерстяных нитей у подбородка, отдаленно напоминающим корзину цветов.

Заметим кстати, что такой коврик — великий соблазн для только что вступивших в брак молодых женщин, из тех, кому отведено скромное место в мире; ведь нужно обставить свою квартирку — и вот они с восхищением взирают на эти произведения искусства и не могут решить, какое же из них лучше. Собака, конечно, необыкновенно хороша, но у них уже есть собака на чайном подносе, а на каминной полке — целых две. К тому же почтовая карета выглядит так благородно, и пассажиры на империале (от которых видны одни шляпы) ну прямо как живые!

Товар здесь приноровлен к вкусам, вернее к средствам небогатых покупателей; имеются отличные — на взгляд — складные столы: дерево зеленое, точно деревья в Гайд-парке, и доски их в течение года осыплются так же неминуемо, как осыпается листва. Имеется богатый выбор парусиновых коек и кроватей из крашеной сосны; и широко представлен тот вид мебели, при помощи которого совершается наглый обман общества — диван, заменяющий кровать.

Обычного вида деревянная кровать — это незамысловатый честный предмет обстановки; она может быть слегка замаскирована фальшивым выдвижным ящиком;

иногда даже делается безумная попытка выдать ее за книжный шкаф; но, как ее ни украшай, истинную природу ее ничем не скроешь, словно она сама желает ясно дать понять, что она — кровать и не что иное, и поскольку она не только весьма полезна, но и насущно необходима, то и отвергает с гордостью всякие ухищрения.

Не так ведет себя диван, заменяющий кровать. Стыдясь своей подлинной сущности, он хочет казаться предметом роскоши, изысканной принадлежностью меблировки, но все его потуги обречены на позорный провал. Он не обладает ни благообразием дивана, ни достоинствами кровати; каждый, кто обзавелся таким ублюдком, вступает на путь предумышленного и коварного обмана: попробуйте только намекнуть, что вы смутно догадываетесь о цели, коей служит этот предмет,— с каким видом оскорбленной невинности будут встречены ваши слова!

Но довольно отступлений, и мы должны заранее предупредить, что этот очерк не посвящен ни первому, ни второму разряду лавок подержанных вещей. Нас привлекают другие лавки, неизмеримо более убогие, чем те, которые мы бегло описали. Читатель, вероятно, не раз замечал в каком-нибудь глухом переулке, в бедном квартале, грязную маленькую лавчонку, где выставлен на продажу сваленный в кучу невообразимый старый хлам; просто удивительно, что эти жалкие, никудышные вещи когда-то были куплены; но не менее, если не более удивительно, что их можно кому-то перепродать. На полке возле двери стоят десятка два книг — сплошь разрозненные тома, и столько же винных бокалов — все разного фасона; тут же несколько висячих замков и треснутый глиняный горшок, наполненный ржавыми ключами; две-три безделушки, сломанные, конечно; остатки люстры, без единого подвеска; овальная рама, похожая на прописную букву О, в которую некогда было вставлено зеркало; флейта — целая, если не считать того, что не хватает средней части; щипцы для завивки и круглая жестянка с огнивом. Перед витриной — с полдюжины стульев, страдающих искривлением позвоночника и дрожью в ногах; угловой буфетик; два-три потемневших от времени столика красного дерева, с откидными досками в виде все-

возможных геометрических фигур; несколько банок для солений, несколько аптекарских склянок с золотыми ярлыками, без пробок; вынутый из рамы портрет красавицы, блиставшей в начале тринадцатого века, написанный художником, не блиставшим ни в каком веке; а сверх того — несметное множество всевозможной рухляди, включая фляги и шкатулки, тряпки и кости, каминные щипцы и решетки, дверные молотки, одежду и перины, фонарь для прихожей и одностворчатую дверь. И в довершение картины вообразите болтающуюся над входом черную куклу в белом платье, с двумя лицами, из коих одно смотрит направо, другое — налево, вывеску и на ней надпись «Старые вещи», начертанную белыми долговязыми буквами, чья высота до смешного не соответствует ширине, и вы получите точное представление о той разновидности лавок, на которую мы хотим обратить ваше внимание.

Любопытно отметить, что хотя такую пеструю смесь самых разнородных предметов вы найдете у любого старьевщика, некоторые товары — особенно носильные вещи — безошибочно определяют часть города, в которой расположена лавка. Возьмем для начала Друри-лейн и Ковент-Гарден.

На жизни этих кварталов весьма сильно сказывается близость театров. Здесь нет трактирного слуги, который не мнил бы себя актером. Мальчишки-посыльные и сыновья мелких лавочников бредят подмостками; они ставят любительские спектакли в чьей-нибудь кухне, снятой на один вечер, и часами простаивают перед витриной магазина, созерцая большой портрет, изображающий мистера такого-то из Королевского Кобургского театра в роли «Тонго, изобличенного злодея». В каждой лавке старьевщика на примыкающих к театрам улицах вы непременно увидите обветшалые принадлежности театрального костюма, вроде грязной пары ботфорт с красными отворотами, в коей не так давно щеголял «четвертый разбойник» или «пятый из толпы», заржавелого палаша, рыцарских перчаток, блестящих пряжек, сильно смахивающих на дощечки страхового общества «Солнце»,— только не желтого, а белого цвета. В узких переулках и грязных подворьях, каких множество вокруг

театров Друри-Лейн и Ковент-Гарден, таких лавок несколько, и все они торгуют столь же заманчивым товаром — иногда с добавлением розового дамского платья, усеянного блестками, белых венков, балетных туфель или тиары, похожей на жестяной рефлектор лампы. Все это было в свое время куплено у каких-нибудь нищенствующих статистов или актеров последнего разбора, а ныне предлагается подрастающему поколению на льготных условиях: еженедельно делать небольшие взносы с тем, чтобы в конечном счете они составили сумму, раз в десять превышающую стоимость приобретенной вещи.

Обратимся теперь к другой части города и проделаем тот же опыт. Взгляните на лавки старьевщиков, которые ютятся в кварталах вокруг Рэтклифской дороги — в этом средоточии грязи, пьянства, проституции, воровства, печеного картофеля, устриц и маринованной лососины. Здесь вся одежда — моряцкая. Синие куртки из грубого сукна с перламутровыми пуговицами, клеенчатые шляпы, сорочки в крупную клетку, широченные парусиновые штаны, словно рассчитанные на двух людей, а не на пару ног,— вот неизменный набор товаров, выставленных на продажу. Имеются еще большие кипы бумажных носовых платков, узором и цветом ни на что не похожих — разве только на косынки, прикрывающие плечи трех простоволосых девушек, которые сейчас прошли мимо лавки. Мебель и предметы обстановки такие же, как повсюду, если не считать двух-трех моделей судов и нескольких, изображающих морской бой, выцветших гравюр в еще более выцветших рамах. В окне выложены компасы, серебряные часы на небольшом подносе, в громоздких футлярах, и табакерки, украшенные рисунком корабля, якоря или еще чего-нибудь в том же духе. Матрос обычно, едва сойдя на берег, закладывает или продает все свое достояние, а если нет, то всегда найдется добрый друг, который возьмет эту заботу на себя. В обоих случаях весьма вероятно, что он, сам того не подозревая, купит свою же вещь, заплатив за нее дороже, чем она обошлась ему в первый раз.

Далее: посетите с такой же целью еще одну часть Лондона, столь же отличную от двух предыдущих, как они отличны друг от друга. Переправьтесь на южный бе-

рег Темзы и приглядитесь к старьевщикам у долговой тюрьмы Суда Королевской Скамьи и вокруг нее. Какая огромная разница и как красноречиво товар тамошних лавок повествует об упадке злополучных обитателей этой части столицы! Заключение и душевная апатия сделали свое дело. Мало кто из узников долговой тюрьмы может избежать ее тлетворного влияния; старые друзья отвернулись; минувшие благополучные годы позабыты, а вместе с воспоминаниями ушли и мысли о прошлом и попечения о будущем. Сперва часы и кольца, затем сюртуки, плащи и другая ценная одежда нашли дорогу в ссудную кассу. А когда и закладывать стало нечего, началась продажа всяческих мелочей, за которые у старьевщика можно было выручить один-два шиллинга на покрытие самых насущных нужд. Потом дошла очередь до туалетных и письменных принадлежностей, слишком ветхих для заклада и уже никому не нужных; до ружей, удочек, музыкальных инструментов, вернее — их обломков; со всем этим добром расстались легко, почти не ощущая его отсутствия. Однако голод есть голод, а продажа вещей уже стала делом привычным, и по мере надобности их, недолго думая, спускали старьевщику. Наконец, пришлось продать и платье: сначала платье разорившегося главы семьи, потом — его жены, потом — детей, даже самых маленьких. И вот все это кучей лежит в лавке и ждет своего покупателя — старая рвань, заплата на заплате; но материя и покрой свидетельствуют о лучших днях; и чем старее эти отрепья, тем безысходнее нужда и горе тех, кто некогда носил их.

ГЛАВА XXII

Питейные дома

Удивительное дело: можно подумать, что различные отрасли торговли подвержены той самой болезни, от которой так часто страдают слоны и собаки и время от времени впадают в самое неприкрытое, буйное и безудержное бешенство. Главное различие между живот-

ным миром и коммерцией состоит в том, что в течение этой болезни у животных можно наблюдать известную закономерность, в самом отступлении от нормы — какую-то норму. Мы знаем, когда нам ждать очередной вспышки, и принимаем соответствующие меры. Если слон впадает в бешенство, мы знаем, как нам поступить — пилюли либо пули, каломель в розовом сиропе либо свинец в стволе мушкета. Если нам ненароком покажется, что такая-то собака подозрительно томится от летнего зноя и бежит, высунув язык, по теневой стороне улицы, мы — в качестве охлаждающего средства — тут же набрасываем на нее толстый кожаный намордник, предусмотренный на этот случай попечениями наших законодательных органов, и следующие за тем полтора месяца собака либо просто ходит с чрезвычайно удрученным видом, либо впадает в бешенство, так сказать, официально, на законном основании. Иное дело — торговля. Тут все хаотично, как движение комет — хуже комет, ибо никакими расчетами нельзя определить заранее появление диковинных симптомов, возвещающих начало болезни, которая к тому же крайне заразна и распространяется с удивительной быстротой.

Приведем несколько примеров, чтоб пояснить свою мысль. Лет шесть-семь тому назад этой эпидемией была охвачена торговля полотном и галантереей. Первичные симптомы выразились в неумеренной любви к зеркальному стеклу и страсти к газовому освещению и позолоте. Болезнь постепенно развивалась, приняв в конце концов поистине устрашающий размах. Рушились тихие, запыленные лавчонки, разбросанные там и сям по всему городу; вместо них возводились просторные здания с лепным фронтоном и золотыми буквами на вывеске; полы застилались турецкими коврами; под карнизы подводились тяжелые колонны; двери обращались в окна; в окнах, ранее составленных из дюжины мелких стекол, теперь сияло одно, а где был один приказчик, теперь стояла дюжина их. Неизвестно, до чего бы додумались еще, но тут, к счастью, обнаружилось, что уполномоченные по делам о несостоятельности в таких случаях обладают не меньшей властью, чем уполномоченные по делам об умалишенных, и что строгое уединение плюс деликатней-

шее обследование подчас творят чудеса. Болезнь пошла на убыль; наконец, вовсе исчезла. Наступило года два относительного покоя. Как вдруг она разразилась вновь, на этот раз среди аптекарей! К прежним симптомам присоединились новые — в том числе непреодолимое стремление помещать королевский герб над входной дверью, страсть к красному дереву, политуре и дорогостоящим пробковым коврам. Затем болезнь перекинулась к чулочникам, которые стали с какой-то отчаянной беспечностью ломать витрины своих лавок. И снова безумие, казалось, улеглось, и люди начали уже поздравлять друг друга с полным избавлением от него, как оно вспыхнуло внезапно и с удесятеренной силой среди содержателей портерных и владельцев винных погребов. С этой минуты болезнь начинает распространяться с неслыханной дотоле быстротой, развернув всю цепь перечисленных нами симптомов; зараза проникла во все концы города, разрушила все старые пивные и возвела на каждом перекрестке великолепные дворцы с каменной балюстрадой, отделкой из палисандрового дерева, гигантскими люстрами и светящимися часами.

Интересно, что заведения эти поставлены на самую широкую ногу, и даже в наиболее ничтожных из них соблюдается строжайшее разграничение отдельных отраслей торговли. Великолепная надпись на матовом стекле, вделанном в одну из дверей, гласит: «в контору», другая — «отдел бутылок», третья — «оптовый отдел», четвертая — «винная галерея», и так далее и так далее; после этого невольно ожидаешь встретить специальный «звонок для бренди» или «вход для виски». Много изощряются также в сочинении соблазнительных наименований для различных сортов джина, так что пьющая публика, созерцая эти названия, огромными буквами начертанные над огромными же цифрами, пребывает в приятной нерешительности, не зная, что выбрать — «Сливки Долины» или «Непревзойденный», «Бери, не ошибешься!» или «Мешай, не мешкай!», «Держись, дружище!», или «Бархатный джин», или «Поддай жару!», или десяток других, не менее заманчивых и целительных напитков. Заведения эти вообще-то попадаются едва ли не на каждой улице, но великолепнее всего они и особен-

но много их там, где больше всего грязи и нищеты. Так, вблизи Друри-лейн, в Холборне, Сент-Джайлсе, возле Ковент-Гардена и Клер-Маркет расположены наиболее роскошные питейные дома. Ибо возле этих главных проспектов нашей благословенной столицы больше грязи, убожества и нищеты, чем во всякой другой ее части.

Попытаемся описать в кратких словах какой-нибудь крупный питейный дом и его завсегдатаев — в назидание тем из наших читателей, кто не имел случая лично наблюдать подобные сцены. В надежде набрести на нужный нам питейный дом возьмем курс на Друри-лейн, пробираясь узкими улочками и дворами, что отделяют Друри-лейн от Оксфорд-стрит, мимо того прославленного квартала, примыкающего к пивоварне в самом конце Тоттенхем-Корт-роуд и известного посвященным под названием «Воронье гнездо» *.

Тем, кто не знаком с этой частью Лондона (а таких немало), трудно вообразить себе всю грязь и нищету, которые царят в ней. Убогие домики, где выбитые окна заделаны тряпьем и бумагой и где в каждой комнате ютится по целому семейству, а подчас и по два и по три даже: в подвале — мастера, изготовляющие сласти и засахаренные фрукты, в передних комнатах — цирюльники и торговцы копченой селедкой, в задних — сапожники; торговец певчими птицами на втором этаже, три семейства на третьем и лютый голод на чердаке; в коридоре — ирландцы, в столовой — музыкант, на кухне — поденщица и пятеро ее голодных детей. Грязь всюду: перед самым домом — сточная канава, позади — выгребная яма, в окнах сушится белье, из окон льются помои; девочки четырнадцати — пятнадцати лет бродят босиком и нечесаные в каких-то белых салопах, надетых чуть ли не на голое тело; тут же мальчики всевозможных возрастов в куртках всевозможных размеров или вовсе без оных; мужчины и женщины, одетые кто во что горазд, но все без исключения грязно и убого; все это слоняется, бранится, пьет, курит, ссорится, дерется и сквернословит.

Но вот вы поворачиваете за угол — какой контраст! Блеск и великолепие кругом! Из ярко освещенного кабака, что стоит на развилке двух улиц, доносится гул

множества голосов; пестрый домик с диковинным орнаментом на фасаде, светящийся циферблат часов, зеркальные стекла в окнах и лепные розанчики вокруг них, обилие щедро позолоченных газовых рожков производят впечатление воистину ослепительное после мрака и грязи, только что нас окружавших. Внутри кабака еще наряднее. Поперек комнаты тянется стойка полированного красного дерева с изящной резьбой, а по бокам ее, отгороженные легкими медными перилами, выстроились в ряд огромные зеленые с позолотой бочки, на каждой из которых красуется надпись: «Старый Том, 549», «Молодой Том, 360», «Самсон, 1421», где цифры, надо полагать, означают количество галлонов в бочонке. По ту сторону стойки — просторная, высокая зала, где такие же в высшей степени заманчивые сосуды можно видеть и внизу и на хорах. На самой стойке помимо обычной батареи бутылок стоят две-три корзинки с печеньем и пирожными, предусмотрительно закрытые плетеными крышками — на случай незаконных посягательств. За стойкой две эффектно разодетые девицы с тяжелыми бусами на шее разливают вино и «смеси». Им помогает плотный, с грубыми чертами лица человек в меховой шапке, которую он лихо заламывает набекрень, чтобы все видели, во-первых, какой он дошлый малый и, во-вторых, какие у него великолепные рыжие бакенбарды. Надо полагать, что он и есть хозяин заведения.

Две старухи прачки, сидящие слева от стойки на низенькой скамеечке, немного робеют перед буфетчицами, перед их прическами и неприступными лицами. Свою порцию мятного джина они принимают со всею почтительностью и даже просьбу дать им «заодно уж какое-нибудь там печеньице помягче» решаются изложить лишь после вступительных словечек, вроде: «Будьте такие добренькие, сударыня». С изумлением глядят они на развязного молодого человека в коричневом сюртуке со светлыми пуговицами, который привел с собой двух приятелей и самой непринужденной походкой, словно всю жизнь прожил среди зеленого с позолотой орнамента, направляется к стойке, с удивительным хладнокровием подмигивает одной из барышень и совсем по-хозяйски заказывает «шкалик и три стакана покрепче».

— Джину? Пожалуйста! — говорит буфетчица, после того как налила стакан, и старательно глядит в сторону, чтобы показать, что его подмигивание не возымело на нее ни малейшего действия.

— Спасибо, прелестная Мэри,— отвечает джентльмен в коричневом сюртуке.

— Меня, между прочим, зовут не Мэри,— говорит девушка, чуть-чуть смягчаясь, и протягивает ему сдачу.

— Не может быть! — отвечает неотразимый молодой человек.— Все Мэри, каких я знавал, были прехорошенькие.

Тут буфетчица, которая не помнит уже точно, как это краснеют в таких случаях, круто отвернувшись от любезника, обращается к новой посетительнице — особе в шляпке с поблекшими перьями, которая во избежание недоразумений с места в карьер объявляет, что платит «этот вон джентльмен», кивнув на своего спутника, и заказывает «стакан портвейна и кусок сахара».

Два старичка, что зашли «промочить горло», только что разделались с третьим шкаликом и уже пускают слезу, а так как расположившаяся рядом компания уютных толстушек тоже успела проглотить свою порцию сиропа с ромом, то они все вместе начинают дружно плакаться на жизнь, которая становится труднее с каждым днем; дело доходит до того, наконец, что одна из толстушек соглашается поставить всем по стаканчику, беспечно замечая при этом, что «слезами горю не поможешь, а хороших людей днем с огнем не сыщешь, вот я и говорю — пользуйся, пока не поздно, верно?». Справедливость этого изречения особенно поражает тех, кому не приходится платить.

Становится поздно, и постоянно сменяющаяся толпа мужчин, женщин и детей начинает редеть; остается несколько бездомных бродяг — озябшие, несчастные существа, больные и истощенные до последней степени. Ирландцы-рабочие, расположившиеся в дальнем углу и вот уже битый час занятые тем, что попеременно то жарко пожимают друг другу руки, то чуть ли не убивают друг друга, внезапно доходят до совершенной уже ярости в своих спорах; и когда один из них слишком уж энер-


OLD TOM
549
CREAM OF THE VALLEY
360
OUT
OUT
696

гично старается примирить стороны, остальные валят его на пол и начинают изо всех сил дубасить. Человек в меховой шапке и его подручный выбегают из-за стойки. Хаос полнейший: хлопает дверь, и часть ирландцев оказывается по ту сторону ее, на улице, остальные — внутри; подручный хозяина лежит, избитый, среди бочонков; хозяин лупит всех почем зря, и все лупят хозяина почем зря; буфетчицы визжат; появляется полиция; все смешалось: руки, ноги, полицейские дубинки, обрывки одежды, крики, извивающиеся тела. Кое-кого отводят в участок, остальные плетутся к себе домой — бить жен, чтобы не скулили, и награждать ребятишек пинками, чтоб не смели быть голодными.

Мы позволили себе окинуть эту область лишь беглым взглядом, не только затем, что скованы размерами очерка, но также из боязни произвести слишком уж гнетущее и отталкивающее впечатление. Ибо и господа читатели, как бы доброжелательны они ни были, и любезные дамы, при всем своем милосердии, непременно отвернулись бы от картины, изображающей отупевших от пьянства мужчин и несчастных, опустившихся, раздавленных жизнью женщин, которые вместе и поставляют в основном армию завсегдатаев описанных нами притонов; упиваясь сознанием своей нравственной чистоты, дамы и господа забывают о том, какая бедность обступила этих несчастных, какие искушения подстерегают их на каждом шагу. Пьянство — бич Англии, но еще более страшный бич — бедность с ее неизменным спутником — грязью. И пока мы не предоставим беднякам сносные жилища и не сможем убедить несчастного человека, который живет вечно впроголодь, не покупать временное забвение своих невзгод на жалкие гроши, которых хватило бы хоть на хлеб для его семьи,— до самых тех пор питейные дома будут множиться, становясь год от года все пышнее и великолепнее. Если бы наши общества трезвости предложили какое-нибудь противоядие от голода, зловония и грязи или учредили особые аптеки, в которых бы бесплатно отпускались пузырьки с каплями забвения, тогда, конечно, канули бы в Лету и эти храмы, воздвигнутые вину.

ГЛАВА XXIII

Лавка ростовщика

Ни в одной, пожалуй, из многочисленных обителей горя и невзгод, которыми, к сожалению, так богаты улицы Лондона, не увидите вы более душераздирающих сцен, чем те, что можно наблюдать в лавке ростовщика. Эти заведения, в силу самой своей природы, мало известны кому-либо, кроме тех несчастных, которым — вследствие ли собственного расточительства, или неудачно сложившихся обстоятельств — приходится искать тут временного облегчения своей участи. Предмет этот, на первый взгляд, кое-кому покажется не слишком привлекательным; и, однако же, мы дерзнем его коснуться и надеемся, что самого щепетильного читателя не покоробит от нашего рассказа.

Существуют ссудные кассы чрезвычайно высокого пошиба. Как и во всем на свете, в ломбардах соблюдается известная иерархия, и даже бедность имеет свои оттенки. Не уживаются рядом аристократический испанский плащ и плебейская миткалевая рубаха, серебряная вилка и чугунный утюг, парадный муслиновый галстук и пестрый шейный платок; поэтому ростовщик побогаче именует себя ювелиром и украшает свою лавку драгоценностями и роскошными безделушками, в то время как более смиренный его собрат не маскируется ничуть, а напротив того, старается всячески привлечь внимание публики к своему заведению. Этими-то, что попроще, мы и намерены сейчас заняться. Мы нарочно избрали одну определенную лавку и попытаемся ее описать.

Лавка эта находится невдалеке от Друри-лейн, на углу переулочка, и благодаря такому своему расположению имеет дополнительный вход, сбоку,— для тех из клиентов, кто пожелал бы избежать внимания случайных прохожих или возможности повстречать знакомого на людном проспекте. Это низенькая, грязная, пыльная лавчонка; дверь в нее всегда как-то двусмысленно приоткрыта — одновременно и маня и отталкивая робкого посетителя, который, если он человек еще неискушенный, непременно примется с преувеличенным вниманием раз-

глядывать какую-нибудь старую гранатовую брошь в витрине, словно раздумывая, купить ему ее или не купить? — и затем, боязливо озираясь, чтобы увериться, что никто его не видит, юркнет, наконец, в дверь, которая, пропустив его, прикроется за ним, как и прежде,— не до конца. Фасад лавки и оконные рамы носят неоспоримые следы былой покраски, однако угадать, в какой именно цвет они были выкрашены в ту отдаленную эпоху, или назвать дату этого исторического события сейчас уже нет никакой возможности. Предание гласит, что висящий над главным входом транспарант, на котором по вечерам светятся по синему полю три красных шара, украшен был еще следующей надписью, составленной из грациозно извивающихся букв: «Ссуда выдается под столовое серебро, ювелирные изделия, носильные вещи и всякого рода имущество». Ныне же в пользу достоверности этого факта говорят лишь два-три загадочных иероглифа, уцелевшие на транспаранте. Вместе с надписью, надо полагать, исчезли и серебро и ювелирные изделия, упоминаемые в ней, ибо среди закладов, щедро разбросанных по витрине, не попадается особенно ценных предметов — ни серебряных, ни ювелирных. Несколько старинных фарфоровых чашек; две-три современные вазы с довольно убогим изображением трех испанских кавалеров, играющих на трех испанских гитарах, или деревенской пирушки, где у каждого из пирующих — вероятно, в знак их совершенной непринужденности и веселья,— одна нога задрана вверх самым противоестественным образом; несколько наборов шахматных фигур, две-три флейты, некоторое количество скрипок, портрет, писанный маслом, где из глубины очень черного фона изумленно устремляются на вас очень круглые глаза; молитвенники и библии в пестрых переплетах; серебряные карманные часы, расположенные в два ряда, столь же неуклюжие и почти такие же большие, как первые часы Фергюсона;* множество старомодных ложек, столовых и чайных, выложенных полудюжинами в виде веера; коралловые бусы с огромными золочеными замками; колечки и брошки — каждая драгоценность на отдельной картонке, со своим ярлычком, как насекомые в коллекции Британского музея; дешевые

серебряные ручки для перьев да табакерки с масонской звездой на крышке завершают ювелирный отдел. Более же практичный, хоть, может быть, и несколько менее изящный отдел товаров, предназначенных на продажу, составляют пять-шесть кроватей с грязноватыми матрацами, одеяла, простыни, носовые платки, шелковые и простые, и носильные вещи самого разнообразного характера. Обширное собрание рубанков, стамесок, ножовок и прочего столярного инструмента, так и не востребованного владельцами, заполняет собой первый план всей картины. Непосредственными же аксессуарами к ней служат: широкие полки на антресолях, набитые узлами — каждый с соответственным ярлычком, которые смутно вырисовываются сквозь грязные стекла окна; невзрачные улицы, окружающие лавку; соседние дома, полусгнившие, съежившиеся, покосившиеся, из окон которых выглядывают немытые, испитые физиономии — где одна, где две сразу,— а снаружи, на шатком карнизе, красуются горшки с чахлыми цветами да старые медные кастрюли, представляя нешуточную угрозу для прохожих; шумные гуляки в подворотне за углом или перед распивочной да терпеливые их жены, обвешанные корзинами с дешевыми овощами, которыми они тут же, на панели, и торгуют.

Если фасад лавки ростовщика привлекает внимание или возбуждает любопытство вдумчивого прохожего, то внутренний вид ее действует еще сильней. Уже упомянутая нами парадная дверь открывается в общую залу; сюда приходит бывалый клиент, которого не смущают взоры его товарищей по нищете. Боковая дверь ведет в небольшой коридорчик, вдоль которого расположено с полдюжины дверей (причем все они запираются изнутри на задвижку); каждая из этих дверей открывается в соответственную кабинку, вернее даже чуланчик, противоположным своим концом выходящий к прилавку. Здесь, в этих кабинках, более робкая или, может быть, более почтенная часть публики прячется от остальной, терпеливо ожидая, когда стоящему за прилавком джентльмену с курчавыми черными волосами, бриллиантовым перстнем и двойной серебряной цепочкой от часов заблагорассудится подарить их своим вниманием — а это зави-



сит в большой степени от умонастроения, в котором пребывает в данную минуту вышеупомянутый джентльмен.

Сейчас, например, этот щеголеватый господин занят тем, что вносит в толстую книгу номер только что выписанной квитанции; время от времени он прерывает это занятие, чтобы перебросится словечком со своим коллегой, занимающимся тем же самым делом в некотором отдалении от него; судя по загадочным репликам, которые бросает его собеседник, о какой-то «последней бутылке содовой» и о том, «каким дураком он себя почувствовал, когда эта девица стала жаловаться на них полисмену», надо полагать, что речь идет о последствиях каких-то запретных радостей, кои они где-то вместе вкушали накануне. Однако бо̀льшая часть клиентов, по-видимому, не находит никакого удовольствия в воспоминаниях, которыми делятся друзья; во всяком случае старуха с желтым лицом, которая вот уже полчаса как стоит у прилавка, упершись в него локтями и положив на него небольшой узелок, вдруг прерывает их разговор и обращается к приказчику с цепочкой и перстнем:

— Послушайте, мистер Генри, голубчик, нельзя ли как-нибудь поскорей? А то ведь у меня дома двое внучат сидят, запертые. Как бы пожар не случился...

Приказчик на минутку приподнимает голову, рассеянно взглядывает на старуху и снова принимается писать в своей книге, тщательно и сосредоточенно, словно гравирует на меди. Минут пять длится молчание.

— Ах, вы спешите сегодня, миссис Теттам? — удостаивает он ее, наконец, ответом.

— То-то, что спешу, мистер Генри. Так и быть уж, займитесь мной, голубчик. Ведь я бы не стала вас тревожить, да вот детки, что с ними поделаешь?

— Ну-ка, чем вы нас порадуете на этот раз? — И приказчик извлекает булавку, которой заколот узелок старухи.— Небось все то же самое: корсет да юбка. Пора бы уж свеженького чего-нибудь принести, бабушка! Нет, положительно, я вам ничего уже не могу дать за эти вещи. Ведь на них живого места не осталось! Шутка ли сказать — три раза в неделю вы их несете нам и три

раза в неделю забираете обратно — как же им не износиться?

— Ох, и шутник,— отвечает старуха, смеясь вовсю, как того требует приличие.— Хотела бы я, чтобы у меня язык был так же хорошо подвешен, как у вас. Уж, верно бы, я тогда пореже наведывалась к вам! А вот и нет! Вовсе не юбка, а самое настоящее платьице, детское... Да еще платочек вот, шелковый, отличнейшего качества. Мужний. Четыре шиллинга дал за него — в тот самый распроклятый день, как он руку сломал!

— Сколько же вы хотите за все? — спрашивает мистер Генри, скользнув взглядом по товару, который, надо полагать, не представляет для него прелести новизны.— Сколько вы просите?

— Восемнадцать пенсов.

— Даю девять.

— Да уж пусть будет шиллинг круглым счетом, голубчик, а?

— Ни полпенса больше.

— Что ж делать? Видно, придется брать.

И вот выписывается билетик в двух экземплярах, один из них прикалывается к узелку, другой вручается старухе. Затем узелок небрежно зашвыривается в угол; и другой клиент уже требует, чтобы сию же минуту занялись с ним.

На этот раз выбор падает на небритого, грязного малого; он как будто с похмелья, и замасленный бумажный колпак, небрежно надвинутый на один глаз, придает отталкивающее выражение и без того не слишком привлекательной его физиономии. Не далее как четверть часа назад, очевидно для того, чтобы размять кости, ибо, будучи трактирным завсегдатаем, он ведет преимущественно сидячий образ жизни, он развлекался тем, что гонял свою жену по всему двору, поддавая ее ногой. Сюда он пришел выкупить кое-что из инструмента — верно для того, чтобы выполнить заказ, под который он уже успел получить кой-какие денежки,— об этом говорит его разгоряченное лицо и нетвердая походка. Он уже заждался и решил сорвать свое дурное настроение на ободранном мальчугане, который для того, чтобы привести свою голову вровень с прилавком, вынужден карабкаться по

нему, подтягиваться на локтях и так висеть — поза не слишком удобная, недаром он уже который раз падает прямо на чьи-то ноги. На этот раз бедняге достается такая солидная затрещина, что он отлетает к самой двери; но тут же общественное мнение обрушивается на обидчика.

— Ты чего мальчишку бьешь, зверь ты этакий? — кричит женщина в стоптанных башмаках, с двумя утюгами в корзиночке.— Это тебе не жена!

— Удавись! — отвечает вышеупомянутый джентльмен, глядя на нее с тупой злобой пьяного человека и замахиваясь. К счастью, кулак его даже не задевает женщину.— Поди удавись и жди, пока я приду и срежу веревку.

— Тебе бы только резать,— подхватывает женщина.— Я бы тебя всего изрезала, бездельник (возвышая голос). Да, да, бездельник ты несчастный! (Громче.) Где твоя жена, мерзавец? (Еще громче: этого сорта женщины отличаются чрезвычайной отзывчивостью и способностью довести себя в одну минуту до точки кипения.) Где она, эта бедняжка, с которой ты обращаешься хуже, чем с собакой? Бить женщину — тоже мне мужчина! (Уже на визге.) Попался бы ты мне в руки — да я бы тебя убила, пусть бы даже меня за это повесили!

— Ну-ну-ну, повежливей! — рычит в ответ мужчина.

— Это с тобой-то, с окаянным, да повежливей? — презрительно восклицает женщина.— Ну, не безобразие ли? — продолжает она, обращаясь к старушке, которая выглядывает из одного из описанных нами чуланчиков и, видно, не прочь сама вступить в перебранку, тем более что она чувствует себя в надежном укрытии.

— Ну, не безобразие ли, сударыня? («Ужасно, ужасно»,— отзывается старушка, не понимая, впрочем, толком, о чем идет речь.) Его жена, сударыня, катает белье, и такая-то она работящая, такая работящая, сударыня, вы себе представить не можете (очень быстро), и ее окна выходят во двор, а наши, значит, с мужем на улицу (совсем уже скороговоркой)... А он — нам-то все слышно — как придет домой пьяный, так давай ее бить, и так всю ночь напролет и дубасит ее — ладно бы если б одну ее — а то ведь собственное дитя лупит,— чтобы

матери-то еще горше, значит, было,— тьфу, противный! а она, бедняжка, ни тебе в суд, ни куда, ничего не хочет — любит, вишь, дурака... Ну что ты будешь делать?

Наконец, рассказчице приходится остановиться, чтобы перевести дух, и тогда сам хозяин заведения, который только что вышел к прилавку в сером халате, воспользовавшись паузой, решил сказать свое веское слово:

— В моей лавке чтобы этого не было, слышите? Миссис Маккин, не суйте свой нос в чужие дела, а то вам не получить тут четырех пенсов под ваш утюг. А вы, Джинкинс, оставьте-ка здесь квитанцию, а сами идите проспитесь, да пусть жена придет за этими вашими двумя рубанками. И запомните: вас я ни за какие деньги не желаю видеть у себя в лавке. Так что убирайтесь отсюда подобру-поздорову.

Красноречие ростовщика, однако, производит вовсе не тот эффект, на который оно рассчитано: женщины начинают дружно браниться, мужчина размахивать кулаками, еще минута — и он завоюет себе неоспоримое право на бесплатный ночлег, но тут малодушная ярость его получает более безопасное направление, ибо в лавку входит его жена — несчастная, изможденная женщина, находящаяся по всей видимости в последней стадии чахотки; лицо ее носит следы недавних побоев, на руках у нее худенький, золотушный ребенок — не бог весть какая тяжесть,— но и эта ноша как будто ей не под силу.

— Ну, идем же домой, мой милый,— умоляет несчастная.— Ну, голубчик, ну, милый, ну, идем, тебе надо поспать.

— Сама иди домой,— отвечает разъяренный грубиян.

— Ну, идем же домой, по-хорошему,— говорит жена еще раз и разражается слезами.

— Сама иди домой,— снова отвечает муж, подкрепляя свои слова жестом, от которого несчастная пулей вылетает из лавки. Ее «законный друг и защитник» следует за ней по двору, то подгоняя ее пинками, то нахлобучивая хлипкий голубенький капор на еще более хлипкое, прозрачное личико несчастного младенца.

Дальний чуланчик, который помещается в самом темном и укромном уголку, куда почти не достигает свет от двух газовых рожков, освещающих лавку, занимают молоденькая, хрупкого телосложения девушка лет двадцати и пожилая женщина,— судя по сходству, ее мать; обе они жмутся к стенке, словно желая скрыться даже от взоров приказчика. Впрочем, с ростовщиками они уже знакомы. Об этом можно судить по тому, как без запинки отвечают они на обычные вопросы, которые — с большей почтительностью и несколько более тихим голосом, чем обычно,— задает им приказчик: «Какую фамилию прикажете указать?», «Товар, разумеется, является вашей собственностью?», «Где проживать изволите?», «В своем доме или квартирку снимаете?» и так далее. К тому же, они торгуются с приказчиком, запрашивая под свой залог сумму большую, чем та, которую для начала он предложил, на что едва ли решились бы, если бы были совсем новички. При этом старшая из них нашептывает дочери, чтобы та пустила в ход все свое красноречие, и уговорила бы приказчика выдать аванс тут же, и как следует расхваливала бы заклады. Принесли же они маленькую золотую цепочку и кольцо «незабудку» — оба предмета, судя по их размерам, принадлежат девушке; когда-то, в более счастливую пору своей жизни, она, верно, получила их в подарок, они ей были дороги, как память о том, от кого достались, а теперь она отдает их без колебаний, ибо нужда ожесточила сердце матери, а глядя на нее, ожесточилась и дочь; мысль же о том, что сейчас в их руках будут деньги, и воспоминание о только что перенесенных муках, связанных с отсутствием их,— о холодности старых друзей, о суровом отказе в помощи со стороны одних и еще более обидном сострадании других — все это как бы вытравило чувство стыда, которое некогда истерзало бы их при одной мысли о возможности попасть в такое положение.

Соседняя каморка занята молодой особой в платьице очень изношенном, но чрезвычайно пестром и хоть не дающем никакой защиты от стужи, зато в высшей степени нарядном и слишком ясно указывающем на общественное положение его обладательницы. Некогда добротный атлас ее платья, вылинявшая отделка, жиденькие,

стоптанные туфельки; шелковые розовые чулочки; летняя шляпка — зимой; осунувшееся лицо, где румяна, только подчеркивая болезненную бледность щек, говорят о невозвратно ушедшем здоровье и навсегда утраченном счастье, а заученная улыбка кажется отвратительной насмешкой над душевною болью — все это признаки несомненные. Но вот ее взор падает на девушку за перегородкой, и — самый ли облик ее соседки, или вид побрякушек, которые та принесла закладывать,— но только со дна души несчастной женщины поднялось какое-то доселе дремавшее воспоминание, под влиянием которого она мгновенно преобразилась. Сгоряча она даже подалась было вперед, очевидно желая разглядеть получше своих соседок, которые наполовину были скрыты от ее взоров, но тут же, заметив, что обе они невольно отпрянули от нее, она забилась в самый угол своего чуланчика, закрыла лицо руками и горько разрыдалась.

В человеческом сердце есть удивительные струны: долгие годы неправедной, развратной жизни молчат они, и вдруг запоют — в ответ на незначительное, казалось бы, событие, ничтожное само по себе, но связанное таинственными, неясными нитями с былыми, неповторимыми днями, с теми горькими воспоминаниями, от которых нет спасенья ни одному человеку на свете, как бы низко он ни пал.

Нашлась и еще одна пара любопытных глаз — они принадлежали женщине из общей залы — грязной, простоволосой, наглой и неопрятной. Этой уже падать ниже было некуда. Еле различимая с ее места группа, которая сначала возбудила у нее одно лишь любопытство, мало-помалу приковала к себе все ее внимание. Пьяноватая ухмылка уступила место выражению, похожему на участие, и чувство, сродни тому, какое мы только что описали, на миг — только на миг! — проникло даже и в эту грудь.

Кто скажет, что ждет этих женщин впереди? Той, что в общей зале, например, осталось всего две ступени — больница да могила. А сколько женщин, попавших в положение, в котором сейчас очутились эти две, в чуланчиках, и в котором, быть может, была некогда и она, ступили на тот же страшный путь и пришли к тому же

страшному концу! Одна уже несется за нею вслед с головокружительной быстротой. Еще немного, и ее примеру последует другая. А сколько их уже было, таких!

ГЛАВА XXIV

Уголовные суды

Нам никогда не забыть того смешанного чувства почтения и ужаса, с каким в детстве мы, бывало, поглядывали на Ньюгетскую тюрьму. Какой трепет вселяли в нас ее толстые каменные стены, ее низкие, массивные ворота, словно сделанные нарочно для того, чтобы впускать людей и уже никогда не выпускать их обратно! А кандалы над дверью должников! Ведь мы воображали тогда, что они настоящие и подвешены здесь для удобства, чтобы в любую минуту их можно было снять и заковать в них руки и ноги какого-нибудь отъявленного злодея. Мы не уставали дивиться тому, как это кучера наемных карет на соседней стоянке могут шутить, глядя на такие страсти, и пить большими кружками эль с портером, когда рядом с ними чуть не каждый день иссякает чаша жизни.

Нередко забредали мы сюда во время судебных сессий, чтобы, заглянув во двор, хоть издали увидеть место, где преступников наказывают плетьми, и мрачный сарай, в котором хранится виселица со всеми ее жуткими принадлежностями и на двери которого нам так и виднелась медная дощечка с надписью «М-р Кеч»: * мы были твердо убеждены, что сие высокопоставленное лицо может проживать только здесь, и нигде больше. Дни этих детских фантазий давно миновали, рассеялись и другие грезы, более светлые. Но давнишнее чувство еще таится в душе: мы по сей день содрогаемся всякий раз, когда проходим мимо этого здания.

В Лондоне, думается нам, нет того пешехода, которому не довелось бы хоть раз бросить взгляд в страшную дверь, через которую арестованных впускают в эту

мрачную обитель, и с чувством неизъяснимого любопытства осмотреть те немногие предметы, какие он успеет там заметить. Толстая эта дверь, обитая железом и усаженная по верху остриями, не доходит до притолоки и порой за нею можно увидеть лицо малоприятного субъекта в широкополой шляпе, синем шейном платке и сапогах с отворотами; на плечах у него нечто среднее между шинелью и курткой, а в левой руке большущий ключ. Может, на ваше счастье, вы окажетесь там как раз в то время, когда дверь отворяют. Тогда вы на минуту увидите в дальней стене караульной вторую, точно такую же дверь, а у камина, слабо освещающего это помещение с выбеленными стенами,— еще двух-трех сторожей, ничем не отличающихся от первого. Мы очень уважаем миссис Фрай, но, право же, зря она не писала романы ужасов — оснований к тому у нее во всяком случае было больше, чем у миссис Рэдклиф *.

Недавно мы опять прогуливались по Олд-Бейли и, только что миновав эту самую дверь, услышали, как сторож ее отпирает. Мы, разумеется, тут же обернулись и увидели, что по ступенькам спускаются двое. И, конечно же, мы остановились и стали за ними наблюдать.

То была немолодая женщина, прилично одетая, но по всей видимости бедная, а с нею — мальчик лет четырнадцати. Женщина горько плакала; в руке она несла узелок, мальчик шел немного позади нее. Легко было угадать их нехитрую повесть. Мальчик был ее сыном, которого она с малых лет баловала, отказывая себе во всем, ради которого безропотно терпела невзгоды и бедность, уповая на то, что придет время и он оценит ее заботы и сам начнет заботиться о них обоих. А он завел дурные знакомства; рос лодырем, стал преступником и за какую-то мелкую кражу угодил под суд. Он долго пробыл в тюрьме, заработал там еще и добавочное наказание, и вот сегодня его, наконец, освободили. То был его первый серьезный проступок, и несчастная мать, все еще надеясь спасти его, с рассвета дожидалась у дверей тюрьмы, чтобы умолить его вернуться домой.

Мы навсегда запомнили этого мальчика; он спускался по ступенькам, хмуро сдвинув брови, потряхивая головой с видом вызывающим и упрямым. Они отошли на

несколько шагов и остановились. Женщина с трепетной мольбой положила руку ему на плечо, а он досадливо вздернул голову, словно отмахиваясь от докучной просьбы. Утро выдалось безоблачное, в ярких лучах солнца вся улица казалась помолодевшей и радостной; мальчик огляделся, потрясенный этим обилием света,— он так давно ничего не видел, кроме угрюмых тюремных стен! То ли горе матери тронуло его сердце, то ли нахлынули на него смутные воспоминания о счастливых днях детства, когда она была его единственным другом и лучшим товарищем,— только он расплакался и, прикрыв одной рукой лицо, а другой ухватившись за руку матери, быстро пошел с нею прочь.

Движимые любопытством, мы не раз посещали заседания обоих судов на Олд-Бейли. Ничто так не поражает человека, пришедшего сюда в первый раз, как холодное равнодушие, с каким эти заседания ведутся. Здесь занимаются делом, и больше ничего. Здесь много порядка, но нет сострадания; здесь проявляют интерес, но не сочувствие. Возьмем, к примеру, Старый суд. Вот сидят судьи; внушительный их вид всем известен, а значит, и сказать о них больше нечего. Далее, в центре, восседает лорд-мэр при всех регалиях, такой невозмутимый, каким может быть только лорд-мэр, а перед ним стоит огромный букет цветов. Далее — шерифы, почти такие же важные, как лорд-мэр; и адвокаты, в собственных глазах вполне достаточно важные; и публика, которая заплатила за вход, а потому считает, что все здесь происходящее имеет единственной целью ее развлечение. Вы только посмотрите, что делается в зале: одни внимательно читают утреннюю газету, другие о чем-то шепотом переговариваются, третьи мирно подремывают,— просто не верится, что для одного несчастного создания, здесь присутствующего, исход судебного разбирательства означает жизнь или смерть. Но переведите взгляд на подсудимого, понаблюдайте за ним некоторое время, и эта истина откроется вам во всей своей неприкрытой наготе. Заметьте, как беспокойно он вот уже десять минут складывает в причудливые узоры сухую траву, разбросанную на барьере, который отделяет его от залы; как страшно он бледнеет при появлении одного из свиде-

телей, как переступает с ноги на ногу и вытирает липкий от пота лоб и влажные руки, когда заканчивает свою речь прокурор,— точно ему стало легче от того, что теперь присяжным известно все самое худшее.

Но вот и защита сказала свое слово; судья подводит итоги; и подсудимый впивается глазами в лица присяжных, как умирающий, до последней минуты цепляясь за жизнь, тщетно ищет прочесть на лице врача хотя бы проблеск надежды. Присяжные отходят в сторону, чтобы посовещаться; подсудимый покусывает стебелек розмарина, изо всех сил стараясь казаться спокойным, но вы почти слышите, как бьется его сердце. Присяжные возвращаются на свои места, и в мертвой тишине старшина оглашает решение: «Виновен!» Пронзительный женский крик раздается на галерее; подсудимый едва успевает бросить взгляд в ту сторону,— его поспешно уводят. Секретарь приказывает «вывести эту женщину», и суд как ни в чем не бывало переходит к разбору следующего дела.

Картину, прямо противоположную этой, можно постоянно наблюдать в Новом суде, где торжественность заседаний частенько и весьма существенно нарушается из-за хитрости и упорства малолетних преступников. К примеру, судят тринадцатилетнего мальчишку, очистившего карман какого-нибудь подданного ее величества; улики налицо, виновность его доказана. Ему предлагают сказать что-нибудь в свое оправдание, и он с готовностью произносит краткую речь на тему о присяжных и об Англии в целом — утверждает, что свидетели все до одного клятвопреступники, дает понять, что полиция, сколько ее ни есть, в заговоре «против него, несчастного». При всем правдоподобии этого заявления, судью оно не убеждает, и разыгрывается сценка вроде нижеследующей:

Судья. Есть у тебя свидетели, мальчик, которые могли бы что-нибудь сказать в твою пользу?

Мальчишка. Да, милорд. Пятнадцать джентльменов ждут за дверью, и весь вчерашний день дожидались, мне об этом сообщили еще вечером, как стало известно, что моему делу слушаться.

Судья. Вызовите этих свидетелей.

Толстый судебный пристав выбегает из залы и во всю глотку зовет свидетелей; слышно, как его голос постепенно замирает — это он спускается во двор. Через пять минут он возвращается, запыхавшийся и охрипший, и докладывает судье, который и без него прекрасно это знал, что никаких таких свидетелей там нет. При этих его словах мальчишка разражается громким ревом, трет кулаками глаза и всячески изображает оскорбленную невинность. Присяжные, не колеблясь, признают его виновным, и тут он пуще прежнего старается выжать из глаз хоть несколько слезинок. В ответ на вопрос судьи смотритель тюрьмы говорит, что подсудимый уже дважды побывал на его попечении. Мальчишка решительно это отрицает: «Ей-богу, джентльмены, никогда еще со мной такого не было, честное слово, милорд, не было. Это он ошибся, потому как у меня есть брат — тот верно попал один раз в тюрьму ни за что, а мы с ним близнецы, ну до того похожи, что нас все путают».

Однако ни эта теория, ни прочие заверения не производят желаемого действия, и мальчишку приговаривают к каторжным работам на семь лет или около того. Убедившись, что на сострадание рассчитывать нечего, он облегчает душу живописным ругательством, содержащим указание на будущий адрес «старого хрыча в парике»; удалиться из залы на собственных ногах он наотрез отказывается, и его тут же выносят, предоставив ему утешаться тем, что он доставил всем и каждому кучу хлопот.

ГЛАВА XXV

Посещение Ньюгетской тюрьмы

«Сила привычки» — избитое выражение, все мы его употребляем; и очень любопытно, что люди, особенно часто применяющие его к другим, сами являют разительный пример того, какую власть имеет привычка над человеческим сознанием и как мало мы задумываемся над предметами, которые в силу каждодневного лицезрения стали нам слишком знакомы. Если бы можно было по

волшебству поднять в воздух Бедлам * и перенести его, как дворец Аладдина, на то место, где сейчас находится Ньюгетская тюрьма, то из каждых ста человек, чей путь на работу лежит по Олд-Бейли или Ньюгет-стрит, едва ли один не бросил бы взгляда на его маленькие зарешеченные окна и не подумал о несчастных существах, запертых в его унылых камерах; а между тем эти же самые люди изо дня в день, из часа в час, непрерывной, шумливой рекою жизни текут мимо этого мрачного вместилища порока и страданий Лондона, не уделяя ни единой мысли сонмищу заключенных здесь несчастных созданий,— мало того, даже не зная и уж во всяком случае не смущаясь тем обстоятельством, что, когда они, смеясь или посвистывая, доходят до одного из углов тюремной стены, всего какой-нибудь ярд отделяет их от такого же, как они сами, человеческого существа, связанного и беспомощного, чьи часы сочтены, от кого навсегда отлетела последняя искра надежды, чью жалкую жизнь скоро оборвет позорная, насильственная смерть. Смерть, даже в наименее страшном своем обличье,— угрюмая и грозная гостья. Насколько же ужаснее думать о ней здесь, в двух шагах от тех, что должны умереть в лучшую пору жизни, на заре молодости или в полном расцвете сил, все понимая и чувствуя не хуже вашего, должны умереть так же верно, отмечены рукой смерти так же безошибочно, как если бы тело их истаяло от роковой болезни и уже началось разложение!

Такого рода мысли владели нами, когда мы, несколько недель тому назад, решили проникнуть внутрь Ньюгетской тюрьмы — в качестве наблюдателя, конечно; и вот теперь, выполнив свое намерение, мы предлагаем наши наблюдения читателю в надежде, что очерк этот — более по своей теме, нежели благодаря нашему таланту к описаниям — покажется ему не вовсе лишенным интереса. Мы должны только предупредить читателя, что не намерены утомлять его статистическими выкладками — их он найдет в многочисленных отчетах многочисленных комиссий, а также в целом ряде других, не менее авторитетных трудов. Мы не делали заметок, ничего не записывали, не измеряли дворов, не выясняли, сколько дюймов в длину и высоту имеет то или иное помещение; мы

даже не можем сообщить, сколько там имеется отдельных помещений.

Мы видели тюрьму, видели арестантов, и о том, что мы видели и что при этом думали, мы сейчас постараемся рассказать. Мы постучали у дома смотрителя тюрьмы, вручили наш пропуск слуге, отворившему дверь, и нас провели в контору. Это — небольшая комната направо от двери, с двумя окнами, выходящими на Олд-Бейли, обставленная, как самая обыкновенная контора юриста или дельца: деревянная перегородка, полки, конторка, два-три табурета, два-три писаря, календарь, стенные часы и несколько таблиц. Здесь мы подождали, пока ходили за надзирателем, который должен был сопровождать нас, и скоро он явился — почтенного вида человек лет пятидесяти трех, в широкополой шляпе и черном костюме — если бы не связка ключей, его можно было бы с тем же успехом принять за священника. Какое разочарование — даже высоких сапог на нем не было! Вслед за своим провожатым мы прошли в дверь напротив той, через которую вошли в контору, и оказались в маленькой комнате, совершенно пустой, если не считать столика с лежащей на нем книгой для посетителей и полки, где хранились коробки с бумагами да слепки с голов двух известных убийц — Бишопа и Уильямса *, из которых первого в особенности можно было бы с полным нравственным правом казнить за одну только форму черепа и строение лица, даже если бы не было против него других улик.

Из этой комнаты — опять-таки через противоположную дверь — мы прошли в караульную, которая выходит на Олд-Бейли и одна стена которой щедро украшена целой коллекцией тяжелых кандалов, включая те, что носил неустрашимый Джек Шеппард (подлинные), и те, что, по преданию, почтил своими крепкими членами не менее прославленный Дик Терпин * (возможно — подделка). Из караульной, через тяжелую дубовую дверь, обитую железом, усаженную по верху железными же остриями и охраняемую другим надзирателем, мы попали — спустившись, сколько помнится, на две-три ступеньки — в узкий, мрачный каменный коридор, который тянется параллельно Олд-Бейли и ведет к различным дворам,

мимо множества боковых ответвлений, тоже охраняемых толстыми дверями и решетками; при виде их должны сразу рассеиваться все надежды на побег, какие еще мог лелеять несчастный, попавший сюда впервые, и при одном воспоминании о них у человека, снова очутившегося возле тюрьмы, все начинает путаться в голове.

Здесь необходимо пояснить, что здание тюрьмы, или, другими словами, различные ее отделения, образуют четырехугольник, стороны которого выходят на Олд-Бейли, на бывший Медицинский колледж (ныне составляющий часть Ньюгетского рынка), на Дом судебных сессий и на Ньюгет-стрит. Пространство между различными тюремными помещениями разделено на несколько мощеных дворов, где арестанты дышат воздухом и прогуливаются, насколько то и другое возможно в таком месте. Отделения эти, за исключением того, где содержатся осужденные на смертную казнь (его мы в своем месте опишем более подробно), тянутся параллельно Ньюгет-стрит, следовательно — от Олд-Бейли до Ньюгетского рынка. Женское отделение занимает правое крыло тюрьмы, ближайшее к Дому судебных сессий. Поскольку нас сначала привели именно сюда, мы, придерживаясь того же порядка, приведем сюда и читателей.

Итак, повернув направо по уже упомянутому коридору и ни слова не сказав о промежуточных дверях — если б мы вздумали отмечать каждую дверь, которую отпирали, чтобы дать нам пройти, и тут же опять за нами запирали, нам потребовалось бы по двери на каждую запятую,— мы дошли до ворот, сколоченных из толстых досок, и увидели за ними десятка два женщин, ходивших взад-вперед по узкому двору; впрочем, почти все они, заметив посторонних, тотчас скрылись в своих камерах. От этого двора с одной стороны отгорожено железными прутьями нечто вроде клетки высотой примерно в пять футов и десять дюймов; и отсюда-то разговаривают с арестантками те, кто приходит их навестить. В одном углу этой необыкновенной клетки желтая, изможденная старуха в рваном, некогда черном платье и в ветхой соломенной шляпке с выгоревшей лентой того же цвета, что-то взволнованно говорила девушке лет двадцати двух — разумеется, заключенной. Невозможно

вообразить существо более нищее, более придавленное нуждой и горем, чем эта старуха. Девушка была красивая, статная, густые ее золосы развевались по ветру — она стояла с непокрытой головой,— на пышные плечи накинут был шелковый мужской платок. Старуха говорила тихим, напряженным голосом, свидетельствующим о глубокой душевной муке; временами у нее вырывался горестный стон, от которого переворачивалось сердце. Девушка была совершенно спокойна. Безнадежно очерствевшая, она угрюмо выслушивала мольбы матери; только раз она справилась про «Джема» да жадно схватила несколько медяков, которые принесла ей несчастная старуха; в остальном же, как видно, беседа интересовала ее не больше, чем самого равнодушного стороннего наблюдателя. Видит бог, таких было достаточно — другие женщины в этом же дворе оставались безучастны к тому, что происходило рядом с ними, точно были слепы и глухи. Да и не удивительно: они насмотрелись на подобные сцены и в тюрьме и за ее стенами и обращали на них внимание разве только для того, чтобы высмеять и втоптать в грязь чувства, которые сами они давно позабыли.

Немного подальше неопрятного вида женщина в неряшливом чепце и красной шали на плечах, обтрепанные края которой доставали почти до низа грязного белого передника, давала какие-то наставления своей посетительнице, видимо — дочери. Девушка была худо одета и дрожала от холода. Она поздоровалась с матерью, когда та подошла к решетке, но ни той, ни другой не было сказано ни слова соболезнования или надежды, утешения или жалости. Мать все нашептывала свои наставления, а дочь слушала, и ее озябшее востроносое личико выражало расчетливую хитрость. Быть может, речь шла о том, как помочь матери защищаться на суде; на лице девушки мелькнула хмурая улыбка, точно она радовалась, но не возможному освобождению матери, а тому, что та «вывернется» назло своим недругам. Разговор их скоро закончился; и так же равнодушно и холодно, как они свиделись, старшая повернулась и пошла в дальний конец двора, а младшая — к воротам, через которые она вошла сюда.

Дочь принадлежала к разряду женщин — слишком, увы, многочисленному,— самое существование которого должно бы жечь огнем наше сердце. Она едва вышла из детского возраста, но с одного взгляда было ясно, что она — из тех детей, рожденных и выросших в забросе и пороке, которые не знали детства, которых никогда не учили радоваться материнской улыбке и бояться нахмуренных бровей отца. Им не известны ни детские ласки, ни детское веселье и невинность. Они сразу вступают в суровую жизнь со всеми ее невзгодами, и потом уже почти безнадежны попытки тронуть их сердце напоминаниями, которые в другом человеке, пусть даже испорченном, могут хотя бы на миг пробудить добрые чувства. Что проку говорить таким, как они, о родительских заботах, о счастливых днях детства, о веселых детских играх! Им толкуйте про голод и улицы, нищенство и побои, кабак, полицейский участок и лавку ростовщика,— это они поймут.

Всего две-три женщины стояли у решетки, переговариваясь с друзьями, у большинства же арестанток, как видно, вовсе не было друзей, если не считать старых товарок, вместе с ними обретающихся в тюрьме. Поэтому мы не задержались во дворе, а лишь отметив мимоходом только что описанные сценки, поднялись вслед за своим провожатым по чистой и светлой каменной лестнице в одну из камер. Таких камер в этом отделении тюрьмы несколько, но достаточно описать одну — все остальные с нею схожи.

Камера была просторная, голая, с белеными стенами; окна ее выходили, конечно, во внутренний двор, однако света и воздуха здесь было больше, чем можно бы ожидать в таком месте. Перед жарко горящим огнем стоял простой, некрашеный стол, за которым обедали, сидя на деревянных скамейках, десять — двенадцать женщин. Вдоль двух противоположных стен комнаты тянулась полка, под ней, на равном расстоянии друг от друга, в стену были вбиты большие крюки, и на каждом из них висел тюфяк одной из арестанток, в то время как ее подстилка и одеяло лежали сложенные на полке. На ночь тюфяки эти стелются на пол, каждый под тем крюком, на котором он висит днем, и таким образом камера превращается в спальню. Над камином был прибит большой

лист картона с текстами из священного писания, и такие же тексты на листках бумаги, размером и видом напоминавших школьные прописи, были развешаны по всей комнате. На столе — тушеная говядина и черный хлеб, разложенные вполне достаточными порциями в оловянные миски; миски эти содержатся в большой чистоте и после употребления аккуратно расставляются на полках.

При нашем появлении женщины поспешно встали и, отойдя к камину, сгрудились по обе стороны его. Все они были одеты чисто, а многие даже прилично, и ни во внешности их, ни в повадках не замечалось ничего из ряда вон выходящего. Две-три из них вскоре взялись за рукоделие, отложенное, видимо, перед едой; другие с вялым любопытством разглядывали посетителей; а некоторые ушли в дальний конец камеры и спрятались за спинами товарок, словно даже равнодушный взгляд посторонних людей был им неприятен. Несколько старых ирландок, как в этой камере, так и в других, нимало не смущаясь нашим вторжением, оставались спокойно стоять тут же возле скамейки,— видно, все это было им не внове; но большинство женщин наше присутствие явно стесняло. Впрочем, мы пробыли среди них недолго, и за все это время не было произнесено ни одного слова, только староста коротко ответила на какой-то вопрос, который мы задали нашему провожатому. Староста, в чью обязанность входит следить за порядком, есть в каждой камере женского отделения, и мужского тоже. Назначают их из числа арестантов, зарекомендовавших себя хорошим поведением. Только им одним разрешается спать на кроватях — в каждой камере для них поставлена коротенькая койка. В обоих концах тюрьмы имеется по небольшому приемному покою, куда арестантов доставляют прямо с воли и откуда их переводят в камеры лишь после того, как их осмотрит тюремный врач [1].

---

[1] С тех пор как этот очерк был впервые опубликован, тюремные правила, касающиеся содержания арестантов в дневное время, их ночного сна, приема пищи и других пунктов тюремного распорядка, значительно изменились к лучшему. Даже некоторые из зданий теперь перестроены. *(Прим. автора.)*

Пройдя немного назад по мрачному коридору, которым мы шли от караульной (и в котором, кстати сказать, имеется три не то четыре темных карцера для строптивых арестантов), мы свернули в узкий дворик и попали в «школу» — часть тюрьмы, отведенную для мальчиков не старше четырнадцати лет. В довольно большой комнате, где стоял стол с письменными принадлежностями и тетрадями, мы застали учителя и нескольких учеников; остальных учеников привели из соседней комнаты, и всех их выстроили в шеренгу для нашего обозрения. Их было четырнадцать — босых и обутых, в куртках без фартуков и в фартуках без курток, а один так и вовсе почти голый. Все они, сколько помнится, были преданы суду по обвинению в карманных кражах; и более страшных детских лиц, чем эти четырнадцать, нам еще не встречалось. Ничто не скрашивало этой удручающей картины — мы не увидели ни одной пары честных глаз, ни одной ужимки, не предвещающей виселицы и каторги. Что же до стыда или смущенья, так их и в помине не было. Мальчикам явно льстило, что кому-то понадобилось на них поглядеть; видимо, они решили, что мы пришли в Ньюгет как на спектакль, коего они составляют неотъемлемую часть; у каждого из них, когда он занимал свое место в шеренге, был такой самодовольный и важный вид, как будто, угодив в тюрьму, он совершил необычайно похвальный поступок. Мы не запомним зрелища более неприглядного — никогда еще мы не видели одновременно четырнадцать созданий, столь безнадежно запущенных.

По обе стороны школьного двора расположены мужские отделения, в одном из которых, том, что ближе к Ньюгет-стрит, содержатся арестанты привилегированные. О втором нам почти нечего сказать, потому что камеры мало чем разнятся одна от другой. Как и в женском отделении, здесь имеются тюфяки и одеяла, которые на день точно так же убирают. Единственное, что существенно отличает их от женских камер, это полное безделье их обитателей. На двух скамьях у камина сидят тесно друг к другу человек двадцать; вот юноша в лакейской ливрее; вот мужчина в толстой шинели и сапогах; дальше — какая-то отпетая личность в жилетке и

старом картузе, из-под которого торчат космы волос; рядом с ним разбойничьего вида верзила в блузе, потом жалкий растерянный субъект, подперевший рукою голову,— но в одном они все одинаковы: все сидят без дела. А отойдет кто от огня, так бродит, насупившись, взад-вперед, или приткнется к окну, или стоит, прислонившись к стене и переминаясь с ноги на ногу. Если не считать двух или трех человек, читавших старую газету, так было во всех камерах, куда мы заходили.

Общаться с посетителями эти люди могут только через две частые железные решетки, отстоящие друг от друга на целый ярд, так что передать ничего нельзя, и арестант не может даже прикоснуться к тому, кто пришел его проведать. Женатые беседуют с женами у особой решетки, но устроена она точно так же.

Тюремная церковь примыкает к задней стене дома смотрителя — в этом доме все окна выходят на улицу. Почему эта церковь кажется еще более мрачной и зловещей, чем того хотели ее строители? Может быть, потому, что она вызывает столько тягостных мыслей, что здесь, как известно, в некоторых, поистине ужасных случаях часть заупокойной службы читают не над мертвыми, а над живыми? Как бы то ни было, впечатление она производит очень сильное. В пустом, безмолвном храме человека всегда охватывает ощущение торжественности и тайны, а несхожесть этой церкви с теми, к каким мы привыкли, еще усиливает это ощущение. Бедное ее убранство — голая, убогая кафедра с безвкусно покрашенными столбиками по бокам; хоры для женщин за темным, тяжелым занавесом, и для мужчин — с некрашеными скамьями и грязным барьером; шаткий столик перед алтарем, а на стене над ним заповеди, которые едва можно прочесть, так облупилась краска, столько на них пыли и пятен от сырости,— как это все непохоже на бархат и позолоту, мрамор и богатую деревянную резьбу современных церквей, как удивительно и странно! И еще тут есть один предмет, который привлекает внимание и приковывает взор и от которого мы напрасно будем отвора-

чиваться, пораженные ужасом,— все равно воспоминание о нем еще долго будет нас преследовать и во сне и наяву. Чуть пониже аналоя, прямо посредине церкви, находится *скамья смертников* — большой черный загон, куда несчастных людей, обреченных смерти, сажают в воскресенье, предшествующее их казни, на виду у всех других арестантов, от которых их отделили, может быть, всего неделю назад; здесь они внемлют молитвам за упокой своей души, произносят положенные слова, когда над ними же читают отходную, и выслушивают проповедь, в которой их бывших товарищей призывают остерегаться их участи, а их самих — «бежать гнева господня», пока еще есть время... без малого двадцать четыре часа! Попробуйте представить себе, сколько перестрадали люди, которые в разное время сидели на этой ужасной скамье, а потом погибли под топором или на виселице, не оставив после себя ни памяти, ни могилы! Вообразите, как исступленно они до последней минуты цеплялись за жизнь, с каким отчаянием — куда более мучительным, чем самая смерть на плахе,— слышали из уст священника слова о неизбежном и скором своем переселении в иной мир, куда они унесут весь тяжкий груз своих злодеяний!

В прежние времена — не такие уж, впрочем, отдаленные,— рядом с осужденным на казнь, на той же скамье, во время богослужения стоял его гроб. Это может показаться невероятным, но это правда. Будем же надеяться, что дух цивилизации и гуманности, покончивший с этим страшным и унизительным обычаем, распространится и на другие, не менее варварские обычаи, которые нельзя оправдать даже их пользой, ибо из опыта явствует, что они с каждым годом оказываются все менее действенными.

Выйдя из церкви, спустившись в коридор, уже неоднократно упомянутый, и пересекши двор, о котором сказано было, что он отведен арестантам, пользующимся перед прочими некоторыми привилегиями, посетитель оказывается перед толстыми железными воротами, очень большими и крепкими. Дежурный надзиратель отпирает их, посетитель входит, круто поворачивает влево и оказывается перед новыми воротами; и вот, миновав эту

последнюю преграду, он стоит в самом страшном отделении тюрьмы — в отделении смертников.

Отделение это, часто упоминаемое в описаниях казней, а потому хорошо знакомое читателям газет,— расположено в углу тюрьмы, рядом с домом священника, выходящим на Ньюгет-стрит. Оно тянется от Ньюгет-стрит к середине тюрьмы, параллельно Ньюгетскому рынку. Это длинный, узкий двор, одним концом он упирается в стену, идущую вдоль Ньюгет-стрит, другим — в ворота. В дальнем его конце, по левую руку, то есть у самой стены и совсем близко от Ньюгет-стрит,— цистерна с водой; в ближайшем — двойная решетка, подобная описанной выше (часть ее и составляют ворота). Здесь арестантам разрешается разговаривать с посетителями, но между решетками с начала до конца свидания ходит надзиратель. В здании направо от входа помещаются особая камера, общая дневная и одиночки; двор со всех сторон окружен стеной, утыканной по верху шипами; и день и ночь здесь неусыпно дежурят испытанные надзиратели.

В первом помещении, куда нас привели — на втором этаже, прямо над особой камерой,— мы увидели десятка три арестантов. Все это были люди, приговоренные к смертной казни и ожидающие указа об утверждении или отмене приговора,— люди всех возрастов и самой разнообразной наружности, от закоренелого старого уголовника с темным лицом и трехдневной серой щетиной до красивого мальчика, которому не исполнилось еще четырнадцати лет, а на вид можно было дать и того меньше, осужденного за кражу со взломом. Ничего выдающегося во внешности этих людей не было. Двое-трое прилично одетых мужчин сидели у огня, глубоко задумавшись; некоторые разговаривали, стоя кучками в глубине комнаты и возле окон. Остальные столпились вокруг молодого человека, который сидел у стола и, видимо, учил своих младших собратьев писать. Комната была просторная, чистая, не душная. Ни на одном лице не читалось сколько-нибудь серьезной тревоги или душевной муки: да, все они были приговорены к смерти, и окончательное решение еще не было вынесено; но в глубине души — мы почти уверены в этом — каждый из них был убеж-

ден, что, хотя суд над ним и состоялся, на самом деле никто не собирается лишить его жизни. На столе лежало евангелие, но его, видимо, уже давно не раскрывали.

Внизу, в особой камере, помещалось три человека, которых ввиду тяжести совершенных ими преступлений нашли нужным отделить даже от других, одинаково с ними осужденных. Камера эта длинная, полутемная, с двумя окошками в толстой каменной стене,— здесь в утро казни несчастным связывают руки перед тем как вести их на виселицу. Для одного из арестантов, которых мы здесь застали, чашки весов еще колебались: после суда выяснились кое-какие смягчающие обстоятельства, о которых и было по человечеству доложено куда следует. Двое других не могли рассчитывать на помилование, их участь была решена бесповоротно; никаких доводов в их оправдание не могло найтись, и они знали, что в этом мире им не на что надеяться. «Те двое, пониже ростом,— шепнул надзиратель,— все равно что покойники».

Тот, у которого, как мы сказали, еще оставалась надежда на спасение, держался по возможности дальше от двух других, у ближнего к двери окна. Он, видимо, услышал наши шаги и успел придать своему лицу выражение стойкости и равнодушия; нарочно отвернувшись к окну, он так и стоял все время, пока мы там находились. Двое других были в дальнем конце комнаты; один, лишь смутно различимый в полумраке, стоял к нам спиной у огня, положив правый локоть на каминную полку и склонившись головой на руку. Второй облокотился на подоконник. Свет падал прямо на него, и очень страшно выглядело издали его бледное, с ввалившимися глазами лицо и нечесаные волосы. Подперев рукою щеку и чуть закинув голову, он пристально смотрел прямо перед собой,— могло показаться, что он, сам того не сознавая, внимательно считает трещины в стене напротив. На обратном пути мы опять прошли через эту комнату. Теперь первый арестант в шапке набекрень расхаживал взад-вперед по дворику четким военным шагом — когда-то он служил в гвардейской пехоте. Он почтительно поклонился нашему провожатому, тот поклонился ему в ответ. Два других

арестанта стояли в тех же позах, как мы их описали, неподвижные, словно изваяния [1].

Немного дальше по двору, под тою же крышей, что и обе только что осмотренные нами комнаты, находятся одиночные камеры смертников. Узкая неосвещенная лестница ведет в темный коридор, где топится жаровня, отбрасывая зловещие блики на ближайшие предметы и распространяя вокруг немножко тепла. По левой стене этого коридора — двери камер, только отсюда к ним и можно подойти. Таких коридоров три, один над другим, и три ряда камер, совершенно одинаковых по размеру, устройству и внешнему виду. До утверждения приговора все смертники в пять часов пополудни переводятся в эти камеры из общей; здесь их запирают, но до десяти часов вечера разрешают жечь свечу; и здесь они остаются до семи часов утра. Когда же приходит приказ о казни когонибудь из арестантов, его переводят в одиночную камеру и содержат там все время, днем и ночью, пока не отправят на виселицу. Ему разрешают гулять во дворе, но и на прогулках и в камере при нем неотлучно находится надзиратель, ни на минуту не спускающий его с глаз.

Мы вошли в первую камеру. Это был каменный мешок — восемь футов в длину и шесть в ширину — с лавкой у дальней стены, а на лавке — грубое одеяло, библия и молитвенник. Сбоку от двери прибит был железный подсвечник, и совсем мало воздуха и света проникало через маленькое окошко в задней стене, под самым потолком, забранное двойной решеткой из толстых железных прутьев. Больше ничего в камере не было.

Представьте себе состояние человека, проводящего здесь свою последнюю ночь. Трое суток, отпущенных ему на то, чтобы приготовиться к смерти, пронеслись, час за часом, с такой быстротой, какую живой человек и вообразить не может, какая известна только умирающим, и все это время его поддерживала туманная, призрачная надежда на помилование — неведомо за что,— не оставляла нелепая, смутная мысль о том, чтобы вырваться отсюда —

---

[1] Эти два человека вскоре были казнены; третьему казнь была отсрочена впредь до высочайшего решения. *(Прим. автора.)*

неведомо как. Он измучил просьбами своих посетителей; утомил приставаньями тюремщиков; снедаемый лихорадочной тревогой, пренебрег увещеваниями своего духовного утешителя. И теперь, когда самообман рассеялся, когда впереди у него вечность, а позади — тяжкая вина, когда страх смерти довел его почти до безумия, а собственная беспомощность открылась ему с беспощадной ясностью,— теперь он оглушен и растерян, и нет у него сил обратить свои помыслы к всевышнему, воззвать к единственному существу, кого он мог бы молить о милосердии и прощении, кто мог бы внять его раскаянию.

Час идет за часом, а он все сидит на каменной лавке, скрестив руки, одинаково равнодушный к бегу еще оставшегося ему времени и к речам доброго человека, стоящего рядом с ним. Тусклая свеча догорает, мертвая тишина на улице за тюремной стеной, изредка нарушаемая лишь глухим стуком колес, который печальным эхом разносится по пустынным дворам, напоминает ему, что и ночь уже проходит. Гулко бьет колокол св. Павла — час! Он услышал, встрепенулся. Осталось семь часов! Он быстрыми шагами мерит тесную камеру, холодный пот выступил у него на лбу, каждый мускул дрожит. Семь часов! Он дает усадить себя на лавку, машинально берет библию, которую вложили ему в руки, пытается читать и слушать. Нет! Разбегаются мысли. Книга растрепанная, захватанная и очень похожа на ту, по которой он учился в школе, ровно сорок лет назад! Он, может быть, ни разу и не вспоминал о ней с самого детства, а сейчас те места, то время, классная комната, даже мальчики, с которыми он играл,— все встает перед глазами так ясно, будто он видел это только вчера; и какая-то давно забытая фраза, какая-то детская шутка звучит в ушах, словно эхо слов, только что произнесенных. Голос священника возвращает его к действительности. Священник читает по библии торжественное обещание прощения покаявшимся и грозное обличение упорствующих в грехе. Несчастный падает на колени, стискивает руки, хочет молиться. Чу! Что это? Два часа? Не может быть. Тише! Вот пробило две четверти, третья, четвертая. Да. Осталось шесть часов. Не говорите ему о покаянии! Шесть часов покаяния за шестью восемь лет грехов и престу-

плений! Закрыв лицо руками, он бросается ничком на лавку.

Он так ослабел от волнения и бессонницы, что засыпает, но видения преследуют его и во сне. С его груди сняли невыносимый груз; он идет с женой по цветущему зеленому лугу, над ними ясное небо, кругом неоглядный простор — совсем, совсем непохоже на каменные стены Ньюгета! Жена его — не такая, какой он видел ее в последний раз в этом ужасном месте, а какой она была, когда он любил ее, много-много лет назад, до того как бедность и жестокое обращение убили ее красоту, а порок изменил его нрав,— жена опирается на его руку, смотрит ему в лицо нежно и ласково, и он теперь не бьет ее, не отталкивает от себя. И как же он рад, что может сказать ей все, что забыл сказать в то последнее свидание, когда они так спешили, и может упасть перед ней на колени и горячо просить у нее прощенья за грубость и злобу, которые иссушили ее тело и разбили сердце! Вдруг картина меняется. Он опять перед судом: вот судья, прокурор, свидетели, присяжные,— все как было тогда. Сколько народу в зале — море голов — и тут же виселица, и эшафот — и как все эти люди глазеют на *него!* «Виновен!» Ничего, он убежит.

Ночь темная, холодная, ворота не заперты, мгновение — и он уже на улице и как ветер несется прочь от места своего заточения. Улицы остались позади, вот и деревня, широкое открытое поле расстилается вокруг. Он мчится вперед в темноте, через изгороди и канавы, по грязи и лужам, большими скачками, так быстро и легко, что сам удивляется. И вот, наконец, он замедляет шаг. Ну конечно, он ушел от погони, теперь можно растянуться вот здесь на берегу и поспать до рассвета.

Приходит крепкий сон без сновидений. Но вот он просыпается, ему холодно. Серый утренний свет, просочившись в камеру, озаряет фигуру надзирателя. Еще не очнувшись, он вскакивает со своего беспокойного ложа и минуту остается в сомнении. Только минуту! Тесная камера и все, что в ней есть, слишком знакомо и реально — ошибки быть не может. Опять он преступник, осужденный на казнь, виновный, во всем отчаявшийся. А еще через два часа он будет мертв.

Лондонские типы

ГЛАВА I

Мысли о людях

Удивительно, с каким равнодушием относятся в Лондоне к жизни и смерти людей. Человек не вызывает ни в ком ни сочувствия, ни вражды, ни даже холодного любопытства; никто, за исключением его самого, им не интересуется. Когда он умирает, нельзя даже сказать, что его забыли — ведь никто не вспоминал о нем при жизни. В нашей великой столице существует многочисленный разряд людей, у которых, по-видимому, нет ни одного друга и до которых, очевидно, никому нет дела. Когда-то, движимые нуждою, они отправились в Лондон в поисках работы и средств к существованию. Все мы знаем, как тяжко разрывать нити, связывающие нас с родным домом и с друзьями. Но еще тяжелее вычеркивать из памяти тысячи воспоминаний о счастливых днях прошлого, воспоминаний, которые в течение многих лет дремлют в нашей груди, пробуждаясь лишь для того, чтобы вызвать перед нашим мысленным взором образы покинутых друзей, картины, по всей вероятности представшие перед нами в последний раз, или надежды, которые мы некогда лелеяли, но не смеем питать ныне. Однако, к счастью для самих себя, люди, о которых идет речь, давно выбросили подобные мысли из головы.

Земляки их все умерли или разъехались, знакомые, с которыми они прежде вели переписку, затерялись, по-

добно им, в шуме и сутолоке какого-нибудь большого города, а сами они постепенно впали в состояние тупого смирения и безразличия.

Несколько дней назад, когда мы сидели в Сент-Джеймс-парке, наше внимание привлек человек, которого мы тотчас причислили к этому разряду. Это была высокая, худощавая, бледная личность в черном сюртуке, узких серых панталонах, коротких тесных гетрах и коричневых касторовых перчатках. Несмотря на прекрасную погоду, в руках у него был зонтик — очевидно, каждое утро, отправляясь на службу, он по привычке брал его с собою. Человек прогуливался взад и вперед по краю небольшой зеленой лужайки, где сдаются напрокат стулья, но казалось, что делает он это не для своего удовольствия, а по необходимости — совершенно так же, как шагает по утрам в свою контору из глухих закоулков Излингтона. Был понедельник, он на целые сутки сбросил с себя иго конторы и прогуливался здесь для моциона и развлечения — быть может, впервые в жизни. Нам пришло в голову, что у него никогда прежде не было свободного времени, и теперь он не знает, что с собой делать. Дети играли на траве; гуляющие, смеясь и болтая, проходили мимо, а человек степенно шагал взад и вперед, не замечая никого, не замечаемый никем, и его изможденное бледное лицо, казалось, не в состоянии было выразить ни любопытства, ни интереса к окружающему.

Мы подумали, что по поведению и внешности этого человека можно представить себе всю его жизнь, или, вернее, любой из его дней, ибо у таких, как он, один день ничем не отличается от другого. Нам показалось, будто мы видим перед собою тесную захудалую контору, куда он входит каждое утро, видим, как он вешает свою шляпу всегда на тот же гвоздь, привычным движением ставит ноги под письменный стол, предварительно сняв с себя черный сюртук, который он носит круглый год, и надев вместо него тот, который служил в прошлом году, а теперь хранится в столе, чтобы не истрепался новый. Здесь он сидит целый день, до пяти часов, и работа его так же однообразна, как громкое тиканье часов на камине, как все его существование. Он поднимает голову только тогда, когда кто-нибудь входит в контору или когда, производя



какой-нибудь особенно сложный расчет, он обращает свой взор к потолку, словно там, в пыльном окошке с зеленым пузырем посредине каждого стекла, таится вдохновение. Около пяти или половины шестого он медленно слезает со своего неизменного табурета и, снова сменив сюртук, отправляется обедать в свою излюбленную кухмистерскую где-то возле Баклерсбери. Официант доверительным тоном — как постоянному клиенту — пересказывает ему меню, и, предварительно осведомившись: «Что бы выбрать получше?», или: «Нет ли чего посвежее?» — он заказывает полпорции ростбифа с овощами и полпинты портера. Сегодня он берет полпорции, потому что овощи на целый пенс дороже картофеля и к тому же вчера он брал «два хлеба», а позавчера позволил себе дополнительное излишество в виде «одного сыра». Уладив этот важный вопрос, он вешает шляпу — он снял ее, когда садился за стол,— и заручается правом читать газету после соседа. Если ему удается получить газету во время еды, он обедает с гораздо большим аппетитом. Тогда, прислонив газету к графину с водой, он заедает каждые две строчки куском жаркого. Ровно за пять минут до истечения обеденного часа он достает шиллинг, платит по счету, аккуратно прячет сдачу в жилетный карман (предварительно отложив пенни для официанта) и возвращается в контору, откуда (если только в этот вечер не поступает заграничная почта) через полчаса выходит снова. Теперь он обычным ровным шагом отправляется домой в свою маленькую каморку в Излингтоне, где пьет вечерний чай, быть может развлекаясь за едою болтовней с сынишкой квартирной хозяйки, которого он изредка награждает пенни за решение простейших задач на сложение. Время от времени ему приходится отнести одно-два письма к своему патрону на Рассел-сквер. В таких случаях богатый коммерсант, услыхав его голос, кричит из столовой: «Пожалуйте сюда, мистер Смит!», и мистер Смит, положив шляпу на пол возле одного из кресел в прихожей, робко входит, а когда ему снисходительным тоном предлагают присесть, садится как можно дальше от стола, старательно подобрав ноги под стул, и пьет херес, налитый ему старшим сыном хозяина, после чего, пятясь, выскальзывает из комнаты в состоянии

нервного возбуждения, которое не проходит до тех пор, пока он снова не оказывается на Излингтон-роуд. Эти жалкие, безобидные существа довольны, но не счастливы. Надломленные и смиренные, они, быть может, не испытывают страданий, но зато не знают и радости.

Сравните этих людей с другим разрядом жителей нашей столицы. У них тоже нет ни друзей, ни товарищей, но такое положение в обществе они избрали себе сами. Это большей частью пожилые субъекты, седовласые и краснолицые, любители портвейна и гессенских сапог *. По каким-то причинам, действительным или воображаемым (обыкновенно по первым, ибо вполне достаточный повод к тому — их собственное богатство и бедность их родственников), они впадают в крайнюю подозрительность и разыгрывают доморощенных мизантропов, упиваясь своими мнимыми несчастьями и портя жизнь всем, кто с ними сталкивается. Эти люди могут встретиться вам повсюду, и вы всегда с легкостью их узнаете. В кофейнях они громко выражают свое недовольство и поглощают роскошные обеды; в театрах постоянно занимают одно и то же кресло и бросают желчные взгляды на сидящих поблизости молодых людей; в церкви выделяются величавостью поступи и громкими откликами на соответствующие места в богослужении; в гостях легко раздражаются за вистом и не терпят музыки. Пожилой субъект подобного сорта всегда живет в пышно обставленных комнатах, коллекционируя в огромном количестве книги, старинное серебро и картины — не столько ради собственного удовольствия, сколько ради того, чтобы чувствовать свое превосходство над людьми, у которых есть желание, но нет возможности с ним соперничать. Он член двух или трех клубов, и ему завидуют, его ненавидят, ему льстят все остальные члены этих клубов. Время от времени к нему обращается какой-нибудь бедный родственник — например, женатый племянник — с просьбой о небольшом вспомоществовании. В таких случаях он с искренним негодованием обрушивается на непредусмотрительность женатых молодых людей, на никчемность жен, на бестактность тех, кто позволяет себе обзаводиться семейством, на беспримерное бесстыдство людей, которые

залезают в долги, имея сто двадцать пять фунтов годового дохода, и на другие непростительные прегрешения. Свои гневные филиппики он заключает самодовольным разбором своего собственного поведения и тонким намеком на помощь прихода. Умирает он в один прекрасный день после обеда от апоплексического удара, предварительно завещав свое состояние некоему благотворительному обществу. Упомянутое учреждение воздвигает в его честь мемориальную доску с надписью, в которой выражает свой восторг по поводу его христианского поведения в этом мире и отрадную уверенность, что ему уготовано вечное блаженство в мире ином.

Однако после наших лучших друзей — извозчиков и кондукторов омнибусов,— к ним мы особенно благоволим за их невозмутимую наглость и изворотливость,— больше всего забавляют нас лондонские подмастерья. Они теперь уж не представляют собой некоей корпорации, связанной торжественной клятвой наводить ужас на подданных его величества всякий раз, когда им вздумается преисполниться оскорбленным достоинством и вооружиться палками. Теперь они связаны только контрактами, а что касается их воинственности, то она легко обуздывается благотворным страхом перед знакомством с Новой полицией * и перспективой сырого полицейского участка с последующим разбором дела в суде и строгим взысканием. Однако они все еще составляют своеобразный разряд людей и не сделались менее забавными оттого, что перестали быть забияками. Разве можно не заметить их в воскресный день на улице? Кто еще так лезет вон из кожи, чтобы казаться солидным и важным, как эти молодые люди? В прошлое или позапрошлое воскресенье мы шли по Стрэнду позади небольшой группы подмастерьев, и всю дорогу они нас забавляли. Дело было часа в три или четыре пополудни; они вышли откуда-то из Сити и направились в Сент-Джеймс-парк. Они шагали вчетвером, взявшись под руки, натянув, словно женихи, белые лайковые перчатки, в светлых брючках невиданного покроя и в чем-то, для обозначения чего на нашем языке нет еще даже подходящего слова: это была какая-то помесь пальто с сюртуком — воротник от пальто, полы от сюртука, а карманы совершенно особого фасона.

Каждый из этих джентльменов держал в руках палку с большой кистью на набалдашнике, время от времени грациозно ею помахивая, и все четверо, стараясь казаться развязными и непринужденными, шагали какой-то разболтанной паралитической походкой, вызывавшей у нас неудержимый смех. Один из членов этой компании то и дело вытаскивал из кармана своего жилета часы величиной с хорошее рибстоновское * яблоко и тщательно сверял их с часами на колокольне св. Климента и Новой церкви, с освещенными часами на здании зверинца, церкви св. Мартина и казармах Конной Гвардии. Когда они, наконец, прибыли в Сент-Джеймс-парк, тот, у кого были самые лучшие сапоги, взял напрокат второй стул специально для ног и, развалясь, наслаждался этой двухпенсовой роскошью в царстве флоры с таким видом, что поневоле забывались всякие различия между завсегдатаями клубов Брукса и Снукса или игорных домов Крокфорда и Бегнидж-Уэллс *.

Можно посмеиваться над такими юнцами, но они никогда не вызывают в нас гнева. Они обыкновенно вполне довольны собой и потому в ладах со всеми окружающими. К тому же, они по большей части представляют собой не что иное, как слабый отблеск более ярких светил; если они иногда и дурачатся, то это далеко не так противно, как пошлое кривлянье фатов на Квадранте *, щегольство украшенных бакенбардами денди на Риджент-стрит и Пэлл-Мэлл и нелепое жеманство впавших в старческий маразм обитателей любой другой части города.

ГЛАВА II

Рождественский обед

Рождество! Поистине мизантропом должен быть тот, в чьем сердце при наступлении рождества не затеплятся живые чувства, в чьей памяти не пробудятся сладостные воспоминания. Иные скажут вам, что рождество теперь не такое, как прежде; что всякий раз с приходом рождества рушится еще одна надежда на счастливое будущее,

которую они лелеяли в прошлом году; что настоящее лишь напоминает им об уменьшении доходов, о стесненных обстоятельствах, о пирах, которые они задавали ложным друзьям, и о холодных взглядах, которыми встречают их ныне, в час испытаний и невзгод. Никогда не поддавайтесь таким мрачным мыслям — ведь каждый, кто достаточно пожил на свете, мог бы вызывать их ежедневно. Не омрачайте же горькими воспоминаниями самый веселый из всех трехсот шестидесяти пяти дней в году, а лучше пододвиньте кресло свое поближе к пылающему камину, наполните свой бокал до краев и запевайте песню. Если же случилось так, что комната ваша теснее, чем десяток лет назад, бокалы наполнены дымящимся пуншем, а не искристым вином,— не показывайте виду, что вы огорчены, осушите поскорее свой бокал, налейте другой, затяните старую песенку, которую певали в прежние времена, да благодарите бога, что вам не пришлось хуже. Взгляните на веселые лица собравшихся у камелька детей (если они есть у вас). Быть может, один маленький стульчик уже пуст, быть может, в кругу семьи нет больше того прелестного малютки, который радовал сердце отца и которым с гордостью любовалась мать. Не задерживайтесь мыслями на прошлом, не думайте о том, что румяный ясноглазый мальчуган, который всего лишь год назад сидел перед вами, теперь превращается в прах. Думайте о тех радостях бытия, коими вы наслаждаетесь ныне,— их много у каждого; не предавайтесь размышлениям о минувших печалях — они выпадают на долю всякого человека. Так наполните же снова свой бокал, и пусть озарится радостью ваше чело, а в сердце ваше снизойдет мир. От всей души желаю вам веселого рождества и счастья в наступающем новом году!

Кто способен оставаться безучастным к излияниям добрых чувств и к искренним проявлениям нежной привязанности, которые так щедро расточаются в эти дни? Рождественский семейный праздник! Нет на свете ничего упоительнее! Уже в самом слове «рождество» таится какое-то очарование. Забыты ничтожные несогласия и ссоры, дружеские чувства пробудились в давно остывших сердцах; отец и сын, брат и сестра, уже много месяцев избегавшие встречи или обменивавшиеся холод-

ными приветствиями, теперь, в этот счастливый день, раскрывают друг другу нежные объятия и предают забвению старые распри. Любящие сердца, чье взаимное влечение сдерживалось ложными понятиями о гордости и собственном достоинстве, вновь соединяются, и повсюду царят доброта и благожелательность. Ах, если бы рождество длилось круглый год (как тому и следует быть), если б предрассудки и страсти, искажающие лучшие стороны нашей природы, всегда оставались чужды людям и не отравляли им жизнь!

Рождественский семейный праздник, о котором мы ведем речь, это не случайная встреча приглашенных за неделю или за две родственников, решивших встретиться в этом году, хотя они не встречались в прошлом и едва ли свидятся в будущем. Нет, это ежегодное собрание всех имеющихся налицо членов семьи — старых и малых, богатых и бедных — и все дети с лихорадочным нетерпением ожидают его уже за два месяца до рождества. Раньше праздник справляли у дедушки, но теперь дедушка состарился, бабушка тоже состарилась и прихварывает, они уже не ведут своего хозяйства, а живут вместе с дядей Джорджем. Итак, праздник теперь справляют в доме дяди Джорджа, но бабушка все равно заказывает бо́льшую часть лакомств, а дедушка непременно всякий раз ковыляет до самого Ньюгетского рынка, где покупает индейку, которая торжественно доставляется на дом специально нанятым для этого случая носильщиком. По настоянию дедушки носильщика всегда угощают — сверх условленной платы — рюмкою спиртного, которую он выпивает с пожеланием веселого рождества и счастливого Нового года супруге дяди Джорджа. А бабушка — та еще за два или за три дня до праздника напускает на себя необычайную таинственность, что, однако, не мешает распространяться слухам, будто ею приобретены прелестные чепчики с розовыми лентами для служанок, а также всевозможные книжки, перочинные ножики и пеналы для юных отпрысков семейства, не говоря уже о том, что в добавление к заказам жены дяди Джорджа кондитеру бабушка по секрету велела испечь к обеду лишнюю дюжину сладких пирожков и большой пирог со сливами для детей.

В сочельник бабушка неизменно пребывает в превосходном расположении духа. Она заставляет детей целый день чистить сливы, а потом, неизменно из года в год, велит дяде Джорджу спуститься на кухню, снять сюртук и не менее получаса мешать пудинг, что дядя Джордж послушно проделывает к шумному восторгу детей и прислуги. Вечер заканчивается развеселой игрой в жмурки, причем еще в самом начале игры дедушка изо всех сил старается, чтобы его поймали и тем дали ему возможность тоже показать свое проворство.

На следующее утро старики, прихватив с собою такое количество детей, какое умещается на церковной скамье, торжественно отправляются в божий храм. Дома остаются дядя Джордж и тетя. Она протирает графины и накладывает в судки горчицу и хрен, а он носит в столовую бутылки, требует, чтоб ему подали штопор, и путается у всех под ногами.

Возвратившись из церкви к завтраку, дедушка достает из кармана веточку омелы и заставляет мальчиков целовать под нею своих маленьких кузин. Эта процедура, доставляющая безграничное удовольствие мальчуганам и старому джентльмену, но несколько оскорбляющая бабушкины понятия о нравственности, продолжается до тех пор, пока дедушка не начинает рассказывать, что, когда ему было всего тринадцать лет и три месяца, он тоже поцеловал бабушку под веткою омелы. Услыхав этот рассказ, дети хлопают в ладоши и весело смеются, дядя Джордж и тетя смеются тоже, а бабушка с довольным видом и с добродушной улыбкой заявляет, что дедушка был ужасный повеса. При этих словах дети смеются пуще прежнего, а дедушка громче всех.

Но самая волнующая минута наступает позже, когда бабушка в высоком чепце и темно-сером шелковом платье, а дедушка в пышном гофрированном жабо и белом шейном платке в ожидании гостей занимают свои места в гостиной возле камина, усадив перед собою детей дяди Джорджа вместе с бесчисленными маленькими кузинами и кузенами. Внезапно раздается стук подъезжающей к дому извозчичьей кареты; дядя Джордж, который глядел в окно, восклицает: «Джейн приехала!» Дети бросаются к дверям и кубарем скатываются по лестнице,

и вот уже дядя Роберт, тетя Джейн, их прелестный малютка и кормилица поднимаются наверх, сопровождаемые восторженными возгласами детворы и предостережениями кормилицы, беспрестанно повторяющей: «Не ушибите ребенка!» Дедушка берет на руки младенца, бабушка целует свою дочь, и не успел еще улечься шум, вызванный прибытием первых гостей, как уже появляются остальные дяди и тети с новой партией кузенов и кузин. Взрослые кузены ухаживают за своими кузинами, младшие следуют примеру старших, и смех и разговоры — все сливается в беспорядочный веселый гул.

Во время минутного затишья раздается робкий стук в парадную дверь. «Кто это?» — спрашивают все; дети, стоявшие у окна, шепотом говорят: «Это бедная тетя Маргарет»; дядя Джордж выходит из комнаты встречать гостью, а у бабушки на лице появляется неестественное высокомерное выражение — ведь Маргарет без согласия матери вышла замуж за бедняка, и, поскольку нищета была недостаточно тяжкой карой за этот проступок, друзья от нее отвернулись, а ближайшие родственники изгнали ее из лона семьи. Но вот наступило рождество, и недружелюбие, которое целый год боролось с более добрыми чувствами, растаяло под его живительным влиянием, подобно тому как тает первый тонкий лед под лучами утреннего солнца. Матери в минуту гнева не трудно осудить непокорную дочь, но совсем другое дело — среди общего веселья и доброжелательства оттолкнуть ее от очага, у которого она столько раз сидела в этот праздничный день, с годами превращаясь из ребенка в девушку, и вдруг незаметно расцвела в молодую женщину. Напускное выражение оскорбленной добродетели и холодного всепрощения совсем не к лицу старой леди, и когда сестра вводит бедняжку — бледную и безутешную — не от нищеты (нищету она могла бы вынести), но от сознания несправедливости и незаслуженной обиды,— легко убедиться, насколько это выражение притворно. Наступает минутная пауза... Молодая женщина внезапно вырывается из объятий сестры и, всхлипывая, бросается на шею матери. Отец поспешно выходит вперед и протягивает руку ее мужу. Друзья теснятся вокруг

с сердечными поздравлениями, и в семье вновь водаряется согласие и счастье.

Что касается обеда, то он поистине восхитителен: все идет превосходно, все пребывают в наилучшем расположении духа, стараясь ублаготворить себя и других. Дедушка обстоятельнейшим образом описывает покупку индейки, делая небольшие отступления на тему о том, как приобретались другие рождественские индейки в предшествующие годы, а бабушка подтверждает его рассказ вплоть до мельчайших подробностей. Дядя Джордж рассказывает анекдоты, разрезает дичь, пьет вино, шутит с детьми, сидящими за приставным столом, подмигивает влюбленным кузинам и кузенам и умиляет всех своим радушием и веселостью. Когда же, наконец, в комнату входит толстая служанка, едва удерживая в руках гигантский пудинг, на макушке которого красуется ветка остролистника, то поднимается такой невообразимый крик и смех, дети так хлопают пухлыми ручонками и топают коротенькими толстыми ножками, что весь этот шум можно сравнить лишь с восторженными аплодисментами, которыми юные гости встречают поразительное зрелище, когда в сладкие пирожки вливается зажженный ром. А десерт! А вино! А сколько смеха! Какие произносятся превосходные речи! И что за песни поет муж тети Маргарет, оказавшийся весьма приятным молодым человеком и таким внимательным к бабушке! Что касается дедушки, то он не только с необыкновенным подъемом исполняет свою обычную песню, за что в соответствии с ежегодным ритуалом награждается единогласным «бис!», но даже выступает с новою песенкой, которой никому, кроме бабушки, еще не приходилось слышать, а юный проказник-кузен, которого дедушка и бабушка не слишком жаловали за некии тяжкие грехи — пренебрежение визитами и чрезмерное пристрастие к бэртонскому элю *,— до колик смешит всех презабавными комическими куплетами.

Так, среди мирного веселья проходит вечер, пробуждая в каждом из присутствующих больше любви к ближнему и укрепляя их сердечное расположение друг к другу на целый год сильнее, чем добрая половина проповедей, сочиненная доброй половиной всех священнослужителей на свете.

ГЛАВА III

Новый год

Если не считать рождества, мы бы назвали самым приятным календарным событием канун нового года. Правда, существует унылая порода людей, которые полагают, что встречать новый год необходимо с постными лицами, точно их пригласили быть плакальщиками на похоронах старого года. А нам кажется, что куда любезнее — как по отношению к уходящему старому году, так и к только что забрезжившему новому — провожать одного и встречать другого с весельем и ликованием.

В самом деле, не может же быть, чтобы за целый год не случилось ничего такого, о чем вспоминаешь с теплой улыбкой, а то и с чувством живой благодарности. Что же касается нового года, то и закон и простая справедливость велят нам относиться к нему как к честному малому, покуда он своим поведением сам не докажет, что недостоин оказанного ему доверия.

Таков наш взгляд на этот предмет, и потому, несмотря на все наше уважение к старому году, от которого с каждым нашим словом остается все меньше и меньше, в последние часы сего, тысяча восемьсот тридцать шестого года мы сидим подле камина и пишем эту нашу статеечку с самым развеселым лицом, словно ничего угрожающего нашему спокойствию не случилось и не должно вот-вот случиться.

По улице, одна за другой, в обоих направлениях мчатся кареты — собственные и наемные. Все они, разумеется, везут своих нарядных седоков на многолюдные веселые сборища; раздающийся поминутно громкий стук дверного молотка в доме с зелеными шторами через дорогу от нас возвещает на всю улицу, что там-то уж во всяком случае готовится большой бал; а перед этим, днем, сквозь оконное стекло и туман — покуда он не сделался таким густым, что пришлось потребовать свечи и задернуть занавески,— мы наблюдали, как приказчики от кондитера, со своими зелеными лотками на голове,

спешили в те многочисленные дома, где ежегодно справляется это торжество, и как туда же направлялись фургоны, груженные взятыми напрокат плетеными стульями и французскими лампами *.

Мы так ярко можем представить себе какой-нибудь такой новогодний вечер, словно это мы сами, одетые по всей форме, во фраке и в бальных туфлях, стоим сейчас у дверей гостиной и слышим, как лакей выкрикивает нашу фамилию.

Взять, к примеру, дом с зелеными шторами. Там затевается кадриль — мы это знаем, потому что нынче утром, когда мы еще сидели и завтракали, мы видели, как слуга сворачивал ковер в гостиной, выходящей окнами на улицу; а если одной улики мало и если говорить все начистоту, то мы еще подсмотрели только что, как одна из барышень причесывала другую возле окна спальни и при этом соорудила ей прическу такого неслыханного великолепия, что уже всякий сказал бы: быть кадрили!

Хозяин дома с зелеными шторами состоит на казенной службе — об этом говорит все: и крой его сюртука, и манера повязывать галстук, и самодовольная походка; в самих зеленых шторах так и чувствуется дух Сомерсет-Хауса *.

Но — чу! Кто-то приехал в кэбе! Из него выскакивает младший чиновник, служащий в том же ведомстве, что и хозяин дома; аккуратный молодой человек, подверженный простуде и мозолям, он сейчас в прихожей снимает башмаки с суконным верхом и вместо них надевает туфли, которые принес в кармане. В коридоре лакей называет его имя другому лакею, одетому в синий сюртук (и служащему курьером в той же канцелярии, что и хозяин).

Переодетый курьер обгоняет гостя на лестнице, останавливается в дверях гостиной и кричит:

— Мистер Тапл!

— А, Тапл, вот и вы,— говорит хозяин, покидая камин, перед которым он только что грелся и разглагольствовал о политике.

— Моя дорогая, это мистер Тапл (хозяйка дома любезно приветствует гостя). Тапл — моя старшая дочь;

Джулия, дорогая моя, это мистер Тапл; Тапл — мои младшие дочки, а это — мой сын.

Пока Тапла знакомят с членами семейства, он потирает руки, улыбается, словно ему чрезвычайно весело, без конца кланяется на все стороны и, плавно опустившись, наконец, на стул подле дивана, вступает с барышнями в непринужденную беседу о погоде, театрах, о событиях старого года, о последнем убийстве, воздушных шарах, новом фасоне дамского рукава, балах нынешнего сезона — словом, о всякой всячине.

Опять стучат! Сколько, однако, гостей! Какой несмолкаемый гул голосов! Как дружно все потягивают кофе! Мысленным взором мы сейчас видим Тапла во всем его великолепии. Вот он принимает из рук толстой старой дамы пустую чашку и вручает ее лакею, а вот, пробившись сквозь гущу молодых людей, толпящихся в дверях, успевает перехватить другого лакея и взять у него блюдо с горячими пышками для дочери той же старой дамы; на обратном пути он проходит мимо дивана и не забывает кинуть барышням дружески-покровительственный взгляд, в котором к тому же столько ласковой фамильярности, что можно подумать, будто он каждую из них на руках качал.

Какая прелесть — этот мистер Тапл! Как он умеет обращаться с дамами и притом какой забавный! И как любит смеяться — ни на кого никогда папенькины шутки так не действовали, как на мистера Тапла; с беднягой прямо-таки судороги делаются при каждой свежей вспышке папенькиного остроумия. А в танцах какой любезный кавалер — готов болтать всю кадриль напролет! Пусть он на первый взгляд и покажется, может быть, легкомысленным там или ветреным, на самом деле он чрезвычайно романтичен и ужас как чувствителен! Душка, да и только! Мужчины, те, конечно, не слишком его обожают, насмехаются над ним и всячески пытаются выказать свое к нему пренебрежение. Ну, да кто не понимает, что все это — зависть и ничего больше, и напрасно они только силятся умалить его достоинства, все равно маменька сказала, что будет приглашать его на все званые обеды — уже затем хотя бы, что он может занимать гостей разговором во время смены блюд,

на случай какой-нибудь непредвиденной заминки на кухне.

За ужином мистер Тапл превосходит самого себя, и когда папенька предлагает всем поднять бокалы за счастье в наступающем новом году, мистер Тапл — такой забавник, право! — настаивает на том, чтобы всем барышням наполнили бокалы, несмотря на самые положительные их заверения в том, что они никогда, ни за что и ни под каким видом не в состоянии осушить их. А потом, когда он попросил разрешения у общества прибавить два-три словечка к тем, что произнес папенька, какой же великолепной, какой поэтичной разразился он речью на тему о старом и новом годе! Но вот бокалы осушены, дамы удаляются в гостиную, и мистер Тапл просит джентльменов сделать ему одолжение и наполнить свои бокалы, ибо он хочет провозгласить тост. С криками «браво! браво!» джентльмены передают друг другу графины с вином, и Тапл, после того как хозяин заверил его в полной готовности гостей, встает и держит речь. Он просит собравшихся здесь джентльменов вспомнить, с каким восхищением взирали они только что на красоту и грацию, столь блистательно представленные сегодня в гостиной; вспомнить, как всего несколько мгновений назад здесь, в этой комнате, все их чувства были приведены в смятение, а сердца околдованы этим поистине очаровательным собранием женских достоинств. (Громкие возгласы «браво!».) Как ни склонен он, Тапл, всячески оплакивать отсутствие дам, вместе с тем он не может не черпать некоторого утешения в мысли, что, с другой стороны, благодаря именно этому обстоятельству он и в состоянии предложить тост, который иначе бы он не осмелился произнести... Итак, с разрешения присутствующих, вот его тост: «За милых дам!» (Бурные аплодисменты.) За милых дам! — среди которых пленительные дочери гостеприимного хозяина выделяются своей красотой, изяществом, талантами. Он просит каждого осушить свой бокал «за милых дам, за то, чтобы новый год принес им новое счастье!» (Долго несмолкающая овация, отнюдь не заглушающая, впрочем, шума, который явственно доносится сверху, где дамы, оставшись наедине, отплясывают падеспань.)

Не успели смолкнуть аплодисменты, вызванные последним тостом, как сидящий в конце стола молодой человек в розовой жилетке начинает как-то странно суетиться и егозить, выказывая все признаки скрытого желания излить свои чувства в застольной речи, однако недремлющий Тапл тут же решает предупредить его. И вот он снова поднимается и с важной торжественностью высказывает надежду, что ему разрешат провозгласить еще один тост. (Гул безоговорочного одобрения, после чего мистер Тапл продолжает). На всех здесь присутствующих — он в этом ничуть не сомневается — произвело глубочайшее впечатление, радушие, можно сказать — великолепие, с каким их сегодня принимают хозяин и хозяйка дома. (Гром аплодисментов.) Хотя сам он до настоящего случая ни разу не имел удовольствия и счастия сидеть за этим столом, тем не менее друга своего, Добла, он знает давно, и знает хорошо; общее дело давно уже связывает его, Тапла, с Доблом, и он, Тапл, был бы счастлив, если бы все здесь присутствующие знали Добла так же хорошо, как знает его он, Тапл (хозяин крякает). Он, Тапл, положа руку на сердце, хотел бы высказать свое глубочайшее убеждение в том, что лучшего человека, отца, брата, сына, словом — лучшего родственника, о какой бы степени родства ни шла речь, чем Добл, на свете не было и нет! (Громкие крики «браво!».) Сегодня мы его наблюдаем в мирном лоне семьи; но надо его видеть утром, когда его обступают должностные заботы. Невозмутимый за чтением утренних газет, он непреклонной рукой ставит свою подпись на служебных бумагах, с достоинством отвечает посетителям, почтителен к старшим чинам и величав в своих сношениях с курьерами! (Овация.) Принеся эту вполне заслуженную хвалу прекрасным качествам своего друга Добла, где обретет он слова для такой особы, как миссис Добл? Прилично ли ему распространяться о качествах этой замечательной женщины? Нет. Он пощадит чувства своего друга Добла; он пощадит чувства нового своего друга — если мистер Добл-младший позволит ему, Таплу, так называть себя (тут мистер Добл-младший, который на протяжении всей речи пытался расширить естественные границы своего рта с помощью отменно крупного

апельсина, временно прерывает это занятие и принимает приличествующий случаю вид глубокой меланхолии). Он ограничится тем, что выскажет свое убеждение, которое все здесь присутствующие несомненно разделяют, что друг его мистер Добл настолько же нравственно выше всякого мужчины, какого ему, Таплу, когда-либо доводилось знавать, насколько миссис Добл превосходит всех женщин (за исключением лишь собственных своих дочерей), каких он, Тапл, встречал на своем веку. Итак, в заключение он предлагает выпить за здоровье «хозяина и хозяйки, пожелав им много-много счастливых встреч Нового года на их жизненном пути!»

С шумным одобрением гости пьют здоровье хозяев; Добл произносит несколько слов благодарности в ответ, и все присоединяются к дамам. Молодые люди, которым до ужина робость мешала принимать участие в танцах, теперь обретают дар речи и приглашают дам; музыканты выказывают самые недвусмысленные признаки того, что успели встретить Новый год еще до встречи с танцорами, и танцы длятся до утра.

Едва дописали мы последнее слово, как с ближних колоколен послышался первый удар, возвещающий полночь. Признаться, звук этот в самом деле внушает трепет. Строго говоря, в эту ночь колокол звучит не более внушительно, чем во всякую другую, ибо часы всегда мчатся с одинаковой стремительностью, только обычно мало кто обращает внимание на бег времени. Но мы привыкли измерять человеческую жизнь годами,— поэтому звук колокола приобретает особенную торжественность в новогоднюю ночь, напоминая нам о том, что мы миновали еще одну веху на своем пути к могиле. И как бы мы ни гнали от себя эту мысль, она упорно нас преследует — мысль о том, что, когда колокол еще раз возвестит о наступлении нового года, мы, быть может, будем уже равно безучастны и к предостережению, которому мы привыкли так небрежно внимать, и к тем теплым чувствам, которые в настоящую минуту переполняют наше сердце.

ГЛАВА IV

Мисс Эванс и Орел

Мистер Сэмюел Уилкинс — столяр, работающий поденно,— был маленький человечек, много ниже среднего роста; можно сказать, почти карлик. Лицо имел круглое и сияющее, как медный грош, а волосы тщательно зачесывал так, что на виски спускалось по завитку того фасона, который делает мужчину неотразимым. Зарабатывал он от восемнадцати шиллингов до одного фунта и пяти шиллингов в неделю — вполне достаточно для покрытия всех насущных нужд, отличался превосходными манерами, а его праздничные жилеты могли просто с ума свести. Надо ли удивляться, что, обладая такими достоинствами, Сэмюел Уилкинс пользовался неизменным успехом у прекрасного пола: женщин нередко пленяют и куда менее основательные качества. Однако Сэмюел не поддавался никаким чарам до тех самых пор, пока не заглянул в глаза одного прелестного создания и не проникся уверенностью, что судьба предназначила их друг для друга. Он пришел и победил, сделал предложение и получил согласие, таял от любви и был любим. Мистер Уилкинс стал женихом Джемаймы Эванс.

Мисс Эванс (или Ивинс, как принято было выговаривать в кругу ее знакомых) еще в ранней юности посвятила себя весьма полезному занятию, а именно — отделке домашних туфель, к чему впоследствии присовокупила изготовление соломенных шляп. Дружный квартет, состоявший из нее самой, ее родительницы и двух сестер, проживал в самой уединенной части Кемден-Тауна; и вот туда-то и явился мистер Уилкинс однажды под вечер, в понедельник, принаряженный, в ослепительном жилете и еще более сияющий, чем всегда. Семейство уже сидело за чайным столом и — ах, как все ему обрадовались! Угощенье было отличное: две унции сыру ценой в семь с половиной шиллингов и четверть фунта несоленого масла; мистер Уилкинс, со своей стороны, чтобы сделать трапезу более пикантной и заодно улестить будущую тещу, прихватил пинту креветок, аккуратно завернутых в чистый платок. Джемайма еще «наводила кра-

соту» в своей комнате, поэтому мистер Сэмюел Уилкинс подсел к миссис Ивинс и пустился с ней в рассуждения о домашней экономии, покуда младшие сестры Ивинс просовывали в каминную решетку зажженные жгутики оберточной бумаги, поддерживая огонь, на котором должен был вскипеть чайник.

«Хочу нынче свести Джемайму в «Орел»,— объявил Сэмюел Уилкинс, когда в разговоре наступила пауза. «Ах, боже мой!» — воскликнула миссис Ивинс. «Как хорошо!» — проворковала младшая мисс Ивинс. «Как мило!» — подхватила средняя сестра. «Беги, Тилли, скажи Джемайме, пусть наденет белое платье!» — крикнула взволнованная мать, и немного погодя сверху спустилась сама Джемайма в белом муслиновом платье, застегнутом на все крючочки, пунцовой косынке, заколотой множеством булавок, белой соломенной шляпке, отделанной пунцовыми лентами, с бусами на шее, широким браслетом на каждом запястье, в прюнелевых туфельках и ажурных чулках, белых нитяных перчатках и с изящно сложенным батистовым платочком в руке, словом — все, как полагается в самом лучшем обществе. И вот они отправились — мисс Джемайма, мистер Сэмюел Уилкинс и его нарядная тросточка с позолоченным набалдашником,— возбуждая восхищение и зависть всей улицы и провожаемые горделивыми взорами миссис Ивинс и ее младших дочерей. Не успели они свернуть на Панкрасроуд, как вдруг — приятный сюрприз! — перед мисс Джемаймой очутилась знакомая девица и состоявший при ней молодой человек, и — бывают же такие совпадения! — оказалось, что они тоже идут в «Орел». Мистера Уилкинса и кавалера приятельницы мисс Джемаймы представили друг другу, после чего обе парочки вместе продолжали путь, весело болтая, смеясь и перекидываясь шутками; а когда дошли до Пентонвилла, кавалер приятельницы мисс Джемаймы стал уговаривать девиц выпить фруктового сиропу с ромом в кофейне «Корона»; те долго хихикали, краснели, прятали лица в носовые платочки, но, наконец, уступили. Отведав сего напитка, они охотно согласились выпить еще; и все четверо, расположившись в садике при кофейне, прихлебывали сироп с ромом и поглядывали на проезжающие мимо

омнибусы, пока не настало время идти в «Орел»; тут они поднялись и быстрым шагом отправились дальше, потому что боялись опоздать к началу концерта в Ротонде.

«Какая прелесть!» — в один голос воскликнули мисс Джемайма и приятельница мисс Джемаймы, когда они, миновав ворота, очутились за оградой. Тут были чудесные дорожки, посыпанные гравием и обсаженные кустами, и ларьки с прохладительными напитками, размалеванные и разукрашенные не хуже табакерок, и разноцветные фонари, изливающие яркий свет на головы посетителей, и натертая мелом площадка для танцев, готовая принять ноги посетителей, и в одном конце сада играл негритянский оркестр, а в другом конце наяривал духовой. Официанты сновали взад и вперед, разнося стаканы глинтвейна и стаканы грога, бутылки эля и бутылки портера; и где-то вылетела пробка из бутылки имбирного лимонада, а еще где-то слышался громкий хохот, и толпы людей устремлялись к дверям Ротонды; короче говоря, здесь было, как выразилась мисс Джемайма, упоенная непривычным зрелищем или сиропом с ромом, или и тем и другим,— «безумно весело». А что до Ротонды, то ничего роскошней этой концертной залы и быть не могло. Сцена так и сверкала яркими красками, позолотой и зеркальными стеклами; а уж орган! Он стоил четыреста фунтов, как шепотом сообщил кавалер приятельницы мисс Джемаймы, и мистер Сэмюел Уилкинс заметил, что это даже и недорого, с чем обе девицы немедля согласились. Публика сидела и на скамьях, стоявших на возвышении у стен, и повсюду, где удавалось пристроиться, и все ели и пили в полное свое удовольствие. Перед самым началом концерта мистер Сэмюел Уилкинс заказал два стакана рома с водой — покрепче — и два ломтика лимона для себя и для своего нового приятеля, а для девиц — пинту хереса и сладкого печения с тмином; и компания чувствовала бы себя как нельзя лучше, если бы какой-то незнакомый мужчина с пышными бакенбардами не таращил глаза на мисс Джемайму Ивинс, а другой мужчина, в клетчатом жилете, не подмигивал приятельнице мисс Джемаймы Ивинс, отчего кавалер оной девицы начал понемногу закипать, бормоча сквозь зубы «есть же такие нахалы» и «шляются сюда всякие ферты»,



и даже намекнул, в туманных выражениях, что не прочь кое-кому оторвать голову; он несомненно хотел высказаться куда яснее, но обе девицы пригрозили, что, ежели он скажет еще хоть слово, они тут же упадут в обморок.

Концерт начался органной музыкой. «Как торжественно!» — воскликнула мисс Джемайма, покосившись, быть может нечаянно, на мужчину с бакенбардами. Мистер Сэмюел Уилкинс, который уже несколько минут ворчал что-то вполголоса, ни на кого не глядя, как будто вел конфиденциальную беседу с позолоченным набалдашником своей трости, тяжело перевел дух и облизал губы, точно от жажды — быть может, жажды мести,— но не сказал ничего. Мисс такая-то в белом атласном платье спела «Усталый воин». «Бис!» — крикнула приятельница мисс Джемаймы. «Бис!» — немедля завопил мужчина в клетчатом жилете, стуча по столу пивной бутылкой. Кавалер приятельницы мисс Джемаймы смерил обладателя клетчатого жилета презрительным взглядом и с сомнением посмотрел на мистера Сэмюела Уилкинса. Были исполнены комические куплеты под аккомпанемент органа. Мисс Джемайма Ивинс хохотала до упаду — хохотал и мужчина с бакенбардами. Что бы ни делали девицы — клетчатый жилет и пышные бакенбарды делали то же, выражая таким образом единство мыслей и сродство душ; и мисс Джемайма Ивинс и приятельница мисс Джемаймы Ивинс становились все разговорчивее и оживленнее, а мистер Сэмюел Уилкинс и кавалер приятельницы мисс Джемаймы, в обратной пропорции, все более мрачнели и замыкались в себе.

Вероятно, если бы дело этим и кончилось, в маленькой компании очень скоро снова воцарилось бы безмятежное веселье; но мистер Сэмюел и его приятель то и дело бросали вызывающие взгляды на жилет и бакенбарды. А жилет и бакенбарды в свою очередь, дабы показать, что оные взгляды нимало их не трогают, усиленно пялили глаза на мисс Джемайму и ее приятельницу. Концерт кончился, кончился и водевиль, и все четверо вышли в сад. Клетчатый жилет и пышные бакенбарды последовали за ними, вслух отпуская одобрительные замечания по поводу ножек мисс Джемаймы и ее приятельницы. Наконец, не довольствуясь уже совершен-

ными вопиющими злодеяниями, они прямо подошли к обеим девицам и пригласили их танцевать, не обращая ни малейшего внимания на мистера Сэмюела Уилкинса и на кавалера приятельницы мисс Джемаймы, точно их здесь вовсе и не было.

«Что это значит, негодяй?» — вскричал мистер Сэмюел Уилкинс, крепко сжимая в правой руке трость с позолоченным набалдашником. «А ты куда лезешь, урод?» — ответили бакенбарды. «Как вы смеете оскорблять меня и моего друга?» — вопросил приятель мистера Сэмюела Уилкинса. «Иди к черту вместе со своим другом!» — ответствовал жилет. «Вот тебе!» — крикнул мистер Сэмюел Уилкинс, замахиваясь тростью, но в то же мгновение она высоко взлетела над толпой, сверкнув под разноцветными фонарями железным острием и позолоченным набалдашником. «Задай ему»,— сказал клетчатый жилет. «Караул!» — завизжали девицы. Оба их кавалера чуть живые лежали на земле, а жилет и бакенбарды скрылись в неизвестном направлении.

Мисс Джемайма и ее приятельница, чувствуя, что в разыгравшемся скандале повинны прежде всего они сами, естественно, тут же закатили истерику; горько рыдая, они объявили, что оскорблены до глубины души; как могли про них подумать — о, какая несправедливость! Есть ли на свете женщины несчастнее их! Стоило им открыть глаза и увидеть своих злополучных поклонников, как они сызнова принимались плакать и причитать; наконец, девиц развезли по домам в наемной карете и в состоянии невменяемости, до коего их довели и сироп с ромом, и херес, и чрезмерное волнение.

ГЛАВА V

Трактирный оратор

Однажды вечером, совершая прогулку по Оксфорд-стрит, Холборну, Чипсайду, Коулмен-стрит, Финсбери-скверу и так далее с намерением вернуться в западную часть Лондона через Пентонвилл и Нью-роуд, мы вдруг

ощутили сильную жажду и потребность отдохнуть пять — десять минут. Посему, вспомнив, что мы только что миновали старинный, тихий, приличный трактир (неподалеку от Сити-роуд), мы повернули назад, дабы подкрепиться стаканчиком эля. Это был не какой-нибудь модный ярко освещенный дворец с лепными потолками и лакированной мебелью, а скромный старозаветный трактир с старепьким буфетом и с маленьким старепьким хозяином, который вместе с женой и дочкой себе под стать удобно расположился в вышеупомянутом буфете — уютной комнатке, где веселый огонь пылал в камине, отгороженном ширмой; из-за нее, когда мы объявили о своем желании выпить стаканчик эля, появилась означенная барышня.

— Может быть, вы пройдете в залу, сэр? — умильно сказала барышня.

— Вам будет удобнее в зале, сэр,— сказал старенький хозяин, отодвигая кресло и выглядывая из-за ширмы, чтобы обозреть нашу наружность.

— Вам будет гораздо удобнее в зале, сэр,— сказала маленькая старушка, высовывая голову с другой стороны ширмы.

Мы посмотрели вокруг, как бы выражая свою неосведомленность в месторасположении столь горячо рекомендуемого помещения. Старенький хозяин заметил наш взгляд; он просеменил через низенькую дверь низенького буфета и ввел нас в залу.

Мы очутились в старинной сумрачной комнате с высоким камином, дубовыми панелями и полом, посыпанным песком. Стены были украшены несколькими старыми цветными литографиями в черных рамках. Каждая литография изображала морское сражение: два фрегата что есть мочи расстреливают друг друга, на заднем плане взлетает на воздух еще один корабль, а иногда и два; передний же план являет собой пеструю смесь обломков, среди которых из воды торчат ноги в синих матросских штанах. В центре комнаты с потолка свисали газовая люстра и сонетка; по сторонам тянулось несколько узких столов, за которыми виднелся тесный ряд скользких, отполированных долгим употреблением деревянных стульев, составляющих непременную принадлежность

такого рода заведений. Унылое однообразие посыпанных песком половиц там и сям нарушалось плевательницей; две пирамиды этих полезных предметов украшали ближние углы залы.

За дальним столом, рядом с камином, лицом к двери, сидел плотный мужчина лет сорока; короткие завитки черных жестких волос обрамляли его обширный лоб и лицо, обязанное своей несколько излишней краснотой не только воде и свежему воздуху. Он курил сигару, устремив глаза к потолку, и его самоуверенный вид красноречиво говорил о том, что это здешний признанный знаток в области политики, непогрешимый оракул и всезнающий рассказчик. Судя по всему, он только что произнес какую-то вескую тираду, ибо его собеседники с торжественной сосредоточенностью попыхивали трубками и сигарами, словно подавленные величием вопроса, который они только что обсуждали.

По правую его руку сидел убеленный сединами старец в широкополой коричневой шляпе; по левую — остроносый блондин в коричневом сюртуке до пят, после каждой затяжки бросавший на краснолицего восхищенные взгляды.

— Чудеса! — сказал блондин после пятиминутной паузы. В ответ послышался одобрительный ропот.

— Никаких чудес — никаких! — сказал краснолицый, неожиданно пробуждаясь от размышлений и набрасываясь на блондина, едва тот заговорил.— Почему чудеса? С какой стати чудеса? Докажите, что это чудеса!

— Коли на то пошло...— робко сказал блондин.

— На то пошло! — воскликнул мужчина с красным лицом.— Конечно, на то пошло. Мы в наше время стоим на ровной возвышенности интеллектуального совершенства, а не в темной пещере умственного убожества. В наши бурные времена я требую доказательств — да, доказательств, а не утверждений. Каждый джентльмен, который меня знает, знает, каковы были природа и следствие моих замечаний, когда Олдстритское Пригородное Общество Подыскания Представителей собиралось рекомендовать кандидата от... не помню, какого местечка в Корнуолле. «Мистер Сноби,— говорит мистер Уилсон,— самый подходящий человек, чтобы представлять этот

округ в парламенте».— «Докажите это»,— говорю я. «Он — сторонник Реформы»,— говорит мистер Уилсон. «Докажите это»,— говорю я. «Он борец против национального долга, стойкий противник пенсий, непреклонный защитник негров; он стоит за сокращение синекур и парламентских сессий; он согласен на увеличение только одного — числа избирателей»,— говорит мистер Уилсон. «Докажите это»,— говорю я. «Это доказывают его дела»,— говорит он. «Докажите *их*»,— говорю я.

— И он не смог доказать их,— объявил краснолицый, победоносно оглядывая своих слушателей,— и округ не выдвинул Сноби; и если бы вы применяли этот принцип неуклонно, не было бы у вас ни долга, ни пенсий, ни синекур, ни негров, ни вообще ничего. А потом, стоя на возвышенности интеллектуального совершенства и достигнув вершины народного благосостояния, вы могли бы бросить смелый вызов всем нациям мира и воздвигнуться в гордом сознании своей мудрости и превосходства. Вот мой принцип — мой неколебимый принцип,— и стань я завтра членом палаты общин, они бы все у меня там затряслись! — И краснолицый, громко стукнув по столу кулаком, чтобы подкрепить свое заявление, задымил, как пивоварня.

— Да! — медленно и тихо начал остроносый, обращаясь ко всем присутствующим.— Недаром я говорю, что из всех джентльменов, с которыми я имею удовольствие встречаться в этой комнате, нет ни одного, кого было бы приятнее слушать, чем мистера Роджерса,— общение с ним так поучительно!

— Поучительно! — сказал мистер Роджерс (такова, по-видимому, была фамилия краснолицего).— Вы вправе говорить, что общение со мной поучительно — я вас всех поучал и кое-чему научил, хотя так ли приятно меня слушать, как уверяет мой друг мистер Эллис,— не мне об этом говорить. Об этом вам судить, джентльмены; скажу одно: когда я поселился в этом приходе и впервые посетил эту комнату десять лет назад, в ней, думается мне, не было ни одного человека, который сознавал бы, что он — раб, а теперь вы все чувствуете свои оковы — и изныиваете. Напишите это на моей гробнице — и я буду доволен.

— На гробнице,— сказал низенький круглолицый зеленщик,— там, конечно, пишите что хотите, если вам денег не жалко, да только про себя и свои дела, а вот разговоры о рабах и угнетениях держите при себе, потому что мне вот, например, не нравится, чтобы меня такими вот словами обзывали каждый вечер.

— А вы и есть раб,— сказал краснолицый,— и самый жалкий из рабов.

— Вот не повезло-то! — перебил его зеленщик.— Мне ведь никакой пользы не было от тех двадцати миллионов, которые заплатили за ихнее освобождение *.

— Добровольный раб! — воскликнул краснолицый, багровея еще больше под влиянием возражений и собственной риторики.— Лишающий своих детей их самых святых прав, глухой к священному зову Свободы, которая с мольбой простирает к вам руки, взывает к наипламеннейшим чувствам вашего сердца и указывает на ваших беспомощных малюток, но тщетно!

— Докажите это,— сказал зеленщик.

— Доказать! — язвительно фыркнул человек с красным лицом.— Как! Задыхаясь под игом надменной и кастовой олигархии, придавленный силой неправых законов; стонущий под ярмом тирании и угнетения везде, кругом и повсюду... Доказать! — Краснолицый вдруг смолк, трагически усмехнулся и скрыл свое лицо и негодование в пивной кружке.

— Вот, вот, мистер Роджерс,— сказал толстый маклер в широком жилете, не спускавший глаз с этого светоча премудрости все время, пока тот говорил.— Вот, вот,— сказал маклер со вздохом.— В самую точку.

— Конечно, конечно,— поддержали другие слушатели, которые поняли во всем этом ровно столько же, сколько и маклер.

— Лучше не трогай его, Томми,— посоветовал маклер зеленщику,— он такой: скажет, который час по стенным часам, не глядя на стрелку, уж он такой. Выбери кого-нибудь другого, с ним тебе не совладать, Томми.

— Что есть человек? — продолжала краснолицая особь этого вида, негодующе сдергивая с вешалки свою шляпу.— Что есть англичанин? Так и будут топтать его всякие тираны? Так и будет сбивать его с ног, кто

захочет? Что есть свобода? Это не есть постоянная армия. Что есть постоянная армия? Это не есть свобода. Что есть всеобщее счастье? Не всеобщее горе. Вольность — это не налог на окна. Разве не так? Палата лордов — не палата общин. Разве не так? — И краснолицый, разразившись запутанной фразой, в которой заметнее всего были такие прилагательные, как «подлый», «тиранический», «насильственный» и «кровавый», негодующе нахлобучил шляпу на глаза, вышел из комнаты и с треском захлопнул дверь.

— Удивительный человек! — сказал обладатель острого носа.

— Замечательный оратор! — добавил маклер.

— Какая сила! — сказали все, кроме зеленщика. И, сказав это, каждый глубокомысленно покачал головой; затем они удалились поодиночке, оставив нас одних в старой зале.

Если бы мы последовали установившейся традиции, мы тут же погрузились бы в размышления. Комната, дышащая стариной, старинные панели на стенах, камин, почерневший от дыма и времени, перенесли бы нас в прошлое, по крайней мере на столетие назад, и мы продолжали бы грезить, пока оловянная кружка на столе или вертел в очаге не ожили бы и не поведали нам длинную историю о давно минувших днях. Но мы почему-то не были настроены романтически, и хотя изо всех сил пытались наделить мебель душой, она оставалась безжизненной, неподвижной и угрюмой. Оказавшись, таким образом, перед неприятной необходимостью размышлять о делах обыкновенных, мы обратили свои мысли к человеку с красным лицом и его склонности к витийству.

Племя краснолицых многочисленно; каждый трактир, каждый клуб, каждое благотворительное общество, каждое, даже самое скромное собрание имеет своего краснолицего. Это — слабоумные болваны, приносящие только вред тому делу, которому они служат, как бы хорошо оно ни было. И вот, чтобы дать образчик, по которому можно было бы узнавать остальных, мы поспешили создать его портрет и поместить его сюда. Поэтому мы и написали этот очерк.

ГЛАВА VI

В больнице

В наших прогулках по вечернему Лондону мы частенько задерживаемся под окнами какой-нибудь городской больницы, пытаясь представить себе те мрачные и печальные события, которые, по всей вероятности, происходят в ту минуту за ее стенами. Вот из одного окошка бросила слабый луч свой свеча, вот свет ее уже в другом окне — мелькнул на мгновение и скрылся,— верно, свечу понесли в глубь комнаты, к постели одного из страждущих, и это внезапное перемещение свечи рождает целый рой мыслей. А тусклый свет ночника? Когда кругом все погрузилось во мрак и охвачено сном, неяркое его мерцание в окне напоминает нам о том, что здесь люди корчатся от невыносимой боли или медленно угасают от изнурительного недуга; одного взгляда на это окно довольно, чтобы прекратить самый буйный приступ веселья.

Не передать всей муки томительно влекущихся часов, безмолвие которых прерывается лишь бессвязным бредом соседа по койке, впавшего в лихорадочное забытье, да глухим стоном боли, да, быть может, еще невнятным бормотаньем умирающего, вспомнившего вдруг какую-нибудь давно забытую молитву. Лишь тот, кто испытал это сам, может представить себе то чувство бескрайнего одиночества, которое охватывает человека, брошенного, в час тяжкого недуга, среди чужих. В самом деле, разве может чужая рука, пусть самая нежная, отереть его взмокший лоб или оправить сбившуюся постель так, как сделает это рука матери, жены или родной дочери?

Под впечатлением этих мыслей удаляемся мы от больницы, и вид одиноких и жалких фигур, бредущих по пустеющим улицам, отнюдь не выводит нас из грустного нашего настроения. Больница —место, где находят приют и покой сотни людей, которые иначе умирали бы прямо на улице или где-нибудь в подворотне. И все же, что должен перечувствовать иной из этих отверженных, лежа на больничной койке, без всякой почти надежды на выздоровление? Несчастная женщина, которая до глубокой



ночи маячит на панели, или мужчина — вернее, убогая обглоданная нищетой и пьянством тень того, что некогда было мужчиной,— который ютится где-нибудь под выступом окна, спасаясь от дождя — казалось бы, им-то, им что цепляться за жизнь? Но и умирать несладко: ибо, умирая, они оглядываются на пройденную жизнь и не на чем отдохнуть душе. Какой прок человеку в том, что он обрел постель и крышу над головой — роскошь, на которую он и не рассчитывал,— что ему до всего этого, когда перед его духовным взором проносится вся его загубленная жизнь, когда всякая мысль о раскаянии кажется пустой насмешкой, все сожаления — запоздалыми?

Примерно год тому назад, прогуливаясь по Ковент-Гардену (а надо сказать, что накануне мы как раз предавались этим грустным размышлениям), мы обратили внимание на весьма привлекательный экземпляр карманного воришки: он только что отклонил предложение следовать в полицейский участок, обосновав свой отказ полнейшим отсутствием какого-бы то ни было желания туда идти. Поэтому его, к вящему удовольствию толпы, везли туда на тачке.

Почему-то так получается, что, завидя толпу, мы непременно должны в нее влиться. Вот и тут, мы повернули вспять и вместе с прочим народом ввалились в участок вслед за нашим другом карманником, двумя полицейскими и всеми чумазыми зрителями, какие успели туда протиснуться.

Шел допрос какого-то молодого человека атлетической и не слишком приятной наружности, обвинявшегося в довольно обыденном проступке, а именно в том, что прошлой ночью он нанес побои женщине, с которой проживал в одном из переулков неподалеку от участка. Опрошенные свидетели показали, что он повинен в самых грубых и зверских поступках, после чего было выслушано заключение врача ближайшей больницы, в котором описывался характер увечий, нанесенных женщине, и высказывалось сомнение в том, что пострадавшая выживет.

Тут, видимо, понадобилось произвести формальное опознание личности обвиняемого — во всяком случае было постановлено: в восемь часов вечера, когда в боль-

ницу отправятся два полицейских чиновника, чтобы опросить пострадавшую, взять с собой туда и его. Услышав об этом решении, арестант побледнел, и мы заметили, что пальцы его судорожно впились в барьер. Его, впрочем, тут же увели, и он не проронил ни слова.

Как это ни странно,— мы ведь понимали, что сцена предстоит тяжелая,— но нам непременно хотелось присутствовать при этой встрече. Без особого труда получив на то разрешение, мы им воспользовались.

В больнице мы уже застали арестанта с конвойным: в маленькой каморке под лестницей они поджидали чиновников. Арестант был в наручниках, надвинутая на самый лоб шляпа скрывала его глаза. Тем не менее нетрудно было заметить — по бледности, покрывавшей его щеки, и по судорожному подергиванию уголков рта,— что он боялся предстоящей встречи. Вскоре врач и два каких-то молодых человека, распространявших вокруг себя сильный аромат табака,— нам их представили как санитаров,— с поклоном ввели в комнату чиновников и писаря, и после того как один из чиновников выразил свое негодование по поводу стужи, а второй — по поводу отсутствия каких-либо новостей в вечерних газетах, им объявили, что можно пройти к больной. Нас провели в палату «несчастных случаев», где она лежала.

Тусклый свет не ослаблял, а напротив, как бы подчеркивал то жуткое впечатление, которое производил вид этих злополучных созданий на больничных койках, в два длинных ряда тянувшихся вдоль стен просторной палаты. На одной койке лежал ребенок, весь забинтованный: его вытащили, еле живого, из огня; на другой, исступленно колотя кулаками по одеялу, металась от невыносимой боли женщина со страшно обезображенным вследствие какой-то катастрофы лицом; на третьей вытянулась, в том тяжелом оцепенении, которое так часто бывает предшественником смерти, молодая девушка: лицо ее было в крови, грудь и плечи перевязаны широким полотняным бинтом. Две-три койки пустовали, и рядом с ними, на стульях, сидели их обитательницы, но с такими изможденными лицами, с таким нестерпимым стеклянным блеском в глазах, что страшно было встретить их

взгляд. Печать муки и страдания лежала на каждом лице.

Та же, ради которой мы сюда пришли, оказалась в конце комнаты. Это была миловидная молодая женщина лет двадцати двух или трех. Длинные черные волосы, местами — возле ран, пришедшихся на голову,— выстриженные, струились беспорядочными, неровными и спутанными прядями по подушке. Зловещие следы побоев виднелись и на лице, но она держала руку чуть пониже груди, слева, словно там-то и гнездилась самая боль. Она дышала тяжело и прерывисто, и было ясно, что дышать ей оставалось совсем недолго. Она пролепетала что-то в ответ на вопрос полицейского чиновника, сильно ли она страдает, и когда сиделка приподняла ее на подушках, устремила невидящий взгляд на незнакомые лица, окружившие ее постель. Чиновник кивнул конвойному, чтобы тот подвел арестанта. Его привели и поставили у самой постели. Девушка стала всматриваться. Смятение и тревога изобразились на ее лице, но в глазах у нее уже темнело, она не узнала его.

— Снимите с него шляпу,— приказал чиновник. Конвойный исполнил приказание, и теперь лицо арестанта было хорошо видно.

Девушка внезапно приподнялась в постели — непонятно, откуда только силы взялись! В мутных глазах ее сверкнул огонь, и кровь прилила к бледным, запавшим щекам. Это был судорожный порыв. Она снова упала на подушки и, закрыв лицо, сплошь покрытое царапинами и кровоподтеками, разрыдалась. Арестант метнул на нее тревожный взгляд, однако больше ничем не проявил своего волнения. Дав девушке немного успокоиться, ей объяснили суть дела и привели ее к присяге.

— Да нет же, господа,— проговорила девушка, снова приподнявшись и молитвенно сложив руки.— Ради бога, господа, не думайте этого! Это я сама... Никто не виноват... Это несчастный случай. Он меня не бил. Он не стал бы бить меня ни за что на свете. Джек, милый Джек, правда ведь, не стал бы?

Глаза ее уже ничего не различали, она стала шарить рукой по одеялу, стремясь нащупать его руку. Даже

такое чудовище, как он, не в силах был вынести это спокойно. Он отвернулся и заплакал. Девушка между тем побледнела сильнее прежнего и стала задыхаться. Она умирала.

— При всем своем уважении к чувствам, которые движут вами,— сказал тот же чиновник,— позвольте все же напомнить, что вам следовало бы, покуда не поздно, отказаться от вашего заведомо ложного заявления. Его оно все равно не спасет.

— Джек,— пролепетала девушка и коснулась его руки.— Им не уговорить меня — я ни за что тебя не погублю. Нет, господа, он ни в чем не виноват. Он меня не трогал.— Она крепко стиснула его руку и прибавила прерывающимся шепотом: — Да простит мне господь бог все мои прегрешения и неправедную мою жизнь. Благослови тебя бог, Джек. Господа... кто-нибудь... будьте добры, передайте мой прощальный привет моему бедному старику отцу. Пять лет тому назад он сказал: «Зачем ты не умерла еще в детстве?» Ах, зачем? Зачем?

Сиделка наклонилась над умирающей, и через несколько секунд закрыла ей лицо простыней. На постели лежал труп.

ГЛАВА VII

Неудачная любовь мистера Джона Даунса

Если бы нам довелось составлять классификацию общества, то один особый род людей мы сразу отнесли бы к рубрике «старых гуляк», причем для этой рубрики потребовался бы очень длинный столбец. Каким именно причинам следует приписать рост этой части населения, мы определить не беремся. На этот счет можно было бы построить весьма интересную и любопытную теорию, однако за недостатком места мы просто отмечаем то обстоятельство, что за последние несколько лет число старых гуляк постепенно возрастало, и в настоящее время растет с такой быстротой, что это явление даже внушает тревогу.

Рассматривая предмет в самых общих чертах и не вдаваясь в излишние подробности, мы склонны подразделить старых гуляк на два различных класса: веселые

гуляки и солидные гуляки. Веселые гуляки — это пузатые старики, одетые как молодые люди, которых можно встретить днем на Квадранте и на Риджент-стрит, вечером — в театрах (особенно в тех, где дело ведут дамы) и которым свойственны ветреность и франтовство юных лет, не оправдываемые, однако, юностью и неопытностью. Солидные гуляки — это те тучные старые джентльмены опрятной внешности, которых всегда можно видеть в одни и те же вечерние часы, в одних и тех же кабачках, где они курят и пьют всегда в одной и той же компании.

Не так давно прекрасную коллекцию старых гуляк можно было видеть каждый вечер за круглым столом у Офлея *, с половины девятого до половины двенадцатого. С некоторого времени мы потеряли их из виду. Когда-то были, а может быть есть и сейчас, два великолепных экземпляра в полном цвету на Флит-стрит, в «Радуге»,— они всегда сидели в кабинке у самого камина и курили длиннейшие вишневые трубки, исчезавшие под столом и концами упиравшиеся в пол. Это были величественные старики — толстые, краснолицые, седовласые,— и всегда они сидели на том же месте — один по одну сторону стола, а другой — напротив, покуривая и попивая с большим достоинством. Все их знали, а некоторые полагали даже, что оба они бессмертны.

Мистер Джон Даунс был старый гуляка второго типа (мы хотим сказать не бессмертный, но солидный), удалившийся на покой перчаточник и подтяжечный мастер, вдовец, обитавший с тремя дочерьми, уже взрослыми и еще незамужними, на Кэрситор-стрит, близ Чансери-лейн. Это был коротенький, круглый, полнощекий и пузатый, как бочка, старичок в широкополой шляпе и свободного покроя сюртуке; и ходил он той неторопливой, но уверенной, развалистой походкой, которая вообще свойственна старым гулякам. Жизнь его шла точно, как часы: завтрак в девять, утренний туалет, «Голова Сэра Имярек», стакан эля и газета, возвращение домой и прогулка с дочерьми, обед ровно в три, стакан грога и трубка, отдых, чай, коротенькая прогулка, снова «Голова Сэра Имярек» — отличное заведение, чудесные вечера. Там постоянно бывали мистер Гаррис, торговец канцелярскими товарами, мистер Дженнингс, судейский порт-

ной (молодцы хоть куда, не хуже самого Даунса) и Джонс, писец у адвоката,— большой оригинал этот Джонс, душа общества, так и сыплет шутками! Все они сидели там каждый вечер ровно до без десяти минут двенадцать, попивая грог, покуривая трубку, рассказывая анекдоты и веселясь тем солидным весельем, которое может послужить только в назидание.

Иногда Джонс предлагал сходить за полцены в театр Ковент-Гарден или Друри-Лейн, посмотреть два действия пятиактной пьесы, а может, и новый фарс или балет, и в таких случаях все четверо отправлялись вместе, не торопясь, без этой вашей глупой суматохи, выпив сначала грогу с полным комфортом и заказав к своему возвращению бифштекс и устрицы на ужин; они спокойно входили в партер, после того как давка уже кончилась, как делают все разумные люди и делали еще в ту пору, когда мистер Даунс был молод; вот разве только в то время, когда знаменитый Бетти был в зените своей славы, вот тогда, сэр, тогда... Мистер Даунс и посейчас отлично помнит, как отпросился на весь день с работы и, подойдя к дверям партера в одиннадцать часов утра, ждал до шести вечера, запасшись бутербродами в носовом платке и вином в бутылочке; но в конце концов перед самым началом спектакля он все-таки упал в обморок от жары и усталости, и из этого плачевного положения его выручили пять дам, первых красавиц того времени, да, сэр; взяли его из партера к себе в ложу бенуара, дали ему понюхать чего-то, а на другое утро прислали черного слугу шести футов ростом, в голубой с серебром ливрее, передать поклон и справиться о здоровье, да, сэр, ей-богу! В антрактах мистер Даунс, мистер Гаррис и мистер Дженнингс обыкновенно стояли, оглядывая залу, а Джонс — и ловкач этот Джонс, всех знал — указывал на блиставшую тогда в свете леди Имярек, и при упоминании о ней мистер Даунс, пригладив волосы и поправив платок на шее, внимательно рассматривал ее в огромный лорнет и замечал, что «видная женщина, очень видная, прабо», или же, что «не мешало бы ей быть потолще, а, Джонс?» — как случится. Когда начинался балет, все они особенно боялись упустить что-нибудь из происходившего на сцене, и Джонс — ну, и пройдоха

этот Джонс — отпускал критические замечания на ухо Джону Даунсу, а тот передавал их Гаррису, а Гаррис — Дженнингсу, и все четверо смеялись так, что из глаз у них катились слезы.

После того как опускался занавес, они возвращались к бифштексам и устрицам, шествуя попарно, и, когда дело доходило до второго стакана грога, Джонс — шутник этот Джонс — принимался рассказывать, будто бы он заметил, как дама с белым страусовым пером, в ложе партера, весь вечер глаз не сводила с Джона Даунса, а тот будто бы тоже, улучив минуту, когда на него никто не смотрит, бросал на нее пламенные взгляды, полные чувства, чему Гаррис и Дженнингс очень весело смеялись, а сам Джон Даунс смеялся веселей всех, признаваясь, однако, что было время, когда он проделывал такие штуки; в ответ мистер Джонс тыкал его пальцем под ребро, говоря, что в свое время он был, верно, не промах, в чем Джон Даунс и сознавался, посмеиваясь. Мистер Гаррис и мистер Дженнингс в свою очередь хвастались, что и они тоже в свое время были не промах, после чего друзья расставались в полном согласии и мирно семенили домой.

Веления Судьбы, а также средства, коими они выполняются, таинственны и непостижимы. Джон Даунс вел такого рода жизнь свыше двадцати лет, не желая никаких перемен и не стремясь к разнообразию, когда весь его жизненный строй оказался вдруг опрокинут, совершенно перевернулся кверху дном — но виной тому было не землетрясение и не какое-нибудь другое грозное явление природы, как, может быть, склонен предположить читатель, а просто-напросто устрица; случилось же вот что.

Мистер Джон Даунс возвращался однажды вечером из «Головы Сэра Имярек» домой на Кэрситор-стрит — не то чтобы пьяный, но отчасти навеселе, потому что они праздновали день рождения Дженнингса; за ужином съели пару куропаток, а после того пропустили пару лишних стаканчиков, Джонс был в ударе и смешил всех более обычного,— как вдруг взгляд его остановился на только что открытой устричной лавке, великолепной лавке, где устрицы были уложены на витрине в один слой в круглых мраморных чашах на фоне круглых устрич-


PURT'S GINGER BEER
WEBBS Soda WATER

ных бочонков, адресованных лордам и баронетам, полковникам и капитанам во все обитаемые части земного шара.

За витриной с устрицами стояли бочонки, а за бочонками сидела молодая особа лет двадцати пяти, вся в голубом и совершенно одна — обворожительное создание с хорошеньким личиком и прелестной фигуркой! Трудно сказать, рассмешила ли эту особу красная физиономия Джона Даунса за стеклом, освещенная трепетным пламенем газа, или, быть может, естественный прилив здорового веселья не позволил ей держаться с той солидностью, которая так строго предписывается кодексом приличий. Верно только то, что молодая особа улыбнулась, потом приложила палец к губам, вдруг вспомнив, как ей следует себя вести, и, наконец, застенчиво удалилась за прилавок, замкнувшись, подобно устрице. Джон Даунс почувствовал вдруг, что он еще и теперь не промах; он постоял немножко — девица в голубом не подавала признаков жизни. Он кашлянул — она все не шла. Тогда он сам вошел в лавку.

— Не можете ли вы открыть мне устрицу, милая? — спросил Джон Даунс.

— Отчего же не могу, сэр,— не без игривости отвечала девица в голубом. И мистер Джон Даунс съел устрицу, потом взглянул на девицу в голубом, съел вторую, пожал ручку молодой особы, пока она открывала третью, и так далее, так что в мгновенье ока проглотил не менее дюжины устриц по восемь пенсов за дюжину.

— Не можете ли вы открыть мне еще полдюжины, милая? — осведомился мистер Джон Даунс.

— Сейчас посмотрю, что я могу для вас сделать,— ответила девица в голубом игривее прежнего; и Джон Даунс проглотил еще полдюжины тех, что по восемь пенсов.

— Не могли бы вы принести мне стаканчик грога? — покончив с устрицами, спросил мистер Джон Даунс таким тоном, который явно предполагал, что она это может.

— Сейчас посмотрю, сэр,— сказала молодая особа и, выбежав из лавки, помчалась по улице, так что ее каштановые кудряшки развевались по ветру самым очаровательным образом, и скоро прибежала обратно, подскакивая, словно волчок, на люках угольных подвалов, со ста-

каном грога в руках, причем мистер Джон Даунс настоял, чтобы и она отведала грога, говоря, что это настоящий дамский напиток — горячий, крепкий, сладкий, и стакана хватит на двоих.

И вот молодая особа уселась вместе с Джоном Даунсом в маленькую красную кабинку за зеленой занавеской, чуть-чуть отхлебнула из стакана, едва взглянула на Джона Даунса, потом отвернулась в сторону и проделала еще несколько самых кокетливых пантомимических движений, что очень напомнило Джону Даунсу первое время ухаживания за первой женой и настроило его еще более чувствительно; поддавшись настроению и движимый чувством, мистер Джон Даунс принялся выведывать у молодой особы, не собирается ли она замуж, на что молодая особа отвечала, что ни за кого выходить не собирается — она терпеть не может мужчин, все они такие обманщики; после чего Джон Даунс осведомился, относится ли это огульное обвинение ко всем мужчинам или же только к очень молодым людям; и тут молодая особа сильно покраснела, то есть по крайней мере она отвернулась и сказала, что мистер Джон Даунс заставляет ее краснеть, значит и в самом деле покраснела,— а мистер Джон Даунс что-то уж очень долго пил свой грог; но в конце концов он все-таки отправился домой спать, и снились ему первая жена, и вторая жена, и молодая особа, и куропатки, и устрицы, и грог, и бескорыстная любовь.

Наутро Джона Даунса слегка лихорадило от выпитого вчера лишнего стакана грога; и отчасти в надежде охладить свой жар устрицами, отчасти же с целью проверить, не остался ли он должен молодой особе, он отправился в устричную лавку. Если вечером молодая особа показалась ему красавицей, то днем она была совершенно неотразима; и начиная с этого времени Джон Даунс словно переродился. Он начал покупать булавки для галстука; носить перстень на среднем пальце; читать стихи; заказал дешевому живописцу миниатюру, отдаленно походившую на чье-то моложавое лицо, с драпировкой над головой, шестью фолиантами на заднем плане и открытым полем вдали (все это он называл своим портретом); и, наконец, до такой степени разошелся и так буйствовал, что все три мисс Даунс не смогли

ужиться с ним в квартире на Кэрситор-стрит и предпочли уйти от него и существовать на маленькую пенсию; короче, вел себя во всех отношениях недостойно, словно самый настоящий турок, каким он, конечно, и был.

Что касается его прежних друзей, старых завсегдатаев «Головы Сэра Имярек», то мало-помалу он их совсем забросил из-за того, что, каждый раз как он туда заходил, Джонс — просто невежа этот Джонс — непременно спрашивал его, «когда же это будет?» и «пора ли покупать белые перчатки?» — задавал и другие вопросы не менее обидного характера, чему смеялся не один Гаррис, но и Дженнингс тоже, так что Джон Даунс раззнакомился с ними обоими и всей душой прилепился к голубой девице из новой устричной лавки.

Теперь мы добрались до морали — в этом рассказе имеется и мораль. Когда дошло до дела, вышеупомянутая девица, извлекши значительную прибыль и доход из привязанности Джона Даунса, не только отказалась стать его подругой в радости и в горе, но еще и заявила, говоря ее собственными словами, что «не пошла бы за него ни за какие деньги»; и Джон Даунс, растеряв старых друзей, разогнав родню и сделавшись общим посмешищем, предлагал руку сначала учительнице, потом квартирной хозяйке, потом владелице табачной лавочки, потом экономке и, будучи отвергнут всеми поочередно, женился в конце концов на своей кухарке, с которой живет и посейчас — муж у жены под башмаком, живое воплощение невеселой старости и наглядный урок всем сластолюбивым старичкам.

ГЛАВА VIII

Заблуждение модистки. Повесть о честолюбии

Мисс Амелия Мартин была бледная, высокая, худая тридцатидвухлетняя особа; злые языки назвали бы ее некрасивой, а полицейская хроника — интересной. Она была портнихой-модисткой, жила на свои заработки и не роптала. Будь вы юной девицей, состоящей в услужении,

и пожелай вы, подобно многим другим юным девицам, состоящим в услужении, прибегнуть к помощи мисс Мартин, вы как-нибудь вечером просто подошли бы к дверям дома № 47 по Драммонд-стрит (угол Джордж-стрит, близ Юстон-сквера) и, поглядев на медную дощечку,— один фут десять дюймов длины, полтора фута ширины,— с четырьмя огромными медными шишками по углам и надписью «Мисс Мартин, платья и шляпки всех фасонов», без дальнейших церемоний постучались бы, и вам отворила бы сама мисс Мартин в чрезвычайно модном платье из тончайшей шерсти, с изысканными черными бархатками на запястьях и другими украшениями весьма утонченного вкуса.

Если мисс Мартин знала постучавшую юную девицу или если постучавшая юная девица имела рекомендацию от какой-нибудь другой юной девицы, которую мисс Мартин знала, мисс Мартин тут же вела ее в приемную на втором этаже окнами на улицу и начинала болтать так мило и так непринужденно, что благодаря ее любезности визит совершенно терял деловой характер; затем мисс Мартин, вдумчиво и с видимым восхищением оценив фигуру и общий облик юной девицы, состоящей в услужении, говорила, как удивительно пошло бы к ней открытое платье с короткими рукавами — юбку сделать попышней, с четырьмя подхватами; в ответ на что юная девица выражала свое полное согласие с ее мнением, а также глубокое негодование по поводу тиранства хозяйки, не позволяющей девушке носить по вечерам платье с короткими рукавами,— да, да, ничего нарядного, даже серег, не говоря уже о том, что прическу заставляют прятать под эти противные наколки. Обыкновенно по окончании подобных излияний мисс Амелия Мартин обиняком высказывала черное подозрение, что есть такие, которые опасаются за своих дочек и поэтому норовят, чтобы служанки выглядели похуже — вдруг они раньше найдут женихов, как нередко и бывает; во всяком случае, она знавала нескольких юных девиц, состоявших в услужении и сумевших сделать партию получше своих хозяек, и притом они вовсе не были красавицами; тут юная девица спешила под секретом сообщить мисс Мартин, что одна из ее барышень помолвлена, и скоро будет свадьба,

и хозяйка ужасно задирает нос, даже смотреть противно, а было бы из-за чего — жених-то всего-навсего клерк. И затем, выразив надлежащее презрение к клеркам вообще и к этому помолвленному клерку в частности, а также самое высокое мнение о себе и друг о друге, мисс Мартин и юная девица прощались — дружески, но наиблагороднейшим образом,— после чего одна возвращалась под кровлю своей хозяйки, а другая — в свою комнату на третьем этаже.

Трудно сказать, как долго продолжала бы мисс Амелия Мартин подобную деятельность, какие обширные связи она завязала бы среди юных девиц, состоящих в услужении, или каких размеров достиг бы в конце концов ущерб, наносимый ее счетами их заработкам, если бы непредвиденное стечение обстоятельств не подвигло ее обратиться к занятиям, имеющим весьма мало отношения к платьям и шляпкам.

Близкая приятельница мисс Мартин, давно уже водившая знакомство с подручным драпировщика, дала, наконец, свое согласие (после того, как ее, наконец, об этом попросили) назначить день, в который вышеупомянутый подручный станет счастливым супругом. Бракосочетание должно было состояться в ближайший понедельник, и мисс Амелия Мартин, в числе многих других, получила приглашение почтить своим присутствием свадебный обед. Все было совершенно очаровательно; адрес — Сомерс-Таун; место действия — гостиная. Подручный драпировщика снял дом: не какую-нибудь там квартиру, а целый дом — четыре чудесные комнаты, и в конце коридора — восхитительная кухонька, что было крайне удобно: подружки невесты могли принимать гостей в парадной комнате, выбегать на кухню, чтобы проверить, как варятся в котлах пудинг и свинина, а затем, как ни в чем не бывало, впархивать обратно в гостиную. А что это была за гостиная! Изумительный киддерминстерский ковер; * шесть новешеньких полированных стульев с плетеными сидениями; два буфетика, и на каждом три рюмки и бокал; на каминной полке крестьянин и крестьяночка: она перебирается через изгородь, он налегает грудью на вилы; на окнах длинные белые кисейные занавески — короче говоря, все изысканно до крайней степени.

А самый обед! Запеченная баранья нога на одном конце стола, вареная баранья нога — на другом; две утки и окорок — посредине; кувшины с портером — по углам; перец, горчица и уксус — в центре; овощи — на полу; и плумпудинг, и яблочный пирог, и пирожки без числа, не говоря уже о сыре, сельдерее, кресс-салате и тому подобном. А общество! Мисс Амелия Мартин сама впоследствии заявляла, что, хотя ей много приходилось слышать о светских знакомых подручного драпировщика, она и представления не имела, к какому избранному кругу они принадлежат. На обеде присутствовали: его отец — такой чудный старичок, и его мать — такая прелестная старушка, и его сестра — такая очаровательная девушка, и его брат — такой мужественный юноша, с таким взглядом! Но даже и они меркли перед его друзьями-артистами, мистером и миссис Дженнингс Родольф из «Белого Акведука», с которыми подручный драпировщика имел счастье завязать близкое знакомство, пока украшал концертную залу вышеупомянутого почтенного заведения. Их пение — даже когда они пели соло — было божественно, но их дуэт «Удались, злодей кровавый»,— как впоследствии выразилась мисс Мартин,— «просто потрясал». А почему (заметил мистер Дженнингс Родольф), почему им не предложили ангажемент в Ковент-Гарден или Друри-Лейн? Если ему попробуют сказать, что их голоса недостаточно сильны и не заполнят залы, то он готов предложить пари на любую сумму, что его голос легко заполнит даже Рассел-сквер; общество, которое уже прослушало дуэт, вполне согласилось с этим заявлением и выразило свое негодование, и мистер и миссис Дженнингс Родольф тоже выразили негодование: мистер Дженнингс Родольф, помрачнев, объявил, что он знает, кто интригует против него, и советовал бы им не заходить слишком далеко, иначе, если они не перестанут ему досаждать, он, пожалуй, решит обратиться в парламент; и все согласились, что «так им и надо» и что «таких следует учить»; и мистер Дженнингс Родольф обещал об этом подумать.

Когда разговор вернулся в прежнюю колею, мистер Дженнингс Родольф сказал, что желает обратиться с просьбой к кому-нибудь из дам и, получив на то разре-

шение, выразил надежду, что мисс Мартин согласится доставить своим пением удовольствие собравшимся; все единодушно поддержали его предложение, и мисс Мартин, после долгих колебаний и откашливаний, объявила в виде предисловия, что ужасно боится выступать перед столь тонкими ценителями искусства, а затем принялась испускать фистулой нежное чириканье, содержавшее частые упоминания о некоем молодом джентльмене по имени «Ге-е-енри», а также отдельные ссылки на безумие и разбитые сердца. Мистер Дженнингс Родольф несколько раз прерывал пение, восклицая: «Чудесно!», «Очаровательно!», «Бесподобно!», «О, несравненно!» и так далее, а когда мисс Мартин умолкла, его восторгам и восторгам его супруги не было предела.

— Ты когда-нибудь слышала более прелестный голос, душечка? — осведомился мистер Дженнингс Родольф у миссис Дженнингс Родольф.

— Ах, нет, никогда, любовь моя! — ответила миссис Дженнингс Родольф.

— Не кажется ли тебе, душечка, что после легкой обработки голоса мисс Мартин сравнилась бы с синьорой Марра Бони? — спросил мистер Дженнингс Родольф.

— Именно, именно это и пришло мне в голову, любовь моя,— ответила миссис Дженнингс Родольф.

Общество продолжало веселиться, мистер Дженнингс Родольф сыграл на трости две мелодии, затем удалился за дверь гостиной и исполнил свой коронный номер — подражание известным актерам, режущим инструментам и некоторым животным; мисс Мартин со все возрастающим успехом исполнила еще несколько романсов, и даже чудный старичок выступил с пением. Его песня, собственно говоря, состояла из семи куплетов, но так как он помнил только первый, то и пропел его семь раз подряд к своему большому удовольствию. Затем все пропели национальный гимн с чисто национальной независимостью — кто во что горазд, не обращая внимания на остальных,— и, наконец, гости разошлись, уверяя, что это был самый приятный вечер в их жизни, а мисс Мартин прониклась твердой решимостью последовать совету мистера Дженнингса Родольфа и как можно скорее совершить свой «выход» на сцену.

Однако хотя «выходить» на театральные или оперные подмостки, или в свет, или в шутники очень приятно для лица, которого это непосредственно касается, если только ему или ей удастся «выйти» с блеском, и удержаться, а не уйти снова в безвестность,— добиться как того, так и другого, к сожалению, чрезвычайно трудно, причем одинаково трудно, во-первых, появиться и, во-вторых, раз появившись, удержаться, в чем очень скоро пришлось убедиться мисс Амелии Мартин. Сколь это ни странно (ведь речь идет о женщинах!), но главной слабостью мисс Амелии Мартин было тщеславие, а отличительной чертой миссис Дженнингс Родольф — любовь к нарядам. Из комнаты на третьем этаже дома № 47 по Драммонд-стрит (угол Джордж-стрит, близ Юстон-сквера) доносились заунывные вопли: это упражнялась мисс Мартин. Спокойное достоинство оркестра «Белого Акведука» в начале сезона нарушил приглушенный ропот. Он был вызван появлением миссис Дженнингс Родольф в блестящем туалете. Мисс Мартин прилежно училась, следствием чего были завывания; миссис Дженнингс Родольф иногда безвозмездно давала уроки, результатом чего были туалеты.

Проходили недели; сезон в «Белом Акведуке» начался, продолжался и уже перевалил за половину; кройка и шитье были запущены, и доходы портнихи-модистки незаметно сходили на нет. Приближался вечер бенефиса. Мистер Дженнингс Родольф покорился настойчивым мольбам мисс Амелии Мартин и сам представил ее комику-бенефицианту. Комик сиял улыбками и рассыпался в любезностях: он сочинил дуэт специально для этого случая и будет счастлив петь его с мисс Мартин. Настал долгожданный вечер. Публики собралось множество — девяносто семь шестипенсовых порций джина с водой, тридцать две рюмки бренди с водой, двадцать пять бутылок эля и сорок один глинтвейн; подручный драпировщика с супругой и избранным кружком знакомых занимал боковой столик вблизи оркестра. Концерт начался. Песня — чувствительная: исполняет белокурый молодой джентльмен в голубом фраке со сверкающими металлическими пуговицами. (Аплодисменты.) Еще песня — игривая: исполняет другой джентльмен в другом голубом фраке с еще более сверкающими металлическими пуговицами. (Громкие апло-

дисменты.) Дуэт — исполняют мистер и миссис Дженнингс Родольф — «Удались, злодей кровавый». (Бурные аплодисменты.) Соло — мисс Джулия Монтегю (единственный раз в сезоне) — «Я — монах». (Овации.) Первое исполнение комического дуэта «Вот и хорошо» — мистер Г. Тэплин (комик) и мисс Мартин.

— Бра-ва! Бра-ва! — закричали подручный драпировщика и его компания, когда комик грациозно ввел в залу мисс Мартин.

— Валяй, Гарри! — завопили друзья комика.

«Тук-тук-тук»,— постучала по пюпитру палочка дирижера.

Загремело вступление, и затем раздалось слабое чревовещательное чириканье, исходившее, казалось, из самых глубин организма мисс Амелии Мартин.

— Пойте! — рявкнул какой-то джентльмен в белом пальто.

— Не трусь, наддай, старушенция! — подбодрил другой.

— С-с-с-с,— разразились все двадцать пять бутылок эля.

— Тише, тише! — запротестовали подручный драпировщика и его компания.

— С-с-с-с,— продолжали бутылки эля, к которым присоединился весь джин и бо́льшая часть бренди.

— Вышвырните этих гусей! — в негодовании закричали подручный драпировщика и его компания.

— Пойте,— прошептал мистер Дженнингс Родольф.

— Я пою,— возразила мисс Амелия Мартин.

— Громче! — сказала миссис Дженнингс Родольф.

— Не могу,— ответила мисс Амелия Мартин.

— Вон! Вон! Вон! — завопила публика.

— Брава-а-а! — закричали подручный драпировщика и его компания. Но делать было нечего — мисс Амелия Мартин покинула эстраду с гораздо меньшими церемониями, чем на ней появилась, и, поскольку пение у нее не вышло, она так никуда и не «вышла». Хорошее настроение возвратилось к публике лишь после того, как мистер Дженнингс Родольф в течение получаса подражал различным четвероногим, стараясь перекричать шум, пока не посинел от натуги, но к мисс Амелии Мартин и

по сей день не возвратились ни хорошее настроение, ни платья, преподнесенные ею миссис Дженнингс Родольф, ни голос, которым — как когда-то поклялся своей профессиональной репутацией мистер Дженнингс Родольф — она обладала.

ГЛАВА IX

Школа танцев

Свет еще не видывал школы танцев, которая бы пользовалась в своей округе таким успехом, каким пользуется школа синьора Биллсметти, из Королевского театра. Напрасно стали бы вы искать эту школу где-нибудь в Спринг-Гарденс, или на Ньюмен-стрит, или Бернерс-стрит, или Гауэр-стрит, или Шарлотт-стрит, или Перси-стрит; ни на одной из тех многочисленных улиц, на которых испокон веков ютились лица свободных профессий, аптеки и пансионы, вы ее не нашли бы; да и вообще надлежит искать ее не столько в аристократическом Вест-Энде, сколько повосточнее, где-нибудь в густонаселенных и все еще застраивающихся кварталах по соседству с Грейс-Инн-лейн. Это совсем недорогая школа танцев — ведь четыре шиллинга шесть пенсов за три месяца в общем очень умеренная цена. При всем том — это отнюдь не общедоступное заведение, ибо число учащихся в нем ни в коем случае не превышает семидесяти пяти, а квартальная плата строжайшим образом взимается вперед. Обучение производится: общее — в зале, индивидуальное — в гостиной. Семейство синьора Биллсметти включается в стоимость, как одна из привилегий, выпадающих на долю того, кто платит за индивидуальное обучение,— иначе говоря, тому, кто берет отдельные уроки, синьор Биллсметти предоставляет в качестве помещения свою гостиную и в качестве партнера — свою семью. Когда же ученик приобретет некоторый навык, его пускают в парадную залу, где танцуют парами.

Такова была школа синьора Биллсметти, когда мистер Огастес Купер, с Феттер-лейн, впервые увидел шествовавшую вдоль Холборн-Хилла ходячую рекламу, возве-

щавшую миру о намерении синьора Билльсметти, из Королевского театра, открыть сезон большим балом.

Сам мистер Огастес Купер был связан с москательной торговлей, только что достиг совершеннолетия, обладал маленьким капитальцем, маленькой лавочкой и маленькой матушкой. Привыкнув в свое время управлять супругом и заправлять его делами, после его смерти она принялась точно так же управлять сыном и заправлять делами сына. Таким образом, прозябая по будням в маленькой комнатушке позади лавки, а в праздники в сосновом ящике без крышки (именуемом церковной скамьей) в маленькой сектантской церквушке, мистер Огастес Купер об окружающем мире знал не больше малого ребенка, между тем как сын Уайта — тот, что жил напротив, у слесаря, и был моложе Огастеса на целых три года,— прожигал жизнь вовсю: шатался по театрам, посещал трактирные концерты, поглощал устрицы бочонками, пиво галлонами, и даже подчас закатывался куда-нибудь на всю ночь и возвращался домой на рассвете с самым невозмутимым видом, словно так и надо. И вот, в самое это утро, мистер Огастес Купер положил, что больше терпеть не намерен, и объявил матушке свое бесповоротное решение «провалиться на этом месте», если ему не будет немедленно выдан в личное пользование ключ от входной двери. Шагая вдоль Холборн-Хилла и размышляя обо всем этом, и в частности о том, как бы получить доступ в порядочное общество, он вдруг узрел объявление синьора Билльсметти и сразу понял, что нашел как раз то, что ему нужно; ведь тут он убивал двух зайцев сразу: во-первых, он получал возможность в наикратчайший срок сколотить вокруг себя приятное общество, выбрав подходящих людей из числа семидесяти пяти учащихся, выплачивающих свои четыре шиллинга шесть пенсов за квартал, а во-вторых, научился бы отплясывать различные танцы в узком дружеском кругу без всякого стеснения и тешил бы тем своих друзей.

Итак, он остановил ходячую рекламу, этот одушевленный сандвич, где меж двух щитов был просунут мальчишка, и взял у оного мальчишки маленькую визитную карточку, на которой был вытиснен адрес синьора. Не теряя времени, он направился прямешенько к синьору, и

шел, надо сказать, хорошим энергичным шагом — он боялся, что список заполнится без него и он не попадет в число семидесяти пяти избранников. Синьора он застал дома, и — о радость! — синьор оказался англичанином. Такой приятный человек — и такой любезный! Список еще не был закрыт, и благодаря удивительному стечению обстоятельств там оказалась как раз одна вакансия; собственно говоря, она должна была бы быть заполнена этим же утром некоей дамой, но синьору Биллсметти поручительства, предъявленные ею, показались недостаточно солидными, и, опасаясь, что она не принадлежит к достаточно избранному обществу, он ей отказал.

— И как же я доволен, мистер Купер,— прибавил синьор Биллсметти,— что отказал ей! Уверяю вас, мистер Купер, и это отнюдь не лесть — вы выше лести, я знаю,— уверяю вас, что на знакомство с джентльменом вашей наружности, сэр, и с вашими манерами, я смотрю как на редкую удачу.

— Я тоже очень рад, сэр,— сказал Огастес Купер.

— И я надеюсь, что мы с вами сойдемся покороче,— сказал синьор Биллсметти.

— Я тоже надеюсь, сэр,— ответствовал Огастес Купер.

В эту минуту отворилась дверь, и в комнату вошла молодая девица. Голова ее была вся в мелких кудряшках, щиколотки перевиты лентами туфелек.

— Куда ты, дружок? — воскликнул синьор Биллсметти, так как девица, вбежав в комнату в полном неведении того, что в ней находится мистер Купер, теперь — вся скромность и смущение — готовилась выбежать вон.— Куда ты, дружок? — остановил ее синьор Биллсметти,— это мистер Купер, мистер Купер с Феттер-лейн. Мистер Купер — моя дочь, сэр — мисс Биллсметти, сэр, которая, я надеюсь, будет не раз иметь удовольствие танцевать с вами кадриль, менуэт, гавот, контрданс, фанданго, матлот и падедадетруа, сэр. Она умеет танцевать все эти танцы, сэр. Да и вы сами, сэр, будете танцевать их все к концу первого же квартала, сэр.

Тут синьор Биллсметти — открытая душа! — хлопнул мистера Огастеса Купера по спине, словно они были

знакомы по крайней мере лет десять; мистер Купер отвесил поклон девице, девица присела в ответ; синьор Билльсметти воскликнул, что такой красивой пары ему никогда не приходилось видеть, на что девица вскрикнула: «Папочка!» — и зарделась не хуже самого мистера Купера,— можно было подумать, что оба они стоят под красным фонариком, что горит в аптеке; на прощание порешили, чтобы мистер Купер вечером того же дня присоединился к семейному кружку — так, запросто, без всяких церемоний — и, не теряя времени, принялся изучать танцевальные па, с тем чтобы быть в состоянии принять участие в готовящемся бале.

И вот, мистер Огастес Купер заходит в один из дешевых обувных магазинов Холборна, где мужские бальные туфли стоят семь шиллингов шесть пенсов, а обычные, для ходьбы, почти вовсе ничего не стоят, покупает себе настоящие столичные бальные туфли с длинным носком за вышеупомянутые семь шиллингов шесть пенсов, сует в них ноги и, сам поражаясь своему новому облику не меньше, чем его матушка, отправляется к синьору Билльсметти. В гостиной он застает еще четверых учащихся, которые, как и он, занимаются отдельно: двух дам и двух кавалеров. Чрезвычайно приятные люди! И ничуточки не гордые. Одна из дам — та, что готовилась выступать в роли Коломбины на балу,— оказалась исключительно любезной особой. Обе они — и она и мисс Билльсметти — проявили столько внимания к мистеру Огастесу Куперу, так мило ему улыбались и шутили с ним, и при всем при том были так обворожительно хороши, что вскоре он почувствовал себя совсем как дома и, сам того не замечая, выучил все нужные па. А после урока состоялась кадриль — синьор Билльсметти танцевал в паре с мисс Билльсметти, синьор Билльсметти-младший еще с какой-то девицею, а те две дамы со своими кавалерами. И как же они танцевали! Это вам не обычное ленивое скольжение по паркету — нет, это была настоящая работа: танцоры носились из угла в угол, стремительно лавируя меж стульев и пулей вылетая в дверь,— словом, кадриль! Особенно отличался сам синьор Билльсметти, который, несмотря на маленькую скрипочку в руках — он ведь играл в продолжение всего танца,— к концу каждой фигуры

выскакивал на лестничную площадку; Биллсметти же младший, когда остальные танцоры уже окончательно выдохлись, исполнил матросский танец, надев тарелку на голову, а в руку взяв трость, что вызвало беспредельный восторг всего общества, после чего синьор Биллсметти, заметив, что вовсе незачем им расходиться, когда им всем так хорошо вместе, настоял на том, чтобы гости остались к ужину, и предложил послать Биллсметти-младшего за пивом и вином. Но тут два джентльмена в самых энергичных выражениях заявили, что «пусть их повесят, если они потерпят это», и чуть не подрались между собой за право оплатить угощение; тогда вмешался мистер Огастес Купер, попросив джентльменов любезно уступить эту честь ему. Джентльмены эту честь любезно уступили, и Биллсметти-младший принес пиво в жестяном ведерке, а ром — в большом кувшине. Пировали напропалую. Мисс Биллсметти тихонько, под столом, пожала руку мистеру Огастесу Куперу; от мистера Огастеса Купера последовало ответное пожатие. Когда же он прибыл домой, было уже без малого шесть часов утра, и приказчику пришлось употребить силу, чтобы уложить его в постель, причем он неоднократно и безудержно порывался почтенную свою родительницу выкинуть из окошка второго этажа, а приказчика задушить его же собственным шейным платком.

Прошло несколько недель, столичные бальные туфли, за которые было заплачено семь шиллингов шесть пенсов, уже изрядно пообносились, когда, наконец, наступил долгожданный день костюмированного бала, на котором впервые в текущем сезоне должны были сойтись все семьдесят пять учеников и за свои четыре шиллинга и шесть пенсов насладиться ярким освещением и музыкой. Мистер Огастес Купер нарочно, в честь торжества, заказал себе новый фрак за два фунта десять шиллингов у портного в Тарнстайле *. Это был его первый выход в свет, и тут же, вслед за великолепным сицилианским па-де-шаль в исполнении четырнадцати девиц, одетых в национальные костюмы, он должен был открывать кадриль в паре с самой мисс Биллсметти, с которой он, с тех пор как познакомился, успел уже сойтись на короткую ногу. Словом, настоящий бал! Все было продумано до мельчайших частностей. Мальчик — тот, что шагал меж двух щитов,—


SIGNOR
BILLSMETHI'S
GRAND
BALL
will take place
on

стоял у входной двери, принимая цилиндры и шляпки. В задней комнатке стояла складная кровать, на которой мисс Билльсметти заваривала кофе и чай для тех кавалеров, которые пожелали бы — за дополнительную плату — вкусить какой-либо из этих напитков, а также для тех дам, которых эти кавалеры пожелали бы угостить; тут же можно было получить глинтвейн и лимонад — восемнадцать пенсов стакан. И, наконец, по уговору с хозяином пивной; что за углом, один из его слуг обносил гостей пивом. Словом, устроители вечера не ударили лицом в грязь. Зато и общество собралось самое, можно сказать, блистательное. Одни дамы чего стоили! А их шелковые розовые чулки! А искусственные цветы! А карет-то, карет! Не успевала одна карета привезти двух-трех дам, как тут же подъезжала другая, и из нее выходили еще две дамы. И все они были знакомы — не только между собой, но еще и с большей частью кавалеров, что создавало атмосферу приятной развязности и оживления. Синьор Билльсметти, во фраке с узкими в обтяжку панталонами и огромным голубым бантом в петлице, представил кавалеров тем дамам, с которыми они еще не были знакомы. Дамы болтали без умолку и смеялись так, что сердце радовалось.

Что касается танца с шалью, то более волнующего зрелища никто никогда еще не видывал! Что тут творилось! Все было вихрь. Юбки гремели, мелькали веера, дамы путались в гирляндах искусственных цветов, кавалеры их вызволяли... Что же до мистера Купера, то он с честью справился со своей ролью в кадрили. Правда, время от времени он как бы отлучался от своей дамы, и в таких случаях оказывался пятым в другой четверке, где и отплясывал с похвальным усердием, либо его заносило совсем уже бог знает куда, и он скользил в одиночку по паркету, без видимой цели. В общем же, его все-таки удавалось так направить, что к концу фигуры он оказывался на своем месте. Во всяком случае, после кадрили дамы и кавалеры обступили его толпой и осыпали комплиментами, уверяя, что им никогда не доводилось наблюдать столь блистательных успехов у новичка. Огастес Купер, чрезвычайно довольный собой, а заодно и обществом, «поставил» изрядное количество виски с содовой, глинтвейна и всевозможных смесей, потчуя ими десятка два-три осо-

бенно близких своих друзей, которых он обрел в избранном кругу, состоящем из семидесяти пяти учащихся.

И вот, под влиянием ли винных паров, красоты дам, или еще по какой причине, а только случилось так, что мистер Огастес Купер отнюдь не отклонял, а скорее даже поощрял лестные знаки внимания, оказываемые ему некоей девицей, одетой в коричневое кисейное платье поверх миткалевого чехла и на которую он, видимо, произвел сильное впечатление с самого начала. Между тем как Огастес Купер благосклонно принимал ухаживания девицы, мисс Билльсметти мало-помалу начала проявлять признаки досады и ревности, выразившиеся, наконец, в том, что она назвала девицу в коричневой кисее «тварью», на что девица в коричневой кисее незамедлительно отвечала репликой, в которой заключался намек на четыре шиллинга и шесть пенсов, составлявшие квартальную плату за уроки; мистер Огастес Купер, будучи в состоянии духа несколько растерянном, намек этот полностью поддержал, что побудило столь вероломно отвергнутую им мисс Билльсметти издать пронзительный вопль со скоростью четырнадцати взвизгов в минуту. Затем, после неудавшейся попытки выцарапать глаза — сперва девице в коричневой кисее, а затем и самому Огастесу Куперу, мисс Билльсметти принялась истошным голосом взывать к остальным семидесяти трем учащимся, чтобы они ее немедленно снабдили щавелевой кислотой для ее личных нужд; и так как ее просьба была оставлена без внимания, она со свежими силами бросилась на мистера Купера. Тут ей разрезали шнуровку корсета и уложили ее в постель. Мистер Огастес Купер, не отличавшийся чрезмерной сообразительностью, не знал, что и думать, пока синьор Билльсметти не разъяснил настоящего положения вещей, объявив своим ученикам, что после неоднократных и убедительнейших обещаний жениться на его дочери мистер Огастес Купер самым подлым образом ее бросил. Сообщение это вызвало живейшее негодование учеников, и наиболее рыцарски настроенные из них подступили к мистеру Огастесу Куперу и стали настойчиво спрашивать его, «не дать ли ему как следует», в ответ на каковые расспросы он решил благоразумно и не мешкая ретироваться. Кончилось же тем, что наутро адвокат

прислал мистеру Огастесу Куперу извещение, а через неделю вчинил ему иск. Прогулявшись дважды к берегам Серпентайна, куда он шел всякий раз с непреклонным намерением утопиться и откуда тем не менее возвращался всякий раз целым и невредимым, мистер Огастес Купер решил открыться во всем своей матушке. Та уладила дело с помощью двадцати фунтов, которые ей пришлось изъять из торгового оборота. Таким образом, сумма, выплаченная синьору Билльсметти, составила двадцать фунтов четыре шиллинга шесть пенсов — не считая угощения и бальных туфель. Сам же мистер Огастес Купер вернулся под материнское крылышко, где и пребывает по сей день. Утеряв всякий вкус к светской жизни, он стал совершенным уже домоседом. Так что можно быть спокойным, что он никогда не прочтет этот рассказ о своем приключении.

ГЛАВА X

Благородные оборванцы

Существует особый разряд людей, которые, сколь это ни странно, являются как будто исключительной принадлежностью нашей столицы. В Лондоне они попадаются на каждом шагу, повседневно, зато больше нигде вы их не встретите. Культура чисто местная, они составляют вместе с дымом, с унылым кирпичом и известкой неотъемлемую часть лондонского пейзажа. Мы могли бы привести множество примеров в подтверждение нашей мысли, но в настоящем очерке намерены рассмотреть лишь одну разновидность данной категории — ту самую, которую охватывает выразительный и меткий термин: благородный оборванец.

Просто оборванцев, как известно, всюду хватает, да и благородной публики за пределами Лондона не меньше, чем в нем самом. Но сочетание обоих этих признаков — благородства и оборванности — явление исключительно местное, такое же, как, скажем, статуя на Чаринг-Кросс * или колодец у Олдгет. Заметим мимоходом, что наименование благородного оборванца применимо к одним лишь

мужчинам. Женщина, как бы бедна она ни была, всегда сохраняет опрятный и благопристойный облик — в противном случае она уже становится просто неряхой. Очень же бедный мужчина, из тех, кто, как говорится, видел лучшие дни, представляет собой причудливую смесь — неряшество с потугами на какое-то сильно подержанное, правда, но все же щегольство.

Попытаемся объяснить, как мы понимаем выражение, которым озаглавили эту статью. Вот, например, лениво плетется по Друри-лейн или, засунув руки в карманы серых штанов, очень широких книзу, щедро усеянных сальными пятнами и снабженных к тому же кантом, стоит, прислонившись к фонарю где-нибудь в Лонг-Эйкр, человек, одетый в бывший когда-то коричневым сюртук со светлыми пуговицами и в цилиндре с сильно загнутыми полями, нахлобученном на левый глаз. Не жалейте его: это не благородный оборванец. Завсегдатай какого-нибудь четырехразрядного трактира, где по вечерам устраиваются концерты, и кулис какого-нибудь захудалого театра, он питает врожденную антипатию к какому бы то ни было труду и коротко знаком кое с кем из статистов крупных театров. Но если вы встретите где-нибудь в переулочке человека в возрасте сорока или пятидесяти лет, семенящего по тротуару и жмущегося к стенам домов, одетого в старый, изношенный и порыжелый сюртук, который от бессрочной службы лоснится так, словно его воском натерли, и в панталоны, подхваченные тугими штрипками — отчасти из щегольства, отчасти же для того, чтобы стоптанные башмаки его не сваливались с ног; если вы к тому же заметите, что пожелтевший его шейный платок заколот с особенной тщательностью, чтобы не видно было лохмотьев под ним, и что на руках его болтаются остатки касторовых перчаток,— знайте: перед вами благородный оборванец. Один взгляд на его удрученное лицо, на всю эту робкую фигуру, от которой так и веет стыдливой нищетой, заставит ваше сердце болезненно сжаться — если только вы не философ, конечно, и не профессор политической экономии.

Некогда и в течение довольно длительного срока нас, можно сказать, преследовал образ одного такого благородного оборванца. Целый день этот человек был перед

нашими глазами во плоти, а по почам он стоял перед нашим духовным взором. Таинственный привратник, облаченный в черный бархат, не так поразил воображение одного из героев Вальтер-Скоттовой «Демонологии», как наш приятель в своем некогда черном суконном костюме — наше. Впервые мы обратили на него внимание в читальной зале Британского музея, где он сидел напротив нас. И что нас особенно поразило в нем, это то, что сами книги, перед ним лежащие,— потрепанные два фолианта в замшелом, изъеденном червями, но хранящем следы былого изящества переплете,— смотрели благородными оборванцами. Утром, только пробьют часы десять, как он уже пробирался на свое место; сидел он там до самого закрытия, и когда уходил, было ясно, что он оставляет единственный имеющийся у него покойный и теплый угол. Он просиживал целыми днями в читальне, прижавшись вплотную к столу, чтобы скрыть отсутствие пуговиц на сюртуке, заботливо пристроив свой ветхий цилиндр в ногах, на полу, где, как он льстил себя надеждой, он никому не был виден.

Около двух часов дня он обычно начинал жевать французскую булочку или небольшой хлебец, причем никогда не отваживался вытащить весь хлеб целиком из кармана, как человек, который просто перекусывает, а стыдливо отщипывал кусок за куском в кармане и украдкой клал их в рот. Увы, это и был его обед!

Когда мы впервые познакомились с этим несчастным, нам и в голову не приходило, чтобы его наряд еще мог измениться к худшему. Мы ожидали, напротив, что он вот-вот явится в каком-нибудь другом, приличном костюме, хотя бы и подержанном. Ничего-то мы тогда не знали! День ото дня все ярче проступали в нем черты благородного оборванца. На жилетке, одна за другой, осыпались пуговицы. Он стал застегивать сюртук. Когда же один борт сюртука подвергся той же участи, что и жилет, наш джентльмен стал застегиваться на другую сторону. В начале недели он выглядел несколько лучше, чем к концу ее, ибо шейный платок, хотя и сохранял оттенок желтизны, казался несколько свежее обычного. И при всем своем убожестве, он ни разу за все время не явился без перчаток и штрипок. В таком состоянии он продер-

жался неделю, быть может две. Наконец, оборвалась одна из пуговиц на спине сюртука, после чего обладатель его сам исчез, и мы уже решили, что он умер.

Однажды, примерно через неделю после его исчезновения, мы сидели на своем обычном месте, и взгляд наш упал на его пустующий стул. Как-то невольно мы задумались о том, какая могла быть причина, побудившая его отречься от мира. Каким же был его конец — повесился ли он, или бросился в реку с моста, или вовсе даже и не умер? Может, просто попал в тюрьму? Пока мы ломали голову, строя всевозможные догадки, в зале внезапно появился тот, кто составлял предмет их. Какая-то непонятная метаморфоза произошла с ним, и во всей его осанке, когда он решительно вышел на самую середину комнаты, чувствовалось, что он отлично сознает, что внешний облик его переменился, и переменился к лучшему. Что такое? Одежда на нем была черная-пречерная, такого великолепного, глубокого тона, и вместе с тем это был как будто тот же старый костюм — конечно, он! — вон и заплатки, которые мы уже знали наперечет — каждая на своем месте. А цилиндр? Разве можно было не узнать эту высокую тулью, постепенно расширяющуюся кверху? От долгой службы он приобрел было рыжевато-бурый оттенок. Нынче же он был так же черен, как весь остальной наряд. И вдруг нас осенило — он прибегнул к помощи «восстановителя»! Предательский эликсир, этот черно-синий восстановитель! Мы не раз имели возможность проследить его действие на благородном оборванце. Коварная жидкость эта наделяет свою жертву кратковременным ощущением мнимого величия, подчас побуждающим ее даже приобрести новые перчатки, какой-нибудь дешевенький галстук, либо какой другой пустячок, до туалета относящийся. Первую неделю жертва испытывает необычайный душевный подъем, зато после впадает в уныние еще более глубокое, если только это возможно, чем то, в котором она пребывала раньше. Так оно было и в этом случае: эфемерное благополучие бедняги таяло по мере того, как испарялся восстановитель. На локтях и коленях и вдоль всех швов проступала зловещая белизна. Снова цилиндр запихивался под стол, а его владелец, тихонько, как и прежде, пробирался к своему месту.

Всю последующую неделю над городом висел туман и беспрерывно моросил дождь. От восстановителя не осталось и следа, и наш благородный оборванец больше ни разу уже не предпринимал никаких попыток усовершенствовать свой внешний облик.

Благородный оборванец, насколько нам известно, не имеет пристрастия к какой-либо определенной части города. Представителей этой категории нам частенько доводилось встречать по соседству с юридическими корпорациями. Они попадаются в Холборне, между восемью и десятью часами утра. Всякий же, кто полюбопытствовал бы заглянуть в суд несостоятельных должников, непременно обнаружил бы всевозможные разновидности этого типа — как среди зрителей, так и в числе действующих лиц. Что до биржи, то когда бы мы туда ни заходили, мы там встречали по крайней мере несколько благородных оборванцев и, признаться, никак не могли взять в толк, что их могло сюда привлечь? Как бы то ни было, они там просиживают часами, опершись на свои огромные, замшелые и страдающие водянкой зонты и посасывая сухари. Никто с ними не заговаривает, да и они ни с кем не вступают в беседу. Правда, нам случалось наблюдать на бирже двух благородных оборванцев беседующими между собой; опыт, однако же, говорит, что подобные случаи встречаются крайне редко и сводятся обычно к простому обмену любезностями, вроде предложения отведать табачку.

Так же трудно определить точное место, где ютятся эти несчастные, как и перечислить разнообразнейшие их занятия. Лично нам, например, всего один раз пришлось иметь дело с благородным оборванцем. Это был пьяница гравировщик; он занимал комнатушку, окнами во двор, в одном из недавно возникших домов в Кемден-Тауне, где-то возле канала — на улице, или, вернее сказать, на полузастроенном пустыре. Благородный оборванец может вообще не иметь никаких занятий, а может быть агентом по торговле зерном, углем или вином, сборщиком долгов, а то и помощником судебного пристава или каким-нибудь неудачливым стряпчим. Он может работать конторским служащим самого низкого разряда или заштатным репортером в газете. Мы не знаем, попадались ли эти люди на

глаза нашим читателям так же часто, как нам. Но одно мы знаем досконально: человек, дошедший до крайней бедности (независимо от того, кто является причиной его несчастья, люди ли, или он сам), если он при этом стыдится своей бедности и хоть и тщетно, но пытается скрыть ее от посторонних взоров, более всех представителей рода человеческого достоин сострадания. Достойны его — за немногими исключениями — все благородные оборванцы.

ГЛАВА XI

Веселая ночка

Дамон и Финтий * были, несомненно, по-своему очень неплохими ребятами: первый с чрезвычайной готовностью остался заложником за друга, а второй выказал достохвальную пунктуальность, явившись в самую последнюю минуту, что было не менее замечательно. Однако многие черты их характеров ныне уже не встречаются. В наше время, когда за долги сажают в тюрьму, не так-то просто отыскать Дамона (кроме подставных, полкроны штука); что же касается Финтиев, то те немногие, которые еще сохранились в наш развращенный век, приобрели несчастную привычку стушевываться как раз в ту минуту, когда их появление более всего отвечало бы классическим традициям. Но если в современности нельзя найти подобия их деяниям, то отыскать подобие для их дружбы еще возможно. С одной стороны, мы имеем Дамона и Финтия. С другой — Поттера и Смизерса. На случай, если последние два имени еще не достигли ушей наших непросвещенных читателей, нам, пожалуй, следует познакомить их с носителями оных.

Итак: мистер Томас Поттер служил клерком в Сити, и мистер Роберт Смизерс служил таковым там же; их доходы были ограничены, но их дружба не знала предела. Они жили на одной улице, каждое утро в одно время выходили из дому, направляясь в Сити, каждый день обедали в одном трактире и каждый вечер упивались обществом друг друга. Их связывали теснейшие узы нежной

дружбы, или, как трогательно выражался мистер Томас Поттер, они были «закадычными друзьями, каких поискать». В душе мистера Смизерса таилась романтическая искра, луч поэтичности, проблеск меланхолии, смутное стремление — он сам не знал к чему,— охватывавшие его — он сам не знал отчего,— что великолепно оттеняло дерзкую лихость, которая в значительной мере отличала мистера Поттера.

Особенности их характеров распространялись и на их одежду. Мистер Смизерс обычно появлялся на людях в сюртуке и башмаках, носил узкий черный галстук и коричневую шляпу с сильно загнутыми полями — костюм, совершенно неприемлемый для мистера Поттера, чьим непременным желанием было следовать изысканному стилю заправского щеголя или кучера дилижанса: он зашел даже так далеко, что, невзирая на затраты, приобрел синюю куртку из грубого сукна с деревянными пуговицами, совсем как у пожарных, и в ней, надев еще шляпу с низкой тульей в форме сковороды, произвел немалую сенсацию в «Альбионе» на Литл-Рассел-стрит, а также во многих других фешенебельных заведениях того же рода.

Мистер Поттер и мистер Смизерс обоюдно согласились, что, получив жалованье за три месяца, они совместно «потратят вечерок на развлечения» — нелогичность какового оборота речи очевидна, поскольку в подобных случаях, как известно, «тратится» не вечер, а те деньги, которые имеет при себе данный субъект; и кроме того, они согласились в вышеуказанный вечер «устроить ночку» — меткое выражение, означающее, что у следующего утра занимают несколько часов, складывают их с предыдущим вечером и таким образом фабрикуют целую ночь.

День квартальных платежей, наконец, настал — мы говорим «наконец» потому, что такие дни капризны, как кометы: приближаются с необыкновенной быстротой, когда вам предстоят большие выплаты, и тащатся еле-еле, когда вам предстоят хоть какие-нибудь получения. Мистер Томас Поттер и мистер Роберт Смизерс условились встретиться, чтобы начать свой вечер обедом; пообедали они очень вкусно, уютно и мило целой процессией из сменявших друг друга четырех отбивных котлет и четырех почек, которые поддерживались кружками настоящего

крепкого портера и сопровождались несчетными подушечками хлеба и клинышками сыра.

Когда официант убрал скатерть, мистер Томас Поттер приказал подать два стакана самого лучшего шотландского виски, горячей воды и сахару, а также парочку «самых слабых» гаванских сигар, что и было исполнено. Мистер Томас Поттер смешал грог и закурил сигару; мистер Роберт Смизерс последовал его примеру; затем мистер Томас Поттер шутливо предложил первый тост «за уничтожение всяческой службы» (не синекур, а контор), который мистер Роберт Смизерс горячо поддержал. Так они сидели, разговаривая о политике, дымя сигарами и попивая грог, пока заказанная выпивка в полном согласии со своим назначением не была выпита; заметив это, мистер Роберт Смизерс потребовал еще два стакана самого лучшего шотландского виски и еще две самых слабых гаваны; так оно и пошло; после каждого заказа лица пылали все больше, гаваны гасли все чаще, и в конце концов под действием виски, прикуривания от свечи, дыма, остывшего пепла на столе и свечного сала на сигарах мистер Роберт Смизерс усомнился в том, действительно ли гаваны были «самыми слабыми», и почувствовал себя так, словно сидел в наемной карете спиной к лошадям.

Со своей стороны, мистер Томас Поттер то и дело разражался громким хохотом и выступал с бессвязными уверениями, что он «ни в одном глазу», в доказательство чего, запинаясь, попросил вечернюю газету у джентльмена за соседним столиком; но, затруднившись отыскать на ее столбцах какие-либо новости и не будучи убежден, имеются ли в ней вообще столбцы, он вышел посмотреть на луну, потом вернулся, сильно побледнев от долгого глядения в небеса, судорожным хихиканьем попытался выразить веселье при виде заснувшего мистера Роберта Смизерса, положил голову на руки и тоже уснул. Когда он проснулся, мистер Роберт Смизерс тоже проснулся, и оба глубокомысленно согласились, что поступили неосторожно, съев с котлетами так много маринованных орехов, поскольку общеизвестно, что от них делается не по себе и клонит ко сну, и если бы не виски и сигары, орехи могли бы, пожалуй, причинить им еще больший вред. Засим они выпили кофе и, заплатив по счету — двенадцать шиллин-

гов два пенса за обед и десять пенсов официанту, всего тринадцать шиллингов,— приступили к устройству ночки.

Была как раз половина девятого, поэтому они решили, что лучше всего посмотреть за полцены с боковых мест галерки представление в Городском театре, куда и отправились. По дороге мистер Роберт Смизерс, впавший после того, как они расплатились по счету, в необычайно поэтическое настроение, развлекал мистера Томаса Поттера, рассказывая ему под секретом, что его томит предчувствие надвигающегося конца, а придя в театр, украсил собою залу, заснув и изящно свесив с барьера голову и руки.

Так достойно держался скромный Смизерс, и так счастливо подействовали на эту замечательную личность шотландское виски и гаваны! Но мистер Томас Поттер, всеми силами стремившийся быть «парнем хоть куда», «прожигателем жизни» или кем-нибудь в этом роде, вел себя совсем иначе и бурно занялся прожиганием — столь бурно, что в конце концов атмосфера вокруг накалилась и он основательно обжегся. Войдя в залу, он сперва удовольствовался тем, что обратился к джентльменам на галерке с настоятельным призывом «не вешать носа», сопроводив это требование другой прочувствованной просьбой — тут же «образовать союз», и оба эти предложения встретили обычный в таких случаях прием.

— Заткните ему пасть! — крикнул какой-то джентльмен в жилетке.

— Где это вы успели вылакать полпинты пива? — крикнул второй.

— Портняжка! — взвизгнул третий.

— Цирюльник! — завопил четвертый.

— Сбросьте его вниз! — рявкнул пятый; и несколько голосов выразили единодушное пожелание, чтобы мистер Томас Поттер «пошел домой к маме».

Мистер Томас Поттер выслушивал эти колкости с великолепным презрением и, когда раздавались намеки на его внешность, только глубже нахлобучивал на ухо шляпу с низкой тульей и вызывающе подбоченивался.

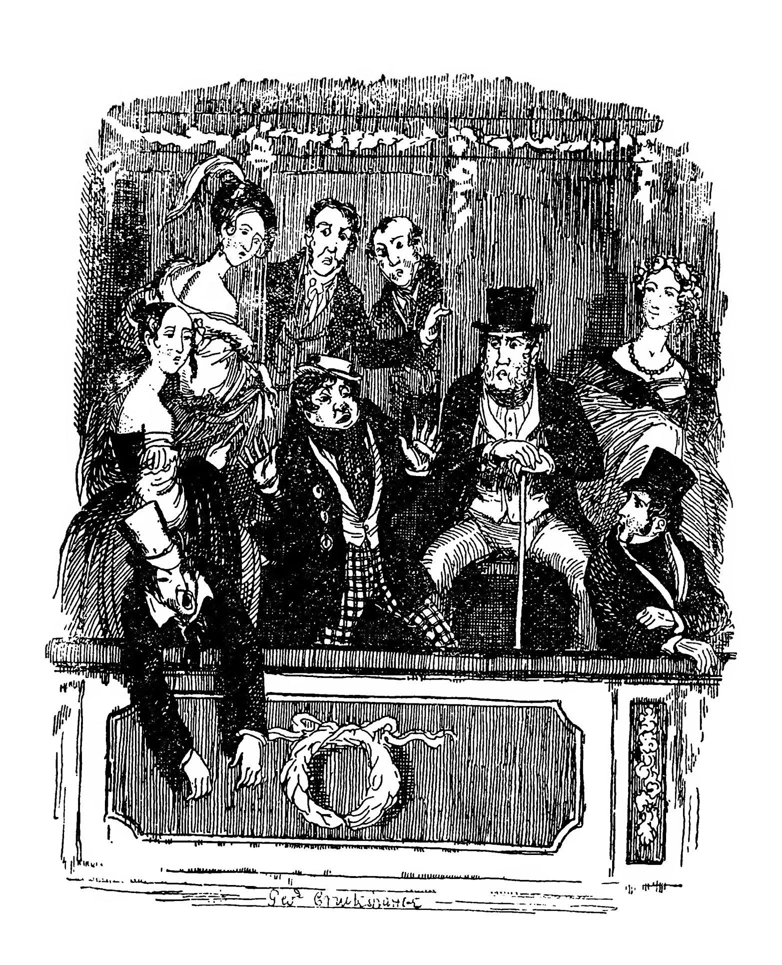
Увертюра, которой эти разнообразные звуки аккомпанировали ad libitum [1], окончилась, заиграли вторую пьесу,

---

[1] По собственному усмотрению, здесь — как попало (*лат.*).

а мистер Томас Поттер, ободренный безнаказанностью, стал вести себя совсем уже неслыханным и возмутительным образом. Для начала он повторил фиоритуру примадонны; затем освистал синий бенгальский огонь; потом, когда появилось привидение, в притворном ужасе задергал руками и ногами; и наконец, не удовольствовавшись громогласными примечаниями к диалогу на сцене, взял и разбудил мистера Роберта Смизерса, а тот, услышав, как шумит его приятель, и весьма смутно сознавая, где он находится и чего от него хотят, не замедлил последовать хорошему примеру, испустив такой долгий, жуткий и отвратительный вой, какого публике слышать еще не приходилось. Это было уже слишком. «Вышвырните их!» — раздался общий крик. Послышался шум, как будто шаркало множество ног и кого-то с силой швыряли о деревянную стену, затем последовал захлебывающийся диалог: «Пойдете вы?» — «Не хочу!» — «Пойдете!» — «Не пойду!» — «Ваша карточка, сэр?» — «Вы негодяй, сэр!» — и так далее. Публика одобрительно зааплодировала, и мистер Роберт Смизерс и мистер Томас Поттер с удивительной быстротой очутились на улице, не дав себе труда на протяжении всего поспешного спуска хоть раз коснуться ногой ступеньки.

Мистер Роберт Смизерс, человек по натуре тихий и за время, пока его изгоняли, нашумевший столько, что этого ему должно было хватить по крайней мере до следующей выплаты жалованья, не успел еще покинуть со своим спутником пределы Мильтон-стрит, как предался запутанным рассуждениям на тему о прелести сна, перемежая их туманными намеками на уместность возвращения в Излингтон, где не мешало бы проверить, подходят ли их патентованные ключи к замкам соответствующих входных дверей. Однако доблестный мистер Томас Поттер был непреклонен: они пошли устраивать ночку — и ночку они устроят! Мистер Роберт Смизерс, на три четверти осовевший и на одну — отчаявшийся, безропотно согласился, и приятели в поисках материала для устройства ночки отправились в погребок; там они обнаружили изрядное количество молодых дам, множество пожилых джентльменов, а также немалое число кучеров наемных карет и кэбменов; все пили и говорили разом; мистер


Geo. Cruikshank

Томас Поттер и мистер Роберт Смизерс тоже пили — бренди стаканчиками, а содовую воду стаканами,— и в конце концов у них осталось только смутное представление обо всем вообще и о чем угодно в частности; перестав угощаться, они начали угощать, и развлечение кончилось смутным вихрем голов и пяток, фонарей под глазами и синих мундиров под фонарями, газовых рожков и грязи, крепких дверей и булыжной мостовой.

А затем — как выразительно сообщают нам модные романисты,— «мрак и пустота!», а утром пустота оказалась заполнена словами «полицейский участок», а полицейский участок оказался заполнен мистером Томасом Поттером, мистером Робертом Смизерсом, большинством их вчерашних собутыльников из погребка и относительно небольшим количеством одежды. В полицейском суде, к великому негодованию судьи и удивлению зрителей, открылось, что некий Роберт Смизерс при содействии и подстрекательстве некоего Томаса Поттера сшиб с ног и избил на разных улицах в различные часы пятерых мужчин, четырех мальчиков и трех женщин; что означенный Томас Поттер незаконно вступил во владение пятью дверными молотками, двумя рукоятками от дверных звонков и женской шляпкой; что Роберт Смизерс, его друг, произнес ругательств на сумму не менее, чем сорок фунтов стерлингов, из расчета пять шиллингов штука; дикими воплями и криками «пожар!» нагнал ужас на целые улицы, населенные подданными ее величества; привел в негодность мундиры пяти полицейских и совершил еще всяческие зверства, столь многочисленные, что их невозможно пересчитать. И после надлежащего внушения судья оштрафовал мистера Томаса Поттера и мистера Роберта Смизерса на пять шиллингов каждого за то, что они были, как вульгарно выражается закон, пьяны; и на тридцать четыре фунта за семнадцать оскорблений действием — по сорок шиллингов каждое,— с правом договориться с истцами.

Мистер Поттер и мистер Смизерс договорились с истцами и три месяца жили, как могли, в кредит; и хотя истцы выразили свою полную готовность на таких условиях подвергаться оскорблению действием дважды в неделю, приятели с тех пор ни разу не были замечены в попытке «устроить ночку».

ГЛАВА XII

Тюремная карета

Всласть пошатавшись по городу, мы возвращались домой как-то под вечер и дошли уже до угла Боу-стрит, когда наше внимание было привлечено необычным скоплением народа перед дверьми полицейского участка. Мы незамедлительно свернули на Боу-стрит. Человек тридцать или сорок стояло на панели и на мостовой, да еще несколько зевак терпеливо расположилось на другой стороне улицы — видно, кого-то ждали. Мы присоединились к ним и тоже стали ждать; рядом с нами, скрестив руки на груди под фартуком, стоял сапожник с небритым, землистого цвета лицом; убедившись, что ничего не происходит, мы обратились к нему с обычным в таких случаях вопросом: «Что случилось?» Сапожник, предварительно смерив нас взглядом, исполненным непередаваемого презрения, отвечал: «А ничего».

Мы, впрочем, прекрасно знали, что стоит двоим остановиться на улице и уставиться на какой-нибудь предмет или пусть даже просто в пространство, как вокруг них непременно соберется толпа в двести человек; вместе с тем знали мы также и то, что, если только толпа не рассчитывает на какое-нибудь в высшей степени увлекательное зрелище, она и пяти минут не выстоит без того, чтобы не придумать себе какое-нибудь развлечение. Вполне естественно, поэтому, что следующий наш вопрос был таков: «Чего же все ждут?» — «Кареты ее величества»,— отвечал сапожник. Что за диво? Мы и придумать не могли, какое такое дело могло привести карету ее величества к полицейскому участку на Боу-стрит, и начали строить всевозможные на этот счет догадки, как вдруг мальчишки в толпе хором закричали: «Едет! Едет!» — и мы повернули голову.

Крытая повозка, в которой развозят из участка арестантов по тюрьмам, неслась во весь дух, и только тогда нас вдруг осенило, что «каретою ее величества» именуют самую обыкновенную тюремную карету — оно как-то благороднее звучит, и, кроме того, упомянутый выезд в самом деле содержится на средства ее величества и был

учрежден исключительно ради удобства леди и джентльменов, отправляющихся погостить в один из домов, которые принято называть «тюрьмой ее величества».

Карета остановилась у дверей участка, и толпа подступила к самому крыльцу, оставив узенький проход для арестантов. Наш приятель, сапожник, в числе прочих зевак, а с ним заодно и мы перешли на другую сторону. Кучер и сидевший рядом с ним человек слезли с козел и прошли в участок. Дверь за ними захлопнулась, и толпа стояла в напряженном ожидании.

Через несколько минут дверь вновь отворилась, и из нее вышла первая пара арестантов — две девушки, из которых старшей было никак не больше шестнадцати, а младшей шел от силы четырнадцатый год. О том, что это сестры, говорило фамильное сходство, сохранившееся между ними, несмотря на страшную печать, которую наложили на черты старшей те два года порочной жизни, что выпали на ее долю. Обе были весьма нарядно одеты, в особенности младшая; но, несмотря на сходство в чертах и нарядах, усугубленное к тому же тем обстоятельством, что сестры были прикованы друг к другу наручниками,— несмотря на все это, трудно было представить себе более резкое различие в их поведении. Младшая плакала навзрыд — не напоказ, не в надежде вызвать сочувствие, а от жгучего неподдельного стыда; она закрыла лицо носовым платком, и во всей ее фигуре выражалось горькое, бесполезное раскаяние.

— Сколько тебе дали, Эмили? — раздался визгливый голос из толпы, принадлежавший женщине с лицом кирпичного цвета.

— Шесть недель и топчак,— отвечала старшая с наглым смехом.— Как-никак, это лучше, чем тюрьма. Куда веселее работать на топчаке, чем сидеть да ждать суда. Вот и Белла тут со мною, по первому разу. Ты чего, цыпленок, голову повесила? — продолжала она шумно и вырвала из рук сестры носовой платок.— А ну-ка, подними голову да покажи им всем свое личико — да не бойся, я не завистлива! — но, черт меня побери, я не из тех, кто распускает нюни!

— Правильно, милочка! — крикнул какой-то человек в бумажном колпаке, которого, как, впрочем, и бо̀льшую

часть толпы, разыгравшаяся сценка привела в несказанный восторг.

— Еще бы неправильно,— отвечала девица,— а вы как думали?

— Ну-ну-ну. Нечего разговаривать, забирайтесь поскорей! — перебил кучер.

— Успеем,— возразила девушка.— Да смотрите не забудьте придержать лошадей у Колд-Бат-Филдс *, знаете, большой такой дом с высокой оградой — ну, да он приметный! Эй, Белла, куда это ты? Этак ты мне руку оторвешь! — крикнула она, обращаясь к младшей девушке, которая в своем стремлении поскорее укрыться в карете взобралась было на подножку, не дожидаясь сестры, позабыв о наручниках.— А ну-ка, слезай, да пропусти старших вперед!

С этими словами она дернула бедняжку с такой силой, что та вмиг очутилась на панели и чуть не упала, затем старшая поднялась на подножку сама, и несчастная ее сестра потянулась за ней.

Жадная, бессовестная мать толкнула своих двух дочерей на лондонские улицы, в грязный омут разврата. Тогда, вначале, старшая была точно такой же, какой была сейчас младшая; а в очень скором времени младшая неминуемо превратится в то же, во что превратилась уже ее сестра. Печальная судьба, но ничем не отвратить ее! Жестокая драма, а как часто разыгрывается она! Загляните в тюрьмы и полицейские участки Лондона — а то просто присмотритесь к улице. Все это ведь происходит тут же, у нас на глазах, ежедневно и ежечасно, сделалось явлением столь привычным, заурядным, что никого ничуть даже и не поражает. Дальнейший путь наших двух девушек по торной дорожке порока и преступленья будет стремителен, как чумная зараза, и, как ее ядовитое дыхание, пагубен для всего живого. А разве мало таких несчастных женщин на глазах у каждого из нас вовлекалось на путь порока столь ужасного, что сердце содрогается при одной мысли о нем? Безнадежно самое начало этого пути, гнусно, омерзительно его продолжение, и поистине страшен конец его: одинокий, бесприютный, безжалостный!

Были там и другие арестанты — мальчики, имеющие

десять лет от роду и не уступающие в порочности какому-нибудь пятидесятилетнему преступнику, закоснелому в злодействах; бездомный бродяга, охотно идущий в тюрьму, ибо его там ожидают пища и кров, и скованный единой с ним цепью человек, который впервые преступил закон и загубил разом все: свое будущее, свое доброе имя и свою семью. Впрочем, мы уже насытили свое любопытство, и, по правде сказать, первая пара произвела на нас такое впечатление, что мы сами были не рады и много бы дали за то, чтобы оно изгладилось из нашей памяти.

Толпа разошлась; карета тронулась, увозя с собой свой груз человеческих грехов и горестей, и вскоре вовсе скрылась из глаз.

Рассказы

ГЛАВА I

Пансион

1

Миссис Тибс была бесспорно самой аккуратной, самой хлопотливой и самой бережливой маленькой особой, когда-либо вдыхавшей лондонский дым; а дом миссис Тибс был, несомненно, самым чистеньким на всей Грейт-Корэм-стрит. И черный ход, и черная лестничка, и парадная дверь, и парадное крыльцо, и медная ручка, и дощечка на двери, и дверной молоток, и полукруглое окошко над дверью сияли и сверкали, потому что их неутомимо белили, чистили пемзой, скребли и терли. Медную дощечку с интересной надписью «Миссис Тибс» так старательно полировали, что просто удивительно, как она ни разу не загорелась от постоянного трения. На окнах малой гостиной были жалюзи, напоминавшие терку, в большой гостиной — синие с золотом занавески и шторы «до самого верха», как часто хвастала преисполненная гордости миссис Тибс. Фонарь в прихожей был прозрачен, как мыльный пузырь, вы отражались в каждом столе и прилипали к свежеотлакированным стульям. Перила были натерты воском, и даже прутья, державшие лестничную дорожку, блестели так, что вы невольно жмурились.

Миссис Тибс не отличалась высоким ростом, а мистер Тибс отнюдь не был великаном. К тому же, ноги у него

были весьма короткие, но зато лицо — чрезвычайно длинное. По отношению к своей жене он играл роль 0 в 90 — при ней он был чем-то, без нее — ничем. Миссис Тибс разговаривала без остановки. Мистер Тибс говорил редко, но если представлялась возможность ввернуть словечко, когда следовало бы промолчать, он никогда не упускал ее. Миссис Тибс не выносила длинных историй; мистер Тибс постоянно пытался рассказать длиннейший анекдот, конца которого не слышали даже его ближайшие друзья. Начинался он так: «Помню, когда я служил волонтером в тысяча восемьсот шестом году, меня вызвали...» — но поскольку он говорил очень тихо и медленно, а его прекрасная половина — очень громко и быстро, ему редко удавалось прибавить что-нибудь к этому вступлению. Он был жалким рассказчиком, Агасфером остроумия.

Мистер Тибс имел счастье состоять в пенсионном списке, получая примерно сорок три фунта пятнадцать шиллингов десять пенсов в год. Его отец, мать и пять достойных отпрысков этой благородной фамилии получали такие же суммы из доходов благодарного отечества, хотя никому не было известно — за что именно. Но поскольку вышеозначенной пенсии немножко не хватало, чтобы обеспечить супружескую пару *всеми* благами жизни, деловитая женушка мистера Тибса решила, что полученные ею в наследство семьсот фунтов лучше всего употребить на то, чтобы нанять и обставить подходящий дом — где-нибудь в пределах той малоисследованной области Англии, которая расположена между Британским музеем и отдаленной деревушкой, именуемой Сомерс-Таун,— и открыть пансион. В конце концов выбор пал на Грейт-Корэм-стрит. Обставили соответствующим образом дом; наняли двух служанок и мальчика для услуг; и в утренних газетах появилось объявление, уведомлявшее почтенную публику, что «шесть персон найдут все удобства уютного частного дома в лоне почтенного музыкального семейства, обитающего в десяти минутах ходьбы от» ...любого места. Начали поступать бесчисленные ответы, подписанные самыми разнообразными инициалами. Казалось, все буквы алфавита внезапно были охвачены жаждой получить комнату с полным пансионом.

Переписка с желающими была обширна, а тайна, окружавшая ее,— глубока. «О. Н. не согласен на это». «М. Н. Е. не нравится то». «М. О. Т. считает условия неподходящими», а «К. В. не выносит французской кухни». Но, наконец, в доме миссис Тибс «на условиях, приемлемых для обеих заинтересованных сторон», поселились три джентльмена. Снова газеты украсились объявлениями, и некая дама с двумя дочерьми приготовилась увеличить — не свое семейство, но число жильцов миссис Тибс.

— Какая очаровательная женщина эта миссис Мейплсон! — сказала миссис Тибс, сидя вместе с супругом у камина после завтрака, когда джентльмены отправились к местам своих занятий.— Просто очаровательная! — повторила низенькая миссис Тибс, разговаривая больше сама с собой, поскольку она никогда не интересовалась мнением мужа.

— И обе дочки прелестны. К обеду нужно заказать рыбу. Они сегодня в первый раз будут с нами обедать.

Мистер Тибс положил кочергу перпендикулярно к совку и попробовал было заговорить, но вспомнил, что сказать ему нечего.

— Барышни очень любезны,— продолжала миссис Тибс,— они сами вызвались привезти свое фортепьяно.

Мистер Тибс вспомнил, как в тысяча восемьсот шестом году его вызвали... но не осмелился высказать это вслух. Тут его осенила блестящая идея.

— А ведь, пожалуй...— сказал он.

— Будь так добр, не прислоняйся головой к обоям,— прервала миссис Тибс.— И не ставь ноги на каминную решетку — это еще хуже.

Тибс отодвинул голову от обоев, а ноги от решетки и продолжал: — А ведь, пожалуй, одна из этих барышень начнет строить глазки молодому Симпсону, а ты знаешь, брак...

— Что?! — взвизгнула миссис Тибс.

Тибс скромно повторил вышеприведенное предположение.

— Прошу тебя не говорить о подобных вещах,— сказала миссис Тибс.— Брак! Еще чего! Чтобы нагло лишить меня жильцов! Нет, нет, ни за что на свете!

Тибс про себя решил, что это событие более чем вероятно, но поскольку он никогда не спорил с женой, то положил конец разговору, заметив, что «пора двигаться на работу». Он всегда уходил в десять часов утра и возвращался в пять дня, пропахший сыростью и с перепачканным лицом. Никто не знал, куда он ходит и чем занимается, но миссис Тибс с важным видом заявляла, что у него дела в Сити.

Две мисс Мейплсон и их одаренная родительница прибыли днем в наемной карете, сопровождаемые невероятным количеством багажа. Коридор заполнили сундуки, коробки, шляпные картонки, зонтики, гитары в футлярах и всяческие пакеты, заколотые булавками. Тут поднялась такая возня с вещами, такая беготня с горячей водой, чтобы дамы могли умыться, такой хаос, упреки в адрес слуг, накаливание атмосферы и щипцов для завивки, каких Грейт-Корэм-стрит никогда раньше не знавала. Низенькая миссис Тибс была совершенно в своей стихии: хлопотала, болтала без умолку, раздавала полотенца и мыло, словно кастелянша больницы. Только когда дамы, наконец, разошлись по своим спальням и углубились в сложную процедуру переодевания к обеду, дом обрел обычное спокойствие.

— Ну, как девочки — ничего? — осведомился мистер Симпсон у мистера Септимуса Хикса, другого жильца, пока они коротали время в ожидании обеда, развалившись на диванах в гостиной и созерцая свои лакированные туфли.

— Не знаю,— ответил мистер Септимус Хикс, высокий бледный молодой человек, носивший очки и черную ленту вокруг шеи вместо шейного платка,— весьма интересная личность, поэтический студент-медик, проходивший практику в больнице, и «очень талантливый юноша». Он обожал «втискивать» в разговор всевозможные цитаты из «Дон-Жуана», не обращая внимания, насколько они уместны,— в этом отношении он был замечательно независим. Его собеседник, мистер Симпсон, принадлежал к числу тех молодых джентльменов, которые играют в обществе ту же роль, что статисты на сцене, но обладают для своего амплуа еще меньшими данными, чем самый бездарный актер. Голова у него была пуста, как большой

колокол собора св. Павла. Он одевался, тщательно следуя сборникам карикатур, именуемым модными журналами, и писал «водевиль» через «а».

— Возвращаясь домой, я наткнулся в коридоре на дьявольское множество картонок,— томно протянул мистер Симпсон.

— Предметы туалета, без сомнения,— предположил почитатель «Дон-Жуана»:

...белье и кружева лежали там,
Чулки, гребенки, туфли и все те
Безделки, что иль украшают дам,
Иль сохраняют свежесть красоте.

— Мильтон? — осведомился мистер Симпсон.

— Нет, Байрон,— презрительно ответил мистер Хикс. Он был в этом совершенно уверен, потому что никого другого не читал.

— Ш-ш. Вот и девочки! — И оба начали громко разговаривать.

— Миссис Мейплсон, мисс Мейплсон, мисс Мейплсон — мистер Хикс. Мистер Хикс — миссис Мейплсон, мисс Мейплсон, мисс Мейплсон,— сказала раскрасневшаяся миссис Тибс, которая перед этим руководила операциями на кухне внизу и теперь напоминала восковую куклу в жаркий день.

— Мистер Симпсон, прошу прощения — мистер Симпсон — миссис Мейплсон, мисс Мейплсон, мисс Мейплсон,— и то же самое наоборот.

Джентльмены принялись учтиво расшаркиваться с таким видом, словно жалели, что руки их не превратились в ноги, ибо они не знали, куда их деть; дамы улыбнулись, присели, опустились в кресла и нагнулись за уроненными носовыми платками; джентльмены остановились у окна; миссис Тибс разыграла прелестную пантомиму со служанкой, которая явилась задать какой-то вопрос относительно соуса к рыбе; затем барышни посмотрели друг на друга, а остальные, казалось, открыли неожиданные красоты в узоре каминной решетки.

— Джулия, милочка,— обратилась миссис Мейплсон к младшей дочери голосом, достаточно громким, чтобы все ее услышали.— Джулия!

— Что, маменька?

— Не горбись.— Это было сказано с целью привлечь общее внимание к фигуре дочери, достоинства которой были несомненны. Все присутствующие, естественно, устремили взоры на мисс Джулию, и наступила новая пауза.

— Вы себе представить не можете, какой грубиян кучер вез нас сегодня! — конфиденциальным тоном обратилась миссис Мейплсон к миссис Тибс.

— Боже мой! — ответила та с видом величайшего сочувствия.

Она не успела ничего прибавить, потому что служанка опять появилась в дверях и начала посылать хозяйке настойчивые сигналы.

— По моему мнению, кучера наемных карет — всегда грубияны,— вкрадчиво сказал мистер Хикс.

— Совершенно справедливо! — ответила миссис Мейплсон с таким выражением, как будто подобная мысль никогда прежде не приходила ей в голову.

— Кэбмены тоже,— сказал мистер Симпсон.

Это замечание не имело успеха, так как никто ни словом, ни жестом не выдал хотя бы малейшей осведомленности о привычках и обычаях кэбменов.

— Робинсон, что вам, наконец, надо? — сказала миссис Тибс служанке, которая уже пять минут кашляла и сморкалась за дверью, стараясь привлечь к себе внимание хозяйки.

— С вашего позволения, мэм, хозяину нужна чистая смена,— ответила застигнутая врасплох служанка.

Молодые люди отвернулись к окну и громко прыснули, точно пробки вылетели из двух бутылок с лимонадом; дамы прижали к губам носовые платочки, а низенькая миссис Тибс выскочила из комнаты, чтобы дать Тибсу чистое белье, а служанке — нагоняй.

Вскоре затем появился мистер Колтон, последний из жильцов, оказавшийся удивительно умелым собеседником. Мистер Колтон был пожилой фат — старый холостяк. Он часто говаривал, что, хотя его лицо нельзя назвать красивым в строгом смысле слова, оно, однако, поражает своей оригинальностью. И он был совершенно прав. При взгляде на него невольно вспоминался круглый

дверной молоток, полулев-полуобезьяна, причем это сравнение можно было распространить и на его характер и на стиль его разговора. Мистер Колтон топтался на месте, пока все остальное двигалось вперед. Он ни разу в жизни не придумал новой темы для беседы и не высказал самостоятельной мысли; но если речь шла о чем-нибудь давно известном или, продолжая сравнение, если кто-нибудь его *дергал,* он начинал барабанить с необычайной быстротой. Порой у него бывал приступ нервного тика, и это, можно сказать, его приглушало, потому что в таких случаях он производил вдвое меньше шума, чем обычно, когда надоедливо твердил — тук-тук-тук — одно и то же. До сих пор не женившись, он все еще высматривал невесту с деньгами. Он имел пожизненную ренту, около трехсот фунтов в год, был чрезвычайно тщеславен и безмерно себялюбив. Он приобрел репутацию безукоризненно вежливого человека и каждый день прогуливался по Гайд-парку и Риджент-стрит.

Этот почтенный человек решил держаться с миссис Мейплсон как можно любезнее — правду говоря, каждый из присутствующих желал проявить себя с самой лучшей стороны, ибо миссис Тибс сочла полезным прибегнуть к тонкой хитрости и дала джентльменам понять, что дамы весьма богаты, а дамам намекнула, что все джентльмены — «завидная партия». Легкий флирт, думала она, поможет ей удерживать всех жильцов, не приводя ни к каким другим последствиям.

Миссис Мейплсон, предприимчивая вдова лет пятидесяти, была хитра, практична и красива. Она проявляла нежнейшую заботливость по отношению к своим дочерям, в доказательство чего постоянно твердила о своей готовности вторично выйти замуж, если это окажется полезным ее милочкам — другой побудительной причины у нее, разумеется, быть не могло. Да и сами «милочки» не были нечувствительны к перспективе «солидного семейного очага». Одной из них исполнилось двадцать пять, другая была на три года моложе. За четыре сезона они побывали на всевозможных водах, играли в лотерею по курзалам, читали на балконах, торговали на благотворительных базарах, танцевали на балах, разговаривали о чувствах, — словом, делали все, что только

может сделать трудолюбивая девушка, но пока — безуспешно.

— Как мистер Симпсон великолепно одевается,— шепнула Матильда Мейплсон своей сестре Джулии.

— Чудесно,— согласилась младшая.

Великолепный джентльмен, о котором шла речь, был во фраке каштанового цвета с бархатным воротником и манжетами такого же оттенка — костюм, напоминающий тот, что облекает фигуру аристократического инкогнито, снисходящего до исполнения роли «щеголя» в пантомиме у Ричардсона.

— Какие бакенбарды! — сказала мисс Джулия.

— Очаровательные! — поддержала ее сестра.— А волосы!

Эти волосы напоминали парик и отличались той искусной волнистостью, которая свойственна сияющим локонам шедевров, увенчивающих восковые бюсты в витрине Бартело на Риджент-стрит; а бакенбарды, сходившиеся под подбородком, казались теми завязками, на которых этот парик держался, пока надобность в них не отпала благодаря изобретению патентованных невидимых пружин.

— С вашего позволения, обед подан, мэм,— сказал, впервые появляясь на сцене, мальчик для услуг, одетый в перелицованный черный сюртук своего хозяина.

— О! Мистер Колтон, вы поведете миссис Мейплсон? Благодарю вас!

Мистер Симпсон предложил руку мисс Джулии, мистер Септимус Хикс пошел с прелестной Матильдой, и вся процессия проследовала в столовую. Мистер Тибс был представлен трем дамам, трижды подпрыгнул, как фигурка на голландских часах, в которой скрыта мощная пружина, после чего быстро юркнул на свое место на нижнем конце стола, где с облегчением спрятался позади суповой миски, из-за которой видны были только его глаза. Жильцы уселись — дама, кавалер, дама, кавалер попеременно, как ломти хлеба и мяса на тарелке с сандвичами, и затем миссис Тибс приказала Джеймсу открыть блюда. Открылись лососина, раковый соус, суп из гусиных потрохов и обычное сопровождение: картофель в виде окаменелостей и кусочки поджаренного хлеба, формой и размером напоминавшие игральные кости.

— Супу миссис Мейплсон, дорогой,— сказала хлопотунья миссис Тибс. При посторонних она всегда называла мужа «дорогой». Тибс, потихоньку жевавший хлеб и подсчитывавший, сколько времени ему ждать рыбы, торопливо налил суп, сделал на скатерти лужицу и поставил на нее стакан, чтобы не заметила жена.

— Мисс Джулия, позвольте предложить вам рыбки?

— Будьте так добры — только поменьше — ах, довольно! Благодарю вас. (На тарелку был положен кусочек величиной с грецкий орех.)

— Джулия всегда очень мало ест,— заметила миссис Мейплсон мистеру Колтону.

Молоток стукнул один раз. Он увлеченно пожирал рыбу глазами и поэтому ответил только: «А!»

— Дорогой,— сказала миссис Тибс своему супругу, когда все остальные были обслужены,— а тебе чего положить?

Вопрос сопровождался взглядом, запрещавшим просить рыбу, так как ее осталось мало. Но Тибс решил, что нахмуренные брови вызваны лужицей на скатерти, и поэтому хладнокровно ответил:

— Ну... рыбки, я думаю.

— Ты сказал — рыбы, дорогой? (Брови снова хмурятся.)

— Да, дорогая,— ответил злодей, и лицо его выразило острый голод.

Из глаз миссис Тибс чуть не брызнули слезы, когда она перекладывала на тарелку своего «подлого муженька» — так она мысленно назвала его — последний съедобный кусок лососины.

— Джеймс, передайте это вашему хозяину и заберите у вашего хозяина нож.

Последнее было сознательной местью, поскольку Тибс не умел есть рыбу без помощи этого инструмента. Таким образом, он был вынужден, действуя кусочком хлеба и вилкой, бесплодно гонять по тарелке частички лососины из расчета — одна удачная попытка на семнадцать неудачных.

— Уберите первое, Джеймс,— сказала миссис Тибс, едва Тибс докончил четвертый глоток, и приборы исчезли с быстротой молнии.

— Дайте мне кусочек хлеба, Джеймс,— воскликнул бедный «хозяин дома», терзаемый муками голода.

— Не обращайте внимания на хозяина, Джеймс,— сказала миссис Тибс,— займитесь жарким.

Эта фраза была произнесена тем голосом, каким дамы обычно говорят со слугами при гостях, то есть тихим, но настолько выразительным, что его, подобно театральному шепоту, слышат все.

Прежде чем стол был снова уставлен блюдами, последовала пауза — нечто вроде интермедии, во время которой мистер Симпсон, мистер Колтон и мистер Хикс достали каждый по бутылке — сотерна, португальского белого и хереса — и угостили всех, кроме Тибса. Его всегда забывали.

Антракт между рыбой и обещанным жарким затянулся.

Мистер Хикс воспользовался удобным случаем. Он не мог удержаться от чрезвычайно уместной цитаты:

Говядина на островах редка,
Козлятину там варит житель дикий.
А если четверть жарится быка,
То, значит, праздник наступил великий.

«Как неделикатно,— подумала низенькая миссис Тибс,— говорить такие вещи».

— О,— сказал мистер Колтон,— Том Мур — мой любимый поэт.

— И мой,— сказала миссис Мейплсон.

— И мой,— сказала мисс Джулия.

— И мой,— добавил мистер Симпсон.

— Вспомните его творенья,— продолжал молоток.

— Еще бы! — уверенно сказал Симпсон.

— Вспомните «Дон-Жуана»,— возразил мистер Септимус Хикс.

— Письмо Джулии,— вставила мисс Матильда.

— Есть ли что-нибудь великолепнее «Огнепоклонников»? — осведомилась мисс Джулия.

— Еще бы! — сказал Симпсон.

— Или «Рая и пери»,— сказал старый фат.

— Да, или «Рая и пэра»,— повторил Симпсон, думая, что превосходно выходит из положения.

— Все это очень мило,— возразил мистер Септимус Хикс, который, как мы намекали выше, никогда ничего не читал, кроме «Дон-Жуана»,— но где вы найдете что-нибудь восхитительнее описания осады в начале седьмой песни?

— Кстати об осадах,— сказал Тибс, пережевывая хлеб,— когда я был волонтером в тысяча восемьсот шестом году, меня вызвал из рядов наш командир, сэр Чарльз Бруствер,— мы проводили ученье там, где теперь Лондонский университет,— и говорит: «Тибс»,— говорит он...

— Попросите вашего хозяина, Джеймс,— сказала миссис Тибс ужасающе внятным голосом,— попросите вашего хозяина, если он не собирается разрезать птицу, передать блюдо мне.

Обескураженный волонтер немедленно принялся за работу и разрезал птицу почти так же быстро, как его жена расправилась с бараньей ногой. Докончил ли он свой анекдот — неизвестно, но во всяком случае этого никто не слышал.

Итак, лед был сломан, новоприбывшие совсем освоились с обстановкой, и все почувствовали себя свободнее, особенно Тибс, судя по тому, что после обеда он немедленно уснул. Мистер Хикс и дамы красноречиво обсуждали поэзию, театры, письма лорда Честерфилда*,— мистер Колтон подкреплял все сказанное непрерывным стуком. Миссис Тибс горячо поддерживала любое замечание миссис Мейплсон, а мистер Симпсон, поскольку он все время улыбался и через каждые четыре минуты произносил «да» и «конечно», несомненно понимал, о чем идет речь. Мужчины явились в гостиную почти сразу вслед за дамами. Миссис Мейплсон и мистер Колтон сели играть в криббедж, а молодежь развлекалась музыкой и разговорами. Девицы Мейплсон исполняли чарующие дуэты, аккомпанируя себе на гитарах, украшенных воздушными голубыми лентами. Мистер Симпсон, смотревший сквозь розовые очки, заявил, что он в восторге; а мистер Хикс пребывал на седьмом небе поэзии — или в седьмой песне «Дон-Жуана», что, впрочем, для него было одно и то же. Миссис Тибс была совершенно покорена новыми жильцами, а мистер Тибс провел вечер как обычно — заснул, проснулся, заснул опять и проснулся к ужину.

Не собираясь воспользоваться привилегией романистов и позволить «миновать долгим годам», мы, однако, возьмем на себя смелость обратиться к читателям с просьбой вообразить, что после вышеописанного обеда прошло шесть месяцев и что в течение этого времени жильцы миссис Тибс пели, танцевали, ходили вместе в театр и на выставки, как часто делают леди и джентльмены, живущие в одном пансионе. И пусть читатели представят себе, что по истечении этого времени мистер Септимус Хикс как-то рано утром получает у себя в спальне (выходящая на улицу мансарда) записку от мистера Колтона, в которой тот просит его сделать милость навестить его (мистера Колтона) в его апартаментах на третьем этаже, выходящих во двор, как только мистеру Хиксу это будет удобно.

— Передайте мистеру Колтону, что я сейчас приду,— сказал мистер Хикс мальчику для услуг.— Постойте, что, мистер Колтон нездоров? — взволнованно осведомился студент-медик, надевая одеялообразный халат.

— Да нет, как будто нет, сэр,— ответил мальчик.— С вашего разрешения, вид у него какой-то чудной.

— Ну, это еще не значит, что он болен,— рассеянно отозвался Хикс.— Ладно, сейчас спущусь.

Мальчик помчался вниз с ответом, а взволнованный Хикс выскочил сразу вслед за ним. «Тук, тук...» — «Войдите». Дверь отворяется — виден мистер Колтон, сидящий в мягком кресле. Обмен рукопожатий, мистеру Хиксу предложен стул. Короткая пауза. Мистер Хикс кашлянул, мистер Колтон взял понюшку табаку. Это было одно из тех свиданий, когда собеседники не знают, с чего начать. Молчание нарушил мистер Септимус Хикс.

— Я получил записку,— робко начал он голосом простуженного Панча.

— Да,— последовал ответ,— получили.

— Именно.

— Да.

И хотя этот диалог должен был доставить им полное удовлетворение, оба джентльмена почувствовали, что сказано еще не все, и поступили так, как поступило бы в подобном случае большинство людей, а именно — с решительным видом уставились на стол. Однако разговор был

начат, и мистер Колтон продолжил его двойным стуком. Он всегда выражался напыщенно.

— Хикс,— сказал он,— я послал за вами ввиду некоторых приготовлений, которые должны будут произойти в этом доме в связи с предстоящей свадьбой.

— Свадьбой! — ахнул Хикс, и по сравнению с ним Гамлет, увидевший призрак своего отца, показался бы спокойным и довольным.

— Свадьбой,— подтвердил молоток.— Я послал за вами, дабы выразить то великое доверие, которое я к вам питаю.

— Вы меня не выдадите? — беспокойно спросил Хикс, от волнения позабывший все цитаты.

— Это я — выдам вас? Вы-то меня не выдадите?

— Никогда; до самой моей смерти никто не узнает, что вы приложили руку к этому делу! — отозвался крайне встревоженный Хикс. Лицо его побагровело, а волосы встали дыбом, словно он находился на сиденье электрофорной машины, работающей полным ходом.

— Рано или поздно это должно стать известным — я полагаю, еще до истечения года,— сказал с величайшим самодовольством мистер Колтон.— *Возможно,* мы обзаведемся детьми.

— Мы?! Но вы же к этому не имеете отношения?

— Еще как имею!

— Но каким же образом?..— спросил растерявшийся Хикс.

Поглощенный своим счастьем, Колтон не заметил, что они с Хиксом не понимают друг друга. Он откинулся на спинку кресла.

— О Матильда! — томно вздохнул дряхлый фат, прижав правую руку к груди, чуть левее четвертой пуговицы жилета, считая снизу.— О Матильда!

— Какая Матильда? — воскликнул Хикс, вскакивая.

— Матильда Мейплсон,— ответил Колтон, тоже вставая.

— Я женюсь на ней завтра утром,— сказал Хикс.

— Ложь! — ответил его собеседник.— На ней женюсь я!

— Вы?

— Я!

— Вы женитесь на Матильде Мейплсон?

— На Матильде Мейплсон.

— *Мисс* Мейплсон выходит за *вас?*

— Мисс Мейплсон? Нет, миссис Мейплсон!

— Боже мой! — воскликнул Хикс, падая на стул.— Вы женитесь на матери, а я на дочери!

— Чрезвычайно странное совпадение! — ответил мистер Колтон.— И к тому же весьма неприятное; дело в том, что Матильда намерена держать все в тайне от дочерей, пока бракосочетание не совершится, и поэтому не хочет просить никого из своих друзей быть посаженым отцом. По некоторым веским причинам мне тоже не хотелось бы до поры до времени посвящать в это дело своих знакомых; вследствие чего я послал за вами, дабы узнать, не сделаете ли вы мне одолжение выступить в роли отца?

— Я был бы счастлив, уверяю вас,— сказал Хикс сочувственным тоном,— но, понимаете, я выступаю в роли жениха. Одно часто бывает следствием другого, но совмещать обе эти роли как-то не принято. А Симпсон? Я уверен, что он с радостью вам поможет.

— Мне бы не хотелось обращаться к нему,— ответил Колтон.— Он такой осел.

Мистер Септимус Хикс поднял взор к потолку, потом опустил его на пол, и, наконец, его осенило.

— Пусть отцом будет хозяин дома, Тибс,— предложил он и привел двустишие, удивительно подходившее и к Тибсу и к парочке:

О силы неба! Что за страшный вид!
Отец на пару бедную глядит!

— Эта мысль уже приходила мне в голову,— сказал мистер Колтон,— но, видите ли, Матильда по неизвестной мне причине очень не хочет, чтобы миссис Тибс узнала об этом, пока все не будет кончено. Естественная стыдливость, знаете ли.

— Он добрейшее существо, если уметь подойти к нему,— сказал мистер Септимус Хикс.— Велите ему ничего не говорить жене, убедите его, что она не рассердится,— и он тут же согласится. Мой брак должен остаться тайным из-за *ее* матери и *моего* отца; поэтому Тибсу надо приказать хранить молчание.

В эту минуту у парадной двери послышался робкий двойной стук, равный одному самоуверенному. Это был Тибс. Это мог быть только он, потому что никто другой не тратил пяти минут на вытирание ног. Он ходил уплатить по счету булочнику.

— Мистер Тибс,— ласковым голосом позвал мистер Колтон, перегнувшись через перила.

— Сэр? — откликнулся обладатель грязной физиономии.

— Будьте так любезны, поднимитесь сюда на минутку.

— С удовольствием, сэр,— ответил Тибс, в восторге от того, что его заметили. Мистер Колтон тщательно затворил дверь. Тибс положил шляпу на пол (как часто делают застенчивые люди), сел на предложенный стул и огляделся с таким изумлением, словно его вызвали на суд инквизиции.

— Довольно неприятное событие, мистер Тибс,— произнес Колтон внушительно,— вынуждает меня обратиться к вам за советом и просить вас не сообщать того, что я собираюсь сказать, вашей супруге.

Тибс изъявил согласие, недоумевая про себя, какого дьявола тот натворил, и предполагая, что он по меньшей мере перебил все парадные графины.

Мистер Колтон продолжал:

— Я оказался, мистер Тибс, в довольно неприятном положении.

Тибс поглядел на мистера Септимуса Хикса так, словно думал, что именно присутствие мистера Хикса, придвинувшего кресло столь близко к собрату-жильцу, и составляет неприятность этого положения, но, не зная, что сказать, ограничился восклицанием: «Неужто?»

— Теперь,— продолжал молоток,— разрешите мне просить вас не проявлять никаких признаков удивления, которые могла бы услышать прислуга, когда я скажу вам — подавите чувство изумления! — что двое из обитателей этого дома намерены завтра утром сочетаться браком.— И он отодвинул свое кресло на несколько футов, чтобы получше насладиться эффектом столь неожиданного сообщения.

Если бы Тибс опрометью выскочил из комнаты, шатаясь, спустился бы с лестницы и упал в обморок в ниж-

нем коридоре, если бы он, вне себя от удивления, выпрыгнул из окна в извозчичий двор, расположенный за домом, его поведение показалось бы мистеру Колтону менее необъяснимым, чем то спокойствие, с которым он просто сунул руки в карманы невыразимых и, чуть ли не хихикнув, сказал:

— А как же.

— Вы не изумлены, мистер Тибс? — вопросил мистер Колтон.

— Да нет, сэр, чего же,— отозвался Тибс.— В конце концов это естественно. Когда молодые люди часто видятся, сами знаете...

— Конечно, конечно,— сказал Колтон с неописуемым самодовольством.

— Вы, значит, не видите в этом ничего необычного? — спросил мистер Септимус Хикс, все это время в немом удивлении взиравший на Тибса.

— Нет, сэр,— ответил Тибс.— Я тоже был таким в его годы,— и он самым настоящим образом улыбнулся.

«У меня, значит, дьявольски моложавый вид!» — с восторгом подумал старый фат, знавший, что он на добрых десять лет старше Тибса.

— В таком случае перейдем сразу к делу,— продолжал он.— Я хотел бы знать, согласны ли вы быть посаженым отцом?

— Разумеется,— ответил Тибс, все еще не проявляя ни малейшего изумления.

— Согласны?

— Само собой,— подтвердил Тибс, по-прежнему спокойный, как портер, с которого сдули пену.

Мистер Колтон горячо пожал руку порабощенному мужу и поклялся ему в вечной дружбе. Хикс, преисполненный удивления и радости, последовал его примеру.

— Признайтесь же,— спросил мистер Колтон у Тибса, поднимавшего с пола свою шляпу.— Были вы удивлены?

— И не говорите! — ответила эта высокая персона, взмахнув рукой.— И не говорите! Когда я услышал об этом в первый раз...

— Так неожиданно,— сказал Септимус Хикс.

— Понимаете, так странно — обращаться *ко мне*,— сказал Тибс.

— В общем и целом — необыкновенно! — воскликнул престарелый жуир, и все трое рассмеялись.

— Послушайте,— начал Тибс, притворив открытую было дверь и давая полную волю подавляемому дотоле смеху.— Меня беспокоит одно — что все-таки скажет его отец?

Мистер Септимус Хикс поглядел на мистера Колтона.

— Да, но смешнее всего то,— произнес последний, в свою очередь поддаваясь веселью,— что у меня нет отца. Хе-хе-хе!

— У вас-то отца нет, зато у него есть,— сказал Тибс.

— У кого? — поинтересовался мистер Септимус Хикс.

— Как у кого? У него.

— У кого — у него? Вам известна моя тайна? Вы обо мне говорите?

— О вас? Нет. Вы же знаете, о ком я говорю,— отвечал Тибс, выразительно подмигивая.

— Ради бога, о ком вы говорите? — спросил мистер Колтон, которого, как и Септимуса Хикса, эта путаница совсем сбила с толку.

— О мистере Симпсоне, разумеется,— ответил Тибс.— О ком же еще?

— Я понял все,— сказал любитель Байрона,— Симпсон завтра утром женится на Джулии Мейплсон.

— Само собой,— ответил Тибс с глубоким удовлетворением,— конечно, женится.

Потребовался бы карандаш Хогарта, чтобы изобразить — наше слабое перо не в силах его описать — выражение, появившееся на лицах мистера Колтона и мистера Септимуса Хикса при этом неожиданном заявлении. Равным образом невозможно описать,— хотя, быть может, наши читательницы без труда вообразят,— к каким хитростям прибегли три красавицы, чтобы так прочно поймать каждая своего поклонника. Каковы бы ни были их уловки, они увенчались успехом. Мать прекрасно знала, что ее дочери собираются выйти замуж, а дочки равным образом были осведомлены о намерениях своей достопочтенной родительницы. Однако будет приличнее, решили они, если каждая притворится, будто ничего не знает о двух других помолвках; было также желательно устроить все свадьбы в один и тот же день, чтобы один из

тайных союзов, став явным, не повлиял неблагоприятным образом на другие. Отсюда недоразумение между мистером Колтоном и мистером Септимусом Хиксом, и отсюда же предварительный уговор с неосторожным Тибсом.

На следующее утро мистер Септимус Хикс вступил в брак с мисс Матильдой Мейплсон. Мистер Симпсон также соединился «священными узами» с мисс Джулией, посаженым отцом которой был Тибс — «впервые в этой роли». Мистер Колтон, не столь пылкий, как эти молодые люди, был порядком обескуражен двойным открытием, и поскольку он затруднялся найти человека, который вручил бы ему его невесту, он подумал, что лучший выход из создавшегося положения — вовсе от нее отказаться. Его нареченная, однако, «воззвала», как выразился ее адвокат на слушании дела «Мейплсон против Колтона — нарушение брачного обязательства», «с разбитым сердцем к поруганным законам своей страны». Ей было присуждено возмещение ущерба в размере одной тысячи фунтов, каковую сумму несчастному дверному молотку и пришлось уплатить. Мистер Септимус Хикс как-то ушел на больничный обход, да так и не пришел обратно. Его оскорбленная жена проживает в настоящее время с матерью в Булони. Мистеру Симпсону, имевшему несчастье потерять жену через шесть недель после свадьбы (она сбежала с офицером, пока супруг ее временно пребывал во Флитской тюрьме, куда попал, не будучи в состоянии оплатить счетец, представленный ее модисткой) и лишенному наследства отцом, который вскоре после этого умер, посчастливилось, однако, найти постоянную работу в модной парикмахерской, поскольку уход за волосами был наукой, к которой он всегда проявлял большой интерес. Занимаемая должность, естественно, открывала перед ним широкие возможности для ознакомления с обычаями и образом мыслей избранных кругов английской аристократии. Этому счастливому обстоятельству мы обязаны появлением блестящих творений гения, его великосветских романов, которые, пока существует тонкий вкус — враг литературы, испорченной романтическими преувеличениями, чопорностью или пошлыми шутками,— будут неизменно поучать и развлекать мыслящую часть общества.

Остается добавить, что в результате этого нагромождения неурядиц пансион бедной миссис Тибс лишился всех своих обитателей, за исключением одного, без которого она как раз могла бы обойтись,— ее мужа. Несчастный вернулся домой после свадьбы в состоянии легкого опьянения и под влиянием винных паров, возбуждения и отчаяния дошел до того, что осмелился перечить своей разгневанной супруге. С этого рокового часа ему было предписано питаться на кухне, пределами которой его остроумие и будет отныне ограничено: по приказанию миссис Тибс туда перенесена для его исключительного пользования складная кровать. Возможно, что в этом уединении он сможет, наконец, докончить свой анекдот о волонтерах.

В утренних газетах снова появилось объявление. Описание его результатов откладывается до следующей главы.

2

«Что ж! — сказала себе низенькая миссис Тибс как-то утром, сидя в большой гостиной дома на Грейт-Корэм-стрит и занимаясь починкой ковровой дорожки с площадки второго этажа,— все кончилось не так уж плохо, и если придет благоприятный ответ на объявление, все комнаты снова будут заняты».

Миссис Тибс опять принялась штопать дорожку шерстяной ниткой, настороженно прислушиваясь к тому, как почтальон (доставка письма — два пенса) выстукивает свой путь по улице из расчета — пенни за удар молотка. В доме царила глубокая тишина, нарушаемая одним только тихим звуком: несчастный Тибс чистил в чулане сапоги джентльменов, аккомпанируя себе слабым жужжаньем — жалкой пародией на звонкую песню.

Почтальон приблизился к дверям. Он остановился; миссис Тибс — тоже. Стук — легкая суматоха — письмо — оплаченное.

«Т. И. желает здравствовать И. Т. и Т. И. просит передать, что я видела объявление И она доставит себе

удовольствие самой сделать вам Визит в 12 часов завтрешнего утра.

Т. И. извиняется Перед И. Т., что не предупредила раньше Но я надеюсь это вас Не утрудит

Искренне ваша

Среда вечером».

Низенькая миссис Тибс несколько раз внимательно перечла этот документ, и чем больше она в него углублялась, тем больше запутывалась в смешении первого и третьего лица, в переходе от «Т. И.» к «я» и появлении «вы» вместо «И. Т.». Почерк напоминал спутанную нить размотавшегося клубка, а бумага была хитро сложена точным квадратом, в правом углу которого стыдливо ютился адрес. Обратную сторону этого изящного послания украшала большая красная облатка, в сочетании с разнообразными кляксами удивительно напоминавшая раздавленного таракана. Сбитой с толку миссис Тибс было ясно только одно — кто-то должен прийти в двенадцать часов. Поэтому в гостиной немедленно — в третий раз за утро — вытерли пыль, сдвинули с места несколько стульев и художественно разбросали соответствующее количество книг, чтобы создать непринужденную обстановку. Упомянутую дорожку отправили на ее место, вниз, а миссис Тибс отправилась наверх «приводить себя в порядок».

Часы на Новой церкви св. Панкраса пробили двенадцать. Воспитательный дом с похвальной вежливостью отозвался через десять минут, еще какой-то святой отбил четверть, и затем громкий удар дверного молотка возвестил прибытие дамы в ротонде цвета начинки сливового пирога, в такой же шляпке с целой оранжереей искусственных цветов, в белой вуали и с зеленым зонтиком, отороченным каймой из тончайших кружев.

Посетительницу (толстую и краснолицую) провели в гостиную, миссис Тибс представилась, и переговоры начались.

— Я пришла по объявлению,— сказала незнакомка таким голосом, словно она две недели без передышки играла на губной гармонике.

— Да! — сказала миссис Тибс, медленно потирая руки и глядя будущей жилице прямо в лицо — в подобных случаях она непременно проделывала и то и другое.

— За деньгами я не постою,— заявила дама,— но желаю жить в тишине и объединении.

Миссис Тибс, разумеется, согласилась с таким совершенно естественным желанием.

— Я нахожусь под постоянным наблюдением моего собственного врача,— продолжала владелица ротонды.— Одно время я страдала ужасным буддизмом — я совсем покоя не знаю с тех пор, как скончался мистер Блосс.

Миссис Тибс взглянула на вдову усопшего Блосса и подумала, что он в свое время тоже совсем не знал покоя. Этого она, разумеется, сказать не могла, и потому на ее лице отобразилось глубокое сострадание.

— Я вам буду причинять много беспокойств,— сказала миссис Блосс,— но за беспокойства я готова платить. У меня курс лечения, который требует постоянного внимания. В половине девятого я принимаю в кровати одну баранью котлету и в десять утра — вторую.

Миссис Тибс, само собой разумеется, выразила бедняжке свое глубокое сочувствие, и плотоядная миссис Блосс начала с удивительной быстротой договариваться об остальных условиях.

— Значит, не забудьте,— сказала она, когда все было улажено.— Моя спальня будет на третьем этаже и выходить на улицу?

— Да, сударыня.

— И вы найдете, где поместить мою горничную Агнес?

— Ну, конечно.

— И выделите погреб для моего портера в бутылках?

— С величайшим удовольствием. Джеймс приготовит его для вас к субботе.

— А я присоединюсь к обществу за завтраком в воскресенье утром,— сказала миссис Блосс,— я специально поднимусь с постели.

— Очень хорошо,— согласилась миссис Тибс самым любезным образом, потому что солидные рекомендации были взаимно «предъявлены и затребованы» и не могло быть никаких сомнений в том, что новая жилица очень богата.

— Такое странное совпадение,— продолжала миссис Тибс, изображая на лице то, что она считала чарующей улыбкой,— у нас сейчас проживает джентльмен очень слабого здоровья — некий мистер Гоблер. Он занимает заднюю гостиную.

— Соседнюю комнату? — спросила миссис Блосс.

— Соседнюю комнату,— подтвердила хозяйка.

— Какая близость! — воскликнула вдова.

— Он почти никогда не встает,— сообщила миссис Тибс шепотом.

— Господи! — вскричала миссис Блосс тоже шепотом.

— А если он встанет,— продолжала миссис Тибс,— нам никак не удается уговорить его снова лечь.

— Боже мой! — ахнула изумленная миссис Блосс, пододвигая свой стул поближе к миссис Тибс.— А чем он страдает?

— Дело в том, видите ли,— с большой охотой объяснила миссис Тибс,— что у него совсем нет желудка.

— Чего нет? — переспросила миссис Блосс в неописуемой тревоге.

— Желудка нет,— повторила миссис Тибс, покачивая головой.

— Господи помилуй! Какое необычайное заболевание! — пролепетала миссис Блосс, поняв это сообщение буквально и изумляясь тому, что джентльмен без желудка счел необходимым где-то столоваться.

— Я говорю, что у него нет желудка,— объяснила словоохотливая миссис Тибс,— в том смысле, что пищеварение у него так расстроено, а внутренности в таком беспорядке, что ему от желудка нет никакого проку — скорее только неприятности.

— В первый раз слышу такое! — воскликнула миссис Блосс.— Его состояние, пожалуй, хуже моего.

— О да,— ответила миссис Тибс,— конечно.

Она сказала это с уверенностью: широчайшая ротонда сливового цвета показывала, что болезнью мистера Гоблера миссис Блосс во всяком случае не страдает.

— Вы разбудили мое любопытство,— сказала миссис Блосс, поднимаясь, чтобы удалиться.— Как я жажду его увидеть!

— Он обычно раз в неделю обедает за общим

столом,— ответила миссис Тибс.— Я думаю, в воскресенье вы его увидите.

И миссис Блосс, которой пришлось удовольствоваться этим приятным обещанием, стала медленно спускаться по лестнице, все время подробно описывая свои болезни, а миссис Тибс провожала ее, испуская на каждой ступеньке сочувственный возглас. Джеймс (на этот раз кирпичного цвета — он чистил ножи) взлетел по кухонной лестнице и отворил входную дверь, после чего миссис Блосс, распрощавшись, медленно удалилась по теневой стороне улицы.

Представляется излишним объяснять, что дама, которую мы только что проводили до дверей (и которую две служанки рассматривают сейчас из окон третьего этажа), была крайне вульгарна, невежественна и себялюбива. Ее отошедший в иной мир супруг в свое время успешно занимался изготовлением пробок и нажил таким образом приличное состояние. У него не было родственников, кроме одного племянника, и не было друзей, кроме собственной кухарки. В один прекрасный день первый имел наглость попросить заимообразно пятнадцать фунтов; в отместку дядюшка на следующее утро сочетался браком со второй и тут же составил завещание, содержавшее излияния справедливого гнева на племянника (который вместе с двумя сестрами жил на сто фунтов в год), и назначил новобрачную единственной наследницей всего своего имущества. Как-то после завтрака он заболел и после обеда умер. В богатой церкви, прихожанином которой он был, красуется похожая на каминную полку мраморная доска, исчисляющая его добродетели и оплакивающая его кончину. Он не просрочил ни одного векселя и не дал ближнему ни одного гроша.

В характере вдовы и единственной душеприказчицы этого благородного человека странно сочетались хитрость и простодушие, щедрость и скупость. По ее понятиям не было ничего приятнее жизни в пансионе, а поскольку ей нечего было ни делать, ни желать, она, естественно, вообразила, что опасно больна,— убеждение, усердно поддерживавшееся ее врачом, доктором Уоски, и ее горничной Агнес, у которых были свои причины потакать ее самым вздорным фантазиям.

Со времени катастрофы, описанной в предыдущей главе, миссис Тибс побаивалась юных жилиц. В настоящее время под ее кровом проживали только представители сильного пола, и когда все собрались за обеденным столом, она воспользовалась случаем, чтобы сообщить о предстоящем приезде миссис Блосс. Джентльмены приняли это известие со стоическим равнодушием, а миссис Тибс всецело отдалась приготовлениям к приему страдалицы. Третий этаж чистили, скребли и мыли так, что на потолке большой гостиной появилось сырое пятно. Сверкающие, как хрусталь, графины, синие кувшины, мебель красного дерева, белоснежные покрывала, занавески и салфетки увеличивали комфорт и делали помещение еще более роскошным. Оно постоянно обогревалось жаровней, а камин топился каждый день. Движимое имущество миссис Блосс прибывало по частям. Сперва бутылки портера в большой плетеной корзине и зонтик; затем бесчисленные сундуки; затем пара башмаков и шляпная картонка; затем кресло с надувной подушкой; затем набор пакетов подозрительного вида и, наконец, «последними по порядку, но не по важности», миссис Блосс и ее горничная Агнес — в шерстяном платье вишневого цвета, ажурных чулках и легких туфельках, как переодетая Коломбина.

Шум и суматоха при водворении герцога Веллингтона в Оксфорде в качестве почетного ректора университета и в сравнение не идут с шумом и суматохой, поднявшимися при водворении миссис Блосс в ее новое жилище. Правда, на сей раз ученый доктор гражданского права не произносил речи, построенной по лучшим классическим образцам, но зато здесь присутствовали всякие другие старые бабы, которые говорили столь же уместные вещи и столь же хорошо понимали, что говорят. Процедура переезда так утомила пожирательницу котлет, что она отказалась в этот день покинуть свою комнату; поэтому ей наверх отнесли баранью котлетку, пикули, пилюлю, пинту портера и другие лекарства.

— Что бы вы думали, мэм? — вопросила хозяйку пронырливая Агнес на третьем часу их пребывания в доме миссис Тибс.— Что бы вы думали, мэм? Владелица-то пансиона замужем.

— Замужем! — воскликнула миссис Блосс, принимая пилюлю и запивая ее портером.— Замужем! Не может быть!

— Ей-богу, мэм,— настаивала Коломбина,— и ее муж, мэм, живет — хи-хи-хи — живет на кухне, мэм.

— На кухне!

— Да, мэм, и — хи-хи-хи — горничная говорит, что его пускают в комнаты только по воскресеньям, и что миссис Тибс заставляет его чистить сапоги джентльменам, и что он иногда моет окна, и что как-то рано утром, когда он на балконе мыл окно большой гостиной, он увидел на той стороне улицы джентльмена, который раньше здесь жил, и крикнул ему: «Эй, мистер Колтон, как поживаете, сэр?» — тут прислужница так расхохоталась, что у миссис Блосс возникли серьезные опасения, как бы она не довела себя до припадка.

— Ну и ну! — сказала миссис Блосс.

— Да! И с вашего разрешения, мэм, служанки иногда угощают его джином, и тогда он плачет и говорит, что ненавидит свою жену и жильцов, и начинает их щекотать.

— Щекотать жильцов! — вскрикнула встревоженная миссис Блосс.

— Нет, мэм, не жильцов — служанок.

— Ах, только-то! — сказала миссис Блосс, совершенно успокоенная.

— Он хотел было поцеловать меня, вот сейчас, когда я шла по кухонной лестнице,— негодовала Агнес,— но я ему показала, коротышке!

Эти сведения, к сожалению, совершенно соответствовали истине. Непрерывные унижения и пренебрежение, дни, проведенные на кухне, и ночи на складной кровати окончательно сломили остатки воли несчастного волонтера. Ему не с кем было делиться своими обидами, кроме служанок, и они волей-неволей стали его наперсницами. Правдой, как ни странно, было и то, что маленькая слабость, которая, вероятно, появилась у него, когда он подвизался на военном поприще, казалось, росла по мере того, как его удовольствия урезались. Он стал прямо-таки донжуаном подвального этажа.

На следующий день, в воскресенье, завтрак был накрыт в парадной гостиной к десяти часам утра вместо

обычных девяти, потому что по праздникам всегда завтракали на час позже. Тибс облачился в воскресный костюм — черный сюртук, чрезвычайно короткие потертые штаны, очень длинный белый жилет, белые чулки, белый галстук и блюхеровские башмаки — и поднялся в вышеозначенную гостиную. Там еще никого не было, и от скуки он начал осушать молочник при помощи чайной ложки.

По лестнице зашаркали чьи-то туфли. Тибс метнулся к стулу, и в комнату вошел суровый господин лет пятидесяти, с лысиной на макушке и воскресной газетой в руках.

— Доброе утро, мистер Ивенсон,— смиренно сказал Тибс, сопровождая приветствие чем-то средним между кивком и поклоном.

— Здравствуйте, мистер Тибс,— ответил владелец туфель, затем уселся и, не прибавив ни слова, погрузился в свою газету.

— Вы не слышали, сэр, мистер Уисботл сегодня в городе? — осведомился Тибс, не зная, что сказать.

— Слышал,— ответил строгий джентльмен.— В пять часов утра он высвистывал «Легкую гитару» * у меня за стеной.

— Свист для него — первое удовольствие,— сказал Тибс, слегка ухмыляясь.

— Да. А для меня — нет,— лаконично ответил Ивенсон.

Мистер Джон Ивенсон обладал приличным доходом, источником которого служили дома, расположенные в пригородах Лондона. Это был мрачный брюзга и убежденный радикал, посещавший всевозможные собрания с единственной целью возмущаться всем, что там предлагалось. Мистер Уисботл, наоборот, был заядлым тори. Он служил в министерстве Лесов и Рощ в качестве клерка и считал свою должность весьма аристократической. Он знал книгу пэров наизусть и мог без запинки сообщить адрес любой знатной особы. У него были хорошие зубы и превосходный портной. Мистер Ивенсон глубоко презирал подобные качества, и в результате они с Уисботлом постоянно спорили к вящей пользе остальных обитателей пансиона. Следует добавить, что помимо пристрастия к

свисту мистер Уисботл обладал еще глубокой уверенностью в своем певческом таланте. Кроме них двоих и джентльмена в задней гостиной, в пансионе проживали еще мистер Альфред Томкинс и мистер Фредерик О'Блири. Мистер Томкинс был конторщиком у виноторговца и тонким ценителем живописи с необычайно развитым чувством прекрасного. Мистер О'Блири был недавно импортированный ирландец; он находился еще в совершенно диком состоянии и приехал в Англию с целью стать аптекарем, клерком в одном из правительственных учреждений, актером, репортером, вообще — чем придется: он не отличался привередливостью. Он был на дружеской ноге с двумя малозаметными членами парламента от Ирландии и устраивал всем жильцам бесплатную пересылку писем. У него не было никаких сомнений, что его природные достоинства откроют ему путь к блестящей карьере. Он носил клетчатые невыразимые и, проходя по улице, заглядывал под все дамские шляпки. Манерами и наружностью он напоминал Орсона *.

— Вот и мистер Уисботл,— сказал Тибс; и действительно, появился мистер Уисботл в голубых туфлях и пестром халате, насвистывая «Di piacer» *.

— Доброе утро, сэр,— снова сказал Тибс. Это была почти единственная фраза, с которой он к кому-либо обращался.

— Здравствуйте, Тибс,— снисходительно ответил любитель музыки и, подойдя к окну, засвистел еще громче.

— Прелестная ария! — прорычал Ивенсон, не отрываясь от газеты.

— Рад, что вам нравится,— отозвался весьма польщенный Уисботл.

— А не кажется ли вам, что она выиграет, если вы будете свистеть погромче? — спросил бульдог.

— По-моему, нет,— возразил ничего не подозревающий Уисботл.

— Вот что я вам скажу, Уисботл,— начал Ивенсон, который уже несколько часов копил злобу,— в следующий раз, когда вы ощутите желание высвистывать «Легкую гитару» в пять часов утра, я попрошу вас предварительно высунуть голову в окно. Не то я выучусь играть на цимбалах, выучусь, разрази...

Появление миссис Тибс с ключами в крохотной корзиночке перебило эту угрозу и помешало ее закончить.

Миссис Тибс извинилась за опоздание; прозвучал колокольчик; Джеймс внес чайник и выслушал распоряжение доставить неограниченное количество гренков и поджаренной грудинки. Тибс пристроился в конце стола и, подобно Навуходоносору, принялся за кресс-салат *. Появились Томкинс и О'Блири. Произошел обмен утренними приветствиями, и был заварен чай.

— Боже мой! — вскричал Томкинс, смотревший в окно.— Ах... Уисботл... умоляю, идите сюда... скорей!

Мистер Уисботл встал из-за стола, все остальные подняли голову.

— Вы видите,— говорил знаток живописи, устанавливая Уисботла в правильную позицию,— немножко подвиньтесь... вот так... вы видите, как чудесно освещена левая сторона сломанной трубы на доме номер сорок восемь?

— Господи! Конечно! — ответил Уисботл восхищенным тоном.

— В первый раз вижу, чтобы предмет так бесподобно выделялся на фоне чистого неба! — ахал Альфред.

Все (за исключением Джона Ивенсона) поспешили присоединиться к его восторгам, ибо мистер Томкинс обладал репутацией человека, замечающего красоту там, где никто другой не мог ее разглядеть,— и репутацией вполне заслуженной.

— Я часто любовался печной трубой на Колледж-Грин в Дублине — она была намного эффектней,— сказал патриотически настроенный О'Блири, который никогда не допускал, чтобы Ирландию хоть в чем-нибудь превзошли.

Его заявление было встречено с очевидным недоверием, поскольку мистер Томкинс объявил, что никакая труба в Соединенном Королевстве — будь то сломанная или целая — не может сравниться по красоте с трубой дома № 48.

Дверь неожиданно распахнулась, и Агнес ввела миссис Блосс, одетую в муслиновое платье цвета герани и щеголяющую огромными золотыми часами, соответствующей цепочкой и великолепным набором колец с гигантскими камнями. Все кинулись предлагать стул, все были представлены. Мистер Джон Ивенсон слегка наклонил голову,

мистер Фредерик О'Блири, мистер Альфред Томкинс и мистер Уисботл кланялись, как китайские болванчики в колониальной лавке; Тибс потер руки и начал описывать круги по комнате. Кто-то заметил, что он закрыл один глаз и ритмично задвигал веками другого; это было истолковано как подмигивание, и говорят, что оно адресовалось Агнес. Мы опровергаем эту клевету, и пусть кто-нибудь посмеет возразить.

Миссис Тибс шепотом осведомилась о здоровье миссис Блосс. Миссис Блосс с великолепным презрением к памяти Линдли Меррея * самым обстоятельным образом ответила на различные вопросы, вслед за чем наступила пауза, во время которой кушанья начали исчезать с ужасающей быстротой.

— Не правда ли, мистер О'Блири, вам очень понравились позавчера дамы, которые ехали на прием во дворец? — спросила миссис Тибс, надеясь, что завяжется разговор.

— Да,— ответил Орсон с набитым ртом.

— Вам вряд ли приходилось видеть что-либо подобное прежде? — подсказал Уисботл.

— Да,— кроме утренних приемов у вице-короля.

— Неужели они могут сравниться с нашими приемами?

— Они куда роскошнее.

— Ах, не скажите,— заметил аристократ Уисботл,— вдовствующая маркиза Пабликкеш была одета просто великолепно, да и барон Шлаппенбахенхаузен тоже.

— По какому поводу он представлялся ко двору? — спросил Ивенсон.

— По поводу своего прибытия в Англию.

— Так я и думал,— проворчал радикал.— Что-то не слышно, чтобы эти господа представлялись по поводу своего отъезда. Они не так глупы.

— Разве кто обяжет их синетурой,— слабым голосом сказала миссис Блосс, вступая в разговор.

— Во всяком случае,— уклончиво заметил Уисботл,— это замечательное зрелище.

— А вам не приходило в голову,— вопросил неугомонный радикал,— вам не приходило в голову, что эти бесценные украшения общества оплачиваете вы сами?

— Мне это, конечно, приходило в голову,— сказал Уисботл, уверенный, что приводит неопровержимый довод,— мне это приходило в голову, и я согласен их оплачивать.

— Ну, так мне это тоже приходило в голову,— возразил Джон Ивенсон,— и я *не* согласен их оплачивать. С какой стати? Я говорю — с какой стати? — продолжал любитель политики, откладывая газету и стуча пальцем по столу.— Существуют два великих принципа — спрос...

— Дорогая, будь добра, чашечку чая,— перебил Тибс.

И предложение...

Будьте любезны, передайте, пожалуйста, чашку мистеру Тибсу,— сказала миссис Тибс, прерывая это доказательство и бессознательно иллюстрируя его.

Нить рассуждений оратора была оборвана. Он допил свой чай и снова взялся за газету.

— Если погода будет хорошая,— объявил мистер Альфред Томкинс, обращаясь ко всему обществу,— я поеду сегодня в Ричмонд и вернусь оттуда на пароходе. Игра света и тени на Темзе великолепна; контраст между синевой неба и желтизной воды бывает бесподобен.

Мистер Уисботл замурлыкал: «Ты струись, река, сверкая».

— У нас в Ирландии великолепные пароходы,— сказал О'Блири.

— И правда,— сказала миссис Блосс, обрадованная тем, что разговор коснулся понятного предмета.

— Удобства необычайные,— сказал О'Блири.

— Очень необычайные,— поддержала миссис Блосс.— Когда мистер Блосс был жив, обязательства принуждали его ездить по делам в Ирландию. Я ездила с ним, и то, как дамы и джентльмены удобствовались койками, это просто неописательно.

Тибс, прислушивавшийся к этому диалогу, вытаращил глаза и явно был склонен задать какой-то вопрос, но взгляд жены остановил его. Мистер Уисботл рассмеялся и сказал, что Томкинс придумал каламбур; Томкинс тоже рассмеялся и сказал, что ничего не придумывал.

Завтрак закончился, как обычно кончаются завтраки. Разговор замер, собеседники начали играть своими ложечками. Джентльмены поглядывали в окна, бродили по ком-

пате и, оказавшись около двери, исчезали один за другим. Тибс, по приказанию жены, удалился в буфетную, чтобы проверить недельный счет зеленщика, и, наконец, миссис Тибс и миссис Блосс остались одни.

— Господи боже мой,— заговорила последняя,— я чувствую ужасную слабость. Как странно! (Что действительно было странно, принимая во внимание поглощенные ею за утро четыре фунта всяких яств.) Между прочим,— продолжала миссис Блосс,— я еще не видела этого мистера... как бишь его?

— Мистера Гоблера? — подсказала миссис Тибс.

— Да.

— О! — сказала миссис Тибс.— Это таинственный человек. Завтрак, обед и ужин посылаются ему наверх, и он иногда неделями не выходит из своей комнаты.

— Я его не видела и не слышала,— повторила миссис Блосс.

— Сегодня вечером услышите,— ответила миссис Тибс.— По вечерам в воскресенье он обычно стонет.

— Меня никогда никто так не интересовал! — воскликнула миссис Блосс.

Тихий двойной стук прервал их разговор. Доложили о докторе Уоски, который затем и появился в гостиной. Это был низенький толстяк с красным лицом, одетый, разумеется, в черное и носивший белый накрахмаленный шейный платок. У него была прекрасная практика и недурной капиталец, который он накопил, неизменно потакая самым нелепым фантазиям всех женщин всех семей, куда его приглашали. Миссис Тибс выразила намерение удалиться, но ее попросили остаться.

— Ну-с, милая дама, как мы себя чувствуем? — осведомился Уоски сладким голосом.

— Плохо, доктор, очень плохо,— еле слышно ответила миссис Блосс.

— А! Нам надо поберечься, надо непременно следить за собой,— сказал угодливый Уоски, щупая пульс своей интересной пациентки.— Как наш аппетит?

Миссис Блосс покачала головой.

— Наш уважаемый друг нуждается в самом заботливом уходе,— отнесся Уоски к миссис Тибс, которая, разумеется, выразила полное согласие.— Впрочем, пола-

гаясь на всеблагое провидение, я надеюсь, что с нашей помощью она еще поправится.

Миссис Тибс попыталась представить себе, на что будет похожа пациентка, когда она еще поправится.

— Мы должны принимать порошочки,— сказал хитрый Уоски.— А кроме того, обильное питание, и самое главное — беречь наши нервы; нам ни в коем случае нельзя поддаваться нашей чувствительности. Мы должны пользоваться всем, чем можем,— заключил доктор, пряча гонорар,— и не волноваться.

— Милейший человек! — воскликнула миссис Блосс, когда доктор уже садился в свой экипаж.

— Очаровательный! Такой галантный! — ответила миссис Тибс, и колеса загремели, увозя доктора Уоски дурачить других страждущих дам и прикарманивать новые гонорары.

Поскольку мы уже ранее имели случай описать обед в пансионе миссис Тибс и поскольку все обеды там бывали обычно похожи один на другой, мы не будем утомлять наших читателей подробностями хозяйственной жизни этого заведения и прямо перейдем к событиям, сообщив предварительно, что таинственный обитатель задней гостиной был ленивым себялюбцем и ипохондриком, который все время жаловался на свое здоровье и никогда не болел. Его характер во многом напоминал характер миссис Блосс, и поэтому между ними вскоре завязались самые дружеские отношения. Мистер Гоблер был высок, худ и бледен, вечно воображал, что у него что-то болит, и его брюзгливое лицо постоянно морщилось; короче говоря, он был похож на человека, которого насильно заставили опустить ноги в таз со слишком горячей водой.

На протяжении двух-трех месяцев после появления миссис Блосс на Грейт-Корэм-стрит Джон Ивенсон изо дня в день становился все более злобным и язвительным; кроме того, в его манерах появилась еще большая внушительность, которая ясно показывала, что он, по его мнению, сделал какое-то открытие и ждет только удобного случая, дабы им поделиться. Случай этот, наконец, представился.

Как-то вечером обитатели пансиона, собравшись в большой гостиной, предавались обычным занятиям. Мистер Гоблер и миссис Блосс играли в криббедж за кар-

точным столиком возле среднего окна; мистер Уисботл у фортепьяно описывал полукруги на вращающейся табуретке, листая ноты и мелодично напевая; Альфред Томкинс сидел за круглым столом и, усердно растопырив локти, набрасывал карандашом голову, значительно превосходившую размерами его собственную; О'Блири читал Горация, старательно делая вид, что все понимает; а Джон Ивенсон подсел к рабочему столику миссис Тибс и полушепотом вел с ней серьезный разговор.

— Уверяю вас, миссис Тибс,— говорил радикал, прижимая указательным пальцем муслин, над которым она трудилась,— уверяю вас, что только мое искреннее желание быть вам полезным заставило меня рассказать об этом. Повторяю, я весьма опасаюсь, что Уисботл пытается добиться благосклонности этой молодой женщины — Агнес — и что он постоянно встречается с ней в кладовой второго этажа над крыльцом. Вчера из своей комнаты я отчетливо слышал там голоса. Я немедленно открыл дверь и тихонько прокрался на площадку; там я застал мистера Тибса, которого, как видно, тоже потревожили... Боже мой, миссис Тибс, вы меняетесь в лице!

— Нет, нет, пустяки,— поспешно возразила миссис Тибс,— просто в комнате жарко.

— Она красная! — воскликнула миссис Блосс за карточным столиком.— Бубны — моя счастливая масть.

— Если бы я поверила, что это мистер Уисботл,—помолчав, продолжала миссис Тибс,— он немедленно оставил бы мой дом.

— А дама? — снова донесся голос миссис Блосс.

— А если бы я поверила,— с угрозой добавила хозяйка,— если бы я поверила, что ему помогает мистер Тибс...

— Валет бит! — заметил мистер Гоблер.

— О,— вкрадчиво сказал Ивенсон (он любил делать гадости),— я искренне надеюсь, что мистер Тибс тут ни при чем. Он всегда казался мне таким безобидным.

— И мне тоже! — зарыдала низенькая миссис Тибс, проливая слезы как из лейки.

— Ш-ш! Ш-ш! Ради бога... миссис Тибс... подумайте... все заметят... ради бога, успокойтесь,— шептал Джон Ивенсон, боясь, что его план сорвется.— Мы самым тща-

тельным образом разберемся в этом деле, и я буду счастлив вам помочь.

Миссис Тибс поблагодарила его чуть слышным голосом.

— Когда вы придете к заключению, что все в доме уснули,— высокопарно сказал Ивенсон,— и если вы, не зажигая свечи, встретитесь со мной у лестничного окна перед дверью моей спальни, я думаю, нам удастся выяснить, кто же эти лица, и затем вы сможете принять меры, какие сочтете нужными.

Убедить миссис Тибс не представляло большого труда; ее любопытство было задето, ревность разбужена, и собеседники скоро условились обо всем. Миссис Тибс взялась за свое шитье, а Джон Ивенсон, засунув руки в карманы, начал ходить по комнате, как будто ничего не произошло. Партия в криббедж окончилась, и завязался общий разговор.

— Ну, мистер О'Блири,— сказал музыкальный волчок, поворачиваясь на своей оси,— как вам понравился в тот вечер Воксхолл?

— Очень недурно,— ответил Орсон, которого сад привел в совершенный восторг.

— Приходилось ли вам видеть что-нибудь равное представлению капитана Росса? * А?

— Нет,— ответил патриот с обычной своей оговоркой,— нигде не приходилось, кроме Дублина.

— Я встретил там графа де Канки и капитана Фицтомпсона,— сказал Уисботл,— они были восхищены.

— В таком случае представление *несомненно* великолепно,— огрызнулся Ивенсон.

— Мне особенно понравилось, как начучелены белые медведи,— заметила миссис Блосс.— В их мохнатых белых шкурах они точь-в-точь полярные медведи, правда, мистер Ивенсон?

— Я бы скорее сказал, что они похожи на кондуктора омнибуса, вставшего на четвереньки,— ответил брюзга.

— Я был бы весьма доволен нашим посещением Воксхолла,— простонал Гоблер,— если бы я не схватил там страшную простуду, после чего мои боли ужасно усилились. Мне пришлось принять несколько ванн, прежде чем я рискнул покинуть свою комнату.

— Эти ванны с душем — прелестная вещь! — воскликнул Уисботл.

— Превосходная! — сказал Томкинс.

— Восхитительная,— поддакнул О'Блири (он однажды видел такую ванну перед мастерской жестянщика).

— Отвратительные аппараты! — возразил Ивенсон, чья неприязнь распространялась почти на все предметы — как одушевленные, так и неодушевленные.

— Отвратительные, мистер Ивенсон? — в страшном негодовании переспросил Гоблер.— Отвратительные! Подумайте, какую пользу они приносят, вспомните, сколько жизней они спасли, вызывая испарину!

— Что верно, то верно,— проворчал Джон Ивенсон, переставая мерить шагами крупные квадраты ковра.— Я был таким ослом, что однажды позволил установить такую штуку у себя в спальне. Черт возьми! Чтобы полностью излечить *меня,* хватило одного раза,— даже полгода спустя, стоило мне увидеть ее, как я весь покрывался испариной.

Это заявление было встречено легким смехом, который еще не утих, когда появился Джеймс, неся поднос, нагруженный остатками барашка, дебютировавшего еще за обедом, а также хлебом, сыром, кружочками масла среди леса петрушки, целым маринованным грецким орехом и третью другого, и прочим. Мальчик исчез и снова вернулся с другим подносом, на котором стояли стаканы и кувшины горячей и холодной воды. Джентльмены принесли свои бутылки; горничная поставила под карточный столик разнообразные подсвечники накладного серебра, и слуги удалились на покой.

Жильцы пододвинули стулья к столу, и разговор вошел в обычное русло. Джон Ивенсон, никогда не ужинавший, развалился на диване и развлекался тем, что противоречил всем и каждому. О'Блири старался наесться до отвала, отчего в груди миссис Тибс нарастало справедливое негодование; мистер Гоблер и миссис Блосс с большой нежностью обсуждали лечение пилюлями и другие невинные забавы; а между Томкинсом и Уисботлом «завязался спор» — другими словами, они старались перекричать друг друга, причем каждый льстил себя надеждой, что его доводы неопровержимы, и оба имели самое смутное пред-

ставление о предмете своего спора. Часа два спустя жильцы и медные подсвечники попарно разошлись по своим спальням. Джон Ивенсон стянул сапоги, запер дверь и приготовился ждать, пока мистер Гоблер не удалится к себе. Последний всегда засиживался в гостиной на час дольше остальных, принимал лекарства и стонал.

Грейт-Корэм-стрит погрузилась в состояние полного покоя: было около двух часов. Изредка мимо погромыхивали извозчичьи экипажи, да какой-нибудь запоздавший клерк по пути домой в Сомерс-Таун задевал каблуком решетку угольного подвала, отчего раздавался лязг, словно хлопала печная заслонка. Доносившееся с улицы монотонное бульканье усугубляло мрачный романтизм сцены. Это стекала вода по желобу дома № 11.

«Он, вероятно, уже заснул»,— подумал Джон Ивенсон, с примерным терпением выждавший более часа после того, как Гоблер покинул гостиную. Он прислушался — в доме царила мертвая тишина; тогда, погасив ночник, он приоткрыл дверь. На лестнице было темно, как в могиле.

— Ш-ш-ш,— прошипел любитель гадостей, словно римская свеча, проявляющая первые признаки того, что она намерена взорваться.

— Тс-с-с,— прошептали в ответ.

— Это вы, миссис Тибс?

— Да, сэр.

— Где?

— Здесь.

И на фоне лестничного окна, словно дух королевы Анны в последнем акте «Ричарда III», появился силуэт миссис Тибс.

— Сюда, миссис Тибс,— прошептал обрадованный сплетник,— дайте мне руку, так! Кто бы это ни был — они сейчас в кладовой; я свесился из окна и видел, как они случайно опрокинули свечу и остались в темноте. Вы не забыли снять ботинки?

— Нет,— еле выговорила трепещущая миссис Тибс.

— Хорошо; я снял сапоги, так что мы можем спуститься поближе к кладовой, перегнуться через перила и слушать.

И они прокрались вниз, а каждая ступенька скрипела, словно патентованный каток для белья по субботам.

— Готов поклясться, это Уисботл и еще кто-то! — громким шепотом воскликнул радикал после того, как они подслушивали несколько минут.

— Тише! Давайте послушаем, что они скажут! — воскликнула миссис Тибс, которая теперь, забыв обо всем остальном, превыше всего жаждала удовлетворить свое любопытство.

— Ох, если бы я только вам поверила,— кокетливо сказал женский голос,— одинокая жизнь моей хозяйки скоро кончилась бы.

— Что она говорит? — спросил мистер Ивенсон у своей спутницы, чья позиция оказалась более удобной.

— Говорит, что скоро покончит со своей хозяйкой,— ответила миссис Тибс.— Негодяйка! Они замышляют убийство.

— Я знаю, вам нужны деньги,— продолжал голос, принадлежавший Агнес.— Если я получу пятьсот фунтов, я живо ее разожгу.

— Что? Что? — снова спросил Ивенсон. Он слышал ровно столько, сколько было нужно, чтобы пробудить в нем желание услышать больше.

— Кажется, она говорит, что подожжет дом,— ответила насмерть перепуганная миссис Тибс.— Слава богу, я застрахована в «Фениксе».

— Как только ваша хозяйка даст мне согласие, милочка,— сказал мужской голос с сильным ирландским акцентом,— можете считать эти деньги своими.

— Бог ты мой! Это мистер О'Блири! — воскликнула миссис Тибс в сторону.

— Злодей! — произнес, негодуя, мистер Ивенсон.

— Во-первых,— продолжал ибериец,— надо отравить подозрением душу мистера Гоблера.

— Разумеется,— согласилась Агнес.

— Что он говорит? — снова спросил Ивенсон, задыхаясь от любопытства и шепота.

— Говорит, чтобы она отравила мистера Гоблера, а то он ее подозревает,— сообщила миссис Тибс, ошеломленная этой безжалостной гекатомбой.

— А в отношении миссис Тибс...— продолжал О'Блири.

Миссис Тибс задрожала.

— Тише! — в глубокой тревоге воскликнула Агнес как раз в то мгновение, когда с миссис Тибс чуть было не приключился обморок.— Тише!

— Сюда кто-то поднимается,— сказала Агнес ирландцу.

— Сюда кто-то спускается,— прошептал Ивенсон хозяйке пансиона.

— Спрячьтесь в малую гостиную, сэр,— сказала Агнес своему сообщнику,— у вас хватит времени, пока тот пройдет всю кухонную лестницу.

— В большую гостиную, миссис Тибс! — шепнул изумленный Ивенсон своей не менее изумленной спутнице; и оба кинулись в гостиную, ясно слыша шаги, приближающиеся и сверху и снизу.

— Что случилось? — воскликнула миссис Тибс.— Прямо как во сне. Я не вынесу, если нас тут застанут!

— Я тоже,— согласился Ивенсон, который не любил, когда смеялись на его счет.— Тише, они уже у двери.

— Вот здорово! — шепнул один из новопришедших. Это был Уисботл.

— Чудесно,— так же тихо ответил его спутник — Альфред Томкинс.— Кто бы мог подумать?

— Я же говорил,— многозначительно шептал Уисботл.— Господи помилуй! Да он уже два месяца вокруг нее увивается. Я все видел сегодня вечером, когда сидел у фортепьяно.

— Поверите ли, я ничего не заметил,— перебил Томкинс.

— Не заметили! — продолжал Уисботл.— Господи помилуй! Я видел, как он шептался с ней, а она плакала, а потом, готов поклясться, услышал, как он ей что-то говорил про ночь, когда мы все ляжем.

— Они говорят *о нас!* — воскликнула миссис Тибс вне себя от ужаса: страшное подозрение поразило ее, и она вдруг поняла, в каком положении они очутились.

— Знаю. Я знаю,— тоскливо ответил Ивенсон, сознавая, что спасения нет.

— Что делать? Мы не можем оба оставаться здесь,— шептала миссис Тибс в состоянии частичного помешательства.

— Я вылезу через камин,— ответил Ивенсон, в самом деле собираясь это проделать.

— Невозможно,— в отчаянии сказала миссис Тибс.— Там заслонка.

— Ш-ш! — перебил ее Джон Ивенсон.

— Ш-ш! Ш-ш! — раздалось где-то внизу.

— Что это за дьявольское шипение? — сказал Альфред Томкинс, сильно сбитый с толку.

— Они там! — воскликнул сообразительный Уисботл, когда из кладовой донесся шорох.

— Слышите? — прошептали молодые люди.

— Слышите? — повторили миссис Тибс и Ивенсон.

— Пустите меня, сэр,— донесся из кладовой женский голос.

— Агнесочка! — вскричал второй голос, явно принадлежавший Тибсу, ибо ни у кого другого подобного голоса не было.— Агнесочка, прелестное созданье!

— Тише, сэр! (Слышен прыжок.)

— Аг...

— Отстаньте, сэр. Как вам не стыдно! Подумайте о вашей жене, мистер Тибс. Отстаньте, сэр!

— Моя жена! — воскликнул доблестный Тибс, находившийся, очевидно, под влиянием джина и греховной страсти.— Я ее ненавижу! Ах, Агнесочка! Когда я служил волонтером в тысяча восемьсот...

— Я сейчас закричу. Тише, сэр, слышите? (Еще прыжок и возня.)

— Что это? — испуганно вскрикнул Тибс.

— Что — что? — спросила Агнес, замирая.

— Это.

— Вот что вы натворили, сэр! — зарыдала испуганная Агнес, когда у дверей спальни миссис Тибс раздался стук, с которым не смогли бы тягаться и двадцать дятлов.

— Миссис Тибс! Миссис Тибс! — вопила миссис Блосс.— Миссис Тибс, проснитесь, во имя всего святого! (Тут снова раздалось подражание дятлу, усилившееся в десять раз.)

— Боже... Боже мой! — воскликнула удрученная половина порочного Тибса.— Она стучится ко мне. Нас обязательно найдут. Что они подумают?

— Миссис Тибс! Миссис Тибс! — снова завизжал дятел.

— Что случилось? — гаркнул Гоблер, вылетая из задней гостиной, как дракон в цирке Астли.

— О мистер Гоблер! — вскричала миссис Блосс с уместной истеричностью в голосе.— Кажется, мы горим; либо в дом забрались воры. Я слышала такой страшный шум!

— Черт побери! — снова гаркнул Гоблер. Он метнулся в свою берлогу, удачно подражая вышеозначенному дракону, и немедленно возвратился с зажженной свечой.— Как! Что происходит? Уисботл! Томкинс! О'Блири! Агнес! Какого черта? На ногах и одеты?

— Удивительно! — сказала миссис Блосс, которая сбежала вниз и взяла мистера Гоблера под руку.

— Пусть кто-нибудь немедленно позовет сюда миссис Тибс,— сказал Гоблер, входя в большую гостиную.— Что? Миссис Тибс и мистер Ивенсон!!

— Миссис Тибс и мистер Ивенсон! — по очереди воскликнули все, когда была обнаружена несчастная пара: миссис Тибс в кресле у камина, мистер Ивенсон неподалеку от нее.

Сцену, которая за этим последовала, мы предоставляем воображению читателя. Мы могли бы рассказать, как миссис Тибс тут же лишилась чувств и потребовались соединенные усилия мистера Уисботла и Альфреда Томкинса, чтобы удержать ее в кресле; как мистер Ивенсон объяснял и его объяснениям никто не верил; как Агнес опровергла обвинения миссис Тибс, доказав, что мистер О'Блири просил помочь ему добиться благосклонности ее хозяйки; и как мистер Гоблер вылил ушат холодной воды на чаяния О'Блири, объявив, что он (Гоблер) уже сделал предложение миссис Блосс и уже получил согласие; как эта дама рассчитала Агнес; как расчетливый мистер О'Блири покинул дом миссис Тибс, забыв рассчитаться; и как этот разочарованный молодой джентльмен ругает Англию и англичан и клянется, что добродетель и благородство повсюду исчезли с лица земли, «кроме Ирландии». Повторяем, мы *могли бы* рассказать многое, но мы склонны к самоотречению и потому рассудили за благо предоставить все это воображению читателя.

Особы, которую мы описали под именем миссис Блосс, нет более с нами. Существует миссис Гоблер: миссис

Блосс покинула нас навеки. В укромном приюте в Нюингтон-Батс, вдали от шумной сумятицы этого гигантского пансиона, который мы называем светом, счастливец Гоблер и его милейшая супруга наслаждаются уединением, упиваясь своими болезнями, своим столом, своими лекарствами, хранимые благодарственными молитвами всех поставщиков животной пищи на три мили в окружности.

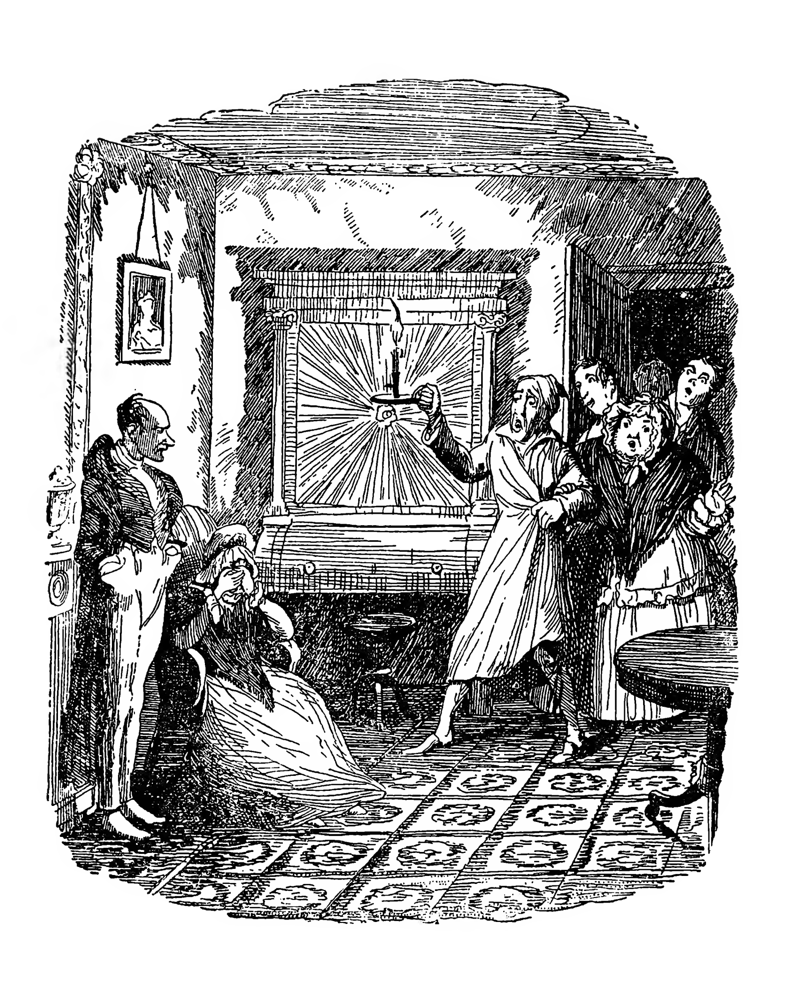
Мы охотно закончили бы на этом наш рассказ, если бы не тяжкий долг, исполнить который мы обязаны. Мистер и миссис Тибс разъехались по взаимному согласию с условием, что миссис Тибс будет получать одну половину тех сорока восьми фунтов пятнадцати шиллингов десяти пенсов, которые, как мы объяснили ранее, составляли годовой доход ее мужа, а мистер Тибс — другую. Он проводит вечер своей жизни, удалившись от дел, и ежегодно тратит всю свою скромную, но почетную пенсию. Он поселился среди аборигенов Уолворта, и из весьма авторитетных источников известно, что анекдот о волонтерах был досказан до самого конца в одной из небольших харчевен этого почтенного околотка.

Несчастная миссис Тибс решила продать свою мебель с аукциона и покинуть жилище, в котором ей пришлось столько выстрадать. Провести распродажу поручено мистеру Робинсу; * и непревзойденные таланты джентльменов-литераторов, связанных с его заведением, в настоящее время посвящены составлению предварительного объявления об аукционе. Оно обещает быть очень остроумным, и в нем будет содержаться семьдесят восемь слов, написанных заглавными буквами, и шесть цитат в кавычках.

ГЛАВА II

Мистер Минс и его двоюродный брат

Мистер Огастес Минс был холостяк; по его словам, ему стукнуло сорок лет, а по словам друзей — все сорок восемь. Мистер Минс был всегда чрезвычайно опрятен, точен и исполнителен, пожалуй — даже несколько педантичен, и застенчив до крайности. Одевался он всегда оди-



паково: коричневый сюртук, сидевший без единой морщинки, светлые невыразимые без малейшего пятнышка, аккуратный шейный платочек, завязанный аккуратнейшим узлом, и безупречные башмаки; следует добавить, что он всюду носил с собой коричневый шелковый зонтик с ручкой слоновой кости. Мистер Минс служил клерком в Сомерсет-Хаусе, или, как он выражался, «состоял на казенной службе в ответственной должности». Он получал недурное жалованье с постоянными прибавками, обладал, кроме того, капитальцем в десять тысяч фунтов, помещенных в процентные бумаги, и снимал второй этаж дома на Тэвисток-стрит, в Ковент-Гардене, где он прожил двадцать лет, непрерывно ссорясь с домовладельцем,— в первый день каждого квартала мистер Минс неизменно уведомлял его, что съезжает с квартиры, а на следующий день неизменно передумывал и оставался. Два рода живых существ внушали мистеру Минсу глубокую и непреодолимую ненависть — дети и собаки. Он вовсе не отличался жестокостью, но если бы на его глазах топили собаку или убивали ребенка, он наблюдал бы это зрелище с живейшим удовлетворением. Повадки детей и собак шли вразрез с его страстью к порядку; а страсть к порядку была в нем так же сильна, как инстинкт самосохранения. Ни в Лондоне, ни в его окрестностях у мистера Огастеса Минса не было родственников, кроме одного двоюродного брата, мистера Октавиуса Баддена; Минс дал согласие заочно крестить его сынишку, но своего крестника никогда не видел в глаза, так как терпеть не мог его папашу. Мистер Бадден нажил небольшое состояние на торговле зерном и, чувствуя склонность к сельской жизни, приобрел домик поблизости от Стэмфорд-Хилла, куда и удалился на покой вместе со своей драгоценной супругой и единственным сыном, Александером-Огастесом Бадден. Однажды вечером, когда мистер и миссис Бадден любовались своим отпрыском и, перебирая его многочисленные достоинства, обсуждали, какое дать ему образование и не следует ли предпочесть образование классическое, миссис Бадден принялась усердно доказывать своему супругу необходимость завязать дружбу с мистером Минсом ради их единственного чада, и Бадден в конце концов решил, что если он и его

двоюродный брат не станут вскорости ближайшими друзьями, то уж никак не по его вине.

— Я сломаю лед, дорогая,— заявил он, размешивая сахар в стакане бренди с водой, и искоса поглядел на супругу, желая убедиться, произвела ли его решимость должное впечатление.— В это же воскресенье я позову Минса обедать!

— Тогда будь добр, Бадден, напиши ему сейчас же,— последовал ответ миссис Бадден.— Только бы залучить его к себе, а там — как знать, может он привяжется к нашему Александеру и оставит ему свое состояние? Алек, душенька, сними ноги с ручки кресла!

— Вполне вероятно,— задумчиво произнес мистер Бадден.— Вполне вероятно, дорогая.

На другое утро, когда мистер Минс сидел за завтраком, поочередно откусывая кусочек поджаренного хлеба и устремляя взгляд на столбцы утренней газеты, которую он имел обыкновение прочитывать от названия до подписи издателя, вдруг послышался громкий стук в парадную дверь. Вскоре затем вошел слуга и вручил Минсу крохотных размеров визитную карточку, на которой огромными буквами было напечатано: «М-р Октавиус Бадден, вилла «Амелия» (Амелией звали супругу Баддена), Поплар-Уок, Стэмфорд-Хилл».

— Бадден! — воскликнул Минс.— Принесла же нелегкая этого неотесанного болвана!.. Скажите, что я сплю... что меня нет дома, что я ушел и никогда не вернусь!.. Скажите, что хотите, только не впускайте его!

— Прошу прощенья, сэр, но джентльмен уже идет сюда,— ответил слуга, и в подтверждение его слов на лестнице раздался ужасающий скрип сапог, сопровождаемый каким-то дробным стуком, но что это за стук — мистер Минс не мог бы угадать даже под страхом смерти.

— Гм... ну, ведите его сюда,— вымолвил несчастный холостяк.

Слуга вышел, и тотчас же появился Октавиус, а впереди него шел огромный белый пес с курчавой шерстью, розовыми глазами, большими ушами и без всякого намека на хвост. Происхождение дробного стука на лестнице сразу же стало ясным. При виде собаки потрясенный мистер Огастес Минс слегка пошатнулся.

— Дорогой дружище, как поживаете? — закричал Бадден, входя в комнату.

Бадден обладал громовым голосом и всегда повторял одно и то же по нескольку раз.

— Как поживаете, душа моя?

— Здравствуйте, мистер Бадден... садитесь, пожалуйста,— пролепетал растерявшийся Минс, стараясь быть учтивым.

— Благодарю! Благодарю! Как поживаете, а?

— Очень хорошо, спасибо,— произнес Минс, бросив яростный взгляд на пса, который, став на задние лапы и положив передние на стол, стащил с тарелки ломоть хлеба и, прежде чем проглотить, бросил его на ковер намасленной стороной вниз.

— Ах ты мошенник! — крикнул Бадден на пса.— Смотрите-ка, Минс, он вроде меня — везде чувствует себя как дома,— правда, псина? Уф, черт, до чего я взмок и проголодался! Всю дорогу от Стэмфорд-Хилла шел пешком.

— Вы уже завтракали? — осведомился Минс.

— Нет, зачем,— я решил позавтракать с вами, так что будьте добры, дорогой дружище, позвоните и пусть тащат сюда еще одну чашку да ветчины. Видите, я не церемонюсь, мы же люди свои,— продолжал Бадден, смахивая салфеткой пыль с сапог.— Га-га-га! Ей-богу, я голоден, как волк!

Минс позвонил в колокольчик и попытался изобразить на лице улыбку.

— Ну и жарища, будь она неладна,— продолжал Октавиус, вытирая лоб.— Так как же вы поживаете, Минс? Ей-богу, вид у вас хоть куда!

— В самом деле? — проговорил Минс, силясь еще раз улыбнуться.

— Ей-богу же правда!

— Миссис Бадден и... как бишь его зовут... надеюсь, здоровы?

— Алек, мой сын, вы хотите сказать? Здоровее некуда, здоровее некуда. Но в таком месте, как наш Поплар-Уок, нельзя заболеть, даже если очень стараться. Клянусь богом, когда я первый раз увидел наш домик, нарядный, как игрушечка, с садиком, с зеленым забором,

медным молотком у двери и всем прочим, я даже сперва подумал, что он слишком для меня хорош.

— Вам не кажется, что ветчину будет есть приятнее,— перебил Минс,— если резать ее иначе? — С чувством, которое невозможно описать словами, он глядел, как его гость режет, вернее кромсает ветчину, грубо нарушая все установленные на этот счет правила.

— Нет, ничего, спасибо,— отозвался Бадден.— Так лучше — скорее прожуешь. Слушайте, Минс, когда же вы соберетесь нас навестить? Вы будете в восторге от нашего домика, ручаюсь головой. Вчера мы с Амелией вспоминали вас, и она говорит... дайте-ка еще кусочек сахару; спасибо... так вот, она говорит: и что бы тебе, душенька, не сказать по-дружески мистеру Минсу... куш на место! экая подлая псина, попортила ваши занавески, Минс, га-га-га!

Минс вскочил со стула, как от удара гальваническим током.

— Пшел! Пошел вон! Кыш! — завопил бедняга Огастес, держась, однако, на почтительном расстоянии от собаки,— он только что прочел в газете о случае заболевания водобоязнью. Ценою неимоверных усилий и криков, после бесконечного тыканья палкой и зонтиком под все столы, пса, наконец, выпроводили за дверь, на лестничную площадку, где он тотчас же поднял страшный вой и принялся яростно соскребать краску с отполированных нижних панелей двери, так что они стали походить на доску для игры в трик-трак.

— В деревне это не собака, а золото,— преспокойно сказал Бадден окончательно вышедшему из себя Минсу.— Просто не привыкла сидеть взаперти. Ну, так как же, Минс, когда вы к нам приедете? Не вздумайте отговариваться — слышать не хочу! Давайте-ка сообразим,— сегодня четверг. Приезжайте в воскресенье, ладно? Мы обедаем в пять. И никаких отказов — приезжайте непременно.

После долгих уговоров мистер Огастес Минс, доведенный до полного отчаянья, принял приглашение и обещал быть на Поплар-Уок в следующее воскресенье ровно без четверти пять.

— Запомните, как ехать,— принялся объяснять Бадден.— Дилижанс отходит от гостиницы «Цветочный



горшок» на Бишопсгет-стрит каждые полчаса. Вы сойдете на остановке у «Лебедя» и прямо перед собой увидите белый домик.

— Понимаю, это и есть ваш дом,— сказал Минс, стремясь положить конец и визиту и разглагольствованиям Баддена.

— Ничего подобного, это дом Грогуса, известного торговца скобяным товаром. Так вот, вы огибаете белый дом и идете, пока не упретесь в тупичок — запомните! — потом сворачиваете направо, идете мимо конюшен,— ну, и вскоре увидите забор, а на заборе крупными буквами написано: «Берегись — злая собака» (мистер Минс вздрогнул); вы пройдете вдоль забора примерно с четверть мили, а там уж всякий укажет вам, где я живу.

— Отлично... Благодарю вас... До свиданья.

— Смотрите же, не опаздывайте!

— Да, да, разумеется; до свиданья.

— В случае чего, Минс, у вас ведь есть моя визитная карточка.

— Да, совершенно верно, благодарю вас.

И мистер Октавиус Бадден отбыл, а его двоюродный брат ожидал будущего воскресенья с таким же чувством, с каким нищий поэт ожидает еженедельного появления своей квартирной хозяйки-шотландки.

Но вот наступило воскресенье; небо было чистым и ясным, целые толпы людей торопливо двигались по улицам, предвкушая самые разнообразные воскресные развлечения; и люди и всё вокруг, казалось, сияло от веселья и радости — всё, кроме мистера Огастеса Минса.

День был чудесный, но знойный, и мистер Минс, отдуваясь, шагал по теневой стороне Флит-стрит, Чипсайда и Трэднидл-стрит, весь в пыли и поту, и вдобавок ко всему явно опаздывал. Однако ему неслыханно повезло — дилижанс еще стоял у «Цветочного горшка»; и мистер Огастес Минс влез в него под торжественные заверения кондуктора, что дилижанс тронется через три минуты, как только кончится предельный срок стоянки, установленный парламентским актом. Прошло четверть часа, а дилижанс и не думал трогаться с места. Минс шестой раз взглянул на часы.

— Кучер, мы поедем или нет? — крикнул он, до половины высунувшись из окна дилижанса.

— Сейчас, сэр,— откликнулся кучер, держа руки в карманах и всем своим видом нисколько не напоминая человека, который торопится.— Билл, снимай попоны!

Прошло еще пять минут, после чего кучер взобрался на козлы, откуда еще пять минут обозревал улицу, здороваясь со всеми прохожими.

— Кучер! Если вы не тронетесь сейчас же, я выйду! — с решимостью отчаяния заявил мистер Минс: время шло, и теперь уже, конечно, не попасть на Поплар-Уок к назначенному часу.

— Сию минуту едем, сэр,— последовал ответ; и в самом деле, колымага прокатила сотни две ярдов, но потом опять остановилась. Минс отдал себя на волю судьбы и, сгорбившись, забился в угол кареты, притиснутый маленьким ребенком, его мамашей, зонтиком и шляпной картонкой.

Ребенок оказался весьма приветливым и ласковым; милый крошка принял Минса за своего отца и с веселым визгом уцепился за него ручонками.

— Сиди смирно, миленький,— сказала мамаша, стараясь умерить резвость малютки, который от восторженного нетерпения брыкал пухлыми ножками и выделывал ими замысловатые кренделя.— Сиди смирненько, это не папа.

«Слава богу, нет!» — подумал Минс и впервые за все утро искорка радости, как метеор, озарила царивший в его душе мрак.

Живость нрава приятно сочеталась в этом младенце с общительностью. Узнав, что Минс — *не* его папаша, он пытался привлечь внимание этого почтенного джентльмена, возя грязными башмачками по его светло-коричневым панталонам, тыча ему в грудь маминым зонтиком и награждая другими ребячьими ласками в том же роде, чтобы скрасить томительный путь; словом, резвый малютка веселился от души.

Выйдя у «Лебедя», наш незадачливый джентльмен к ужасу своему обнаружил, что часы показывают четверть шестого. Белый дом, конюшни, «Берегись — злая собака» — все вехи он миновал с быстротой, свойственной

человеку определенного возраста, опаздывающему к обеду. Через несколько минут мистер Минс очутился перед желтым кирпичным домиком с зеленой дверью, медным молотком и дощечкой, с зелеными наличниками и таким же забором, с «садиком» перед окнами, представлявшим собою небольшой, усыпанный гравием клочок земли с одной круглой и двумя треугольными клумбами, где росла елка, два-три десятка луковичных растений и несметное множество ноготков. О вкусах мистера и миссис Бадден свидетельствовали также два амура, восседавшие по обе стороны двери на куче гипсовых камней и розовых раковин. Минс постучал; дверь отворил коренастый малый в бурого цвета ливрее, нитяных чулках и полусапожках. Повесив шляпу гостя на один из дюжины медных крючков, которые украшали прихожую, пышно именуемую «вестибюлем», он ввел его в «парадную» гостиную, из окон которой открывался обширный вид на задворки соседних усадеб. Последовали обычные церемонии — представления и так далее, после чего мистер Минс уселся в кресло, немало смятенный тем, что явился позже всех, и стал предметом особого внимания десятка гостей, сидевших в маленькой гостиной и не знавших, как убить время до той минуты, когда позовут к столу.

— Итак, Брогсон,— обратился Бадден к пожилому гостю в черном фраке, серых штанах до колен и длинных гетрах, который, делая вид, будто рассматривает картинки в альманахе, поверх страниц бросал любопытные взгляды на Минса.— Итак, Брогсон, что же намерены делать министры? Подать в отставку или как?

— Э-э... гм... я ведь человек маленький, откуда мне знать? Вот ваш кузен по своему положению должен быть в курсе всех дел.

Мистер Минс заверил его, что хотя и служит в Сомерсет-Хаусе, но все же не располагает официальными сведениями о намерениях министров его величества. Однако его слова были встречены с явным недоверием, и так как больше никто не отважился строить догадки по этому поводу, то наступила длинная пауза; гости покашливали и сморкались и с преувеличенной живостью вскочили с мест при появлении миссис Бадден.

После взаимных приветствий было объявлено, что кушать подано, и гости двинулись вниз по лестнице,— мистер Минс довел миссис Бадден до двери гостиной, но был вынужден ограничить свою галантность только этим, ибо лестница оказалась слишком узкой. Обед прошел так, как обычно проходят подобные обеды. Время от времени говор и стук ножей и вилок покрывал зычный голос Баддена, убеждавшего кого-нибудь из гостей выпить еще и объяснявшего, как он рад его видеть, а между миссис Бадден и слугами во время перемены блюд происходили немые сцены, причем лицо хозяйки, как барометр, отражало все состояния, от «бури» до «ясно».

Когда на столе появились десерт и вино, слуга, повинуясь многозначительному взгляду миссис Бадден, ввел в столовую Александера — белобрысого мальчугана, облаченного в небесно-голубой костюмчик с серебряными пуговицами совершенно под цвет волос.

Мать рассыпалась в похвалах по его адресу, отец прочел ему краткое наставление насчет того, как следует себя вести, после чего он был представлен своему крестному.

— Ну-с, мой юный друг, ты хороший мальчик, не так ли? — обратился к нему мистер Минс, чувствуя себя, как синица, попавшая в тенета.

— Да.

— А сколько тебе лет?

— В среду исполнится восемь. А вам сколько?

— Александер! — перебила мать.— Как ты смеешь задавать такие вопросы мистеру Минсу!

— А почему ему можно спрашивать, а мне нельзя? — возразил бойкий ребенок, и мистер Минс тут же решил про себя, что не оставит ему в наследство ни единого шиллинга. Как только стихло веселье, вызванное ответом юного Александера, какой-то щуплый, ухмыляющийся джентльмен с рыжими бакенбардами, который сидел в конце стола и в течение всего обеда тщетно пытался рассказать кому-нибудь парочку анекдотов о Шеридане, обратился к мальчику весьма покровительственным тоном:

— Алек, какая часть речи «быть»?

— Глагол.

— Умница,— с материнской гордостью произнесла миссис Бадден.— Ну, а что такое глагол?

— Глагол — это часть речи, обозначающая состояние, действие или ощущение, например, я есмь, я управляю, я управляем. Дай мне яблоко, мама.

— Я дам тебе яблоко,— сказал джентльмен с рыжими бакенбардами, по всей видимости друг дома (иначе говоря, миссис Бадден постоянно приглашала его, независимо от того, нравилось это мистеру Баддену или нет),— если ты скажешь, что означает слово «быть».

— Бык? — сказал чудо-ребенок после некоторого колебания.— Это животное с рогами.

— Нет, милый,— нахмурилась миссис Бадден.— «Бык» — «к» на конце — существительное.

— Существительное, как видно, для него существеннее,— ухмыльнулся рыжий джентльмен, усмотрев в этом отличный повод для каламбура.— Он еще не знает, что самое существенное — это существовать. Хе-хе-хе!

— Господа! — громовым голосом, с весьма значительным видом произнес Бадден, сидевший на другом конце стола.— Будьте настолько любезны, наполните ваши стаканы. Я хочу предложить тост.

— Внимание! Внимание! — крикнул рыжий джентльмен, передавая гостям графины.

Когда они обошли стол, Бадден продолжал: — Господа, среди нас присутствует одно лицо...

— Внимание! — перебил его джентльмен с рыжими бакенбардами.

— Ради бога помолчите, Джонс,— взмолился хозяин.— Так вот, среди нас присутствует одно лицо,— продолжал он,— обществом которого мы все наслаждаемся и... и... беседа с этим лицом, несомненно, доставила всем присутствующим величайшее удовольствие.

«Слава богу, это он не обо мне»,— подумал Минс, вспомнив, что по свойственной ему застенчивости и замкнутости он за все время своего пребывания в этом доме не произнес и десяти слов.

— Господа, сам я человек весьма незначительный, и, быть может, мне следует просить прощения за то, что я

предлагаю вышеупомянутому лицу свою дружбу и любовь, то есть те чувства, которые побуждают меня встать и провозгласить тост за здоровье этого лица — лица, которое несомненно... то есть лица, чьи высокие достоинства внушают любовь тем, кто его знает... а кто не имеет удовольствия его знать, те не могут не испытывать к нему уважения.

— Правильно! — раздались поощряющие и одобрительные возгласы.

— Господа,— продолжал Бадден,— мой кузен — это человек, который... который приходится мне родственником...

— Внимание! Внимание!

Минс издал довольно внятный стон.

— ...которого я счастлив видеть у себя и который, не придя сюда, лишил бы нас великого удовольствия его видеть. (Громкие крики одобрения.) Господа, я чувствую, что начинаю злоупотреблять вашим вниманием. Чувствуя... э... э... с чувством... э... э...

— Отрады,— подсказал друг дома.

— ...отрады, я предлагаю выпить за здоровье мистера Минса.

— Встать, господа! — крикнул неутомимый человечек с бакенбардами,— и почествуем мистера Минса! Прошу повторять за мной. Гип-гип-ура! Гип-гип-ура! Гип-гип-ура-а!

Все глаза были устремлены на виновника торжества, который, пытаясь скрыть смущение, сделал большой глоток портвейна и чуть-чуть не захлебнулся. После паузы, такой длинной, насколько позволяли приличия, он встал, но, как иногда пишут в газетах, «мы, к сожалению, лишены возможности передать хотя бы суть выступления достопочтенного джентльмена». Изредка можно было разобрать слова «в этом обществе»... «честь»... «пользуюсь случаем»... и «великое счастье» — они то и дело повторялись, а лицо оратора выражало крайнюю растерянность и смущение, и это убедило гостей, что он произнес отличную речь; поэтому, когда он опустился на место, все закричали «браво» и шумно захлопали в ладоши. Джонс, давно уже ожидавший, когда придет его час, вскочил со стула.

— Бадден,— воскликнул он,— разрешите и мне предложить тост!

— Конечно,— ответил Бадден и, обращаясь к Минсу через стол, вполголоса добавил: — Дьявольски остроумный малый, вам понравится его речь. Умеет говорить о чем хотите, и всегда складно.

Минс поклонился, и мистер Джонс заговорил:

— В некоторых случаях, по самым разнообразным поводам, во многих обстоятельствах и в разных компаниях мне выпадало на долю провозглашать тосты за тех, с кем я имел честь сидеть за одним столом. И откровенно сознаюсь — зачем мне скрывать это? — что иногда взятая на себя задача казалась мне непосильной и я чувствовал, что неспособен отдать должное предмету моей речи. И если я чувствовал это в предыдущих случаях, то каковы же мои чувства сейчас... сейчас, в тех необычайных условиях, в которых я нахожусь. (Внимание! Внимание!) Точно описать мои чувства совершенно невозможно, но вы, господа, получите некоторое представление о них, если я расскажу об одном случае, совершенно неожиданно пришедшем мне сейчас в голову. Однажды в гостях, где присутствовал подлинно великий и просвещенный человек, Шеридан...

Неизвестно, какая очередная пошлость в виде анекдота была бы брошена на могилу Шеридана, этого поистине многострадального человека, если б тут не вбежал запыхавшийся малый в бурой ливрее и не объявил, что на дворе льет дождь, и по этой причине девятичасовой дилижанс подъехал к дому, и если тут кто-нибудь собирается в город, то у него (девятичасового дилижанса), есть одно место внутри.

Мистер Минс вскочил, и ни удивленные восклицания, ни мольбы остаться не поколебали его решения воспользоваться свободным местом. Но тут выяснилось, что коричневый шелковый зонтик запропастился неизвестно куда; а так как кучер дилижанса больше ждать не мог, он поехал обратно к «Лебедю», велев передать Минсу, чтобы тот «бежал что есть духу» ему вдогонку. Только минут через десять мистер Минс спохватился, что забыл коричневый шелковый зонтик с ручкой слоновой кости в том дилижансе, который доставил его сюда. Более того,

так как он не был выдающимся бегуном, то не удивительно, что, хоть он и мчался «во весь дух», дилижанс — последний дилижанс — уехал, не дождавшись его.

Часа в три утра мистер Минс слабо постучал в дверь своего дома на Тэвисток-стрит, прозябший, мокрый, удрученный и злой. Утром он составил завещание, и его поверенный сообщил нам по секрету, а мы по секрету сообщаем читателям, что в завещании не упомянут ни Октавиус Бадден, ни миссис Амелия Бадден, ни их сын Александер Бадден.

ГЛАВА III

Чувствительное сердце

Сестры Крамтон (а если положиться на свидетельство дощечки, прибитой к садовой калитке «Храма Минервы» в Хэммерсмите,— «мисс Мария и мисс Амелия Крамтон») были девицы чрезвычайно рослые, на редкость худые и до удивления костлявые, к тому же прямые, как палки, и лицом желтые. Мисс Амелия Крамтон определяла свой возраст в тридцать восемь лет, а мисс Мария утверждала, будто бы ей — Марии — сорок, хотя утверждение это было совершенно излишне, так как при первом же взгляде на нее всякому становилось ясно, что она уже давно перешагнула за пятый десяток. Проявляя незаурядную самобытность вкуса, сестры Крамтон одевались во все одинаковое, точно близнецы, а вид у них был не менее цветущий и жизнерадостный, чем у двух облетевших одуванчиков. Обе они отличались педантичностью, придерживались самых строгих правил поведения, носили накладные волосы и благоухали лавандой.

«Храм Минервы», руководимый сестрами Крамтон, был «пансионом для благородных девиц», где десятка полтора особ женского пола в возрасте от тринадцати до девятнадцати лет включительно обучались всему понемножку: французскому, итальянскому, танцам два раза в неделю и прочим житейским премудростям,— а в сущности ничему. Здание пансиона было покрашено белой

краской и стояло за глухим забором, чуть отступя от улицы. Окна дортуаров всегда держали приоткрытыми, чтобы прохожие могли обозревать кроватки, каждая с белоснежным кисейным пологом, и убеждаться в роскошности этого учебного заведения. В пансионе была и гостиная, увешанная по стенам глянцевитыми географическими картами, на которые никто никогда не смотрел, и уставленная шкафами с книгами, которых никто никогда не читал. Предназначалась она исключительно для родительских посещений, и когда родители навещали своих дочек, дух учености, царивший здесь, вызывал у них благоговейный трепет.

— Амелия, душенька,— сказала мисс Мария Крамтон, входя однажды утром в классную комнату вся в папильотках, к которым ей время от времени приходилось прибегать, чтобы убедить юных пансионерок, что коса у нее не накладная, а своя собственная.— Амелия, душенька, я получила чрезвычайно лестное для нас письмо. Можешь прочесть его вслух.

Получив такое разрешение, мисс Амелия торжествующим тоном прочитала следующее:

— «Корнелиус Брук Дингуолл, эсквайр, Чл. П., свидетельствует свое почтение мисс Крамтон и будет рад видеть ее у себя завтра в час дня (если это удобно ей), так как Корнелиус Брук Дингуолл желал бы побеседовать с мисс Крамтон относительно поступления мисс Брук Дингуолл в руководимый ею пансион.

Адельфи

Понедельник утром».

— Дочь члена парламента! — ликующим голосом воскликнула Амелия.

— Дочь члена парламента,— повторила мисс Мария с радостной улыбкой, на что юные девы, разумеется, ответили восторженным хихиканьем.

— Это просто замечательно! — сказала мисс Амелия, и юные девы залепетали что-то хором, снова выражая свое восхищение. Придворные вельможи обычно тоже ве-

дут себя, как школьники, а придворные дамы ничем не лучше школьниц.

Столь важная новость сразу же заслонила собой все прочие дела. В честь такого события уроки были отменены; мисс Амелия и мисс Мария удалились на свою половину, чтобы поговорить обо всем на досуге; младшие воспитанницы принялись гадать, какие должны быть манеры у дочери члена парламента и как она держится, а девицы постарше обсуждали, помолвлена ли она, хороша ли собой, большой ли носит турнюр, и задавались множеством других, не менее серьезных вопросов.

На следующий день сестры Крамтон принарядились, сделали все от них зависящее, чтобы выглядеть как можно привлекательнее, хотя это и не удалось им, и точно к назначенному часу прибыли в Адельфи. Вручив свои карточки лакею с багровой физиономией и в кричащего цвета ливрее, они вскоре проследовали по его приглашению в комнаты и предстали пред величественным Дингуоллом.

Корнелиус Брук Дингуолл, эсквайр, Чл. П., держался надменно, торжественно и чопорно. Цвет лица у него был, как и следовало ожидать, апоплексический, чему еще более способствовал удушающе туго завязанный галстук. Корнелиус Брук Дингуолл чрезвычайно гордился буквами «Чл. П.», приданными ему к имени, и не упускал случая напомнить людям о своем величии. Он был весьма высокого понятия о своих способностях, что, вероятно, служит человеку большим утешением, когда у него не находится единомышленников по этому вопросу, и считал себя непревзойденным дипломатом в устройстве своих маленьких семейных дел. Будучи мировым судьей графства, мистер Брук Дингуолл выполнял положенные ему обязанности нелицеприятно и со всей справедливостью, частенько сажал в тюрьму браконьеров, а кое-когда и сам садился в лужу. Мисс Брук Дингуолл принадлежала к той многочисленной категории молодых девиц, которые, подобно наречиям, отвечают на самые простые вопросы и ни на что другое не способны.

В описываемый нами день этот высоко одаренный муж сидел у себя в маленьком кабинете, за столом, заваленным бумагами, и бил баклуши, прикидываясь челове-

ком, обремененным делами. На столе — так, чтобы это сразу бросалось в глаза,— лежали парламентские акты и письма, адресованные «Корнелиусу Бруку Дингуоллу, эсквайру, Чл. П.», а поодаль от стола сидела с вышиванием в руках миссис Брук Дингуолл. Тут же, в кабинете, играл «бич божий» — избалованный мальчишка, одетый по самой последней моде в синее платьице, подпоясанное широченным черным поясом с огромной пряжкой,— настоящий разбойник из мелодрамы, но в сильно уменьшенном виде.

После милой шуточки прелестного дитяти, утащившего стул, который только успели предложить мисс Марии Крамтон, гостьи сели, и Корнелиус Брук Дингуолл, эсквайр, первый начал беседу.

Он послал за мисс Крамтон потому, сказал Корнелиус, что его друг сэр Альфред Магс самым лучшим образом отозвался о ее учебном заведении.

Мисс Крамтон замирающим голосом выразила ему (Магсу) глубокую признательность, после чего Корнелиус продолжил свою речь:

— Одна из главных причин, побуждающих меня расстаться с дочерью, заключается в том, мисс Крамтон, что за последнее время она стала предаваться мечтам, каковые следует самым решительным образом изгонять из девичьих умов. (В эту минуту невинное дитя, упомянутое нами выше, с грохотом свалилось с кресла.)

— Дрянной мальчишка! — воскликнула его матушка, которую, видимо, больше всего возмутило то, что ее сын осмелился упасть.— Сейчас позвоню Джеймсу, и пусть он выведет тебя отсюда.

— Душенька! Не мешай ему резвиться,— сказал искусный дипломат, повысив голос, чтобы его можно было услышать сквозь истошный рев, последовавший за падением и материнской угрозой.— Он у нас такой весельчак! — Последнее замечание было обращено к мисс Крамтон.

— Да, разумеется, сэр,— ответила престарелая Мария, подумав, впрочем: «Какое уж тут веселье, когда падаешь с кресла!»

Наконец, тишина была восстановлена, и член парламента заговорил снова:

— Если моя дочь будет находиться в непосредственной близости со своими сверстницами, это как нельзя более послужит достижению преследуемой мною цели, мисс Крамтон. И поскольку мне доподлинно известно, что в вашем пансионе нет девиц, которые могут отравить дурным влиянием юную душу, я и решил отослать свою дочь к вам.

Благодарность за лестный отзыв о их учебном заведении выразила младшая мисс Крамтон: Мария онемела от нестерпимой физической боли. Прелестный весельчак, снова обретший бодрость духа, стал ей на любимую мозоль, ибо ему вдруг приспичило дотянуться физиономией (похожей на красную букву «О» с театральной афиши) до края стола.

— Лавиния, разумеется, будет столоваться с вами,— продолжал образцовый папаша.— Но я особенно настаиваю на одном условии. Дело в том, что теперешнее состояние ума моей дочери вызвано тем обстоятельством, что она имела глупость влюбиться в человека ниже ее по положению в обществе. Находясь под вашим присмотром, она не должна встречаться с этим субъектом. Впрочем, я не только не протестую, но даже всячески приветствую, если вы подыщете ей подходящих знакомых по своему выбору.

Это важное заявление опять было прервано резвым малюткой, который в припадке веселья разбил оконное стекло и чуть не вывалился в палисадник. Вызвали звонком Джеймса, поднялся визг, возня; когда лакей выходил из кабинета, в воздухе отчаянно взметнулись ноги в синих панталончиках, и мальчишка исчез.

— Мистер Брук Дингуолл желает, чтобы мисс Брук Дингуолл обучилась всем наукам,— заявила миссис Брук Дингуолл, редко когда выражавшая собственное мнение.

— Да, да, конечно! — в один голос ответили мисс Крамтон.

— Я не сомневаюсь в том, что задуманный мною план увенчается успехом и отвратит мою дочь от ее безрассудных мечтаний,— продолжал законодатель.— Но для этого требуется, чтобы вы, мисс Крамтон, в точности соблюдали все мои условия.

Обещание, разумеется, было дано, и после долгих переговоров, которые супруги Дингуолл вели с приличествующей случаю дипломатической важностью, а сестры Крамтон чрезвычайно почтительно, обе договаривающиеся стороны, наконец, условились, что мисс Лавинию доставят в Хэммерсмит через два дня, а ко дню ее приезда будет приурочен бал, дающийся в пансионе каждое полугодие. Это отвлечет милую девушку от тяжелых мыслей. Вот вам пример того, на какие дипломатические ухищрения шел мистер Брук Дингуолл.

Мисс Лавинию представили ее будущим воспитательницам, и обе мисс Крамтон воскликнули, что более прелестной девушки им не приходилось видеть, что́, кстати сказать, они почему-то заявляли о каждой своей новой ученице.

Далее последовал обмен любезностями, одной стороной была выражена глубочайшая признательность, другой — милостивое снисхождение, и беседа закончилась.

В «Храме Минервы» приступили к подготовке бала — «невиданного по великолепию» (как принято выражаться на театре). Самую большую комнату в доме красиво убрали розами из синего миткаля, тюльпанами из материи в клеточку и другими не менее натурально получившимися искусственными цветами — все работы юных воспитанниц пансиона. Ковер — долой, двери — прочь, громоздкую мебель — вон, вместо нее — маленькие стульчики. Хэммерсмитские галантерейщики были поражены внезапным спросом на голубые атласные ленты и длинные белые перчатки. Герань для букетов закупалась в огромных количествах, из города затребовали арфу и две скрипки в добавление к уже имеющемуся в пансионе фортепьяно. Юные девы, которые должны были блеснуть талантами на балу и тем самым поддержать честь пансиона, с утра до вечера выводили рулады к своему полному удовольствию и к великой досаде хромого старичка, жившего через улицу, а между сестрами Крамтон и хэммерсмитским кондитером шла оживленная переписка.

Наступил вечер, и тут поднялась такая суматоха, какая может быть только в пансионе для благородных девиц, когда они начинают причесываться, шнуровать корсеты и затягивать ленточки на туфельках. Младшенькие

ухитрялись всем мешать, за что им влетало самым нещадным образом, а старшенькие наряжались, завязывали банты и льстили и завидовали друг дружке с таким неподдельным жаром, будто они и на самом деле готовились к своему первому выезду в свет.

— Ну, как я выгляжу, душенька? — спросила мисс Эмили Смизерс — общепризнанная красавица в пансионе, у мисс Каролины Уилсон, которая была ее закадычной подругой, потому что второй такой дурнушки не видывали ни в Хэммерсмите, ни в его окрестностях.

— Дивно, душенька! А я?

— Восхитительно! Сегодня ты особенно мила,— ответила красавица, прихорашиваясь и даже не глядя на свою бедную подружку.

— Надеюсь, мистер Хилтон не опоздает к началу,— трепеща от волнения, сказала другая юная дева.

— Если бы он знал, как его ждут здесь! — воскликнула мисс такая-то, репетируя вторую фигуру кадрили.

— Ах! он так хорош собой! — сказала первая.

— В нем столько обаяния! — добавила вторая.

— И какие изысканные манеры! — сказала третья.

— А что я вам расскажу! — В комнату вбежала еще одна юная девица.— Мисс Крамтон пригласила своего кузена.

— Как? Теодозиуса Батлера? — радостно воскликнули все.

— А он тоже хорош собой? — спросил кто-то из новеньких.

— Нет, не очень,— последовал дружный ответ.— Но зато такой образованный, такой умный!

Мистер Теодозиус Батлер был одним из тех бессмертных гениев, которых можно встретить почти в любом кругу общества. Как правило, гении эти бубнят густым басом и бывают убеждены в том, что они личности исключительные, но несчастные — почему, им самим не известно. Самомнения у них сверх меры, а собственные мыслишки если и есть, то куцые, что, впрочем, не мешает восторженным девицам и глуповатым юнцам восхищаться ими. Индивидуум, о котором идет речь, когда-то выпустил в свет книжонку, полную веских доводов и соображений о необходимости того или сего, и, поскольку

в каждой фразе этого трактата попадались слова из четырех-пяти слогов, почитатели мистера Теодозиуса были убеждены, что труд его таит в себе глубокие мысли.

— Не он ли это? — воскликнули сразу несколько девиц, когда кто-то позвонил у калитки с такой силой, что чуть не оборвал колокольчик.

Все затаили дыхание. Прибыли сундуки и юная леди — мисс Брук Дингуолл в бальном платье, схваченном у талии одной единственной розой, с длинной золотой цепью на груди, в руке — веер слоновой кости, на лице — выражение отчаяния, придающее ей весьма интересный вид.

Сестры Крамтон с мучительной тревогой осведомились о здоровье всех членов семьи Брук Дингуолл, после чего представили мисс Брук Дингуолл ее будущим подругам. Сестры Крамтон разговаривали со своими юными воспитанницами самым медоточивым голосом, чтобы мисс Брук Дингуолл могла убедиться, какие они ласковые и добрые.

Опять звонок. Учитель чистописания мистер Дэдсон с супругой. Супруга в зеленых шелках; туфли и ленты на чепце — в тон. Сам учитель в белом жилете, черных штанах по колено и черных же шелковых чулках, обтягивающих могучие икры, которых хватило бы на двух учителей чистописания. Юные девы перешептываются друг с дружкой, а учитель чистописания и его супруга рассыпаются в комплиментах сестрам Крамтон, восхваляя их платья янтарного цвета с длинными кушаками, точно у кукол.

Звонки один за другим, и гостей прибывает так много, что каждого в отдельности не опишешь. Папаши и мамаши, тетушки и дядюшки, повелители и опекуны пансионерок, учитель пения — синьор Лобскини в черном парике; тапер, две скрипки и арфа, последняя — в состоянии полного опьянения. Молодые люди, числом около двадцати, жмутся к дверным косякам и переговариваются между собой, время от времени прыская. В зале стоит гул голосов. Разносят кофе, и на него с аппетитом налегают мамаши, не уступающие толщиной тем персонажам из пантомимы, которые появляются на сцене только для того, чтобы их сбивали с ног.

Наконец, пожаловал и всеобщий любимец — мистер Хилтон. По просьбе сестер Крамтон он взял на себя обя-

занность церемониймейстера, и под его руководством все начали отплясывать кадриль. Молодые люди, жавшиеся к дверям, мало-помалу вышли на середину комнаты и, наконец, осмелели до того, что решились представиться партнершам. Учитель чистописания не пропускал ни одной фигуры и проявлял такую прыть в танцах, что страх брал, на него глядя, а его супруга сидела за картами в дальней гостиной — маленькой комнатке с пятью книжными полками, громко именуемой библиотекой. Партия в вист с участием миссис Дэдсон составлялась каждые полгода в соответствии со стратегическим планом сестер Крамтон, ибо эта леди была так уродлива, что ее приходилось запрятывать куда-нибудь подальше.

Загадочная Лавиния Брук Дингуолл одна проявляла полное безучастие ко всему происходящему. Ее приглашали на кадриль, около нее увивались, оказывая ей уважение, как дочери члена парламента,— все было напрасно. Мисс Лавинию ничто не трогало — ни великолепный тенор бесподобного Лобскини, ни талант мисс Летиции Парсонс, так бравурно исполнившей «Воспоминания об Ирландии», что ее единодушно признали чуть ли не равной самому Мошелесу *. И даже весть о приезде мистера Теодозиуса Батлера не смогла заставить эту тоскующую деву покинуть уголок маленькой гостиной, куда она забилась.

— А теперь, Теодозиус,— сказала мисс Мария Крамтон, когда просвещенный сочинитель прошел сквозь строй приветствующих его гостей,— теперь я познакомлю тебя с нашей новой воспитанницей.

Теодозиус принял такой вид, будто все земное ему чуждо.

— Она дочь члена парламента,— сказала Мария.

Теодозиус вздрогнул.

— Ее имя?..— спросил он.

— Мисс Брук Дингуолл.

— Силы небесные! — Этот поэтический возглас чуть слышно слетел с уст Теодозиуса.

Мисс Крамтон подвела его к юной леди. Мисс Брук Дингуолл томно возвела на них глаза.

— Эдвард! — истерически вскрикнула она, увидев знакомые ей нанковые панталоны.

По счастью, мисс Мария Крамтон не отличалась особой проницательностью, да к тому же, соответственно тонким дипломатическим указаниям мистера Брука Дингуолла, ей следовало пропускать мимо ушей нечленораздельные возгласы его дочери. Вследствие этого она не заметила, какой трепет охватил и мисс Лавинию и представленного ей кавалера, и, убедившись, что приглашение к танцу принято, оставила их наедине друг с другом.

— О Эдвард! — воскликнула романтичнейшая из девиц, когда светоч науки опустился на стул рядом с ней.— О Эдвард! Вы ли это!

Мистер Теодозиус в самых пылких выражениях заверил свой предмет, что, насколько ему известно, это он самый и есть.

— Но почему же... почему другое имя? О Эдвард Мак-Невилл Уолтер! Сколько я претерпела из-за вас!

— Лавиния, выслушайте меня,— ответил наш герой на самой поэтической ноте.— Не осуждайте, не выслушав. Если то, что исходило из моей горемычной души, оставило хоть малейший след в вашей памяти, если такое презренное существо, как я, достойно вашего внимания,— вы вспомните, что когда-то мне удалось опубликовать (за свой счет) брошюру, названную «Некоторые соображения о снижении таможенного обложения на воск».

— Ах, помню, помню! — рыдая, проговорила Лавиния.

— Этим вопросом,— продолжал ее возлюбленный,— горячо интересовался и ваш отец.

— Вы правы! — подхватила чувствительная девица.

— Я знал это, знал! — трагическим тоном продолжал Теодозиус.— И препроводил ему один экземпляр своего труда. Он захотел познакомиться со мной. Мог ли я открыть ему свое настоящее имя? Нет, никогда! И я назвался так, как с нежностью называли меня вы. Мак-Невилл Уолтер отдал всего себя животрепещущему вопросу о таможенной пошлине на воск. Мак-Невилл Уолтер завоевал ваше сердце. Того же Мак-Невилла Уолтера слуги вашего отца изгнали из вашего дома, и с тех пор он не мог увидеться с вами ни под своим именем, ни под псевдонимом. Сегодня мы снова встретились, и я с гордостью признаюсь, что меня зовут Теодозиус Батлер.

Лавиния сочла это объяснение вполне удовлетворительным и устремила нежный взор на бессмертного поборника воска.

— Могу ли я надеяться,— сказал он,— что вы подтвердите мне свое обещание, которое осталось втуне из-за грубого поступка вашего отца?

— Пойдемте танцевать,— ответила Лавиния кокетливо, ибо девятнадцатилетние девицы умеют кокетничать.

— Нет! — воскликнул обладатель нанковых панталон.— Я не тронусь с места до тех пор, пока вы не положите конец этой пытке! Могу ли я... могу ли я надеяться?

— Можете.

— Вы подтверждаете свое обещание?

— Подтверждаю.

— Даете мне слово?

— Даю.

— Навсегда?

— Надо ли спрашивать? — пролепетала, вся вспыхнув, Лавиния. Гримаса, исказившая физиономию Батлера, должна была изображать восторг.

Мы могли бы самым подробным образом остановиться на всех дальнейших событиях этого вечера — рассказать, как мистер Теодозиус и мисс Лавиния танцевали, ворковали и вздыхали до самого конца бала и как радовались, глядя на них, сестры Крамтон. Как учитель чистописания продолжал отплясывать в одну лошадиную силу, а его супруга, подчиняясь какому-то безотчетному капризу, вдруг поднялась из-за карточного стола в маленькой гостиной и заторчала со своим зеленым чепцом на самом виду у гостей. Как был подан ужин, состоявший из крохотных треугольных сэндвичей и считанного числа тартинок. Как гости поглощали под видом глинтвейна тепленькую водичку, сдобренную лимоном и щепоткой мускатного ореха. Все эти и многие другие столь же интересные подробности мы опускаем с тем, чтобы описать сцену, более важную.

Через две недели после бала Корнелиус Брук Дингуолл, эсквайр, Чл. П., сидел за тем же письменным столом в том же кабинете, где мы впервые с ним познакомились. Мистер Брук Дингуолл сидел там один, и на челе



его лежала печать глубокой думы, ибо он составлял билль «О том, как следует блюсти второй день пасхальной недели».

В дверь постучал лакей. Законодатель очнулся от своих раздумий и выслушал доклад о приходе мисс Крамтон. Посетительница получила разрешение переступить порог святилища. Мария прошмыгнула мимо лакея, он вышел, она церемонно села на кончик кресла и осталась наедине с членом парламента. О, как ей хотелось, чтобы при этом свидании присутствовало третье лицо! С маленьким буяном и то было бы легче.

Дуэт начала мисс Крамтон. Она надеется, что миссис Брук Дингуолл и прелестный малыш не жалуются на здоровье?

Нет, не жалуются. Миссис Брук Дингуолл и маленький Фредерик сейчас в Брайтоне.

— Я вам чрезвычайно признателен, мисс Крамтон, что вы посетили меня,— величественно произнес Корнелиус.— Я собирался сам съездить в Хэммерсмит проведать дочь, но, поскольку ваши отчеты о ее поведении были вполне удовлетворительны, а обязанности члена палаты общин поглощают все мое время, я решил отложить свою поездку еще на неделю. Ну, как Лавиния, много ли успела за это время?

— Да, сэр,— ответила Мария, с ужасом готовясь сообщить отцу, что за это время его дочь успела сбежать.

— Значит, победа за мной? Так я и думал!

Вот тут и надо было сказать ему, что победа осталась за кем-то другим, но несчастная воспитательница не находила в себе сил на это.

— Вы строго удерживали ее в предписанных мною рамках, мисс Крамтон?

— Самым строжайшим образом, сэр.

— Судя по вашим письмам, состояние ее духа мало-помалу улучшилось?

— Значительно улучшилось, сэр.

— Ну, разумеется. Этого следовало ожидать.

— Но, к сожалению, сэр,— сказала мисс Крамтон, явно волнуясь,— к моему величайшему сожалению, наш план не принес тех плодов, на которые мы рассчитывали.

— Как? — воскликнул провидец.— Вы чем-то встревожены, мисс Крамтон! Бог мой! Что случилось?

— Мисс Брук Дингуолл, сэр...

— Да, сударыня?

— Исчезла, сэр,— проговорила Мария, выказывая недвусмысленное намерение грохнуться в обморок.

— Исчезла?

— Сбежала, сэр.

— Сбежала? Как сбежала? С кем? Когда? Куда? — возопил потрясенный дипломат.

Желтизна, присущая лицу мисс Крамтон, перешла во все цвета радуги в ту минуту, как она положила на стол члена парламента небольшой конверт.

Он вскрыл его. Два письма — одно от дочери, другое от Теодозиуса. Он наспех пробежал их. «Когда это попадет к вам в руки... мы будем далеко... взываем к родительским чувствам... любим до безумия... воск... рабская преданность...» и так далее и тому подобное. Он схватился за голову и, к ужасу чинной Марии, стал мерить кабинет гигантскими шагами.

— Отныне и впредь,— сказал мистер Брук Дингуолл, на всем ходу останавливаясь у стола и ударяя по нему рукой в такт своим словам,— отныне и впредь я никогда, ни при каких обстоятельствах не пущу к себе в дом дальше кухни ни одного человека, который пишет всякие книжонки. Моя дочь и ее муж будут получать от меня сто пятьдесят фунтов в год, и больше мы с ними не увидимся. И черт возьми, сударыня! Я внесу в палату билль о закрытии всех пансионов для благородных девиц!

С того дня, когда была оглашена эта бурная декларация, миновал год-другой. Мистер и миссис Батлер живут на лоне природы в лондонском пригороде, в приятном соседстве с кирпичным заводом. Детей у них нет. Мистер Теодозиус держится чрезвычайно солидно и непрерывно что-то пишет, но вследствие низких происков издателей, составивших против него комплот, эти писания до сих пор не увидели света. Молодая супруга мистера Батлера начинает приходить к выводу, что воображаемые несчастья куда лучше неподдельных горестей и что брак, заключенный впопыхах и оплакиваемый на досуге,

порождает столь весомую тоску, какой она даже представить себе не могла в былые дни.

По зрелом размышлении Корнелиус Брук Дингуолл, правда, с неохотой, но признал, что в неудачном исходе его блистательного плана ему следует винить не сестер Крамтон, а свою же собственную дипломатию. Впрочем, подобно многим другим мелкотравчатым дипломатам, он убедительно доказывает самому себе, что только случайность помешала выполнению его великолепного замысла, и тем и утешается. «Храм Минервы» сохраняет status quo, а сестры Крамтон живут и здравствуют и беспрепятственно извлекают все выгоды из своего пансиона для благородных девиц.

ГЛАВА IV

Семейство Тагс в Рэмсгете

Жил-был когда-то в узенькой улочке на южном берегу Темзы, в трех минутах ходьбы от старого Лондонского моста, мистер Джозеф Тагс — невысокого роста человечек, смуглолицый, быстроглазый, с лоснящейся шевелюрой, коротенькими ножками и солидным брюшком (если судить по расстоянию от средней пуговицы жилета спереди до парных пуговиц сюртука сзади). Фигура его любезной супруги хоть и не могла служить образцом изящества, но, несомненно, радовала глаз; а формы их единственной дочери, прелестной мисс Мэри Тагс, обещали в недалеком будущем дозреть до той самой соблазнительной пышности, которая некогда пленила взоры и покорила сердце мистера Джозефа Тагса. Мистер Саймон Тагс, его единственный сын и единственный брат мисс Мэри Тагс, как телесным, так и душевным складом решительно отличался от всех остальных членов семьи. Удлиненный овал его задумчивого лица и некоторая слабость нижних конечностей убедительно говорили о незаурядном уме и романтической натуре. Когда дело касается подобной личности, то даже мелкие черты и привычки представляют немалый интерес для склонного к размышлениям наблюдателя. Мистер Саймон Тагс обычно появлялся на

людях в широконосых башмаках и бумажных чулках черного цвета; а кроме того, был замечен в пристрастии к черным атласным галстукам, которые носил без банта и без всяких булавок или украшений.

Какой бы полезной деятельностью ни занимался человек, каким бы ни посвятил себя благородным целям, ничто не оградит его от нападок пошлой толпы. Мистер Джозеф Тагс держал бакалейную торговлю. Казалось бы, бакалейного торговца не может коснуться жало клеветы; так нет же — соседи присвоили ему унизительное звание лавочника, и завистливая молва утверждала, что он торгует в розницу по мелочам, отпуская покупателям чай и кофе четвертками, сахар унциями, табак грошовыми пачками, сыр ломтиками и масло кружочками. Впрочем, семейство Тагс не обращало внимания на эти оскорбительные выпады. Мистер Тагс занимался отделом колониальных товаров, миссис Тагс — маслом и сырами, а мисс Тагс — собственным образованием. Мистер Саймон Тагс вел торговые книги и хранил торговые тайны.

В один прекрасный весенний день, когда упомянутый молодой человек сидел на бочке присоленного масла за небольшой красной конторкой с деревянными перильцами, украшавшей собою угол прилавка, у дверей остановился кэб, из кэба вылез незнакомый джентльмен и быстрым шагом вошел в помещение магазина. Он был весь в черном, в одной руке у него был зеленый зонтик, а в другой — синий портфель.

— Могу я видеть мистера Тагса? — осведомился незнакомец.

— Мистер Тагс перед вами,— ответил мистер Саймон.

— Мне нужен другой мистер Тагс,— возразил незнакомец, устремив взгляд на дверь в глубине помещения, которая вела в жилую комнату и за стеклом которой, поверх занавески, явственно обозначалась круглая физиономия мистера Тагса.

Мистер Саймон грациозно помахал пером, которое держал в руке, как бы подавая знак отцу, что ему следует выйти; и мистер Джозеф Тагс с завидной быстротой отклеился от стекла и предстал перед незнакомцем.

— Я из Темпла *,— сказал джентльмен с портфелем.

— Из Темпла! — воскликнула миссис Тагс, распахнув дверь, за которой в перспективе обнаружилась мисс Тагс.

— Из Темпла! — воскликнули разом мисс Тагс и мистер Саймон Тагс.

— Из Темпла! — воскликнул мистер Джозеф Тагс, становясь бледно-желтым, как голландский сыр.

— Из Темпла! — подтвердил джентльмен с портфелем.— От мистера Кауэра, вашего поверенного. Мистер Тагс, примите мои поздравления, сэр. Сударыни, желаю вам как можно больше радостей от вашей удачи! Мы выиграли дело.— И джентльмен с портфелем, положив зонтик, стал неторопливо стягивать перчатку, готовясь приступить к обмену рукопожатиями с мистером Джозефом Тагсом.

Не успел, однако, джентльмен с портфелем произнести слова «мы выиграли дело», как мистер Саймон Тагс поднялся с бочки, выпучил глаза, раскрыл рот, словно задыхаясь, выписал пером несколько восьмерок в воздухе и, наконец, замертво упал в объятия своей перепуганной родительницы — без всякого видимого повода или причины.

— Воды! — взвизгнула миссис Тагс.

— Очнись, сынок! — вскричал мистер Тагс.

— Саймон! Милый Саймон! — воскликнула мисс Тагс.

— Мне уже лучше,— сказал мистер Саймон Тагс.— Боже мой! Выиграли! — И в качестве наглядного доказательства, что ему лучше, он снова лишился чувств, после чего соединенными усилиями прочих членов семьи и джентльмена с портфелем был перенесен в комнату за лавкой.

Случайному свидетелю, да и всякому лицу, не осведомленному в делах семейства Тагс, этот обморок показался бы непонятным. Но те, кому был ясен смысл известия, принесенного джентльменом с портфелем, не нашли бы тут ничего удивительного, особенно если принять во внимание слабые нервы мистера Саймона Тагса. Речь шла о затянувшейся тяжбе по поводу одного спорного завещания; сейчас эта тяжба неожиданно пришла к концу, и мистер Джозеф Тагс стал обладателем двадцати тысяч фунтов.

Вечером в комнате за лавкой состоялось длительное совещание, на котором должны были определиться дальнейшие судьбы семейства Тагс. Лавка в этот день закрылась много раньше обычного; и не раз в запертую дверь тщетно стучались покупатели, желавшие приобрести полфунта сахару, или фунт хлеба, или перцу на пенни — всё покупки, которые обычно откладываются на последнюю минуту и которым теперь вовсе не суждено было состояться.

— Торговлю мы, разумеется, закроем,— сказала мисс Тагс.

— Ну, еще бы,— сказала миссис Тагс.

— Саймон пойдет в адвокаты,— сказал мистер Джозеф Тагс.

— И я теперь буду подписываться «Симóн»,— сказал его сын.

— А я — «Мари»,— сказала мисс Тагс.

— И вы должны называть меня «маменька», а отца «папенька»,— сказала миссис Тагс.

— Да, и папеньке придется отстать от всех своих вульгарных привычек,— вставила мисс Тагс.

— Ладно уж, насчет этого будьте покойны,— с готовностью откликнулся мистер Джозеф Тагс, перочинным ножом отправляя в рот кусок маринованной лососины.

— Мы должны сейчас же поехать на курорт,— сказал мистер Симон Тагс.

Все согласились с тем, что это первый и необходимый шаг к светской жизни. Но тут возник вопрос — куда именно ехать?

— Грейвзенд? — в простоте души предложил мистер Джозеф Тагс. Но это предложение было с презрением отвергнуто всеми. Чистая публика в Грейвзенд не ездит.

— Маргет? — заикнулась было миссис Тагс. Еще того не легче! Кого можно встретить в Маргете — одних лавочников!

— Брайтон? — Но тут у мистера Симона Тагса нашлись чрезвычайно веские возражения. За последние три недели не было случая, чтобы дилижанс, идущий в Брайтон, не опрокинулся; причем среди пассажиров каждый раз оказывалось не менее двух убитых и шести ране-

ных; а газеты упорно твердили, что «кучер никакой ответственности не несет».

— Рэмсгет? — воскликнул вдруг мистер Симон. Ну, разумеется,— как это они сразу не додумались! Рэмсгет — самое подходящее место во всех отношениях.

Прошло месяца два после этой беседы; и вот однажды пароход линии Лондон — Рэмсгет отвалил от причала и весело побежал вниз по реке. Развевался флаг на мачте, играл оркестр, болтали между собой пассажиры; оживленное веселье царило всюду. Да и не удивительно — ведь на борту находилось семейство Тагс.

— Здорово, а? — сказал мистер Джозеф Тагс, облаченный в пальто бутылочно-зеленого цвета с зеленым же бархатным воротником и в синий дорожный картуз с золотым околышем.

— Восхитительно,— ответил мистер Симон Тагс, который уже начал свою юридическую карьеру.— Восхитительно!

— Прелестное утро, сэр,— обратился к нему солидной комплекции джентльмен — военный, судя по выправке,— в синей наглухо застегнутой венгерке и белых наглухо прикованных к башмакам панталонах.

Мистер Симон Тагс взял на себя обязанность ответить на это замечание.

— Божественно! — сказал он.

— Вы, видно, большой поклонник красот природы, сэр,— заметил джентльмен в венгерке.

— Вы не ошиблись, сэр,— ответил мистер Симон Тагс.

— Много путешествовали, сэр? — осведомился джентльмен в венгерке.

— Не так уж много,— ответил мистер Симон Тагс.

— Бывали, разумеется, на континенте? — осведомился джентльмен в венгерке.

— Не совсем,— ответил мистер Симон Тагс многозначительным тоном, словно намекая, что он однажды отправился в это путешествие, но с полдороги возвратился.

— Вероятно, вы, сэр, готовите вашему сыну европейское турне в качестве подарка к началу самостоятельной жизни? — спросил джентльмен в венгерке, обращаясь к мистеру Джозефу Тагсу.

Поскольку мистер Тагс не вполне ясно представлял себе, что такое европейское турне и как именно его готовят, он сказал: «Да, конечно». Не успел он это сказать, как со стороны кормы к ним легчайшей походкой приблизилась черноглазая и черноволосая молодая дама в мантилье пюсового шелка и ботинках под цвет, в длинных локонах и коротких юбках, открывавших бесподобную ножку.

— Милый Уолтер,— обратилась черноглазая дама к джентльмену в венгерке.

— Да, дорогая Белинда? — отозвался тот.

— Зачем ты так надолго оставляешь меня одну? — с упреком сказала черноглазая дама.— Эти молодые люди совсем смутили меня своими дерзкими взглядами.

— Что такое? Дерзкие взгляды? — вскричал джентльмен в венгерке таким грозным голосом, что мистер Симон Тагс тут же поспешил отвести глаза от черноглазой дамы.

— Кто эти молодые люди — где они? — И джентльмен в венгерке, сжав кулаки, метнул устрашающий взгляд на мирных курителей сигар, прохаживавшихся неподалеку.

— Успокойся, Уолтер, я тебя умоляю,— сказала черноглазая дама.

— Не успокоюсь,— отвечал джентльмен в венгерке.

— Успокойтесь, сэр,— вступился мистер Симон Тагс.— Право же, они не стоят вашего внимания.

— Да, да, конечно, не стоят,— подхватила черноглазая дама.

— Хорошо, я успокоюсь,— сказал джентльмен в венгерке.— Вы правы, сэр. Благодарю вас за своевременное вмешательство, которое, быть может, не дало мне впасть в грех человекоубийства.— И, укротив свой гнев, он крепко пожал руку мистеру Симону Тагсу.

— Моя сестра, сэр,— сказал мистер Симон Тагс, поймав восхищенный взгляд джентльмена в венгерке, направленный на мисс Мари.

— Моя жена, сударыня,— капитанша Уотерс,— представил джентльмен в венгерке черноглазую даму.

— Моя матушка, сударыня,— миссис Тагс,— сказал мистер Симон.

Капитан и его супруга рассыпались в изысканных любезностях, а Тагсы изо всех сил старались держаться непринужденно.

— Милый Уолтер,— сказала черноглазая дама, после того как они провели полчаса в оживленной беседе с Тагсами.

— Да, дорогая? — отозвался капитан.

— Ты не находишь, что этот джентльмен (легкий наклон головы в сторону мистера Симона Тагса) удивительно похож на маркиза Карривини?

— Ах, черт возьми, в самом деле! — сказал капитан.

— Мне это сразу же бросилось в глаза,— сказала черноглазая дама, с томным видом вглядываясь в совершенно пунцовое лицо мистера Симона Тагса. Мистер Симон Тагс оглянулся на присутствующих и, обнаружив, что все присутствующие смотрят на него, потерял на некоторое время способность управлять своим органом зрения.

— Просто вылитый маркиз,— сказал капитан.

— Как странно! — вздохнула капитанша.

— Вы не знакомы с маркизом, сэр? — спросил капитан.

Мистер Симон Тагс выдавил из себя отрицательный ответ.

— Будь вы знакомы с ним,— продолжал капитан,— вы бы поняли, что можете гордиться таким сходством,— весьма элегантный мужчина этот маркиз, неотразимая внешность.

— О да, о да! — пылко воскликнула Белинда Уотерс и, встретившись взглядом с мистером Симоном Тагсом, тотчас же в смущении отвела глаза.

Все это было весьма приятно для Тагсов; а когда в дальнейшем ходе беседы оказалось, что мисс Мари Тагс — настоящий двойник одной титулованной кузины миссис Белинды Уотерс, а миссис Тагс как две капли воды похожа на вдовствующую герцогиню Доблтон, семейным восторгам по поводу столь светского и обворожительного знакомства не было границ. Сам капитан Уолтер Уотерс простер свою благосклонность до того, что любезно разрешил мистеру Джозефу Тагсу угостить его на палубе хересом и холодным пирогом с голубятиной; дружеская беседа, сдобренная такими приправами, длилась до тех пор, пока пароход не ошвартовался у Рэмсгетского мола.

— До свидания, моя милочка,— сказала капитанша мисс Мари Тагс, когда вокруг уже начиналась суматоха

высадки.— Увидимся завтра на взморье; не сомневаюсь, что к тому времени мы уже успеем устроиться и ничто не помешает нам много-много дней наслаждаться обществом друг друга.

— Да, да, непременно! — воскликнула мисс Мари Тагс.

— Леди и джентльмены, предъявляйте билеты! — повторял контролер, стоявший у сходней.

— Носильщика, сэр? — наперебой кричали какие-то люди в холщовых блузах.

— Ну, моя дорогая...— сказал капитан Уотерс.

— До свидания! — сказала капитанша.— До свидания, мистер Симон! — И после короткого рукопожатия, заметно нарушившего хрупкий покой этого чувствительного сердца, она исчезла в толпе. Мелькнули на сходнях ботинки пюсового цвета, взвился в воздухе платочек, блеснули еще раз черные глаза — и нет уже Уотерсов, и мистер Симон Тагс остался один в холодном и жестоком мире.

Безмолвно и рассеянно брел впечатлительный юноша вдоль мола вслед за своими почтенными родителями и целым поездом ручных тележек, подталкиваемых людьми в блузах, пока, наконец, шумная суета вокруг не вернула его к действительности. Солнце ярко светило; на море ходили волны, пританцовывая под собственную музыку; взад и вперед прогуливалась нарядная публика, барышни щебетали, пожилые дамы беседовали, няньки охорашивались, стараясь показать себя во всей красе, а их маленькие питомцы носились туда и сюда, взад и вперед, вверх и вниз, шныряя у взрослых под ногами и резвясь в полное свое удовольствие. Были тут пожилые джентльмены с подзорными трубами, наслаждавшиеся видами окрестностей, и молодые джентльмены в отложных воротничках, наслаждавшиеся собственным видом; здоровые леди со складными переносными стульчиками и больные леди в нескладных передвижных креслах; шумные компании, которые толпились на молу, встречая другие шумные компании, которые прибыли с пароходом; всюду слышались разговоры, смех, приветствия и веселый гомон.

— Экипаж, сэр? — закричали хором четырнадцать мужчин и шестеро подростков, как только мистер Джозеф

Тагс, возглавлявший семейную процессию, ступил на плиты тротуара.

— Наконец-то пожаловали, сэр! — воскликнул один из них, с притворной вежливостью дотрагиваясь до шляпы.— Милости просим — полтора месяца вас ожидаю. Садитесь, сэр, не стесняйтесь.

— Отличный фаэтон, сэр, а лошадь — настоящий рысак,— зазывал другой.— Четырнадцать миль в час, небывалая скорость, не успеете разглядеть, что по сторонам!

— А вот экипаж как раз по вашей клади, сэр! — кричал третий.— Целый Ноев ковчег, можете разместиться с удобствами.

— Лучше моего не найдете, сэр! — надсаживался четвертый конкурент, забравшись на козлы и пытаясь пробудить в древней серой кобыле отдаленные воспоминания о галопе.— Посмотрите на эту лошадь, сэр,— нрав как у ягненка, а сила как у паровой машины.

Но мистер Джозеф Тагс, устояв против искушения воспользоваться услугами этого четвероногого феномена, сделал знак обладателю колымаги грязно-зеленого цвета с обивкой из линялого полосатого коленкора; и когда все семейство вместе с багажом втиснулось туда, животное, стоявшее в оглоблях, принялось описывать круги по мостовой и занималось этим примерно с четверть часа, после чего согласилось, наконец, тронуться на поиски квартиры для вновь прибывших.

— Сколько у вас есть кроватей? — не выходя из экипажа, спросила миссис Тагс у женщины, вышедшей им навстречу из первого же дома, в котором, судя по билетику в окне, отдавались внаем комнаты.

— А сколько вам требуется?

— Три.

— Прошу вас, сударыня, войдите,— был, разумеется, ответ.

Миссис Тагс не замедлила последовать этому приглашению. Все семейство было в восторге. Прекрасный вид на море — лучшего и желать трудно! Короткая пауза. Миссис Тагс вновь появилась на пороге: всего одна комната и тюфяк, набитый сеном.

— Какого ж черта она сразу не сказала? — ворчливо спросил мистер Джозеф Тагс.

— Не знаю,— ответила миссис Тагс.

— Негодяи! — воскликнул нервический Симон.

Еще билетик — еще остановка. Тот же вопрос — тот же ответ — тот же результат.

— Да что они, с ума все посходили? — спросил мистер Джозеф, уже не на шутку рассердясь.

— Не знаю,— кротко ответила миссис Тагс.

— Так уж тут водится, сэр,— вставил свое слово кучер в виде исчерпывающего объяснения; и они покатили дальше, на новые поиски и новые неудачи.

Уже стемнело, когда «фаэтон» — весьма отдаленно напоминавший колесницу небожителя, которому был обязан своим именем,— вскарабкавшись поочередно на три или четыре почти отвесных склона, остановился у дверей довольно грязного дома с выступом в виде башенки, откуда можно было созерцать кусочек живописнейшего морского пейзажа — если до половины высунуться из окна с риском свалиться на мостовую. Миссис Тагс вышла из экипажа. Одна комната в нижнем этаже и три каморки с койками в верхнем — дом разделен на две половины — вторая занята обширным семейством: пятеро детей пьют чай с молоком в гостиной, а шестой, высланный оттуда за дурное поведение, с визгом катается по полу в коридоре.

— Сколько? — спросила миссис Тагс. Но хозяйка дома в это время усиленно соображала, накинуть или не накинуть еще гинею; поэтому она слегка закашлялась и сделала вид, что не расслышала вопроса.

— Сколько? — тоном выше повторила миссис Тагс.

— Пять гиней в неделю, сударыня, с услугами,— ответила, наконец, хозяйка. (Под услугами подразумевается право сколько угодно дергать за сонетку для собственного развлечения.)

— Дороговато,— сказала миссис Тагс.

— Ну что вы, сударыня,— возразила хозяйка, снисходительно улыбаясь на это замечание, свидетельствовавшее о полной неосведомленности в существующих порядках и обычаях.— Напротив, очень дешево.

С авторитетами не спорят. Миссис Тагс сняла помещение сроком на месяц и уплатила за неделю вперед. Час спустя семейство уже сидело за чаем в своем новом пристанище.

— Отличный пашкет! — сказал мистер Джозеф Тагс.

Мистер Симон, сердито нахмурясь, посмотрел на отца и внушительно произнес: — Паш-тет.

— Ну, пускай паштет,— согласился мистер Джозеф Тагс.— Пашкет или паштет — невелика разница.

Жалость, смешанная с негодованием, была во взгляде, которым мистер Симон сопроводил свой ответ:

— Невелика разница! Что сказал бы капитан Уотерс, если бы услышал такую вульгарную речь?

— И что сказала бы милая миссис Уотерс,— подхватила Мари,— если бы увидела, как мамаша — то есть маменька — ест креветок с головой и со всем прочим?

— Страшно даже подумать! — содрогнувшись, вскричал мистер Симон. «Какое сравнение с вдовствующей герцогиней Доблтон!» — добавил он про себя.

— Очаровательная женщина миссис Уотерс, верно, Симон? — спросила мисс Мари.

— Ангел красоты! — ответил мистер Симон, и легкий румянец волнения окрасил его бледные щеки.

— Э-э! — сказал мистер Джозеф Тагс.— Ты смотри, сынок, она ведь замужняя,— и он понимающе подмигнул одним глазом.

— Зачем,— воскликнул Симон, закипая гневом, столь же неожиданным, сколь бурным,— зачем мне напоминают о том, что мои надежды несбыточны, а счастье невозможно? Зачем растравляют раны моего сердца? Разве не довольно того, что... что... что...— Тут оратор умолк; слов ли не нашлось больше, дыхания ли не хватило — так и осталось невыясненным.

Зловещий тон этой тирады, зловещее выраженье, с которым романтический Симон, закончив ее, позвонил и потребовал себе свечу,— все это исключало возможность ответа. С подсвечником в руке он мрачно удалился на покой, а спустя полчаса его примеру последовало все семейство, удрученное и озадаченное происшедшим.

Если суета и оживление на Рэмсгетском молу поразили Тагсов, едва они сошли с парохода, то еще более оживленная и красочная картина представилась их глазам на следующее утро на взморье. День выдался ясный и солнечный, с моря тянул легкий ветерок. Кругом были те же дамы и мужчины, те же дети, те же няньки,

те же подзорные трубы, те же складные стульчики. Дамы читали романы или занимались рукоделием — вышивали, вязали, плели цепочки для часов; мужчины просматривали газеты и журналы; дети деревянными лопатками копали в песке ямы и напускали туда воду; няньки с младенцами на руках то догоняли убегающую волну, то спасались от новой; порой от берега отчаливала парусная лодка, увозя в море весело тараторящих пассажиров, а спустя некоторое время приставала снова, и те же пассажиры сидели в ней притихшие, со страдальческими лицами.

— Ах ты боже мой! — воскликнула миссис Тагс, когда все семейство уселось на четыре поставленных рядом плетеных кресла, вытянув вперед четыре пары ног, обутых в соответственное количество желтых ботинок, и упомянутые кресла тут же ушли в зыбкий песок на глубину не менее двух с половиной футов.— Ах ты боже мой!

Мистер Симон, понатужившись, сумел извлечь кресла и переставить их на более твердую почву.

— Будь я неладен, если вон те дамы не собрались купаться! — воскликнул мистер Джозеф Тагс в крайнем удивлении.

— Папенька! — вскричала мисс Мари.

— Так ведь правда же, дружочек,— сказал мистер Джозеф Тагс. И в самом деле, четыре молодые дамы, каждая с полотенцем на плече, грациозно вскочили в кабину на колесах; кучер занял свое место, лошадь вошла в воду, кабина сделала поворот, и через минуту четыре всплеска оповестили о том, что купальщицы бросились в волны.

— Ну и ну! — изрек мистер Джозеф Тагс после неловкой паузы. Мистер Симон негромко кашлянул.

— Смотрите, а вон там, кажется, собираются купаться мужчины! — с ужасом воскликнула миссис Тагс.

Три кабины — три лошади — три поворота — три всплеска — и три джентльмена уже резвятся в воде, точно три дельфина.

— Н-ну и ну! — повторил мистер Джозеф Тагс. На этот раз кашлянула мисс Мари, после чего снова наступила пауза. Прервала эту паузу приятная неожиданность.

— Здравствуйте, душечка! Мы вас целое утро ищем! — сказал чей-то голосок над ухом мисс Мари Тагс. Обладательницей голоска оказалась миссис Уотерс.

— Здравствуйте, здравствуйте,— подхватил капитан Уотерс — сама любезность. Последовал задушевнейший обмен приветствиями.

— Белинда, радость моя,— сказал капитан Уотерс, приложив к глазам лорнет и глядя в сторону моря.

— Да, милый? — отозвалась миссис Уотерс.

— Я вижу Гарри Томпсона.

— Где он? — спросила Белинда, также прикладывая лорнет к глазам.

— Вон, купается.

— Ах, верно! Но видит ли он нас?

— Нет, пожалуй, не видит,— сказал капитан.— Черт возьми, вот это забавно!

— Что? — заинтересовалась Белинда.

— И Мэри Голдинг тоже там.

— Не может быть! Где? — Снова лорнет взлетел к глазам.

— Вон она! — сказал капитан, указывая на одну из упомянутых выше молодых дам, чей купальный костюм напоминал своим видом небольших размеров макинтош.

— В самом деле, она и есть! — воскликнула миссис Уотерс.— Любопытно, что мы их обоих здесь встретили.

— Очень любопытно,— с полным хладнокровием подтвердил капитан.

— Вот видите — здесь это считается в порядке вещей,— шепотом сказал мистер Симон Таге отцу.

— Да уж вижу,— шепотом же ответил мистер Джозеф Таге.— Но все-таки это чудно̀.

Мистер Симон молча кивнул в знак согласия.

— Как вы думаете провести сегодня день? — осведомился капитан.— Не позавтракать ли нам в Пегуэлле?

— Я бы с большим удовольствием,— поторопилась ответить миссис Тагс. Что такое Пегуэлл, она понятия не имела, но слово «позавтракать» приятно поразило ее слух.

— А как будем добираться? — спросил капитан.— Идти пешком, пожалуй, жарко.

— Наймем тильбюри,— предложил мистер Джозеф Тагс.

— Тильбюри,— шепотом поправил его мистер Симон.

— Да мы бы и в одной уместились,— возразил вслух мистер Джозеф Тагс, не уразумев смысла поправки.— Но если угодно, можно взять две тильбюри.

— Мне бы так хотелось поехать на ослике,— сказала Белинда.

— Ах, и мне тоже! — подхватила Мари Тагс.

— Ну что ж,— сказал капитан,— мы отправимся в экипаже, а для вас возьмем двух осликов.

Но тут возникло новое затруднение. Капитанша объявила, что неудобно дамам ехать верхом одним. Выход напрашивался сам собой. Может быть, мистер Тагс-младший будет так любезен и согласится сопровождать их?

Мистер Симон Тагс покраснел, растерянно улыбнулся и стал отнекиваться, уверяя, что он плохой наездник. Но его доводов не пожелали слушать. В мгновение ока был подыскан экипаж и наняты три осла, которые по клятвенному заверению их владельца могли «дать сто очков вперед любому коню».

После долгих хлопот, стараний и усилий Белинда Уотерс и Мари Тагс оказались, наконец, в седле, и двое мальчишек стали сзади, приготовившись подгонять ослов.

— Ну, держись! — крикнул один из них.

— Го-го-го! — заорал другой, стоявший за ослом мистера Симона. Осел бросился вперед, унося на себе мистера Симона, ноги которого висели почти до земли, а рядом, позвякивая, болтались стремена.

— Эй-эй! Э-э-э-э! — добросовестно кричал мистер Симон Тагс, невзирая на тряску.

— Не надо галопом! — визжала миссис Уотерс, ехавшая за ним.

— Мой осел хочет свернуть в пивную,— пищала в арьергарде мисс Тагс.

— Го-го-го! — вопили мальчишки; и ослы продолжали бежать без видимого намерения когда-либо остановиться.

Все на свете, однако, имеет конец; и даже ослиные скачки рано или поздно кончаются. Скакун мистера Тагса, обеспокоенный частыми натягиваниями мундштука,

смысл которых был ему совершенно непонятен, вдруг круто осадил у кирпичной стены и выразил свое неудовольствие тем, что стал тереть ногу мистера Тагса о неровную поверхность кирпича. Четвероногое, на котором ехала миссис Уотерс, поддавшись вдруг игривому настроению, ткнулось головой в какую-то изгородь и решительно не пожелало с нею расстаться, а осел мисс Тагс так развеселился при виде этого, что уперся передними ногами в землю и стал брыкать задними, что выходило у него весьма грациозно, но вызывало некоторую тревогу у окружающих.

При столь внезапной остановке, разумеется, не обошлось без некоторой суматохи. Обе дамы принялись испускать душераздирающие вопли; что же касается мистера Симона Тагса, то помимо испытываемой им сильной боли он еще страдал душевно оттого, что должен был оставаться безучастным свидетелем бедственного положения дам, не имея возможности прийти к ним на помощь, поскольку его левая нога была плотно зажата между ослом и стеной. Однако соединенными усилиями обоих мальчишек, которым пришла в голову остроумная мысль накрутить хвост самому непослушному ослу, порядок был восстановлен значительно быстрее, чем можно было ожидать, и кавалькада двинулась дальше.

— Пусть теперь идут шагом,— сказал мистер Симон Тагс.— Не нужно так беспощадно гнать их.

— Как прикажете, сэр,— отвечал мальчишка и тут же подмигнул своему товарищу, как бы желая истолковать слова мистера Симона в том смысле, что в пощаде нуждаются не столько животные, сколько ездоки.

— Какая дивная погода, дорогая моя! — сказала Мари.

— Очаровательная! Восхитительная! — с жаром откликнулась капитанша.— А какой прекрасный здесь вид — не правда ли, мистер Тагс?

— Да, вид прекрасный,— подтвердил мистер Симон, глядя ей прямо в глаза. Белинда потупилась и слегка придержала своего осла. Симон Тагс бессознательно сделал то же самое.

Последовало короткое молчание, лишь однажды прерванное вздохом мистера Симона Тагса.

— Мистер Симон,— сказала вдруг Белинда, понизив голос,— мистер Симон... я принадлежу другому.

Мистер Симон безмолвно признал неопровержимость истины, заключавшейся в этом заявлении.

— Если бы не это...— снова начала Белинда, но не договорила.

— Что, что? — в волнении подхватил мистер Симон.— Не мучьте меня. Что вы хотели сказать?

— Если бы не это,— продолжала капитанша,— если бы мне в былые годы суждено было встретить благородного юношу с любящим сердцем — с чуткой душой — способного понять и оценить чувства, которые...

— Боже! Что я слышу! — вскричал мистер Симон Тагс.— Возможно ли! Смею ли я поверить моим... Ну, ты! (Последнее прозаическое восклицание относилось к ослу, который, свесив голову между передних ног, разглядывал свои копыта с крайне обеспокоенным видом.)

«Го-го-го!» — завопили сзади мальчишки. «Ну, ты!» — снова прикрикнул мистер Симон Тагс. «Го-го-го!» — усердствовали мальчишки; и показался ли ослу обидным повелительный тон мистера Тагса, или его напугал топот сапог того, кто олицетворял сейчас хозяйскую власть, или, наконец, он воспылал благородным стремлением обогнать других ослов,— но достоверно одно: лишь только очередное «го-го-го!» достигло его слуха, он понесся вперед таким аллюром, что у мистера Симона тут же сорвало с головы шляпу, и в мгновение ока доставил своего всадника к гостинице Пегуэлл-Бэй, где тому даже не пришлось тратить усилий, чтобы спешиться, так как он с ходу вылетел из седла головой вперед прямо в дверь.

Велика была растерянность мистера Симона Тагса, когда с помощью двух служителей он снова обрел вертикальное положение; не на шутку испугалась за сына миссис Тагс, и мучительной тревогой терзалась капитанша Уотерс. Вскоре, однако, выяснилось, что все кончилось почти одинаково благополучно для него и для осла — он спасся, а осел пасся,— и больше ничто не омрачало праздника. Мистер и миссис Тагс вкупе с капитаном уже распорядились, чтобы стол был накрыт в садике за гостиницей; туда и подали завтрак — большие креветки на маленьких тарелочках, крошечные порции масла, хлеб с хру-

стящей корочкой и эль в бутылках. На небе не было ни облачка; садовую лужайку украшали цветы в горшках; внизу под обрывом плескалось море, раскинувшееся вдаль насколько хватал глаз, а в море там и сям белели паруса, похожие издали на аккуратно подрубленные батистовые платочки. Креветки были отменны, эль еще лучше, а любезность капитана просто обворожительна. Капитанше после завтрака пришла охота резвиться — она весело бегала по лужайке среди цветочных горшков, гоняясь сперва за капитаном, потом за мистером Симоном Тагсом, потом за мисс Тагс, и при этом громко смеялась. Но капитан сказал, что это ничего; ведь никому здесь не известно, кто они такие. Ну, примут их за обыкновенных горожан, только и всего. Мистер Джозеф Тагс охотно с этим согласился. Затем все общество спустилось по деревянной лестнице вниз, к морю, и там они забавлялись зрелищем крабов, угрей и разных водорослей до тех пор, пока не спохватились, что давно уже пора возвращаться в Рэмсгет; и когда поднимались по той же лестнице вверх, то мистер Симон Тагс шел последним, а миссис Уотерс предпоследней; и мистер Симон Тагс мог убедиться в том, что ножка и щиколотка у миссис Уотерс еще бесподобней, чем он думал.

Ехать на осле по направлению к его стойлу — совсем не то, что ехать по направлению от стойла. В одном случае требуются незаурядная находчивость и присутствие духа, чтобы вовремя предупреждать неожиданные взлеты изменчивой ослиной фантазии, в другом же — ваше дело только сидеть в седле, слепо доверившись животному. Именно такую систему избрал мистер Симон Тагс на обратном пути, и его нервы на этот раз совершенно не пострадали, так что когда уговаривались встретиться вечером всей компанией в курзале, это сразу же дошло до его понимания.

Курзал был полон народу. Во всех залах играли, танцевали, любезничали. Тут были те же дамы и господа, что утром толпились на взморье, а вчера днем — на молу. Были барышни в палевых платьях, с черными бархатками на запястьях, продававшие безделушки в киосках и ведавшие лотереей. Были дочки на выданье и мамаши, торопившиеся пристроить дочек. Были красавцы в злодей-

ских усах и красавцы в поэтических бакенбардах. Была миссис Тагс в желтом, мисс Тагс в небесно-голубом и миссис Уотерс в розовом. Был капитан Уотерс в венгерке со шнурами, мистер Симон Тагс в бальных туфлях и золотистом жилете, а также мистер Джозеф Тагс в синем сюртуке и плоеной манишке.

— Номер третий, восьмой и одиннадцатый! — выкрикнула одна из барышень в палевом.

— Номер третий, восьмой и одиннадцатый! — как эхо, повторила другая, облаченная в тот же мундир.

— Номер третий взят,— сказала первая барышня.— Номер восьмой и одиннадцатый.

— Номер восьмой и одиннадцатый,— повторила вторая.

— Номер восьмой взят, Мэгги,— сказала первая барышня.

— Номер одиннадцатый! — объявила вторая.

— Ну вот, теперь все номера разобраны,— сказала первая.

Обладательницы номера третьего, восьмого и одиннадцатого, а также всех прочих номеров столпились вокруг стола.

— Не угодно ли вам бросить, сударыня? — сказала председательница Олимпа, протягивая стаканчик с игральными костями старшей из четырех дочерей стоявшей тут же дородной дамы.

Зрители замерли в ожидании.

— Бросай же, Джейн, душенька,— сказала дородная дама.

Умилительная сцена замешательства — стыдливый румянец, прикрытый батистовым платочком,— быстрый лепет на ушко младшей сестре.

— Амелия, душенька, брось ты за сестру,— приказала дородная дама и тут же, оборотясь к своему соседу, живой рекламе Роулэндовской Помады для Волос, заметила: — Уж очень она робка и застенчива, моя Джейн, но я, право, не могу бранить ее за это. Скромность и невинность украшают девицу, и мне даже порой хотелось бы, чтобы Амелия больше походила на сестру.

Джентльмен с бакенбардами шепотом выразил свое одобрение.

— Ну что же ты, душенька! — сказала дородная дама.

Мисс Амелия взяла стаканчик и бросила — сначала за сестру, потом за себя. Выпало первый раз восемь, второй — десять.

— Не правда ли, она мила? — шепнула дородная дама своему соседу с другой стороны, довольно тощему юнцу.

— Прелестна!

— А сколько в ней жизни! Признаться, тут я разделяю ваш вкус. Меня пленяет эта бойкость, эта жизнерадостность. Ах! (Вздох.) Как бы мне хотелось, чтобы бедняжка Джейн была хоть немного похожа на Амелию!

Молодой человек кивнул головой в знак того, что вполне понимает чувства дородной дамы; он, так же как и джентльмен с бакенбардами, был убежден, что нашел свой идеал.

— Кто это? — спросил мистер Симон Тагс у миссис Уотерс, указывая на приземистую особу в синем бархатном токе с перьями, которая появилась на подмостках, сопровождаемая толстым мужчиной в узких черных панталонах.

— Миссис Типпин, артистка лондонских театров,— ответила Белинда, справившись с программой концерта.

Высокоталантливая Типпин удостоила поклоном публику, встретившую ее рукоплесканиями и криками «браво!», а затем, подойдя к фортепьяно, исполнила популярную песенку «Скажи хоть слово» под аккомпанемент мистера Типпина; после чего мистер Типпин исполнил комические куплеты под аккомпанемент миссис Типпин; но шумное одобрение слушателей перешло в настоящую бурю восторга после вариаций, которые исполнила на гитаре мисс Типпин под аккомпанемент мистера Типпина-младшего.

Так прошел этот вечер; и так проводили все свои дни и вечера Тагсы и Уотерсы в течение целых шести недель. Утром взморье — в полдень ослы — после полудня мол — вечером курзал; и всюду одни и те же лица.

Ровно через шесть недель выдался прекрасный вечер; луна ярко светила над спокойным морем, которое тихо плескалось у подножия высоких, мрачных утесов — так тихо, что, должно быть, убаюкивало взрослых рыб, не

потревожив уже спящих рыбенышей,— и в свете луны пытливый наблюдатель (если бы нашелся такой) мог бы разглядеть две фигуры, неподвижно сидевшие на одной из тех деревянных скамеек, что расставлены вдоль обрыва. Они сидели там уже два часа, и луна за это время успела пройти полнеба, а они так и не пошевелились ни разу. Поредела и рассеялась толпа гуляющих, замерла вдали песня бродячих музыкантов; один за другим загорались в окнах домов огни; один за другим прошли мимо солдаты пограничной охраны *, направляясь на свои уединенные посты,— а они всё сидели, не двигаясь с места. Густая тень скрывала их почти целиком, но в лунном свете отчетливо виден был пюсовый башмачок и блестел атласный галстук. Мистер Симон Тагс и миссис Уотерс — вот кто сидел на этой скамье. Они не разговаривали, только молча глядели на море.

— Завтра должен вернуться Уолтер,— прервав, наконец, тишину, грустно сказала капитанша.

Со вздохом, похожим на порыв ветра в разросшихся кустах крыжовника, мистер Симон Тагс отозвался:

— Увы, да.

— О Симон! — продолжала Белинда.— Эта неделя безмятежного счастья, целомудренных радостей нашей платонической любви — это слишком много для меня.

Симон чуть было не сказал, что для него это слишком мало, но вовремя удержался и лишь невнятно пробормотал что-то в ответ.

— И подумать только,— воскликнула Белинда,— подумать только, что даже от этого невинного проблеска счастья мы теперь должны отказаться навеки!

— О, не говорите так, Белинда,— воскликнул впечатлительный Симон, и две крупные слезы, догоняя одна другую, скатились по его бледному лицу, благо оно было такое длинное, что для гонки вполне хватило места.— Не говорите «навеки».

— Так нужно,— отвечала Белинда.

— Но почему? — взмолился Симон.— Почему? Ведь наши платонические отношения до того безгрешны, что даже ваш муж, я уверен, не усмотрит в них ничего дурного.

— Мой муж! — вскричала Белинда.— Вы его плохо

знаете. Он ревнив и мстителен; в своей ревности он доходит до бешенства, а в жажде мщения не знает пощады! Вы хотите, чтобы он убил вас у меня на глазах?

Срывающимся от волнения голосом мистер Симон Тагс признался в своем нежелании подвергнуться упомянутой процедуре на глазах у кого бы то ни было.

— Тогда мы должны расстаться,— сказала капитанша Уотерс.— Пусть этот вечер будет последним. А теперь пора домой; уже поздно.

Мистер Симон Тагс уныло помог ей встать и проводил ее до дому. Он медлил с прощанием — его рука ощутила платоническое пожатие ее руки.

— Доброй ночи! — сказал он колеблясь.

— Доброй ночи,— всхлипнула Белинда. Мистер Тагс все медлил.

— А вы разве не войдете, сэр? — спросила служанка, отворившая дверь. Мистер Тагс колебался. Ах, эти колебания! Но все же он вошел.

— Доброй ночи! — снова сказал мистер Симон Тагс, когда они очутились в гостиной.

— Доброй ночи! — ответила Белинда.— И если когда-нибудь в жизни мне... Тс! — Она смолкла и прислушалась, вперив остановившийся от ужаса взгляд в посеревшую физиономию мистера Симона Тагса. Кто-то стучал в парадную дверь.

— Мой муж! — прошептала Белинда: внизу послышался голос капитана.

— И мои родные! — прибавил Симон: голоса Тагсов уже разносились по лестнице.

— Прячьтесь! Прячьтесь! — сдавленным голосом воскликнула миссис Уотерс, указывая на окно, плотно задернутое кретоновыми занавесями.

— Но я ничего дурного не сделал! — снова заколебался мистер Симон.

— Прячьтесь! — вне себя настаивала Белинда.— Прячьтесь, или вы погибли.— Последний довод оказался неотразимым. Устрашенный Симон юркнул за занавеси с пантомимической поспешностью.

Те же, капитан, Джозеф Тагс, миссис Тагс и Мари.

— Познакомься, дорогая,— сказал капитан.— Лейтенант Гроб.

Мистер Симон услышал топанье подбитых железом сапог и хриплый голос, благодаривший за оказанную честь. Потом лейтенант уселся за стол, громыхнув по полу саблей. У мистера Симона от страха мутился рассудок.

— Где у нас бренди, дорогая? — спросил капитан.

Вот это положение! Они, чего доброго, вздумают пировать тут всю ночь, а мистер Симон Тагс должен сидеть за занавесью, боясь перевести дух.

— Сигару, Гроб! — предложил капитан.

Надо сказать, что мистер Симон Тагс совершенно не выносил табачного дыма; если он закуривал сам, это вынуждало его немедленно искать уединения; если при нем курили другие, это вызывало у него сильнейший кашель. Что до капитана Уотерса, то он был завзятым курильщиком; таким же оказался и его друг лейтенант; а Джозеф Тагс не отставал от них обоих. Гостиная была невелика, дверь заперта, сигары крепки; клубы дыма вскоре заполнили комнату и мало-помалу стали проникать сквозь кретон занавесей. Мистер Симон Тагс зажимал нос, рот, старался не дышать, но ничто не помогло: кашель все-таки вырвался.

— Ах, господи! — сказал капитан.— Прошу прощения, мисс Тагс. Вы не любите, когда курят?

— Напротив, очень люблю,— сказала Мари.

— Но дым раздражает вам горло?

— Вовсе нет.

— Однако вы только что закашлялись.

— Что вы, капитан Уотерс? И не думала даже.

— Но я слышал кашель,— настаивал капитан.

— И я тоже,— сказал Гроб. Но никто не признавался.

— Почудилось,— решил капитан.

— Должно быть,— поддакнул Гроб.

Еще сигары — еще больше дыма — снова кашель: сдавленный, но слышный.

— Что за чертовщина! — сказал капитан, озираясь.

— Чудеса! — воскликнул ничего не подозревающий мистер Джозеф Тагс.

Лейтенант Гроб посмотрел на всех по очереди с таинственным видом; затем отложил свою сигару; затем на



цыпочках сделал несколько шагов к окну и, оглянувшись, большим пальцем через плечо указал на занавесь.

— Гроб! — крикнул капитан, вскочив из-за стола.— Что это значит?

Вместо ответа лейтенант отдернул занавесь — и перед присутствующими предстал мистер Симон Тагс, помертвевший от страха и посиневший от сдерживаемого кашля.

— Что я вижу! — в бешенстве закричал капитан.— Гроб! Вашу саблю!

— Симон! — завопили Тагсы.

— Пощады! — простонала Белинда.

— Платонически! — прохрипел Симон.

— Саблю мне! — взревел капитан.— Пустите, Гроб,— негодяй заплатит жизнью.

— Караул, убивают! — завизжали Тагсы.

— Держите его крепче, сэр! — еле слышно пролепетал Симон.

— Воды! — вскричал Джозеф Тагс, после чего мистер Симон Тагс и все дамы попадали в обморок, образуя живописную группу.

Мы бы охотно скрыли от читателя плачевный исход этого шестинедельного знакомства. Однако докучливое правило, подкрепленное обычаем, требует, чтобы рассказ имел не только начало, но и конец; так что тут уж ничего не поделаешь. Лейтенант Гроб явился с поручением от имени своего друга — капитан Уотерс требовал удовлетворения. Мистер Джозеф Тагс выразил желание уладить дело — лейтенант Гроб изъявил готовность вступить в переговоры. Когда мистер Симон Тагс оправился после нервного потрясения, явившегося следствием любовной неудачи и пережитых волнений, он узнал, что его семья лишилась весьма приятного знакомства и что состояние мистера Джозефа Тагса уменьшилось на полторы тысячи фунтов, а состояние капитана Уотерса увеличилось ровно на такую же сумму. Ценою этих денег должна была быть куплена тайна, но каким-то образом история все же вышла наружу; и досужие языки утверждают, что не часто компании мошенников попадается такая легкая добыча, какою для капитана Уотерса, его супруги и лейтенанта Гроба послужило семейство Тагс в Рэмсгете.

ГЛАВА V

Горацио Спаркинс

— В самом деле, мой друг, прошлый раз на бале он очень ухаживал за Терезой,— сказала миссис Молдертон, обращаясь к своему супругу, который после утомительного дня в Сити отдыхал перед камином, накинув на голову шелковый платок, и потягивал портвейн, положив ноги на каминную решетку,— очень ухаживал; и я опять-таки повторяю: следует ему оказывать всяческое поощрение. Решительно надо бы пригласить его к нам на обед.

— Кого это? — вопросил мистер Молдертон.

— Ну ты же знаешь, кого я имею в виду, мой друг,— того молодого человека с черными бачками и в белом галстуке, который недавно появился в собрании, и все девушки только о нем и говорят. Молодого... господи! Ну как же его зовут? Марианна, как его зовут? — продолжала миссис Молдертон, обращаясь к младшей дочери, которая вязала кошелек, стараясь при этом иметь томный вид.

— Мистер Горацио Спаркинс, мама,— со вздохом ответила мисс Марианна.

— Ах да, совершенно верно, Горацио Спаркинс,— подтвердила миссис Молдертон.— Решительно самый благовоспитанный молодой человек, какого я только видела. И, конечно, в том прекрасно сшитом фраке, который на нем тогда был надет, он походил на... на...

— На принца Леопольда, мама,— столько благородства, столько чувства! — восторженным тоном подсказала Марианна.

— Не забывай, мой друг,— продолжала миссис Молдертон,— что Терезе уже двадцать восемь лет и, право, давно следовало бы что-то предпринять.

Мисс Тереза Молдертон была девушка очень маленького роста, довольно пухленькая, с румяными щечками, добродушного нрава, однако до сих пор ни с кем не помолвленная, хотя, надо сказать по совести, отнюдь не потому, что она мало старалась. Напрасно она кокетничала десять лет подряд; напрасно супруги Молдертон прилежно заводили обширные знакомства среди молодых холостя-

ков Кемберуэла и даже Уондсворта и Брикстона, не говоря уже о тех, которые заезжали к ним из Лондона. Мисс Молдертон была известна не меньше, чем лев на крыше Нортамберленд-Хауса, и шансов на замужество у нее было ровно столько же.

— Я уверена, что он тебе понравится,— продолжала миссис Молдертон,— он такой воспитанный!

— Такой умный! — сказала мисс Марианна.

— А как говорит! — прибавила мисс Тереза.

— Он очень тебя уважает, мой друг,— сообщила мужу миссис Молдертон. Мистер Молдертон кашлянул и поглядел на огонь.

— Да, он очень дорожит папиным обществом,— сказала мисс Марианна.

— Ну еще бы,— отозвалась мисс Тереза.

— Право, он сам мне в этом признался по секрету,— заметила миссис Молдертон.

— Ну что ж,— отвечал мистер Молдертон, до некоторой степени польщенный,— если я его увижу завтра в собрании, то, может, и приглашу к нам. Душа моя, надеюсь, ему известно, что мы живем в Кемберуэле?

— Разумеется, и что ты держишь лошадь и экипаж — тоже.

— Посмотрим,— сказал мистер Молдертон, собираясь задремать,— посмотрим.

Мистер Молдертон был из тех людей, чей умственный горизонт ограничен Ллойдом, Домом Ост-индской компании, биржей и Английским банком. Несколько удачных спекуляций вознесли его из ничтожества и сравнительной бедности до положения богача. Как часто бывает в таких случаях, и он сам и его семья вместе с благосостоянием приобрели чрезвычайно возвышенный образ мыслей: они стали перенимать моды, вкусы и прочие глупости у высших классов и возымели самое решительное и весьма подобающее отвращение ко всему, что могло почитаться низменным. Мистер Молдертон был гостеприимен из тщеславия, ограничен по невежеству и полон предрассудков из чванства. Самомнение и хвастовство заставляли его держать отличный стол: ради выгоды и любви к благам мира сего у него бывало много гостей. Он любил принимать у себя образованных людей или таких, которых сам

считал образованными, потому что про это было лестно рассказывать; зато терпеть не мог таких, которых называл «умниками». Вероятно, он питал к ним неприязнь из сочувствия к своим сыновьям, ибо ни тот, ни другой не давали родителю ни малейшего повода опасаться за них в этом отношении. Все семейство стремилось заводить знакомства и связи не в своем кругу, а среди вышестоящих; и одним из неизбежных последствий этого стремления, соединенного с полным незнанием света за пределами своего узкого мирка, было то, что всякий, кто только претендовал на знакомство с высшим светом, мог запросто обедать у них в Оук-Лодж, Кемберуэл.

Появление мистера Горацио Спаркинса в собрании вызвало немало толков и расспросов среди завсегдатаев. Кто бы это был? Он, видимо, очень сдержан и, видимо, полон грусти. Может быть, это духовное лицо? Он слишком хорошо танцует. Адвокат? Он сам сказал, что нет. Слог у него самый изысканный, и говорит он очень много. Может быть, это знатный иностранец, приехавший в Англию для того, чтобы описывать страну, ее обычаи и нравы; а на публичных балах и обедах он бывает для того, чтобы ближе познакомиться с высшим обществом, тонкостями этикета и английской воспитанностью? Нет, он говорит без иностранного акцента. Может быть, он медик, сотрудник журналов, автор модных романов или художник? Нет, и эти предположения были опровергнуты вескими доводами. «В таком случае,— решили все,— он, должно быть, какое-нибудь важное лицо».— «Скорей всего, так и есть,— рассуждал про себя мистер Молдертон,— он заметил, что мы лучше других, оттого и оказывает нам столько внимания».

На следующий вечер после того разговора, который мы только что передали, были танцы в собрании. Экипаж было велено подать к подъезду Оук-Лодж ровно в девять. Сестры Молдертон были одеты в небесно-голубой атлас, с разбросанными по нему искусственными цветами, а миссис Молдертон (коротенькая, толстая женщина), одетая точно так же, была похожа на свою старшую дочь, помноженную на два. Мистер Фредерик Молдертон, старший сын, в черном фраке, являл собою идеал франтоватого официанта, а мистер Томас Молдертон, младший

сын, в жестком белом галстуке, синем фраке с блестящими пуговицами и красной ленточкой для часов сильно смахивал на интересного, но неосторожного молодого человека по имени Джордж Барнуэл *. Все они твердо решили поближе познакомиться с мистером Горацио Спаркинсом. Мисс Тереза, понятно, намеревалась быть любезной и милой, как это и подобает девице двадцати восьми лет, ищущей жениха. Миссис Молдертон готовила улыбки и комплименты. Мисс Марианна хотела попросить, чтобы он написал ей стихи в альбом. Мистер Молдертон собирался осчастливить знатного незнакомца, пригласив его на обед. Том намерен был исследовать глубину его познаний касательно сигар и нюхательного табака. Даже сам мистер Фредерик Молдертон, семейный авторитет по части вкуса, туалета и всяких светских новшеств, который имел отдельные апартаменты в Лондоне и свободный доступ в театр Ковент-Гарден, был одет всегда по моде последнего месяца, два раза в неделю во время сезона греб на Темзе и имел друга, который когда-то знал одного джентльмена, жившего прежде в Олбени *,— даже он решил, что мистер Горацио Спаркинс, должно быть, отличный малый, так что он, Фредерик, сделает ему честь и пригласит его сыграть партию на бильярде.

Первым, на кого обратились полные надежды взгляды встревоженного семейства, был интересный Горацио, сидевший на диване в задумчивой позе, со взором, устремленным на потолок, и волосами, зачесанными со лба кверху.

— Вот он, мой друг,— шепнула миссис Молдертон мистеру Молдертону.

— Как похож на лорда Байрона! — вполголоса воскликнула мисс Тереза.

— Или на Монтгомери *! — прошептала мисс Марианна.

— Или на портрет капитана Кука! — заметил Том.

— Том, не дури! — остановил его отец, который постоянно одергивал его, вероятно опасаясь,— впрочем, совершенно напрасно,— как бы он не попал в «умники».

Пока все семейство пересекало залу, элегантный Спаркинс с большим успехом принимал самые выигрышные позы. Затем он вскочил на ноги с очень естественным выражением восторга и удивления, приветствовал весьма

сердечно миссис Молдертон, поклонился девицам с очаровательной учтивостью, пожал руку мистеру Молдертону почтительно, даже чуть ли не благоговейно, и ответил на поклон обоих братьев так любезно и так покровительственно, что они совершенно убедились в том, что это, должно быть, очень важное лицо и в то же время очень обходительное.

— Мисс Молдертон,— сказал Горацио с низким поклоном после обычных приветствий,— могу ли я надеяться, что вы удостоите меня удовольствия и чести...

— Я, кажется, еще не на все танцы приглашена,— сказала мисс Тереза, неудачно прикидываясь равнодушной,— но, право, так много знакомых...

Горацио очень изящно изобразил разочарование.

— Буду очень рада,— жеманно пролепетала, наконец, интересная Тереза. Физиономия Горацио сразу засияла, словно старая шляпа под летним дождем.

— Очень вежливый молодой человек, без сомнения,— сказал польщенный мистер Молдертон, после того как раболепный Спаркинс со своей дамой стали в пару для объявленной кадрили.

— Он держится безупречно,— сказал Фредерик.

— Да, отличный малый,— вставил Том, который никогда не упускал случая попасть пальцем в небо,— говорит, как аукционист.

— Том,— сурово сказал ему отец,— я, кажется, уже просил тебя не дурить.

Том нахохлился, точно петух в дождливое утро.

— Как прелестно,— сказал интересный Горацио своей даме, прогуливаясь по зале в перерыве между фигурами кадрили,— как прелестно, как освежительно удалиться от грозовых туч, от превратностей и тревог жизни хотя бы на краткое, быстролетное мгновение и провести это мгновение, сколь оно ни хрупко и преходяще, в благословенном обществе той особы, чье неодобрение было бы смертью, холодность — безумием, измена — гибелью, чье постоянство было бы счастьем, чья любовь была бы высшей и лучшей наградой, какую бог может послать мужчине.

«Сколько чувства! сколько души!» — подумала мисс Тереза, повисая всей своей тяжестью на руке кавалера.

— Но довольно... довольно! — продолжал элегантный

Спаркинс трагическим тоном.— Что я сказал? что мне до... до подобного рода чувств? Мисс Молдертон,— тут он остановился,— могу ли я надеяться, что вы примете...

— Право, мистер Спаркинс,— отвечала восхищенная Тереза, краснея от приятнейшего волнения,— вам следует обратиться к папаше. Без его позволения я никогда не решусь...

— Но он, верно, не будет против...

— Ах, нет! Право же, право, вы его совсем не знаете! — прервала Спаркинса мисс Тереза, отлично зная, что опасаться нечего,— ей только хотелось, чтобы их беседа как можно больше походила на сцену из романа.

— Не может же он быть против того, чтобы я предложил вам стакан глинтвейна,— с удивлением возразил обольстительный Спаркинс.

«И это все? — подумала разочарованная Тереза.— Сколько шума из пустяков!»

— Мне доставит величайшее удовольствие, сэр, если вы отобедаете у нас в Оук-Лодж, Кемберуэл, в пять часов в будущее воскресенье, при условии, что у вас нет в виду ничего лучшего,— сказал мистер Молдертон в конце вечера, когда он и оба его сына стояли, беседуя с Горацио Спаркинсом.

Горацио поклонился в знак признательности и принял это лестное приглашение.

— Должен сознаться,— заметил отец семейства, протягивая новому знакомому свою табакерку,— что я не такой уж охотник до этих собраний: гораздо лучше домашний уют, я бы даже сказал — роскошь Оук-Лодж. Для пожилого человека здесь мало привлекательного.

— А в конце концов, что такое человек? — вопросил философ Спаркинс.— Что такое человек, спрошу я вас?

— Да, совершенно верно,— отвечал мистер Молдертон,— совершенно верно.

— Нам известно, что мы живем и дышим,— продолжал Горацио,— что у нас есть потребности и желания, страсти и склонности...

— Разумеется,— с глубокомысленным видом произнес Фредерик Молдертон.

— Я говорю, нам известно, что мы существуем,— повторил Горацио, возвышая голос,— но это и все; здесь

предел нашего познания, вершина наших постижений; к этому мы приходим в конце концов. Что еще нам известно?

— Ничего,— отвечал Фредерик: он, как никто другой, мог ручаться за себя в этом отношении.

Том отважился было сказать что-то невпопад, но, к счастью для своей репутации, вовремя поймал грозный взгляд папаши и поджал хвост, словно щенок, уличенный в воровстве.

— Честное слово,— сказал мистер Молдертон-старший, когда они возвращались домой в экипаже,— этот мистер Спаркинс замечательный молодой человек. Такие удивительные познания! такие необыкновенные сведения! и такая красноречивая манера изъясняться!

— Я думаю, это, должно быть, какое-нибудь инкогнито,— заметила мисс Марианна.— Как очаровательно и романтично!

— Говорит он очень громко и складно,— несмело сказал Том,— только мне не совсем понятно, о чем речь.

— Том, я уже надежду потерял, что ты хоть когда-нибудь что-нибудь будешь понимать,— сказал его отец, который, без сомнения, очень много вынес из беседы с мистером Спаркинсом.

— Мне кажется, Том,— сказала мисс Тереза,— что ты нынче вечером вел себя просто глупо.

— Ну конечно! — воскликнули все разом, и несчастный Том сжался в комок и забился в угол. Этим же вечером мистер и миссис Молдертон имели долгую беседу относительно устройства судьбы своей дочери и ее видов на будущее. Мисс Тереза отошла ко сну, терзаясь сомнениями, следует ли ей поощрять визиты теперешних своих подруг, в случае ежели она выйдет за титулованную особу; и всю ночь напролет ей снились переодетые вельможи, многолюдные рауты, страусовые перья, свадебные банты и Горацио Спаркинс.

В воскресенье утром много было высказано предположений насчет того, каким образом доберется до них долгожданный Горацио Спаркинс. Держит ли он выезд? возможно ли, что он приедет верхом? или, быть может, снизойдет до дилижанса? Эти и другие соображения того же

рода и не меньшей важности поглощали внимание миссис Молдертон и ее дочерей все утро после церкви.

— Честное слово, душа моя, такая досада, что этот твой вульгарный братец напросился нынче на обед,— сказал мистер Молдертон жене.— Я нарочно поостерегся и не пригласил никого, кроме Флемуэла, именно из-за того, что у нас будет нынче мистер Спаркинс. А тут, только представь себе: твой братец, какой-то торгаш — просто немыслимо! Я не потерплю, чтоб он толковал при новом госте о своей лавочке,— нет, ни за что на свете! Если б у него хватило здравого смысла скрывать, что он позорит всю семью,— это бы еще куда ни шло; так нет же, он до того любит свое гнусное дело, что непременно сообщает всем и каждому, кто он такой.

Мистер Джейкоб Бартон, о котором шла речь, был крупный бакалейщик, до такой степени вульгарный и до того нечувствительный ко всяким деликатностям, что он и вправду ничуть не стеснялся своего дела: он на нем деньги нажил, и пускай хоть все об этом знают, ему наплевать.

— А! Флемуэл, дорогой мой, как поживаете? — воскликнул мистер Молдертон, когда в комнату вошел маленький суетливый человечек в зеленых очках.— Вы получили мою записку?

— Да, получил, поэтому я и приехал.

— Не знаете ли вы этого мистера Спаркинса, хотя бы по фамилии? Вы ведь всех знаете.

Мистер Флемуэл был один из тех господ, обладающих самыми обширными сведениями, каких иногда можно встретить в обществе и которые кичатся тем, что всех знают, на самом же деле не знают ровно никого. В доме Молдертона, где любые анекдоты о великих мира сего выслушивались с жадностью, он был, что называется, любимчиком; и, отлично понимая, с кем имеет дело, он давал волю своей страстишке и, не зная удержу, хвастался знакомством со всеми значительными людьми. У него была довольно оригинальная манера врать как бы в скобках, с видом величайшей скромности, будто опасаясь, что его сочтут хвастуном.

— Да нет, под этой фамилией я его не знаю,— отвечал Флемуэл, понизив голос и с самым многозначитель-

ным выражением.— Не сомневаюсь, однако, что я его знаю. Он высокого роста?

— Нет, среднего,— сказала мисс Тереза.

— Волосы черные? — наудачу осведомился Флемуэл.

— Да,— с готовностью подтвердила мисс Тереза.

— Нос довольно короткий?

— Не-ет,— отвечала огорченная Тереза,— нос у него римский.

— Я и сказал, римский нос, не так ли? — вопросил Флемуэл.— Он хорошо одевается?

— О, конечно!

— И прекрасно держится в обществе?

— О да! — отвечало все семейство хором.— Вы его, должно быть, знаете.

— Да, я так и думал, что вы его должны знать, если он значительное лицо,— торжествующе воскликнул мистер Молдертон.— Как, по-вашему, кто он такой?

— Судя по описанию,— в раздумье произнес Флемуэл, понизив голос почти до шепота,— он очень похож на виконта Огастеса Фиц-Эдварда Фиц-Джона Фиц-Осборна. Высокоталантливый молодой человек и при этом большой оригинал. Весьма вероятно, что он временно переменил фамилию для какой-нибудь цели.

Сердце Терезы сильно забилось. Неужели это в самом деле виконт Огастес Фиц-Эдвард Фиц-Джон Фиц-Осборн? Какое имя, если его изящно отпечатать на двух глазированных карточках, соединенных белой атласной лентой! «Виконтесса Фиц-Эдвард Фиц-Джон Фиц-Осборн!» Головокружительная мысль!

— Без пяти минут пять,— сказал мистер Молдертон, взглянув на свои часы,— надеюсь, он нас не обманет.

— Вот он! — воскликнула мисс Тереза, когда послышался громкий стук в парадную дверь. Все постарались принять такой вид,— как это обычно делается, когда гостя ждут с особенным нетерпением,— будто они даже и не подозревали о его приходе.

Дверь в комнату отворилась. «Мистер Бартон!» — объявил слуга.

— Черт бы его взял! — пробормотал Молдертон.— А! Дорогой мой, как поживаете? Что новенького?

— Да ничего нет,— отвечал бакалейщик привычно

грубоватым тоном.— Ровно ничего особенного. Ничего такого не слыхал. Здравствуйте, мальчики и девочки! Мистер Флемуэл, очень рад вас видеть, сэр.

— А вот и мистер Спаркинс,— заметил Том, глядевший в окно,— да еще на какой лошади!

И действительно, Горацио Спаркинс на крупной вороной лошади выделывал такие курбеты и пируэты, словно работал наездником в цирке Астли. После долгого отпускания и натягивания поводьев под аккомпанемент храпенья, фырканья и стука копыт лошадь согласилась остановиться ярдах в ста от калитки, где Горацио спешился, доверив животное заботам молдертоновского конюха. Церемония представления была проделана по всей форме. Мистер Флемуэл глядел на Горацио сквозь зеленые очки с таинственным и значительным видом, а галантный Горацио глядел на Терезу так выразительно, что и сказать невозможно.

— Это и есть виконт Огастес, как его там? — шепотом спросила миссис Молдертон Флемуэла, который вел ее в столовую.

— Н-нет, то есть не совсем так,— отвечал этот великий авторитет,— не совсем так.

— Кто же он тогда?

— Тс-с! — произнес Флемуэл со значительным видом, говорившим, что он отлично знает, но никак не может открыть эту важную тайну по соображениям государственного порядка. А может, это кто-нибудь из министров знакомится таким образом с умонастроением народа?

— Мистер Спаркинс,— вне себя от радости сказала миссис Молдертон,— сядьте, пожалуйста, между дамами. Джон, поставьте стул для гостя между мисс Терезой и мисс Марианной.— Эти ее слова относились к слуге, который обыкновенно работал то за конюха, то за садовника; но так как надо было произвести на Спаркинса впечатление, то его заставили надеть белый галстук и башмаки, причесали и пригладили, чтобы он мог сойти за второго лакея.

Обед был превосходный, Горацио усиленно ухаживал за мисс Терезой, и все были настроены как нельзя лучше, кроме мистера Молдертона, который, зная наклонности своего шурина, терпел невыносимые мучения того

рода, какие, если верить газетам, испытывают все живущие по соседству с кабаком, когда сиделец вешается на сеновале, что «гораздо легче вообразить себе, нежели описать».

— Флемуэл, давно ли вы виделись с вашим другом, сэром Томасом Нолендом? — спросил мистер Молдертон, искоса поглядывая на Горацио, чтобы проверить, какое впечатление произведет имя этого великого человека.

— Да нет, не так давно. А вот лорда Гоблтона я видел третьего дня.

— Вот как! Надеюсь, его милость в добром здоровье? — спросил Молдертон с живейшим участием. Едва ли нужно говорить, что до этой минуты он и не подозревал о существовании такой особы.

— О да, он здоров, вполне здоров. Отличный человек. Я его встретил в Сити и долго с ним разговаривал. Да, я с ним довольно близко знаком. Однако мне не удалось поговорить с ним как следует, потому что я торопился к одному банкиру — очень богатый человек и член парламента, с ним я тоже знаком довольно близко, можно даже сказать, очень близко.

— Знаю, о ком вы говорите,— с важностью изрек Молдертон, на самом деле зная на этот счет не больше самого Флемуэла.— Дело у него солидное.

Этим была затронута опасная тема.

— Кстати о деле,— вмешался мистер Бартон, сидевший наискосок от хозяина.— Один джентльмен, которого вы, Молдертон, очень хорошо знали еще до того, как вам удалось провести ту первую спекуляцию, на днях зашел к нам в лавку и...

— Бартон, положите мне, пожалуйста, одну картофелину,— прервал его несчастный хозяин дома, надеясь удушить рассказ в самом зародыше.

— Пожалуйста,— отвечал бакалейщик, нисколько не подозревая об умысле зятя,— и он мне сказал напрямик...

— Рассыпчатую, будьте добры,— опять прервал его Молдертон, дрожа за конец анекдота и опасаясь слова «лавка».

— Вот он и говорит, знаете ли,— продолжал преступник, передав картофелину,— и говорит: как идет ваше

дело? А я ему говорю, так, шутя, вы же меня знаете, говорю ему: я своим делом не гнушаюсь, думаю, что и дело меня гнушаться не будет.

— Мистер Спаркинс,— начал хозяин, тщетно пытаясь скрыть тревогу,— стаканчик вина?

— С величайшим удовольствием, сэр.

— За ваше здоровье.

— Благодарю вас.

— Мы говорили в тот вечер,— продолжал хозяин, обращаясь к Горацио, отчасти с целью блеснуть ораторским дарованием нового знакомого, отчасти же в надежде заглушить анекдоты бакалейщика,— мы говорили тогда вечером о природе человека. Ваши доводы показались мне очень убедительными.

— И мне тоже,— сказал Фредерик. Горацио ответил любезным наклонением головы.

— Скажите, какого вы мнения о женщинах, мистер Спаркинс? — осведомилась миссис Молдертон. Девицы жеманно улыбались.

— Мужчина,— ответил Горацио,— мужчина, бродит ли он среди светлых, веселых, цветущих долин второго эдема или же в более унылых, бесплодных и, можно сказать, прозаических местах, с которыми мы волей-неволей должны мириться в наше время; мужчина в любых обстоятельствах, в любом месте — клонится ли он под бременем губительных вихрей арктической зоны, или иссыхает от зноя под лучами полуденного солнца,— мужчина без женщины одинок.

— Я очень рада слышать, что вы держитесь такого похвального образа мыслей, мистер Спаркинс,— сказала миссис Молдертон.

— И я тоже,— прибавила мисс Тереза. Горацио взглядом выразил, как он счастлив, а молодая особа покраснела.

— А я думаю так...— начал мистер Бартон.

— Я знаю, что вы хотите сказать,— прервал его Молдертон, решившись не давать больше хода своему родственнику,— и я с вами не согласен.

— Что такое? — спросил изумленно бакалейщик.

— Мне очень жаль, Бартон, что я расхожусь с вами во мнениях,— сказал хозяин таким решительным тоном,

словно и в самом деле противоречил какому-то его утверждению,— но я не могу согласиться с тем, что считаю в высшей степени нелепым.

— Да ведь я хотел сказать...

— Вы меня не убедите,— сказал Молдертон с видом непреклонной решимости.— Никогда.

— А я не могу вполне согласиться с доводами мистера Спаркинса,— сказал Фредерик, вступая в бой вслед за папашей.

— Как! — воскликнул Горацио, который пустился рассуждать еще более отвлеченно и туманно, когда увидел, что дамы слушают его с восторженным изумлением.— Как! Разве следствие не есть результат причины? Разве причина не предшествует следствию?

— Вот в чем суть,— сказал Флемуэл.

— Разумеется,— сказал мистер Молдертон.

— Ибо, если следствие есть результат причины, а причина предшествует следствию, то вы ошибаетесь, насколько я понимаю,— прибавил Горацио.

— Положительно так,— сказал угодливый Флемуэл.

— По крайней мере таково будет верное и логическое заключение, насколько я понимаю? — вопросительным тоном прибавил Спаркинс.

— Без сомнения,— опять ввязался Флемуэл.— Это решает дело.

— Что ж, может быть, и решает,— сказал Фредерик.— Раньше я этого не понимал.

«А я и теперь не очень-то понимаю,— подумал бакалейщик,— однако надо полагать, что это правильно».

— Какой у него глубокий ум! — шепнула миссис Молдертон дочерям, когда они выходили в гостиную.

— Ах, он просто прелесть! — отвечали обе девицы разом,— говорит, как оракул. Он, должно быть, много видел и знает жизнь.

Когда мужчин предоставили самим себе, воцарилось молчание и у всех был такой мрачный вид, словно их совсем доконала философская глубина состоявшейся перед этим беседы. Первым нарушил молчание Флемуэл, твердо решивший выведать, кто и что такое на самом деле Горацио Спаркинс.

— Извините меня, сэр,— начал этот всезнающий человек.— Если я не ошибаюсь, вы готовитесь к адвокатуре? Я и сам когда-то подумывал об этом, да, в самом деле, и довольно близко знаком с первыми светилами этой выдающейся профессии.

— Н-ну, не совсем,— ответил Горацио, слегка поколебавшись.

— Но вы давно вращаетесь среди шелковых мантий, если я не ошибаюсь? — почтительно спросил Флемуэл.

— Почти всю свою жизнь,— отвечал Спаркинс.

Вопрос, таким образом, был благополучно разрешен для мистера Флемуэла. Горацио — это молодой джентльмен, который скоро станет адвокатом.

— Не хотел бы я быть юристом,— сказал Том, впервые раскрывая рот и оглядывая стол в надежде, что хоть кто-нибудь обратит внимание на его слова. Никто на это ничего не ответил.

— Не хотел бы я носить парик! — отважился Том сделать еще одно замечание.

— Том, очень прошу, не выставляй себя на посмешище,— сказал ему отец.— Слушай, пожалуйста, и поучайся из разговора старших, но не делай все время нелепых замечаний.

— Хорошо, папаша,— ответил несчастный Том, который не произнес ни слова с тех пор, как попросил в четверть шестого второй кусок говядины, а теперь было восемь.

— Ну ничего, Том! — заметил его добродушный дядюшка.— Я с тобой согласен. Мне бы тоже не хотелось носить парик. Уж лучше фартук.

Мистер Молдертон сильно закашлялся. Мистер Бартон продолжал:

— Потому что, ежели человек гнушается своим делом...

Кашель возобновился с удесятеренной силой и не прекращался до тех пор, пока незадачливый его виновник, встревожившись, не позабыл совершенно о том, что собирался сказать.

— Мистер Спаркинс,— сказал Флемуэл, возобновляя атаку,— не знаете ли вы мистера Делафонтена, с Бедфорд-сквера?


9
7

— Я обменялся с ним карточками; после чего я, правда, имел случай быть ему полезным,— отвечал Горацио, слегка краснея — без сомнения, оттого, что ему пришлось сделать такое признание.

— Это большая удача, если вам довелось оказать услугу такому важному лицу,— сказал Флемуэл, всем своим видом выражая глубокое уважение.

— Не знаю, кто он такой,— по секрету шепнул он Молдертону, когда они переходили в гостиную следом за Горацио.— Однако совершенно ясно, по профессии он юрист и лицо очень важное, с большими связями.

— Без сомнения, без сомнения,— поддакнул его спутник.

Остаток вечера прошел самым восхитительным образом. Мистер Молдертон, избавившись от своих опасений в силу того обстоятельства, что Бартон уснул крепким сном, был в высшей степени любезен и снисходителен. Мисс Тереза сыграла «Падение Парижа» — мастерски, как объявил Спаркинс, и оба они, с помощью Фредерика, пробовали спеться, разучивая без конца дуэты и трио, так как сделали приятное открытие, что их голоса прекрасно гармонируют. Конечно, все они пели первую партию, а Горацио, помимо того небольшого неудобства, что он был абсолютно лишен слуха, еще и не знал ни одной ноты. Все же они провели время очень приятно, и был уже первый час ночи, когда мистер Спаркинс попросил, чтобы подали его коня, похожего на траурный катафалк, причем просьба его была уважена только на том условии, что он опять приедет к ним в следующее воскресенье.

— Но, может быть, мистер Спаркинс присоединится к нам завтра вечером? — предложила миссис Молдертон.— Мистер Молдертон собирается повезти девочек на пантомиму.

Мистер Спаркинс поклонился и пообещал зайти к ним в ложу № 48 в течение вечера.

— На утро мы вас освобождаем,— с очаровательной игривостью сказала мисс Тереза,— мама везет нас в город за покупками. Я знаю, мужчины терпеть не могут этого занятия.

Мистер Спаркинс опять поклонился и заявил, что он был бы в восторге, но утром у него важное дело — он

занят. Флемуэл выразительно посмотрел на Молдертона. «Судебная сессия!» — прошептал он.

К двенадцати часам на следующее утро экипаж был подан к крыльцу, чтобы миссис Молдертон с дочерями могла отправиться в задуманную на этот день экспедицию. Пообедать и переодеться для театра они собирались у знакомых. Сначала они завезли к ним все свои картонки, а затем отправились на Тоттенхем-Корт-роуд — сделать кое-какие покупки у Джонса, Спраггинса и Смита, после чего им надо было заехать на Бонд-стрит к Редмейну, а уже оттуда в такие лавки, о которых никто никогда не слыхивал. Барышни старались разогнать дорожную скуку, превознося Горацио Спаркинса, браня свою мамашу за то, что она везет их в такую даль ради какого-то шиллинга экономии, и гадая, когда же они доберутся до места своего назначения. В конце концов экипаж остановился перед довольно грязной мануфактурной лавкой со всякого рода товарами и всех размеров ярлыками на витрине. Там были раздутые, словно от водянки, семерки с крохотными тремя фартингами в уголке, совершенно невидимыми простым глазом; триста пятьдесят тысяч дамских горжеток, ценою от одного шиллинга полутора пенсов; башмачки из настоящей французской лайки по два шиллинга девять пенсов за пару; зеленые дамские зонтики по такой же дешевке и «всевозможные товары на пятьдесят процентов дешевле себестоимости» — по словам владельца лавки,— а кому же это лучше знать, как не ему.

— Господи, мамаша, куда это вы нас завезли? — сказала мисс Тереза.— Что подумал бы мистер Спаркинс, если б он нас увидел!

— Да, действительно! — сказала мисс Марианна, ужасаясь этой мысли.

— Садитесь, пожалуйста, сударыни! Что прикажете? — осведомился церемониймейстер заведения, в белом шейном платке и строгом галстуке, очень походивший на плохой «портрет мужчины» с академической выставки.

— Я хочу посмотреть шелка,— ответила миссис Молдертон.

— Сию минуту, сударыня. Мистер Смит! Где мистер Смит?

Я здесь, сэр,— послышался голос в глубине лавки.

— Будьте любезны, поторопитесь, мистер Смит,— сказал церемониймейстер.— Вас никогда нельзя найти, когда вы нужны, сэр.

Мистер Смит, вынужденный таким образом проявить все проворство, на какое был способен, с большой ловкостью перепрыгнул через прилавок и оказался лицом к лицу с покупательницами. Миссис Молдертон издала слабый крик; мисс Тереза, которая нагнулась было, чтобы сказать что-то сестре, подняла голову и узрела... Горацио Спаркинса!

«Опустим занавес», как говорят романисты, над последовавшей за этим сценой. Загадочный, философический, романтический, таинственный Спаркинс, тот самый, который казался нашей интересной Терезе воплощением идеала, воплощением всех молодых герцогов и поэтических франтов в голубых шелковых халатах и таких же туфлях, о которых она столько читала и грезила, не надеясь даже когда-нибудь увидеть их, вдруг превратился в мистера Сэмюела Смита, приказчика в «дешевой лавке», младшего компаньона в ненадежной фирме, существующей всего каких-нибудь три недели. Полное достоинства исчезновение бывшего героя Оук-Лодж при этом неожиданном разоблачении можно сравнить только разве с бегством собаки, которой привязали к хвосту жестянку. Всем надеждам Молдертонов суждено было погибнуть разом, растаять, как тает лимонное мороженое на банкете акционеров; залы Олмэка по-прежнему были для них недостижимы, как Северный полюс; а у мисс Терезы теперь было так же мало шансов найти мужа, как у капитана Росса найти северо-западный проход.

Прошло несколько лет после событий этого ужасного утра. Маргаритки трижды зацветали на кемберуэлском лугу; воробьи трижды начинали чирикать по-весеннему в кемберуэлской роще, а обе мисс Молдертон все еще не замужем. У мисс Терезы не осталось уже никаких надежд; зато репутация Флемуэла все еще на высоте; а семейство Молдертонов питает все то же пристрастие к аристократам и еще более сильное отвращение ко всему низменному.

ГЛАВА VI

Черная вуаль

Однажды зимним вечером, в конце 1800 года — или, может быть, годом раньше или позже,— молодой врач, лишь недавно начавший практиковать, сидел в своей крохотной гостиной, грелся у огня, весело пылавшего в камине, и слушал, как дождь стучит в окно и ветер уныло гудит в трубе. Вечер был сырой, холодный; весь день в дождь и слякоть молодой врач ходил по городу — и теперь, в туфлях и халате, наслаждался отдыхом, и уже в полусне ему мерещились разные картины. Сперва он думал о том, как громко воет ветер и как больно хлестал бы ему в лицо дождь, если бы он не сидел сейчас дома, в тепле и уюте. Потом мысли его обратились к предстоящей поездке на рождество в родные края, к тем, кто близок и дорог его сердцу; как они будут рады ему и как счастлива была бы Роза, если бы он мог сказать ей, что у него появился, наконец, хоть один постоянный пациент и, надо надеяться, будут еще другие пациенты, и тогда через несколько месяцев он приедет снова, и они обвенчаются, и он увезет ее с собою, и она внесет свет и радость в его одинокий дом и вдохновит его на новые труды. Потом он стал спрашивать себя, когда же появится этот первый пациент и появится ли, или, быть может, такова уж воля провидения, что у него совсем никогда не будет пациентов; а потом опять подумал о Розе и нечаянно задремал и увидел ее во сне, и, наконец, ее веселый, ласковый голос явственно зазвучал у него в ушах, и маленькая нежная рука легла ему на плечо.

На плечо ему и в самом деле опустилась рука, но совсем не маленькая и не нежная; она принадлежала толстому мальчишке с круглой, как шар, головой, которого приход определил помогать доктору, бегать по его поручениям и разносить больным лекарства; за услуги мальчишке полагалось вознаграждение: шиллинг в неделю и стол. Но некому было носить лекарства и некуда бегать с поручениями, а потому мальчишка все свое свободное время — примерно четырнадцать часов в сутки — занимался тем, что потихоньку таскал мятные лепешки, наедался до отвала и спал.

— Леди... вас леди спрашивает, сэр! — шептал мальчик, тряся спящего хозяина за плечо.

— Какая леди? — вскакивая, крикнул наш друг; не вполне понимая, сон это или явь, он едва ли удивился бы, если бы увидел перед собой Розу.— Какая леди? Где?

— Там, сэр! — ответил мальчик, показывая на застекленную дверь кабинета; круглое лицо его выражало величайший страх перед столь необычайным событием, как появление пациента.

Доктор поглядел в сторону двери и вздрогнул, пораженный видом неожиданной посетительницы.

Это была женщина на редкость высокого роста, в глубоком трауре; она стояла так близко к двери, что лицо ее почти касалось стекла. Словно затем, чтобы ее нельзя было узнать, голову и плечи окутывал черный платок и лицо скрывала густая черная вуаль. Стояла она очень прямо, отчего казалась еще выше, и хотя врач чувствовал взгляд, в упор устремленный на него из-под черной вуали, она не шелохнулась, словно и не заметила, что он обернулся и смотрит на нее.

— Вы пришли за советом? — спросил он не без колебания, отворяя дверь. Дверь открывалась внутрь, и когда доктор потянул ее к себе, странная посетительница не двинулась с места.

В ответ она только слегка наклонила голову.

— Войдите, пожалуйста,— сказал врач.

Незнакомка шагнула вперед, потом, к неописуемому ужасу мальчика, обернулась в его сторону и остановилась в нерешительности.

— Выйди, Том,— сказал доктор мальчику, чьи круглые глаза во время этой короткой сценки готовы были выскочить из орбит.— Задерни шторку и закрой дверь.

Том задернул зеленую шторку на двери, вышел в кабинет, притворил за собою дверь и тотчас приник большим круглым глазом к замочной скважине.

Доктор пододвинул кресло поближе к огню и знаком предложил посетительнице сесть. Таинственная гостья медленно подошла к креслу. Яркий отблеск пламени упал на черное платье, и доктор увидел, что подол мокрый и забрызган грязью.

— Вы промокли,— сказал он.

— Да,— негромким низким голосом произнесла незнакомка.

— Я вижу, вы больны? — сочувственно спросил доктор, услышав в ее голосе страдание.

— Да,— был ответ,— я очень больна. Но не телом, а душою. Не для себя я пришла, не мне нужна ваша помощь,— продолжала незнакомка.— Если бы недуг терзал мое тело, я не вышла бы из дому одна в такой поздний час, в такую непогоду; будь я больна, бог свидетель, ровно через двадцать четыре часа я с радостью слегла бы и молилась только о том, чтобы умереть. Я пришла умолять вас о помощи ради другого человека, сэр. Быть может, я безумна, что прошу для него помощи... да, наверно, так; но в долгие бессонные ночи, полные тоски и слез, эта мысль неотступно преследовала меня; и хотя даже я понимаю, что надежды нет и никто не в силах спасти его, от одной мысли опустить его в могилу, даже не позвав на помощь, кровь стынет у меня в жилах!

Она вся задрожала, и врач видел, что эта дрожь непритворна.

Искреннее отчаяние странной посетительницы тронуло молодого врача до глубины души. Он был новичок в своем деле и еще не научился, насмотревшись на горе и муки, ежедневно открывающиеся взору каждого врача, не принимать слишком близко к сердцу людские страдания.

— Если тот, о ком вы говорите, находится в столь тяжелом состоянии,— сказал он, поспешно вставая,— нельзя терять ни минуты. Я сейчас же пойду с вами. Почему вы не обратились к врачу раньше?

— Потому что раньше это было бы бесполезно... потому что даже и теперь это бесполезно,— ответила женщина, горестно ломая руки.

С минуту врач пристально смотрел на черную вуаль, словно пытаясь разглядеть выражение лица под нею; но вуаль была слишком густая и совсем скрывала черты незнакомки.

— Но вы и сами больны, хотя и не сознаете этого,— сказал он мягко.— У вас лихорадка, только она, видно, и придала вам силы прийти сюда. Вот, выпейте,— продолжал он, наливая ей стакан воды,— придите в себя, а

потом как можно спокойнее расскажете мне, что с вашим больным и давно ли он страдает от своего недуга. Как только я узнаю все, что мне необходимо знать, чтобы помочь ему, я тотчас последую за вами.

Не поднимая вуали, незнакомка поднесла стакан к губам, но тут же, не отпив ни глотка, отставила стакан и разрыдалась.

— Я знаю,— промолвила она сквозь слезы,— мои слова должны вам казаться лихорадочным бредом. Мне и прежде это говорили, и не с такой добротой, как вы. Я уже немолода; говорят, когда жизнь подходит к концу, те немногие годы, что еще осталось прожить, становятся нам еще дороже; какими бы пустыми и жалкими ни казались они стороннему глазу, дорожишь ими куда больше, чем теми, что уже прожиты, хоть прошлое и связано с воспоминаниями о старых, давно умерших друзьях и о юных друзьях — быть может, о детях,— которые покинули тебя, и забыли, и ушли навсегда, как будто и они тоже умерли. Мне недолго осталось жить, и эти немногие годы должны бы быть мне вдвойне дороги; но я отказалась бы от них без малейшего сожаления... охотно... с радостью... лишь бы та страшная опасность рассеялась, как дурной сон. Но я знаю, хоть и счастлива была бы думать иначе, что завтра утром тот, о ком я вам говорю, будет недосягаем для человеческой помощи; и, однако, сегодня вечером, хотя ему грозит гибель, вы не должны его видеть и не можете ему помочь.

— Ваше горе и без того велико,— сказал врач после недолгого молчания,— и я не хотел бы спорить с вами или допытываться о том, что вы жаждете сохранить в тайне. Но есть в ваших словах противоречие, которое кажется мне непостижимым. Человеку грозит смерть, а мне нельзя его видеть, когда моя помощь еще может принести пользу; вы опасаетесь, что завтра она будет бесполезна, и, однако, хотите, чтобы я пришел завтра! Если этот человек и вправду так дорог вам, как можно заключить по вашим словам и всему вашему поведению, почему не попытаться спасти его теперь, пока промедление и роковое развитие болезни не сделали это невозможным?

— Милосердный боже! — рыдая, воскликнула женщина.— Как могут чужие люди поверить тому, что даже

и мне кажется невероятным? Так вы не придете к нему завтра утром, сэр? — прибавила она и поднялась.

— Я не говорю, что отказываюсь навестить его,— возразил врач,— но предупреждаю вас, если больной умрет из-за того, что вы столь упорно настаиваете на этой непонятной отсрочке, тяжкая ответственность ляжет на вас.

— Не на мне лежит бремя ответственности,— горько сказала незнакомка.— А любую вину, которая лежит на мне, я готова нести и охотно за нее отвечу.

— Поскольку я не беру на себя никакой ответственности, соглашаясь на вашу просьбу,— продолжал врач,— я навещу больного утром, если вы оставите мне адрес. В какое время можно будет его видеть?

— Ровно в девять часов,— ответила незнакомка.

— Простите, что я докучаю вам расспросами,— сказал врач,— но сейчас больной находится на вашем попечении?

— Нет,— ответила она.

— Значит, если я дам вам советы относительно ухода за ним этой ночью, вы не сможете помочь ему?

— Нет,— повторила она срывающимся голосом.

Врач понял, что дальнейшие расспросы ни к чему не приведут и будут только мучительны для этой женщины: силы покинули ее, она больше уже не могла совладать со своим горем, и на ее страдания тяжело было смотреть; он ограничился тем, что еще раз пообещал прийти утром в назначенный час. Посетительница назвала ему дом в глухой части Уолворта и исчезла так же таинственно, как и появилась.

Легко понять, что столь необычайное посещение глубоко поразило молодого врача, и он долго раздумывал о том, что же за странный недуг мог постичь неведомого больного, но так ни к чему и не пришел. Как и многим из нас, ему доводилось слышать и читать о загадочных случаях, когда человек предчувствовал, что в такой-то день и час он умрет, и это предчувствие сбывалось. Сначала доктор склонен был думать, что, может быть, и ему сейчас пришлось встретиться с подобным случаем, но потом вспомнил, что во всех таких рассказах человек терзается предчувствием своей собственной смерти. А эта неизвестная женщина говорила не о себе, но о ком-то

другом, о каком-то мужчине; и трудно представить себе, чтобы просто дурной сон или прихоть воображения побудили ее говорить о близкой смерти этого человека с такой страшной уверенностью. А вдруг его хотят утром убить, и эта женщина сначала согласилась стать соучастницей убийства и дала клятву молчать, но теперь раскаялась и, если не в ее власти отвести грозящую жертве опасность, решилась по крайней мере попытаться сохранить несчастному жизнь, в назначенный час послав на помощь врача? Но неужели нечто подобное может произойти на расстоянии всего двух миль от столицы? Самая мысль эта показалась доктору слишком нелепой и дикой, и он тут же ее отверг. Потом он вновь подумал, что, может быть, разум бедной женщины помутился; и, так как это было единственное сколько-нибудь удовлетворительное объяснение, он упорно цеплялся за мысль, что его странная посетительница безумна. Однако у него сразу же возникли некоторые сомнения, и после, всю ту долгую и томительную бессонную ночь, они снова и снова приходили ему на ум; как он ни старался, он не мог отогнать от себя образ женщины под черной вуалью.

Предместье Уолворт и особенно его окраина, наиболее удаленная от Лондона, даже и в наши дни представляет собою лишь горсточку разбросанных жалких домишек, а тридцать пять лет тому назад это безотрадное место было почти необитаемо; немногочисленные тамошние жители пользовались сомнительной репутацией; одни поселились там по бедности, другие — потому, что предпочитали скрывать свои занятия и образ жизни от людских взоров. Бо̀льшая часть домов появилась позднее, спустя несколько лет, а те, что уже существовали тогда, рассеянные в беспорядке поодаль друг от друга, были бесконечно убоги и жалки.

Самая местность, по которой в то утро шагал молодой врач, отнюдь не способна была придать ему бодрости или рассеять гнетущую тревогу, вызванную предстоящим визитом. Свернув с шоссе, он должен был извилистыми тропками пробираться через болото; кое-где стояли развалившиеся, полусгнившие хибарки, они рассыпа̀лись в прах и никто не пытался их чинить. Порою тропинка вела мимо чахлого дерева или стоячего пруда, вздувшегося

после вчерашнего ливня; изредка попадался жалкий огород или садик с подобием беседки, сколоченной из нескольких старых досок, обнесенный полуразвалившимся забором, кое-как подправленным при помощи кольев, выдернутых из соседских изгородей; и все это красноречиво свидетельствовало о бедности хозяина и о том, как мало угрызений совести испытывал он, пользуясь для своих нужд чужой собственностью. Изредка на пороге грязного домишки появится растрепанная женщина, выплеснет содержимое ведра или кастрюли в канаву или визгливо позовет крохотную оборванную девочку, которая ухитрилась отойти на несколько шагов от дома, шатаясь под тяжестью изжелта-бледного младенца немногим поменьше, чем она сама; кроме этого, почти незаметно признаков жизни; и то немногое, что можно разглядеть в сыром тумане, нависшем над всей округой, выглядит столь же уныло и безотрадно, как все описанное нами выше.

Молодой доктор долго брел по грязи и лужам, снова и снова спрашивал, как разыскать то место, которое ему назвали накануне, выслушал в ответ множество невразумительных и противоречивых объяснений и, наконец, очутился перед нужным ему домом. Это оказалась небольшая, приземистая постройка в два этажа, с виду еще более запущенная и мрачная, чем все те, какие он миновал на пути сюда. Верхнее окно плотно закрывала старая желтая занавеска, внизу ставни были затворены, но не заперты на засов. Дом этот стоял особняком, на повороте узкой тропинки, и нигде поблизости не видно было другого жилья.

Если мы скажем, что доктор в нерешимости прошел мимо, прежде чем заставил себя вернуться к этому дому и взяться за дверной молоток, это отнюдь не должно вызвать улыбку даже у самого храброго читателя. Лондонская полиция в те дни была совсем не та, что нынешняя; никто еще не увлекался застройкой, средства передвижения оставляли желать лучшего, а потому отдаленные пригороды совсем еще не были связаны с городом, и многие из них (а Уолворт в особенности) служили убежищем для преступников и темных личностей. Даже самые людные и оживленные улицы Лондона в ту пору освещались плохо, а такие места, как Уолворт, были всецело отданы

на милость луны и звезд. Поэтому мало надежды было выследить грабителя или добраться до воровского притона; с каждым днем злоумышленники все больше убеждались в сравнительной своей безнаказанности и, естественно, действовали все более дерзко. Притом не следует забывать, что молодой врач работал некоторое время в городских больницах Лондона и, хотя имена Бэрка и Бишопа тогда еще не получили устрашающей известности, он уже видел достаточно, чтобы представить себе, как легко совершаются чудовищные злодейства, которыми впоследствии прославился Бэрк. Как бы то ни было, какие соображения ни заставили его колебаться, но он медлил; однако он был молод, тверд духом и мужественен и потому колебался не долее минуты; быстрым шагом он вернулся к двери и негромко постучал.

Тотчас за дверью послышался шепот, словно кто-то, стоя в прихожей, совещался с кем-то, находившимся выше, на площадке лестницы. Потом раздались тяжелые шаги, кто-то шел в грубых башмаках по голым половицам. Тихонько сняли дверную цепочку; дверь отворилась, за нею стоял высокий угрюмый человек с черными волосами и землисто-бледным изможденным лицом (доктор впоследствии не раз повторял, что видел прежде такие лица только у мертвецов).

— Войдите, сэр,— тихо сказал он.

Доктор вошел, угрюмый человек снова закрыл дверь, накинул цепочку и провел посетителя по коридору в маленькую комнату.

— Я не слишком поздно пришел?

— Слишком рано,— был ответ. Врач круто обернулся, не сумев скрыть удивление, а отчасти и тревогу.

— Сюда, сэр,— продолжал тот, очевидно заметив его движение,— пожалуйте сюда, и уж поверьте, вам придется ждать не больше пяти минут.

Врач вошел в комнату. Его спутник затворил за ним дверь и оставил его одного.

Это была маленькая холодная комната, без всякой мебели, если не считать соснового стола и двух сосновых стульев. Горсточка углей тлела в очаге, не загороженном решеткой, не сообщая комнате ни тепла, ни уюта,— только пошла сырость и по стенам струились длинные

потеки, напоминающие след проползшей улитки. Окно, разбитое и в нескольких местах заклеенное, выходило на крохотный дворик, чуть не сплошь залитый водой. Все было тихо в доме, и снаружи не доносилось ни звука. Доктор сел у очага и стал ждать, чем кончится его первый визит к больному.

Он просидел так несколько минут и вдруг услышал приближающийся стук колес. Потом стук затих; открылась входная дверь; послышались негромкие приглушенные голоса, шаркающие шаги в коридоре и на лестнице, как будто двое или трое людей несли наверх что-то тяжелое. Вскоре опять заскрипели ступени, возвещая о том, что эти люди сделали свое дело, каково бы оно ни было, и покидают дом. Захлопнулась наружная дверь, и опять все стихло.

Прошло еще пять минут, и врач решил обойти дом и поискать кого-нибудь, кому он мог бы дать знать о себе, но тут дверь комнаты отворилась и вчерашняя посетительница, одетая точно так же, как накануне, и под той же черной вуалью, сделала ему знак приблизиться. Ее необычно высокий рост и безмолвие заставили доктора мельком подумать, не мужчина ли это, переодетый в женское платье. Но нелепое подозрение тотчас рассеялось, ибо вся эта закутанная в черное фигура была воплощением безмерной скорби, а из-под вуали слышались судорожные рыдания; и доктор поспешно последовал за незнакомкой.

Женщина поднялась по лестнице и остановилась на пороге комнаты, пропуская врача вперед. Скудную обстановку этой комнаты составляли старый деревянный сундук, несколько стульев и кровать без полога, покрытая лоскутным одеялом. При слабом свете, проникавшем в завешенное окно, которое доктор заметил еще с улицы, очертания всех предметов были смутны и неопределенны и все они казались одного цвета, поэтому он сперва ничего не заметил на постели, но женщина бросилась мимо него в комнату, упала на колени перед кроватью, и тогда он увидел то, что на ней лежало.

На кровати, плотно закутанный в холст и покрытый одеялом, вытянувшись, недвижимо лежал человек. Голова и лицо оставались открытыми,— только повязка,

охватывая голову, проходила под подбородком,— и видно было, что это мужчина. Глаза были закрыты. Левая рука лежала поверх одеяла, и женщина крепко сжимала ее.

Врач осторожно отстранил женщину и взял руку мужчины в свои, но тотчас невольно выпустил ее и воскликнул:

— О боже! Он мертв!

Женщина вскочила, ломая руки.

— Нет, нет, сэр! — страстно, в каком-то неистовстве воскликнула она.— Не может быть! Я этого не вынесу! Бывали же случаи, когда людей возвращали к жизни, хотя невежды уже считали их погибшими. И бывало, что люди умирали, хотя их можно было спасти, если бы им оказали помощь. Неужели вы не попытаетесь спасти его, сэр! Быть может, вот сейчас, в эту минуту жизнь покидает его! Ради всего святого, сделайте для него хоть что-нибудь!

Говоря это, она торопливо растирала лоб, потом грудь неподвижно распростертого перед нею тела, потом стала бить по холодным рукам, но едва она выпускала их, они снова безжизненно падали на одеяло.

— Все это бесполезно, бедная вы моя,— мягко сказал врач, отнимая руку от холодной груди мертвеца.— Постойте... отдерните занавеску!

— Зачем? — спросила женщина и выпрямилась.

— Отдерните занавеску! — взволнованно повторил врач, вставая.

— Но я не хочу, чтобы здесь было светло,— сказала женщина, удерживая его.— Сжальтесь надо мною! Если все напрасно и он в самом деле мертв, пусть не увидят его ничьи глаза, кроме моих!

— Этот человек умер мучительной, не своей смертью,— сказал доктор.— Я должен видеть тело! — И так быстро, что женщина не успела опомниться, он шагнул мимо нее к окну, отдернул занавеску и вернулся к кровати, залитой теперь ярким дневным светом.

— Тут было совершено насилие,— сказал он, указывая на бездыханное тело и пристально глядя в лицо женщины, которое сейчас впервые увидел без вуали. Минуту назад в отчаянии она бросила платок и вуаль и теперь в упор смотрела на доктора. Ей было лет пятьдесят,

и в прошлом она, несомненно, была хороша собою. Безутешное горе наложило на ее черты печать, какой не оставили бы одни только годы; в лице этом не было ни кровинки, губы судорожно подергивались, глаза горели, и очевидно было, что бремя ее скорби слишком велико и последние силы душевные и телесные готовы изменить ей.

— Тут было совершено насилие,— повторил доктор, все так же испытующе глядя на нее.

— Да! — сказала женщина.

— Этот человек — жертва убийства.

— Бог свидетель, это правда! — страстно вскричала женщина.— Безжалостное, бесчеловечное убийство!

— Кто же его убил? — спросил врач, схватив ее за руку.

— Зачем вы спрашиваете меня? Смотрите сами, вот след, оставленный убийцами!

Доктор обернулся к постели и наклонился над телом, которое он мог теперь разглядеть при свете дня. Шея распухла и вокруг нее шла сине-багровая полоса. Внезапно, как молния, у доктора мелькнула догадка.

— Это повешенный, один из тех, кого казнили сегодня утром! — воскликнул он и с содроганием отвернулся.

— Да,— сказала женщина, глядя на него пустыми, остановившимися глазами.

— Кто он? — спросил доктор.

— Мой сын,— ответила женщина и упала без чувств к его ногам.

Она сказала правду. Сообщник, не менее виновный, был оправдан за недостатком улик, а этого человека приговорили к смерти и казнили. Пересказывать подробно обстоятельства дела после стольких лет нет надобности, это могло бы только причинить боль людям, которые еще живы. История была очень обыкновенная. Мать, вдова без средств и без друзей, отказывала себе в самом необходимом и все отдавала единственному сыну. А юноша, не внемля ее мольбам, не помня о страданиях, которые она переносила ради него, о непрестанной тревоге, что снедала ее душу, и добровольных лишениях, иссушающих тело, погряз в пороках и преступлениях. И вот к

чему это привело: к смерти сына от руки палача и к позору и неизлечимому безумию матери.

Долгие годы прошли с тех пор; молодой врач усердно трудился и преуспел в жизни; многие на его месте давно забыли бы о существовании несчастной женщины, но он ежедневно навещал бедную помешанную; ее не только утешали его вниманье и участье,— он щедро помогал ей, заботясь о том, чтобы она не лишена была ухода и ни в чем не нуждалась. Перед смертью сознание больной ненадолго прояснилось, к ней вернулась память, и никогда уста человеческие не шептали молитвы более жаркой, чем ее молитва о его счастье и душевном покое. Молитва одинокой бедной женщины была услышана. За добрые дела доктору воздалось сторицей; своим искусством он заслужил почет и высокое положение в обществе, но дороже всех наград было ему воспоминание о женщине под черной вуалью.

ГЛАВА VII

Прогулка на пароходе

Мистер Перси Ноукс, молодой человек, изучающий право, занимал квартиру в четвертом этаже одного из тех домов на Грейс-Инн-сквере, откуда открывался широкий вид на сады и на их неизменные атрибуты — кокетливых нянек и взращенных в городе детей с полукруглыми, как скобки, ногами. Мистер Перси Ноукс принадлежал к числу людей, которых обычно называют «душа-человек». У него был обширный круг знакомых, и он редко обедал за свой счет. С папашами он беседовал о политике, мамашам расхваливал их детей, с дочерьми любезничал, с сыновьями погуливал, а с младшими отпрысками семьи затевал шумные игры. Подобно тем образцам совершенства, о коих можно прочесть в столбцах объявлений, где перечисляют свои достоинства ищущие место лакеи, он готов был «оказывать любые услуги». Если старая леди давала бал, то мистер Перси Ноукс, заменяя ее сына, пребывающего в Индии, выполнял роль распорядителя; если молодая леди вступала в тайный брак, он был посаженым отцом; если

юная мать дарила своему супругу цветущего младенца, мистер Перси Ноукс крестил новорожденного либо присутствуя на обряде, либо заочно; а в случае кончины одного из членов дружественной семьи мистер Перси Ноукс непременно следовал за гробом во второй карете, прижимая к глазам белый носовой платок, и точил слезы — по его собственному меткому выражению — «не моргнув глазом».

Разумеется, столь многосторонняя деятельность не могла не отразиться на занятиях наукой будущего юриста. Он и сам отлично понимал это и, основательно подумав, принял решение не заниматься вовсе — решение безусловно здравое, которое он к тому же выполнял с похвальным усердием. Гостиная его представляла собой нечто вроде склада, где в хаотическом беспорядке валялись белые лайковые перчатки, боксерские перчатки, альбомы карикатур, пригласительные билеты, рапиры, крикетные биты, какие-то рисунки, клейстер, гуммиарабикум и еще множество самых разнообразных предметов. Он постоянно что-то для кого-то мастерил или устраивал увеселительные прогулки — несомненно самая сильная сторона его таланта. Говорил он с необычайной быстротой, любил пофрантить, вечно суетился и от роду имел двадцать восемь лет.

— Блестящая мысль, лучше не придумать! — рассуждал сам с собой мистер Перси Ноукс, сидя за утренним кофе и вспоминая пожелание, высказанное накануне хозяйкой дома, где он провел вечер.— Гениальная мысль!.. Миссис Стабс!

— Да, сэр? — откликнулась старая неопрятная женщина, выходя из спальни с ведром, полным мусора и золы. Миссис Стабс была уборщица мистера Перси Ноукса.— Вы меня звали, сэр?

— Послушайте, миссис Стабс, я ухожу. Если опять явится портной, скажите ему, что меня нет в городе и вернусь я не раньше, чем через две недели. А если придет сапожник, передайте ему, что я потерял его адрес, иначе давно отослал бы ему должок. Пусть оставит адрес. Если же заглянет мистер Харди — вы знаете мистера Харди?

— Это такой смешной господин?

— Вот-вот, он самый. Если он придет, скажите ему, что я пошел к миссис Тоунтон поговорить о поездке по Темзе.

— Хорошо, сэр.

— И если кто-нибудь придет и скажет, что он насчет парохода, попросите его быть здесь к пяти часам. Понятно, миссис Стабс?

— Да, сэр.

Мистер Перси Ноукс почистил шляпу, шелковым носовым платком смахнул крошки с невыразимых, подкрутил волосы на висках, наматывая их на указательный палец, и отправился на Грейт-Мальборо-стрит, где в верхнем этаже одного из домов проживала миссис Тоунтон с дочерьми. Миссис Тоунтон, весьма представительная вдова лет пятидесяти, формы имела монументальные, а ум младенческий. Весь смысл жизни для нее заключался в поисках развлечений и способов убить время. Она нежно любила своих дочерей, таких же ветрениц, как она сама.

Мистер Перси Ноукс, встреченный хором радостных восклицаний, приветствовал, как полагается, хозяек, после чего бросился в кресло возле рабочего столика с развязностью признанного друга дома. Миссис Тоунтон усердно пришивала огромные яркие банты к нарядному чепцу, сажая их всюду, где только можно было; мисс Эмили Тоунтон сплетала шнурочек для часов; мисс Софи сидела за фортепьяно и разучивала новый романс на слова, сочиненные молодым офицером, или канцеляристом, или таможенным чиновником, или еще каким-нибудь доморощенным поэтом.

— Какой вы славный,— сказала миссис Тоунтон, улыбаясь услужливому гостю.— Вот уж точно добрая душа. Я знаю, вы пришли поговорить о прогулке.

— А о чем же еще? — торжествующе ответил мистер Перси Ноукс.— Идите сюда, барышни, я вам сейчас изложу свой план.

Мисс Эмили и мисс Софи подошли к столику.

— Так вот,— продолжал мистер Перси Ноукс,— по моему мнению, самое разумное — образовать комитет из десяти человек и поручить им хлопоты по устройству прогулки. А расходы я предлагаю возложить на весь комитет в целом.

— Превосходно! — сказала миссис Тоунтон, которой особенно понравился второй пункт.

— Затем я предлагаю, чтобы каждый член комитета имел право пригласить пять человек. У меня на квартире состоится заседание, мы обсудим все подробности и назовем имена приглашенных. Любой член комитета может забаллотировать любого из названных лиц. Для этого достаточно будет одного черного шара. Таким образом, знаете, нам обеспечена приятная компания.

— Как хорошо вы все придумали! — опять прервала оратора миссис Тоунтон.

— Восхитительно! — промолвила прелестная Эмили.

— Я просто поражена! — воскликнула Софи.

— Да,— сказал мистер Перси Ноукс, чувствуя себя как рыба в воде,— я думаю, что мой план недурен. Знаете, мы доедем до самого устья и обратно; в каюте будет заранее, еще до отплытия, сервирован обед, чтобы все приготовить без суматохи, а завтрак нам подадут на палубе, возле гребных колес, в этих... ну, вроде как в загородном саду,— не помню, как они называются. И мы наймем целый пароход, и оркестр, а палубу велим натереть мелом, будем весь день танцевать. И потом, знаете, среди гостей найдутся музыканты, они, конечно, не откажутся спеть и сыграть нам, и потом, потом... в общем, я, знаете, надеюсь, что мы повеселимся на славу!

Эта заманчивая перспектива была встречена бурными изъявлениями восторга. Миссис Тоунтон, Эмили и Софи не скупились на похвалы.

— А скажите, Перси,— спросила миссис Тоунтон,— из кого будет состоять комитет?

— О, я знаю уйму людей, которые так и ухватятся за мой план,— ответил мистер Перси Ноукс.— Во-первых, конечно...

— Мистер Харди! — прервала его служанка, возвещая о приходе нового гостя. Мисс Софи и мисс Эмили поспешно приняли самые выигрышные позы, какие только можно было принять в столь короткое время.

— Здравствуйте! — возгласил плотный мужчина лет сорока, останавливаясь на пороге в классической позе клоуна,— тот самый мистер Харди, о котором уже шла речь и которого миссис Стабс окрестила «смешной гос-

подин». Этот присяжный шутник, сыпавший плоскими остротами и кстати и некстати рассказывавший анекдоты столетней давности, был баловнем замужних дам и кумиром молодых людей. Он постоянно затевал всяческие увеселения и не упускал случая подстроить кому-нибудь каверзу. Кроме того, он пел комические куплеты, кричал петухом, понукал лошадь, подражая извозчикам, исполнял популярные арии на своем подбородке, играл на губной гармонике. Ел и пил он за троих и был закадычным другом мистера Перси Ноукса. Лицо имел красное, голос хриплый, смех оглушительный.

— Здравствуйте. Вот и я! — сказал сей достойный джентльмен, хохоча во все горло, словно его ранний визит был уморительной шуткой, и с такой силой тряся руки хозяек, как будто качал воду из колодца.

Вас-то мне и нужно,— отозвался мистер Перси Ноукс и тут же начал объяснять, для чего ему понадобился Харди.

— Ха-ха-ха! — загрохотал мистер Харди, выслушав подробный отчет о предполагаемой прогулке.— Замечательно! Великолепно! Вот уж проведем денек, вот повеселимся! И когда вы думаете приступить к делу?

— Да зачем откладывать — хоть сейчас, если угодно.

— Ах, чудно! — вскрикнули дамы.— Пожалуйста!

Перед мистером Перси Ноуксом разложили письменные принадлежности, и началось обсуждение состава комитета, причем между приятелями происходили такие длительные дебаты, словно от их решения зависела судьба народов. Затем они условились, что заседание комитета состоится в ближайшую среду, в восемь часов вечера, на квартире мистера Перси Ноукса, и посетители откланялись.

Наступил вечер среды; пробило восемь часов, и восемь членов комитета явились минута в минуту. Мистер Логгинс, поверенный из Босуэл-Корт, прислал свои извинения, а мистер Сэмюел Бригс, тоже поверенный, только из Фарнивалс-Инн, вместо себя прислал брата — к величайшему его (брата) удовольствию, но к немалой досаде мистера Перси Ноукса. Дело в том, что Бригсы и Тоунтоны питали друг к другу лютую, небывалую ненависть. Вражда Монтекки и Капулетти казалась детской

игрой по сравнению с ожесточенной распрей, раздиравшей эти два именитых семейства. Миссис Бригс была вдова, мать трех дочек и двух сыновей; старший из них, Сэмюел, был адвокат, а младший, Александер, еще только готовился к юридической карьере под началом брата. Бригсы жили на Портленд-стрит, неподалеку от Оксфорд-стрит, и вращались в том же замкнутом кругу, что и Тоунтоны,— отсюда и взаимная неприязнь. Если девицы Бригс появлялись в умопомрачительных шляпках, то девицы Тоунтон обзаводились еще более умопомрачительными. Если миссис Тоунтон надевала чепец, отливающий всеми цветами радуги, то миссис Бригс немедленно нацепляла ток, пестротой не уступающий калейдоскопу. Если мисс Софи Тоунтон пела новый романс, две из сестер Бригс исполняли новый дуэт. Однажды Тоунтоны одержали недолговечную победу, пустив в ход арфу, но Бригсы ввели в бой три гитары и разгромили неприятеля. Конца этому соперничеству не предвиделось.

Итак, поскольку мистер Сэмюел Бригс представлял собой всего-навсего некий юридический механизм, что-то вроде самодвижущейся трости, а идея прогулки, как стало известно, принадлежала отчасти миссис Тоунтон, то женская половина семьи Бригсов направила на заседание вместо старшего брата — младшего; мистер Александер Бригс недаром славился тем, что был не более уступчив, чем адвокат кредиторов в делах о банкротствах, а вдобавок — упрям, как то полезное домашнее животное, которое охотно питается репейником; поэтому в подробных наставлениях он не нуждался. Ему было предписано по возможности ни с чем не соглашаться и — превыше всего — при каждом удобном случае оттеснять Тоунтонов.

Заседание открыл мистер Перси Ноукс. Начал он с того, что призвал всех присутствующих подкрепиться грогом, потом кратко объяснил цель, ради которой они собрались, и кончил тем, что предложил в первую очередь избрать председателя и предоставить ему — он надеется, что это не будет сочтено нарушением конституции,— некоторые дополнительные полномочия, необходимые для личного руководства всеми мероприятиями (кои, разумеется, подлежат одобрению комитета). Бледный молодой человек в зеленом галстуке и таких же очках, член

досточтимой корпорации Иннер-Темпл, тотчас встал с места и предложил на этот пост мистера Перси Ноукса. Он знает его давно и может только сказать, что второго такого честного, отличного и душевного малого нет и не бывало. («Правильно!») Воспользовавшись случаем — молодой человек состоял членом общества ораторского искусства,— он сделал исторический обзор английского права от дней Вильгельма Завоевателя и до настоящего времени, бегло коснулся кодекса, введенного древними друидами, бросил взгляд на основные принципы, коими руководствовались афинские законодатели, и кончил пламенным панегириком загородным прогулкам и гарантированным конституцией свободам.

Мистер Александер Бригс высказался против внесенного предложения. Он высоко ценит личные качества мистера Перси Ноукса, но сомневается, разумно ли облекать его столь неограниченной властью («ого!»). Он не уверен, что на посту председателя мистер Перси Ноукс проявит должное благородство, беспристрастие и честность; однако он убедительно просит не усматривать в его словах хотя бы малейшего намека на неуважение к особе мистера Перси Ноукса. Мистер Харди выступил в защиту своего благородного друга, но — то ли от волнения, то ли от грога — речь его прозвучала довольно невнятно. Вопрос был поставлен на голосование, и так как против был подан только один голос, мистер Перси Ноукс оказался избранным и по праву занял место председателя.

После этого дело пошло быстрее. Председатель доложил о смете расходов, потребных для прогулки, и каждый член комитета подписался на соответствующую сумму. Когда встал вопрос о пароходе, кто-то предложил нанять «Усердие»; мистер Александер Бригс внес поправку, настаивая на том, чтобы слово «Усердие» было заменено словом «Муха», но после непродолжительных прений согласился снять свое предложение. Наконец, приступили к самому главному — к баллотировке. На столик в темном углу комнаты поставили чайницу и каждого из присутствующих снабдили двумя шашками — белой и черной.

Затем председатель торжественно огласил список намеченных им гостей: миссис Тоунтон с двумя дочерьми,

мистер Уизл, мистер Симсон. Голосовали всех кандидатов по очереди — и миссис Тоунтон с дочерьми оказались забаллотированными! Мистер Перси Ноукс и мистер Харди переглянулись.

— Ваш список готов, мистер Бригс? — спросил председатель.

— Готов,— отвечал Александер и прочел: — Миссис Бригс с тремя дочерьми, мистер Сэмюел Бригс.

Опять состоялось голосование — и миссис Бригс с тремя дочерьми были забаллотированы! Лицо мистера Александера выражало крайнюю растерянность, остальные казались даже испуганными таинственным ходом событий.

Баллотировка продолжалась, но одно мелкое обстоятельство, которого мистер Перси Ноукс не мог предвидеть, существенно тормозило дело, и система, изобретенная им, не вполне оправдала себя. Забаллотированы были все. Мистер Александер в отместку за обиду, нанесенную его семейству, широко пользовался данной ему властью и проваливал одну кандидатуру за другой; ввиду этого по прошествии трех часов непрерывного труда единогласно избранными оказались лишь трое мужчин. Где же выход? Оставалось только либо бросить всю затею, либо найти путь к компромиссу. Предпочтительней, разумеется, было второе, и потому мистер Перси Ноукс предложил отменить процедуру баллотировки — пусть каждый член комитета просто назовет тех лиц, коих он намерен привести с собой. Предложение было принято; Тоунтонов и Бригсов восстановили в правах, и список гостей утвердили.

Знаменательное событие было назначено на будущую среду, и члены комитета единодушно приняли решение явиться с нарукавными повязками из голубой тафты. Мистер Перси Ноукс сообщил, что вышеозначенное судно принадлежит компании «Главное речное пароходство» и в настоящее время пришвартовано у таможни. Всю снедь и вина должен был поставить первоклассный лондонский ресторатор, и мистер Перси Ноукс обязался быть на месте к семи часам утра, дабы обо всем распорядиться и за всем присмотреть; остальные же члены комитета вкупе с приглашенными взойдут на борт в девять часов. Затем

комитет снова занялся грогом; каждый из присутствующих юристов произнес речь; председателю выразили благодарность, и заседание было закрыто.

В последние дни погода стояла чудесная и оставалась таковой вплоть до конца недели. Миновало воскресенье, и мистера Перси Ноукса охватила лихорадка; день-деньской он сновал между пристанью и домом, чем очень удивлял конторщиков пароходства и существенно увеличил заработки холборнских извозчиков. Наступил вторник, и волнение мистера Перси Ноукса перешло все границы. Он ежеминутно кидался к окну и с тревогой осматривал небо; а мистер Харди, готовя к среде новый номер на квартире председателя, оглашал всю площадь звуками модных куплетов.

Беспокоен был сон мистера Перси Ноукса в ту ночь; он ворочался с боку на бок, метался на постели, и снились ему отчаливающие пароходы, гигантские часы, показывающие четверть десятого, и мерзкая физиономия мистера Александера Бригса, скалившая зубы из-за борта, словно глумясь над его потугами сдвинуться с места. Он сделал отчаянное усилие прыгнуть на борт — и проснулся. Спальню заливало яркое веселое солнце, и мистер Перси Ноукс в ужасе схватился за свои часики, почти уверенный, что кошмар его сбылся наяву.

Стрелки показывали ровно пять. Он мысленно подсчитал — около получаса уйдет на одеванье; и так как утро выдалось ясное и было время отлива, он решил пройтись пешком до Стрэнд-лейн, а там взять лодку.

Он оделся, наскоро проглотил кофе и тронулся в путь. Улицы были пустынны и безлюдны, словно накануне вечером в последний раз по ним двигались толпы людей. Кое-где заспанные подростки снимали ставни с окон лавок; изредка медленным шагом проходил полицейский или молочница; но служанки еще не подметали крылечек и не разводили огонь на кухне, и Лондон казался вымершим. Недалеко от Темпл-Бара *, у поворота в один из переулков, под открытым небом расположилась закусочная. На жаровне кипел кофе; большие ломти хлеба с маслом были сложены штабелями, как тес в лесном дворе. На скамейке, ради удобства и безопасности припертой к стене ближайшего дома, сидела веселая компа-

ния. Двое молодых людей, которые, судя по измятой одежде и шумному поведению, отлично провели вечер накануне, угощали трех «дам» и рабочего-ирландца. Тут же стоял маленький трубочист и с тоской смотрел на соблазнительные яства, а с противоположного тротуара за пирующими следил полисмен. Испитые лица и слишком легкий наряд трех женщин были особенно заметны на ярком утреннем солнце, и их вымученный смех звучал тем фальшивее, чем беспечнее хохотали молодые люди, время от времени, развлечения ради, принимаясь тормошить хозяина этой странствующей кофейни.

Мистер Перси Ноукс быстро прошагал мимо, и когда он свернул на Стрэнд-лейн и увидел впереди поблескивающие воды Темзы, он подумал, что никогда еще не чувствовал себя таким бодрым и незаменимым.

— Лодку, сэр? — крикнул один из троих мужчин, которые, посвистывая, протирали свои лодки.— Подать, что ли?

— Нет! — отрезал мистер Перси Ноукс, ибо тон, которым был задан вопрос, отнюдь не свидетельствовал о почтении к его особе.

— Не прикажете ли подать яхту, сэр? — осведомился другой к величайшему удовольствию всех прочих.

Мистер Перси Ноукс ответил на это только презрительным взглядом.

— Вам на пароход, сэр? — доверительно спросил старый лодочник, одетый в красную полинялую куртку — точь-в-точь такого цвета, как обложка на очень захватанном адрес-календаре придворной знати.

— Да, да, и поживее! На борт «Усердия», у таможни.

— «Усердие»? — переспросил лодочник, предложивший яхту.— Да он с полчаса как ушел. Своими глазами видел.

— И я видел,— подхватил второй,— давно ушел, а теперь небось уже ко дну пошел, потому франтов и дамочек в него набилось — просто страсть!

Мистер Перси Ноукс притворился, что не слышит насмешек, и ступил в лодку, которую старик, согнувшись в три погибели, с превеликим трудом подтолкнул к мосткам. «Отчаливай!» — крикнул мистер Перси Ноукс, усевшись на только что вытертую банку, и лодка заскользила

вниз по реке. Но один из лодочников, стоявших у лестницы, еще успел предложить мистеру Перси Ноуксу пари, что тот «ни в жисть не доберется до таможни».

— Ну вот и он! — радостно воскликнул мистер Перси Ноукс, когда лодка подошла к «Усердию».

— Стой! — крикнул с палубы стюард, и мистер Перси Ноукс прыгнул на борт.

— Надеюсь, вы останетесь довольны, сэр. Смотрите, какой он нынче красавец.

— И верно красавец! — воскликнул мистер Перси Ноукс вне себя от восхищения.

Палуба была вымыта, и скамейки были вымыты, и была отдельная скамья для оркестра, и площадка для танцев, и целая груда складных стульев, и парусиновый навес; потом мистер Перси Ноукс спустился вниз — и там суетились повара и кондитеры, а жена стюарда готовила к обеду два стола, расставленных во всю длину каюты; потом мистер Перси Ноукс, скинув сюртук, энергично взялся за работу в полной уверенности, что всем помогает, а на самом деле без всякой пользы путаясь под ногами; наконец, он совсем упарился, и жена стюарда хохотала над ним до слез. Потом зазвонил колокол на пристани у Лондонского моста; отходил пароход на Маргет, и отходил пароход на Грейвзенд, и люди что-то кричали, носильщики сбегали вниз по лестнице с ношей, которую могут выдержать только носильщики; между пароходом, стоявшим у причала, и вторым пароходом, стоявшим за первым, перекинули мостки, и пассажиры бегали по ним, словно взъерошенные куры, выпущенные из курятника; а потом, среди невообразимой суеты и путаницы, колокол умолк, мостки убрали и пароходы отвалили.

Между тем время шло. В половине девятого кондитеры и повара съехали на берег; приготовления к обеду были закончены; мистер Перси Ноукс запер дверь каюты, а ключ положил в карман, дабы накрытые столы могли внезапно предстать перед очами изумленных гостей во всем своем великолепии. Вскоре на борт явился оркестр, а также и вино.

Без десяти девять прибыл комитет в полном составе. Мистер Харди щеголял в подобающем случаю наряде —

голубой кургузый жакетик, голубой жилет, белые штаны, шелковые чулки и легкие туфли; на голове — соломенная шляпа, под мышкой — огромная подзорная труба; молодой человек в зеленых очках надел нанковые невыразимые и нанковый жилет с блестящими пуговицами, точь-в-точь как рисуют Павла — только не апостола, а возлюбленного юной Виргинии *. Остальные члены комитета, облаченные в белые цилиндры, светлые сюртуки, жилетки и панталоны, смахивали не то на официантов, не то на вест-индских плантаторов.

Пробило девять часов, и гости повалили косяками. Мистер Сэмюел Бригс и миссис Бригс с дочерьми прибыли отдельно в кокетливом ялике. Три гитары в темно-зеленых футлярах и две увесистые папки с нотами, рассчитанные, видимо, на целую неделю непрерывных занятий музыкой, были бережно убраны в трюм. Семейство Тоунтон явилось в ту же минуту, вооруженное своими инструментами и прихватив с собой молодого джентльмена, обладающего густым голосом и реденькими рыжими усами. Тоунтоны избрали для себя розовую масть, Бригсы — небесно-голубую. Тоунтоны разукрасили свои шляпки цветами: тут Бригсы несомненно добились преимущества — на их шляпках развевались перья.

— Как поживаете, дорогая? — приветствовали девицы Бригс девиц Тоунтон. (Обращение «дорогая» между девицами нередко равнозначно слову «дрянь».)

— Спасибо, дорогая, превосходно,— отвечали девицы Тоунтон девицам Бригс; засим последовали рукопожатия, излияния чувств и поцелуи, словно оба семейства связывала нежнейшая дружба и вовсе одно не сгорало желанием выкинуть за борт другое — хотя дело обстояло именно так.

Гостей принимал мистер Перси Ноукс; он церемонно поклонился незнакомому гостю, всем своим видом показывая, что желал бы знать, с кем имеет честь. Миссис Тоунтон только этого и ждала: вот удобный случай посрамить Бригсов.

— Ах, простите! — самым небрежным тоном заговорила предводительница отряда Тоунтонов.— Капитан Хелвс — мистер Перси Ноукс, миссис Бригс — капитан Хелвс.

Мистер Перси Ноукс поклонился очень низко: капитан ответил тем же с подобающей воинственностью. Бригсы явно приуныли.

— Так как наш друг, мистер Уизл, к сожалению, не мог сопровождать вас,— продолжала миссис Тоунтон,— я пригласила вместо него капитана, чей музыкальный талант, несомненно, доставит нам всем величайшее удовольствие.

— От имени комитета,— сказал Перси,— я выражаю вам благодарность, а вас, сэр, приветствую (тут оба опять поклонились и шаркнули ножкой). Но что же мы стоим? Прошу вас, пройдемте на корму. Капитан, вы, конечно, не откажетесь повести мисс Тоунтон. Мисс Бригс, разрешите?

— Где они выкопали этого солдафона? — шепнула миссис Бригс своей дочери, следуя за остальными на корму.

— Понятия не имею,— со злобой ответила мисс Кэт: свирепый взор, коим храбрый воин окинул гостей, яснее слов говорил о том, какая это важная особа.

Лодка за лодкой подходила к пароходу, гость за гостем поднимался на борт. Список приглашенных был тщательно сбалансирован: мистер Перси Ноукс считал, что равное число дам и кавалеров столь же обязательно, как и равное число ножей и вилок на обеденных столах.

— Больше некого ждать? — спросил мистер Перси Ноукс. Члены комитета (у которых руки повыше локтя были туго перевязаны голубой лентой, словно перед кровопусканием), порыскав кругом, доложили, что все в сборе и можно отправляться.

— Поднять якорь! — крикнул шкипер с кожуха гребного колеса.

— Поднять якорь! — повторил юнга, поставленный над люком для передачи распоряжений механику; и «Усердие» двинулся в путь, издавая все свойственные пароходам приятнейшие звуки, как-то: скрип, плеск, звон и храп.

— Эй-эй-эй-э-э-эй! — раздался вопль за кормой: кричали с лодки, шедшей в четверти мили от парохода.

— Сбавить ход! — крикнул шкипер.— Это ваши гости, сэр?

— Вот тебе на! — воскликнул Харди, который не отрываясь разглядывал в подзорную трубу все дальние и ближние предметы.— Ноукс, это Флитвуды и Уэкфилды... и, о господи!.. с ними двое детей!

— Как не стыдно людям! Привозить с собой детей! — послышалось со всех сторон.— Просто нахальство!

— Знаете что? Давайте притворимся, что не слышим их? Вот будет потеха! — предложил Харди под шумное одобрение всех присутствующих. Срочно был созван военный совет и вынесено решение: новых гостей принять на борт, ввиду того что мистер Харди торжественно поклялся дразнить детей до самого конца прогулки.

— Стоп! — крикнул шкипер.

— Стоп! — повторил юнга; пар вырвался с оглушительным свистом, и все девицы, словно по команде, хором завизжали. Успокоились они лишь после того, как отважный капитан Хелвс заверил их, что выхлоп пара, коим сопровождается остановка судна, редко приводит к значительным потерям человеческих жизней.

Двое матросов подбежали к перилам; они долго кричали, бранились, цепляли багром за борт лодки и, наконец, мистера Флитвуда с супругой и сыном и мистера Уэкфилда с супругой и дочерью благополучно водворили на палубу. Девочке было лет шесть, мальчику — года четыре; ее нарядили в белое платье с розовым поясом и плохо выглаженную кофточку; соломенную шляпку покрывала зеленая вуаль — шесть дюймов на три с половиной; мальчик был в нанковом платьице, и между подолом и краем клетчатых носков виднелись голые, не очень чистые икры; на голове торчал голубой картузик с золотым галуном и кисточкой, а в руке он держал обсосанный имбирный пряник, оставивший лепные украшения на его щеках.

Пароход снова двинулся, оркестр заиграл «В путь, друзья», гости, разбившись на группы, весело болтали между собой. Почтенные старики парами шагали по палубе с таким сосредоточенным упорством, словно состязаясь на приз в стойкости и выносливости. Пароход быстро шел вниз по реке. Мужчины показывали дамам доки, портовый полицейский участок и другие изящные общественные здания, а девицы, как полагается, вскрикивали от

ужаса при виде лебедок и кранов, поднимавших уголь и прочие грузы. Мистер Харди рассказывал замужним дамам анекдоты, а те хохотали до упаду, закрываясь платочками, хлопали его веером по руке, называли «шалуном, бесстыдником» и так далее; а капитан Хелвс походя описывал битвы и дуэли с такой кровожадностью, что снискал восхищение всех женщин и возбудил черную зависть мужчин. Начались танцы; капитан Хелвс пригласил сперва мисс Эмили Тоунтон, затем мисс Софи Тоунтон. Миссис Тоунтон была на седьмом небе. Победа казалась окончательной, но увы! — о мужское непостоянство! Отдав дань вежливости, капитан занялся одной мисс Джулией Бригс и, протанцевав с ней три раза подряд, уже не отходил от нее весь день.

После того как мистер Харди с блеском исполнил двети фантазии на губной гармонике и несколько раз повторил остроумную шутку — незаметно подкравшись к кому-нибудь из членов комитета, мелом начертить на его спине огромный крест,— мистер Перси Ноуке выразил надежду, что присутствующие среди гостей любители музыки порадуют общество своими талантами.

— Может быть,— сказал он вкрадчиво,— капитан Хелвс не откажет нам в удовольствии?..— Миссис Тоунтон просияла, ибо капитан умел петь только дуэты и, следовательно, поневоле должен был петь с одной из ее дочерей.

— Поверьте,— начал храбрый воин,— я почел бы за счастье, но...

— Ах, пожалуйста! — запищали девицы.

— Мисс Эмили, не угодно ли вам исполнить дуэт с капитаном?

— О, с удовольствием,— ответила сия девица, хотя тон, которым это было сказано, свидетельствовал о прямо противоположных чувствах.

— Хотите, я буду аккомпанировать вам, дорогая? — предложила одна из барышень Бригс с явным намерением испортить все дело.

— Премного благодарны, мисс Бригс,— резко оборвала ее миссис Тоунтон, разгадавшая маневр неприятеля.— Мои дочери всегда поют без аккомпанемента.

— И без голоса,— негромко хихикнула миссис Бригс.

— Пожалуй,— сказала миссис Тоунтон, побагровев от злости, ибо она, хоть и не расслышала язвительного замечания, но верно поняла его смысл,— пожалуй, было бы лучше, если бы кой у кого голос звучал не так внятно для других.

— Пожалуй,— парировала миссис Бригс,— если бы молодые люди, похищенные для того, чтобы оказывать знаки внимания дочерям некиих особ, не обнаруживали довольно вкуса и не оказывали знаков внимания дочерям других особ, то некии особы не проявляли бы столь неудержимо свой скверный характер,— чем они, хвала господу, заметно отличаются от других особ.

— Особы! — воскликнула миссис Тоунтон.

— Особы,— подтвердила миссис Бригс.

— Нахалка!

— Выскочка!

— Тише! тише! — зашикал на них мистер Перси Ноукс, оказавшийся в числе тех немногих, кто слышал этот обмен любезностями.— Тише, прошу вас, давайте слушать дуэт.

Капитан долго гудел и подвывал, пробуя голос, и, наконец, запел арию из оперы «Павел и Виргиния», беря все более и более низкие ноты, так что казалось, он дойдет до бог весть какой глубины, откуда ему ни за что не выбраться. Такое мычание в любительских музыкальных кругах зачастую называют «петь басом».

Гляди,— пел капитан,— из бездны океана
Встает в огне светило дня,
И звуки, что несутся над волнами...

Но тут певец оборвал свою арию, ибо не над волнами, а у правого борта за гребным колесом вдруг послышались душераздирающие вопли.

— Мое дитя! — взвизгнула миссис Флитвуд.— Мое дитя! Это его голос!

Мистер Флитвуд и другие мужчины бросились туда, откуда неслись вопли, а остальное общество испустило дружный крик ужаса: все были уверены, что несчастный ребенок угодил либо головой в воду, либо ногами в колесо.

— Что с тобой? — спрашивал встревоженный отец, возвращаясь с ребенком на руках.

— Ой, ой, ой! — стонал маленький страдалец.

Что с тобой, милый? — допытывался отец, лихорадочно стаскивая нанковое платьице, в надежде, что хоть одна косточка его малолетнего сына осталась целой.

— Ой, ой, боюсь!

— Чего, дорогой мой, чего ты боишься? — спросила мать, стараясь успокоить прелестного малютку.

— Ай! Он такие страшные рожи корчил! — закричал мальчик, судорожно всхлипывая, и снова, при одном воспоминании, поднял отчаянный рев.

— Кто же это, кто? — спрашивали все, теснясь вокруг него.

— Он! — ответил мальчик, показывая пальцем на Харди, который делал вид, что взволнован больше всех.

Тут истина молнией озарила умы всех присутствующих, за исключением Флитвудов и Уэкфилдов. Затейник Харди, верный данному слову, выследил ребенка в отдаленной части судна и, появившись внезапно перед ним, насмерть испугал его своими ужасающими гримасами. Мистер Харди, разумеется, заявил, что даже не считает нужным опровергать столь явную напраслину, и злополучную маленькую жертву увели вниз, причем папенька и маменька предварительно наградили сына щелчками за то, что он, негодник, осмелился морочить взрослых.

После того как эта небольшая помеха была устранена, капитан и мисс Эмили исполнили прерванный было дуэт; им шумно аплодировали, и надо сказать, что полная независимость партнеров друг от друга заслуживала всяческой похвалы. Мисс Эмили спела свою партию, нимало не считаясь с капитаном; а капитан пел так громко, что не имел ни малейшего понятия о том, что делает его партнерша. Поэтому последние восемнадцать — девятнадцать тактов он исполнил соло, после чего поблагодарил публику с той нарочитой скромностью, какую люди обыкновенно напускают на себя, когда им кажется, что они сумели поразить своих ближних.

— А теперь,— сказал мистер Перси Ноукс, который только что возвратился из носовой каюты, где переливал вино в графины,— если мисс Бригс чем-нибудь пора-

дуют нас в ожидании обеда, мы будем им весьма признательны.

Слова его были встречены восторженным гулом, как это часто бывает в обществе, когда никто толком не знает, что, собственно, должно вызвать всеобщее одобрение. Три девицы Бригс смиренно посмотрели на свою маменьку, маменька горделиво посмотрела на дочерей, а миссис Тоунтон с презрением посмотрела на всех четверых. По просьбе девиц несколько джентльменов кинулись за гитарами и так усердствовали, что зеленые футляры серьезно пострадали. Засим появилось три умилительно маленьких ключика к вышеозначенным футлярам, и — о ужас! — оказалось, что одна струна лопнула; тут началось завинчивание, натягивание, закручивание и настраивание, а в это время миссис Бригс разъясняла всем и каждому, как страшно трудно играть на гитаре, и тонко намекала на блестящие успехи, достигнутые ее дочерьми в этом волшебном искусстве. Миссис Тоунтон шепнула соседке, что «просто слушать тошно!» — а девицы Тоунтон всем своим видом показывали, будто сами отлично умеют играть на гитаре, но считают это ниже своего достоинства.

Наконец, девицы Бригс приступили к делу. Они исполнили новый испанский опус для трех голосов и трех гитар. Публика слушала точно наэлектризованная. Все взоры устремились на капитана, ибо он, как стало известно, побывал однажды со своим полком в Испании и, следовательно, обязан был хорошо знать музыку этой страны. Капитан пришел в неописуемый восторг. Это послужило сигналом: по требованию публики трио бисировали; сестрам Бригс устроили овацию, и Тоунтоны были окончательно посрамлены.

— Браво! браво! — кричал капитан.— Браво!

— Мило, не правда ли, сэр? — обратился к нему мистер Сэмюел Бригс небрежным тоном антрепренера, знающего себе цену. Кстати, это были первые слова, произнесенные им с тех пор, как он накануне вечером покинул Фарнивалс-Инн.

— О-ча-ровательно! — с чувством сказал капитан, крякнув по-военному.— О-ча-ровательно!

— Прелестный инструмент! — сказал лысый старичок, который все утро тщетно пытался рассмотреть что-

нибудь в подзорную трубу, куда мистер Харди засунул большую черную облатку.

— А португальский бубен вы когда-нибудь слышали? — спросил сей неугомонный шутник.

— А вы, сэр, вы слышали там-там? — сурово осведомился капитан Хелвс, никогда не упускавший случая похвастать своими странствиями — подлинными или вымышленными.

— Что-о? — растерянно переспросил Харди.

— Там-там.

— Никогда!

— А гам-гам?

— Никогда!

— А что такое — гам-гам? — хором запищали девицы.

— Когда я был в Ост-Индии,— начал капитан (какое открытие — он побывал даже в Ост-Индии!),— я однажды заехал на несколько тысяч миль в глубь страны, чтобы погостить у своего закадычного друга. Расчудесный был малый; звали его Ба Ран Чаудар Дос Мазут Бульвар. Вот сидим мы как-то вечерком на прохладной веранде, курим кальяны; и вдруг появляются тридцать четыре кит-магара (у него был целый штат прислуги) и столько же умба-заров, с грозным видом подступают прямо к дому и бьют в там-там. Ба Ран вскакивает...

— Кто-кто? — переспросил лысый старичок, вытягивая шею.

— Ба Ран... Ба Ран Чаудар...

— Ах, простите! — сказал старичок.— Продолжайте, пожалуйста.

— Он вскакивает, выхватывает пистолет и говорит мне: «Хелвс, дружок мой,— он всегда так называл меня,— слышишь ли ты там-там?» — «Слышу»,— отвечаю я. Лицо его, бледное как полотно, вдруг страшно исказилось, дрожь потрясла все его тело. «Ты видишь этот гам-гам?» — спросил он. «Нет, не вижу»,— отвечаю я, озираясь вокруг. «Не видишь?» — говорит. «Нет, говорю, провалиться мне на этом месте, не вижу. Мало того — я даже не знаю, что такое гам-гам». Ба Ран зашатался, я думал — он вот-вот упадет. Потом отвел меня в сторону и с невыразимой мукой прошептал...

— Кушать подано,— провозгласила жена стюарда.

— Вы позволите? — сказал капитан, подставив руку калачиком мисс Джулии Бригс, и повел ее в каюту, нимало не смущаясь тем, что оборвал свой рассказ на полуслове.

— Какое необыкновенное происшествие! — воскликнул лысый старичок, все еще вытягивая шею.

— Какой отважный путешественник! — прощебетали девицы.

— Какое странное имя! — сказали мужчины, несколько сбитые с толку столь откровенным враньем.

— Все-таки жаль, что он не успел докончить,— заметила одна старая леди.— Хотелось бы услышать, что же такое этот гам-гам.

— Вздор! — вскричал, приходя в себя, онемевший было от изумления Харди.— Уж не знаю, что такое гам-гам в Индии, но у нас, сдается мне, это очень похоже на об-ман.

— Вот злюка! Вот завистник! — раздалось со всех сторон, и гости пошли к столу, потрясенные рассказом, нимало не сомневаясь в истинности сверхъестественных приключений капитана Хелвса. До самого конца прогулки он оставался признанным героем дня: бесстыдство и таинственность — наивернейшие средства снискать славу в любом обществе.

Между тем пароход достиг намеченной цели и пустился в обратный путь. Ветер, весь день дувший в спину, теперь хлестал прямо в лицо; погода испортилась; небо, вода, берега реки — все приобрело тот мрачный свинцово-серый цвет, в какой маляры красят входные двери, прежде чем покрыть их более веселым колером. Дождь, моросивший уже с полчаса, теперь превратился в настоящий ливень. Ветер быстро крепчал, и рулевой выразил уверенность, что скоро разразится шторм. Время от времени пароход слегка сотрясался, как бы предостерегая, что, ежели ветер усилится, качка может стать весьма неприятной; уже громко скрипело дерево, словно то был не пароход, а полная до верху бельевая корзина. Но морская болезнь — нечто вроде боязни привидений: каждый в душе побаивается их, но лишь немногие сознаются в своем суеверии. Поэтому общество усиленно притворялось, что

чувствует себя превосходно, хотя на самом деле всех изрядно мутило.

— Кажется, дождик идет? — вопросил любознательный лысый старичок, когда после долгой толкотни и давки все уселись за стол.

— Как будто накрапывает,— ответил мистер Перси Ноукс, едва слыша свой голос сквозь стук дождевых капель по палубе.

— Кажется, ветер поднялся? — осведомился кто-то.

— Да нет, пустяки,— возразил Харди, страстно желая внушить самому себе эту уверенность, ибо он сидел возле двери и его чуть не сдувало со стула.

— Сейчас прояснится,— беспечным тоном посулил мистер Перси Ноукс.

— Разумеется! — воскликнули в один голос члены комитета.

— Никаких сомнений! — подхватили остальные и, обратив все свое внимание на обед, усердно принялись резать, жевать, пить вино и так далее.

Вибрация паровой машины весьма ощутимо давала себя знать. Баранья нога на большом блюде в конце стола дрожала как бланманже; увесистый кусок сочного ростбифа судорожно дергался, словно его разбил паралич, а телячьи языки, помещенные в слишком просторные тарелки, вели себя чрезвычайно странно: они сновали взад и вперед, кидались во все стороны, точно муха в перевернутом стакане. Фаршированные голуби явно пытались втянуть в себя торчащие наружу лапки; а что касается кремов и желе, то их так трясло и мотало, что все отказались от мысли помочь им. Стол трепетал и подскакивал, как пульс у тяжелобольного, даже ножки стола била лихорадка,— словом, все ходило ходуном. Балки на потолке каюты, казалось, имели одно назначение — доводить людей до головной боли, что не преминуло отразиться на расположении духа некоторых старых джентльменов. И сколько бы раз стюард ни поднимал кочергу и каминные щипцы, они неуклонно падали на пол; и чем больше леди и джентльмены силились поудобнее расположиться на стульях, тем упорнее стулья уползали изпод леди и джентльменов. То там, то сям раздавался зловещий голос, требующий рюмку бренди; физиономии



гостей все больше вытягивались; один джентльмен вдруг без всякой видимой причины выскочил из-за стола и с непостижимой резвостью бросился наверх, что привело к тяжелым последствиям и для него самого и для стюарда, который как раз спускался вниз.

Скатерть убрали, подали десерт, наполнили бокалы. Качка постепенно усиливалась; у многих глаза помутнели, словно они только что проснулись и еще не пришли в себя. Молодой человек в зеленых очках, который вот уже с полчаса — как огонь на вращающемся маяке — то разгорался, то угасал, имел неосторожность заявить о своем желании провозгласить тост. После нескольких безуспешных попыток сохранить вертикальное положение, ему, наконец, удалось как-то зацепиться левой рукой за среднюю ножку стола. Речь свою он начал так:

— Леди и джентльмены! Среди нас находится один гость, я позволю себе сказать — один незнакомец (тут, видимо, какая-то мучительная мысль поразила оратора, ибо он умолк и состроил весьма кислую мину), чьи таланты и странствия, чья общительность и...

— Минуточку, Эдкинс,— торопливо прервал его мистер Перси Ноукс.— Харди, что с вами?

— Ничего,— коротко ответил тот, явно не имея сил произнести больше трех слогов подряд.

— Хотите выпить бренди?

— Нет! — с негодованием сказал Харди; вид у него при этом был столь же жизнерадостный, как у Темпл-Бара в густой туман под моросящим дождем.— С какой стати мне пить бренди?

— Хотите подняться на палубу?

— Нет, не хочу.

Лицо Харди выражало твердую решимость, а голос мог сойти за подражание чему угодно: он одинаково походил на писк морской свинки и на звуки фагота.

— Прошу прощения, Эдкинс,— учтиво извинился мистер Перси Ноукс.— Мне показалось, что нашему другу нехорошо. Пожалуйста, продолжайте.

Молчание.

— Пожалуйста, говорите дальше.

— Дальше некуда! — крикнул кто-то.

— Виноват, сэр,— сказал стюард, подбегая к мистеру Перси Ноуксу,— но сейчас на палубу выскочил молодой человек — это который в зеленых очках — прямо на себя не похож; и там еще другой, что на скрипке играл, так он говорит, чтобы ему дали бренди, иначе он ни за что не ручается. Говорит, несчастные его жена и дети, останутся они без пропитания, ежели у него лопнет жила, а она того и гляди лопнет. Флажолету было очень плохо, но теперь полегчало, только пот с него льется — глядеть страшно.

Дольше скрывать правду было бесполезно: все общество поплелось на палубу; мужчины старались не видеть ничего, кроме неба, а женщины, натянув на себя все имевшиеся при них плащи и шали, лежали на скамейках или под ними в самом жалком состоянии. Такого шторма и ливня, такой тряски и качки еще не знавали участники ни одной увеселительной прогулки. Несколько протестов было направлено вниз по поводу малолетнего сына Флитвудов, но они не возымели решительно никакого действия ввиду недомогания его естественных покровителей. Этот очаровательный ребенок орал благим матом до тех пор, пока не остался без голоса, после чего заревела малолетняя дочь Уэкфилдов и уже не умолкала до самого приезда.

Что касается мистера Харди, то часа через два после обеда его нашли на палубе погруженным — судя по принятой им позе — в созерцание быстротекущих вод; но одно обстоятельство слегка встревожило друзей «смешного господина»: неумеренная любовь к красотам природы, видимо, заставляла его слишком долго стоять с опущенной головой, что вообще очень вредно, а тем паче для человека апоплексического сложения.

До таможни общество добралось только к двум часам ночи; все были измучены и удручены. Тоунтоны чувствовали себя так скверно, что не имели сил ссориться с Бригсами, а Бригсы так устали, что были не в состоянии досаждать Тоунтонам. Один из зеленых футляров пропал при посадке в наемную карету, и миссис Бригс без обиняков заявила, что подкупленный миссис Тоунтон носильщик зашвырнул его в какой-нибудь подвал. Мистер Александер Бригс стал ярым противником баллотировки, он говорит, что на собственном опыте убедился в несостоя-

тельности такой процедуры; а мистер Сэмюел Бригс, когда его просят высказать свою точку зрения на сей предмет, отвечает, что таковой у него не имеется ни относительно баллотировки, ни чего-либо другого.

Мистер Эдкинс — молодой человек в зеленых очках — не упуская ни единого мало-мальски удобного случая, произносит спичи, равно блещущие красноречием и длиной. Если только его раньше не возведут в сан судьи, он, вероятно, будет выступать на процессах в Новом центральном уголовном суде.

Капитан Хелвс продолжал ухаживать за мисс Джулией Бригс и, быть может, даже женился бы на ней, но, к несчастью, мистер Сэмюел, по распоряжению своих клиентов, господ Скроггинс и Пейн, вынужден был отстранить его от дел, ибо доблестный воин хоть и милостиво согласился взимать суммы, причитающиеся этой фирме, однако по легкомыслию и беспечности, свойственным некоторым воинственным натурам, не удосужился вести счета с той педантичной точностью, которой требует общепринятый обычай. Миссис Тоунтон жалуется, что горько разочаровалась в нем. Он познакомился с ее семейством на пакетботе, идущем в Грейвзенд, и уж в силу этого должен бы оказаться человеком добропорядочным.

Мистер Перси Ноукс по-прежнему безмятежен и весел.

ГЛАВА VIII

Дуэль в Грейт-Уинглбери

Городок Грейт-Уинглбери отстоит ровно на сорок две и три четверти мили от восточного угла Гайд-парка. В нем есть длинная, кривая, мирная Главная улица с громадными черно-белыми часами на маленькой красной ратуше, что стоит примерно на полпути от одного ее конца до другого, есть Рыночная площадь, тюрьма, городской дом публичных собраний, церковь, мост, часовня, театр, библиотека, гостиница, колодец с насосом и почта. Предание гласит, что где-то, примерно в двух милях в сторону, некогда существовал Литл-Уинглбери и, судя по тому, что в

залитом солнцем окне уинглберийской почты долго был выставлен до востребования, пока, наконец, не рассыпался в прах от ветхости, грязный сложенный вчетверо листок бумаги, первоначально, по-видимому, имевший назначение письма с надписанными сверху бледными каракулями, в которых пылкое воображение могло уловить отдаленное сходство со словом «Литл»,— предание сие не лишено некоторых оснований. Общественное мнение склонно приписывать это название некоему тупичку в самом конце грязного переулка длиной примерно в две мили, в каковом тупичке прочно обосновались колесных дел мастер, четверо нищих и пивная; но даже и этот не вполне убедительный довод требует серьезной проверки, поскольку обитатели вышеупомянутого тупичка единогласно утверждают, что он никогда, спокон веков и до наших дней, не имел никакого названия.

«Герб Уинглбери» в середине Главной улицы, напротив маленького здания с большими часами,— лучшая гостиница в городе. Это — гостиный двор, почтовая станция и акцизная контора, зала заседаний Синих при каждых выборах и судебная камера во время выездных сессий. Это — постоянное место встречи Синих джентльменов, членов карточного клуба Вист, называемых так в отличие от Желтых джентльменов, членов другого карточного клуба, собирающихся в другой гостинице, несколько подальше. А когда в Грейт-Уинглбери заезжает какой-нибудь совершающий турне фокусник, или содержатель паноптикума, или музыкант,— сейчас же по всему городу расклеиваются афиши, объявляющие, что мистер такой-то, «полагаясь на великодушную поддержку жителей Грейт-Уинглбери, оказываемую ими всегда с такой щедростью, снял, не считаясь с расходами, прекрасную вместительную залу собраний в «Гербе Уинглбери». Гостиница занимает большое здание с каменным фасадом, отделанным красным кирпичом; в глубине красивого просторного вестибюля, украшенного вечнозелеными растениями, виднеется стойка и прилавок под стеклом, где самые отменные деликатесы, уже приготовленные для закуски, пленяют взор посетителя, едва только он переступит порог, и разжигают до крайности его аппетит. Двери справа и слева ведут в кофейню и в комнату для разъездных торговых агентов, а

широкая пологая лестница,— три ступеньки — площадка, четыре ступеньки — площадка, одна ступенька — площадка, полдюжины ступенек и опять площадка и так далее,— ведет в коридоры спальных номеров и в лабиринты гостиных, именуемых «отдельными», где вам предоставляется чувствовать себя столь отдельно, сколь это возможно в таком заведении, где через каждые пять минут какая-нибудь личность, ошибившись дверью, вваливается в вашу комнату и, оторопело выскочив обратно в коридор, открывает на ходу по очереди все двери, пока, наконец, не попадет в собственную.

Таков «Герб Уинглбери» по сие время, и таков он был и в ту пору, когда... неважно когда — ну, скажем, за две-три минуты до прибытия лондонской почтовой кареты. Четыре лошади, покрытые попонами — готовая смена почтовых — стояли в углу двора, вокруг них столпилась кучка праздных форейторов в блестящих шляпах и длинных балахонах, деловито обсуждая достоинства сих четвероногих; с десяток маленьких оборвышей топтались чуть-чуть поодаль, слушая с явным интересом разговоры этих почтенных личностей, а несколько зевак собралось вокруг лошадиной кормушки, дожидаясь прибытия почтовой кареты.

День был жаркий, солнечный; городок пребывал в зените своей спячки, и, за исключением этих немногих праздношатающихся, не видно было ни одной живой души. Внезапно громкие звуки рожка нарушили сонную тишину улицы, и почтовая карета, подскакивая на неровной мостовой, подкатила с оглушительным грохотом, от которого, казалось, должны были бы остановиться даже громадные городские часы. Верхние пассажиры спрыгнули с империала, все окошки поднялись, из гостиницы выскочили лакеи, а конюхи, зеваки, форейторы, уличные мальчишки забегали взад и вперед, словно наэлектризованные, и, поднимая самую невообразимую сутолоку, судорожно принялись отстегивать, распутывать, развязывать, выпрягать лошадей, которые только того и ждали, и впрягать других, которые всячески упирались.

— В карете, внутри, дама,— сказал кондуктор.

— Прошу вас, мэм,— сказал слуга.

— Номер с отдельной гостиной? — спросила дама.

— Разумеется, мэм,— ответила горничная.

— Ничего, кроме этих сундуков, мэм? — осведомился кондуктор.

— Да, больше ничего,— подтвердила дама.

И вот пассажиры уже снова сидят на империале, кучер и кондуктор на своих местах, с лошадей сдергивают попоны. «Готово!» — раздается крик, и карета трогается. Зеваки стоят несколько минут посреди дороги, глядя вслед удаляющейся карете, потом один за другим расходятся. И на улице снова ни души, и городок после всей этой суматохи погружается в еще более непробудную тишину.

— Проводите даму в двадцать пятый номер,— кричит хозяйка.— Томас!

— Да, мэм!

— Вот письмо джентльмену из девятнадцатого номера. Посыльный принес, из «Льва». Ответа не требуется.

— Вам письмо, сэр,— сказал Томас, кладя письмо на стол приезжего в девятнадцатом номере.

— Мне? — переспросил номер девятнадцатый, обернувшись от окна, из которого он наблюдал только что описанную нами сцену.

— Да, сэр. (Слуги в гостиницах всегда говорят полунамеками и обрывают фразу на полуслове.) Да, сэр. Посыльный из «Льва», сэр. В буфете, сэр. Хозяйка сказала, номер девятнадцать. Александер Тротт, эсквайр, сэр? Ваша карточка... заказ в буфете... не так ли, сэр?

— Да, моя фамилия Тротт,— сказал номер девятнадцатый, распечатывая письмо.— Можете идти.

Слуга опустил штору на окне, потом поднял ее,— порядочный слуга всегда считает своим долгом сделать что-нибудь, прежде чем выйти из номера,— подвигал стаканы на столе, смахнул пыль там, где ее не было, потом очень сильно потер руки, крадучись подошел к двери и исчез.

Письмо, по-видимому, заключало в себе нечто если и не совсем неожиданное, то во всяком случае крайне неприятное. Мистер Александер Тротт положил его на стол, потом снова взял в руки и зашагал по комнате, стараясь наступать на цветные квадраты половика; при этом он даже сделал попытку — правда, неудачную — насвистать какой-то мотивчик. Но и это не помогло. Он бросился в кресло и прочитал вслух следующее послание:

«Голубой Лев и Горячитель Утробы»,
Грейт-Уинглбери

Среда, утром.

Сэр!

Едва только мне стали известны Ваши намерения, я покинул контору и последовал за Вами. Я знаю цель Вашего путешествия. Вам не удастся его завершить.

У меня здесь нет никого из друзей, на чью скромность я мог бы положиться. Однако это не будет препятствием для моего мщения. Эмили Браун будет избавлена от корыстных домогательств всеми презренного негодяя, который внушает ей отвращение, и я не намерен больше терпеть подлые выпады из-за угла от гнусного зонтичника.

Сэр! От Грейт-Уинглберийской церкви идет тропинка. Она ведет через четыре лужка в уединенное место, которое здешние жители называют Гиблая яма (мистера Тротта передернуло). Я буду ждать Вас на этом месте один, завтра утром, без двадцати минут шесть. Если я, к своему огорчению, не увижу Вас там, я доставлю себе удовольствие посетить вас с хлыстом в руке.

Хорэс Хантер.

P. S. На Главной улице есть оружейный магазин, и после того, как стемнеет, они порохом не торгуют. Вы меня понимаете.

P. P. S. Вам лучше не заказывать завтрака до того, как Вы со мною встретитесь. Это может оказаться ненужным расходом».

— Вот бешеная скотина! Я так и знал, что этим кончится! — в ужасе вскричал Тротт.— Я ведь говорил отцу, если только он заставит меня пуститься в эту эскападу, Хантер сейчас же сорвется с места и будет преследовать меня, как Вечный Жид. Уж само по себе худо жениться по приказу стариков, без согласия девушки, а что же теперь подумает обо мне Эмили, если я прибегу к ней сломя голову, спасаясь от этого исчадия ада? Что же мне теперь делать? И что я могу предпринять? Если я вернусь в Лондон, я буду опозорен навеки, лишусь девушки и еще того хуже — лишусь и ее денег. А если я даже

возьму место в дилижансе и поеду к Браунам, Хантер погонится за мной на перекладных. Если же я явлюсь на это место, в эту проклятую Гиблую яму (его опять передернуло), я могу себя считать все равно что мертвым. Я видел, как он стрелял в тире на Пэлл-Мэлл и пять раз из шести попадал прямо во вторую пуговицу жилета этого человечка, а когда ему случалось попасть не туда, так он попадал ему в голову! — И при этом утешительном воспоминании мистер Тротт снова воскликнул: — Что же мне делать?

Долго он сидел, обхватив голову руками, погруженный в мрачные размышления о том, как ему лучше поступить. Разум указывал ему перстом на Лондон, но он представил себе, как разгневается его родитель и как он лишится состояния, которое папаша Браун обещал папаше Тротту дать в приданое за своей дочерью, дабы оно перешло в сундуки сына Тротта. Тогда перст разума ясно указал «к Браунам», но в ушах Тротта раздались угрозы Хорэса Хантера и, наконец, указующий перст начертал ему кровавыми буквами «Гиблая яма»,— и тут в голове мистера Тротта зародился план, который он и решил немедленно привести в исполнение.

Прежде всего он послал младшего коридорного в трактир «Голубого Льва и Горячителя Утробы» с учтивой запиской мистеру Хорэсу Хантеру, в которой давалось понять, что он жаждет разделаться с ним и не преминет доставить себе завтра удовольствие отправить его на тот свет. Затем он написал еще одно письмо и послал за вторым коридорным — их тут держали пару. В дверь тихо постучали. «Войдите!» — сказал мистер Тротт. В дверь просунулась огненно-рыжая голова с одним-единственным глазом, а после повторного «войдите» появилось туловище с ногами, коему принадлежала голова, а засим меховая шапка, принадлежащая голове.

— Вы, кажется, старший коридорный? — спросил мистер Тротт.

— Так точно, старший коридорный,— прохрипел голос из плисового жилета с перламутровыми пуговицами,— то есть я, значит, здешний коридорный, а тот малый у меня на побегушках. Главный коридорный и подкоридорный — вот оно как у нас называется.

— А вы сами из Лондона? — поинтересовался мистер Тротт.

— Извозчиком был,— последовал лаконический ответ.

— А теперь почему бросили ездить? — спросил мистер Тротт.

— Разогнал лошадь да задавил какую-то старуху,— коротко ответил главный коридорный.

— Вы знаете дом здешнего мэра? — осведомился мистер Тротт.

— Еще бы не знать! — многозначительно ответил коридорный, как если бы у него были веские основания помнить этот дом.

— А вы думаете, вы смогли бы доставить туда письмо?

— А что ж тут такого? — сказал коридорный.

— Но только это письмо,— продолжал Тротт, судорожно тиская в одной руке смятую записку с надписанным каракулями адресом, а в другой пять шиллингов,— это анонимное письмо.

— Оно... чего? — переспросил коридорный.

— *Анонимное*. Он не должен знать, от кого оно.

— Ага!.. понимаю,— выразительно подмигнув, ответил слуга, не обнаруживая, впрочем, ни малейшего намерения отказаться от поручения.— Так чтобы, значит, втемную.— И его единственный глаз обежал комнату, словно в поисках потайного фонаря и фосфорных спичек.— Только ведь дело то в том,— продолжал он, отрываясь от поисков и устремляя свой единственный глаз на мистера Тротта,— он ведь у нас из судейских, наш мэр, и застрахован как надо. Ежели у вас против него зуб, не стоит вам поджигать его дом. Провались я на этом месте, коли вы не окажете ему этим превеликую услугу! — И он подавил смешок.

Будь мистер Александер Тротт в другом положении, он немедленно обратился бы к властям предержащим и спустил бы с лестницы этого субъекта, то есть, иными словами, он позвонил бы и потребовал, чтобы хозяин убрал своего коридорного. Но сейчас он ограничился тем, что удвоил чаевые и объяснил, что письмо касается всего-навсего нарушения общественного порядка. Коридорный удалился, торжественно поклявшись не разглашать разговора, а мистер Тротт уселся за стол и принялся погло-

щать жареную рыбу, бараньи котлетки, мадеру и прочее в значительно более спокойном состоянии духа, нежели то, в коем он пребывал до сих пор с момента получения вызова от Хорэса Хантера.

Дама, приехавшая в лондонской почтовой карете, едва успев водвориться в свой двадцать пятый номер и скинуть с себя дорожную мантилью, тотчас же написала записку Джозефу Овертону, эсквайру, стряпчему и мэру Грейт-Уинглбери, прося его безотлагательно явиться к ней по чрезвычайно важному делу, каковая просьба и была удовлетворена немедленно, ибо когда сей почтенный представитель власти читал письмо, глаза у него полезли на лоб и он то и дело прерывал чтение возгласами «черт возьми!» и тому подобными, явно свидетельствующими о его крайнем изумлении, а потом, схватив свою широкополую шляпу, висевшую на положенном ей месте на вешалке в маленькой прихожей, поспешно вышел из дому и зашагал по Главной улице к «Гербу Уинглбери»; в вестибюле этого заведения его встретили хозяйка и толпа почтительных слуг, которые все вместе проводили его наверх по лестнице до самой двери номера двадцать пять.

— Просите! — сказала приезжая дама, когда слуга, постучавшись, доложил ей о приходе джентльмена. И слуга, посторонившись, пропустил гостя.

Леди поднялась с кушетки; мэр шагнул ей навстречу, и оба остановились и с минуту, словно по взаимному уговору, стояли не двигаясь, глядя друг на друга. Мэр видел перед собою пышную, богато одетую даму лет под сорок, а приезжая смотрела на представительного джентльмена, лет на десять постарше ее, в сиреневых штанах, черном сюртуке, галстуке и перчатках.

— Мисс Джулия Мэннерс! — воскликнул, наконец, мэр.— Вы меня просто изумляете!

— Очень нехорошо с вашей стороны, Овертон,— возразила мисс Джулия.— Я вас достаточно давно знаю и не удивилась бы ничему, что бы вы ни сделали, и вы могли бы проявить по отношению ко мне не меньшую учтивость.

— Но убежать, нет, в самом деле, убежать с молодым человеком! — негодующе продолжал мэр.

— Не хотите же вы, в самом деле, чтобы я убежала со стариком!— невозмутимо ответила леди.

— И, наконец, обратиться ко мне, не к кому-нибудь, а именно ко мне, к почтенному человеку, занимающему видное положение,— к мэру города! — чтобы я помогал вам в этой затее,— с раздражением воскликнул Джозеф Овертон и, опустившись в кресло, выхватил из кармана письмо мисс Джулии как бы в подтверждение того, что к нему действительно обратились.

— Ну и что же, Овертон,— возразила леди.— Мне в самом деле нужна ваша помощь, и вы должны мне помочь. При жизни бедного милого мистера Корнберри, который... который...

— Который собирался жениться на вас и не женился, потому что умер, и оставил вам все свое состояние, не обременив его собственной особой,— закончил за нее мэр.

— Да,— слегка покраснев, подхватила мисс Джулия,— но при жизни бедного старичка его состояние было сильно обременено вашим управлением, и я могу сказать только одно — что надо удивляться, как оно не истаяло от чахотки прежде своего владельца. Тогда вы заботились о себе, так вот теперь позаботьтесь обо мне.

Мистер Джозеф Овертон был человек светский и притом же юрист, и поэтому, когда в памяти его вдруг всплыли какие-то смутные воспоминания о тысчонке-другой фунтов стерлингов, нечаянно попавших в его карман, он предупредительно покашлял, любезно осклабился, помолчал и, наконец, спросил:

— Что же вы от меня хотите?

— Я вам скажу,— ответила мисс Джулия.— Я вам сейчас все скажу в двух словах: милейший лорд Питер...

— Это, как я полагаю, и есть тот самый молодой человек,— перебил мэр.

— Это тот самый молодой джентльмен,— поправила леди с многозначительным ударением на последнем слове.— Милейший лорд Питер сильно опасается вызвать неудовольствие своих родных, и поэтому мы сочли за лучшее обвенчаться тайно. Чтобы избежать подозрений, он поехал за город к своему приятелю, достопочтенному Огастесу Флэру в его усадьбу в тридцати милях отсюда и взял с собой только своего любимого грума. Мы условились, что я приеду сюда одна, лондонским дилижансом, а

он оставит свой экипаж с грумом и тоже приедет сюда сегодня, к вечеру.

— Прекрасно,— заметил Джозеф Овертон,— здесь он закажет лошадей, и вы можете отправиться с ним в Гретна-Грин, не нуждаясь ни в присутствии, ни в каком бы то ни было содействии третьего лица.

— Нет,— возразила мисс Джулия.— У нас есть все основания опасаться,— так как лорд Питер пользуется у своих друзей репутацией не очень осмотрительного и благоразумного человека и они знают о его чувствах ко мне,— что они, обнаружив его отсутствие, тут же бросятся в погоню, и как раз в сторону Гретна-Грин, а чтобы избежать погони и не дать им напасть на наш след, я хочу, чтобы здесь в гостинице были предупреждены, что лорд Питер немножко поврежден рассудком, хотя и совершенно безобиден, и что я тайком от него дожидаюсь его приезда сюда, чтобы препроводить его в лечебницу для душевнобольных, скажем,— в Бервик. Мне кажется, если я постараюсь держаться в тени, я, может быть, смогу сойти за его мать.

Мэр подумал, что для нее вовсе не обязательно держаться в тени и нет нужды опасаться, что ее примут за кого-нибудь другого, поскольку она чуть не вдвое старше своего жениха. Но он ничего не сказал, и леди продолжала:

— Обо всем этом мы с лордом Питером уже условились. Но для того, чтобы это выглядело более правдоподобно, я прошу вас оказать нам поддержку, поскольку вы здесь пользуетесь влиянием, и дать понять хозяевам и прислуге гостиницы, почему я увожу этого молодого человека. И так как по нашему замыслу мне нельзя будет увидеться с лордом Питером до того, как он сядет в карету, я хочу, чтобы вы снеслись с ним и сказали ему, что все идет хорошо.

— А он уже приехал? — спросил Овертон.

— Не знаю,— ответила леди.

— А как же я это узнаю? Ведь он, конечно, не запишется в книге для приезжающих под своим настоящим именем?

— Я просила его, чтобы он тотчас же по прибытии уведомил вас письмом,— сказала мисс Мэннерс,— а для большей предосторожности, чтобы никто не мог раскрыть

наши планы, посоветовала ему написать анонимно и как-нибудь так позагадочней, только чтобы дать вам знать, в каком номере он остановился.

— Ах, черт возьми! — вскричал мэр и, вскочив с места, принялся шарить в карманах.— Вот удивительная история! Он уже приехал! И это его загадочное письмо было доставлено мне на дом самым загадочным образом, как раз перед вашим! Я ровно ничего из него не понял, и мне, разумеется, и в голову не пришло бы придавать ему какое-то значение. А! Вот оно! — И Джозеф Овертон вытащил из внутреннего кармана сюртука собственноручное послание Александера Тротта.— Это почерк его светлости?

— О да! — вскричала Джулия.— Какой милый, исполнительный человек! Я, правда, вижу его почерк первый или второй раз, но я знаю, что он пишет очень плохо и размашисто. Ох, уж эти юные аристократы! Ну, вы же знаете, Овертон...

— Да, да, знаю,— перебил мэр.— Лошади, собаки, карты, вино, жокеи, актрисы, кулисы, сигары, конюшни, увеселительные заведения и под конец парламент, палата лордов!.. Так вот что он здесь пишет: «Сэр, некий молодой человек, остановившийся в номере девятнадцатом в «Гербе Уинглбери», намерен совершить завтра рано утром опрометчивый поступок (так, так! это намек на женитьбу). Если вы хоть сколько-нибудь дорожите спокойствием города и сохранением одной, а может быть, и двух человеческих жизней...» Что за дичь! Как это надо понимать?

— Что ему так не терпится вступить в брак, что он не переживет, если это не состоится, как, вероятно, не переживу и я,— с готовностью пояснила леди.

— А, вот что! Ну, этого можно не опасаться. Так вот, значит, «...двух человеческих жизней, вы позаботитесь, чтобы его убрали отсюда сегодня же вечером. (Он хочет уехать немедленно.) Не бойтесь взять это на свою ответственность, ибо завтра настоятельная необходимость вашего вмешательства будет слишком для всех очевидна. Запомните: номер девятнадцать. Фамилия — Тротт. Не медлите, ибо от быстроты ваших действий зависит жизнь или смерть». Да, поистине, выражается он весьма пылко. Так мне, что же, повидаться с ним?

— Да,— ответила мисс Джулия,— и убедите его, чтобы он притворялся получше. Он меня просто пугает. Поговорите с ним, чтобы он был поосторожнее.

— Поговорю,— сказал мэр.

— И поговорите с кем нужно, чтобы все было улажено.

— Поговорю,— повторил мэр.

— Скажите ему, что, по-моему, лошадей лучше заказать на час ночи.

— Хорошо,— сказал мэр, и, досадуя на нелепое положение, в которое поставила его судьба и давнее знакомство, он кликнул слугу, чтобы тот доложил о нем временному обитателю номера девятнадцатого.

Когда слуга, постучавшись, доложил: «Вас желает видеть джентльмен, сэр»,— Тротт опустил стакан с портвейном, который он не спеша попивал, и, вскочив с места, быстро шагнул к окну, словно желая обеспечить себе отступление на случай, если посетитель явится к нему в образе и подобии Хорэса Хантера. Но когда взор его упал на Джозефа Овертона, все его страхи рассеялись. Он вежливо предложил незнакомцу стул. Слуга, погремев некоторое время графином и стаканами, соизволил удалиться, а Джозеф Овертон, положив рядом с собой на соседний стул свою широкополую шляпу и слегка наклонившись вперед, приступил к деловому разговору, начав очень тихо и осторожно:

— Милорд...

— Как! Что? — воскликнул Александер Тротт, уставившись на него тупым, остолбенелым взглядом разбуженного лунатика.

— Ш-ш... Ш-ш...— мягко остановил его осторожный стряпчий.— Ну, разумеется... ясно... никаких титулов. Моя фамилия Овертон, сэр.

— Овертон?

— Да, я здешний мэр. Вы мне прислали сегодня письмо, анонимную записку.

— Я, сэр? — спросил Тротт с плохо разыгранным удивлением, потому что, как ни труслив он был, он сейчас с радостью отрекся бы от этого письма.— Я, сэр?

— Да, вы, сэр. А разве нет? — возразил Овертон, раздраженный этой чрезмерной и, как ему казалось, совер-

шенно излишней подозрительностью.— Либо это писали вы, либо кто-то еще. Если это письмо от вас, мы можем сейчас спокойно поговорить о деле. А если нет, тогда, конечно, мне с вами не о чем разговаривать.

— Постойте, постойте,— сказал Тротт,— это мое письмо, я написал его. Что же мне оставалось делать, сэр? Друзей у меня здесь нет.

— Ну, разумеется, разумеется,— ободряюще сказал мэр.— Вы поступили как нельзя более правильно, лучше и придумать нельзя. Так вот что, сэр: вам необходимо выехать отсюда сегодня же вечером. Для вас заказана карета и четверка лошадей. И позаботьтесь, чтобы кучер гнал вовсю. Нельзя быть уверенным, что за вами не будет погони.

— Боже мой! — с отчаянием в голосе воскликнул перепуганный Тротт.— И подумать, что такие вещи происходят в нашей стране! И как это только допускается! Такое злостное, ожесточенное преследование!

Он смахнул со лба, покрывшегося испариной страха, крупные капли холодного пота и с ужасом уставился на Джозефа Овертона.

— Да, конечно, это прискорбный факт,— усмехнувшись, сказал мэр,— что у нас, в свободной стране, люди не могут жениться на ком хотят, не опасаясь, что их будут преследовать, как злоумышленников. А впрочем, в вашем случае невеста согласна, а это в конце концов, знаете, самое главное.

— Невеста согласна,— тупо повторил Тротт.— А откуда вы знаете, что невеста согласна?

— Полноте, что там скрываться,— сказал мэр, покровительственно похлопывая Тротта по плечу своей широкополой шляпой.— Ведь я ее с каких пор знаю, и уж если у кого-нибудь могут быть сомнения на сей счет, так только не у меня. И вам, поверьте мне, тоже нечего сомневаться!

Вот как! — в раздумье промолвил Тротт.— Знаете, это просто непостижимо!

— Итак, лорд Питер...— сказал мэр, поднимаясь со стула.

— Лорд Питер? — переспросил Тротт.

— Ах да, простите, мистер Тротт! Тротт — очень

хорошо. Ха-ха-ха! Так вот, сэр, карета будет подана в половине первого.

— А как же мне быть до тех пор? — с испугом спросил мистер Тротт.— Не лучше ли будет для соблюдения приличий взять меня вроде как бы под охрану?

— А, прекрасная мысль! — отозвался Овертон.— В самом деле, превосходная мысль! Я сейчас пришлю кого-нибудь. И неплохо было бы, когда мы поведем вас садиться в карету, чтобы вы немножко поупирались, ну, понимаете, так, чтобы создать впечатление, будто вас увозят силком.

— Верно,— сказал Тротт.— Совершенно верно.

— Итак, милорд,— Овертон понизил голос,— а до тех пор разрешите откланяться. Счастливо оставаться, ваша светлость!

— Милорд!.. Ваша светлость!..— снова воскликнул Тротт, пятясь назад и с неописанным изумлением глядя на мэра.

— Ха-ха-ха! Все ясно! Милорд старается войти в роль сумасшедшего! Очень хорошо! Блуждающий взгляд! Превосходно, милорд! В самом деле превосходно! До свидания, мистер Тротт! Ха-ха-ха!

«По-видимому, мэр здорово насосался!» — решил про себя Тротт и с задумчивым видом снова уселся в кресло.

«А он, оказывается, куда умнее, чем я думал, этот юный аристократ. Какая удивительная выдержка! Так вести свою роль!» —рассуждал Овертон, направляясь в буфет, чтобы переговорить с хозяйкой и сделать соответствующие распоряжения. Все это он уладил мгновенно. Рассказ его не вызвал ни малейших сомнений, и одноглазого коридорного тотчас же снарядили и отправили сторожем в девятнадцатый номер, дабы присмотреть до половины первого за умалишенным постояльцем. Подчиняясь приказанию, этот придурковатый малый вооружился громадной дубинкой и со своей обычной невозмутимостью ввалился безо всяких церемоний в номер к мистеру Тротту и, спокойно усевшись возле двери, приступил к своим обязанностям сторожа, а чтобы скоротать время, принялся с видимым удовольствием громко насвистывать какую-то песенку.

— Что тебе здесь надо, бездельник? — вскричал мистер Александер Тротт, прикидываясь возмущенным тем, что к нему приставили сторожа.

Коридорный, который не переставая мотал головой в такт песенке, слегка обернулся и, поглядев на мистера Тротта с жалостливой улыбкой, засвистал адажио.

— Вас что, прислали сюда по распоряжению мистера Овертона? — спросил Тротт, несколько удивленный странным поведением сторожа.

— А ты сиди, помалкивай, нечего тебе людей разговорами смущать,— спокойно ответил коридорный и засвистал снова.

— Послушайте, вы! — закричал мистер Тротт, продолжая разыгрывать комедию, будто ему не терпится драться на дуэли.— Я протестую против того, что меня здесь держат! Я вовсе не собираюсь ни с кем драться. Но раз вы все тут сговорились против меня, то спорить, по-видимому, бесполезно, мне остается только сидеть спокойно и ждать!

— Вот так-то оно лучше,— невозмутимо заметил страж, красноречиво помахивая дубинкой.

— Но только потому, что меня к этому вынуждают,— добавил мистер Александер Тротт и с негодующим видом, но втайне ликуя, уселся в кресло.— Да. Вынуждают.

— Ну, разумеется. Как вам будет угодно. Ежели вам так нравится, рад стараться. Только вы поменьше разговаривайте, а то вам опять хуже станет.

— Хуже? — с искренним изумлением вскричал Тротт.— Да что это, он пьян?

— Потише, потише, паренек! — сказал коридорный и выразительно повертел дубинкой.

— Или с ума сошел? — Мистеру Тротту стало не по себе.— Убирайтесь вон отсюда,— закричал он,— и скажите там, чтобы прислали кого-нибудь другого!

— Не выйдет! — отвечал коридорный.

— Вон сейчас же! — закричал Тротт, яростно звоня в колокольчик, потому что его не на шутку разбирал страх — и теперь уже совсем по другому поводу.

— А ну, оставь сейчас же звонок, убогая твоя душа! — сказал коридорный, хватая несчастного Тротта, и, занеся дубинку над его головой, толкнул его обратно к креслу.— Говорят тебе, не шуми, несчастный! Что будет,

коли все в доме узнают, что мы здесь сумасшедшего держим?

— Он сошел с ума! Сошел с ума! — завопил мистер Тротт, уставившись в паническом страхе на единственный глаз рыжеволосого стража.

— Сошел с ума! — фыркнул коридорный.— Черт меня возьми, да он, видать, совсем свихнутый! Слушай меня ты, юродивый! А, ты опять за свое! — И он слегка стукнул Тротта по голове своей дубинкой, дабы пресечь его попытки схватить звонок.— Ну, как, будешь еще безобразничать?

— Пощадите! Не отнимайте у меня жизнь! — подняв руки вверх, взмолился Тротт.

— Нужна мне твоя жизнь! — презрительно ответил сторож.— Хоть я и думаю, что для тебя было бы сущее благодеяние, ежели бы тебя кто прикончил.

— Нет, нет! — поспешно возразил бедный Тротт.— Нет, вовсе не благодеяние! Я... я хочу жить!

— Вот и распрекрасно. Кому что нравится, у всякого свой вкус. Но слушай, что я тебе скажу: ты сядь вот сюда, в свое кресло, а я сяду напротив, и, ежели ты будешь сидеть смирно, я тебя пальцем не трону, но ежели ты до половины первого посмеешь только дрыгнуть ногой либо рукой, я тебе так твою личность разделаю, что в следующий раз, как увидишь себя в зеркале, задумаешься, не в отъезде ли ты и вернешься ли когда-нибудь обратно.

— Я сяду, сяду,— ответила несчастная жертва недоразумения, и мистер Тротт послушно уселся в кресло, а коридорный расположился напротив, держа на всякий случай дубинку наготове.

Время тянулось томительно долго. Часы на уинглберийской церкви только что пробили десять, и до избавления надо было терпеть по крайней мере два часа с половиной. Первые полчаса снизу еще доносился шум запирающихся лавок, и этот знакомый отголосок уличной жизни несколько облегчал мистеру Тротту его невыносимое положение. Но когда и это все стихло и уже не слышно было ничего, кроме стука лошадиных копыт в конюшне позади дома или внезапного грохота подъезжающей кареты, которая останавливалась на почтовом дворе, чтобы сменить лошадей, и потом снова громыхала по мо-



стовой,— вот тогда ему стало совсем невмоготу. Коридорный время от времени вставал, чтобы снять нагар с оплывающей свечи, которая едва горела, но тотчас же возвращался в исходное положение, а так как ему припомнилось, что он где-то слышал, будто человеческий взгляд обладает необыкновенной силой усмирять сумасшедших, он не сводил с мистера Александера Тротта своего единственного глаза. А этот несчастный в свою очередь сидел не шелохнувшись, уставившись на своего стража, и мало-помалу черты коридорного стали расплываться, волосы постепенно утратили свой огненно-рыжий цвет и, наконец, вся комната погрузилась в серую мглу. Мистер Александер Тротт заснул крепким сном; его разбудило громыханье колес и громкий возглас: «Четверик для номера двадцать пятого!» Поднялась суета, дверь в комнату мистера Тротта распахнулась, и вошел мистер Джозеф Овертон в сопровождении четырех дюжих слуг и миссис Уильямсон — дородной хозяйки «Герба Уинглбери».

— Мистер Овертон! — вскричал в исступлении мистер Александер Тротт, срываясь с места.— Вы только посмотрите на этого человека, сэр! Подумайте, в каком положении я вынужден был провести три часа, ведь этот субъект, сэр, которого вы прислали стеречь меня,— это же сумасшедший, совершенно невменяемый, буйный, опасный сумасшедший!

— Браво, браво,— прошептал Овертон.

— Бедняжка! — промолвила жалостливая миссис Уильямсон,— вот сумасшедшие-то, они всегда так, всех других принимают за сумасшедших!

— Бедняжка! — подхватил мистер Александер Тротт.— Что вы хотите этим сказать, черт возьми! Кто это бедняжка? Вы хозяйка этой гостиницы?

— Да,— ответила дородная особа,— да вы успокойтесь, голубчик, стоит ли так волноваться, поберегите свое здоровье.

— Успокоиться! Слава богу, что меня тут не успокоили навеки! Это одноглазое чудовище с мочалой на голове вполне могло укокошить меня за эти три часа. Как смеете вы, сударыня, держать сумасшедшего в доме, буйного сумасшедшего, который нападает на ваших постояльцев и пугает их до смерти?

— Никогда больше не пущу к себе ни одного,— с укором взглянув на мэра, сказала миссис Уильямсон.

— Великолепно, великолепно,— шепнул мистер Овертон, накидывая на плечи мистера Тротта теплый дорожный плащ.

— Великолепно! — вскричал мистер Тротт.— Нет, это просто ужас что такое! Меня и сейчас бросает в дрожь от одного воспоминания. Лучше бы я за эти три часа четыре раза дрался на дуэли, коли бы остался в живых после первых трех, чем сидеть с глазу на глаз с буйным сумасшедшим!

— Продолжайте в том же духе, милорд, когда будете сходить с лестницы,— шепнул Овертон,— счет ваш оплачен и саквояж уже в карете! Джентльмен готов! — громко сказал он, обращаясь к слугам.

Те мигом окружили мистера Александера Тротта; один подхватил его под одну руку, второй под другую, третий пошел впереди со свечой в руке, четвертый, тоже со свечой, по пятам мистера Тротта, коридорный с миссис Уильямсон замыкали шествие. И так его повели вниз по лестнице, и мистер Александер Тротт всю дорогу орал благим матом, то притворяясь возмущенным, что его куда-то тащат силком, то непритворно возмущаясь, что его заперли с глазу на глаз с сумасшедшим.

Овертон уже стоял у дверцы кареты, форейторы сидели на своих местах, а кучка конюхов и еще каких-то неопределенных личностей, околачивающихся при конюшне, столпились кругом, чтобы поглазеть, как будут усаживать сумасшедшего джентльмена. Мистер Александер Тротт уже стал ногой на подножку, как вдруг увидел сидящую в глубине кареты фигуру (которую он сперва не заметил в темноте), плотно закутанную в такой же точно плащ, как и у него.

— Кто это? — спросил он шепотом у Овертона.

— Ш-ш! ш-ш! — ответил мэр.— Ну кто же, как не вторая договаривающаяся сторона!

— Вторая договаривающаяся сторона! — отпрянув, вскричал Тротт.

— Ну, разумеется, да вы сами увидите, как только тронется карета. Пошумите еще, а то может показаться подозрительным, что мы с вами так долго шепчемся.

— Я ни за что не сяду в эту карету! — закричал мистер Тротт, внезапно охваченный прежними страхами, которые сейчас усилились во сто крат.— Меня убьют!.. Меня...

— Браво, браво! — шепнул Овертон.— Ну, я вас сейчас подтолкну.

— Да я не хочу!.. Не поеду! — вопил мистер Тротт.— Помогите, помогите! Меня увозят насильно! Это заговор! Меня хотят убить!

— Бедняжка! — повторила миссис Уильямсон.

— А ну, трогайте, живо! — гаркнул мэр, втолкнув Тротта и захлопывая за ним дверцу.— Да гоните во весь дух и не останавливайтесь нигде, пока не доедете до станции! С богом!

— За лошадей получено, Том! — закричала вдогонку миссис Уильямсон, и карета понеслась со скоростью четырнадцати миль в час, увозя сидящих внутри за крепко захлопнутой дверцей мистера Александера Тротта и мисс Джулию Мэннерс.

Первые две-три мили мистер Александер Тротт сидел, забившись в угол кареты, а его таинственный спутник жался в другом углу; тщетно пытаясь разглядеть в темноте злобную физиономию предполагаемого Хорэса Хантера, мистер Тротт все глубже залезал в свой угол, чувствуя, как его сосед потихоньку вылезает из своего.

— Мы можем теперь разговаривать,— промолвила, наконец, его спутница,— форейторы нас не услышат, им и не видно нас!

«Да это не Хантера голос!» — с изумлением подумал Александер.

— Дорогой лорд Питер,— нежно сказала мисс Джулия, положив ручку на плечо мистера Тротта.— Дорогой лорд Питер! Разве у вас не найдется для меня и словечка?

— Как, это женщина! — все больше и больше удивляясь, воскликнул мистер Тротт сдавленным голосом.

— Ах! Чей же это голос? — вырвалось у Джулии.— Это голос не лорда Питера!

— Нет, это мой,— ответил мистер Тротт.

— Ваш! — воскликнула мисс Джулия Мэннерс,— да это кто-то чужой! Боже милостивый, как вы сюда попали?

— Кто бы вы ни были, надеюсь, вы не могли не

заметить, что я попал сюда против своей воли,— отвечал Александер.— Я кричал изо всех сил, когда меня сюда вталкивали.

— Вы от лорда Питера? — спросила мисс Мэннерс.

— Черт бы взял этого вашего лорда Питера,— огрызнулся Тротт.— Я знать не знаю никакого лорда Питера! И никогда не слыхал про него до сегодняшнего вечера, когда меня ни с того ни с сего со всех сторон стали величать лордом Питером, так что я и впрямь начал думать, не сошел ли я с ума, или, может быть, мне все это снится...

— Куда же мы едем? — с ужасом спросила леди.

А откуда я могу знать, сударыня? —с необыкновенным хладнокровием отвечал Тротт, которого все перипетии этого дня сделали совершенно бесчувственным.

— Стойте! Стойте! Остановитесь! — закричала леди, судорожно дергая оконце кареты.

— Погодите, сударыня, прошу вас! — сказал мистер Тротт и одной рукой снова задвинул стекло, а другой нежно обнял мисс Джулию.— Тут, по-видимому, вышло какое-то недоразумение. Разрешите мне, пока мы едем, рассказать вам, в какой мере я могу винить в этом себя. Нам все равно придется ехать до станции. Не могу же я допустить, чтобы вы сошли здесь одна, поздно ночью.

Леди согласилась, и общими силами недоразумение вскоре было выяснено. Мистер Тротт был человек молодой, с многообещающими бачками, одет он был безукоризненно и держался с подкупающей вкрадчивостью — ему недоставало только храбрости — а кому нужна храбрость, когда есть три тысячи фунтов стерлингов в год! Леди располагала этой суммой, и даже большей. Ей нужен был молодой муж, а единственное, что могло спасти Тротта от родительской опалы,— это богатая жена. И так они пришли к заключению, что было бы просто обидно — подумать, столько волнений, хлопот и расходов, и все это окажется зря! А раз они все равно так далеко заехали, то не лучше ли доехать прямо до Гретна-Грин и там сочетаться браком? И так они и сделали. А только что перед ними в книге у кузнеца * расписались Эмили Браун и Хорэс Хантер. Мистер Хантер привез свою жену домой и бросился к родителям просить прощения, и его простили;

и мистер Тротт привез свою жену домой и тоже бросился к отцу просить прощения, и его тоже простили. А лорд Питер, который опоздал приехать в условленный час, потому что выпил слишком много шампанского, а потом участвовал в скачках с препятствиями, вернулся к досточтенному Огастесу Флэру и опять стал пить шампанское, после чего ему снова вздумалось принять участие в скачках, где он и сломал себе шею. А Хорэс Хантер сильно возомнил о себе, оттого что ему удалось так ловко воспользоваться трусостью Александера Тротта, и все это было со временем открыто и описано со всеми подробностями; и если вы когда-нибудь остановитесь на недельку в «Гербе», вы услышите вот этот самый рассказ о дуэли в Грейт-Уинглбери.

ГЛАВА IX

Миссис Джозеф Портер

С необычайным размахом велись приготовления к любительскому спектаклю на «Вилле Роз», Клэпем-Райз, находящейся во владении мистера Гэтлтона, преуспевающего биржевого маклера, и велико было волнение почтенного семейства этого джентльмена, когда стал приближаться торжественный день, «к которому готовились не один месяц». Манией театральных представлений были охвачены все члены этого семейства без исключения, и в доме, где обычно царил отменный порядок и чистота, «словно ураган пронесся», по меткому определению самого мистера Гэтлтона. Большую столовую, убрав оттуда всю мебель, загромоздили кулисами, колосниками, задниками, фонарями, мостами, тучами, молниями, букетами, гирляндами, кинжалами, рапирами и прочими разнообразными предметами, которые на театральном языке объединяются под одним всеобъемлющим названием — «реквизит». В спальнях водворились декорации, а в кухне — столяры. Репетиции проводились чуть ли не каждый вечер в гостиной, и все имеющиеся в доме кушетки были в большей или меньшей степени повреждены вследствие того упорства и воодушевления, с каким мистер Семпро-

ниус Гэтлтон и мисс Люсина репетировали сцену удушения из «Отелло»: трагедия эта должна была идти в вечер спектакля первым номером.

— Ну, поработаем еще самую малость, и все, думается мне, сойдет превосходно,— заявил мистер Семпрониус своей труппе по окончании стопятидесятой репетиции. Так как мистер Семпрониус не убоялся принять на себя все расходы по спектаклю, ему оказали любезность и единодушно избрали его постановщиком.

— Эванс,— продолжал мистер Гэтлтон-младший, адресуясь на этот раз к долговязому, бледному молодому человеку с пышными бакенбардами.— Эванс, вы бесподобно играете Родриго!

— Бесподобно! — словно эхо отозвались три мисс Гэтлтон.

Мистер Эванс, по мнению всех молодых девиц, был «настоящий душка». Такая интересная наружность и такие чудесные бакенбарды, не говоря уже о его талантах— ведь он писал стихи в альбомы и играл на флейте! Душка Родриго жеманно улыбнулся и отвесил поклон.

— Все же, мне кажется,— продолжал постановщик,— вы еще не вполне достигли совершенства в этом... ну... в падении... в сцене поединка, когда вы... ну, вы меня понимаете.

— Это очень трудно,— задумчиво произнес мистер Эванс.— Последние дни я все падал у нас в конторе, чтобы наловчиться, но оказывается — это больно. Нужно ведь падать навзничь и набиваешь на затылке шишки.

— Только смотрите, чтобы не повалилась кулиса,— заметил мистер Гэтлтон-старший, который, после того как на него возложили обязанности суфлера, проявлял не меньше интереса к спектаклю, чем самый молодой его участник.— Сцена у нас маленькая, сами знаете.

— О, не извольте беспокоиться,— самодовольно возразил мистер Эванс.— Я упаду так, чтобы голова пришлась промеж кулис, и ручаюсь вам, что ничего не разрушу.

— Ей-же-ей,— воскликнул постановщик, потирая руки,— «Мазаньелло» * будет иметь успех! Харлей поет свою партию восхитительно.

Все хором выразили свой восторг. Мистер Харлей улыбнулся с преглупым видом, впрочем для него довольно

обычным, проворковал: «Взгляни, как восток заалел...» — и покраснел так, что щеки у него стали того же цвета, что рыбацкий колпак, который он в это время примерял.

— Значит так,— заключил постановщик и стал пересчитывать по пальцам: — У нас есть три танцующих поселянки, не считая Фенеллы *, и четыре рыбака. Затем еще наш слуга Том. Он наденет мои парусиновые штаны, клетчатую рубашку Боба и красный ночной колпак и тоже сойдет за рыбака,— значит, всего будет пять. Припев мы все, конечно, можем подхватывать из-за кулис, а в сцене на рыночной площади будем расхаживать взад и вперед, накинув плащи и еще что-нибудь. Когда вспыхнет восстание, Том будет с мотыгой врываться на сцену вон оттуда и убегать вон туда. Он должен проделать это как можно быстрее несколько раз подряд, и тогда эффект получится ошеломляющий — будто их там несметное множество. А в сцене извержения вулкана мы будем жечь фейерверк, бросать на пол подносы и вообще производить разный шум — и выйдет наверняка очень похоже.

— Наверняка, наверняка! — закричали все исполнители в один голос, и мистер Семпрониус Гэтлтон удалился, чтобы смыть с лица жженую пробку и посмотреть, как идет «сборка» декораций, созданных кистью любителей и превзошедших все самые смелые ожидания.

Миссис Гэтлтон — добрая душа — была простовата, покладиста, боготворила мужа и детей, и только три предмета возбуждали в ней глубокую неприязнь. Во-первых, она питала неодолимую антипатию ко всем чужим незамужним дочкам; во-вторых, панически боялась показаться смешной, и, наконец,— что, кстати, естественно вытекало из предыдущего,— один вид некоей миссис Джозеф Портер, проживавшей в доме напротив, повергал ее в ужас. Надо сказать, что мирные обитатели Клэпема и его окрестностей, как огня, боялись всякого рода сплетен и насмешек, и посему все были крайне любезны с миссис Джозеф Портер, все обхаживали ее, и льстили ей, и посылали приглашения, подобно тому, как бедный сочинитель, без гроша в кармане, проявляет преувеличенную учтивость по отношению к почтальону, которому следует дать два пенса за доставку письма.

— Пустое, маменька,— сказала мисс Эмма Портер своей почтенной родительнице, старательно напуская на себя равнодушный вид.— Если б даже они и пригласили меня — все равно ведь ни вы, ни папенька никогда не разрешили бы мне участвовать в этом выставлении себя напоказ.

— Ничего другого я и не ожидала от девушки с таким тонким чувством приличия, как у тебя,— ответствовала мамаша.— Я очень рада, Эмма, что ты сумела правильно оценить эту их затею.

Мисс Эмма Портер, к слову сказать, всего неделю назад целых четыре дня простояла в палатке на благотворительном базаре, «выставляя себя напоказ» всем верноподданным ее величества, которые не поскупились выложить шиллинг за удовольствие поглазеть на молодых леди, играющих в продавщиц и строящих глазки незнакомым мужчинам.

— Взгляни-ка! — воскликнула миссис Портер, высовываясь из окна.— К ним тащат окорок и два говяжьих оковалка — ясно для сандвичей. А Томас кондитер сказал, что они заказали двенадцать дюжин сладких пирожков, не считая бланманже и кремов. Нет, ты вообрази себе девиц Гэтлтон в театральных костюмах!

— Умора, да и только! — истерически вскричала мисс Эмма.

— Но я еще пособью с них спеси, вот увидишь! — заявила миссис Портер и, не теряя времени даром, отправилась осуществлять свое человеколюбивое намерение.

— Ну что ж, моя дорогая,— сказала миссис Джозеф Портер хозяйке, после того как они пробыли некоторое время с глазу на глаз и неутомимой гостье удалось выведать у миссис Гэтлтон все, что требовалось, о предстоящем спектакле,— что ж, голубушка, людям рот ведь не заткнешь. Что поделаешь, все равно будут плести, есть ведь такие зловредные... А, мисс Люсина, моя дорогая, как вы поживаете? Я вот только что говорила вашей маменьке, что до меня дошли слухи, будто...

— Да? Что же именно?

— Миссис Портер имеет в виду наш спектакль, детка,— сказала миссис Гэтлтон.— Она как раз начала рассказывать о том...

— О, прошу вас, оставим это,— перебила хозяйку миссис Портер.— Это же так нелепо! Совершенно так же нелепо, как то, что заявил этот... ну, как его... этот молодой человек, который сказал, что его поражает, как это у мисс Каролины, с ее ступнями и икрами, хватает духу представлять Фенеллу.

— Какая неслыханная наглость, кто бы там это ни говорил! — вспыхнула миссис Гэтлтон.

— Разумеется, моя дорогая! — в тон ей пропела торжествующая гостья.— Вне всякого сомнения! Потому что,— как я тут же ему сказала,— если мисс Каролина берется играть Фенеллу, из этого еще не следует, что она воображает, будто у нее красивые ноги. И тут он — подумать только, что позволяют себе эти щенки! — тут у него хватило нахальства утверждать, будто...

Трудно предугадать, насколько преуспела бы милейшая миссис Портер в достижении своей высокой цели, если бы появление мистера Томаса Болдерстона, родного брата миссис Гэтлтон, которого в этом семействе звали запросто «дядюшка Том», не направило беседу в другое русло и не подсказало миссис Портер блестящий план действий в день предстоящего спектакля.

Дядюшка Том был очень богат и обожал своих племянников и племянниц, что, естественно, делало его важной персоной в глазах родственников. Это был самый добросердечный человек на свете, всегда веселый и бодрый и необычайно говорливый. Он любил похвалиться тем, что никогда, ни при каких обстоятельствах не повяжет черного шелкового галстука и не снимет своих высоких ботфорт, но особенным предметом его гордости было то, что он знал на зубок все наиболее известные произведения Шекспира от первой до последней строчки. И это не было пустой похвальбой! По причине этого свойства, роднящего его с ученым попугаем, дядюшка Том не только беспрестанно сыпал цитатами, но не мог спокойно усидеть на месте, если кто-нибудь при нем перевирал слова «Эвонского лебедя»,— он должен был тут же поправить нечестивца. Ко всему этому дядюшка Том был большой шутник, никогда не упускал случая вставить острое, как ему казалось, словцо и всякий раз хохотал до слез, если что-нибудь вдруг покажется ему забавным.

— Ну, девочки, как дела? — спросил дядюшка Том, когда с поцелуями и приветствиями было покончено.— Вызубрили свои роли? Люсина, милочка, акт второй, сцена первая, твое место слева, даю реплику: «...Счастливее я никогда не буду». Как дальше? Продолжай: «...Что ты? Избави бог...»

— Да, да,— воскликнула мисс Люсина,— помню:

Что ты? Избави бог! Наоборот:
Жизнь будет нас дарить все большим счастьем...

— Делай время от времени паузу,— сказал старый джентльмен, считавший себя весьма строгим критиком. «Что ты? Избави бог! Наоборот» — здесь ударение на последнем слоге «наоборот»; затем громко: «Жизнь» — и пауза — раз, два, три, четыре; затем снова громко: «будет нас дарить все большим счастьем» — с ударением на «большим». Вот так-то, моя дорогая. По части ударений можешь положиться на своего дядюшку. А, Сем, как поживаешь, мой мальчик?

— Очень хорошо, спасибо, дядюшка,— ответствовал мистер Семпрониус, который только что вошел в гостиную. Черные круги вокруг глаз от въевшейся в кожу жженой пробки придавали его лицу что-то птичье.— Вы, конечно, посетите нас в четверг, дядюшка?

— Конечно, конечно, дружок.

— Какая жалость, мистер Болдерстон, что ваш племянник не догадался попросить вас посуфлировать на спектакле! — шепнула дядюшке Тому миссис Джозеф Портер.— Вы были бы для них неоценимы.

— Да, смею думать, что я как-нибудь справился бы с этой задачей,— отвечал дядюшка Том.

— Я хочу сидеть рядом с вами на спектакле,— продолжала миссис Портер.— Тогда, если кто-нибудь из наших молодых друзей что-нибудь напутает, вы растолкуете мне, что там на самом-то деле. Мне это страшно интересно.

— Почту за счастье быть вам полезным чем только могу.

— Значит, уговорились?

— Безусловно.

— Сама не знаю, чего это я,— сказала миссис Гэтлтон дочерям, когда они, собравшись вечером у камелька, повторяли свои роли,— но мне ужасно неприятно, что миссис Джозеф Портер будет у нас в четверг. Я уверена, что она что-то замышляет.

— Ну, нас-то ей не удастся выставить в смешном свете,— высокомерно заявил мистер Семпрониус Гэтлтон.

Долгожданный четверг настал в положенное время, и, как глубокомысленно заметил мистер Гэтлтон-старший, «не принес с собой сколько-нибудь серьезных разочарований». Правда, еще не было полной уверенности в том, что Кассио удастся когда-нибудь натянуть на себя костюм, который ему прислали из костюмерной. Оставалось также неясным, достаточно ли оправилась после инфлюэнцы примадонна, чтобы выйти на сцену. Мистер Харлей, он же Мазаньелло, слегка занемог и охрип после того, как проглотил несметное количество лимонов и леденцов, чтобы голос лучше звучал, а обе флейты и виолончель не явились вовсе, отговорившись жестокой простудой. Ну и что за беда? Зрители приняли приглашение все до единого. Актеры знали свои роли, костюмы сверкали, расшитые блестками и мишурой, а белые плюмажи были чудо как хороши; мистер Эванс падал до тех пор, пока не достиг совершенства, покрывшись синяками с головы до пят; Яго заверял всех, что в сцене убийства он произведет «потрясающий эффект». Глухой джентльмен, игравший самоучкой на флейте, любезно предложил прихватить свой инструмент, что не могло не послужить весьма ценным дополнением к оркестру. Игра мисс Дженкинс на фортепьяно, как известно, всегда вызывала бурю восторга, значит, тут опасаться было нечего, а мистеру Кейпу не впервой было разыгрывать с ней дуэты на скрипке. Что до мистера Брауна, который великодушно согласился принести свою виолончель, когда его об этом попросили за час до спектакля, то никто не сомневался, что он отлично справится с делом.

Пробило семь, и прибыли зрители. Избранное общество Клэпема и его окрестностей быстро заполняло театральную залу. Здесь были Смиты и Габбинсы, Никсоны, Диксоны и Хиксоны, и еще другие люди с самыми различными фамилиями; были два олдермена и один будущий

шериф; был сэр Томас Глампер, в прошлое царствование получивший титул за то, что преподнес его величеству адрес по случаю спасения кого-то от чего-то, и, наконец, хотя, быть может, с них-то и следовало начать,— в третьем ряду посредине восседали миссис Джозеф Портер и дядюшка Том, причем миссис Портер развлекала дядюшку Тома, рассказывая ему разные забавные истории, а дядюшка Том развлекал всех остальных, хохоча во все горло.

В восемь часов, минута в минуту, прозвенел колокольчик суфлера «динь-динь-динь!» — и в оркестре загремела увертюра из «Людей Прометея» *. Пианистка с похвальным упорством барабанила по клавишам, а по временам вступала и виолончель и «звучала вполне сносно, принимая во внимание...» Однако незадачливый флейтист, взявшийся играть свою партию с листа, вынужден был на горьком опыте убедиться, что старую пословицу можно перекроить на новый лад: «с глаз долой — пиши пропало». Его посадили так далеко от пюпитра с нотами, что, будучи крайне близорук, он ничего не видел и потому делал что мог, то есть изредка подыгрывал на флейте — и всегда невпопад, чем изрядно мешал остальным музыкантам. Впрочем, надо отдать ему справедливость — он проделывал это с большим блеском. В общем, увертюра в исполнении этих музыкантов чем-то очень напоминала скачки. Фортепьяно обогнало всех на несколько тактов, второй пришла виолончель, оставив далеко позади бедняжку-флейту, которая никак не могла угомониться, так как глухой джентльмен дудел себе и дудел, совершенно не подозревая, что делает что-то не то, и был крайне поражен, увидав, что зрители аплодируют и увертюра, стало быть, окончена. Затем со сцены отчетливо донеслась какая-то возня, шарканье ног и громкий шепот: «Вот так так! Что же теперь делать?» — и еще что-то в том же духе. Зрители снова захлопали — на этот раз, чтобы подбодрить актеров,— после чего довольно явственно прозвучал голос мистера Семпрониуса, который требовал, чтобы суфлер «очистил сцену и дал звонок».

Снова раздалось «динь-динь-динь», зрители опустились на свои места, занавес дрогнул, пополз вверх, открыв взорам несколько пар желтых башмаков, двигающихся в различных направлениях, и замер.

«Динь-динь-динь!» Занавес судорожно задергался, но вверх не пошел. Зрители захихикали; миссис Портер покосилась на дядюшку Тома; дядюшка Том глянул на всех вообще и покатился со смеху, потирая руки от удовольствия. Колокольчик продолжал звенеть — так упорно, словно торговец пышками обходил со своим товаром длинную-предлинную улицу. В то же время со сцены доносилось перешептывание, стук молотка, и чей-то голос громко требовал веревку и гвоздей. Наконец, занавес поднялся: мистер Семпрониус Гэтлтон стоял на сцене совершенно один в костюме Отелло. Его встретили троекратным взрывом рукоплесканий; мистер Семпрониус, приложив правую руку к левому боку, раскланивался на самый изысканный манер, а затем шагнул вперед и сказал:

— Леди и джентльмены! Позвольте заверить вас, что я глубоко скорблю о том, что должен с глубоким прискорбием сообщить вам, что мистер Яго, который должен был играть Уилсона... Прошу прощенья, леди и джентльмены, я, естественно, несколько взволнован... (Аплодисменты.) Я хотел сказать мистер Уилсон, который должен был... то есть предполагал играть Яго... Одним словом, леди и джентльмены, дело в том, что я только что получил записку, из которой явствует, что Яго сегодня вечером никоим образом не может отлучиться из почтовой конторы. В виду вышеизложенного я возлагаю надежду... поскольку... э... спектакль у нас, так сказать, любительский... и другой... э... другой джентльмен взялся исполнить эту роль... обстоятельство, требующее... э... некоторого снисхождения... я, повторяю, возлагаю надежду на доброту и любезность английского зрителя. (Оглушительные аплодисменты.)

Мистер Семпрониус Гэтлтон удаляется, занавес падает.

Зрители, разумеется, были настроены чрезвычайно добродушно, ведь они пришли позабавиться, и с величайшим терпением просидели до начала спектакля еще час, подкрепляя силы пирожными и лимонадом. Как объяснял впоследствии мистер Семпрониус, задержка не была бы столь продолжительной, если бы в ту минуту, когда подставной Яго был уже почти одет и спектакль должен был вот-вот начаться, не появился вдруг подлинный Яго, после

чего первый вынужден был раздеться, а второй — одеться, а так как подлинный Яго никак не мог влезть в костюм, то это заняло бог знает сколько времени. Наконец, спектакль все-таки начался и шел довольно гладко, вплоть до третьей сцены первого акта, где Отелло обращается к сенату. (Правда, Яго, у которого от жары и волнения страшно отекли ноги, не мог втиснуть их ни в одну пару театральных ботфорт и вынужден был выйти на сцену в обыкновенных сапогах, что выглядело несколько странно при его пышно расшитых панталонах.) Но вот, когда Отелло начал свою речь перед сенатом,— почтенное это собрание, кроме дожа, было представлено еще двумя парнями, приглашенными по рекомендации садовника, плотником и каким-то мальчишкой,— коварной миссис Портер представился случай, которого она с таким нетерпением ждала.

Мистер Семпрониус провозглашал:

Сановники, вельможи,
Властители мои! Что мне сказать?
Не буду спорить, я не говорун...

— Правильно он читает? — шепнула миссис Портер дядюшке Тому.

— Нет, неправильно.

— Так поправьте же его!

— Сейчас.— Дядюшка Том возвысил голос: — Сем! Не так, мой мальчик.

— Что не так, дядюшка? — спросил Отелло, совершенно забыв о своей ответственнейшей роли.

— Ты тут пропустил: «Не буду спорить, дочь его со мною...»

— Ах... Да, да...— пробормотал мистер Семпрониус, безуспешно силясь скрыть свое замешательство, в то время как зрители столь же безуспешно пытались замаскировать душивший их смех внезапным и неудержимым приступом кашля.

...дочь его со мною.
Он прав. Я браком сочетался с ней.
Вот все мои как будто прегрешенья.
Других не знаю...

(В сторону.) Почему вы не суфлируете, папаша?

— Я куда-то засунул очки,— отвечал несчастный мистер Гэтлтон, еле живой от духоты и треволнений.

— Ну, вот, а теперь идет: «Я не говорун»,— не унимался дядюшка Том.

— Да, да, знаю,— отозвался незадачливый постановщик и продолжал дальше по роли.

Утомительно и бесполезно было бы пересказывать здесь все случаи, когда дядюшка Том, попавший, наконец, в свою стихию и подстрекаемый зловредной миссис Портер, исправлял ошибки актеров. Достаточно будет сказать, что раз дядюшка Том оседлал своего конька, никакая сила на свете не могла уже вышибить его из седла, и на протяжении всего спектакля он, словно неумолчное эхо, бормотал вполголоса все, что актеры произносили на сцене. Зрители потешались от души, миссис Портер была на седьмом небе, актеры совсем запутались, дядюшка Том был в полном восторге, а племянники и племянницы дядюшки Тома, невзирая на то, что являлись законными наследниками его большого состояния, никогда еще так горячо не желали ему провалиться в тартарары, как в тот достопамятный вечер.

Были и другие, хотя и не столь основательные причины к тому, чтобы актеры совсем пали духом. Все театральные костюмы оказались слишком узки, все сапоги слишком велики, а мечи самых невероятных форм и размеров, и актеры, с трудом натянув панталоны, еле двигались по сцене и боялись шевельнуть рукой, чтобы не лопнуло под мышкой. Мистер Эванс, и без того казавшийся высоченным на маленькой сцене, украсил голову черной бархатной шляпой с колоссальным белым пером, все великолепие которого пропадало даром за колосниками (шляпа эта, кстати сказать, имела еще одно неудобство: ее почти невозможно было утвердить на голове, а утвердив — невозможно было снять). И, невзирая на весь свой огромный опыт, мистер Эванс, упав, проткнул головой одну из боковых кулис, да так ловко, что впору разве только клоуну из святочной пантомимы. Пианистка не выдержала жары и духоты и лишилась чувств в самом начале спектакля, предоставив исполнение «Мазаньелло» флейте и виолончели. Оркестр жаловался, что мистер Харлей все время его сбивал, а мистер Харлей уверял, что



оркестр не дал ему рта раскрыть. Рыбаки, нанятые для участия в спектакле, взбунтовались не по ходу пьесы, а за кулисами и наотрез отказались играть, если их вознаграждение не будет повышено на несколько бутылок, а когда это требование было удовлетворено, они в сцене извержения вулкана захмелели как нельзя более натурально. От фейерверка, зажженного на сцене в конце второго акта, зрители едва не задохнулись, а дом едва не загорелся, и спектакль был доигран в густом дыму.

Короче — как, ликуя, оповещала всех и каждого миссис Портер — вся затея окончилась «полным провалом». Зрители, от которых несло порохом и серой, разошлись по домам в четыре часа утра, надорвав от смеха животы и изнемогая от головной боли, а мистер Гэтлтон-старший и мистер Гэтлтон-младший легли спать с полуосознанным решением эмигрировать в Австралию в начале следующей недели.

«Вилла Роз» снова приняла свой обычный вид. В столовой мебель водворилась на место; столы опять отполированы до блеска; стулья с мягкими сиденьями чинно, как всегда, выстроились вдоль стен. А на окнах появились жалюзи, дабы помешать всевидящему оку миссис Джозеф Портер заглядывать в дом. О любительских спектаклях в семействе Гэтлтонов больше не заикаются. Разве что дядюшка Том нет-нет да выразит удивление и досаду по поводу того, что его племянники и племянницы совсем, как видно, потеряли вкус к прекрасным творениям Шекспира и никогда больше не цитируют стихов бессмертного барда.

ГЛАВА X

Эпизод из жизни мистера Уоткинса Тотла

1

Общеизвестно, что брак — предприятие серьезное. Это — беда, в которую легко попасть, но из которой очень трудно выбраться, и в этом отношении брак подобен чрезмерному пристрастию к грогу. Человека, робкого в таких

делах, бесполезно убеждать, что стоит только один раз прыгнуть — и все страхи окажутся позади. То же самое говорят в Олд-Бейли, и в обоих случаях несчастные жертвы извлекают из этих слов одинаковое утешение.

У мистера Уоткинса Тотла панический страх перед узами Гименея самым удивительным образом сочетался со всеми задатками примерного супруга. Это был джентльмен лет под пятьдесят, пухленький, свежий и румяный, ростом в четыре фута шесть и три четверти дюйма. Наружностью своей он напоминал виньетку к роману Ричардсона, а его манерам, безукоризненным как крахмальный воротничок, и фигуре, прямой как кочерга, мог бы позавидовать сам сэр Чарльз Грандисон *. Годовой доход мистера Тотла соответствовал получавшему его джентльмену по крайней мере в одном отношении — он был чрезвычайно мал. Рента вручалась Тотлу раз в две недели по понедельникам, и подобно тому, как часы с недельным заводом останавливаются на восьмой день, так он в начале второй недели неизменно прекращал свои платежи — до тех пор пока квартирная хозяйка, в довершение сходства, не заводила его снова посредством небольшой ссуды, после чего он, в точности как упомянутые часы, продолжал свой размеренный ход.

Мистер Уоткинс Тотл долго жил в состоянии блаженного одиночества, как выражаются холостяки, или проклятого одиночества, как думают старые девы, но мысль о супружестве никогда не оставляла его. Стоило ему предаться размышлениям на эту неизменную тему, как фантазия преображала его тесную квартиру на Сесил-стрит (Стрэнд) в уютный загородный домик; полцентнера угля, сложенного под черной лестницей, внезапно превращались в три тонны отборного уолсендского антрацита; узенькая кроватка превращалась в двуспальное супружеское ложе под балдахином, а в пустом кресле, стоявшем по другую сторону камина, воображение рисовало ему прелестную молодую леди, не отличающуюся ни сильной волей, ни какой-либо независимостью, за исключением независимости финансовой, каковою наделила ее последняя воля родителя.

— Кто там? — спросил мистер Уоткинс Тотл, когда однажды вечером легкий стук в дверь прервал нить его размышлений.

— Как поживаете, друг мой? — произнес вместо ответа чей-то грубый голос, и в комнату ворвался низенький пожилой джентльмен.

— Я ведь говорил вам, что забегу как-нибудь вечерком,— сказал низенький джентльмен, вручая свою шляпу Тотлу после нескольких попыток уклониться от его услуг.

— Очень рад вас видеть,— проговорил мистер Уоткинс Тотл, жалея про себя, что его гость, вместо того чтобы вваливаться к нему в гостиную, не провалился на дно протекающей в конце улицы Темзы: двухнедельный срок подходил к концу, и средства Уоткинса — тоже.

— Как поживает миссис Габриэл Парсонс? — осведомился Тотл.

— Благодарю вас, превосходно,— отвечал мистер Габриэл Парсонс — так звали низенького джентльмена.

Вслед за тем наступило молчание. Низенький джентльмен глядел на левый угол камина, мистер Уоткинс Тотл сверлил глазами пустоту.

— Превосходно,— повторил маленький джентльмен по истечении пяти минут,— я бы сказал — отлично.— И он принялся потирать руки с такой силой, словно посредством трения собирался высечь огонь.

— Не велеть ли вам чего подать? — осведомился Тотл с отчаянной решимостью человека, которому известно, что вряд ли можно велеть подать гостю что-нибудь, кроме его же собственной шляпы.

— Право, не знаю. Нет ли у вас виски?

— Видите ли,— ответил Тотл очень медленно, стараясь выиграть время,— на прошлой неделе у меня было превосходное, чрезвычайно крепкое виски, но оно все вышло, и потому его крепость...

— Не подлежит сомнению, или, иначе говоря, ее уже невозможно подвергнуть таковому,— подхватил низенький джентльмен и весело рассмеялся, по-видимому чрезвычайно довольный тем, что виски выпито. Мистер Тотл улыбнулся, но это была улыбка отчаяния. Перестав смеяться, мистер Габриэл Парсонс деликатно намекнул, что за отсутствием виски не откажется от бренди. Мистер Уоткинс Тотл с важным видом зажег свечку, извлек

огромный ключ от парадной двери, время от времени исполнявший роль ключа от воображаемого винного погреба, и отправился умолять хозяйку поставить им бутылочку, а стоимость оной поставить ему в счет. Просьба увенчалась успехом, и вожделенный напиток возник перед ними на столе — не из таинственной бездны, а всего лишь из ближайшего погребка. Оба низеньких джентльмена приготовили себе грог и уютно устроились возле камина, словно пара башмаков-недомерок, выставленных для просушки поближе к огню.

— Тотл,— начал мистер Габриэл Парсонс,— вы ведь меня знаете. Я человек простой, откровенный, говорю, что думаю, что думаю, то и говорю, терпеть не могу скрытность и ненавижу всякое притворство. Скрытность подобна плохому домино, которое скрывает наружность добрых людей и не придает красоты дурным, а притворяться — все равно что красить нитяный чулок в розовый цвет, стараясь выдать его за шелковый. А теперь послушайте, что я вам скажу.

Тут низенький джентльмен остановился и отхлебнул порядочный глоток грога. Мистер Уоткинс Тотл в свою очередь отпил немного из своего стакана, помешал огонь в камине и изобразил на лице своем глубочайшее внимание.

— Давайте говорить без околичностей,— продолжал низенький джентльмен.— Вы ведь хотите жениться.

— Как вам сказать,— уклончиво отвечал мистер Уоткинс Тотл, ощутив дрожь во всем теле и звон в ушах.— Как вам сказать... пожалуй, я бы не прочь... по крайней мере мне кажется...

— Так не пойдет,— отрезал низенький джентльмен.— Отвечайте прямо — да или нет,— а не то и говорить не о чем. Деньги вам нужны?

— Вы же сами знаете, что нужны.

— Вы поклонник прекрасного пола?

— Разумеется.

— Хотите жениться?

— Конечно, хочу.

— В таком случае вы женитесь. Дело в шляпе.— С этими словами мистер Габриэл Парсонс взял понюшку табаку и смешал себе еще стакан грога.

— Не будете ли вы, однако, любезны объясниться толком,— сказал Уоткинс.— Право же, я, как главное заинтересованное лицо, не могу согласиться, чтобы мною распоряжались подобным образом.

— Извольте,— отвечал мистер Габриэл Парсонс, разгорячаясь как предметом разговора, так и грогом.— Я знаю одну даму — она сейчас гостит у моей жены,— которая как раз вам пара. Получила отличное воспитание, говорит по-французски, играет на фортепьяно, знает толк в цветах, раковинах и тому подобное и имеет пятьсот фунтов годового дохода с неограниченным правом распорядиться ими по своему духовному завещанию.

— Я засвидетельствую ей свое почтение,— сказал мистер Уоткинс Тотл.— Надеюсь, что она не очень молода?

— Не очень. Я ведь сказал, что она как раз вам под пару.

— А какого цвета волосы у этой дамы? — осведомился мистер Уоткинс Тотл.

— Вот уж, право, не помню,— хладнокровно отвечал Габриэл.— Впрочем, мне следовало вам сразу сказать: она носит накладку.

— Что носит?! — воскликнул Тотл.

— Да знаете, такую штуку с буклями, вот тут.— В пояснение своих слов Парсонс провел прямую линию у себя на лбу над самыми глазами.— Накладка черная — это я заметил, ну, а про ее собственные волосы ничего определенного сказать не могу, не стану же я, в самом деле, подкрадываться к ней сзади и заглядывать ей под чепец, но, по-моему, волосы у нее гораздо светлее накладки — пожалуй, какого-то сероватого оттенка.

На лице мистера Уоткинса Тотла изобразилось сомнение. Заметив это, мистер Габриэл Парсонс решил, что следует незамедлительно предпринять новую атаку.

— Послушайте, Тотл, вы были когда-нибудь влюблены? — спросил он.

Робко признавая себя виновным, мистер Уоткинс Тотл залился румянцем от подбородка до корней волос, и на лице его заиграли самые разнообразные сочетания цветов.

— Я полагаю, вам не раз случалось делать предложение, когда вы были молоды... виноват, моложе,— сказал Парсонс.

— Никогда в жизни! — отвечал Уоткинс, явно возмущенный тем, что его могли заподозрить в таком поступке.— Никогда! Дело в том, что я, как вам известно, имею на этот счет особые понятия. Я не боюсь дам — ни старых, ни молодых,— совсем напротив, но мне кажется, что, по нынешним обычаям, они позволяют возможным претендентам на их руку слишком много вольности в разговоре и обращении. Я же никогда не выказывал подобной свободы в обращении и, постоянно опасаясь зайти слишком далеко, прослыл человеком черствым и чопорным.

— Ничего удивительного в этом нет,— отвечал Парсонс серьезно,— решительно ничего. Но в настоящем случае это как раз уместно, ибо сдержанность и деликатность этой дамы далеко превосходят ваши. Вы только послушайте: когда она приехала к нам, у нее в спальне висел старинный портрет какого-то мужчины с большими черными глазами. Так представьте себе — она наотрез отказывалась ночевать в этой комнате до тех пор, пока портрет не сняли, считая это совершенно неприличным.

— Я тоже так думаю,— сказал мистер Уоткинс Тотл.— Разумеется, это неприлично.

— Но это еще не все. На днях — я в жизни так не смеялся,— продолжал мистер Габриэл Парсонс,— на днях, когда я ехал домой, дул сильный восточный ветер, и у меня страшно разболелась голова. И вот, в то время как Фанни, то есть миссис Парсонс, эта ее подруга, я и Фрэнк Росс вечером играли в вист, я в шутку сказал, что, когда лягу спать, закутаю голову фланелевой нижней юбкой Фанни. И представьте себе — она тут же бросила карты и вышла из комнаты.

— Совершенно справедливо! — заявил мистер Уоткинс Тотл.— Она не могла поступить более достойным образом. Что же вы сделали?

— Что сделали? Стали играть с болваном, и я выиграл шесть пенсов.

— И вы не извинились перед нею?

— Черта с два! На следующее утро мы говорили об этом за завтраком. Она утверждала, будто всякое упоминание о фланелевой нижней юбке неприлично — муж-

чины вообще не должны знать о существовании подобных предметов, а я оправдывался тем, что я человек женатый.

— И что же она на это сказала? — с глубочайшим интересом осведомился Тотл.

— Прибегла к новой уловке и сказала, что, поскольку Фрэнк холостяк, мое замечание было крайне неприлично.

— Благородное существо! — вскричал восхищенный Тотл.

— О! Мы с Фанни сразу решили, что она как нарочно создана для вас.

Когда мистер Уоткинс Тотл услышал это, на круглом лице его засияла безмятежная радость.

— Одного я только не знаю,— добавил мистер Габриэл Парсонс, поднимаясь, чтобы уйти,— ума не приложу, как вы с ней поладите. У нее наверняка сделаются судороги при малейшем намеке на этот предмет.— Тут мистер Габриэл Парсонс снова сел и залился неудержимым смехом. Тотл был ему должен деньги, и потому Парсонс считал себя вправе смеяться на его счет.

Мистер Уоткинс Тотл подумал про себя, что у него нашлась еще одна общая черта с этой современной Лукрецией. Однако он с большой твердостью принял приглашение через два дня отобедать у Парсонсов и, оставшись один, довольно хладнокровно размышлял о предстоящем знакомстве.

Взошедшее через два дня солнце никогда еще не освещало на империале норвудского дилижанса щеголя, подобного мистеру Уоткинсу Тотлу; и этот экипаж, подъехавший к карточному домику с замаскированными трубами и газоном величиной с большой лист зеленой почтовой бумаги, несомненно еще ни разу не доставлял к месту назначения джентльмена, который бы до такой степени конфузился.

Дилижанс остановился, и мистер Уоткинс Тотл спрыгнул... прошу прощения, сошел на землю с большим достоинством.

— Трогай! — произнес он, и экипаж стал подниматься в гору с тою очаровательной невозмутимостью, которой обыкновенно отличаются пригородные дилижансы.

Мистер Уоткинс Тотл судорожным движением потянул рукоятку звонка у садовой калитки. Затем он дернул ее сильнее, и нервическое состояние его нисколько не уменьшилось, когда раздался оглушительный звон, напоминавший гул набата.

— Мистер Парсонс дома? — спросил Тотл у человека, отворившего калитку. Он едва мог расслышать свой собственный голос, ибо колокольчик все еще не переставал звенеть.

— Я здесь! — послышался крик, и на лужайке показался мистер Габриэл Парсонс в фланелевой куртке. Он сломя голову носился взад и вперед от воротцев к двум нахлобученным друг на друга шляпам, и от двух шляп обратно к воротцам, между тем как другой джентльмен без сюртука в поисках мяча спускался в подвал. Не прошло и десяти минут, как джентльмен без сюртука отыскал мяч, после чего он побежал обратно к шляпам, а Габриэл Парсонс остановился. Затем джентльмен без сюртука заорал: «Даю!» — и подал мяч. Тогда мистер Габриэл Парсонс отбил мяч на несколько ярдов и снова кинулся бежать, после чего второй джентльмен нацелился в воротца, но не попал, а мистер Габриэл Парсонс, остановившись на бегу, положил свою биту на землю и погнался за мячом, который укатился на соседнее поле. Это у них называлось игрой в крикет.

— Тотл, не хотите ли с нами сыграть? — осведомился мистер Габриэл Парсонс, приближаясь к гостю и отирая со лба пот.

Мистер Уоткинс Тотл отказался. От одной мысли о крикете ему стало почти так же жарко, как Парсонсу.

— Тогда пойдем в комнаты. Уже пятый час, а мне еще надо вымыть руки перед обедом,— сказал мистер Габриэл Парсонс.— Прошу, вы ведь знаете, что я ненавижу церемонии! Тимсон, это Тотл. Тотл, это Тимсон. Он взращен для церкви, но боюсь, что она не взрастила для него ничего, кроме плевелов.

Произнося эту старую шутку, он ухмыльнулся. Мистер Тимсон поклонился небрежно. Мистер Уоткинс Тотл поклонился холодно. Мистер Габриэл Парсонс повел гостей в дом. Он был богатым сахароваром и принимал грубость за честность, а резкость за открытое и прямое обращение.

Впрочем, не один Габриэл смешивает грубость манер с чистосердечием.

Миссис Габриэл Парсонс весьма любезно встретила гостей на крыльце и провела их в гостиную. На софе сидела дама очень жеманной и безжизненной наружности. Она принадлежала к тому разряду людей, чей возраст не поддается даже приблизительному определению. Быть может, в молодости она была хороша собой, а может быть, была точно такою же, как и теперь. Лицо ее со следами пудры было так же гладко, как у искусно сделанной восковой куклы, и так же выразительно. Она была нарядно одета и заводила золотые часы.

— Мисс Лиллертон, милочка, это наш старинный знакомый и друг, мистер Уоткинс Тотл,— произнесла миссис Парсонс, представляя ей нового Стрифона * с Сесил-стрит (Стрэнд).

Дама встала и сделала церемонный реверанс, мистер Уоткинс Тотл поклонился.

«Прекрасное, величавое создание!» — подумал Тотл.

Затем выступил вперед мистер Тимсон, и мистер Уоткинс Тотл сразу же его возненавидел. Мужчины большей частью инстинктивно угадывают соперников, и мистер Уоткинс Тотл чувствовал, что ненависть его вполне оправдана.

— Могу ли я,— произнес служитель церкви,— могу ли я обратиться к вам, мисс Лиллертон, с просьбой пожертвовать какую-нибудь безделицу в пользу моего общества по распределению супа, угля и одеял?

— Подпишите меня, пожалуйста, на два соверена, — отвечала мисс Лиллертон.

— Вы поистине человеколюбивы, сударыня,— сказал преподобный мистер Тимсон.— Известно, что щедрость искупает множество грехов. Бога ради, не поймите меня превратно. Я говорю это отнюдь не в том смысле, что у вас много грехов; поверьте, я в жизни не встречал никого безгрешнее мисс Лиллертон.

При этом комплименте на лице дамы выразилось нечто вроде скверной подделки под воодушевление, а Уоткинс Тотл впал в тяжкий грех — он пожелал, чтобы останки преподобного Чарльза Тимсона упокоились на его приходском кладбище, где бы таковое ни находилось.

— Вот что я вам скажу,— вмешался Парсонс, который в эту минуту вошел в комнату с вымытыми руками и в черном сюртуке,— на мой взгляд, Тимсон, ваше общество по распределению — чистейшее шарлатанство.

— Вы слишком строги,— отвечал Тимсон с христианской улыбкой. Он не любил Парсонса, но зато любил его обеды.

— И решительно несправедливы! — добавила мисс Лиллертон.

— Разумеется,— заметил Тотл.

Дама подняла голову, и взгляд ее встретился со взглядом Уоткинса Тотла. В пленительном смущении она отвела свой взор, и Тотл последовал ее примеру, ибо смущение было обоюдным.

— Скажите на милость,— не унимался Парсонс,— зачем давать человеку уголь, когда ему нечего стряпать, или одеяло, когда у него нет кровати, или суп, когда он нуждается в более существенной пище? Это все равно, что «дарить манжеты тем, кто о рубашке тужит». Почему не дать беднякам малую толику денег, как поступаю я, когда мне кажется, что они того заслуживают, и пусть покупают себе что хотят. Почему? Да потому, что тогда ваши жертвователи не увидят свои имена, напечатанные огромными буквами на церковной двери,— вот в чем причина!

— Право, мистер Парсонс, уж не хотите ли вы сказать, будто я желаю увидеть мое имя красующимся на церковной двери? — перебила его мисс Лиллертон.

— Надеюсь, что нет.— Это мистер Уоткинс Тотл вставил еще одно словцо и был награжден еще одним взглядом.

— Разумеется, нет,— отвечал Парсонс.— Но осмелюсь заметить, вы ведь не прочь увидеть ваше имя записанным в церковную книгу?

— В книгу? В какую книгу? — строго спросила мисс Лиллертон.

— В книгу записи бракосочетаний, в какую же еще? — отвечал Парсонс, смеясь своей собственной остроте и украдкой бросая взгляд на Тотла.

Мистер Тотл чуть было не умер от стыда, и совершенно невозможно представить себе, какое действие произ-

вела бы эта шутка на даму, если бы тут как раз не позвали обедать. Мистер Уоткинс Тотл с неподражаемой галантностью протянул кончик своего мизинца, мисс Лиллертон приняла его грациозно, с девичьей скромностью, и они торжественно проследовали к столу, где и заняли места рядом. Столовая была уютна, обед превосходен, а маленькое общество — в отличном расположении духа. Разговор вскоре сделался общим, и когда мистеру Уоткинсу Тотлу удалось добиться от своей соседки нескольких вялых слов и выпить с нею вина, он начал быстро обретать уверенность. Со стола убрали скатерть; миссис Габриэл Парсонс выпила четыре бокала портвейна — под тем предлогом, что она кормит грудью, а мисс Лиллертон отпила столько же глотков — под тем предлогом, что вовсе не хочет пить. Наконец, дамы удалились — к великому удовольствию мистера Габриэла Парсонса, который уже целых полчаса кашлял и подмигивал; впрочем, миссис Парсонс никогда не замечала этих сигналов до тех пор, покуда ей не предлагали принять обычную дозу, что она обыкновенно проделывала немедленно во избежание дальнейших хлопот.

— Ну, как вы ее находите? — вполголоса спросил мистер Габриэл Парсонс мистера Уоткинса Тотла.

— Я уже влюблен до безумия! — отвечал мистер Уоткинс Тотл.

— Господа, прошу вас, выпьем за здоровье дам,— сказал преподобный мистер Тимсон.

— За здоровье дам! — произнес мистер Уоткинс Тотл, осушая свой бокал.

Он преисполнился такой уверенности в себе, что готов был ухаживать за целой дюжиной дам одновременно.

— Ах! — вздохнул мистер Габриэл Парсонс.— Помню, когда я был молод... Подлейте себе, Тимсон.

— Я только что выпил.

— Ну, так налейте еще.

— С удовольствием,— отвечал Тимсон, переходя от слов к делу.

— Когда я был молод,— продолжал мистер Габриэл Парсонс,— с каким странным, смешанным чувством произносил я, бывало, этот тост и, помнится, думал, будто все женщины — ангелы.

— Это было до вашей женитьбы? — скромно произнес мистер Уоткинс Тотл.

— Разумеется, до! — отвечал мистер Габриэл Парсонс.— После женитьбы мне уж больше в голову не приходило ничего подобного; да и порядочным я был молокососом, если когда-нибудь мог воображать такой вздор. Но знаете ли, я ведь женился на Фанни при весьма странных и презабавных обстоятельствах.

— Что же это были за обстоятельства, осмелюсь спросить? — поинтересовался Тимсон, хотя за последние полгода он слушал эту историю не реже, чем по два раза в неделю.

Мистер Уоткинс Тотл навострил уши, в надежде извлечь какие-либо сведения, полезные в его новом предприятии.

— Я провел первую брачную ночь в кухонной трубе,— начал свой рассказ Парсонс.

— В кухонной трубе! — воскликнул Уоткинс Тотл.— Какой ужас!

— Да, признаюсь, это было не слишком приятно,— отвечал низкорослый хозяин.— Дело в том, что родители Фанни были весьма ко мне расположены, но решительно возражали против того, чтобы я стал их зятем. Видите ли, в те времена у них водились деньжонки, я же был беден, и потому они хотели, чтобы Фанни нашла себе другого жениха. Тем не менее мы сумели открыть друг другу свои чувства. Встречались мы с нею в гостях у общих знакомых. Сначала мы танцевали, болтали, шутили и тому подобное; затем мне очень понравилось сидеть с нею рядом, и тут мы уж не много говорили, но, помнится, я все смотрел на нее краешком левого глаза, а потом сделался до того несчастным и сентиментальным, что начал писать стихи и мазать волосы макассарским маслом. Наконец, мне стало невтерпеж. Лето в том году было дьявольски жаркое, и, проходивши в тесных сапогах целую неделю по солнечной стороне Оксфорд-стрит в надежде встретить Фанни, я сел и написал письмо, в котором умолял ее о тайном свидании, желая услышать ее решение из ее собственных уст. К полному своему удовлетворению, я убедился, что не могу жить без нее, писал я, и если она не выйдет за меня замуж, я непременно приму синильную

кислоту, сопьюсь с кругу или уеду на край света — словом, так или иначе погибну. Я занял фунт стерлингов, подкупил служанку, и она передала Фанни мое письмо.

— И что же она ответила? — спросил Тимсон. Он давно уже убедился, что, поощряя повторение старых историй, можно заслужить новое приглашение к обеду.

— Да то, что обыкновенно отвечают в таких случаях! Фанни писала, что она глубоко несчастна, намекала на возможность ранней могилы, утверждала, будто ничто не заставит ее нарушить свой дочерний долг, умоляла меня забыть ее и найти себе более достойную подругу жизни и всякое тому подобное. Она писала, что ни под каким видом не может видеться со мною без ведома папы и мамы, и просила меня не искать случая встретиться с нею в такой-то части Кенсингтонского сада, где она будет гулять на следующий день в одиннадцать часов утра.

— Вы, конечно, не пошли туда? — спросил Уоткинс Тотл.

— Не пошел? Конечно, пошел! Она была там, а поодаль стояла на страже та самая служанка, чтобы никто нам не мешал. Мы погуляли часа два, почувствовали себя восхитительно несчастными и обручились по всем правилам. Затем мы начали переписываться, то есть посылать друг другу не меньше четырех писем в день. Что мы только там писали — ума не приложу. И каждый вечер я ходил на свидание в кухню, в погреб или еще в какое-нибудь место в том же роде. Так продолжалось некоторое время, и любовь наша возрастала с каждым днем. Наконец, наше взаимное чувство увеличилось до крайности, а незадолго перед тем увеличилось и мое жалованье, и потому мы решились на тайный брак. Накануне свадьбы Фанни осталась ночевать у подруги. Мы условились обвенчаться рано утром, а затем вернуться в отчий дом и разыграть там трогательную сцену. Фанни должна была упасть в ноги старому джентльмену и оросить его сапоги слезами, мне же надлежало броситься в объятия старой леди, называть ее «маменькой» и как можно чаще пускать в ход носовой платок. Итак, на следующее утро мы обвенчались. Две девушки — приятельницы Фанни — были подружками, а какой-то парень, нанятый за пять шиллингов и пинту портера, исполнял обязанности посаженого отца.

К несчастью, однако, старая леди, уехавшая погостить в Рэмсгет, отложила свое возвращение домой до следующего утра, а так как вся наша надежда была на нее, мы решили отсрочить свое признание еще на одни сутки. Новобрачная воротилась домой, я же провел день своей свадьбы, шатаясь по Хэмстед-Хит и на все лады проклиная своего тестя. Вечером я, разумеется, отправился утешать свою женушку, надеясь убедить ее, что нашим терзаниям скоро конец. Я открыл своим ключом садовую калитку, и служанка провела меня в обычное место наших свиданий — в черную кухню, где на каменном полу стоял кухонный стол, на котором мы, за отсутствием стульев, обыкновенно сидели и целовались.

— Вы целовались на кухонном столе? — перебил его мистер Уоткинс Тотл, чье чувство благопристойности было этим крайне оскорблено.

— Вот именно, на кухонном столе! — отвечал Парсонс.— И позвольте вам заметить, старина, что, если бы вы в самом деле по уши влюбились и у вас не было другого места целоваться, вы бы, черт возьми, очень обрадовались такой возможности. Но на чем бишь я остановился?

— На кухонном столе,— подсказал Тимсон.

— Ах, да! Итак, на кухне я застал бедняжку Фанни, безутешную и унылую. Старикашка целый день ворчал, так что она чувствовала себя еще более одинокой и совсем нос повесила. Я, понятно, сделал вид, будто все идет как по маслу, постарался обратить дело в шутку, сказал, что после таких мучений радости семейной жизни покажутся нам еще слаще, и моя бедная Фанни в конце концов немножко развеселилась. Я пробыл на кухне до одиннадцати часов и только успел проститься в четырнадцатый раз, как вдруг к нам вбегает служанка в одних чулках, насмерть перепуганная, и говорит, что старый изверг,— да простит мне всевышний, что я его так называю, теперь-то он уже покойник,— подстрекаемый не иначе как самим дьяволом, идет сюда, чтобы нацедить себе пива на ужин, чего он за последние полгода ни разу не делал; мне-то это было доподлинно известно: ведь бочонок с пивом стоял в этой самой кухне. Застань он меня здесь, ни о каких объяснениях не могло бы быть и речи; старик, когда бывал чем-нибудь недоволен, приходил в та-

кую неистовую ярость, что нипочем не стал бы меня слушать. Оставалось только одно. В кухне был очень широкий дымоход. Когда-то он предназначался для печи, и поэтому труба сперва поднималась на несколько футов перпендикулярно вверх, а затем поворачивала вбок, образуя нечто вроде маленькой пещеры. Мои надежды, счастье, даже самые средства для нашего совместного существования — все было поставлено на карту. Я, как белка, вскарабкался наверх, свернулся калачиком в углублении и, едва только Фанни вместе со служанкою придвинула широкую доску, закрывавшую очаг, я увидел огонь свечи, которую держал в руке мой ничего не подозревавший тесть. Затем я услыхал, как он цедит пиво; и, право же, я в жизни никогда не замечал, чтобы пиво текло так медленно. Наконец, он пошел к выходу, а я хотел было спуститься вниз, но тут проклятая доска со страшным грохотом обрушилась наземь. Старик вернулся, поставил кувшин с пивом и свечку на кухонный стол — он был ужасно нервный, и всякий неожиданный шум бесил его. Равнодушно заметив, что очагом все равно никогда не пользуются, он послал перепуганную служанку на чистую кухню за молотком и гвоздями, а затем наглухо заколотил доской очаг, вышел из кухни и запер за собою дверь. Таким-то образом, разодетый в светлые казимировые панталоны, в модный жилет и синий сюртук, составлявшие утром мой венчальный наряд, провел я свою первую брачную ночь в кухонном дымоходе, нижнюю часть которого заколотили, а верхнюю еще раньше подняли футов на пятнадцать, чтобы дым не беспокоил соседей. И здесь,— добавил мистер Габриэл Парсонс, передавая соседу бутылку,— здесь я и оставался до семи часов утра, пока кавалер служанки — плотник — не извлек меня оттуда. Старый пес так крепко приколотил доску, что я и по сей день совершенно уверен, что никто, кроме плотника, не мог бы меня выручить.

— А что сказал отец миссис Парсонс, когда узнал, что вы поженились? — спросил Уоткинс Тотл, который, не понимая шуток, всегда хотел дослушать рассказ до самого конца.

— Приключение с трубой пришлось ему по вкусу, и потому он тотчас же нас простил и даже дал кое-какие



деньжонки, на которые мы и жили, покуда он не отправился к праотцам. Следующую ночь я провел в парадной комнате на втором этаже его дома, разумеется, намного приятнее, чем предыдущую, ибо, как вы легко можете представить...

— Простите, сэр, хозяйка зовет чай пить,— сказала средних лет служанка, входя в комнату.

— Это та самая служанка, которая фигурирует в моем рассказе,— пояснил мистер Габриэл Парсонс.— Она находится в услужении у Фанни со дня нашей свадьбы и, по-моему, ни капельки не уважает меня после того, как я на ее глазах вылез из трубы. Помнится, с нею тогда сделался истерический припадок, с той поры она им вообще подвержена. Но не присоединиться ли нам к дамам?

— С удовольствием,— сказал мистер Уоткинс Тотл.

— Сделайте одолжение,— присовокупил угодливый мистер Тимсон, и почтенное трио направилось в гостиную.

После чая с гренками, во время которого мистер Уоткинс Тотл нечаянно опрокинул свою чашку, сели играть в вист. Мистеру Парсонсу досталась в партнерши его супруга, а мистеру Уоткинсу Тотлу — мисс Лиллертон.

Мистер Тимсон, по религиозным соображениям воздерживавшийся от карт, пил грог и беспрестанно пикировался с мистером Уоткинсом Тотлом. Вечер прошел очень приятно; мистер Уоткинс Тотл чувствовал себя превосходно, чему немало способствовала благосклонность мисс Лиллертон. Перед тем, как он откланялся, решено было в будущую субботу вместе совершить поездку в Бьюла-Спа.

— Кажется, дело идет на лад,— сказал мистер Габриэл Парсонс мистеру Уоткинсу Тотлу, прощаясь с ним у калитки.

— Надеюсь,— отвечал тот, пожимая руку приятелю.

— Приезжайте в субботу первым дилижансом,— сказал мистер Габриэл Парсонс.

— Непременно,— отвечал мистер Уоткинс Тотл.— Во что бы то ни стало.

Но мистеру Уоткинсу Тотлу не суждено было приехать с первым субботним дилижансом. Его приключения в этот день и исход его сватовства составят содержание следующей главы.

2

Поутру в субботу, назначенную для поездки в Бьюла-Спа, мистер Габриэл Парсонс с самодовольным видом прохаживался по усыпанной гравием четырнадцатифутовой дорожке, тянувшейся вдоль его «газона».

— Что, первый дилижанс еще не проходил, Том? — полюбопытствовал он.

— Нет, сэр, я не видал,— ответил садовник в синем фартуке, нанятый для украшения сада за полкроны в день и за харчи.

— Пора бы уже Тотлу быть здесь,— задумчиво произнес мистер Габриэл Парсонс.— Ага, вот, должно быть, и он! — добавил Габриэл, заметив быстро поднимавшийся в гору кэб. Он застегнул свой шлафрок и отпер калитку, чтобы встретить гостя. Кэб остановился, и из него выскочил человек в пальто из грубого сукна, в грязно-белом шейном платке, выгоревшей черной паре, в сапогах с ярко-рыжими отворотами и в одном из тех высоченных цилиндров, которые прежде встречались довольно редко, но за последнее время вошли в моду у джентльменов и уличных торговцев.

— Мистер Парсонс? — вопросительно произнес человек, обращаясь к Габриэлу и рассматривая надпись на записке, которую держал в руке.

— Да, я Парсонс,— отвечал сахаровар.

— Я привез вот эту вот записку,— хриплым шепотом сообщил субъект в сапогах с рыжими отворотами,— я привез вот эту вот записку от одного джентльмена, который нынче поутру поступил к нам в дом.

— А я ожидал этого джентльмена в своем доме,— сказал Парсонс, сломав печать с оттиском профиля ее величества, какие можно видеть на шестипенсовых монетах.

Этот джентльмен, уж конечно, был бы тут,— возразил незнакомец,— если б только ему не пришлось сперва попасть к нам. Ну, а раз джентльмен к нам попал, мы уже с него глаз не спустим, можете не сомневаться,— добавил неизвестный, весело ухмыляясь,— прошу прощенья, сэр, я ничего худого не хотел сказать, только — уж раз они попались... надеюсь, вы схватили мою мысль, сэр?

Мистер Габриэл Парсонс не отличался способностью схватывать что-либо на лету, за исключением разве насморка. По сему случаю он ограничился тем, что окинул своего таинственного собеседника исполненным глубочайшего изумления взором и принялся разворачивать доставленную ему записку. Развернув ее, он без труда понял, в чем дело. Мистер Уоткинс Тотл был неожиданно арестован за неуплату долга в тридцать три фунта десять шиллингов четыре пенса и писал ему из долговой тюрьмы, находившейся близ Чансери-лейн.

— Прескверная история! — произнес Парсонс, складывая записку.

— Ничего, стоит только привыкнуть,— равнодушно отвечал субъект в суконном пальто.

— Том! — воскликнул Парсонс, подумав с минуту.— Потрудитесь заложить лошадь. Передайте джентльмену, что я приеду тотчас же вслед за вами,— продолжал он, обращаясь к Меркурию шерифа.

— Очень хорошо,— отвечал сей ответственный посланец и доверительным тоном добавил: — Я советовал бы друзьям джентльмена уладить это дело. Сами видите, что это сущая безделица, и, если только джентльмен не собирается предстать перед судом, вряд ли стоит ожидать предписания о дальнейшем содержании под стражей, сами понимаете. Наш хозяин — он глядит в оба. Я никогда худого не скажу про него или про другого кого, да только он свое дело знает, здорово знает.

Произнося этот красноречивый, а для Парсонса особенно вразумительный монолог, значение которого дополнялось различными ужимками и кивками, джентльмен в сапогах с отворотами снова сел в свой кэб, а кэб быстро покатился прочь и вскоре исчез из виду. Мистер Габриэл Парсонс продолжал еще некоторое время шагать взад и вперед по дорожке, очевидно погруженный в глубокие размышления. Результат его раздумий, по-видимому, вполне удовлетворил его, ибо он проворно вбежал в дом и объявил, что дела требуют его незамедлительного приезда в город, что он велел посланному известить об этом мистера Уоткинса Тотла и что к обеду они вернутся вместе. Затем он на скорую руку приготовился к поездке и, усевшись в свою двуколку, отправился в заведение

мистера Соломона Джейкобса, расположенное (как извещал его мистер Уоткинс Тотл) на Кэрситор-стрит близ Чансери-лейн.

Когда человек особенно спешит, имея в виду определенную цель, достижение которой зависит от окончания путешествия, ему кажется, что на пути его встречается бесконечное число препятствий, словно нарочно придуманных ради этого случая. Мысль эту отнюдь нельзя назвать оригинальной, и во время своей поездки мистер Габриэл Парсонс на собственном горьком опыте убедился в ее справедливости. Существует три разновидности одушевленных предметов, которые мешают вам сколько-нибудь быстро и удобно передвигаться по многолюдным улицам. Это — свиньи, ребятишки и старухи. В том случае, о котором идет речь, свиньи уписывали кочерыжки, в воздухе порхали воланы, подбрасываемые маленькими деревянными ракетками, на мостовой резвились дети, а старухи, с корзинкой в одной руке и с ключом от входной двери в другой, норовили перейти улицу под самым носом у лошади, так что мистер Габриэл Парсонс кипел от ярости и окончательно охрип от беспрестанных окриков и проклятий. Когда он добрался до Флит-стрит, там образовалась «пробка», причем люди, сидевшие в экипажах, имели удовольствие по крайней мере полчаса сохранять полную неподвижность и завидовать самым медлительным пешеходам, а полицейские, бегая туда и сюда, хватали лошадей под уздцы и толкали их прямо в витрины задом, пытаясь расчистить дорогу и предотвратить беспорядок. В конце концов мистер Габриэл Парсонс свернул в Чансери-лейн и, выяснив после некоторых расспросов, как проехать на Кэрситор-стрит (эта часть города была ему совершенно незнакома), вскоре очутился перед домом мистера Соломона Джейкобса. Поручив свою лошадь и двуколку попечению одного из четырнадцати мальчишек, гнавшихся за ним от самого Блекфрайерского моста на случай, если ему потребуются их услуги, мистер Габриэл Парсонс перешел через улицу и постучался в дверь, в верхнюю часть которой было вставлено стекло, забранное, как и все окна этого привлекательного здания, железною решеткой, для пущей приятности покрашенной в белую краску.

На стук вышел рыжий мальчишка с сердитой бледно-желтой физиономией. Обозрев мистера Габриэла Парсонса сквозь стекло, он вставил большой ключ в огромный деревянный нарост, по сути дела представлявший собою замок, но в сочетании с железными гвоздями, которыми были утыканы филенки, придававший двери такой вид, словно на ней выросли бородавки.

— Мне нужно видеть мистера Уоткинса Тотла,— сказал Парсонс.

— Это тот джентльмен, который поступил сегодня утром, Джем,— раздался визгливый голос с лестницы, ведущей вниз на кухню. Голос этот принадлежал неопрятной женщине, которая в эту минуту как раз подняла свой подбородок на уровень пола в коридоре.— Джентльмен в зале.

— Наверх, сэр,— сказал мальчишка и, отворив дверь ровно настолько, чтобы Парсонс мог пройти, не рискуя быть раздавленным, снова повернул ключ на два оборота, как только тот пробрался сквозь это отверстие.— Второй этаж, дверь налево.

Получив эти указания, мистер Габриэл Парсонс поднялся по полутемной, не покрытой ковром лестнице и несколько раз тихонько постучал в вышеупомянутую «дверь налево». Однако на стук никто не отозвался: его заглушал гомон голосов в комнате и доносившееся снизу шипенье какого-то поджариваемого кушанья. Тогда Парсонс повернул ручку двери и вошел. Узнав, что несчастный, которого он пришел проведать, только что отправился наверх писать письмо, он сел и принялся наблюдать окружающую картину.

Зала, или, скорее, маленькая тесная комната, была разделена перегородками на небольшие клетки, подобно общей зале в какой-нибудь дешевой харчевне. Грязный пол, как видно, давно уже не знал ни щетки, ни ковра, ни простой дорожки, а потолок совершенно почернел от копоти керосиновой лампы, освещавшей комнату по вечерам. Серый пепел на столах и окурки сигар, в изобилии разбросанные возле пыльной каминной решетки, вполне объясняли причину невыносимого запаха табака, наполнявшего комнату, а пустые стаканы и размокшие куски лимона на столах вместе с пивными кружками под сто-

лами свидетельствовали о возлияниях, которым с утра до ночи предавались временные постояльцы мистера Соломона Джейкобса. Тусклое зеркало над камином было вдвое уже каминной доски, зато ржавая решетка была, наоборот, вдвое шире самого камина.

Когда мистер Габриэл Парсонс осмотрел эту приятную комнату, внимание его, естественно, привлекли находившиеся в ней люди. В одной из клетушек двое мужчин играли в криббедж очень грязными картами, собранными из разных колод, с синими, зелеными и красными рубашками. Доску для игры давно уже смастерил какой-то изобретательный постоялец, перочинным ножом и вилкой о двух зубьях просверлив в столе необходимое число дырок для втыкания деревянных гвоздиков. В другой клетушке упитанный жизнерадостный субъект лет сорока ел обед, доставленный ему в корзинке не менее бодрою супругой; в третьей молодой человек благородной наружности вполголоса горячо объяснял что-то молодой женщине, лицо которой было скрыто густой вуалью и которая, как решил мистер Габриэл Парсонс, была, очевидно, женою должника. Еще один молодой человек, с вульгарными манерами и одетый по последней моде, заложив руки в карманы, прохаживался из угла в угол с зажженной сигарой во рту, то и дело пуская густые клубы дыма и по временам с очевидным удовольствием прикладываясь к большой кружке, содержимое которой подогревалось на огне.

— Еще четыре пенса, черт возьми! — воскликнул один из игроков в криббедж, раскуривая трубку и обращаясь к своему противнику.— Похоже на то, будто вы спрятали свое счастье в перечницу и высыпаете его оттуда по мере надобности.

— Недурно сказано,— отвечал другой, лошадиный барышник из Излингтона.

— Вот именно, черт побери! — вмешался жизнерадостный субъект, окончив тем временем свой обед и в поистине завидном супружеском согласии потягивая горячий грог из одного стакана с женою. Верная подруга его жизни принесла внушительное количество антитрезвенной жидкости в большой плоской глиняной бутыли, формой своею напоминавшей кувшин вместимостью в пол-

галлона, которому сделали удачный прокол от водянки.— Вы славный малый, мистер Уокер. Не желаете ли погрузить сюда свой клюв?

— Благодарю, сэр,— отвечал мистер Уокер, выходя из своей клетушки и направляясь в соседнюю, чтобы принять предложенный стакан.— Ваше здоровье, сэр, и здоровье вашей славной женушки. За ваше здоровье, джентльмены, желаю вам удачи. Однако, мистер Уиллис,— продолжал веселый арестант, обращаясь к молодому человеку с сигарой,— вы сегодня что-то не в духе, так сказать — нос на квинту. Что с вами, сэр? Не унывайте.

— О! У меня все в порядке,— отвечал курильщик.— Завтра меня возьмут на поруки.

— В самом деле? Хотел бы я то же самое сказать о себе. Я ведь окончательно пошел ко дну — в точности, как «Ройял Джордж»,— скорее из него всю воду вычерпают, чем меня отсюда вызволят. Ха-ха-ха!

— Посмотрите на меня,— произнес молодой человек очень громким голосом и остановился среди комнаты.— Как вы думаете, почему я проторчал здесь два дня?

— Скорей всего потому, что не могли отсюда выйти,— отвечал мистер Уокер, подмигивая честной компании.— Не то чтобы вы были обязаны здесь оставаться, а просто вам иначе никак невозможно. Никакого принуждения, а так, знаете, должны — и все.

— Ну, разве он не славный малый? — с восхищением обратился к своей жене субъект, предлагавший Уокеру стакан грога.

— А то как же! — отвечала почтенная леди, совершенно очарованная этими блестками остроумия.

— Мое дело совершенно особого рода,— нахмурилась жертва острословия Уокера, бросив в огонь окурок сигары и сопровождая свою речь равномерными ударами пивной кружки по столу.— Отец мой — человек весьма состоятельный, а я — его сын...

— Да, это весьма странное обстоятельство,— игриво заметил мистер Уокер.

— Я его сын и получил прекрасное образование. Я никому ничего не должен — ни единого фартинга, но, видите ли, меня уговорили поручиться за друга на значительную сумму, я бы даже сказал — на весьма значитель-

ную сумму, которую мне, однако, не возместили. И каковы же были последствия?

— Что ж, надо полагать, что его векселя пошли бродить по белу свету, а вы угодили под замок. Арест был наложен не на акцепты, а на вас.

— Именно так,— отвечал юный джентльмен, получивший прекрасное образование,— именно так. И вот я здесь, сижу взаперти из-за каких-то тысячи двухсот фунтов.

— Почему же вы не попросите своего родителя выложить денежки? — спросил Уокер скептическим тоном.

— Да что вы! Он никогда этого не сделает,— отвечал тот убежденно.— Никогда!

— Удивительное дело,— вступил в разговор владелец плоской бутыли, смешивая еще один стакан грога.— Я вот уже лет тридцать, можно сказать, только и делаю, что попадаю в беду. Тридцать лет назад я разорился на торговле молоком, потом снова сел на мель, когда занялся продажей фруктов и держал фургон на рессорах, и, наконец, в последний раз, когда стал развозить по домам уголь и картошку, и представьте — за все это время я еще ни разу не встречал в этих местах ни одного молодого парня, который бы не говорил, что его вот-вот должны выпустить. Все сидят за векселя, которые выдали друзьям, и все ровно ничего по ним не получили — ни единого гроша.

— Да, это старая песня,— сказал Уокер.— Не вижу я в ней вовсе никакого толку. Это-то меня и бесит. Я был бы гораздо лучшего мнения о человеке, если б он признался сразу, честно и благородно, как подобает джентльмену, что надувал каждого, кого только мог.

— Конечно, конечно,— вмешался барышник, чьим понятиям о купле и продаже такая формула вполне соответствовала,— совершенно с вами согласен.

Юный джентльмен, вызвавший эти злорадные замечания, приготовился было дать на них весьма резкий ответ, но в эту минуту молодой человек, о котором упоминалось выше, и женщина, сидевшая рядом с ним, поднялись, чтобы выйти из комнаты, и разговор прервался. Она горько плакала, и нездоровая атмосфера комнаты так подействовала на ее расстроенные нервы и хрупкий организм, что ее спутнику пришлось поддерживать ее, когда они вместе направились к выходу.

В наружности этой пары было нечто столь благородное, столь необычное в заведении подобного рода, что все почтительно умолкли и не проронили ни слова до тех пор, пока оглушительный скрежет дверной пружины не возвестил о том, что они уже ничего не услышат. Молчание прервала жена бывшего фруктовщика.

— Бедняжка! — произнесла она, заливая свой вздох большим глотком грога.— Она еще такая молоденькая.

— И к тому же недурна,— добавил барышник.

— За что он угодил сюда, Айки? — осведомился Уокер у субъекта, который накрывал один из столов скатертью, испещренной множеством горчичных пятен, и в котором мистер Габриэл Парсонс без труда узнал своего утреннего посетителя.

— У-у, вы еще в жизни не слыхивали о таком дьявольском жульничестве,— отвечал доверенный слуга мистера Соломона Джейкобса.— Он прибыл сюда в прошлую среду и, между прочим, сегодня вечером отправляется на тот берег Темзы *, ну, да это к делу не относится. Мне, знаете ли, пришлось-таки побегать туда-сюда по его делам, и я сумел выведать кое-что у слуг и еще кой у кого, и, насколько я понял, суть в том, что...

— Короче, старина,— перебил его Уокер, который по опыту знал, что рассказы владельца высоких сапог с отворотами не отличались ни краткостью, ни вразумительностью.

— Вы мне только не мешайте,— сказал Айки,— и тогда через пять секунд меня и след простынет. Отец этого самого молодого джентльмена,— так мне сказали, имейте в виду,— и отец этой молодой женщины всегда были на ножах, но случилось так, что он пошел в гости к одному джентльмену, с которым они вместе учились, и повстречал там эту самую молодую леди. Он виделся с ней несколько раз, а потом возьми да и объяви, что хочет и дальше с нею встречаться, если она согласна. Ну вот, он, значит, полюбил ее, а она его, и не иначе, как дело у них пошло на лад, потому что через полгода они обвенчались, и заметьте — тайком от родителей — по крайней мере так говорят. Ну, а когда отцы про это узнали — ай-ай-ай, что тут сделалось! Уморить их с голоду — это еще полбеды. Отец молодого джентльмена не отказал ему ни

гроша за то, что сын не хотел отказаться от жены, а отец молодой леди — так тот еще хуже сделал: он не только разбранил ее последними словами и поклялся, что больше никогда ее не увидит, нет, он еще нанял одного молодца, которого вы, мистер Уокер, не хуже меня знаете, чтоб тот пошел да и скупил все векселя и все такое прочее, под которые молодой супруг пытался раздобыть денег, чтоб хоть некоторое время продержаться, в надежде, что старик одумается; мало того — он стал изо всех сил натравливать на него других людей. Результат был тот, что молодой человек платил сколько мог, но вскоре на него навалились такие долги, какие он никак не рассчитывал отдавать, покуда не обернется, и вот тут-то его и зацапали. Привезли его сюда, как я уже говорил, в прошлую среду, и у нас внизу сейчас наверняка лежит с полдюжины предписаний о дальнейшем задержании под стражей — и все на него. Я по этой части пятнадцать лет служу,— добавил Айки,— а уж таких злопамятных людей не видывал!

— Ах, бедняжки! — снова воскликнула супруга бывшего торговца углем, еще раз прибегая к тому же превосходному средству, чтобы подавить свой вздох в самом зародыше.— Ах, если б им пришлось пережить столько горя, сколько нам с мужем, они бы чувствовали себя не хуже нашего.

— Молодая леди недурна,— сказал Уокер,— да только не в моем вкусе,— уж больно она субтильна, смотреть не на что. Ну, а парень — он, может, и из порядочных и всякое такое, да зря он нос повесил. Прыти ему не хватает, вот что.

— Прыти не хватает! — вскричал Айки, в десятый раз перекладывая с места на место ножик и вилку с зелеными черенками, чтоб иметь предлог оставаться в комнате.— Прыти-то у него хватает, если есть с кем потягаться, но у кого же хватит прыти, как вы выражаетесь, когда рядом с ним сидит такое несчастное создание? У всякого сердце кровью обольется, на них глядя,— это уж точно. Никогда не забуду, как она приезжала сюда в первый раз — в четверг он написал ей, чтоб она приехала, я это точно знаю, сам письмо отвозил. Весь день он сидел как на иголках, а вечером, гляжу, спускается в контору да и говорит Джейкобсу: «Сэр, говорит, нельзя ли мне сегодня

вечером на несколько минут воспользоваться отдельной комнатой без дополнительной оплаты? Я хотел бы там повидаться со своей женой». Джейкобс хотел было ответить: «Скажите, какой скромник выискался»,— да тут как раз тот джентльмен, что жил в задней комнате, уехал, заплатив за весь день,— и потому он и говорит с важным видом: «Сэр, это против наших правил, чтобы постояльцы бесплатно пользовались отдельными комнатами, но, говорит, для джентльмена я готов один раз нарушить правило». Тут он повернулся ко мне и говорит: «Айки, снеси в заднюю гостиную две свечки и поставь их на счет этому джентльмену». Я так и сделал. Через некоторое время к дверям подъезжает наемная карета, а в ней сидит эта молодая леди, завернувшись в ротонду, или как их там называют. В тот вечер я отпирал двери и потому вышел встречать карету, а он ждал у дверей комнаты и весь дрожал с головы до ног — ей-богу! Как увидела его бедняжка, у ней чуть ноги не подкосились. «Ах, Гарри! Вот до чего мы дошли, и все из-за меня!» — говорит она и кладет руку ему на плечо. Обнял он ее за тоненькую талию, нежно провел в комнату, затворил дверь и сказал — тихонько так, да ласково: «Что ж делать, Кэт...»

— А вот и джентльмен, которого вы спрашивали,— сказал Айки, резко обрывая свой рассказ и представляя мистеру Габриэлу Парсонсу пришибленного Уоткинса Тотла, который в эту минуту вошел в комнату. Уоткинс приблизился с выражением тупого смирения на лице и пожал протянутую мистером Габриэлом Парсонсом руку.

— Мне нужно поговорить с вами,— сказал Габриэл, на лице которого выразилось крайнее нерасположение к собравшемуся в комнате обществу.

— Пройдемте сюда,— отвечал узник, направляясь к парадной гостиной, где богатые должники предавались роскоши за две гинеи в сутки.

— Итак, я здесь,— сказал Уоткинс, усаживаясь на диван, кладя руки на колени и озабоченно заглядывая в глаза другу.

— Вижу, вижу, и похоже на то, что вы здесь и останетесь,— хладнокровно отвечал Габриэл Парсонс, позвякивая деньгами в кармане своих невыразимых и поглядывая в окно.

— Какова сумма долга вместе с издержками? — осведомился он после неловкого молчания.

— Тридцать семь фунтов три шиллинга десять пенсов.

— Есть у вас деньги?

— Всего девять шиллингов и шесть с половиной пенсов.

Прежде чем решиться открыть свой план, мистер Габриэл Парсонс несколько минут прохаживался взад-вперед по комнате; он привык заключать кабальные сделки, но всегда старался скрыть свою алчность. Наконец, он остановился и сказал:

— Тотл, вы должны мне пятьдесят фунтов.

— Да.

— И, судя по всему, вы останетесь моим должником.

— Боюсь, что так.

— Хотя вы с удовольствием рассчитались бы со мною, если б имели возможность?

— Разумеется.

— Ну, так слушайте,— сказал мистер Габриэл Парсонс.— Вот мое предложение. Вы меня давно знаете. Согласны или не согласны — да или нет? Я плачу долг и все издержки, даю вам взаймы еще десять фунтов, которые вместе с вашим годовым доходом позволят вам успешно провести свою кампанию, вы же даете расписку в том, что обязуетесь выплатить мне полтораста фунтов не позже чем через полгода после женитьбы на мисс Лиллертон.

— Но, милый мой...

— Постойте. С одним условием, а именно: вы сделаете предложение мисс Лиллертон немедленно.

— Немедленно! Дорогой Парсонс, подумайте, что вы говорите.

— Это вам нужно думать, а не мне. Она много о вас слышала, хотя лично познакомилась с вами не так давно. Несмотря на всю ее девическую скромность, я уверен, что она только и мечтает выйти замуж как можно скорее без лишних проволочек. Моя жена выспрашивала ее, и она призналась.

— Призналась? В чем же? — с нетерпением прервал его влюбленный Уоткинс.

— По правде говоря, было бы трудно сказать, в чем именно она призналась,— отвечал Парсонс,— ведь они изъяснялись только намеками; но моя жена в таких делах собаку съела и утверждает, будто признание мисс Лиллертон можно истолковать так, что она не совсем равнодушна к вашим достоинствам,— словом, что она не будет принадлежать никому другому.

Мистер Уоткинс Тотл вскочил с места и дернул звонок.

— Это еще зачем? — осведомился Парсонс.

— Я хочу послать за гербовой бумагой,— отвечал мистер Уоткинс Тотл.

— Стало быть, вы согласны?

— Согласен.

Друзья обменялись сердечными рукопожатиями. Расписка была выдана, долг и издержки уплачены, Айки отблагодарили за услуги, и два друга вскоре закрыли за собой дверь заведения мистера Соломона Джейкобса с той стороны, с которой мечтают снова очутиться все его обитатели, а именно — с *наружной*.

— Итак,— сказал мистер Габриэл Парсонс по дороге в Норвуд,— у вас будет возможность объясниться сегодня же, только не робейте.

— Я готов! — храбро отвечал Уоткинс.

— Хотел бы я увидеть вас вместе! — вскричал мистер Габриэл Парсонс.— То-то будет потеха!

Он смеялся так долго и так громко, что привел в полное замешательство мистера Уоткинса Тотла и испугал лошадь.

— Смотрите, вот Фанни и ваша нареченная гуляют на лужайке,— сказал Габриэл, когда они приблизились к дому.— Держитесь, Тотл.

— Не беспокойтесь,— решительно отвечал Тотл, направляясь к дамам.

— Вот мистер Тотл, милочка,— сказала миссис Парсонс, обращаясь к мисс Лиллертон. Последняя быстро обернулась, и в ответ на его учтивое приветствие на лице ее, как и при первой их встрече, Уоткинс заметил смущение, однако на этот раз с некоторым оттенком разочарования или равнодушия.

— Вы заметили, как она обрадовалась при виде вас? — прошептал Парсонс.

— По-моему, у нее было такое лицо, словно она хотела увидеть кого-то другого,— отвечал Тотл.

— Чепуха! — снова прошептал Парсонс.— Женщины — и молодые и старые — всегда так поступают. Они и виду не покажут, как рады вам, а у самих сердце так и прыгает. Таков уж женский пол, и мужчине вашего возраста пора бы это знать. Фанни много раз признавалась мне в этом, когда мы только поженились. Вот что значит быть женатым!

— Без сомнения,— прошептал Тотл. Храбрость его быстро улетучивалась.

— Ну, пора приниматься за дело,— сказал Парсонс. Вложив в предприятие некоторую сумму, он взял на себя обязанности распорядителя.

— Да, да, сейчас...— в сильном смущении отвечал Тотл.

— Да скажите же ей что-нибудь,— настаивал Парсонс.— Черт возьми, сделайте ей комплимент, что ли.

— После обеда,— отвечал застенчивый Тотл, стараясь отсрочить роковую минуту.

— Однако, джентльмены,— сказала миссис Парсонс,— вы, право же, чрезвычайно учтивы. Сначала вы все утро отсутствуете, вместо того чтобы, как было обещано, везти нас на прогулку, а когда, наконец, приезжаете домой, то шепчетесь друг с другом, не обращая на нас ровно никакого внимания.

— Душа моя, мы говорили о деле, которое задержало нас сегодня утром,— отвечал Парсонс, бросая многозначительный взгляд на Тотла.

— Боже! Как быстро пролетело это утро! — воскликнула мисс Лиллертон, взглянув на свои золотые часы, которые она независимо от надобности заводила в особо торжественных случаях.

— А мне кажется, что оно тянулось очень медленно,— робко заметил Тотл.

— Браво! Отлично! — прошептал Парсонс.

— Неужели? — произнесла мисс Лиллертон, изобразив величественное изумление.

— Я могу объяснить это только тем, что был лишен вашего общества, сударыня, и общества миссис Парсонс,— сказал Уоткинс.

Во время этого короткого диалога дамы направились к дому.

— Какого черта вы приплели к этому комплименту Фанни? — спросил Парсонс, когда друзья последовали за дамами.— Вы этим все дело испортили.

— О, иначе он казался бы очень дерзким,— отвечал Уоткинс Тотл,— я бы даже сказал, чересчур дерзким.

— Он рехнулся! — шепнул Парсонс на ухо своей супруге, входя в гостиную.— Рехнулся от скромности.

— Скажите на милость! — вскричала она.— Я в жизни ничего подобного не слышала.

— Как видите, мистер Тотл, у нас нынче совершенно семейный обед,— сказала миссис Парсонс, когда все сели за стол.— Мисс Лиллертон у нас как родная, да и вы для нас тоже не чужой.

Мистер Уоткинс Тотл выразил надежду, что никогда не будет чужим в семье Парсонс, а про себя подумал, что его застенчивость все равно не даст ему чувствовать себя как дома.

— Снимите крышки, Марта,— приказала миссис Парсонс, озабоченно распоряжаясь переменою декораций.

Приказание было выполнено, и на одном конце стола показалась пара вареных кур с языком и прочими принадлежностями, а на другом — телятина. С одной стороны на зеленом блюде красовались два зеленых соусника с фарфоровыми ложками того же цвета, с другой — кролик под коричневым соусом с пряностями и с гарниром из ломтиков лимона.

— Мисс Лиллертон, милочка, поухаживать за вами? — спросила миссис Парсонс.

— Нет, благодарю вас, я, пожалуй, побеспокою мистера Тотла.

Уоткинс встрепенулся, задрожал, подал кусок кролика и разбил рюмку. Лицо хозяйки дома, до этой минуты сиявшее лучезарною улыбкой, страшно изменилось.

— П-п-рошу прощения,— заикаясь, пробормотал Тотл, в крайнем замешательстве накладывая себе на тарелку соус с пряностями, петрушку и масло.

— О, неважно,— отвечала миссис Парсонс тоном, не оставлявшим ни малейших сомнений в чрезвычайной важ-

ности происшествия, и тут же велела мальчику, который шарил под столом в поисках осколков стекла, прекратить свои изыскания.

— Я полагаю, что мистеру Тотлу известно, какому штрафу обычно подвергаются в подобных случаях холостяки,— сказала мисс Лиллертон.— Дюжина рюмок за одну разбитую.

Мистер Габриэл Парсонс многозначительно наступил Тотлу на ногу. В этих словах заключался явный намек, что чем скорее он перестанет быть холостяком и избавится от подобных штрафов, тем лучше. Мистер Уоткинс Тотл именно так и понял это замечание и, выказав просто поразительную в данных обстоятельствах находчивость, предложил миссис Парсонс вина.

— Мисс Лиллертон,— сказал Габриэл,— разрешите мне...

— Вы очень любезны.

— Тотл, передайте, пожалуйста, графин мисс Лиллертон. Благодарю вас.— За сим последовала обычная пантомима кивков и глотков.

— Тотл, приходилось ли вам бывать в Саффоке? — спросил хозяин дома, жаждавший рассказать одну из своих неизменных семи историй.

— Нет, не приходилось,— отвечал Уоткинс, добавив в виде оговорки, что он бывал в Девоншире.

— Жаль! Видите ли, в Саффоке много лет назад со мной был чрезвычайно странный случай. Разве я вам никогда о нем не рассказывал?

Мистер Уоткинс Тотл, разумеется, слышал эту историю не меньше тысячи раз. Однако он выразил величайшее любопытство и с крайним нетерпением ждал рассказа. Мистер Габриэл Парсонс тотчас же приступил к делу, несмотря на то, что, как наши читатели неоднократно имели возможность убедиться, хозяина дома в таких случаях очень часто перебивают. Мы попытаемся пояснить свою мысль на примере.

— Когда я был в Саффоке...— начал мистер Габриэл Парсонс.

— Сначала уберите кур, Марта,— сказала миссис Парсонс.— Извини, милый.

— Когда я был в Саффоке,— повторил мистер Парсонс, бросая раздраженный взгляд на свою супругу, которая сделала вид, будто ничего не замечает,— когда я был в Саффоке несколько лет назад, мне пришлось заехать по делу в город Бери-Сент-Эдмондс. Я должен был по дороге задержаться на главных станциях и потому для удобства поехал на двуколке. Часов в девять вечера, в полной тьме — дело было зимою,— я выехал из Садбери. Дождь лил как из ведра, ветер завывал в придорожных деревьях, было так темно, что я не мог разглядеть собственную руку, и я вынужден был ехать шагом...

— Джон,— произнесла миссис Парсонс низким глухим голосом,— не пролейте соус.

— Фанни,— с досадою сказал Парсонс,— лучше бы ты отложила свои хозяйственные распоряжения до более удобного времени. Право же, душа моя, очень неприятно, когда тебя постоянно перебивают.

— Но ведь я же не перебивала тебя, милый,— отвечала миссис Парсонс.

— Нет, ты перебила меня, душенька,— возразил мистер Парсонс.

— Это просто смешно, друг мой! Ведь должна же я, в самом деле, смотреть за прислугой, а если б я сидела, спокойно глядя, как Джон обливает соусом новый ковер, ты же первый завтра утром стал бы сердиться, что на ковре пятна.

— Так вот,— продолжал Габриэл с видом полной покорности судьбе, словно зная, что против этого последнего довода все равно ничего не поделаешь,— как я уже сказал, было до того темно, что я не мог разглядеть свою собственную руку. Дорога была безлюдна, и уверяю вас, Тотл (последним замечанием мистер Парсонс желал привлечь внимание Уоткинса, который заинтересовался конфиденциальными переговорами между миссис Парсонс и Мартой, сопровождавшимися передачею огромной связки ключей), уверяю вас, Тотл, мне стало как-то не по себе...

— Подайте хозяину пирог,— перебила его миссис Парсонс, снова обращаясь к прислуге.

— Прошу тебя, дорогая! — обиженно взмолился Парсонс.

Миссис Парсонс возвела к потолку глаза и руки, молчаливо ища сочувствия у мисс Лиллертон.

— Когда я подъехал к повороту,— продолжал Габриэл,— лошадь вдруг остановилась и взвилась на дыбы. Я осадил назад, соскочил на землю, подбежал к морде лошади и увидел, что посреди дороги лежит навзничь какой-то человек и неподвижным взором глядит на небо. Я сперва подумал, что́ он мертв, но нет, он был жив и, по-видимому, цел и невредим. Вдруг он вскочил, схватился за грудь и, устремив на меня самый пронзительный взгляд, какой вы можете себе представить, вскричал...

— Подайте сюда пудинг,— произнесла миссис Парсонс.

— Ах, что толку! — в отчаянии воскликнул хозяин.— Послушайте, Тотл, не угодно ли вина? При миссис Парсонс невозможно ничего рассказывать.

Этот выпад был принят как обычно. Делая вид, что обращается к мисс Лиллертон, миссис Парсонс корила свою половину, распространяясь о раздражительности всех мужчин вообще, намекала, что ее супруг особенно подвержен этому пороку, и в конце своей речи дала понять, что у нее ангельский характер, ибо в противном случае она не могла бы этого выдержать. Право же, тем, кто видит ее в повседневной жизни, трудно представить себе, что́ ей приходится иногда терпеть.

Продолжать рассказ было бы теперь крайне неуместно, и потому мистер Парсонс, не входя в подробности, ограничился сообщением, что тот человек оказался помешанным, сбежавшим из соседнего сумасшедшего дома.

Наконец, со стола убрали скатерть, и вскоре вслед за тем дамы удалились в гостиную, где мисс Лиллертон специально для ушей гостя принялась очень громко играть на фортепьяно. Мистер Уоткинс Тотл и мистер Габриэл Парсонс спокойно болтали до окончания второй бутылки. Перед тем как перейти в гостиную, Парсонс сообщил Уоткинсу, что они с женой придумали план, как оставить его тотчас после чая наедине с мисс Лиллертон.

— Послушайте,— сказал Тотл, когда они поднимались по лестнице,— не кажется ли вам, что лучше отложить это до... до... до завтра?

— А не кажется ли *вам,* что было бы гораздо лучше, если б я оставил вас в той гнусной дыре, где застал сегодня утром? — резко возразил ему Парсонс.

— Нет, нет! Я ведь только высказал предположение,— произнес несчастный Тотл с тяжелым вздохом.

После чая мисс Лиллертон, придвинув к камину рабочий столик и установив на нем маленькую деревянную рамку — нечто вроде миниатюрной глиномялки без лошади,— тотчас же принялась плести из коричневого шелка цепочку для часов.

— Боже мой! — вскричал Парсонс, вскакивая с места с притворным изумлением. — Ведь я же совсем забыл про эти проклятые письма. Тотл, я надеюсь, вы меня извините.

Будь его воля, Тотл ни под каким видом не позволил бы никому, за исключением разве самого себя, покинуть комнату. Теперь, однако, он вынужден был с беспечным видом смотреть на уходящего Парсонса.

Не успел тот выйти, как в дверь просунулась Марта со словами:

— Пожалуйте, мэм, вас спрашивают.

Миссис Парсонс вышла из комнаты, плотно прикрыв за собою дверь, и мистер Уоткинс Тотл остался наедине с мисс Лиллертон.

Воцарилась гробовая тишина. Мистер Уоткинс Тотл думал, с чего начать; мисс Лиллертон, казалось, не думала ни о чем. Огонь в камине догорал; мистер Уоткинс Тотл помешал его и подбросил угля.

Минут через пять мисс Лиллертон откашлялась. Мистеру Уоткинсу Тотлу показалось, что прелестное создание заговорило.

— Прошу прощения,— произнес он.

— Что?

— Мне показалось, будто вы что-то сказали.

— Нет, ничего.

— А-а!

— На софе лежат книги, мистер Тотл. Не желаете ли взглянуть? — проговорила мисс Лиллертон еще через пять минут.

— Нет, благодарю вас,— отвечал Уоткинс, а затем с присутствием духа, изумившим даже его самого, доба-

вил: — Сударыня... то есть, простите, мисс Лиллертон, я желал бы поговорить с вами.

— Со мной? — произнесла мисс Лиллертон, роняя шелк и отодвигаясь вместе со стулом на несколько шагов назад.— Поговорить? Со мной?

— Да, сударыня, с вами — и притом о ваших сердечных влечениях.

Тут мисс Лиллертон поспешно встала и хотела было выйти из комнаты, но мистер Уоткинс Тотл нежно остановил ее за руку и, держась от нее на таком расстоянии, какое позволяла общая длина их рук, продолжал:

— Бога ради, не поймите меня превратно, не подумайте, будто после столь непродолжительного знакомства я осмеливаюсь обратить ваше внимание на свои достоинства, ибо я отнюдь не обладаю достоинствами, которые могли бы дать мне право искать вашей руки. Надеюсь, вы не сочтете меня самонадеянным, если я скажу вам, что миссис Парсонс уведомила меня о... то есть миссис Парсонс сказала мне... вернее, не миссис Парсонс, а...— здесь Уоткинс начал путаться, но мисс Лиллертон пришла ему на выручку.

— Вы, очевидно, хотите сказать, мистер Тотл, что миссис Парсонс сообщила вам о моих чувствах... о моей привязанности... то есть, я хочу сказать, о моем уважении к лицу противоположного пола?

— Да.

— В таком случае,— осведомилась мисс Лиллертон, стыдливо отворачиваясь,— в таком случае, что же могло заставить *вас* добиваться подобного разговора? Какова ваша цель? Каким образом могу я способствовать вашему счастью, мистер Тотл?

Настала минута для красноречивого признания.

— Вы можете сделать это, если позволите мне,— тут Уоткинс шлепнулся на колени, потеряв при этом две пуговицы от подтяжек и пряжку от жилета,— если позволите мне стать вашим рабом, вашим слугою — словом, если безоговорочно сделаете меня поверенным ваших сердечных тайн, осмелюсь ли сказать — чтобы я мог способствовать вашему собственному счастию, осмелюсь ли сказать — для того чтобы вы могли сделаться женою преданного и любящего мужа?

— О, бескорыстное созданье! — воскликнула мисс Лиллертон, закрывая лицо белым носовым платочком с каемкой, вышитой узором из дырочек.

Мистеру Уоткинсу Тотлу пришло в голову, что если бы мисс Лиллертон знала все, она, вероятно, изменила бы свое мнение о нем. Он церемонно поднес к губам кончик ее среднего пальца и по возможности грациозно поднялся с колен.

— Мои сведения были верны? — с трепетом спросил он, как только снова очутился на ногах.

— Да.

Уоткинс поднял руки и, желая выразить свой восторг, возвел глаза к предназначенной для лампы розетке на потолке.

— Наше положение, мистер Тотл,— продолжала мисс Лиллертон, поглядывая на него сквозь дырочку в каемке платка,— наше положение в высшей степени странное и щекотливое.

— Совершенно с вами согласен,— сказал мистер Тотл.

— Наше знакомство было столь непродолжительным,— произнесла мисс Лиллертон.

— Оно длилось всего неделю,— подтвердил Тотл.

— О, гораздо дольше! — с удивлением воскликнула мисс Лиллертон.

— В самом деле? — сказал Тотл.

— Больше месяца, даже больше двух месяцев! — сказала мисс Лиллертон.

«Это, однако, что-то странно»,— подумал Тотл.

— О! — произнес он, вспомнив уверения Парсонса, будто она давно о нем слышала.— Понимаю! Однако посудите сами, сударыня. Ведь чем дольше длилось это знакомство, тем меньше теперь причин для промедления. Почему тотчас же не назначить срок для исполнения желаний вашего преданного обожателя?

— Мне уже не раз указывали, что следует поступить таким образом,— отвечала мисс Лиллертон,— но вы должны принять во внимание мою деликатность, мистер Тотл. Прошу вас, извините мое смущение, но я имею особые понятия об этих предметах и уверяю вас, у меня никогда не хватило бы духу назначить моему будущему супругу день нашей свадьбы.

— В таком случае позвольте мне назвать его,— нетерпеливо сказал Тотл.

— Мне хотелось бы назначить его самой,— застенчиво отвечала мисс Лиллертон,— но я не могу сделать это, не прибегая к помощи третьего лица.

— «Третьего лица? — подумал Тотл.— Кто бы это мог быть, черт его побери!»

— Мистер Тотл,— продолжала мисс Лиллертон,— вы сделали мне в высшей степени бескорыстное и любезное предложение, которое я принимаю. Не соблаговолите ли вы тотчас же передать мое письмо мистеру... мистеру Тимсону?

— Мистеру Тимсону? — проговорил Уоткинс.

— После того что произошло между нами,— отвечала мисс Лиллертон, не поднимая глаз,— вы должны понять, кого я подразумеваю. Мистера Тимсона... священника...

— Мистера Тимсона! Священника! — вскричал Уоткинс Тотл в состоянии невыразимого блаженства, не смея верить своему беспримерному успеху.— Ангел мой! Разумеется — сию же минуту!

— Я тотчас же напишу письмо,— сказала мисс Лиллертон, направляясь к двери.— События нынешнего дня так меня взволновали, что сегодня я больше не выйду из своей комнаты. Я пришлю вам письмо со служанкой.

— О, останьтесь! Останьтесь! — взмолился Тотл, все еще держась на весьма почтительном расстоянии от мисс Лиллертон.— Когда мы увидимся снова?

— О мистер Тотл,— кокетливо отвечала мисс Лиллертон,— когда мы обвенчаемся, мне никогда не будет казаться, что я вижу вас слишком часто, и сколько бы я вас ни благодарила, все будет мало,— и с этими словами она вышла из комнаты.

Мистер Уоткинс Тотл бросился в кресло и предался упоительным грезам о будущем блаженстве, в которых так или иначе главенствовала мысль о «пятистах фунтах годового дохода с неограниченным правом распорядиться ими в своей последней воле и завещании». Объяснение шло так гладко и закончилось так великолепно, что он начал даже жалеть, почему тут же не поставил условие перевести эти пятьсот фунтов на его имя.

— Можно войти? — спросил мистер Габриэл Парсонс, заглядывая в дверь.

— Пожалуйста,— отвечал Уоткинс.

— Ну, как дела? — озабоченно осведомился Габриэл.

— Как дела? — произнес Уоткинс Тотл.— Т-сс! Я иду к священнику.

— Да ну? — сказал Парсонс.— Ловко же вы обстряпали это дельце!

— Где живет Тимсон? — осведомился Уоткинс.

— У своего дяди, здесь рядом, за углом,— отвечал Габриэл.— Он ждет прихода и последние два-три месяца помогает старику. Однако здорово вам это удалось! Я не ожидал, что вы так быстро справитесь.

Мистер Уоткинс Тотл принялся доказывать, что наилучший способ вести любовные дела основан на принципах Ричардсона, но тут его прервала Марта, которая явилась с розовой записочкой, сложенной на манер модной треуголки.

— Мисс Лиллертон свидетельствует свое почтение,— сказала Марта и, вручив записку мистеру Тотлу, скрылась.

— Замечаете, какая деликатность? — обратился Тотл к мистеру Габриэлу Парсонсу.— *Почтение* — а не *любовь,* каково? Через прислугу ведь иначе нельзя.

Мистер Габриэл Парсонс не нашелся, что ответить, а потому ограничился тем, что указательным пальцем правой руки ткнул мистера Уоткинса Тотла в бок между третьим и четвертым ребром.

— Пойдемте,— сказал Уоткинс после того, как утих взрыв веселья, вызванный этой шуткой.— Скорее, не будем терять времени.

— Превосходно! — воскликнул Габриэл Парсонс, и через пять минут они уже стояли у садовой калитки виллы, которую занимал дядя мистера Тимсона.

— Мистер Чарльз Тимсон дома? — осведомился мистер Уоткинс Тотл у слуги дяди мистера Чарльза Тимсона.

— Мистер Чарльз дома,— отвечал слуга, заикаясь,— но только он велел всем говорить, чтобы прихожане его не беспокоили.

— Я не прихожанин,— возразил Уоткинс.

— Быть может, мистер Чарльз пишет проповедь, Том? — спросил Парсонс, проталкиваясь вперед.

— Нет, мистер Парсонс, сэр, он не пишет проповедь, он просто играет на виолончели у себя в спальне и строго приказал не мешать ему.

— Скажите ему, что я здесь,— заявил Габриэл, входя в сад.— Скажите, что пришли мистер Парсонс и мистер Тотл по важному личному делу.

Друзей провели в гостиную, и слуга отправился доложить об их приходе. Доносившиеся издалека стоны виолончели умолкли, на лестнице послышались шаги, и мистер Тимсон сердечно пожал руку Парсонсу.

— Как ваше здоровье, сэр? — торжественно произнес Тотл.

— А как ваше здоровье, сэр? — отвечал Тимсон таким ледяным тоном, словно здоровье Уоткинса ничуть его не интересовало — как оно, по всей вероятности, и было.

— Я должен передать вам это письмо,— сказал Уоткинс Тотл, протягивая треуголку.

— От мисс Лиллертон! — воскликнул Тимсон, внезапно меняясь в лице.— Прошу вас, садитесь.

Мистер Уоткинс Тотл сел и, пока Тимсон читал письмо, внимательно рассматривал портрет архиепископа Кентерберийского, висевший над камином и цветом напоминавший соус из устриц.

Прочитав письмо, мистер Тимсон встал и с сомнением взглянул на Парсонса.

— Осмелюсь спросить,— обратился он к Тотлу,— знает ли наш друг о цели вашего визита?

— Наш друг пользуется моим полным доверием,— с важностью отвечал Уоткинс.

— В таком случае, сэр,— воскликнул Тимсон, схватив Тотла за руки,— в таком случае разрешите мне в его присутствии самым искренним и сердечным образом поблагодарить вас за ваше великодушное участие в этом деле.

«Он воображает, что я рекомендовал его,— подумал Тотл.— Черт бы побрал этих субъектов! только и думают, что о своем вознаграждении».

— Я глубоко сожалею, что превратно истолковал ваши намерения, милостивый государь,— продолжал Тим-

сон.— Да, вы поистине человек бескорыстный и мужественный! Мало найдется людей, которые поступили бы так, как вы.

Мистер Уоткинс невольно подумал, что последнее замечание едва ли можно счесть за комплимент. Поэтому он поспешно осведомился:

— Когда же будет свадьба?

— В четверг,— отвечал Тимсон,— в четверг, в половине девятого утра.

— Необыкновенно рано,— заметил Уоткинс Тотл с видом торжествующего самоотречения.— Мне будет нелегко поспеть сюда к этому часу. (Это должно было изображать шутку.)

— Не беспокойтесь, друг мой,— любезно произнес Тимсон, ещё раз с жаром пожимая руку Тотлу,— коль скоро мы увидим вас за завтраком, то...

— Гм! — произнес Парсонс с таким странным выражением, какое, вероятно, никогда еще не появлялось ни на одной человеческой физиономии.

— Что?! — вскричал в тот же миг Уоткинс Тотл.

— Я хотел сказать, что коль скоро мы увидим вас за завтраком, мы извиним ваше отсутствие при обряде, хотя, разумеется, нам доставило бы величайшее удовольствие, если бы вы на нем присутствовали,— отвечал Тимсон.

Мистер Уоткинс Тотл, шатаясь, прислонился к стене и устремил на Тимсона устрашающе пронзительный взор.

— Тимсон,— проговорил Парсонс, торопливо разглаживая левой рукою свою шляпу,— кого вы подразумеваете под словом «мы»?

— Как это кого? Разумеется, будущую миссис Тимсон, то есть мисс Лиллертон,— пробормотал Тимсон, тоже с глупейшим видом.

— Нечего вам глазеть на этого болвана! — раздраженно крикнул Парсонс Тимсону, который с изумлением наблюдал диковинные гримасы, искажавшие физиономию Уоткинса Тотла.— Потрудитесь лучше в двух словах изложить мне содержание этого письма.

— Это письмо от мисс Лиллертон, с которой я вот уже пять недель как помолвлен по всем правилам,— отвечал

Тимсон.— Ее необычайная щепетильность и странные понятия о некоторых предметах до сих пор мешали мне привести наши отношения к той цели, к которой я так страстно стремлюсь. Она пишет мне, что открылась миссис Парсонс, желая иметь ее своею наперсницей и посредницей, что миссис Парсонс посвятила в тайну этого почтенного джентльмена, мистера Тотла, и что он, в самых любезных и деликатных выражениях, предложил нам свое содействие и даже взял на себя труд доставить это письмо, в котором заключается обещание, коего я так долго и тщетно домогался,— то есть совершил великодушнейший поступок, за что я ему вечно буду обязан.

— Прощайте, Тимсон,— сказал Парсонс, поспешно направляясь к выходу и увлекая за собою ошеломленного Тотла.

— Может быть, вы еще посидите, откушаете чего-нибудь? — спросил Тимсон.

— Благодарю, я уже сыт по горло,— ответил Парсонс и пошел прочь, сопровождаемый совершенно обалдевшим Уоткинсом Тотлом.

Мистер Габриэл Парсонс посвистывал до тех пор, пока не заметил, что давно прошел мимо собственной калитки. Тут он вдруг остановился и сказал:

— А вы неглупый малый, Тотл.

— Не знаю,— отвечал несчастный Уоткинс.

— Пожалуй, вы теперь будете утверждать, что во всем виновата Фанни.

— Я ничего не понимаю,— отвечал окончательно сбитый с толку Тотл.

— Ну, что ж,— заявил Парсонс, поворачивая к дому,— в следующий раз, когда будете делать предложение, выражайтесь ясно и не упускайте удачного случая. И в следующий раз, когда вас посадят в долговую тюрьму, будьте паинькой, сидите тихо и ждите, пока я вас оттуда выкуплю.

Когда и каким образом мистер Уоткинс Тотл возвратился на Сесил-стрит — покрыто мраком неизвестности. Его башмаки были на другое утро обнаружены у дверей его спальни, но по свидетельству его квартирной хозяйки он в течение суток не выходил оттуда и не принимал никакой пищи. По истечении этого срока, когда собрав-

шийся на кухне военный совет решал, не позвать ли приходского надзирателя, чтобы в его присутствии взломать дверь, Тотл вдруг позвонил и потребовал чашку молока с водой. На следующее утро он ел и пил, как обыкновенно, но спустя неделю, читая в утренней газете список бракосочетаний, снова занемог и уж больше не поправлялся.

Через несколько недель после вышеописанных событий в Риджент-канале было обнаружено тело неизвестного джентльмена. В кармане его панталон нашли четыре шиллинга и три с половиною пенса, объявление о бракосочетании какой-то дамы, очевидно вырезанное из воскресного номера газеты, зубочистку и футляр с визитными карточками, которые безусловно дали бы возможность опознать несчастного джентльмена, если б только не оказалось, что на них ничего не написано. Незадолго до этого мистер Уоткинс Тотл ушел из своей квартиры. На следующее утро был предъявлен счет, который до сих пор еще не оплачен, а вскоре вслед за тем на окне его гостиной появился билетик, который до сих пор еще не снят.

ГЛАВА XI

Крестины в Блумсбери

Мистер Никодемус Сплин — «Долгий Сплин», как называли его знакомые,— был холостяк шести футов ростом и пятидесяти лет от роду, сухопарый, сердитый, желчный и чудаковатый. Доволен он бывал только тогда, когда чувствовал себя несчастным; и особенно несчастным чувствовал себя тогда, когда имел все основания быть довольным. Единственной его утехой было доставлять людям неприятности — вот тут он и впрямь наслаждался жизнью! Он был обременен службой в Английском банке, получал пятьсот фунтов в год и снимал в Пентонвилле меблированную комнату на втором этаже, прельстившую его тем, что из окон ее открывался унылый вид на соседнее кладбище. Все надгробные памятники он знал наперечет и к обряду погребения относился весьма сочувственно. Знако-

мые считали его угрюмым, а он считал себя нервным; они говорили, что ему здорово везет, он же уверял, что он — «самый несчастный человек на свете». Но хоть сердце у него было холодное, хоть он и воображал себя обиженным судьбой, все же имелись и у него кое-какие привязанности. Он чтил память Хойла *, потому что сам виртуозно играл в вист, сохраняя непроницаемую мину и только посмеиваясь, когда нетерпеливый партнер начинал горячиться. Он обожал царя Ирода за избиение младенцев; и если питал к кому-нибудь особенную ненависть, так это к детям. Впрочем, едва ли можно сказать, что он когонибудь ненавидел — он просто никого и ничего не любил; но, пожалуй, больше всего раздражали его кэбы, старухи, неплотно закрывающиеся двери и кондукторы омнибусов. Он состоял членом «Общества борьбы с пороком» ради удовольствия пресекать любое безобидное развлечение и жертвовал немалые деньги на содержание двух странствующих методистских священников, теша себя надеждой, что если есть люди, которые, волею обстоятельств, вполне счастливы в этой жизни, то счастье это можно отравить, внушив им страх перед жизнью загробной.

У мистера Сплина был племянник — молодой человек, с год тому назад женившийся, и в некотором роде его любимец, потому что на нем дядюшке особенно удобно было упражнять свою способность причинять людям огорчения. Мистер Чарльз Киттербелл был худенький, щупленький человек с большущей головой и пухлой, добродушной физиономией. Он походил на съежившегося великана, у которого только лицо и голова еще сохранили прежние размеры, и косил так, что, разговаривая с ним, невозможно было понять, куда он смотрит. Кажется, что глаза его устремлены на стену, а он в это время так и сверлит вас взглядом. В общем, встретиться с ним глазами не было никакой возможности, и оставалось только благодарить небо, что такие глаза встречаются не часто. К этим особенностям можно добавить, что мистер Чарльз Киттербелл был существом в высшей степени бесхитростным и прозаическим и проживал со своею супругой в собственном доме на Грейт-Рассел-стрит, Бедфорд-сквер. (Аристократическое «Бедфорд-сквер» дядя Сплин всегда заменял вульгарным «Тоттенхем-Корт-роуд».)

— Нет, право же, дядя, вы должны, просто должны пообещать, что будете у нас крестить,— сказал мистер Киттербелл однажды утром, в беседе со своим почтенным родичем.

— Не могу, никак не могу,— отвечал Сплин.

— Но почему? Джемайма будет страшно огорчена. Ведь это не доставит вам почти никаких хлопот.

— Хлопот я не боюсь,— ответствовал самый несчастный человек на свете,— но нервы мои в таком состоянии... я не выдержу всей этой канители. Ты же знаешь, я не терплю выезжать из дому. Ради бога, Чарльз, перестань вертеться, ты меня с ума сведешь!

Мистер Киттербелл, нисколько не щадя нервов своего дядюшки, уже минут десять занят был тем, что, держась рукой за конторку и приподняв три ножки табурета, на котором сидел, описывал круг за кругом на четвертой.

— Виноват, дядя,— сконфуженно пробормотал Киттербелл и, отпустив конторку, брякнул табурет всеми четырьмя ножками об пол с такой силой, что чуть не пробил половицы.— Нет, прошу вас, не отказывайтесь. Вы же знаете, если родится мальчик, нужны два крестных отца.

— Если! — воскликнул Сплин.— Почему не сказать прямо, мальчик это или нет?

— Я бы с радостью вам сказал, но это невозможно. Не могу я сказать, мальчик это или девочка, когда ребенок еще не родился.

— Не родился? — переспросил Сплин, и проблеск надежды озарил его мрачные черты.— Ага, так, значит, может родиться девочка, и тогда я вам не понадоблюсь, а если будет мальчик, он еще может умереть до крестин.

— Не дай бог,— сказал будущий отец, и на лице его изобразился испуг.

— Не дай бог,— согласился Сплин, явно довольный направлением, какое принял разговор. На душе у него стало веселее.— Я-то надеюсь на лучшее, но в первые два-три дня жизни с детьми нередко случаются такие несчастья. Мне говорили, что родимчик — самое обычное дело, а судороги — вещь почти неизбежная.

— Помилосердствуйте, дядя! — пролепетал Киттербелл, задыхаясь.

— Да. Моя квартирная хозяйка... сейчас вспомню точно, когда... в прошлый вторник... разрешилась от бремени прекрасным мальчиком. В четверг вечером нянька сидела с ним у камина, он был здоровехонек. Вдруг он весь посинел и стал корчиться. Тут же послали за доктором, перепробовали все средства, но...

— Какой ужас! — перебил ошеломленный Киттербелл.

— Ребенок, конечно, умер. Правда, твой ребенок может и не умереть; и если он окажется мальчиком и к тому же доживет до дня крестин,— что ж, придется мне, видно, быть одним из восприемников.— В предвкушении катастрофы Сплин заметно смягчился.

— Благодарю вас, дядя,— молвил взволнованный племянник, горячо пожимая Сплину руку, словно тот оказал ему неоценимую услугу.— Я, пожалуй, не стану передавать жене того, что вы мне рассказали.

— Да, если состояние духа у нее неважное, лучше, пожалуй, не рассказывать ей про столь печальный случай,— согласился Сплин, который, разумеется, сочинил эту историю от первого до последнего слова,— хотя, с другой стороны, тебе как мужу надлежало бы подготовить ее к самому худшему.

Дня через два после этого Сплин, читая утреннюю газету в кухмистерской, которой он был постоянным посетителем, увидел такую заметку:

РОЖДЕНИЯ.

В субботу 18-го сего месяца, на
Грейт-Рассел-стрит у супруги Чарльза
Киттербелла, эсквайра,— сын.

— Значит, все-таки мальчик! — вскричал он, хлопнув газетой об стол к великому удивлению официантов.— Все-таки мальчик! — Однако он быстро успокоился, прочитав цифры смертности среди детей грудного возраста.

Прошло шесть недель, и Сплин, не получая от Киттербеллов никаких известий, уже льстил себя надеждой, что младенец умер, как вдруг нижеследующее письмо, к великому его огорчению, убедило его в противном:

«Грейт-Рассел-стрит
Понедельник утром

Дражайший дядюшка!

Вы, несомненно, будете рады узнать, что моя дорогая Джемайма уже выходит из своей комнаты и что Ваш будущий крестник в добром здоровье. Вначале он был очень худенький, но сейчас уже подрос и, как говорит няня, день ото дня толстеет. Он много плачет, и цвет лица у него очень странный, что сильно смущало меня и Джемайму; но няня говорит, что так всегда бывает, а мы, естественно, еще ничего не знаем о таких вещах, почему и полагаемся на то, что говорит няня. Нам кажется, что он будет очень умненький, и няня говорит, что наверно будет, потому что он нипочем не хочет засыпать. Само собой разумеется, все мы очень счастливы, только немного устали, так как он всю ночь не дает нам спать; но няня говорит, что в первые шесть-семь месяцев ничего другого и ждать нельзя. Ему привили оспу, но проделали эту операцию не очень ловко, вследствие чего в ручку ему вместе с вакциной попали маленькие осколки стекла. Этим, возможно, и объясняется, что он немножко капризничает; так, во всяком случае, говорит няня. Крестины состоятся в пятницу в двенадцать часов, в церкви св. Георгия на Харт-стрит. Наречен он будет Фредерик Чарльз Уильям. Очень просим Вас приехать не позднее, чем без четверти двенадцать. Вечером у нас соберется несколько близких друзей, среди которых мы, конечно, рассчитываем видеть и Вас. С грустью должен сказать, что бедный мальчик сегодня что-то беспокоен — боюсь, не лихорадка ли у него.

Остаюсь, дорогой дядюшка,
преданный Вам
Чарльз Киттербелл.

P. S. Распечатываю письмо: хочу добавить, что мы только что обнаружили причину беспокойного поведения маленького Фредерика. Дело не в лихорадке, как я опасался, а в небольшой булавке, которую няня вчера вечером по нечаянности воткнула ему в ножку. Булавку мы вытащили, и сейчас он чувствует себя лучше, хотя и плачет еще очень горько».

Едва ли нужно говорить о том, что интересное послание, приведенное нами, не доставило большой радости ипохондрику Сплину. Однако отступать было поздно; решив, что надо по крайней мере не ударить в грязь лицом (более чем когда-либо кислым), он купил для младенца Киттербелла красивый серебряный стаканчик и велел незамедлительно выгравировать на нем инициалы Ф. Ч. У. К., а также обычные завитушки в виде усиков дикого винограда и огромную точку.

В понедельник погода была хорошая, во вторник прямо-таки прекрасная, в среду не хуже, а в четверг чуть ли не еще лучше — четыре погожих дня подряд в Лондоне! Кучера наемных карет готовы были взбунтоваться, а метельщики улиц уже начинали сомневаться в существовании промысла божия. «Морнинг Геральд» сообщила своим читателям, что, по слухам, одна старушка в Кемден-Тауне сказала, будто такой прекрасной погоды «и старики не запомнят»; а излингтонские клерки с большими семьями и маленьким жалованьем скинули черные гетры, презрели свои некогда зеленые ластиковые зонты и шагали в Сити, гордо выставляя напоказ белые чулки и начищенные штиблеты. Сплин созерцал все происходящее презрительным взором — его триумф был не за горами. Он знал, что, продержись хорошая погода не четыре дня, а хоть четыре недели, все равно, как только ему потребуется ехать в гости, польет дождь. Он черпал мрачное удовлетворение в своей уверенности, что к пятнице погода испортится,— и он не ошибся.

— Так я и знал,— сказал Сплин в пятницу, в половине двенадцатого утра, заворачивая за угол напротив дома лорд-мэра.— Так я и знал; раз уж *мне* понадобилось куда-то ехать — кончено.

И в самом деле, от такой погоды впору было приуныть и куда более жизнерадостному человеку. Дождь лил без передышки с восьми утра; люди шли по Чипсайду мокрые, продрогшие, забрызганные грязью. Самые разнообразные, давно забытые хозяевами зонты были извлечены на свет божий. В проезжавших кэбах седока скрывали наглухо задернутые жесткие коленкоровые занавески — точь-в-точь как таинственные картины в замках у миссис Рэдклиф; от лошадей, тащивших омнибусы, валил пар, как

от паровой машины; никто и не думал о том, чтобы переждать дождь под аркой или в подъезде,— всем было ясно, что это дело безнадежное; и все спешили вперед, толкаясь, чертыхаясь, скользя и потея, как новички-конькобежцы, цепляющиеся за спинку деревянных кресел на Серпантайне в морозное воскресное утро.

Сплин остановился в нерешительности; идти пешком нечего было и думать — по случаю крестин он оделся в парадный костюм. Взять кэб —непременно вывалит на мостовую; карета же, как он считал, была ему не по средствам. На углу напротив стоял готовый к отправлению омнибус — медлить было нельзя,— Сплин ни разу не слышал, чтобы омнибус опрокинулся или лошади понесли, ну, а если кондуктор вздумает его столкнуть, он сумеет поставить его на место.

— Пожалуйте, сэр! — крикнул юнец, разъезжавший в должности кондуктора на «Деревенских ребятах» — так назывался омнибус, привлекший внимание Сплина. Сплин стал переходить улицу.

— Сюда, сэр! — заорал кучер омнибуса «Эй вы, залетные!», осаживая лошадей так, чтобы загородить доступ к дверцам конкурента.— Сюда, сэр, у него полно.

Сплин заколебался. Увидев это, «Деревенские ребята» стали обливать «Залетных» потоками брани; уладить спор к общему удовлетворению взялся кондуктор подоспевшего «Адмирала Нэпира»: схватив Сплина поперек туловища, он втолкнул его в свой омнибус, где как раз оставалось незанятым шестнадцатое место.

— Так-то лучше! — сказал «Адмирал», и вот уже колымага мчится галопом, как пожарная машина, а похищенный пассажир, согнувшись в три погибели и едва держась на ногах, при каждом толчке валится то вправо, то влево, как «Джек-в-Зелени» на майском гулянье, увивающийся около «миледи» с медным половником.

— Ради всего святого, куда же мне сесть? — обратился бедняга к какому-то пожилому джентльмену, после того как в четвертый раз плюхнулся ему на колени.

— Куда угодно, только не на меня верхом, сэр,— сердито отвечал тот.

— Может быть, джентльмен предпочтет сесть верхом на лошадь,— с усмешкой предложил отсыревший адвокатский клерк в розовой рубашке.

Упав еще несколько раз, Сплин втиснулся, наконец, на свободное место, имевшее, правда, то неудобство, что оно приходилось между окном, которое не закрывалось, и дверью, которую то и дело нужно было открывать; к тому же он оказался в тесном соприкосновении с пассажиром, который все утро ходил по улицам без зонта и выглядел так, словно просидел целый день в бочке с водой,— только еще мокрее.

— Не хлопайте дверью,— сказал Сплин кондуктору, когда тот закрыл ее снаружи, выпустив четырех пассажиров.— Я очень нервный, мне это вредно.

— Кто-то что-то сказал? — отозвался кондуктор, просовывая голову в омнибус и делая вид, что не расслышал.

— Я вам говорю — не хлопайте дверью,— повторил Сплин, и все лицо у него перекосилось, как у пикового валета, страдающего тиком.

— Просто беда с этой дверью, сэр,— сказал кондуктор,— как ее ни закрывай, обязательно хлопнет.— И в подтверждение своих слов он широко распахнул дверь и снова захлопнул ее с оглушительным стуком.

— Прошу прощенья, сэр,— заговорил аккуратный старичок, сидевший напротив Сплина.— Не замечали ли вы, что, когда едешь в дождливый день в омнибусе, у четырех пассажиров из пяти всегда оказываются огромные зонты без ручки или без медного наконечника внизу?

— Да знаете, сэр,— отвечал Сплин, и тут услышал, что часы на улице бьют двенадцать,— я об этом как-то не задумывался. Но сейчас, когда вы это сказали... Эй, эй! — закричал наш незадачливый герой, заметив, что омнибус пронесся мимо Друри-лейн, где ему нужно было слезать.— Где кондуктор?

— Он, кажется, на козлах, сэр,— сказал уже упомянутый выше адвокатский клерк в розовой рубашке, напоминавшей белую страницу, разлинованную красными чернилами.

— Что же он меня не ссадил,— слабым голосом произнес Сплин, утомленный пережитыми волнениями.

— Давно пора, чтобы этих кондукторов кто-нибудь осадил,— ввернул клерк и засмеялся собственной шутке.

— Эй, эй! — снова крикнул Сплин.

— Эй, эй! — подхватили пассажиры. Омнибус проехал церковь св. Джайлза.

— Стой! — сказал кондуктор.— Вот грех-то какой, ну просто из головы вон, джентльмена-то надо было высадить у Дури-лейн!.. Пожалуйте, сэр, прошу побыстрее,— добавил он, открывая дверь и помогая Сплину встать, да так спокойно, будто ничего не случилось.

Тут мрачное отчаяние Сплина уступило место гневу.

— Друри-лейн! — выдохнул он, как ребенок, которого в первый раз посадили в холодную ванну.

— Дури-лейн, сэр?.. так точно, сэр... третий поворот направо, сэр.

Сплин окончательно вышел из себя. Он стиснул в руке зонт и уже готов был удалиться, твердо решив не платить за проезд. Но кондуктор, как ни странно, держался на этот счет другого мнения, и одному богу известно, чем кончилась бы их перепалка, если бы ее весьма искусно и убедительно не пресек кучер.

— Эй,— заговорил сей почтенный муж, встав на козлах и опираясь рукой о крышу омнибуса.— Эй, Том! Скажи джентльмену, если, мол, он чем недоволен, мы так и быть довезем его до Эджвер-роуд задаром, а на обратном пути ссадим у Дури-лейн. Уж на это-то он должен согласиться.

Против такого довода возразить было нечего; Сплин заплатил причитавшиеся с него шесть пенсов и через четверть часа уже поднимался по лестнице дома № 14 на Грейт-Рассел-стрит.

По всему было видно, что приготовления к вечернему приему «нескольких близких друзей» идут полным ходом. В сенях на откидном столе выстроились две дюжины только что доставленных новых стаканов и четыре дюжины рюмок, еще не отмытых от пыли и соломы. На лестнице пахло мускатным орехом, портвейном и миндалем; половик, закрывавший лестничную дорожку, был убран; а статуя Венеры на первой площадке словно конфузилась, что ей дали в правую руку стеариновую свечу, эффектно озарявшую закопченные покровы прекрасной

богини любви. Служанка (уже окончательно затормошенная) ввела Сплина в очень мило обставленную парадную гостиную, где на столах и столиках было разбросано в живописном беспорядке множество корзиночек, бумажных салфеточек, фарфоровых фигурок, розовых с золотом альбомов и книжечек в переплетах всех цветов радуги.

— Добро пожаловать, дядюшка! — встретил его мистер Киттербелл.— Как поживаете? Разрешите мне... Джемайма, душенька... мой дядя. Вы, кажется, уже встречались с Джемаймой, сэр?

— Имел удовольствие,— отвечал Долгий Сплин таким тоном и с таким видом, что позволительно было усомниться, испытал ли он это чувство хоть раз в жизни.

— Любой друг Чарльза,— сказала миссис Киттербелл с томной улыбкой и легким покашливанием,— любой друг Чарльза... кхе... а тем более родственник...

— Я так и знал, что ты это скажешь, милочка,— произнес Киттербелл, ласково глядевший на жену, хоть и казалось, что он рассматривает дома на той стороне улицы.— Да благословит тебя бог! — И он с умильной улыбкой сжал ей руку, от чего у дядюшки Сплина немедленно взыграла желчь.

— Джейн, попросите няню принести сюда малютку,— обратилась миссис Киттербелл к служанке. Миссис Киттербелл была высокая, тощая молодая женщина с очень светлыми волосами и необычайно белым лицом,— одна из тех молодых женщин, которые, неизвестно почему, всегда вызывают представление о холодной телятине. Служанка исчезла, и вскоре появилась няня с крошечным свертком на руках, поверх которого накинута была длинная голубая пелерина, отороченная белым мехом. Это и был малютка.

— Ну вот, дядя,— сказал мистер Киттербелл, с победным видом приподнимая капюшон, закрывавший младенцу лицо,— на кого он, по-вашему, похож?

— Да, на кого?... Хи-хи-хи,— сказала и миссис Киттербелл, взяв мужа под руку и устремив на Сплина взгляд, выражавший всю меру любопытства, на какую она была способна.



— Боже мой, какой он маленький! — воскликнул добряк-дядюшка, в притворном изумлении отшатываясь от младенца.— Он просто неестественно маленький.

— Разве? — тревожно вопросил бедняжка Киттербелл.— По сравнению с тем, что было, сейчас он просто великан, не правда ли, няня?

— Он у нас ангельчик,— сказала няня, нежно прижимая к себе ребенка и увиливая от прямого ответа, не потому, что совесть мешала ей опровергнуть мнение хозяина, а из благоразумного опасения, как бы не упустить полкроны, которые Сплин мог дать ей на чай.

— Так на кого же он похож? — снова спросил Киттербелл.

Сплин глядел на розовый комочек и думал только о том, как бы побольнее уязвить молодых родителей.

— Право, не могу сказать, на *кого* он похож,— отвечал он, отлично зная, какого от него ждут ответа.

— Вам не кажется, что он похож на меня? — спросил племянник и хитро подмигнул.

— О нет, ни в коем случае,— ответствовал Сплин веско и многозначительно.— Ни в коем случае. Только не на тебя.

— Значит, на Джемайму? — упавшим голосом спросил Киттербелл.

— О нет, ни малейшего сходства. Я, конечно, плохой судья в таких вопросах, но, по-моему, он скорее напоминает те куклы, играющие на трубе, которыми иногда украшают могилы.

Няня низко пригнулась над ребенком, с трудом удерживаясь от смеха. У папы и мамы лица стали почти такие же страдальческие, как у их доброго дядюшки.

— Ну хорошо,— сказал в заключение огорченный молодой отец,— через час вам легче будет решить, на кого он похож. Вы увидите его голеньким.

— Благодарю,— сказал Сплин, исполненный признательности.

— А теперь, душенька,— обратился Киттербелл к жене,— нам пора ехать. Со вторым крестным отцом и

крестной матерью мы встретимся в церкви, дядя,— это мистер и миссис Уилсон из дома напротив — очень, очень приятные люди. Ты, душенька, тепло ли одета?

— Да, милый.

— А может, ты все-таки накинешь еще одну шаль? — настаивал заботливый супруг.

— Нет, дорогой,— отвечала прелестная мать и оперлась на руку, галантно подставленную ей Сплином; затем все уселись в наемную карету и поехали в церковь, причем Сплин по дороге развлекал миссис Киттербелл пространными рассуждениями о том, как опасна корь, молочница, прорезывание зубов и другие замысловатые болезни, коим подвержены дети.

Обряд крещенья (занявший всего пять минут) не ознаменовался никакими происшествиями. Священник был приглашен к обеду куда-то за город, а до этого, в какой-нибудь один час, должен был еще благословить двух родильниц, окрестить двух младенцев и предать земле одного покойника. Поэтому крестные отцы и крестная мать «в два счета», как выразился Киттербелл, пообещали отречься от сатаны и всех дел его «и прочее тому подобное»; в общем, все прошло гладко и без задержек, если не считать того, что Сплин, передавая малютку священнику, чуть не уронил его в купель; и в два часа Сплин уже опять входил в ворота банка с тяжелым сердцем и с печальным сознанием, что вечером ему не миновать идти в гости.

Настал вечер, и из Пентонвилла, согласно распоряжению Сплина, прибыли с мальчишкой-посыльным его бальные туфли, черные шелковые чулки и белый галстук. Крестный папаша уныло переоделся в конторе у своего знакомого, откуда пошел на Грейт-Рассел-стрит пешком — поскольку дождь перестал и к вечеру погода прояснилась — и в состоянии духа на пятьдесят градусов ниже положенной крепости. Он медленно шествовал по Чипсайду, Ньюгет-стрит, вверх по Сноу-Хиллу и вниз по Холборн-Хиллу, мрачный, как деревянная фигура на бушприте военного корабля, на каждом шагу выискивая новые причины для душевной скорби. Когда он пересекал Хэттон-Гарден, на него налетел какой-то прохожий, видимо под хмельком, и сшиб бы его с ног, если бы, по

счастью, его не поймал в объятия очень изящный молодой человек, случившийся рядом. От этого столкновения нервы Сплина, а также его костюм пришли в такое расстройство, что он еле устоял на ногах. Молодой человек взял его под руку и самым любезным образом проводил до Фарнивалс-Инн. Сплин едва ли не впервые в жизни ощутил прилив благодарности и вежливости и на прощанье обменялся с этим изящным и воспитанным молодым джентльменом изъявлением сердечнейших чувств.

«Есть же все-таки на свете доброжелательные люди»,— размышлял наш мизантроп, следуя дальше к месту своего назначения.

Рат-тат-тарарарат! — Это кучер наемной кареты, подражая выездному лакею, стучал в дверь дома Киттербелла, к которой приближался Сплин; из кареты вылезла пожилая леди в большом токе, пожилой джентльмен в синем сюртуке и три копии пожилой леди — в розовых платьях и таких же башмачках.

«Гостей-то будет много!» — горестно вздохнул крестный, прислонившись к ограде дворика и вытирая пот со лба. Несчастный не сразу решился постучать в дверь; а когда он, наконец, постучал и дверь отворилась, разряженная фигура соседа-зеленщика (нанятого для услуг за семь с половиной шиллингов, хотя одни его икры стоили вдвое дороже), зажженная лампа в сенях и Венера на лестнице, а также гул множества голосов и звуки арфы и двух скрипок убедили его в том, что не зря его томили тяжелые предчувствия.

— Добро пожаловать! — приветствовал его вконец запарившийся Киттербелл, выскакивая из буфетной со штопором в руке и весь в опилках, которые образовали как бы некий узор из кавычек на его невыразимых.

— Боже мой! — сказал Сплин, пройдя в буфетную, чтобы надеть парадные туфли, которые он принес в кармане сюртука, и совсем подавленный видом семи пробок, только что извлеченных из бутылок, и такого же количества графинов.— Сколько же у вас собралось гостей?

— О, человек тридцать пять, не больше! Во второй гостиной мы убрали ковер, а в первой поставили фор-

тепьяно и карточные столы. Джемайма решила устроить настоящий ужин, потому что ведь будут тосты и все такое... Но что с вами, дядя? — продолжал хозяин, заметив, что Сплин стоит в одном башмаке и, делая страшные гримасы, роется в карманах.— Что вы потеряли? Бумажник?

— Нет,— отвечал Сплин голосом Дездемоны, которую душит Отелло, в то время как руки его продолжали нырять то в один, то в другой карман.

— Визитные карточки? Табакерку? Ключ от квартиры? — сыпал Киттербелл вопрос за вопросом.

— Нет, нет! — воскликнул Сплин, все еще роясь в пустом кармане.

— Неужели... неужели стаканчик, о котором вы говорили утром?

— Да, стаканчик! — отвечал Сплин, бессильно опускаясь на стул.

— Как же это могло случиться? Вы хорошо помните, что взяли его с собой?

— Да, да! Теперь все понятно.— Сплин даже вскочил, осененный внезапной догадкой.— Ах я несчастный! Мне на роду было написано страдать. Все понятно — это тот молодой человек с такими прекрасными манерами!..

— Мистер Сплин! — громогласно возвестил зеленщик через полчаса после вышеописанного открытия, вводя несколько оправившегося крестного отца в гостиную.— Мистер Сплин!

Все оглянулись на дверь, и Сплин вошел, чувствуя себя столь же не у места, как, вероятно, почувствовал бы себя лосось на садовой дорожке.

— Очень рада, еще раз здравствуйте,— сказала миссис Киттербелл, не замечая, как смущен и расстроен ее гость.— Позвольте вас кое с кем познакомить. Моя мама... мистер Сплин... мой папа, мои сестры.

Сплин потряс мамаше руку с таким жаром, словно она была его родной матерью, отвесил низкий поклон девицам (при этом сильно потеснив какого-то франта, оказавшегося у него за спиной), и не обратил ни малейшего внимания на папашу, который кланялся ему не переставая уже три с половиной минуты.

— Дядя,— сказал Киттербелл, после того как Сплину было представлено десятка два самых близких друзей,— пройдемте в тот конец комнаты, я хочу вас познакомить с моим другом Дэнтоном. Это замечательный человек, я уверен, что он вам понравится,— идемте!

Сплин последовал за ним с покорностью ученого медведя.

Мистер Дэнтон оказался молодым человеком лет двадцати пяти, с изрядным запасом нахальства и весьма скудным запасом ума. Он пользовался большим успехом, особенно среди молодых девиц в возрасте от шестнадцати до двадцати шести лет включительно. Он премило изображал голосом валторну, неподражаемо пел куплеты и умел в разговоре со своими поклонницами незаметно ввернуть дерзость. Почему-то за ним утвердилась слава великого остроумца, и стоило ему открыть рот, как все, кто его знал, начинали весело смеяться.

Киттербелл по всем правилам представил его Сплину. Мистер Дэнтон поклонился и стал очень смешно теребить дамский платочек, который держал в руке. Все заулыбались.

— Тепло сегодня на дворе,— начал Сплин, чувствуя, что нужно что-то сказать.

— Да. Вчера было еще теплее,— отпарировал несравненный мистер Дэнтон.

Раздался дружный смех.

— Очень рад возможности поздравить вас, сэр,— продолжал Дэнтон,— по случаю вашего первого выступления в роли отца... я имею в виду — крестного отца.

Девицы давились от смеха, мужчины шумно выражали свое одобрение.

Разговор этот был прерван восхищенным жужжанием, возвестившим появление няни с малюткой. Девицы все как одна устремились ей навстречу. (На людях молодые девицы всегда обожают детей.)

— Ах, какая прелесть! — воскликнула одна.

— Какой дуся! — вскричала другая, и от восторга у нее даже перехватило голос.

— Он очарователен! — добавила третья.

— А ручки какие миленькие! — ахнула четвертая,

выпростав из одеяла нечто, размером и формой напоминающее аккуратно ощипанную куриную лапку.

— Видали вы что-нибудь подобное? — обратилась к джентльмену в трех жилетах маленькая кокетка с большим турнюром, точно сошедшая с французской литографии.

— Никогда в жизни,— отвечал ее поклонник, поправляя воротнички.

— Ах, няня, дайте мне его подержать! — молила между тем еще одна девица.— Такой прелестный крошка!

— А он открывает глазки, няня? — пищала ее подруга, изображая святую невинность.

Словом, девицы единодушно решили, что это ангел, а замужние дамы сошлись на том, что это самый чудесный ребенок на свете... если не считать их собственных детей.

Потом молодежь с новым увлечением предалась танцам. Все в один голос уверяли, что мистер Дэнтон превзошел самого себя; несколько юных девиц восхитили общество и завоевали новых поклонников, пропев «Мы встретились с вами», «Ее заметив на лугу» и другие, не менее чувствительные и осмысленные романсы; молодые люди, по выражению миссис Киттербелл, старались «показать себя с самой лучшей стороны»; девицы не упускали интересных возможностей; и вечер обещал пройти на редкость удачно. Сплина это не смущало: он обдумывал некий план, решив поразвлечься на свой лад,— и был почти счастлив. Он сыграл роббер в вист и не взял ни одной взятки. Мистер Дэнтон заявил, что раз у него нет ни одной взятки, значит с него взятки гладки; все расхохотались. Сплин в ответ пошутил более остроумно, но никто даже не улыбнулся, кроме хозяина дома, который словно вменил себе в обязанность смеяться до упаду всему, что услышит. Одно только было не совсем хорошо — музыканты играли без должного подъема. Впрочем, для этого нашлась уважительная причина: один из гостей, прибывший в тот день из Грейвзенда, рассказал, что этих музыкантов с утра ангажировали на пароход, и они играли почти без отдыха всю дорогу до Грейвзенда и всю дорогу обратно.

«Настоящий ужин» был превосходен. На столе красовались четыре храма из ячменного сахара, которые выглядели бы очень величественно, если бы еще в начале ужина наполовину не растаяли, и водяная мельница с одним только небольшим изъяном: вместо того чтобы вертеться, она растекалась по скатерти. Подавались также цыплята, язык, сбитые сливки, пирожное, салат из омаров, мясное рагу, да мало ли что еще. И Киттербелл все покрикивал, чтобы сменили тарелки, а их все не сменяли; и тогда джентльмены, которым требовались чистые тарелки, просили не трудиться — они возьмут тарелки у дам; и миссис Киттербелл хвалила их за галантность, а зеленщик совсем сбился с ног и пришел к убеждению, что семь с половиной шиллингов достались ему не даром; и девицы старались есть поменьше, опасаясь показаться неромантичными, а замужние дамы старались есть побольше, опасаясь не наесться досыта; и уже было выпито немало вина, и разговоры и смех не умолкали ни на минуту.

— Внимание! — торжественно произнес мистер Киттербелл, вставая с места.— Душенька! (Это относилось к миссис Киттербелл, сидевшей на другом конце стола.) Налей вина миссис Максуэл, и твоей маме, и остальным дамам; а джентльмены, я уверен, поухаживают за девицами.

— Леди и джентльмены! — сказал Долгий Сплин скорбным, замогильным голосом, поднимаясь во весь рост, подобно статуе командора,— попрошу вас наполнить бокалы. Я бы хотел предложить тост.

Наступила мертвая тишина — бокалы наполнили — лица у всех стали серьезные.

— Леди и джентльмены,— не спеша продолжал зловещий Сплин,— я... (Тут мистер Дэнтон изобразил две высокие ноты на валторне, отчего нервного оратора передернуло, а его слушателей разобрал смех.)

— Тише, тише,— сказал Киттербелл, стараясь не рассмеяться вслух.

— Тише! — подхватили мужчины.

— Дэнтон, уймись,— предостерег остряка через стол его закадычный приятель.

— Леди и джентльмены,— снова начал Сплин, успокоившись и отнюдь не давая сбить себя с толку, ибо по

части застольных речей он был мастак,— в соответствии с тем, что̀, насколько мне известно, является в таких случаях установленным обычаем, я, как один из восприемников Фредерика Чарльза Уильяма Киттербелла (тут голос оратора дрогнул — он вспомнил злосчастный стаканчик), беру на себя смелость провозгласить тост. Нет нужды говорить, что я предлагаю выпить за здоровье и процветание юного джентльмена, в честь которого мы и собрались здесь для того, чтобы отпраздновать первое важное событие на его жизненном пути. (Аплодисменты.) Леди и джентльмены, безрассудно было бы ожидать, что наши друзья и хозяева, которым мы от души желаем счастья, проживут всю жизнь без суровых испытаний, безутешного горя, тяжких невзгод и невозвратимых утрат! — Тут вероломный изменник сделал паузу и медленно извлек из кармана огромных размеров белый носовой платок. Несколько дам последовали его примеру.— Чтобы эти испытания миновали их возможно дольше — вот чего я искренне желаю, вот о чем молю бога. (Бабушка новорожденного громко всхлипнула.) Я верю и надеюсь, леди и джентльмены, что младенец, на чьих крестинах мы сегодня пируем, не будет вырван из родительских объятий безвременной смертью (несколько батистовых платочков пошло в ход); что его юное и сейчас по всей видимости здоровое тельце не подточит коварный недуг. (Здесь Сплин, уловив признаки волнения среди замужних дам, окинул стол злобно-торжествующим взглядом.) Я не сомневаюсь в том, что вы, как и я, желаете ему вырасти и стать опорой и утешением родителей. («Браво, браво!» — пролепетал мистер Киттербелл и громко всхлипнул.) Но, ежели пожелание наше не исполнится, ежели он, выросши, забудет о своем сыновнем долге, ежели отцу и матери его суждено на опыте познать горчайшую из истин, что «острей змеиного укуса детей неблагодарность»...— Тут миссис Киттербелл, прижав к глазам платок, выбежала из комнаты в сопровождении нескольких дам и забилась в нервическом припадке. Ее супруг и повелитель пребывал почти в столь же плачевном состоянии; общее же впечатление сложилось скорее в пользу Сплина,— как-никак, люди ценят сильные чувства.

Происшествие это, само собой разумеется, вконец испортило так мирно протекавшее торжество. Те, кто только что с аппетитом насыщался тартинками, конфетами и глинтвейном, теперь требовали уксуса, холодной воды и нюхательных солей. Миссис Киттербелл тотчас увели в ее покои, музыкантам велели замолчать, девицы перестали кокетничать, и гости мало-помалу разъехались. Сплин ушел, едва началась вся эта кутерьма, и отправился домой пешком, легким шагом и (насколько это было для него возможно) с легким сердцем. Его квартирная хозяйка выражала готовность присягнуть, что слышала в тот вечер через стену, как он, заперев за собою дверь, смеялся зловещим смехом. Однако утверждение это столь невероятно и столь явно отдает неприкрытой ложью, что ему по сей день никто не верит.

С того времени, к которому относится наш рассказ, семейство мистера Киттербелла изрядно увеличилось. Теперь у него уже два сына и дочь; и поскольку есть основания полагать, что в недалеком будущем число его цветущих отпрысков еще возрастет, он усердно подыскивает достойного кандидата в крестные отцы. Этому кандидату мистер Киттербелл намерен предъявить два требования: он должен дать торжественное обещание, что не будет произносить застольных речей; и он не должен иметь никакого отношения к «самому несчастному человеку на свете».

ГЛАВА XII

Смерть пьяницы

Мы берем на себя смелость утверждать, что в памяти у каждого наблюдательного человека, имеющего обыкновение изо дня в день прогуливаться по одной и той же людной улице и кому, таким образом, многие там уже примелькались, непременно запечатлелась одна какая-нибудь личность, убогая и жалкая до последней степени, которая запомнилась ему, собственно, еще и оттого, что нынешний вид ее был свойственен ей не всегда, что опускалась она тут же, у него на глазах, шаг за шагом,

постепенно и как-то неприметно, покуда откровенная нищета и лохмотья не поразили его вдруг и с болезненной какой-то силой. В самом деле, всякому, кто вращался сколько-нибудь в обществе или кто по роду своей деятельности соприкасался с большим кругом людей и кому доводилось в случайно повстречавшемся на улице человеке — грязном, нищем и больном — узнавать старого знакомца, припомнится и то время, когда это же существо было клерком или вполне почтенным ремесленником,— словом, когда оно подвизалось на том или ином поприще, сулившем процветание в будущем и дававшем достаток в настоящем. А наши читатели — разве среди их *бывших* знакомых не сыщется такая погибшая душа, такой вконец опустившийся человек? В голодном унынии бродит он по улицам, встречая повсюду суровое равнодушие, и богу одному известно, чем он только жив. Явление, увы, слишком распространенное, чтобы быть комулибо в диковину! И слишком часто возникает оно от одной и той же причины — от пьянства, от этого безудержного влечения к медленной и верной отраве, этой страсти, которая не считается ни с чем на свете, заставляет забывать о жене, детях, счастье, положении в обществе и бешено увлекает свои жертвы вниз, в бездну, в смерть.

Несчастья и житейские невзгоды привели иного к губительному пороку. Обманутые надежды, смерть когонибудь из близких или та затаенная печаль, что не убивает человека сразу, а медленно, исподволь точит сердце, довели его до исступления, до того отвратительного умопомешательства, когда человек сам, своею рукой, навлекает на себя медленную, неминучую гибель. Насколько больше, однако, таких, что сознательно, с открытыми глазами бросаются в этот омут, из которого нет возврата, который, напротив, затягивает свою жертву все глубже и глубже, не оставляя ей в конце концов и проблеска надежды.

Именно такой человек стоял однажды у постели умирающей жены. Его глухие стоны мешались с простодушной молитвой коленопреклоненных детей. Комната была убого и скудно обставлена. В бледных чертах женщины, которую жизнь уже заметно торопилась покинуть,

нетрудно было прочесть всю повесть горя, нужды и мучительной заботы, год за годом неустанно терзавших ее сердце. Старая женщина, вся в слезах, поддерживала голову умирающей. Но не к ней, не к матери, обращено было изможденное лицо; не материнскую руку судорожно сжимали дрожащие, холодеющие пальцы — они сжимали руку мужа; глаза, которым суждено было вот-вот угаснуть, были устремлены на его лицо, и он трепетал под этим взглядом. Одежда на нем была измята и неопрятна, лицо опухшее, глаза воспалены и мутны. Верно, среди какой-нибудь дикой оргии его вызвали к печальному одру смерти.

Лампа, защищенная козырьком, тускло освещала собравшихся вокруг постели; глубокая, непроницаемая тень обволакивала остальную часть комнаты. За окном все было погружено в ночное безмолвие; в комнате царил покой смерти. Лишь мерное тиканье карманных часов, висевших над камином, нарушало глубокую тишину, но тем, кто был в комнате, слышалось что-то роковое в этом звуке, ибо все знали, что идет счет последним минутам пребывания души человеческой в бренном ее жилище.

Страшное это дело — сидеть возле умирающего и ждать приближения смерти; знать, что надежды нет, что выздоровление невозможно; считать нескончаемые часы, ночь за ночью, долгие ночи подряд... такие ночи знает лишь тот, кому доводилось просиживать их у постели больного! Мороз подирает по коже, когда лежащее перед вами беспомощное существо в забытьи и беспамятстве начинает открывать заветные тайны своего сердца, годами доселе лежавшие под спудом. Подумать только — человек хитрит и таится всю жизнь затем лишь, чтобы к концу ее, в бреду и горячке, сорвать с себя маску! Чего только не услышишь у постели умирающего! Тут открываются такие грехи, такие преступления, что слушатель подчас, опасаясь за собственный рассудок, в ужасе и омерзении бежит вон. И сколько несчастных так и умирает в одиночестве — ибо злодеяния, о которых они бредят в свои предсмертные часы, отпугивают от них самых, казалось бы, бестрепетных людей.

Никаких предсмертных признаний, впрочем, не раздавалось с постели, вкруг которой стояли на коленях дети. Сдавленные их всхлипывания и стоны одни нарушали тягостную тишину каморки. Но вот судорожно сжатые пальцы разжались в последний раз, умирающая перевела взор с детей на отца и, силясь что-то выговорить, откинулась на подушки, и столько безмятежного спокойствия было в этом движении, что, казалось, она всего лишь погрузилась в сон. Все склонились над нею, стали звать ее, сперва вполголоса, а потом громким, пронзительным воплем отчаяния. Ответа не было. Стали прислушиваться к дыханию — ни вздоха. Пытались нащупать сердце — оно не билось. Сердце это было разбито, а та, кому оно принадлежало,— мертва!

Муж опустился на стул подле постели и прижал ладони к пылающему лбу. Он обвел взглядом всех своих детей, но, встречая всякий раз глаза, полные слез, невольно отворачивался. Никто не шепнул ему сочувственного слова, ни один ласковый взгляд не скользнул по его лицу! Все сторонились его, все отводили глаза. Пошатываясь, вышел он из комнаты, и никто не поспешил за ним вдогонку, никто не кинулся утешать вдовца.

А было время, когда толпа друзей окружила бы его в беде, когда непритворное участие их смягчило бы его горе. Куда же они делись теперь? Друзья, родные, просто знакомые — все они бросили его, все отступились от пьяницы. Одна жена оставалась ему преданной — в радости и в горе, несмотря на недуги и нищету. А он? Как вознаградил он ее? Приплелся из кабака к ее смертному одру, еле поспел принять ее последний вздох.

Он выбежал из дому и быстро зашагал по улице. Раскаяние, ужас, стыд завладели им всецело. Еще хмельной от выпитого вина, потрясенный только что пережитой сценой, он вошел в тот самый кабак, который так недавно покинул. Стакан следовал за стаканом. Кровь разыгралась, голова пошла кругом. Что смерть? Все помрем. Вот и она померла. Он был недостоин ее — слава богу, ее родня не упускала случая напомнить ему об этом. Черт бы побрал этих родственников! Разве они не бросили ее сами, предоставив ей изнывать в одиночестве?

Ну что ж,— она умерла, и, кто знает, может быть счастлива. Все к лучшему. Еще стаканчик — и еще один! Ура! Жизнь в конце концов не такая уж плохая штука, и надо жить, пока живется!

Шли годы; дети — их было четверо — выросли и уже не были детьми. Только отец их оставался тем же, что и прежде. Еще беднее, еще ободраннее, еще бесшабашнее на вид, это был все тот же отчаянный и неисправимый пьяница. Сыновья давно одичали, ими завладела улица, и они покинули отца; оставалась при нем одна дочь; она работала не покладая рук, и ему всегда — если не уговорами, то побоями — удавалось выжать из нее деньги на кабак. А он продолжал идти своей дорогой и жил в свое удовольствие.

Однажды вечером — было никак не больше десяти часов (дело в том, что вот уже несколько дней как его дочь хворала, и, следовательно, засиживаться в распивочной ему было не на что) — он направлялся домой и сам с собой рассуждал о том, что, собственно, не мешало бы ему обратиться к приходскому врачу; нужно ведь, чтобы она поскорее начала снова зарабатывать деньги. До сих пор он даже не удосужился порасспросить ее, что же у нее болит? Стояла промозглая декабрьская погода; дул пронзительный ветер, дождь лил как из ведра. Выпросив несколько медяков у прохожего и купив на них немного хлеба (он был как-никак заинтересован в том, чтобы дочь его не умерла с голода), он торопливо, сквозь дождь и ветер, пробирался домой.

Где-то за Флит-стрит, между этой улицей и набережной, расположено несколько убогих, узких переулочков, которые в совокупности своей составляют часть бывших монастырских владений Уайтфрайерс; * в один из этих переулочков он и направил свои стопы.

Убожеством и грязью двор, в который он завернул, мог бы потягаться с самым мрачным закоулком этой древней обители в самую грязную и разнузданную пору ее существования. Стены домов — в два, три и четыре этажа высотой — переливали теми неописуемыми оттенками, в какие время, сырость и плесень обыкновенно расцвечивают строения, сколоченные из грубых, нетесаных досок. Разбитые стекла были заделаны бумагой и гряз-

ными тряпками. Двери едва держались на петлях. По сторонам каждого окна торчали палки, между которыми была протянута веревка для белья. Отовсюду доносились брань или шум попойки.

Одинокий фонарь, стоящий посреди двора, не горел — то ли особенно буйный порыв ветра его погасил, то ли это распорядился кто-то из жильцов, имеющий веские причины для того, чтобы его резиденция не слишком бросалась в глаза. Неровная, выщербленная мостовая тускло освещалась чахлыми свечами, там и сям мерцавшими в окнах счастливцев, которые могли позволить себе такую роскошь. Проходящая вдоль двора, в самой середине его, сточная канава издавала зловонье, как бы разбуженное дождем; ветер со свистом врывался в ветхие лачуги, двери и ставни скрипели, и оконные стекла дребезжали с такой силой, что, казалось, еще немного — и рухнет все подворье.

А тот, за кем мы последовали в эту трущобу, продолжал шагать в темноте, поминутно оступаясь то в канаву, то в ее притоки, образованные дождем. Он прошел в глубь двора и остановился у последнего дома. Дверь, вернее то, что от нее осталось, была наполовину открыта — для удобства многочисленных обитателей дома; он стал карабкаться по темной ветхой лестнице на чердак.

Две-три ступеньки отделяли его от двери, как вдруг она сама распахнулась; девушка, такая же тощая и хилая, как свечка, которую она бережно заслоняла рукой, робко выглянула на лестницу.

— Это ты, отец? — спросила она.

— А то кто же? — хмуро отозвался он.— Чего ты дрожишь? Или ты думаешь, я много выпил сегодня? Без денежек не больно разгуляешься, а чтоб денежки были, работать надо, вот что! Да что это, в самом деле, стряслось с девчонкой?

— Мне худо, отец, мне очень худо,— сказала девушка и тут же разрыдалась.

— А-а,— протянул он тоном человека, вынужденного, наконец, против воли признать неприятный для него факт.— Ну, что ж, надо поправляться, а то так и будем сидеть без денег. Ты бы сходила к приходскому врачу

да попросила бы у него какого-нибудь лекарства. Зря, что ли, они деньги получают, черт бы их подрал! Да что это ты в дверях стала? Пусти — ну?

— Отец,— прошептала девушка, прикрыв дверь и заслонив ее собой.— Уильям вернулся.

— Кто? — переспросил он, вздрогнув.

— Тише,— сказала девушка,— Уильям. Наш Уильям.

— Что ему нужно? — спросил он, сдерживая гнев.— Денег? Пить-есть? Ну, так он ошибся адресом. Дай-ка мне свечу — да дай же сюда, дурёха, я его не съем! — И, вырвав свечу из ее рук, он шагнул в комнату.

На старом сундучишке, подперев руками голову и устремив глаза на едва тлеющие угольки в очаге, сидел молодой человек лет двадцати двух на вид, очень худо одетый — в плохонькой куртке из грубой материи и таких же штанах. При виде отца он вскочил.

— Запри дверь, Мэри,— торопливо проговорил молодой человек.— Запри дверь! Да ты, никак, меня не узнаешь, отец? Ну, да с тех пор, как ты меня выгнал из дому, прошло немало времени — не диво, что ты меня забыл.

— Так что же тебе тут нужно? — спросил отец, садясь на табурет по другую сторону очага.— Что тебе нужно?

— Убежище,— отвечал сын.— Я попал в беду. Ну вот. Если меня схватят — петля на шею. Это — как пить дать. Если вы меня тут не укроете, меня непременно схватят. Это тоже как пить дать. Вот и все.

— Так, стало быть, ты грабежами да убийствами занимаешься, да? — спросил отец.

— Стало быть, так,— отвечал сын.— Тебя это удивляет, отец?

Он в упор посмотрел на отца, тот отвел глаза и потупился.

— Где твои братья? — спросил он после продолжительного молчания.

— Там, где они уже не станут тебя беспокоить. Джон уехал в Америку, а Генри умер.

— Умер! — воскликнул отец — тут даже он невольно содрогнулся.

— Умер,— повторил молодой человек.— Он умер у меня на руках, лесник подстрелил его, как собаку. Он повалился навзничь, я его подхватил, и кровь его текла по моим пальцам. Она лилась из груди, как вода. От потери крови он ослаб и почти ничего уже не различал, но он нашел в себе силы броситься на колени, тут же, в траве, и начать молиться. Он просил бога внять мольбам его матери, если она взята на небо, мольбам о своем младшем сыне. «Я ведь был ее любимцем, Уилл,— сказал он,— и мне сладко вспоминать, что как ни мал я был, когда она умирала, и как ни разрывалось мое сердечко от горя, а все же я мог, стоя на коленях в ногах ее постели, возблагодарить бога за ту любовь, какую он внушил мне к матери, за то, что я не исторгнул ни единой слезы из ее очей... Ах, Уилл, зачем ее у нас отняли,— зачем ее, а не отца?» Это были его последние слова, отец,— продолжал молодой человек,— как хочешь, так и понимай. В пьяном угаре ты ударил его по лицу в то утро — помнишь,— когда мы убежали из дому? Вот и все.

Девушка громко рыдала. Отец, уткнув голову в колени, мерно раскачивался из стороны в сторону.

— Если меня схватят,— продолжал между тем молодой человек,— меня увезут обратно — туда, где я убил лесника, и там, на месте, повесят. Без твоей помощи, отец, меня здесь не разыщут. Дело твое, конечно,— может, ты сам захочешь выдать меня. А нет — тем лучше: я бы тут переждал немного, а там махнул бы за границу.

Целых два дня все трое сидели безвыходно в убогой комнатушке. К концу третьего девушке стало совсем невмоготу — так худо ей за все время не бывало. Тут еще и последние крохи съестного подобрались. Кому-нибудь непременно нужно было выйти из дому. Девушка была слишком слаба и больна, и вот — совсем уже к вечеру — пошел отец.

Он получил лекарство для дочери и небольшое денежное пособие и, кроме того, на обратном пути, подержав кому-то лошадь, заработал еще шесть пенсов. Денег, которые он таким образом достал, могло хватить на удовлетворение самых насущных нужд дня на два, на три. Поровнявшись с пивнушкой, он слегка убавил шаг, однако

совсем уже было прошел мимо, но — снова убавил шаг и, наконец, юркнул в дверь. Какие-то два человека стояли возле пивной и что-то высматривали, но он их не заметил. Его нерешительная походка привлекла их внимание в ту самую минуту, как они, отчаявшись, уже хотели махнуть рукой на дальнейшие поиски. И когда он, наконец, завернул все же в пивную, они последовали туда за ним.

— Как хочешь, а стаканчик тебе со мной распить придется, дружище,— сказал один из них, ставя перед ним стакан, полный вина.

— И со мной,— сказал его товарищ, снова наполняя стакан, как только он был осушен.

Мысль об ожидающих его голодных детях, об опасности, которой он подвергает сына, мелькнула в его сознании. Но пьянице было уже не до них. Он выпил, и в голове у него все смешалось.

— Ночка-то дождливая, Уорден, а? — шепнул пьянице один из его собутыльников, когда он, истратив на вино половину денег, от которых, быть может, зависела жизнь его дочери, наконец поднялся, чтобы идти домой.

— Самая подходящая для нашего приятеля, мистер Уорден,— сказал второй, тоже шепотом,— в такую ночь только и прятаться.

— Садись сюда, поговорим,— сказал первый и потащил его куда-то в угол.— Мы тут, понимаешь, взялись помогать твоему молодцу. Мы приехали сказать ему, что дела идут отлично, только вот никак не найдем его — точного-то адреса своего он нам не дал. Да и не мудрено — он, поди, и сам хорошенько не знал, куда ткнется, когда ехал в Лондон. Верно, старина?

— Верно,— отвечал отец.

Его собутыльники переглянулись.

— В порту стоит судно, оно отчаливает сегодня в полночь, как только прибудет вода,— сообщил первый.— Так вот, мы его и посадим на это судно. Билет уже взят, на чужое имя, конечно, и, главное, даже оплачен. Какое счастье, что мы повстречали тебя!

— Удивительное,— подтвердил второй.

— Редкая удача,— сказал первый, подмигивая второму.

— Чудо,— ответил тот, лукаво кивнув головой.

— А ну-ка, еще стаканчик — поживей! — крикнул первый. Не прошло и пяти минут, как отец, сам того не подозревая, предал родного сына в руки палача.

Медленно, тягостно тянулись часы для брата с сестрой, которые, сидя в убогом своем убежище, тревожно прислушивались к малейшему шороху. Наконец, на лестнице послышались тяжелые шаги — ближе, ближе, вот они уже на площадке — и в комнату ввалился отец.

Заметив, что он пьян, девушка шагнула ему навстречу со свечой в руке, но вдруг отпрянула и, испустив громкий вопль, без чувств упала на пол: она увидела тень одного из тех, кто следовал за ее отцом. Сыщики тотчас ринулись в комнату, схватили молодого человека и надели на него наручники.

— Чистая работа,— сказал один из них, обращаясь к товарищу.— Спасибо старику. Подними девушку, Том! Да полно плакать, дорогая, что сделано, то сделано, слезами горю не поможешь.

Молодой человек склонился над сестрой, затем выпрямился и в ярости поворотился к отцу, который, пошатываясь, отошел к стене и смотрел на всех бессмысленным пьяным взглядом.

— Слушай меня, отец,— произнес арестованный тоном, от которого пьяницу бросило в дрожь.— Кровь моего брата и моя да падут на твою голову. Видел ли я от тебя хоть один ласковый взгляд? Слышал ли когда слово доброе, чувствовал ли хоть раз твою заботу? И вот, живой ли, мертвый ли, я никогда тебя не прощу. Когда бы ты ни умер, как бы ни умер, знай: я буду с тобой в твой смертный час. Это я, мертвый, говорю тебе, живому: рано или поздно наступит день, когда тебе придется держать ответ перед Творцом. Слушай же: в тот день, рука в руке, придем и мы, твои дети, придем и потребуем возмездия.— Он с угрозой поднял свои скованные руки, поглядел долгим взглядом на отца — тот так и съежился весь — и медленно покинул комнату. Так кончилась его последняя встреча с сестрой и отцом по сю сторону могилы.

Когда тусклый и туманный свет зимнего утра заглянул в узенький двор и пробился сквозь грязное окошко убогой каморки, Уорден очнулся от тяжелого сна. Он был один. Он встал, обвел глазами комнату: тощий тюфячок из оческов лежал нетронутый на полу; в комнате ничего с вечера не изменилось; по всей вероятности, он был ее единственным обитателем этой ночью. Он стал расспрашивать жильцов и соседей. Никто не видел его дочери, никто ничего о ней не слыхал. Он побрел по улицам, с тоской вглядываясь в каждое изможденное женское лицо в густой толпе прохожих. Поиски его были бесплодны, и к ночи, еле волоча ноги от усталости, он уныло поплелся на свой чердак.

Много дней посвятил он этому занятию, но ни разу не удавалось ему напасть на ее след, ни разу не довелось получить какую-нибудь весточку о ней. Наконец, он махнул рукой и бросил ее разыскивать. Мысль, что в один прекрасный день дочь может покинуть его и где-нибудь, без него, зарабатывать свой кусок хлеба, не раз уже и прежде приходила ему в голову. И вот, наконец, она в самом деле его бросила и обрекла на голодное одиночество. Он заскрежетал зубами — и проклял ее!

Он стал ходить по домам, собирая подаяние. Каждый грош, какой ему удавалось вымолить у доверчивых и жалостливых людей, уходил на то же дело, что и прежде. Прошел год. Уже много месяцев как он не имел над головой крова, если не считать тюрьмы, в которую он нет-нет да попадал. Спал он где-нибудь в подворотне или в недостроенном доме — где угодно, лишь бы согреться или хотя бы укрыться от ветра и дождя. Но и теперь, совсем уже нищий, бездомный и больной, он по-прежнему оставался горьким пьяницей.

Наконец, в одну из студеных ночей, обессиленный и разбитый, он опустился на ступеньку какого-то крыльца. Пьянство и беспутная жизнь преждевременно состарили его. Щеки впали и пожелтели; глаза ввалились, зрение помутилось. Ноги подкашивались, и весь он дрожал мелкой дрожью.

Давно забытые картины его загубленной жизни вдруг нахлынули на него. Припомнилось то время, когда у него

был дом, счастливая и радостная семья, припомнились и те, кто составлял эту семью, кто некогда окружал его тесным кругом,— и, думая обо всем этом, он вдруг представил себе своих двух сыновей: они восстали из гроба и стояли тут же, рядом с ним, он видел их так явственно, так отчетливо, что, казалось, мог бы дотронуться до них рукой. Взоры, давно забытые, вновь были обращены к нему; голоса, которые смерть давно уже заглушила, звенели в его ушах, словно колокольный звон, разливающийся по селу. Но это длилось всего какой-то миг. Дождь хлестал беспощадно, и снова несчастный всецело отдался ощущению голода и холода.

Он встал и слабеющими ногами прошел еще несколько шагов. На улице было тихо и пустынно. Редкие прохожие, какие попадались ему в этот поздний час, торопливо шагали мимо, буря заглушала его слабый голос. И снова сильный озноб потряс все его тело, и казалось, кровь застывает в жилах. Он заполз в какой-то подъезд, сжался в клубок и попытался уснуть.

Но не было сна в его осоловелых, мутных глазах. Мысли его то и дело путались, тем не менее он не спал и сознание не покидало его. Вот раздаются в ушах знакомые клики хмельного веселья, вот к самым устам его приблизился стакан — стол ломится от яств, лакомых и сытных — стоит только руку протянуть к ним; и все же, хоть мираж этот был убедительней всякой реальности, несчастный ни на миг не забывал, что сидит один, на безлюдной улице, прислушиваясь к дробному стуку дождя о панель, что смерть подкрадывается к нему все ближе и ближе и что некому о нем позаботиться в этот час, некому помочь.

Но вот, пронзенный внезапным ужасом, он встрепенулся. В ночной тишине раздался крик — кричал он сам, кричал неизвестно о чем, неизвестно зачем. Чу — стон! Еще! Сознание покидало его: невнятные, бессвязные какие-то слова срывались с его уст, пальцы впивались в тело, как бы силясь разодрать его. Он сходил с ума, он звал на помощь, звал долго, изо всех сил, пока не сорвал голос.

Приподняв голову, он поглядел вдоль унылой длинной улицы. Он слыхал, что такие, как он, отверженные от

общества и осужденные бродить день и ночь по этим ужасным улицам, зачастую теряют рассудок от невыносимого одиночества. Он припомнил рассказ, слышанный когда-то давно, много лет назад, об одном несчастном, бездомном бродяге: его застали в каком-то глухом закоулке — он точил ржавый нож, намереваясь вонзить его себе в сердце, ибо сама смерть представлялась ему милее этого бесконечного, постылого шатания с места на место. Вмиг у него созрело решение. Он ожил. Ринувшись из своего укрытия, он бежал не переводя дыхания, пока не достиг набережной.

Он бесшумно спустился по крутым каменным ступеням, ведущим с моста Ватерлоо вниз, к реке. Забился в угол и затаил дыхание — мимо прошел дозор. Надежда обрести свободу и жизнь не заставила бы сердце узника биться радостнее, чем билось оно в эту минуту у несчастного при мысли о близкой смерти. Караульные прошли почти вплотную к нему, но не заметили его; когда звук их шагов замер вдали, он осторожно спустился к самой реке; на нижней площадке, под мрачным сводом моста, он остановился.

Был прилив, и вода плескалась у самых его ног. Дождь перестал, ветер улегся, на миг стало тихо и покойно — так тихо, что малейший звук с того берега, даже легкий плеск воды о баржи, стоявшие у причала, доносился до его ушей. Лениво и вяло катила свои воды река. Невиданные, диковинные какие-то призраки то и дело возникали на ее поверхности, как бы приглашая его приблизиться; темные мерцающие глаза смотрели на него из воды и, казалось, насмехались над его нерешительностью, а за спиной кто-то приглушенно бормотал, словно подзадоривая его. Он отступил на два-три шага, разбежался, сделал отчаянный прыжок и погрузился в воду.

Пяти секунд не прошло, как он вынырнул на поверхность, но за эти пять секунд как переменились все его мысли и чувства! Жить — жить во что бы то ни стало! Пусть голод, нищета, невзгоды — только не смерть! Вода уже смыкалась над его головой, ужас охватил его, он кричал и отчаянно бился. Сыновнее проклятье звенело в его ушах. Берег... клочок суши... вот он сейчас протя-

нет руку и ухватится за нижнюю ступеньку!... Еще бы немного ближе подойти... чуть-чуть... и он спасен. Но течение несет его все дальше, под темные своды моста, и он идет ко дну.

Он снова всплыл и еще раз вступил в единоборство со смертью. На мгновение — на какой-то короткий миг — он различил дома на берегу реки, огни на мосту, из-под которого его вынесло течением, черную воду вокруг и стремительные облака над головой. И опять он тонет, опять всплывает. Огненные языки вспыхивают на земле, взвиваются под самое небо, кружатся перед глазами, в ушах стоит грохот воды, и грозный этот рев оглушает его.

Неделю спустя в нескольких милях от моста, вниз по течению, река выбросила на берег его труп — распухший и обезображенный. Неопознанное, никем не оплаканное тело предали земле, и теперь оно давно уже превратилось в прах.

МАДФОГСКИЕ ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ МИСТЕРА ТАЛРАМБЛА, БЫВШЕГО МАДФОГСКОГО МЭРА

Приятный — можно даже сказать, чрезвычайно приятный — город Мадфог * расположен в очаровательной низине, на самом берегу реки; именно реке он обязан тонким запахом смолы, дегтя, угля и пеньки, бродячим населением в клеенчатых шляпах, постоянным наплывом пьяных лодочников и многими другими преимуществами приморского местоположения. В Мадфоге много воды, но ездить туда на воды, пожалуй, все-таки не стоит. Вода вообще капризная стихия, а мадфогская — особенно. Зимой она просачивается на улицы и резвится в полях, более того — врывается даже в погреба и кухни и заливает их с совершенно излишней щедростью; в жаркую летнюю погоду она, наоборот, подсыхает и зеленеет, а зеленый цвет, хотя он по-своему очень неплох, особенно для травы, решительно не подходит воде, и нельзя отрицать, что это пустячное обстоятельство сильно портит красоту Мадфога. Климат в Мадфоге здоровый — очень здоровый; может быть, несколько сырой, но от этого он не становится хуже. Те, кто считает сырость вредной, ошибаются: растения в сырых местах благоденствуют — почему бы не благоденствовать и людям? Обитатели Мадфога единодушно утверждают, что на земле нет более прекрасных представителей рода человеческого, нежели они сами,—

и этим неоспоримо и убедительно опровергается вышеупомянутое столь широко распространенное заблуждение. Таким образом, признавая, что Мадфог сыроват, мы, с другой стороны, недвусмысленно заявляем, что воздух его целебен.

Город Мадфог весьма живописен. Лаймхаус и Рэтклифская дорога несколько напоминают его, но дают о нем только слабое представление. В Мадфоге гораздо больше кабаков — больше, чем в Лаймхаусе и на Рэтклифской дороге вместе взятых. К тому же общественные здания здесь очень внушительны. Мы считаем его ратушу прекраснейшим из ныне существующих образцов стиля сарая: она представляет собой сочетание ордеров свинарника и садовой беседки, а простота ее планировки полна неизъяснимой прелести. Особенно удачной была мысль расположить с одной стороны двери большое окно, а с другой — маленькое. Смелая дорическая красота висячего замка и скребка на крыльце строго гармонирует с общим замыслом зодчего.

Здесь, в этом здании, и собираются в неусыпных заботах об общественном благе мэр и муниципалитет Мадфога. Восседая на тяжелых деревянных скамьях, которые вместе со столом посредине составляют единственную мебель выбеленной известкой залы, старейшины Мадфога проводят долгие часы в серьезных дебатах. Здесь они решают, в котором часу должны вечером закрываться кабаки и в котором часу допускается их открытие утром, с какого часа обитателям Мадфога дозволяется обедать по воскресеньям, а также другие важные политические вопросы; и нередко, когда в городе давно уже воцарилась тишина, когда далекие огоньки магазинов и жилых домов давно уже перестали мерцать, как звезды, радуя взоры лодочников на реке, свет в двух разнокалиберных окнах ратуши оповещает жителей Мадфога, что их крохотное законодательное собрание, подобно более многочисленному и более известному собранию того же рода, от которого шума больше, а толку столько же, в полном единодушии патриотически дремлет далеко за полночь на благо родины.

В течение многих лет среди этой компании мудрецов и ученых особенно выделялся скромностью своей

наружности и поведения Николас Талрамбл, известный торговец углем. Каким бы животрепещущим ни был обсуждаемый вопрос, какими бы горячими ни были прения, каким бы ядовитым ни был обмен личностями (ведь даже в Мадфоге мы порой доходим до личностей), Николас Талрамбл оставался невозмутим. Дело в том, что Николас — человек трудолюбивый, встававший с зарей,— когда начинались прения, обыкновенно засыпал и спал до их окончания, а затем просыпался весьма освеженный и с величайшим благодушием подавал свой голос. Объяснялось это тем, что Николас Талрамбл, зная, что каждый из присутствующих составил свое мнение заранее, считал всякие обсуждения ненужным переливанием из пустого в порожнее; и по сей день остается вопросом, не был ли Николас Талрамбл близок к истине — по крайней мере в данном пункте.

Время, которое покрывает голову человека серебром, иногда наполняет его карманы золотом. По мере того, как оно оказывало Николасу Талрамблу первую услугу, оно любезно не забывало и о второй. Николас начал свою деловую карьеру в лачуге четыре фута на четыре, обладая капиталом в два шиллинга девять пенсов и запасом товара в три с половиной бушеля угля, не считая большого куска, подвешенного снаружи в качестве вывески. Затем он сделал пристройку к сараю и купил тачку; затем отказался от сарая, а также от тачки, и обзавелся ослом и миссис Талрамбл; затем поднялся на следующую ступень и приобрел тележку; вскоре тележку сменил фургон; так Талрамбл поднимался все выше и выше, подобно своему великому предшественнику Виттингтону * — только без кота-компаньона,— приумножая свое богатство и славу, пока, наконец, не удалился от дел и не переехал, забрав миссис Талрамбл и свое потомство, в Мадфог-Холл, выстроенный им в четверти мили от города Мадфога на холме — как он тщетно пытался убедить себя.

Примерно тогда же по Мадфогу поползли слухи, что Николас Талрамбл преисполнился спеси и чванства, что преуспеяние и богатство лишили его обхождение простоты, испортили его от природы доброе сердце; что, короче говоря, он задумал стать политическим деятелем и

важным джентльменом, а на прежних друзей поглядывает теперь с презрительной жалостью. Неизвестно, имелись ли в то время основания для подобных слухов, но как бы то ни было, вскоре после их возникновения миссис Талрамбл обзавелась коляской, которой правил высокий форейтор в желтой шапке, мистер Талрамбл-младший начал курить сигары и называть лакея «человек», а сам мистер Талрамбл перестал проводить вечера в своем любимом уголке у камина в зале «Герба лодочника». Это были скверные признаки, но более того — стали замечать, что мистер Николас Талрамбл посещает заседания муниципалитета гораздо усерднее, чем раньше; что на них он уже не засыпает, как делал это в течение многих лет, а наоборот, придерживает веки указательными пальцами, не давая глазам закрываться; что дома он наедине с самим собой читает газеты и что у него появилась привычка туманно и таинственно упоминать о «народных массах», «производительных силах», «государственной собственности» и «интересах капитала» — откуда неопровержимо следовало, что Николас Талрамбл либо сошел с ума, либо и того хуже; и все это повергало добрых граждан Мадфога в глубочайшее недоумение.

Наконец, примерно в середине октября мистер Талрамбл с семейством отправился в Лондон, потому что, как сообщила миссис Талрамбл своим мадфогским знакомым, в середине октября великосветский сезон в самом разгаре.

В это время, несмотря на целебность местного воздуха, по той или иной причине скончался мадфогский мэр. Событие было беспрецедентным — он прожил в Мадфоге восемьдесят пять лет. Муниципалитет никак не мог осмыслить происшедшее, и одного старичка, большого формалиста, лишь с трудом удалось удержать от предложения вынести мэру вотум недоверия в связи с его необъяснимым поведением. Но, как ни странно, он все-таки умер, не обратив ни малейшего внимания на мнение муниципалитета; и муниципалитет очутился перед необходимостью немедленно избрать ему преемника. С этой целью советники собрались на заседание, а так как они последнее время только и говорили, что о Нико-

ласе Талрамбле, и так как Николас Талрамбл был весьма почтенной особой, то они и избрали его и со следующей же почтой написали в Лондон, дабы сообщить Николасу Талрамблу о новой ступени, на которую он поднялся.

А поскольку на дворе стоял ноябрь и поскольку мистер Талрамбл находился в Лондоне, ему довелось увидеть процессию лорд-мэра и присутствовать на торжественном обеде в Гилдхолле, и созерцание означенного блеска и великолепия крайне его, мистера Талрамбла, огорчило, так как он не мог не подумать, что, родись он не в Мадфоге, а в Лондоне, то, возможно, тоже стал бы лорд-мэром, снисходительно улыбался бы судьям, был бы любезен с лорд-канцлером, фамильярен с премьер-министром, холодно вежлив с министром финансов, обедал бы под сенью флага и совершал бы много других деяний и подвигов, составляющих исключительную прерогативу лорд-мэров города Лондона. Чем больше Николас Талрамбл размышлял о привилегиях лорд-мэра, тем более завидной представлялась ему эта должность. Быть королем, конечно, неплохо, но что такое король по сравнению с лорд-мэром! Если король произносит речь, все знают, что написал ее кто-то другой; а вот лорд-мэр говорил целых полчаса — и только то, что сам придумал,— и все ему бурно рукоплескали, а король, как хорошо известно, может разговаривать со своим парламентом, пока не охрипнет, но так и не добьется ни единого хлопка. И в итоге всех этих размышлений лорд-мэр представился мистеру Николасу Талрамблу могущественнейшим из земных владык, который по всем статьям превосходит русского императора и оставляет далеко за флагом Великого Могола.

Когда мистеру Николасу Талрамблу было вручено письмо муниципалитета, он как раз предавался этим размышлениям, в душе проклиная судьбу, забросившую его угольный сарай именно в Мадфог. Пока он читал письмо, малиновый румянец начал заливать его лицо, потому что перед ним уже витали ослепительные видения.

— Моя дорогая,— сказал мистер Талрамбл жене,— меня избрали мэром Мадфога.

— Ах ты господи! — сказала миссис Талрамбл.— А что приключилось со старикашкой Снигсом?

— Покойный мистер Снигс, миссис Талрамбл,— ответил мистер Талрамбл раздраженно, ибо ни в коей мере не одобрял бесцеремонное наименование лица, исполнявшего высокую должность мэра, «старикашкой Снигсом»,— покойный мистер Снигс, миссис Талрамбл, скончался.

Несмотря на всю неожиданность этого сообщения, миссис Талрамбл ограничилась только повторным восклицанием «ах ты господи!», как будто мэр был самым обыкновенным смертным, и мистер Талрамбл сердито нахмурился.

— А жалко, что это не Лондон, правда? — сказала миссис Талрамбл после краткого молчания.— Жалко, что это не Лондон, а то бы тебе устроили процессию.

— Я полагаю, мне могут устроить процессию и в Мадфоге, если я сочту это нужным,— загадочно ответил мистер Талрамбл.

— А ведь и впрямь могут!—ответила миссис Талрамбл.

— И неплохую к тому же,— сказал мистер Талрамбл.

— Чудесную! — воскликнула миссис Талрамбл.

— Такую, которая удивит тамошнюю невежественную публику,— сказал мистер Талрамбл.

— Все от зависти поумирают! — сказала миссис Талрамбл.

И так они решили, что подданные его величества в Мадфоге будут удивлены великолепием и сражены завистью при виде процессии, подобной которой не бывало ни в этом городе, ни в каком-либо другом городе, ни даже в самом Лондоне.

На другой же день после получения письма почтовая карета примчала в Мадфог высокого форейтора (и сидел он не на какой-нибудь из лошадей, а внутри — да, да, именно внутри кареты!), который, подъехав к самым дверям ратуши, где заседал муниципалитет, предъявил написанное бог знает кем и подписанное Николасом Талрамблом письмо, в котором Николас на мелко исписанном с обеих сторон золотообрезном листке атласной почтовой бумаги сообщал, что он отвечает на призыв своих сограждан с искренней радостью; что он принимает многотрудную должность, которую они доверили ему; что он обещает никогда не уклоняться от

исполнения своего долга; что он попытается нести свои ответственные обязанности с тем достоинством, какого требует их серьезность и важность; и многое другое в том же роде. Но даже и это было не все. Высокий форейтор извлек из своего правого сапога еще сырой экземпляр газеты графства; в ней крупным шрифтом, занимая весь первый столбец, было напечатано обращение Николаса Талрамбла к гражданам Мадфога, где он сообщал, что с радостью подчиняется их воле, и, короче говоря, как будто желая избежать недоразумения, еще раз описывал, каким замечательным деятелем он будет — в тех же самых выражениях, которые он уже употребил в своем письме для освещения того же вопроса.

Члены муниципалитета уставились друг на друга, а затем посмотрели на высокого форейтора, словно ожидая разъяснения, но так как высокий форейтор внимательно созерцал золотую кисточку, свисавшую с самого верха его шапки, и так как он не мог бы ничего объяснить даже в том случае, если бы его мысли ничто не отвлекало, они удовлетворились тем, что с сомнением покашляли и нахмурились. Потом высокий форейтор вручил им еще одно письмо, которым Николас Талрамбл извещал муниципалитет о своем намерении торжественно прибыть в ратушу с пышной процессией в ближайший понедельник. При этом мрачное настроение, охватившее советников, усугубилось; но поскольку в конце послания мадфогские законодатели в полном составе официально приглашались после церемонии отобедать у мэра в Мадфог-Холле (Мадфог-Хилл, Мадфог), они незамедлительно обнаружили во всем происходящем светлую сторону и просили передать, что благодарят и непременно будут.

Случилось так, что в Мадфоге, как это почему-то случается почти во всех городах, расположенных в пределах британских владений, а может быть, и за их пределами,— считая последнее весьма вероятным, мы, не будучи любителем путешествий, не беремся утверждать это с полной уверенностью,— случилось так, что в Мадфоге проживал симпатичнейший, добродушнейший лентяй и бездельник, питавший непреодолимое отвращение ко всякому труду, а также непобедимую страсть к крепкому пиву и прочим спиртным напиткам, с которым все были

знакомы и никто, за исключением его жены, не трудился ссориться, и который, унаследовав от своих предков имя Эдварда Туиггера, с честью носил прозвище Красноносого Нэда. Он напивался в среднем раз в день и каялся, по столь же точным вычислениям, раз в месяц, а когда каялся, то неизменно находился в последней стадии сентиментального опьянения. Это был оборванный неугомонный буян, крепкий, остроумный и находчивый, умевший делать что угодно, когда у него возникало желание поработать. Он не был принципиальным противником тяжелого труда, отнюдь нет — во время крикетного матча он трудился весь день напролет: бегал, ловил, бил, отбивал и наслаждался работой, которой не выдержал бы и галерный раб. Он был бы украшением любой пожарной команды: он, как никто, обладал врожденным уменьем орудовать насосом, лазать по лестницам и выбрасывать мебель из окон верхнего этажа. И не только огонь был его родной стихией — он один был целым обществом спасания на водах, одушевленным багром, живым спасательным кругом и за свою жизнь спас больше утопающих, чем плимутская спасательная шлюпка или аппарат капитана Мэнби *. Благодаря таким талантам Красноносый Нэд, несмотря на свою распущенность, был всеобщим любимцем; памятуя о его многочисленных услугах населению, мадфогские власти в награду разрешали ему напиваться, как угодно, не опасаясь колодок, штрафа или узилища. К нему относились с большой снисходительностью, а он, чтобы не прослыть неблагодарным, пользовался ею, как мог.

Мы посвятили столько места описанию характера и времяпрепровождения Красноносого Нэда для того, чтобы иметь возможность без навязчивости и неприличной спешки сообщить читателю одну подробность, и теперь с большой естественностью можем рассказать, как в тот же самый вечер, когда мистер Талрамбл с семейством возвратился в Мадфог, только что вывезенный из Лондона новый секретарь мистера Талрамбла, обладавший бледным лицом и очень светлыми бакенбардами, по самый галстук просунул голову в дверь «Герба лодочника», осведомился, не блаженствует ли в зале за кружкой пива некий Нэд Туиггер, и объявил, что Николас Талрамбл,

эсквайр, возложил на него миссию попросить мистера Туиггера немедленно явиться в Мадфог-Холл по очень важному и секретному делу. Поскольку ссора с мэром явно не отвечала интересам мистера Туиггера, он с легким вздохом покинул свое местечко у камина и без всяких препирательств последовал за белобрысым секретарем по слякоти мадфогских улиц к Мадфог-Холлу.

Мистер Николас Талрамбл восседал в чулане с верхним светом, который он называл своей библиотекой, и занимался тем, что набрасывал на большом листе бумаги план пресловутой процессии. В этот-то чулан секретарь и провел Нэда Туиггера.

— Как делишки, Туиггер? — снисходительно спросил Николас Талрамбл.

Было время, когда Туиггер ответил бы: «Как делишки, Ник?» Но то было в дни тачки, года за два до осла; теперь же он ограничился поклоном.

— Я хочу, чтобы вы начали упражняться, Туиггер,— сказал мистер Талрамбл.

— Для чего, сэр? — удивленно осведомился Нэд.

— Ш-ш-ш, Туиггер! — сказал мэр.— Закройте дверь, мистер Дженнингс. Посмотрите-ка сюда, Туиггер.

Говоря это, мэр отпер высокий шкаф и указал на гигантские медные латы.

— Я хочу, чтобы в будущий понедельник вы их надели, Туиггер,— сказал мэр.

— Господи боже мой, сэр! — ответил Нэд.— Вы бы еще захотели, чтобы я надел семидесятичетырехфунтовую пушку или чугунный котел.

— Чепуха, Туиггер, чепуха! — сказал мэр.

— Я в этой штуке на ногах не удержусь, сэр,— сказал Туиггер,— она из меня лепешку сделает.

— Чушь, чушь, Туиггер,— отмахнулся мэр.— Говорю вам, я своими глазами видел в Лондоне, как это делается, а тот человек был куда более щуплый, чем вы.

— А почему бы не попробовать носить футляр от стоячих часов, чтобы сэкономить на белье? — отозвался Нэд, с опаской поглядывая на латы.

— Легче этого ничего на свете нет,— возразил мэр.

— Сущий пустяк! — сказал мистер Дженнингс.

— Если привыкнуть,— добавил Нэд.

— Одеваться надо постепенно,— сказал мэр.— Завтра вы наденете одну из частей, послезавтра две, и так будете продолжать, пока не наденете все целиком. Мистер Дженнингс, налейте Туиггеру стаканчик рома. Ну-ка, примерьте нагрудник, Туиггер. Постойте, выпейте сперва еще стаканчик. Помогите мне поднять эту штуку, мистер Дженнингс. Не качайтесь, Туиггер. Вот и все! И вовсе не так тяжело, как кажется, правда?

Туиггер был сильным и крепким человеком; немного пошатавшись, он сумел удержаться на ногах под тяжестью медного нагрудника и с помощью третьего стаканчика даже ухитрился пройтись в нем по комнате, да еще с рукавицами в придачу. Он попытался надеть шлем, но опыт оказался не столь удачным, потому что Нэд тут же опрокинулся на спину — происшествие, как справедливо указал мистер Талрамбл, вызванное тем, что его ноги не были уравновешены поножами.

— Ну-с, носите латы в понедельник с грацией и достоинством,— сказал мистер Талрамбл,— и я вас озолочу.

— Постараюсь, сэр,— сказал Туиггер.

— Все это надо хранить в строжайшей тайне,— сказал Талрамбл.

— Понятно, сэр,— ответил Туиггер.

— И вы должны быть трезвы,— сказал Талрамбл,— совершенно трезвы.

Мистер Туиггер тут же торжественно поклялся, что будет трезв, как судья, и Николас Талрамбл вполне удовлетворился этим, хотя, будь мы на месте Николаса, мы потребовали бы менее расплывчатого обещания, поскольку в свое время мы неоднократно присутствовали на вечерних заседаниях мадфогского суда и готовы торжественно засвидетельствовать, что нам приходилось видеть судей, чьи парики не могли скрыть симптомов послеобеденного состояния. Это, впрочем, к делу не относится.

Весь следующий день, и следующий за ним, и еще один Нэд Туиггер провел под замком в чулане с верхним светом, изо всех сил привыкая к латам. Каждый раз, когда ему, надев новую часть брони, удавалось удержаться на ногах, он получал новый стаканчик рома; и в конце концов, несколько раз едва не задохнувшись, он умудрился выдержать весь комплект и, пошатываясь, про-

шелся по комнате, как пьяная статуя из Вестминстерского аббатства.

Никогда еще ни один мужчина не испытывал такого восторга, как Николас Талрамбл; никогда еще ни одна женщина не была в таком восхищении, как жена Николаса Талрамбла. Что за зрелище для мадфогских простолюдинов! Живой человек в медных латах! Да они ошалеют от изумления!

И вот наступил понедельник.

Даже если бы это утро изготовили на заказ, оно не могло бы оказаться удачнее. В Лондоне и то никогда не подбирали для процессии лорд-мэра столь добротного тумана, как тот, который окутал город Мадфог в день этого знаменательного события. С первым лучом зари он начал медленно, но неуклонно подниматься с зеленых, гниющих вод, пока не добрался до верхушек уличных фонарей, где и повис, исполненный сонного и тупого упрямства, не обращая внимания на солнце, которое встало с налитыми кровью глазами, словно провело ночь за бутылкой, и выполняло свои дневные обязанности с крайней неохотой. Этот густой, сырой туман затянул город, как гигантская кисейная занавеска. Все было тускло и уныло. Церковные колокольни временно удалились от мира, расположенного внизу, а все предметы поменьше — дома, сараи, изгороди, деревья и баржи — надели покрывала.

Часы на церкви пробили час. В палисаднике Мадфог-Холла надтреснутая труба испустила хриплую фиоритуру, как будто в нее случайно кашлянул астматик; ворота распахнулись, и появился джентльмен на кауром боевом коне, долженствовавший изображать герольда, но скорее похожий на карточного валета верхом. Это был один из тех циркачей, которые к осени всегда съезжаются в Мадфог; Николас Талрамбл нанял его специально для процессии. Конь взмахивал хвостом, вставал на дыбы и бил по воздуху передними копытами так, что покорил бы сердце любой благоразумной толпы. Но мадфогская толпа никогда не отличалась благоразумием в прошлом и вряд ли приобретет его в будущем. Вместо того чтобы кликами восторга разорвать в клочья самый туман, что ей, бесспорно, следовало бы сделать и чего,

собственно, и ожидал от нее Николас Талрамбл, она, едва узнав герольда, принялась ворчать, выражая ничем не оправданное неудовольствие только оттого, что он едет верхом, как все обыкновенные люди. Если бы он выехал, стоя на голове, прыгая через обруч, проскакивая сквозь горящий барабан или хотя бы стоя на одной ноге и держа другую во рту, зрители, быть может, нашли бы для него слова одобрения, но чтобы циркач сидел в седле как следует, сунув ноги в стремена,— это переходило все границы. Герольд потерпел решительный провал и, гарцуя на своем скакуне, бесславно удалился под свист толпы.

Появилась процессия. К сожалению, мы вряд ли сможем сказать, сколько именно статистов в полосатых куртках и бархатных беретах шествовало в ней, изображая лондонских лодочников, или сколько именно неуклюжих имитаций пеших лакеев бежало по сторонам, или сколько именно знамен из-за сырости воздуха не желало развертываться, чтобы показать написанные на них девизы; еще менее мы склонны рассказывать, как музыканты, игравшие на духовых инструментах, устремив глаза в небо (мы имеем в виду туман), в артистическом экстазе шагали по лужам и слякоти, забрызгивая пудреные парики вышеупомянутых лакеев грязью, придававшей им вид оригинальный, хотя и не совсем привлекательный; или как шарманщик включил не тот регистр и играл один марш, а оркестр — другой; или как лошади, более привыкшие к арене цирка, чем к улицам, то и дело останавливались и начинали танцевать, вместо того чтобы, играя под своими всадниками, весело бежать вперед,— обо всем этом можно было бы рассказать к вящей нашей пользе и славе, но мы тем не менее воздержимся.

Ах! Какое прекрасное и величественное зрелище являл собой муниципалитет, восседавший в каретах со стеклами — все расходы по их найму взял на себя Николас Талрамбл,— словно похоронный кортеж, снявший траур; как приятно было наблюдать за усилиями членов муниципалитета принять торжественный и важный вид, когда вслед за ними в коляске с высоким форейтором выкатил сам Николас Талрамбл, по правую руку которого сидел заменявший капеллана мистер Дженнингс,

а по левую — статист, при помощи старой гвардейской сабли изображавший меченосца; и созерцать слезы, которые текли по щекам зрителей, задыхавшихся от хохота. Это было поистине прекрасно! Как и лица миссис Талрамбл и ее сына, когда они с большим достоинством кивали из окон своей кареты всем забрызганным грязью физиономиям, ухмылявшимся вокруг. Но даже и об этом мы не станем рассказывать. Наша задача — описать неожиданную остановку процессии, когда вновь загремела труба, после чего и вследствие чего взгляды всех присутствующих обратились к воротам Мадфог-Холла в предвкушении новых чудес.

— Теперь они смеяться не будут, мистер Дженнингс,— сказал Николас Талрамбл.

— Думаю, что нет, сэр,— сказал мистер Дженнингс.

— Поглядите, как они заинтересовались,— сказал мистер Талрамбл.— Ага! Настал наш черед посмеяться, а, мистер Дженнингс?

— Вне всяких сомнений, сэр,— ответил мистер Дженнингс, и приятно взволнованный мэр выпрямился во весь рост и начал знаками выражать свое удовольствие ехавшей позади супруге.

Пока происходило все вышеописанное, Нэд Туиггер отправился на кухню Мадфог-Холла, дабы слуги могли частным образом полюбоваться диковинкой, которая должна была ошеломить город; лакей был так обходителен, горничная так мила, а кухарка так сердечна, что он не устоял перед приглашением первого присесть и чего-нибудь выпить — за успех хозяина.

И вот Нэд Туиггер в своем медном обмундировании присел на кухонный стол и выпил преподнесенный ему обходительным лакеем и оплаченный ничего не подозревавшим Николасом стакан чего-то крепкого за здоровье мэра и его процессии; и едва Нэд, чтобы заняться чем-то крепким, положил свой шлем на стол, как обходительный лакей нахлобучил его на собственную голову к безмерному и неописуемому восторгу кухарки и горничной. Обходительный лакей шутил с Нэдом, а Нэд галантно ухаживал то за горничной, то за кухаркой. Все чувствовали себя очень свободно и весело; и бутылка с чем-то крепким то и дело ходила вкруговую.

Наконец, участники процессии начали громко звать Нэда, и когда обходительный лакей, милая горничная и сердечная кухарка с великим трудом застегнули на нем шлем, он прошествовал к воротам и появился перед бесчисленными зрителями.

Толпа взревела — не от восхищения, не от удивления, а совершенно очевидно и несомненно от хохота.

— Как! — воскликнул мистер Талрамбл, подскочив в своей коляске.— Смеются? Ну, уж если они смеются над человеком в подлинных медных латах, значит они способны смеяться у смертного одра собственных отцов. Почему он не идет на свое место, мистер Дженнингс? Зачем он движется сюда? Ему здесь нечего делать!

— Боюсь, сэр...— замялся мистер Дженнингс.

— Боитесь чего, сэр? — спросил Николас Талрамбл, заглядывая в лицо секретаря.

— Боюсь, что он пьян, сэр,— ответил мистер Дженнингс.

Николас Талрамбл оглядел странную фигуру, которая надвигалась на них, и, уцепившись за локоть своего секретаря, испустил в томлении духа довольно громкий стон.

Как ни печально, но мистер Туиггер, получивший разрешение требовать один стакан рома за каждую надетую часть доспехов, в спешке и суете приготовлений каким-то образом сбился со счета и пил в среднем по четыре стакана вместо одного, не говоря уже о чем-то крепком в заключение. Наши научные познания слишком недостаточны, чтобы решить, насколько медные латы мешали естественному потению и, следовательно, препятствовали алкоголю улетучиваться; но, какова бы ни была причина, не успел мистер Туиггер оказаться за воротами Мадфог-Холла, как он оказался, кроме того, и в состоянии глубокого опьянения, чем и объяснялась его странная походка. Это было плохо уже само по себе, но более того — словно сама судьба была против Николаса Талрамбла — мистер Туиггер, который целый месяц не испытывал покаянного настроения, забрал себе в голову проявить чрезмерную чувствительность именно теперь, когда без его покаяния можно было бы обойтись с наименьшими неудобствами. Громадные слезы катились по его щекам, и он тщетно пытался скрыть свое горе, прижи-

мая к глазам синий бумажный носовой платок в белую горошину — предмет, который несколько не вязался с латами трехсотлетней древности.

— Туиггер, мерзавец,— сказал Николас Талрамбл. забыв свое высокое звание,— идите на место.

— Ни за что,— сказал Нэд.— Я жалкая тварь. Я ни за что вас не покину.

Зрители, разумеется, встретили это заявление восторженными криками:

— Правильно, Нэд! Не покидай!

— И не покину,— сказал Нэд с упрямством человека, находящегося во власти винных паров.— Я страдаю. Я жалкий отец несчастной семьи, но я умею быть преданным, сэр. Я никогда вас не покину.

И многократно повторив это любезное заверение, Нэд прерывающимся голосом обратился к толпе, объясняя, сколько лет он прожил в Мадфоге, какой безупречной репутацией пользуется и еще многое в том же духе.

— Эй, кто-нибудь! Уведите же его! — сказал Николас.— А потом зайдите ко мне, и я прилично вознагражу вас.

Несколько человек хотели было приблизиться, чтобы оттащить Нэда, но тут вмешался секретарь.

— Осторожнее! Осторожнее! — сказал мистер Дженнингс.— Прошу прощенья, сэр, но от него следует держаться подальше, потому что, если он потеряет равновесие, он, безусловно, кого-нибудь раздавит.

При этом намеке толпа отхлынула на почтительное расстояние, и Нэд, как герцог Девонширский, остался в своем собственном тесном кругу.

— Но, мистер Дженнингс,— сказал Николас Талрамбл,— он же задохнется!

— Мне очень жаль, сэр,— ответил мистер Дженнингс,— но он так застегнул латы, что без его помощи никто их снять не сумеет.

Тут Нэд горестно разрыдался и потряс заключенной в шлем головой так жалостно, что тронул бы даже каменное сердце, но зрители, у которых сердца были не каменные, хохотали от всего сердца.

— Боже мой, мистер Дженнингс,— сказал Николас, бледнея при мысли, что Нэд задохнется в своем анти-

кварном костюме.— Боже мой, мистер Дженнингс, неужели ему ничем нельзя помочь?

— Ничем! — ответил Нэд.— Ничем, совсем ничем. Джентльмены, я жалкая тварь. Я тело в медном гробу, джентльмены.

При этом, им же самим высказанном, поэтическом сравнении Нэд расплакался так, что толпа прониклась сочувствием к нему, и послышались вопросы, с какой, собственно, стати Николас Талрамбл запихнул живого человека в эту машину, а какой-то субъект в жилете, мохнатом, как ранец из телячьей кожи, еще ранее утверждавший, что, не будь Нэд бедняком, Николас никогда не посмел бы так над ним измываться, теперь намекнул, что следовало бы разбить либо коляску, либо голову Николаса, либо и то и другое, и последнее компромиссное предложение пришлось толпе особенно по вкусу.

Выполнено оно, однако, не было, потому что не успели его выдвинуть, как в вышеуказанном тесном кружке внезапно появилась жена Нэда Туиггера, и последний, едва завидя ее лицо и фигуру, в силу давней привычки тут же пустился со всех ног домой — на этот раз, однако, не особенно быстро, поскольку его ноги, всегда готовые носить *его,* не могли с обычной скоростью нести еще и медные латы. Таким образом, у миссис Туиггер оказалось достаточно времени для того, чтобы в глаза обличить Николаса Талрамбла, высказать свое мнение о нем, назвав его настоящим чудовищем, и намекнуть, что, если медные латы причинят какой-нибудь телесный ущерб ее замученному супругу, она подаст на Николаса Талрамбла в суд за человекоубийство. Изложив все это с надлежащим жаром, она пустилась за Нэдом, который тащился по дороге, заунывным голосом оплакивая свои несчастья.

Какой плач и рев подняли дети Нэда, когда он, наконец, добрался до дому! Миссис Туиггер попыталась расстегнуть латы сперва в одном, потом в другом месте, но у нее ничего не вышло, и тогда она опрокинула Нэда на кровать — в шлеме, нагруднике, рукавицах и во всем прочем. Ну, и скрипела же кровать под весом Нэда и его нового костюма! Однако она не проломилась, и Нэд, как некое безыменное судно в Бискайском заливе, протомился до следующего дня в самом жалком виде, утоляя

жажду ячменной водой, а при каждом его стоне любящая супруга заявляла, что так ему и надо,— других утешений Нэд Туиггер не слышал.

Николас Талрамбл и великолепная процессия проследовали вместе к ратуше, сопровождаемые свистом и неодобрительными криками черни, которой неожиданно взбрело в голову считать беднягу Нэда мучеником. Николас был официально утвержден в своей новой должности и в заключение церемонии разразился составленной секретарем речью, очень длинной и, без сомнения, очень хорошей, но из-за шума толпы снаружи никто, кроме самого Николаса, ее не расслышал. Затем процессия, как могла, вернулась в Мадфог-Холл, где Николаса и членов муниципалитета ожидал парадный обед.

Но обед прошел вяло, и Николас был разочарован. Муниципалитет состоял из таких скучных, сонных стариков! Николас произносил тосты, такие же длинные, как тосты лорд-мэра Лондона, более того — он говорил то же самое, что сказал лорд-мэр Лондона, а муниципалитет не устроил ему никакого чествования. Только один человек за столом не клевал носом, но он был дерзок и назвал его Ником. Ником! Что произошло бы, подумал Николас, если бы кто-нибудь вздумал назвать Ником лорд-мэра Лондона! Хотел бы он знать, что на это сказал бы меченосец, или судья по уголовным делам, или церемониймейстер, или другие высокие сановники Сити. Они бы показали ему Ника!

Но это были еще не наихудшие из деяний Николаса Талрамбла. Если бы он ограничился ими, то оставался бы мэром и по сей день и мог бы произносить речи, пока не надоест. Он приобрел вкус к статистике и философствованию, а статистика в соединении с философией толкнули его на поступок, который увеличил его непопулярность и ускорил его падение.

В самом конце Главной улицы Мадфога, на берегу реки, стоит трактир «Веселые барочники» — старомодное заведение с низкими потолками и окнами «фонарем», где в зале (она же буфет, кухня и распивочная) у большого очага, украшенного котлом соответствующих размеров, в зимние вечера с незапамятных времен собирался рабочий люд, чтобы подкрепиться добрым крепким пивом под

веселые звуки скрипки и бубна — ибо «Веселые барочники» с давней поры, воспоминания о которой не сохранилось даже у самых дряхлых старожилов, получали от мэра и муниципалитета разрешение пиликать на скрипке и бить в бубен. И вот Николас Талрамбл, начитавшись парламентских отчетов и брошюр о росте преступности — или, быть может, заставив секретаря читать их ему вслух (суть дела от этого не меняется),— быстро сообразил, что скрипка и бубен, вероятно, способствовали падению нравов в Мадфоге более любых других причин, какие могла бы подыскать самая изобретательная фантазия. Поэтому он прочитал все, относящееся к данному вопросу, и решил потрясти муниципалитет в первый же раз, когда хозяин «Веселых барочников» обратится к властям, чтобы продлить свое разрешение.

Этот день наступил, и краснолицый трактирщик явился в ратушу с самым веселым видом, успев уже нанять на вечер вторую скрипку, чтобы отметить годовщину выдачи «Веселым барочникам» разрешения на музыку. Он по всей форме попросил о продлении своего разрешения, и как нечто само собой разумеющееся, его просьбу уже собирались удовлетворить, когда Николас Талрамбл встал и обрушил на удивленный муниципалитет бурные потоки красноречия. Он бичующими словами описал все возрастающую развращенность своего родного города Мадфога и безобразия, творимые его жителями. Затем он поведал, какой ужас испытал при виде того, как в погреб «Веселых барочников» неделю за неделей катятся бочки с пивом; и как он просидел у окна напротив «Веселых барочников» два дня подряд, считая посетителей, которые заходили туда за пивом только между двенадцатью и часом (кстати сказать, это было обеденным временем для большинства жителей Мадфога). Затем он перешел к сообщению о том, что число людей, выходивших оттуда с пивными кувшинами в руках, равнялось двадцати одному за пять минут; при умножении на двенадцать это число дает двести пятьдесят два человека с пивными кувшинами в час, а при дальнейшем умножении на пятнадцать (число часов, на протяжении которых трактир бывал ежедневно открыт) получается три тысячи семьсот восемьдесят человек с пивными кувшинами в

день или двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят человек с пивными кувшинами в неделю. После этого он принялся доказывать, что бубен и падение нравов — синонимы, а скрипка и порочные наклонности неотделимы друг от друга. Свои доказательства он подкреплял частыми ссылками на толстую книгу в синем переплете и иллюстрировал разнообразными цитатами из мидлсекских судебных отчетов; и в конце концов муниципалитет, сбитый с толку цифрами, усыпленный этой речью и вдобавок сильно проголодавшийся, сдался Николасу Талрамблу и отказал «Веселым барочникам» в разрешении на музыку.

Но хотя Николас Талрамбл торжествовал, торжество это было недолговечным. Поведя войну против пивных кувшинов и скрипок, он забыл то время, когда сам любил отхлебнуть из первых и сплясать под вторые, и жители города его возненавидели, а старые друзья отвернулись от него. Вскоре ему надоело одиночество среди великолепия Мадфог-Холла, и сердце его томилось тоской по «Гербу лодочника». Он глубоко сожалел, что ему взбрело в голову заняться политической деятельностью, и вздыхал о добрых старых временах угольной лавчонки и об уютном уголке у камина.

Дело кончилось тем, что истосковавшийся старый Николас собрался с духом, заплатил секретарю за три месяца вперед и отправил его в Лондон с первым же дилижансом. Покончив с этим, он сунул ноги в сапоги, а гордость в карман, и отправился в залу «Герба лодочника». Из старых друзей он застал там только двоих, и они холодно посмотрели на его протянутую руку.

— Может быть, вы собираетесь запретить трубки, мистер Талрамбл? — сказал один.

— Или установить связь между ростом преступности и табачком? — проворчал второй.

— Ни то, ни другое,— ответил Николас Талрамбл, пожимая им руки, хотели они того или нет.— Я пришел сюда, чтобы сказать, как мне стыдно, что я свалял такого дурака, и чтобы попросить вас пустить меня на мое старое местечко.

Старые друзья широко открыли глаза, другие старые друзья открыли дверь, и Николас со слезами на глазах

тоже протянул им руку и повторил свои слова. Они испустили вопль восторга, от которого зазвенели колокола на древней церкви, передвинули старое кресло в теплый угол и, усадив в него старого Николаса, тут же заказали самую большую миску горячего пунша и неограниченное количество трубок.

На следующий же день «Веселые барочники» получили свое разрешение, и на следующий же вечер старый Николас в паре с женой Нэда Туиггера открыл танцы под скрипку и бубен, которые, казалось, только выиграли от короткого отдыха — никогда еще они не звучали так весело. Нэд Туиггер отличался вовсю: он плясал матросские танцы, балансировал стульями на подбородке, а соломинками на носу, и своими талантами привел в неописуемый восторг всех присутствующих, включая муниципалитет в полном составе.

Мистер Талрамбл-младший желал и далее пребывать в великолепии, поэтому он отправился в Лондон и начал выдавать векселя на своего отца, а когда окончательно запутался и влез в долги, то раскаялся и вернулся в отчий дом.

Что касается старого Николаса, то он сдержал свое слово и после шестинедельного пребывания на общественном поприще никогда более туда не возвращался. Он заснул на следующем же заседании муниципалитета и в доказательство полной своей искренности попросил нас написать это правдивое повествование. Мы будем рады, если благодаря ему Талрамблы иных общественных сфер вспомнят, что надутое чванство — еще не благородство и что, когда они, желая забыть о годах, прожитых в более смиренной доле, поносят те маленькие удовольствия, от которых сами в свое время не отказывались, они навлекают на себя презрение и насмешки.

Мы впервые публикуем часть материалов, почерпнутых нами из данного источника. В дальнейшем, быть может, мы возьмем на себя смелость заняться летописью Мадфога.

ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ О ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ МАДФОГСКОЙ АССОЦИАЦИИ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВСЕГО-НА-СВЕТЕ

Мы употребили совершенно беспримерные и чрезвычайные усилия, чтобы представить нашим читателям полный и точный отчет о трудах недавнего исторического съезда Мадфогской Ассоциации *, состоявшегося в городе Мадфоге; мы счастливы, что ныне можем предложить им результаты этих усилий в форме различных сообщений, полученных нами от энергичного, талантливого, прекрасно владеющего пером корреспондента, который был отправлен нами специально для этой цели в Мадфог и разом обессмертил нас, себя, Мадфог и Ассоциацию. В течение нескольких дней мы даже не могли определить, кто будет наиболее прославлен в потомстве: мы ли, потому что это мы послали на место происшествия такого корреспондента; он ли, потому что это он написал такой отчет; или Ассоциация, потому что это она дала нашему корреспонденту материал для его писем. Мы все же склоняемся к тому мнению, что в этом предприятии мы — главный компаньон, поскольку нам принадлежала самая идея отчета от нашего собственного корреспондента; скажут, что есть в этом некоторая предвзятость; скажут, что это свидетельствует о некотором нашем пристрастии к собственной особе. Пусть так. Мы не сомневаемся, что

каждый джентльмен, имевший отношение к этому знаменательному собранию, страдает тем же недостатком, в большей или меньшей степени; и мы видим для себя утешение в том, что хотя бы эта слабость роднит нас с великими светилами науки, с теми несравненными и блистательными светочами знания, чьи рассуждения мы здесь увековечили.

Мы приводим письма нашего корреспондента в том порядке, в каком они были нами получены. Любая попытка придать им стройность единого целого только убила бы тот страстный тон, ту дикую подчас неукротимость, щедрую и яркую живописность, которые пронизывают все эти письма насквозь.

Мадфог, понедельник, семь часов вечера

Мы все здесь в большом волнении. Только и говорят что о предстоящем съезде Ассоциации. В дверях гостиниц толпятся официанты и коридорные, ожидая появления обещанных гостей; многочисленные билетики, приклеенные облатками на окнах частных домов и оповещающие о том, что здесь можно остановиться на ночлег, придают улицам очень оживленный и праздничный вид, поскольку облатки эти — самых различных цветов, а однообразие печатных объявлений скрашивают почерки всевозможного характера и стиля. Доверительно сообщают, что профессора Снор, Доуз и Уизи заказали номер на три постели с гостиной в «Поросенке и Огниве». Я передаю вам этот слух, как он дошел до меня; но не могу пока еще поручиться за его достоверность. Как только я буду располагать какими-нибудь положительными сведениями об этом интересном предмете, вы, конечно, получите соответствующее сообщение.

Половина восьмого

Я только что возвратился после личного свидания с хозяином «Поросенка и Огнива». Он сообщает доверительно, что профессора Снор, Доуз и Уизи, весьма воз-

можно, остановятся в его гостинице, но опровергает сообщения о том, что номер уже заказан; это заявление подтверждает и горничная — девушка бесхитростная и привлекательной наружности. А номерной считает вообще невероятным, чтобы профессора Снор, Доуз и Уизи здесь остановились; однако у меня есть основания полагать, что этот человек подкуплен хозяином «Настоящего Поросенка», конкурентом «Поросенка и Огнива». Ввиду такой противоречивости полученных мною сведений трудно установить истину, но как только факт будет проверен, вы, разумеется, будете поставлены о том в известность. Всеобщее возбуждение продолжается. Около получаса тому назад из окна кондитерской на углу Главной улицы выпал мальчик, что вызвало большой переполох. Все склонны рассматривать это как несчастный случай. Дай бог, чтобы это было так!

Вторник, в полдень

Сегодня рано утром колокола всех церквей пробили семь; при нынешнем возбужденном состоянии города это произвело на всех необычайное впечатление. Когда я сидел за первым завтраком, лошадь темно-серой масти, с белым пятном над веком правого глаза, промчала желтого цвета двуколку по направлению к конюшням «Настоящего Поросенка»; по распространенному мнению, сидевший в двуколке джентльмен прибыл сюда, чтобы присутствовать на съезде Ассоциации, и судя по тому, что мне удалось услышать, я считаю это в высшей степени вероятным, хотя ничего окончательного об этом джентльмене еще не известно. Вы легко поймете, с каким волнением все ждут сегодня четырехчасового дилижанса.

Несмотря на возбужденное состояние черни, никаких бесчинств пока не было благодаря превосходной дисциплине и выдержке полиции, которой нигде не видно. Насупротив моего окна играет шарманка, и какие-то люди, кучками расхаживая по улицам, предлагают для продажи рыбу и овощи. За этими исключениями все спокойно, и, я надеюсь, так оно и останется.

Теперь уже точно установлено, что профессора Снор, Доуз и Уизи *не* остановятся в «Поросенке и Огниве» и что они в самом деле заказали комнаты в «Настоящем Поросенке». Это сообщение *вашего собственного корреспондента;* и я предоставляю вам и вашим читателям сделать самим из этого все выводы. Как случилось, что не кто-нибудь, а именно профессор Уизи предпочел «Настоящего Поросенка», не так-то легко уразуметь. Уж ему бы следовало быть выше таких мелочей. Кое-кто здесь открыто говорит о предательстве и очевидном вероломстве со стороны профессоров Снора и Доуза; другие же склонны снять с них всякую вину за эту сделку и дают понять, что вся вина лежит единственно на профессоре Уизи. Признаюсь, что я склоняюсь к этому последнему мнению; и хотя мне очень больно говорить неодобрительно или даже осудительно о человеке такой из ряда вон выходящей гениальности и с такими заслугами перед наукой, все же я считаю своим долгом сказать, что если подтвердятся мои подозрения и оправдаются дошедшие до меня кой-какие слухи,— то я поистине не знаю, что и думать.

Мистер Слэг, широко известный своими исследованиями в области статистики, прибыл сюда сегодня четырехчасовым дилижансом. У него лицо темно-багрового цвета, и есть у него привычка непрерывно вздыхать. Выглядит он исключительно хорошо, его здоровье и расположение духа, по-видимому, не оставляют желать лучшего. Тем же дилижансом прибыл и мистер Вуденсконс. Этот выдающийся джентльмен крепко спал, когда они приехали, и, как мне сообщил кондуктор, проспал всю дорогу. Совершенно ясно, что он готовился к предстоящим трудам; какие гигантские видения проносятся, вероятно, в мозгу такого человека, когда тело его пребывает в оцепенении!

Наплыв посетителей усиливается с каждой минутой. Мне говорили (не знаю, насколько это верно), что в течение последнего получаса к «Настоящему Поросенку» подкатили две кареты, а не далее как пять минут тому назад я сам видел тачку с тремя дорожными мешками и одним узлом, которая въехала во двор «Поросенка и Ог-

нива». Население все еще продолжает спокойно заниматься обычными своими делами; но есть некая дикость в глазах, и есть новая твердость в мускулах лица, и все это ясно говорит внимательному наблюдателю, что напряжение ожидания достигло высшей точки. Боюсь, что, если только не будет сегодня еще каких-нибудь уже совершенно исключительных приездов, это брожение в народе может повлечь за собой последствия, которые будут прискорбны для каждого здравого и чувствительного человека.

Шесть часов двадцать минут

Я только что узнал, что мальчик, который вчера вечером выпал из окна кондитерской, скончался от испуга. С него неожиданно потребовали три шиллинга шесть пенсов в виде возмещения за причиненный им ущерб, а здоровье у него, видно, было недостаточно крепкое, чтобы вынести такой удар. Дознание, как говорят, будет произведено завтра.

Без четверти восемь

Только что подъехали к двери гостиницы профессора Мэфф и Ного; и сразу же изволили заказать себе обед. Мы все совершенно восхищены любезностью их обхождения и той легкостью, с какой они приспособляются к правилам и порядкам обыденной жизни. Сейчас же по прибытии они вызвали старшего лакея и попросили его, частным образом, купить для них живую собаку — самую дешевую, какая только попадется,— и доставить ее после обеда к ним в номер, вместе с доской для теста, ножом и вилкой и чистой тарелкой. Предполагают, что сегодня же вечером будут поставлены некоторые опыты на этой собаке; если просочатся какие-нибудь подробности, я сообщу срочной почтой.

Половина девятого

Животное доставлено. Это мопс с довольно умной физиономией, в хорошем состоянии здоровья, и с очень короткими лапами. Его привязали к крюку для шторы в темной комнате, и он воет ужасно.

Без десяти девять

Они только что потребовали к себе пса. По инстинкту, который может показаться почти разумным, догадливое животное схватило лакея за икру ноги, когда он подошел, чтобы взять его, и оказало отчаянное, хотя и безрезультатное сопротивление. Я не мог получить доступ в комнату, занимаемую учеными джентльменами; но судя по звукам, которые достигали моих ушей, когда я вот только что стоял на площадке за дверью, я готов утверждать, что пес укрылся под каким-то предметом обстановки и заставил профессоров перейти к осаде. Это предположение подтверждается и свидетельством конюха, который подглядывал в замочную скважину и уверяет меня, что он явственно видел профессора Ного на коленях, протягивающим псу пузырек с синильной кислотой, каковую кислоту животное, спрятавшееся под креслом, упорно не желало вдыхать. Вы не можете себе представить, насколько мы здесь встревожены: как бы интересы науки не оказались принесенными в жертву предрассудкам грубой твари, не обладающей достаточной силой разумения, чтобы предвидеть неизмеримые блага, которые могли бы проистечь для всего рода человеческого из такой ничтожной уступки с ее стороны!

Девять часов

Хвост и уши пса посланы вниз для промывки; из этого обстоятельства мы заключаем, что животное уже больше не существует. Его передние лапы сданы номерному для причесывания, что еще более подкрепляет наше предположение.

Половина одиннадцатого

Я так потрясен тем, что произошло в течение последних полутора часов, что почти не в силах подробно и последовательно описать быструю смену событий, совер-

шенно ошеломивших всех, кто о них осведомлен. Оказывается, что мопс, о котором шла речь в моей последней корреспонденции, был взят хитростью — по сути, украден — кем-то из людей, причастных к ведомству конюшни, у одной незамужней леди, проживающей в этом городе. Обнаружив утрату своего любимца, эта леди, совершенно обезумев от горя, выскочила в беспамятстве на улицу и стала взывать ко всем прохожим, требуя в самых душераздирающих и трогательных выражениях, чтобы ей вернули ее Огастеса,— так она назвала покойного мопса в память о прежнем своем возлюбленном, с которым у него было поразительное внешнее сходство, что еще более усиливает драматизм всего этого события. Сейчас я еще не могу сообщить вам, какие именно обстоятельства побудили осиротевшую леди направиться в ту гостиницу, которая видела предсмертные муки ее протеже. Я могу только удостоверить, что она прибыла сюда в тот самый момент, когда некоторые, уже отделенные от животного члены несли по коридору на маленьком блюде. Ее вопли доселе звучат в моих ушах! Должен с прискорбием сказать, что выразительные черты лица профессора Мэффа были сильно исцарапаны и разодраны руками оскорбленной леди и что профессор Ного не только был несколько раз жестоко укушен, но и лишился, по той же причине, нескольких прядей волос. Некоторым утешением для этих джентльменов может служить только то, что причиной всех этих неприятных происшествий была единственно пламенная их преданность высшим задачам науки; и да вознаградит их за это в достаточной мере сочувствие признательного отечества. Несчастная леди до сих пор находится в «Поросенке и Огниве», и, как сообщают, ее состояние все еще внушает опасения.

Едва ли нужно говорить, что эта непредвиденная катастрофа повергла нас, среди общего веселья, в уныние и скорбь; это было бы естественно в любом случае, в данном же случае особенно понятно ввиду симпатичных свойств усопшего животного, которое, по-видимому, пользовалось большим и заслуженным уважением у всех, кто знал его лично.

Полночь

Прежде чем запечатать этот пакет, пользуюсь случаем сообщить вам, что мальчик, выпавший давеча из окна кондитерской, не скончался, как все полагали, но жив и здоров, а поводом к возникновению этого слуха послужило, видимо, его таинственное исчезновение. Полчаса тому назад он был обнаружен в лавке другого кондитера, где была объявлена лотерея: разыгрывались подержанная меховая шапка и тамбурин; так как не сразу набралось достаточное число участников, мальчик терпеливо ждал, пока список будет заполнен. Это счастливое открытие возвратило нам, в известной мере, прежнее веселое и праздничное расположение духа. Принято решение незамедлительно собрать для мальчика некоторую сумму по подписке.

Все мы с нетерпением ожидаем — что принесет завтрашний день? Я дал строгие указания тотчас разбудить меня, если кто-нибудь приедет в течение ночи. Мне бы, конечно, и вовсе не следовало ложиться, но волнующие события этого дня исчерпали мои силы.

Все еще нет известий ни о профессоре Сноре, ни о Доузе, ни о Уизи. Это весьма странно.

Среда, после полудня

Теперь уже все позади; и в одном по крайней мере отношении я могу совершенно успокоить ваших читателей. Три профессора прибыли в десять минут третьего и вместо того, чтобы занять комнаты в «Настоящем Поросенке», как, по общему мнению, они непременно должны были поступить, проехали прямо к «Поросенку и Огниву», где окончательно сбросили маски, открыто объявив, что здесь они и намерены остаться. Профессор Уизи, возможно, сумеет как-нибудь примирить столь необычайное поведение со своими представлениями о честности и справедливости, но я бы посоветовал профессору Уизи не слишком все же полагаться на свою репутацию, впрочем вполне заслуженную. Вы, естественно, спросите, как мог такой человек, как профессор Снор, или, что еще более невероятно, такая личность, как профессор Доуз, дать

запутать себя в подобные дела. На этот счет ничего не слышно; у меня есть кой-какие собственные соображения, но до поры до времени я воздержусь от того, чтобы их высказывать.

Четыре часа

Город быстро наполняется; кто-то уже предлагал восемнадцать пенсов за ночлег и получил отказ. Несколько джентльменов вынуждены были провести ночь на пустырях и в подъездах домов, за что и предстали сегодня утром в полном составе перед мировым судьей и были приговорены к тюремному заключению на разные сроки за бродяжничество. Один из них, по моим данным,— высокоуважаемый медник, большой мастер-практик, который представил председателю Секции Д.— Механика — проект изготовления глиняных горшков с медными доньями и предохранительными клапанами, чрезвычайно, как говорят, интересный. Заключение этого джентльмена в тюрьму в высшей степени прискорбно, поскольку его отсутствие сделает невозможным какое-либо обсуждение этого проекта.

Объявления повсюду сняты, и для того чтобы получить ночлег, люди идут почти на любые условия. Я слышал уже о пятнадцати шиллингах в неделю за две комнаты, без угля и услуг, но мне трудно в это поверить. Возбуждение в городе растет. Сегодня утром мне сообщили, что гражданские власти, опасаясь каких-нибудь проявлений общественного недовольства, приказали одному сержанту-вербовщику и двум капралам быть под ружьем; а чтобы не раздражать попусту народ своим присутствием, они получили указание занять до рассвета позиции у заставы, приблизительно за четверть мили от города. Невозможно переоценить твердость и своевременность этих мероприятий.

Мне только что донесли, что некая пожилая женщина, в нетрезвом состоянии, открыто объявила на улице о своем намерении «разделаться» с м-ром Слэгом. Причиной столь враждебного отношения к нему этой презренной особы явились, как полагают, некоторые статистические сводки, составленные этим джентльменом, относительно

потребления неочищенных спиртных напитков в Мадфоге. Добавляют также, что ее заявление вызвало бурное одобрение целой толпы разных личностей, собравшихся на месте происшествия, и что один человек посмел вслух применить к м-ру Слэгу оскорбительное слово «Дубина»! Мы все серьезно надеемся, что теперь, когда вмешательство властей стало уже необходимым, они не уклонятся от использования тех полномочий, которые дает им конституция нашей общей родины.

Половина одиннадцатого

Счастлив сообщить, что беспорядки полностью подавлены, а зачинщица взята под стражу. Прежде чем отправить ее в заключение, на нее вылили ведро холодной воды, и она выражает теперь глубокое раскаяние и беспокойство. Мы с лихорадочным нетерпением ждем завтрашнего дня; но сейчас, когда остается всего несколько часов до открытия съезда Ассоциации и когда мы, наконец, можем с гордостью сознавать, что среди нас уже присутствуют ее самые прославленные члены, я верю и надеюсь, что все пройдет благополучно. Подробный отчет о завтрашних заседаниях Ассоциации я пошлю вам с ночным дилижансом.

Одиннадцать часов

Распечатываю письмо, чтобы сообщить, что с тех пор, как я его запечатал, ничего решительно не случилось.

Четверг

Сегодня утром солнце взошло в обычное время. Я не заметил ничего особенного во внешнем облике этой славной планеты, кроме того, что, как мне казалось (это могло быть и обманчивой игрой моей разыгравшейся фантазии), она излучала более, чем когда-либо, ослепительный свет и озаряла город с такой силой, как еще ни разу на моей памяти. Это было тем более поразительно, что на небе не было ни тучки, а воздух был как-то особенно

прозрачен. В половине десятого собрался Генеральный комитет под председательством прошлогоднего председателя. Был оглашен отчет Совета; одно место отчета, в котором говорилось, что Совет вел переписку с тремя тысячами пятьюстами семьюдесятью одним человеком (из коих каждый сам оплатил почтовые расходы) по семи тысячам двести сорока трем вопросам, было встречено взрывом восторга, который долго не удавалось заглушить. После того как были образованы различные комитеты и секции и было покончено со всеми другими формальностями, точно в одиннадцать съезд начал свою великую работу. Я имел счастье занимать в это время весьма удобное место в

СЕКЦИИ А. — ЗООЛОГИЯ И БОТАНИКА.

«Поросенок и Огниво». Большая зала.

Председатель — профессор Снор. Вице-председатели — профессора Доуз и Уизи.

Общий вид собрания в этот момент производил особенно сильное впечатление. Солнце хлынуло через окна и озарило комнату яркими лучами, так что стали явственно видны благородные лица профессоров и ученых мужей, которые, кто с лысой, кто с рыжей, кто с каштановой, кто с седой, кто с черной, кто с пустой головой представляли собою *coup d'oeil* [1], коего никто из видевших его своими глазами не забудет. Перед каждым из джентльменов — бумага и чернильница; а вокруг всей залы, на скамьях, уходящих уступами вверх так далеко, как позволяют размеры помещения,— блестящее собрание тех милых и изящных женщин, которые и создали Мадфогу, по справедливости, его славу, непревзойденную ни одним городом в мире. Контраст между этими очаровательными лицами и темными сюртуками и панталонами ученых джентльменов таил в себе нечто такое, что я не перестану об этом вспоминать, пока вообще не потеряю память.

Как только улеглось небольшое замешательство, вызванное крушением помоста в большей его части, пред-

---

[1] Зрелище *(франц.)*.

седатель предложил одному из секретарей прочитать сообщение, озаглавленное: «Некоторые замечания о трудолюбивых блохах, а также соображения о необходимости учреждения начальных школ в этом многочисленном классе общества; о направлении их трудолюбия на полезные и практические цели; и об использовании дополнительных средств, которые будут получены от этого, на обеспечение им безбедного и почетного существования в старости».

Автор сообщил, что, заинтересовавшись уже давно моральным и социальным статусом этих любопытных животных, он почувствовал необходимость посетить выставку на Риджент-стрит, в Лондоне, именуемую в просторечии «Трудолюбивые блохи». Он увидел там много блох, занятых, правда, самыми различными делами, но занятых, как он обязан добавить, таким образом, что ни один здравомыслящий человек не может не взирать на это с горечью и душевным сокрушением. Одна блоха, низведенная до положения рабочей скотины, возила миниатюрный кабриолетик, в котором находилось совсем уже крохотное изображение его светлости, герцога Веллингтона; тогда как другая сгибалась под бременем золотой статуэтки, изображавшей его великого противника, Наполеона Бонапарта. Некоторые, прошедшие специальную подготовку в качестве клоунов и балетных танцовщиков, исполняли фигуры какого-то танца (он должен, к сожалению, отметить, что среди них было несколько особ женского пола); другие, в маленькой картонной коробке, тренировались в качестве пешеходов — это был уже спорт в чистом виде,— а две блохи — подумать только! — хладнокровно предавались варварской забаве, которая называется дуэлью и от которой человечество уже отшатнулось с ужасом и омерзением. Он предложил поэтому принять незамедлительно меры к тому, чтобы труд этих блох стал составной частью производительных сил нашей страны, что может быть легко достигнуто путем учреждения для блох начальных школ и мастерских, в которых должна проводиться система воспитания, основанная на здоровых принципах благонравия и добродетели, и внедряться правила высокой нравственности. Он предложил. чтобы каждая блоха, которая вздумает, ради де-

нег, выступать на поприще музыки, или танцев, или еще каких-нибудь других театральных развлечений любого рода, без надлежащего разрешения, рассматривалась как бродяга и чтобы с ней поступали соответственно; в этом отношении он только приравнивает блох ко всему остальному человечеству. Он предлагал далее, чтобы труд блох был поставлен под надзор и управление государства, которое должно выделить из своих доходов особый фонд для обеспечения престарелых и неработоспособных блох, их вдов и сирот. В этих целях он рекомендовал учредить щедрые премии за три лучших проекта богадельни; из этого — поскольку архитектура у насекомых, как известно, достигла весьма высокого уровня развития — и мы сможем, вероятно, извлечь ценные уроки для усовершенствования наших столичных университетов, национальных картинных галерей и других общественных зданий.

Председатель пожелал узнать, как остроумный джентльмен предполагает установить связь с блохами, хотя бы на первом этапе, чтобы они могли полностью осознать те преимущества, которые они неизбежно извлекут от перемены образа жизни и перехода к честному труду. Он видит в этом единственное затруднение.

Автор отметил, что это затруднение легко преодолевается, а вернее, здесь и вообще нет никакого затруднения. Совершенно очевидно, каким путем надо будет следовать, если удастся убедить правительство ее величества принять этот план: надо будет привлечь к работе, на основе хорошего жалования, того джентльмена, о котором он уже упоминал как о руководителе выставки на Ридлжент-стрит в пору его посещения этой выставки. Этот джентльмен сможет сразу же установить связь с широкими массами блох и руководить ими при осуществлении того или иного плана всеобщего перевоспитания (который будет должным образом санкционирован парламентом), вплоть до того времени, когда наиболее способные из блох продвинутся настолько в своем развитии, что смогут стать наставниками для всех остальных.

Председатель и несколько членов секции высоко оценили только что прочитанный доклад и поздравили автора с весьма остроумным и полезным научным трудом. Было

постановлено рекомендовать Совету немедленно рассмотреть этот проект.

М-р Уигсби представил собранию кочан цветной капусты, несколько больший по размерам, чем зонт коляски, который был выведен им не каким-нибудь особым искусственным способом, а только путем применения в качестве удобрения сильно карбонированной содовой воды. Он объяснил, что если выскрести из него сердцевину, которая сама по себе составила бы новый и прекрасный питательный продукт для бедняков,— мы получим парашют, в принципе сходный с парашютом конструкции м-ра Гарнерина; держать его надо будет, конечно, кочерыжкой вниз. Он добавил, что охотно совершит спуск на этом парашюте с высоты не менее трех миль с четвертью; и более того, уже сделал такое предложение владельцам Воксхолла, которые любезнейшим образом пошли навстречу его желаниям и назначили для этого опыта день в самом начале будущего лета; они, однако, поставили условием, чтобы края кочана были предварительно надломлены в трех или четырех местах, дабы обеспечить таким образом безопасность спуска.

Председатель поздравил публику с grand gala[1], которое ей предстоит увидеть, и горячо похвалил владельцев упомянутого заведения за их любовь к науке и заботу о безопасности человеческой жизни, заметив, что и то и другое несомненно делает им честь.

Один из членов секции пожелал узнать, сколько тысяч фонарей усилят иллюминацию королевского парка Воксхолл вечером после спуска на парашюте.

М-р Уигсби ответил, что этот вопрос еще не решен окончательно; но, по его сведениям, предполагается сверх обычной иллюминации зажечь еще восемь с половиной миллионов дополнительных ламп, фонарей и плошек.

Член секции, задавший последний вопрос, заявил, что он вполне удовлетворен этим сообщением.

М-р Блэндерэм привел всю секцию в восхищение весьма интересным и ценным докладом «О последних минутах ученой свиньи», который произвел особенно сильное впечатление потому, что был основан на личных вос-

---

[1] Праздничное зрелище *(франц.)*.

поминаниях самого любимого из состоявших при ней служителей. В своем докладе автор недвусмысленно утверждал, что имя этого животного было никак не Тоби, а Соломон, и убедительно доказывал, что оно не могло иметь родственников среди других свиней той же ученой профессии, как заведомо лживо утверждали некоторые злонамеренные люди,— поскольку его отец, мать, братья и сестры в разные сроки пали жертвой мясника. Правда, одного из его дядей удалось, ценой больших усилий, проследить до хлева в Сомерс-Тауне; но так как он в то время тяжело болел корью, а вскоре после этого совсем исчез, есть все основания предполагать, что он был превращен в колбасу. Недуг ученой свиньи начался жестокой простудой, которая обострилась ввиду невоздержности в питании из корыта, а затем перебросилась на легкие и привела в конечном счете к полному разрушению всего организма. Докладчик привел также грустный рассказ, из которого следовало, что животное предчувствовало приближение конца. После того как оно своими номерами, которые никак не свидетельствовали об упадке сил и таланта, доставило живую радость многочисленному и фешенебельному обществу, оно устремило взгляд на нынешнего его биографа; повернувшись затем к часам, которые лежали на полу и по которым оно столько раз безошибочно сообщало публике верное время, оно на этот раз дважды спокойно обвело рылом циферблат. И ровно через двадцать четыре часа оно перестало существовать!

Профессор Уизи спросил, не выражало ли оно перед смертью звуками или как-нибудь иначе своей последней воли в отношении своего маленького личного имущества.

М-р Блэндерэм ответил, что, когда служитель, после представления, взял в руки колоду карт, оно многозначительно прохрюкало несколько раз и затем покивало головой, как делало всякий раз, когда выражало удовлетворение. По этим жестам он заключил, что оно предлагает ему оставить эти карты себе, и он так и поступил. Но в отношении часов оно не выразило никаких пожеланий, и поэтому тот же служитель заложил их у ростовщика.

Председатель пожелал узнать, встречался ли и беседовал ли кто-либо из членов секции с некоей свинолицей

дамой, которая, как сообщают, носила черную бархатную маску и принимала пищу из золотого корыта.

После некоторых колебаний один из членов ответил, что свинолицая дама — его теща и что председатель, как он надеется, не позволит себе нарушить священную неприкосновенность тайн личной жизни.

Председатель попросил извинения. Он полагал, что свинолицая дама есть не частное, а общественное лицо. Не согласится ли, все же, досточтимый член секции, имея в виду общие интересы развития науки, сообщить, имеет ли эта особа какое-либо отношение к ученой свинье?

Досточтимый член секции сказал все так же тихо, что, поскольку в этом вопросе содержится намек, что ученая свинья могла быть его сводной сестрой, он вынужден уклониться от ответа.

СЕКЦИЯ Б. – АНАТОМИЯ И МЕДИЦИНА.
«Поросенок и Огниво». Каретник.

Председатель — д-р Турелл. Вице-председатели — профессора Мэфф и Ного.

Д-р Кутанкумаген (из Москвы) представил секции доклад о случае из его собственной практики, который ярко иллюстрирует могущество медицины на примере проведенного им успешного лечения одной смертельной болезни. Он был приглашен к данному пациенту 1 апреля 1837 года. Болезнь протекала при симптомах, которые должны были вызвать особую тревогу у каждого медика. Больной был человек сложения плотного и крепкого, походку имел твердую и упругую, щеки — пухлые и румяные, голос — громкий, аппетит — превосходный, пульс — хорошего наполнения и четкий. Он имел обыкновение принимать пищу трижды per diem [1], а выпивать за сутки не менее одной бутылки вина и одного стакана спиртного, разбавленного водой. Он часто смеялся, и так заливчато, что страшно было слушать. В результате сильно действующих лекарств, строгой диеты и кровопускания эти симптомы уже через три дня заметно ослабли. Строгое

---

[1] В день *(лат.)*.

соблюдение того же курса лечения в течение одной только недели, при малых дозах кашки на воде, жидком бульоне и ячменном отваре, привело, наконец, к полному их исчезновению. Через месяц он уже поправился настолько, что его можно было, при помощи двух сиделок, выносить на улицу, и он мог дышать свежим воздухом в закрытой карете, обложенный мягкими подушками. В настоящее время он окреп настолько, что способен уже ходить при некоторой поддержке костылей и мальчика поводыря. Секция, вероятно, рада будет узнать, что он теперь мало ест, мало пьет, мало спит и уже никогда не смеется по какому бы то ни было поводу.

Д-р У. Р. Фи, поздравив досточтимого члена секции с таким блестящим завершением лечебного процесса, пожелал узнать, продолжается ли еще у больного кровотечение.

Д-р Кутанкумаген ответил утвердительно.

Д-р У. Р. Фи. Было ли, по вашим наблюдениям, кровотечение обильным в течение всей болезни?

Д-р Кутанкумаген. О боже, конечно; очень обильным.

Д-р Нишоутс высказал предположение, что, если бы больной не был подвергнут кровопусканию сразу же и с такой твердостью, столь блестящего излечения не удалось бы добиться.

Д-р Кутанкумаген согласился, что, конечно, не удалось бы.

М-р Найт Белл (Королевское Хирургическое общество) продемонстрировал восковую модель внутренностей джентльмена, который в раннем возрасте по рассеянности проглотил дверной ключ. Любопытно, что один из медиков, которые присутствовали на вскрытии, человек, известный своей распущенностью, нашел возможность исчезнуть незамеченным из комнаты с той частью желудочной оболочки, на которой остался отчетливый отпечаток формы ключа, с каковым отпечатком он и поспешил к слесарю, человеку тоже сомнительного поведения, и этот последний изготовил ключ по предъявленному ему образцу. При помощи этого ключа медик проник в дом покойного джентльмена и совершил там крупную кражу со взломом, за что и был впоследствии судим и казнен.

Председатель пожелал узнать, что сталось за столько лет с *настоящим* ключом. М-р Найт Белл ответил, что тот джентльмен был всегда очень привержен к пуншу, и кислота, как полагают, постепенно растворила ключ.

Д-р Нишоутс и некоторые другие члены секции высказали мнение, что ключ должен был сильно холодить и отяжелять желудок покойного джентльмена.

Д-р Найт Белл сказал, что так оно, вероятно, и было вначале. Стоит, пожалуй, отметить, продолжал он, что в течение нескольких лет джентльмена мучили кошмары, под воздействием которых он всегда воображал себя дверью винного погреба.

Профессор Мэфф привел весьма необычное и убедительное доказательство поразительной эффективности системы бесконечно малых доз. Эта система, как должно быть хорошо известно членам секции, основана на теории, согласно которой самое ничтожное количество любого лекарства, введенное должным образом в человеческий организм, дает в точности такой же результат, как и самая большая доза, введенная обычным способом. Так, одна сороковая грана каломеля равноценна, как полагают, пятиграновой пилюле каломеля, и то же, в соответствующей пропорции, относится ко всем другим лекарствам. Он проверил это, поставив весьма оригинальный опыт на трактирщике, которого привезли в больницу с разбитой головой и который был излечен на основе системы бесконечно малых доз в невероятно короткий — трехмесячный — срок. Этот человек был горький пьяница. Он (профессор Мэфф) развел три капли рома в ведре воды и велел больному выпить все без остатка. Каков же был результат? Прежде чем он выпил одну кварту, он был уже мертвецки пьян; а при помощи того, что оставалось после этого в ведре, еще пять человек были приведены в состояние полного опьянения.

Председатель пожелал узнать, не могла ли излечить этого человека бесконечно малая доза содовой воды? Профессор Мэфф ответил, что двадцать пятая часть чайной ложки, введенная должным образом в каждого из пациентов, протрезвила бы такового немедленно. Председатель отметил, что это весьма важное открытие, и выра-

зил надежду, что лорд-мэр и совет олдерменов немедленно выскажутся в пользу его применения.

Один из членов секции просил сообщить, нельзя ли вводить, скажем, двадцатую часть грана хлеба и сыра во взрослых бедняков и сороковую часть в их детей, с тем же удовлетворительным результатом, какой дают отпускаемые им ныне порции.

Профессор Мэфф ручался своей репутацией ученого, что такого количества пищи вполне достаточно для поддержания жизни в человеке — в работных домах; при добавлении же одной пятнадцатой грана пудинга дважды в неделю это было бы уже усиленное питание.

Профессор Ного предложил вниманию секции весьма необычный случай животного магнетизма. Некий сторож, на которого экспериментатор только посмотрел с противоположной стороны широкой улицы, сейчас же впал в состояние сонливости и оцепенения. Когда за ним последовали в его будку и слегка потерли ему ладони, он погрузился в здоровый сон, в котором пребывал без перерыва десять часов.

СЕКЦИЯ В. — СТАТИСТИКА.

«Настоящий Поросенок». Сеновал.

Председатель — м-р Вуденсконс. Вице-председатели — м-р Ледбрэйн и м-р Тимберед.

М-р Слэг доложил секции результаты некоторых своих сложных и трудных вычислений относительно состояния детского образования среди торгового и служилого населения Лондона. Он установил, что в радиусе трех миль от «Слона и Замка» наиболее распространены среди детей следующие книги (с указанием количества экземпляров):

Джек — победитель великанов	7 943
то же и Бобовый стебель	8 621
то же и Одиннадцать братьев	2 845
то же и Джилл	1 998
Всего	21 407

Он установил, что соотношение Робинзонов Крузо к Филиппам Кворлзам равно четырем с половиной к

одному; преобладание Валентинов и Орсонов над Бабушками-два-башмачка выражается в пропорции три с восьмой для первых к половине для вторых; Семь поборников и Саймоны-простаки дают такое же соотношение. Всюду царит удручающее невежество. Один ребенок, когда его спросили, предпочитает ли он быть Святым Георгием Победоносцем Английским или почтенным торговцем сальными свечами, сейчас же ответил: «Бедоносцем английским». Другой, восьмилетний мальчик, как оказалось, глубоко верил в существование драконов и прямо заявил, что он намерен, когда вырастет, броситься с мечом в руках на освобождение плененных принцесс и сокрушение всех великанов до последнего. Ни один ребенок из опрошенных никогда не слышал о Мунго Парке *,— некоторые спрашивали, не родственник ли он черному человеку, метельщику улиц; а другие — не имеет ли он отношения к Риджент-парку. У них не было ни малейшего представления об элементарнейших основах математики, и они считали Синдбада-Морехода самым предприимчивым путешественником, какого когда-либо видел свет.

Один из членов секции, строго осудив все названные произведения, высказал мнение, что Джека и Джилл можно было бы, пожалуй, изъять из общего списка вредных книг, поскольку герой и героиня в самом начале повести изображаются поднимающимися на горку, чтобы принести воды ведерко, что есть занятие нелегкое и полезное,— если, например, предположить, что в этой семье шла в тот день стирка белья.

М-р Слэг высказал, однако, опасение, что моральный эффект этого отрывка сводится на нет другим в последующей части поэмы, там, где есть очень прозрачный намек на то, как наказала героиню ее мать

За то, что над Джеком смеялась...—

к тому же и все произведение в целом имеет тот общий порок, что *оно сплошь — вымысел.*

Председатель похвалил досточтимого члена секции за то превосходное разграничение понятий, которое он только что наметил. Некоторые другие члены также остановились на том, что в высшей степени важно, а теперь уже и просто необходимо питать детские умы только фак-

тами и цифрами; ведь именно такой метод воспитания,— как эффектно отметил Председатель,— позволил им (членам секции) стать такими, как они есть.

М-р Слэг привел затем кое-какие любопытные подсчеты относительно тачек с мясом для лондонских собак. Он установил, что общее число ручных тележек и тачек, на которых развозят провизию для кошек и собак столицы, равно одной тысяче семистам сорока трем. Среднее число деревянных спиц для скрепления кусков туши, которые доставляются ежедневно вместе с мясом каждой тележкой или тачкой, составляет тридцать шесть. Помножив число пропадающих таким образом спиц на число тачек, получаем шестьдесят две тысячи семьсот сорок восемь спиц в день. Если отбросить для ровного счета из этих шестидесяти двух тысяч семисот сорока восьми две тысячи семьсот сорок восемь и принять, что столько спиц пожираются наиболее алчными из животных вместе с мясом, все же получается, что шестьдесят тысяч спиц ежедневно, или — чудовищная цифра — двадцать один миллион девятьсот тысяч спиц ежегодно, пропадают без пользы в конурах и помойках Лондона; а если собрать и сложить их в склады, мы имели бы через десять лет такую массу дерева, которой более чем достало бы на постройку первоклассного военного корабля для флота ее величества, каковой корабль, под названием «Королевская спица», стал бы грозой для всех врагов нашего острова.

М-р К. Ледбрэйн прочитал весьма замечательное сообщение, из которого явствовало, что общее число ног, принадлежащих рабочему населению одного большого города в Йоркшире, составляет, в круглых цифрах, сорок тысяч, тогда как общее число ножек стульев и табуретов в их домах равно только тридцати тысячам, так что, если даже положить, с самой щедрой накидкой, в среднем по три ножки на каждый стул или табурет, получается всего десять тысяч сидений. Из этих вычислений,— не принимая в расчет деревянных и пробковых ног и допуская по две ноги на каждого человека,— следует, что десять тысяч человек (половина всего населения) лишены возможности вообще дать покой своим ногам или проводят весь свой досуг, сидя на ящиках.

СЕКЦИЯ Г. — МЕХАНИКА.
«Настоящий Поросенок». Каретник.

Председатель — м-р Картер. Вице-председатели — м-р Трэк и м-р Уэгхорн.

Профессор Куирспек продемонстрировал изящную модель портативной железной дороги, которая вместе с аккуратным зеленым футляром свободно умещается в жилетном кармане. Привязав этот изящный прибор к сапогам, каждый банковский или конторский служащий может перенестись от места своего жительства к месту своей работы, легко развивая скорость до шестидесяти пяти миль в час, что для джентльменов, ведущих сидячий образ жизни, представляет неисчислимые преимущества.

Председатель пожелал узнать, необходимо ли, чтобы поверхность, по которой проносится данный джентльмен, была ровной.

Профессор Куирспек объяснил, что джентльмены, служащие в Сити, будут передвигаться гуськом, прикованные друг к другу, во избежание столкновений и других неприятностей. Такие «поезда» будут отправляться каждое утро, к примеру, в восемь, девять и десять часов от Кемден-Тауна, Излингтона, Кемберуэла, Хэкни и разных других мест, где большей частью проживают джентльмены Сити. Требуется ровная поверхность, но он предусмотрел это затруднение и предлагает, чтобы наилучший в каждом случае маршрут был проложен по сточным трубам, которые пролегают под улицами столицы; будучи хорошо освещены рожками, отведенными от газовых труб, которые расположены непосредственно над сточными, они образовали бы приятный и удобный туннель, особенно в зимнюю пору, когда можно было бы покончить с ныне распространенной, но обременительной модой — носить зонтики. В ответ на другой вопрос д-р Куирспек признал, что он еще не нашел замены этим туннелям в той их функции, которую они выполняют в настоящее время, однако он надеется, что никому не будет позволено сорвать такое великое начинание при помощи тех или иных надуманных возражений.

М-р Джобба представил прибор оригинальной конструкции для быстрейшего повышения курса акций

железнодорожных компаний. Прибор имеет форму изящного позолоченного барометра, прямо-таки ослепительного на вид; действует он при помощи веревочек, вроде тех, которыми орудует фокусник в пантомиме; в данном случае за эти веревочки дергают директоры той компании, которой принадлежит прибор. Ртуть помещена так остроумно, что, когда директоры держат акции в своих карманах, на стекле появляются цифры, обозначающие очень малые издержки и очень большие доходы; но как только директоры сбывают эти бумаги, сумма необходимых издержек внезапно возрастает до огромных размеров, тогда как сумма верных прибылей понижается в той же пропорции. М-р Джобба сообщил, что за последние несколько месяцев на его прибор был большой спрос, и он не знает случая, когда бы этот прибор соврал.

Один из членов секции высказал мнение, что прибор сделан в высшей степени аккуратно и красиво. Он поинтересовался, однако, не подвержен ли он тем или иным расстройствам? М-р Джобба сказал, что весь прибор в целом может, конечно, быть взорван, но больше ничего дурного про него сказать нельзя.

Профессор Ного прибыл сюда из анатомической секции, чтобы продемонстрировать модель безопасной пожарной лестницы, которая может быть установлена в любое время, менее чем в полчаса, и при помощи которой даже самый юный или самый немощный человек (если только он устоит в борьбе с огнем до момента пуска этого прибора) может быть спасен, при условии, что он удачно пробалансирует несколько минут на подоконнике спальни и сможет попасть на эту лестницу, не свалившись на мостовую. Профессор указал, что общее количество мальчиков, которые были спасены в дневное время при помощи этой машины, из домов, не охваченных пожаром, почти невероятно. Уже много месяцев в Лондоне не было такого пожара, куда лестница не была бы доставлена на другой же день и не вступила бы немедленно в действие при огромном стечении народа.

Председатель спросил, не возникает ли некоторое затруднение, когда надо решить, где верх и где низ этого прибора, в случаях, не терпящих отлагательства.

Профессор Ного пояснил, что, конечно, нельзя требо-

вать, чтобы прибор действовал так же хорошо тогда, когда есть пожар, как тогда, когда нет пожара; но в первом случае, по его мнению, он будет в равной мере полезен, независимо от того, будет ли верх его наверху или внизу.

На этом наш корреспондент заканчивает свой в высшей степени талантливый и правдивый отчет, который навсегда прославит его за его научные достижения, а нас за нашу смелую предприимчивость. Нет нужды давать здесь общую оценку тех проблем, которые подверглись обсуждению; самих методов их рассмотрения; тех великих истин, которые они перед нами раскрыли. Они теперь достояние всего мира, и мы предоставляем всем читать, оценивать и извлекать пользу.

Подвергся обсуждению и вопрос о месте, где будет происходить съезд Ассоциации в следующем году; в итоге было принято решение, которое учитывает, после надлежащей проверки, качество вин в данном городе, разнообразие товаров на его рынках, гостеприимство жителей и удобства гостиниц. Мы надеемся, что наш корреспондент будет присутствовать и на следующем съезде, а мы снова будем иметь возможность представить его сообщения всему миру. А пока, уступая пожеланиям многочисленных читателей, мы согласились пустить этот номер «Смеси» как в розничную, так и в оптовую продажу без какой-либо накидки на обычную цену.

Остается только добавить, что комитеты распущены, что в Мадфоге наступило полное успокоение, что профессора и члены Ассоциации после балов, soirées [1], и ужинов, и горячих взаимных поздравлений разъехались по домам до следующего года — и вслед им полетели наши самые добрые пожелания.

Подписано: *Боз.*

---

[1] Приемов *(франц.)*.

ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ О ВТОРОМ СЪЕЗДЕ МАДФОГСКОЙ АССОЦИАЦИИ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВСЕГО-НА-СВЕТЕ

В октябре минувшего года мы снискали себе бессмертную славу тем, что увековечили, ценой огромных затрат и таких усилий, каких еще не знала история периодической печати, труды Мадфогской Ассоциации для Усовершенствования Всего-на-свете, которая провела в том месяце свой первый полугодичный съезд, на удивление и радость всей Империи. В конце этого из ряда вон выходящего и весьма замечательного Отчета мы объявили, что, когда состоится Второй съезд этого Общества, мы будем снова на посту, снова приложим гигантские и вдохновенные усилия и снова заставим весь мир говорить о точности, достоверности, неизмеримой ценности и глубокой значительности нашего Отчета. Верные нашему обещанию, мы направили пароходом в Олдкасл (где 20-го с. м. состоялся Второй съезд Общества) того же сверхъестественно-одаренного джентльмена, который создал первый Отчет и, будучи наделен от природы выдающимися талантами, а к тому же располагая группой помощников, которые едва ли ему уступают в чем-либо, прислал нам серию писем, по точности описаний, по силе языка, по страстности мысли, по выразительности стиля и значительности содержания не имеющих себе равных в эпистолярной

литературе всех времен и стран. Мы приводим корреспонденции этого джентльмена полностью и в том порядке, в каком они прибывали в нашу редакцию.

Кают-компания парохода, четверг, половина девятого вечера

Когда я уезжал сегодня вечером с Нью-Берлингтон-стрит в наемном кабриолете номер четыре тысячи двести восемьдесят пять, я был во власти ощущений столь же непривычных, сколь и удручающих. Значительность той миссии, которую я на себя взял; сознание, что я покидаю Лондон и, что еще более странно, еду куда-то в другое место; чувство одиночества и непрерывная тряска привели мои мысли в полное расстройство и даже заставили меня забыть на какое-то время о моей дорожной сумке и шляпной картонке. Я буду вечно благодарен кучеру блэкуоллского омнибуса, который, въехав дышлом в дверцу моего кабриолета, разогнал обступившие меня смутные и не поддающиеся описанию видения. Но так уж созданы мы, люди, несовершенное творение природы!

Счастлив отметить, что я первый ступил на борт парохода и, таким образом, буду иметь возможность давать вам отчет о всем случившемся по мере того, как оно будет передо мной совершаться. Густой дым валит из трубы парохода, как и из уст членов команды; а капитан, как мне сообщают, сильно пьян и лежит в своем маленьком домике на палубе, несколько напоминающем будку на заставе. Из слов окружающих я заключаю, что он приказал развести пары.

Вы легко догадаетесь, с каким чувством я узнал только что, что моя койка в той же каюте, где находятся и койки, заказанные профессором Вуденсконсом, м-ром Слэгом и профессором Граймом. Профессор Вуденсконс занимает койку надо мной, а м-р Слэг и профессор Грайм — две койки напротив. Их багаж уже прибыл. На постели м-ра Слэга лежит какая-то длинная жестяная труба, около трех дюймов в диаметре, аккуратно закрытая с обоих концов. Что в ней может быть? Конечно, какой-нибудь мощный прибор новой конструкции.

Десять минут десятого

Никто еще не прибыл, и ничто новое еще не встретилось мне, кроме нескольких говяжьих и бараньих туш, из чего я заключаю, что на завтра готовится славный простой обед. Снизу доносится какой-то странный запах, который по началу меня немного обеспокоил; но поскольку стюард говорит, что там всегда такой запах и он никогда не проходит, я уже опять спокоен. Я узнал от него же, что различные секции будут размещены в гостиницах «Черный слуга и Колики» и «Мозоль и Выдержка». Если это сообщение верно (а я не имею оснований в том сомневаться), ваши читатели сделают из этого те выводы, какие им подскажут их различные взгляды и убеждения.

Я записываю здесь эти наблюдения по мере того, как они у меня возникают, или по мере того, как я узнаю те или иные факты — для того, чтобы мои первые впечатления не потеряли ничего от своей изначальной живости. Я буду отправлять их вам небольшими пакетами, как только будет представляться к тому возможность.

Половина десятого

На пристани обозначился какой-то темный предмет. Думаю, что это пассажирская карета.

Без четверти десять

Нет, ошибся.

Половина одиннадцатого

Каждую минуту вливаются новые пассажиры. Четыре переполненных омнибуса только что прибыли на пристань, все в движении. Очень шумно; суета, толкотня. В каютах накрывают на стол, и стюард расставляет на столах, по самой середине, на равном расстоянии одну от другой, голубые тарелки с ломтями сыра. Много таких ломтей он роняет на пол, но уже, видимо, привыкши к этому, очень

ловко поднимает их с пола и, вытерев рукавом, бросает обратно в тарелку. Это молодой человек чрезвычайно приятной наружности, то ли грязный, то ли мулат, но думаю, что — первое.

Один довольно примечательный старый джентльмен, который приехал на пристань в омнибусе, только что разругался с носильщиками, и вот он, шатаясь, идет к судну с большим чемоданом в руках. Верю и надеюсь, что он дойдет благополучно, но сходни, по которым он должен пройти, узкие и скользкие. Что это, всплеск? Боже милостивый!

Я только что вернулся с палубы. Чемодан стоит у самого края пристани, а старого джентльмена нигде не видно. Сторож не может сказать с уверенностью, свалился он в воду или нет, но обещает, что завтра же, первым делом, поищет его багром. Да увенчаются успехом его гуманные усилия!

Только что прибыл профессор Ного в ночном колпаке под шляпой. Он заказал стакан грога с сухим бисквитом и таз, а затем сразу лег в постель. Что бы это могло значить?

Три остальных ученых джентльмена, о которых я упоминал выше, уже на борту, и уже все опробовали свои койки, за исключением профессора Вуденсконса,— ему досталась одна из верхних, и он никак не может туда взобраться. А м-р Слэг, который лежит на другой верхней, не может оттуда слезть, и слуга подаст ему ужин туда, наверх. Я имел честь представиться этим джентльменам, и мы дружески уговорились, в каком порядке мы будем ложиться спать; об этом необходимо было условиться, потому что, хотя каюта и очень комфортабельна, на полу ее может поместиться одновременно только один джентльмен, да и то он должен снимать сапоги в коридоре.

Как я и предвидел, ломти сыра предназначались для ужина пассажиров, и в настоящее время они в процессе поглощения. Ваши читатели с удивлением узнают, что профессор Вуденсконс уже восемь лет воздерживается от сыра, хотя масло принимает в значительных количествах. Профессор Грайм, поскольку он потерял несколько зубов, не может, как я наблюдаю, есть корочки без того, чтобы

не размочить их предварительно в портере из своей собственной бутылки. Как интересны все эти личные особенности каждого из них!

Половина двенадцатого

Профессора Вуденсконс и Грайм, с добродушием, которое нас всех восхищает, решили разыграть бутылку подогретого портвейна. Возник небольшой спор о том, будет ли платить тот, кто выиграет при первом же броске монеты, или тот, кто будет иметь лучший результат по трем броскам. В конце концов был принят этот последний вариант. Мне очень хотелось бы, чтобы выиграли оба джентльмена; но так как это невозможно, признаюсь, что я лично (говорю от своего имени и нисколько не связываю этим выражением моих личных чувств ни вас, ни ваших читателей) мечтаю о победе профессора Вуденсконса. Я и поставил на этого джентльмена в размере восемнадцати пенсов.

Без двадцати минут двенадцать

Профессор Грайм по нечаянности выбросил свою полкрону через одно из окон каюты, и было решено, что вместо него будет метать стюард. Мазать можно на каждого и в любом размере, но желающих мазать не оказалось.

Только что профессор Вуденсконс загадал на «решку». Но так как монета засела в пазах между бимсами каюты, придется долго ждать, пока она оттуда свалится. Значительность и напряжение этой минуты вам невозможно и вообразить.

Двенадцать часов

Подогретый портвейн дымится на столе передо мной, а выиграл профессор Грайм. В таком розыгрыше все дело случая, но не могу не высказать своего мнения, что по всем основаниям, как общественного, так и частного характера, по своему интеллектуальному богатству и научным достижениям *должен* был выйти победителем профессор Вуденсконс. Ликование профессора Грайма по такому поводу, боюсь, несовместимо с истинным величием.

Четверть первого

Профессор Грайм продолжает ликовать и в неумеренных выражениях бахвалиться своей победой; он утверждает, что всегда выигрывает, что он знал заранее, что будет «орел», и делает много других замечаний подобного рода. Неужели этот джентльмен в такой мере утратил чувство приличия и соразмерности, что не видит и не сознает, насколько выше его профессор Вуденсконс? Уж не потерял ли профессор Грайм рассудок? Или он хочет, чтобы ему откровенно напомнили о его подлинном положении в обществе и подлинной ценности его достижений и способностей? Профессору Грайму очень бы следовало подумать об этом.

Час ночи

Пишу в постели. Маленькая каюта слабо освещена мигающей лампой, подвешенной к потолку; профессор Грайм лежит на противоположной койке на спине, с широко открытым ртом. Есть неописуемая торжественность в этой картине. Плеск воды, тяжелые шаги матросов над головой, чьи-то сердитые голоса на реке, лай собак на берегу, храп пассажиров и непрерывный скрип всех деревянных частей парохода — только эти звуки улавливает ухо. А за этими исключениями, всюду глубокая тишина.

Мое любопытство сильно возбуждено. М-р Слэг, который лежит над профессором Граймом, только что осторожно отдернул занавески у своей койки и, тревожно оглядевшись,— как бы для того, чтобы убедиться, что его спутники спят,— взял уже упоминавшуюся мной жестяную трубу и теперь очень внимательно ее рассматривает. Какое редкостное механическое устройство заключено в этом таинственном футляре? Это, конечно, для всех нас пока еще полная загадка.

Четверть второго

Поведение м-ра Слэга становится все более загадочным. Он отвинтил верхнюю крышку трубы и сейчас снова оглядывает своих спутников, очевидно для того, чтобы

убедиться, что никто за ним не следит. По всему видно, что он готовится поставить какой-то важный опыт. Молю небо, чтобы не опасный; но науку надо двигать вперед, и я готов даже к самому худшему.

Через пять минут

Он достал большие ножницы и вытащил из трубы свиток какого-то вещества, по внешнему виду не лишенного сходства с пергаментом. Вот-вот начнется опыт. Я должен до крайности напрягать зрение, чтобы не упустить ни одной подробности.

Без двадцати два

Я смог, наконец, убедиться, что жестяная труба содержит несколько ярдов широко известного пластыря, рекомендуемого — как я установил, разглядев при помощи моего лорнета наклейку,— в качестве предохранительного средства от морской болезни. М-р Слэг разрезал пластырь на маленькие куски и сейчас облепляет ими себя со всех сторон.

Три часа

Ровно четверть часа тому назад мы снялись с якоря, и машины вдруг заработали с таким страшным шумом, что профессор Вуденсконс (он поднялся на свою койку при помощи особого сооружения из чемоданов, воздвигнутого им по строго-геометрическим принципам) рухнул со своей полки головой вперед, а затем, решив, что мы тонем, вскочил на ноги и с той скоростью, которую рождает только неодолимый страх, побежал в женскую каюту, громко взывая о помощи. То, что там произошло, не поддается, как мне говорят, никакому описанию. На судне в это время покоилось на своих койках сто сорок семь женщин.

М-р Слэг отметил, как еще одно доказательство замечательной хитроумности паровой машины в ее применении к навигации, что в какой бы части судна ни находи-

лась койка пассажира, все механизмы непременно оказываются в точности у него под подушкой. Он намерен представить это свое изящное, хотя и скромное открытие Ассоциации.

Половина четвертого

Мы сейчас в штиле, хочу сказать — настолько в штиле, насколько может быть в штиле пароход, так как, по ученым наблюдениям профессора Вуденсконса (он только что проснулся), другая хитроумная особенность парохода заключается в том, что он всегда возит с собой маленький шторм. Вы вряд ли можете себе представить, какой несносной становится иногда судорожная пульсация судна. Заснуть теперь положительно трудная задача.

Пятница, шесть часов пополудни

Должен, к сожалению, сообщить, что пластырь м-ра Слэга оказался недействительным. Этот джентльмен жестоко страдает, но тем не менее налепил на себя еще несколько дополнительных кусков пластыря. Как трогательна эта преданность задачам науки и общего развития наших знаний при самых критических обстоятельствах!

Сегодня утром мы были в прекрасном расположении духа, и завтрак прошел на редкость весело. До полудня не было никаких неприятностей, за исключением того, что коричневый шелковый зонтик д-ра Фокси и его белая шляпа оказались втянутыми в машину, когда он объяснял группе женщин устройство парового котла. Подавать ко второму завтраку мясной суп, пожалуй, не стоило. Сразу же после завтрака мы потеряли из виду очень многих пассажиров.

Половина седьмого

Я снова в постели. Мне еще никогда не доводилось видеть ничего более душераздирающего, чем страдания м-ра Слэга.

Семь часов

Только что пришел посыльный за чистым носовым платком из чемодана профессора Вуденсконса, поскольку этот несчастный джентльмен совершенно неспособен уйти с палубы и все время умоляет выбросить его за борт. От этого же посыльного я узнал, что профессор Ного, хоть и находится в состоянии полного изнеможения, из последних сил продолжает поглощать сухие бисквиты и грог, в надежде, что это еще сможет его возвратить к жизни. Вот победа духа над материей!

Профессор Грайм лежит в постели и, судя по всему, чувствует себя вполне хорошо; но он упорно питается, и смотреть на него неприятно. Есть у него хоть капля сочувствия к страданиям ближних? Если есть, то по какому такому принципу он может теперь заказывать бараньи котлеты и притом еще смеяться?

«Черный слуга и Колики»,
Олдкасл, пятница, в полдень

Вы будете рады услышать, что я в конце концов благополучно сюда прибыл. Город переполнен сверх всякой меры, и все частные дома и гостиницы заняты savants [1] обоего пола. Небывалое сосредоточение интеллектуальной мощи, какое можно увидеть на любой улице, просто ошеломляет.

Несмотря на великое стечение народа, мне, по счастью, удалось устроиться весьма удобно и на весьма приемлемых условиях: я получил диван в коридоре первого этажа за одну гинею в ночь, что включает для меня право столоваться в буфете, с тем, однако, чтобы я во все остальное время гулял по улицам, освобождая тем самым место для других джентльменов, которые находятся в таком же положении. Я побывал во всех тех помещениях гостиниц, где будут работать различные секции, здесь и в «Мозоли и Выдержке», и был совершенно восхищен их благоустройством. Что может сравниться в свежести с

---

[1] Учеными *(франц.)*.

опилками, которыми посыпаны здесь полы! Скамьи сколочены из нетесаных досок, и общий вид, как вы легко себе представляете, чрезвычайно привлекателен.

Половина десятого

Гости съезжаются в совершенно ошеломляющем темпе и количестве. Десять минут назад к дверям подъехала почтовая карета, переполненная внутри и снаружи и доставившая таких выдающихся лиц, как м-р Мадлбрэйнс, м-р Дроли, профессор Мэфф, м-р Кс. Мисти, м-р Кс. Кс. Мисти, м-р Пэрблайнд, профессор Рэмман, досточтимый и преподобный м-р Лонг Ирс, профессор Джон Кеч, сэр Уильям Джолтеред, д-р Баффер, м-р Смит (из Лондона), м-р Браун (из Эдинбурга), сэр Хукхем Снайви и профессор Пампкинскалл. Последние десять джентльменов в дороге насквозь промокли и вид имели чрезвычайно вдумчивый.

Воскресенье, два часа пополудни

Досточтимый и преподобный м-р Лонг Ирс, в сопровождении сэра Уильяма Джолтереда, предпринял сегодня утром прогулку пешком и на лошадях. Первый из этих подвигов они совершили в обыкновенных сапогах, а второй — в наемном экипаже. Это, естественно, вызвало много споров.

Я только что узнал, что в «Мозоли и Выдержке» состоялось свидание между Саустером, энергичным и рассудительным надзирателем здешнего прихода, и профессором Пампкинскаллом, который, как ваши читатели, без сомнения, знают, является одним из влиятельных членов Совета. Воздержусь от изложения тех слухов, которые породило это совершенно необычайное событие, до того, как увижусь с Саустером и постараюсь узнать всю правду от него самого.

Половина седьмого

Вскоре после того как было написано вышеизложенное, я нанял тележку, запряженную осликом, и отправился быстрым аллюром по направлению к резиденции

Саустера; миновал живописную местность с красными кирпичными домами по обе стороны и сделал остановку на рыночной площади, чтобы осмотреть то место, где у м-ра Куокли вчера слетела шляпа. Мостовая здесь, правда, неровная, но все же у вас не создается впечатления, что здесь могло недавно произойти такого рода событие. Из этого пункта я отправился — минуя газовый и салотопенный заводы — к тому переулку, который мне указали как местожительство приходского надзирателя; не успел я проехать по этому переулку десяти ярдов, как мне посчастливилось увидеть самого Саустера, идущего мне навстречу.

Саустер тучный мужчина; то особое образование на лице, которое именуется в просторечии двойным подбородком, получило у него такое мощное развитие, какого я, сколько помню, еще никогда не видел. У него также очень красный нос,— он объясняет это привычкой рано вставать,— настолько красный, что если бы не такое объяснение, я был бы вынужден предположить, что временами он бывает не вполне трезв. Он сообщил мне, что не считает себя вправе изложить все то, что произошло между ним и профессором Пампкинскаллом, но может сказать, что это было связано с вопросами полицейского порядка, и добавил многозначительно: «Ну и времечко настало!»

Вы легко поймете, что эти слова вызвали у меня некоторое удивление, отчасти смешанное даже с тревогой, и что я, не теряя времени, отправился к профессору Пампкинскаллу и изложил ему цель своего визита. После нескольких минут раздумья профессор, который, нужно сказать, держал себя чрезвычайно вежливо, открыто признался (я выделяю это место курсивом), *что он просил Саустера присутствовать в понедельник утром в «Мозоли и Выдержке», чтобы отгонять мальчишек, и что он, кроме того, распорядился, чтобы помощник надзирателя в тех же целях находился в «Черном слуге и Коликах».*

Я предоставляю на ваше суждение и на рассмотрение ваших читателей этот неконституционный образ действий. Что до меня, то я еще не слыхал, чтобы приходский надзиратель — за пределами церкви, кладбища или работного дома и без специального на то приказа церковных

старост и попечителей, действующих в качестве приходского совета в полном составе и применяющих законы, установленные в отношении людей, обращающихся к приходу за помощью, или других правонарушителей,— имел также какие-нибудь законные полномочия в отношении подрастающего поколения нашей страны. Я еще не слыхал, чтобы приходский надзиратель мог быть призван гражданским лицом к осуществлению мер подавления и деспотизма в отношении юношей Британии. Я еще не слыхал, чтобы уполномоченные по осуществлению закона о бедных разрешали приходскому надзирателю сбивать каблуки и подметки только для того, чтобы нарушать законные права людей, которые не изобличены в бедности или других каких-либо преступлениях. Я еще не слыхал, чтобы приходский надзиратель имел право по своему произволу или своей прихоти закрыть королевскую дорогу общего пользования и чтобы улица по всей своей ширине не была свободна и открыта для каждого живущего в нашей стране мужчины, мальчика или женщины, до самых стен домов — будь то даже стены «Черного слуги и Колик» или «Мозоли и Выдержки» (это мне безразлично).

Девять часов

Я заказал местному художнику карандашный портрет тирана Саустера, поскольку он приобрел уже позорную известность,— и вы, я не сомневаюсь, распорядитесь сделать с него гравюру, чтобы поместить в каждом экземпляре ближайшего номера. Портрет прилагаю. Помощник надзирателя согласился написать биографию Саустера, но имя биографа должно остаться неизвестным.

Портрет сделан с натуры, и сходство полное во всех отношениях. Даже если б я совсем не знал подлинной сущности этого человека и если б рисунок был предъявлен без каких-либо пояснений, я бы при виде его невольно содрогнулся. Есть неистовая злобность во всем выражении этого лица, есть злорадная свирепость в глазах этого разбойника, которая и поражает и отталкивает. Весь его вид говорит о наглой и откровенной жестокости, и живот его не менее ярко свидетельствует о его демонических склонностях.

Понедельник

И вот наступил, наконец, великий день. Мои глаза, уши, перья, чернила, бумага отданы теперь безраздельно тем замечательным событиям, которые так потрясли меня всего. Надо, однако, собраться с силами и приступить к составлению Отчета!

СЕКЦИЯ А. – ЗООЛОГИЯ И БОТАНИКА.
«Черный слуга и Колики». Парадная зала.

Председатель — сэр Уильям Джолтеред. Вице-председатели — м-р Мадлбрэйнс и м-р Дроли.

М-р Кс. Кс. Мисти сделал краткое сообщение об исчезновении ученых медведей с улиц Лондона, дополнив его своими наблюдениями касательно обезьян с точки зрения их связи с шарманками. Докладчик отметил, с чувством огромной боли и горечи, что несколько лет тому назад произошли какие-то неожиданные и необъяснимые перемены во вкусах общества в отношении бродячих медведей, и эти последние, не встречая сочувствия у черни, постепенно, один за другим, покинули улицы столицы, так что не осталось ни одного, который мог бы возродить влечение к естествознанию в сердцах людей бедных и непросвещенных. Правда, один медведь, бурый и ободранный, еще долго скитался, усталый и угнетенный, едва влача свои слабые члены, по местам, где жили призраки его былых триумфов, и пытался размахивать палкой на потеху толпе; но голод и полнейшее отсутствие какого-либо вознаграждения за проявленные им таланты заставили и его оставить поле боя, и более чем вероятно, что он стал жертвой все возрастающего увлечения медвежьим жиром. Докладчик с прискорбием добавил, что подобная и не менее печальная перемена совершилась и в отношении обезьян. Эти очаровательные животные встречались ранее так же часто, как и шарманки, на которых они привыкли сидеть; в году тысяча восемьсот двадцать девятом (как явствовало из парламентского отчета) соотношение равнялось одной обезьяне на три шарманки. Однако вслед-

ствие преобразившихся вкусов в отношении музыкальных инструментов и замены, в большой мере, шарманок узкими музыкальными ящиками, так что обезьянам не на чем и сидеть, иссяк и этот источник развлечения для народа. Считая это делом величайшей важности, в связи с общими вопросами народного образования, автор предлагал безотлагательно принять меры к возрождению этих приятных и поистине поучительных развлечений, с тем чтобы народ не лишился столь широких возможностей к познанию нравов и обычаев двух интереснейших разновидностей животного мира.

Председатель спросил, какими средствами предполагает досточтимый коллега добиться осуществления этой весьма желанной для всех цели?

Автор ответил, что она может быть наиболее полно и удовлетворительно осуществлена правительством ее величества, если оно прикажет доставить в Англию и содержать на общественные средства, для общественного развлечения, такое количество медведей, которое позволило бы по крайней мере трем медведям еженедельно посещать каждый квартал города. Не встретится трудностей и при подыскании подходящего местожительства для этих животных, поскольку благоустроенный медвежатник может быть воздвигнут в непосредственной близости от обеих палат парламента; вполне понятно, что это наиболее подходящее место для такого учреждения.

Профессор Мэлл выразил сомнение в том, насколько точны знания по естественной истории, распространявшиеся при помощи тех средств, к которым досточтимый джентльмен с таким искусством привлек наше внимание. Он, наоборот, полагает, что то были средства к распространению весьма неверных и неполноценных представлений. Он основывается на личных наблюдениях и личном опыте, когда говорит, что многие очень способные дети, на основании того, что они видели на улицах в тот период, о котором упоминал досточтимый джентльмен, и ранее, приучались к мысли, что обезьяны рождаются в красных платьях с блестками и что их шляпы и перья также даны им самой природой. Кроме того, он хотел бы уточнить, объясняет ли досточтимый джентльмен утрату медведями их былой популярности вырождением обществен-

ных вкусов в этом отношении или упадком мастерства самих медведей?

М-р Кс. Кс. Мисти ответил, что он отвергает это последнее предположение: у обезьян и медведей безусловно есть большие скрытые таланты, которые, однако, без надлежащего поощрения расточаются сейчас на другие дела.

Профессор Пампкинскалл пожелал воспользоваться этим случаем, чтобы привлечь внимание секции к другому чрезвычайно важному и серьезному вопросу. Автор прочитанного только что трактата упомянул о повсеместном увлечении медвежьим жиром как средством для ращения волос, каковое увлечение, несомненно, приняло в последнее время очень большие и (на его взгляд) тревожные размеры. Ни один из присутствующих на этом заседании джентльменов не мог не отметить для себя тот факт, что в поведении современной молодежи, будь то на улицах или в других общественных местах, отсутствует галантность и джентльменство, которые в минувшие, более невежественные времена считались единственно приличествующими порядочным людям. Он хотел бы уяснить, не имеем ли мы здесь дело с тем фактом, что постоянное наружное употребление светскими молодыми джентльменами медвежьего жира незаметно привило этим несчастным кое-какие природные свойства и качества медведя. Он с содроганием выдвигает эту гипотезу; но если его теория при проверке окажется обоснованной, она сразу же и в большой мере объяснит ту досадную эксцентричность поведения, которая без такого предположения кажется совершенно необъяснимой.

Председатель поздравил ученого джентльмена, очень высоко оценил его соображения, которые произвели огромное впечатление на всех собравшихся, и заметил, что не далее как на прошлой неделе он видел в театре, как несколько молодых джентльменов с грубейшей настойчивостью разглядывали дам в ложе, что можно удовлетворительно объяснить только действием какой-то звериной жадности. Страшно подумать, что наша молодежь так быстро перерождается в медведей.

После волнующей сцены всеобщего научного энтузиазма было решено немедленно представить этот важный вопрос на рассмотрение Совета.

Председатель спросил затем, не может ли кто-нибудь из джентльменов сообщить секции, что сталось с учеными собаками?

Один из членов, после некоторого колебания, ответил, что в тот день, когда три уличных певца были отправлены в тюрьму как преступники некиим сверхусердным столичным полицейским чиновником, ныне уже покойным,— собаки оставили свои обычные профессиональные занятия и разбрелись по разным кварталам города, чтобы добывать себе там пропитание менее опасным способом. Как ему дали понять, с тех пор они поддерживают свое существование тем, что подстерегают пуделей, которые сопровождают слепых нищих, и отбирают у них выручку.

М-р Флэммери продемонстрировал ветку, которая, по его утверждению, есть отросток благородного дерева, известного естествоиспытателям как *Шекспир,* того дерева, которое привилось во всех странах и во всех климатах и объединило под сенью своих широких зеленых ветвей всю великую семью человечества. Ученый джентльмен заметил, что в свое время эта ветвь имела, без сомнения, и другие наименования; но одна старая дама из Уорикшира, где произросло это великое дерево, указала ему, что ветвь эта — отпрыск подлинного *Шекспира,* под каковым названием он и позволяет себе предъявить его своим соотечественникам.

Председатель пожелал узнать, какое специальное ботаническое определение может досточтимый джентльмен предложить для этой редкости.

М-р Флэммери высказался в том смысле, что это, бесспорно, *растение.*

СЕКЦИЯ Б.— ВЫСТАВКА МОДЕЛЕЙ И МЕХАНИКИ.

Большая комната в гостинице «Мозоль и Выдержка».

Председатель — м-р Мэллет. Вице-председатели — м-р Ливер и м-р Скру.

М-р Кринклз продемонстрировал очень красивый и изящный прибор, размером не больше обычной табакерки, изготовленный им собственноручно, целиком из стали. С помощью этого прибора может быть очищено в

течение одного часа больше карманов, чем при нынешней медленной и утомительной методе — в двадцать четыре часа. Изобретатель отметил, что этот прибор был испробован на Флит-стрит, Стрэнде и других людных улицах, и, насколько ему известно, ни разу не отказал.

После небольшого перерыва, вызванного тем, что все члены секции принялись застегивать свои карманы,

Председатель внимательно рассмотрел это изобретение и заявил, что он еще не видел прибора более интересной и изысканной конструкции. Не будет ли изобретатель любезен сказать, принимал ли он меры, и какие именно, к тому, чтобы ввести этот прибор в общее употребление.

М-р Криnклз заявил, что по преодолении некоторых предварительных трудностей ему удалось установить связь с м-ром Фоглом Хантером и другими джентльменами, имеющими отношение к карманникам высшего ранга, и они очень горячо и безоговорочно одобрили его изобретение. Он должен, к сожалению, сказать, что эти выдающиеся практики своего дела, а также некий джентльмен по имени Томми-Острый-Глаз и другие второразрядные деятели той же профессии, представителем которых он является,— дружно воспротивились введению прибора во всеобщее употребление на том основании, что это неизбежно будет иметь своим следствием почти полное вытеснение ручного труда и лишит работы большое число весьма заслуженных деятелей.

Председатель выразил надежду, что не будет допущено, чтобы такие надуманные возражения закрыли дорогу столь значительному усовершенствованию.

М-р Криnклз тоже выразил надежду, что это не случится; все же он опасается, что, если джентльмены из высших сфер карманничества будут упорствовать в своих возражениях, ничего нельзя будет сделать.

Профессор Грайм заметил, что в этом случае, возможно, удастся убедить правительство ее величества взять дело в свои руки.

М-р Криnклз сказал, что, если сопротивление окажется неодолимым, он обратится к парламенту, который, по его мнению, не сможет не признать полезности этого изобретения.

Председатель отметил, что вплоть до сего времени парламент прекрасно обходился без этого прибора; но, поскольку они там, в парламенте, ведут свои дела в очень большом масштабе, то, без сомнения, охотно примут и это усовершенствование. Он только опасается, как бы машина не износилась в результате постоянного ее применения.

М-р Копперноз привлек внимание секции к весьма значительному и интересному предложению, которое он наглядно проиллюстрировал на большом числе моделей, а изложил с большой ясностью и проникновенностью в трактате, озаглавленном «Практические соображения о необходимости предоставления невинного и здорового отдыха молодым дворянам Англии». Мысль его заключалась в том, чтобы новая компания, должным образом зарегистрированная актом парламента, приобрела участок земли — не менее чем десять миль в длину и четыре в ширину — и обнесла его кирпичной стеной не менее чем в двенадцать футов вышины. Он предлагал далее, чтобы там были проложены хорошие дороги, построены заставы, мосты, миниатюрные деревни и всякое другое, чем только можно соблазнить благородную молодежь из клубов «Выезд четверкой» — так, чтобы члены этих клубов не имели оснований искать каких-либо прогулок за пределами своего участка. Прелестное это убежище должно также вмещать удобные и обширные конюшни, в угоду тем молодым людям из аристократии и мелкого дворянства, которые любят ухаживать за лошадьми, и увеселительные заведения, обставленные возможно более красиво и роскошно. Предусмотрены и целые улицы домов с дверными молотками и колокольчиками огромных размеров и сконструированных таким образом, чтобы их можно было с легкостью обрывать по ночам, а днем опять привинчивать силами специальных служителей. Там должны быть газовые фонари из настоящего стекла, которые можно разбивать дюжинами за сравнительно небольшую плату, и широкий, красивый тротуар, на который джентльмены смогут въезжать в своих кабриолетах, когда им вздумается пошутить,— а для того чтобы они могли полностью насладиться этими подвигами, им будут по сходной цене доставлять из работных домов живых пешеходов.

Поскольку участок обнесен непроницаемой оградой и возможность вторжения посторонней публики исключается, не будет препятствий и к тому, чтобы джентльмены сбрасывали с себя те предметы одежды, которые, по их рассуждению, могут им помешать при осуществлении той или иной любезной им шалости, или, наконец, чтобы они гуляли совсем без одежды, если им так больше нравится. Короче говоря, им должны быть предоставлены любые возможности для наслаждений, каких только может пожелать истый джентльмен. Но поскольку даже всех этих удобств будет недостаточно, если не обеспечить молодым аристократам и дворянам полную возможность для проявления послеобеденной лихости, и поскольку, если им не останется ничего, как только тузить друг друга, это может повести к некоторым неудобствам,— изобретатель озаботился созданием полиции совершенно нового типа, состоящей исключительно из автоматов; при содействии опытного мастера — синьора Гальярди с Уиндмилл-стрит, в Хэймаркет — ему удалось сработать эти фигуры так тонко, что полисмен, кучер кэба или старуха, изготовленные по принципу предлагаемых моделей, будут свободно передвигаться, пока их кто-нибудь не собьет с ног,— как любой настоящий человек; более того, когда на такую фигуру нападут шесть или восемь благородных джентльменов и повалят ее наземь, она начнет испускать разнообразные стоны и мольбы о пощаде, так что иллюзия будет полной и получаемое наслаждение безоблачным. Но и это еще не все, что может дать предлагаемое изобретение; будут построены полицейские участки с хорошими постелями для ночлега благородных джентльменов, а наутро их будут доставлять в благоустроенное помещение суда, где будет проводиться пантомимическое разбирательство перед лицом судей-автоматов — совершенно таких, как в жизни,— и эти последние будут присуждать их к штрафам на столько-то фишек, которые будут им заблаговременно выдаваться нарочно для этой цели. В этих участках будет устроена наклонная плоскость, то есть будут обеспечены специальные удобства для любого благородного джентльмена, который пожелал бы привести сюда свою лошадь в качестве свидетеля; и заключенные будут иметь полное право, как и сейчас, перебивать жалобщиков сколько им

заблагорассудится и делать любые замечания, какие они сочтут уместными. Плата за эти развлечения будет не намного больше того, что они стоят уже сейчас, а все наше общество, как полагает изобретатель, извлечет из предлагаемого устройства большую пользу и утешение.

Профессор Ного попросил сообщить, какова численность того отряда автоматической полиции, который предполагается навербовать для начала.

М-р Копперноз ответил, что предполагается начать с шести подразделений по двадцать человек в каждом, обозначаемых буквами от А до Е включительно. К действительной службе намечено привлечь не более чем половину, а остальные будут сохраняться на полках в полицейском управлении, в постоянной готовности немедленно вступить в строй.

Председатель, признавая огромные заслуги остроумного джентльмена, создавшего этот проект, усомнился в том, будет ли автоматическая полиция вполне соответствовать своему назначению. Он подозревает, что благородные джентльмены едва ли откажутся от того особого удовольствия, какое может дать только избиение живых субъектов.

М-р Копперноз сообщил, что поскольку обычное в таких случаях соотношение равно десяти благородным джентльменам к одному полисмену или кэбмену, то едва ли степень удовольствия существенно изменится от того, будет ли полисмен или кэбмен человеком или чурбаном. А преимущество, и большое, состоит в том, что если у такого полисмена будут совсем отбиты конечности, он уже на следующий день будет опять способен выполнять свой долг. Он сможет уже назавтра утром давать показания, держа собственную голову в руке, и делать это с обычным в таких случаях успехом.

Профессор Мэфф. Позвольте спросить вас, сэр, из какого материала предполагается сделать головы судей?

М-р Копперноз. Головы у судей будут, разумеется, деревянные, и они будут изготовлены из самых твердых и плотных пород, какие только можно будет достать.

Профессор Мэфф. Я вполне удовлетворен. Это — великое изобретение.

Профессор Ного. У меня только одно возражение. Мне кажется, что судьи должны уметь говорить.

М-р Коппернозу едва он услышал это замечание, тронул пальцем пружинку в каждой из двух моделей мировых судей, которые лежали на столе; и сразу же одна из фигурок начала раз за разом восклицать, что ей весьма грустно видеть джентльменов в таком состоянии, а другая — выражать опасение, что полисмен был пьян.

Секция в один голос заявила под гром аплодисментов, что изобретение вполне готово к употреблению, а Председатель в большом волнении удалился вместе с м-ром Коппернозом, чтобы передать его Совету.

По его возвращении,

М-р Тикл представил изобретенные им очки, которые позволяют человеку различать предметы на большом отдалении, и притом в самых ярких красках, и делают его же совершенно слепым к тем предметам, которые находятся у него под носом. Это, сказал он, весьма ценное и полезное приспособление, изготовленное в строгом соответствии с законами человеческого зрения.

Председатель попросил дать некоторые разъяснения по этому поводу. Он до сих пор не знал, что человеческий глаз обладает свойствами, о которых только что говорил досточтимый джентльмен.

М-р Тикл сказал, что это его очень удивляет, так как Председатель не может не знать, что многие замечательные личности и великие государственные деятели видят невооруженным глазом самые чудовищные ужасы на плантациях Вест-Индии, но не могут решительно ничего разглядеть на хлопчатобумажных фабриках Манчестера. Он должен бы также знать, как быстро большинство людей распознают ошибки своего ближнего и как они слепы к своим собственным. Если Председатель отличается в этом отношении от большинства людей, значит зрение у него с изъяном, и эти очки как раз и изобретены для того, чтобы помочь ему.

М-р Бланк продемонстрировал модель изящного альманаха, состоящего из медных пластинок, золотого листа и шелковых крышек и работающего исключительно на молоке, разбавленном водой.

М-р Прози после осмотра машины заявил, что она построена настолько остроумно, что он совершенно неспособен понять, почему она вообще работает.

М-р Бланк. И никто не может; в этом-то вся ее прелесть.

СЕКЦИЯ В.— АНАТОМИЯ И МЕДИЦИНА.

«Черный слуга и Колики». Буфет.

Председатель — д-р Сумэп. Вице-председатели — м-р Пеcселл и м-р Мортэр.

Д-р Грэммидж представил секции весьма любопытный случай мономании и описал курс лечения, который он провел в этом случае с полным успехом. Пациентка, замужняя дама среднего достатка, будучи в гостях, увидела на другой даме большое жемчужное ожерелье, и ее вдруг охватило страстное желание обладать таким же украшением, хотя средства ее мужа никак не позволяли ему пойти на такой расход. Поняв, что ее желание не осуществится, она заболела, и симптомы заболевания скоро стали настолько тревожными, что за помощью обратились к нему (д-ру Грэммиджу). В тот период важнейшими признаками расстройства были угрюмость, полное нежелание выполнять свои обязанности по дому, большая раздражительность и совершенная апатия, пока не упоминались так или иначе жемчуга; а в эти минуты пульс ускорялся, появлялся блеск в глазах, расширялись зрачки, и пациентка, после различных бессвязных восклицаний, разрешалась потоком слез и при этом кричала, что никто ее не любит и лучше бы ей умереть. Установив, что в присутствии посторонних пациентка теряет аппетит, он начал с того, что велел ей воздерживаться от каких-либо возбуждающих средств и запретил принимать что-либо, кроме жиденькой каши; он взял у нее затем двадцать унций крови, прилепил по мушке под обоими ее ушами, одну на грудь и одну на спину; сделав все это и прописав ей пять граммов каломеля, он оставил пациентку. На другой день она была несколько грустна, но чувствовала себя несомненно лучше, и все признаки раздраженности уже отсутствовали. На следующий день она еще более поправилась, и так же — на третий день. На четвертый день

появились некоторые признаки возвращения прежних симптомов, но раньше чем они получили развитие, он прописал еще одну дозу каломеля и строго-настрого приказал, чтобы, если не наступит решительное улучшение в ближайшие два часа, пациентке немедленно обрили голову вплоть до последнего локона. С этого момента она начала поправляться и менее чем через двадцать четыре часа была уже вполне здорова. Сейчас она не выказывает ни малейшего возбуждения при виде жемчугов и других украшений или когда о них при ней упоминают. Она весела и благодушна, и в общем ее состоянии и темпераменте совершились самые благоприятные перемены.

М-р Пипкин (Королевское общество хирургов) прочитал короткое, но весьма замечательное сообщение, в котором пытался доказать, что сэр Уильям Куртенэ, иначе Том, недавно застреленный в Кентербери, свято верил в гомеопатические методы. Секция, конечно, помнит, что, согласно одной из гомеопатических доктрин, те же бесконечно малые дозы любого лекарства, которые вызывают у здорового человека ощущение болезненного расстройства, могут его излечить в случае настоящей болезни. Так вот, надо учесть то замечательное обстоятельство,— подтвержденное показаниями свидетелей,— что покойный Том имел в своем услужении женщину, которая должна была ходить за ним весь день с ведром воды, и он уверял ее, что одна капля (чисто гомеопатическая доза, как, конечно, согласится секция), помещенная на его язык после его смерти, воскресит его. Какой напрашивается из этого вывод? Том, который непрерывно слонялся взад и вперед по ивовым зарослям и другим топким местам, имел предчувствие, что он когда-нибудь утонет; в этом случае, если бы поступили по его указаниям, он непременно и немедленно был бы возвращен к жизни, по своему же собственному рецепту. Вот почему, если б эта женщина или какая-нибудь другая особа ввела в него ничтожную дозу свинца или пороха сразу же после того, как его подстрелили, он сейчас же оправился бы. Но, к сожалению, упомянутая женщина не обладала способностью делать выводы по аналогии или последовательно применять какой-нибудь общий принцип, и этот несчастный джентльмен был принесен в жертву крестьянскому невежеству.

СЕКЦИЯ Г.— СТАТИСТИКА.
Пристройка в «Черном слуге и Коликах».

Председатель — м-р Слэг. Вице-председатели — м-р Ноукс и м-р Стайлс.

М-р Куокли доложил результаты своих весьма остроумных статистических исследований относительно расхождений между теми оценками личной собственности некоторых членов парламента, которые объявляются всему миру, и подлинными размерами и достоинствами их имущества. Напомнив секции, что по закону каждый член парламента от какого-нибудь города или местечка обязан иметь свободное от долгов недвижимое имущество, приносящее ежегодно не менее трехсот фунтов дохода, досточтимый джентльмен вызвал большое оживление и смех, когда доложил о подлинных размерах недвижимого имущества целой группы законодателей, в которую он включил и себя самого. Из этой таблицы явствовало, что общая сумма такого дохода, получаемого каждым из них, составляет ноль фунтов, ноль шиллингов и ноль пенсов, что дает в среднем столько же. (Общий смех.) Хорошо известно, что существуют весьма обязательные джентльмены, которые всегда готовы снабдить новых членов парламента временными свидетельствами о владении имуществом, в чем и дают торжественную присягу — в качестве простой только формальности. Докладчик заключил, на основе этих данных, что вовсе не обязательно для членов парламента иметь какую бы то ни было собственность, тем более что, если у них совсем нет таковой, публика может купить их по гораздо более дешевой цене.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ Д.— ВЗДОРОЛОГИЯ И ПОМОИСТИКА.

Председатель — м-р Грэб. Вице-председатели — м-р Далл и м-р Дамми.

Секретарь прочитал сообщение о гнедом одноглазом пони, которого автор увидел запряженным в тележку мясника на углу Ньюгетского рынка. Из сообщения явствовало, что прошлым летом автор, в связи с одним своим

коммерческим делом, отправился как-то в субботнее утро из Сомерс-Тауна на Чипсайд; во время этой экспедиции он и увидел вышеописанное необычайное явление. У пони был только один ясно выраженный глаз, и, как указал докладчику его друг капитан Блэндербор из Морской Кавалерии, сопутствовавший ему в его странствиях, когда этот пони подмигивал своим единственным глазом, он также помахивал хвостом (для того, возможно, чтобы отогнать мух), но всегда подмигивал и помахивал в одно и то же время. Пони был тощий, хромой и нетвердо держался на ногах; и автор предлагал отнести его к семейству «собакамвпищукус». Конечно, он отметил для себя сразу же, что в научной литературе еще никогда не был описан случай, чтобы пони с одним ясно выраженным и отчетливым органом зрения одновременно подмигивал бы и помахивал хвостом.

М-р К. Дж. Смафлтофл слышал о пони, подмигивающем одним глазом, равно как и о пони, помахивающем хвостом, но были ли это два пони или один и тот же пони, он не берется сказать положительно. Во всяком случае, он не помнит ни одного достоверного факта одновременного подмигивания и помахивания, и он, поистине, не может не усомниться в самом существовании столь необыкновенного пони, которое совершенно опровергало бы все естественные законы, управляющие этими животными. Обращаясь, однако, к самой проблеме одного органа зрения, он позволил бы себе высказать предположение, что этот пони, когда его увидел автор, возможно, наполовину спал — в прямом смысле слова — и потому закрыл один глаз.

Председатель отметил, что наполовину ли спал пони или полностью — члены Ассоциации несомненно бодрствуют, а поэтому им лучше всего покончить с делами и отправиться обедать. Он-то, конечно, никогда не видел ничего аналогичного этому пони, но он не склонен сомневаться в его существовании, поскольку он видывал в свое время еще более странных пони; а вот видел ли он когда-либо более удивительных ослов, чем те джентльмены, которые сейчас его окружают,— этого он не решится утверждать.

Затем профессору Джону Кечу было предложено продемонстрировать череп покойного м-ра Гринакра, кото-

рый он и вытащил из синего мешка и, когда его попросили высказать свои соображения по этому поводу, заметил, что провалиться ему на месте, если уважаемое собрание видело когда-нибудь такого ловкого мошенника, каким был покойный.

Воспоследовала весьма оживленная дискуссия по поводу этой интересной реликвии; и поскольку мнения о подлинном характере покойного джентльмена несколько разошлись, м-р Блэбб прочитал лекцию о черепе, который находился перед ним, и ясно показал, что м-р Гринакр обладал самым необычайным по размеру органом разрушения при весьма замечательном также развитии органа потрошения. Сэр Хукхем Снайви собирался оспорить это мнение, когда профессор Кеч вдруг прервал работу собрания, воскликнув чрезвычайно запальчивым тоном: «Враки!»

Председатель позволил себе призвать ученого джентльмена к порядку.

Профессор Кеч. К черту порядок! Это *не тот* череп, вот какое дело. Это совсем не голова; это кокосовый орех, мой зять его вырезал, чтобы украсить ларек для продажи печеной картошки, который он привез сюда на то время, пока будет работать съезд Ассоциации. Дайте мне его сюда, слышите?

С этими словами профессор Кеч схватил кокосовый орех и достал череп, вместо которого он выставил было свой орех. Воспоследовал весьма интересный разговор; но так как в конце концов возникли некоторые сомнения, был ли это череп м-ра Гринакра, или какого-нибудь пациента из больницы, или какого-нибудь бедняка, или еще какого-нибудь мужчины, женщины или обезьяны — прийти к определенному выводу не удалось.

Не могу, пишет наш талантливый корреспондент в заключение, не могу закончить мой Отчет об этих гигантских исследованиях и величественных и возвышенных триумфах без того, чтобы не повторить здесь mot[1] профессора Вуденсконса, которое показывает, как могут

---

[1] Острое словцо *(франц.)*.

взыграть высокие умы, если представляется случай передать истину внимательному слушателю в привлекательной и игривой форме. Я был подле Вуденсконса, когда, после недели банкетов, этот ученый джентльмен, в сопровождении целой группы замечательных людей, входил вчера в залу, где был приготовлен роскошный обед, где искрились на столе редкие вина и где жирные косули — искупительные жертвы на алтарь науки — источали свои пленительные запахи.

— Да! — сказал профессор Вуденсконс, потирая руки,— вот для чего мы собрались; вот что нас вдохновляет; вот что нас спаивает воедино и манит вперед; это — пир ученой мысли, и пир, я бы сказал, хоть куда.

ПАНТОМИМА ЖИЗНИ

Прежде чем очертя голову броситься в предлагаемые читателю рассуждения, мы должны сознаться в пристрастии к пантомимам, в нежной симпатии к клоунам и Панталоне, в неизъяснимом восхищении арлекинами и коломбинами, в наивном восторге перед любыми поступками, которые они совершают в течение своей короткой жизни, как бы ни были эти поступки неожиданны и оригинальны, а иной раз даже несовместимы с суровыми и жесткими правилами приличия, коими руководствуются в своих действиях более мелочные и менее разносторонние умы. Мы упиваемся пантомимой — не потому, что она ослепляет глаз мишурой и позолотой, не потому, что она воскрешает перед нами с детских дней милые сердцу размалеванные рожи и выпученные глаза, и даже не потому, что, подобно сочельнику, крещению и нашему собственному дню рожденья, она бывает лишь один раз в год,— нет, для привязанности нашей есть иные, гораздо более веские основания. Пантомима для нас — зеркало жизни; более того, мы считаем, что не только для нас, а для всех зрителей вообще, хотя они этого и не сознают, и что именно здесь и кроется тайная причина доставляемого ею удовольствия и радости.

Приведем маленький пример. Место действия — улица; появляется пожилой джентльмен с крупными, резкими чертами лица. Физиономия его сияет лучезарной улыбкой, на

толстой румяной щеке красуется вечная ямочка. По-видимому, это богатый пожилой джентльмен, обладающий солидными средствами и занимающий видное положение в свете. Нельзя сказать, чтобы он пренебрегал своей наружностью, ибо одет он нарядно, чтоб не сказать щеголевато; а то обстоятельство, что он в пределах благоразумия предается гастрономическим утехам, явствует из игривой и елейной манеры, с какой он поглаживает свое брюшко, давая тем понять публике, что идет домой обедать. В полноте чувств всецело полагаясь на то, что богатство защитит его от всех возможных бед, упоенный всеми жизненными благами, наш пожилой джентльмен внезапно оступается и падает. Какой вопль вырывается у зрителей! На него набрасывается шумная назойливая толпа, его немилосердно толкают и пинают ногами. Все визжат от восторга! Всякий раз, как пожилой джентльмен делает попытку подняться, безжалостные преследователи снова сбивают его с ног. Публика корчится от хохота! А когда пожилой джентльмен, наконец, поднимается и, шатаясь, уходит прочь, лишившись шляпы, парика, часов и денег, в растерзанной одежде, избитый и изувеченный, публика помирает со смеху и выражает свое веселье и радость взрывом аплодисментов.

Разве это не похоже на жизнь? Замените сцену любой лондонской улицей, фондовой биржей, конторой банкира или коммерсанта в Сити, или даже мастерской ремесленника. Представьте себе падение любого из них — чем более неожиданное и чем ближе к зениту его славы и богатства, тем лучше. Какой дикий вой поднимается над его распростертым телом, как вопит и улюлюкает толпа при виде его унижения. Заметьте, с каким остервенением толпа набрасывается на поверженного, как издевается и насмехается над ним, когда он сторонкой крадется прочь. Да ведь это же самая настоящая пантомима!

Из всех dramatis personae[1] пантомимы самым негодным и распутным мы считаем Панталоне. Независимо от неприязни, какую, естественно, внушает джентльмен его лет, занятый в высшей степени неподобающими для его почтенного возраста делами, мы не можем скрыть от себя

[1] Действующих лиц *(лат.)*.

то обстоятельство, что это суетный, коварный старый негодяй, который постоянно толкает своего младшего партнера — клоуна — на мелкие мошенничества и воровские проделки, а сам всегда остается в стороне, выжидая, что из этого получится. Если дело сойдет успешно, он никогда не забудет вернуться за своей долей добычи; однако в случае неудачи он непременно ускользнет, выказав при этом поразительную ловкость и проворство, и будет скрываться до тех пор, покуда все не затихнет. Его амурные наклонности тоже в высшей степени отвратительны, а его манера среди бела дня приставать на улице к дамам совершенно неприлична, ибо он не более не менее как щекочет вышеуказанных дам за талию, после чего отскакивает назад, очевидно устыдившись (что вполне естественно!) своего собственного нахальства и дерзости, но продолжает, однако, подмигивать и строить им глазки самым отталкивающим и непристойным образом.

Кто не мог бы насчитать в своем кругу по крайней мере с десяток таких Панталоне? Кому не приходилось видеть, как они толкутся на улицах западных кварталов Лондона в солнечный день или в летний вечер, выделывая все вышеназванные пантомимные фокусы с такою пьяной энергией и полнейшим отсутствием сдержанности, как если бы они и в самом деле находились на сцене? Мы так можем, не сходя с места, перечислить десяток знакомых нам Панталоне — превосходнейших Панталоне, которые, к великому удовольствию своих друзей и знакомых, уже много лет подряд откалывают всевозможные странные штуки и по сей день до такой степени упорствуют в своих смехотворных и жалких потугах казаться юными и легкомысленными, что все зрители помирают со смеху.

Возьмем, например, того старого джентльмена, что как раз вышел из Café de l'Europe на Хэймаркет, где он пообедал на счет некоего юного лондонца, которому теперь пожимает руку у дверей. Притворная сердечность этого рукопожатия, учтивый кивок, довольная усмешка при воспоминании об обеде, приятный вкус которого еще сохранился у него на губах,— все это характерно для его великого прототипа. Прихрамывая, он уходит прочь, напевая какую-то арию и с притворной небрежностью помахивая тростью. Внезапно он останавливается возле магазина

дамских шляп. Он заглядывает в витрину, но так как индийские шали мешают ему рассмотреть находящихся внутри дам, направляет свое внимание на молодую девушку с картонкой в руках, которая тоже глядит в витрину. Смотрите! Он подбирается к ней. Он кашляет; она отворачивается от него. Он подбирается поближе; она не обращает на него внимания. Он игриво треплет ее по подбородку и, отступив на несколько шагов, кивает и подмигивает, строя фантастические гримасы, тогда как девушка бросает презрительный и высокомерный взгляд на его морщинистую физиономию. Она с досадой поворачивается, чтобы уйти, а старый джентльмен ковыляет за нею следом, ухмыляясь беззубым ртом. Точная копия Панталоне!

Но что поистине достойно удивления, так это разительное сходство клоунов на сцене с клоунами в жизни. Многие сокрушаются об упадке пантомимы и со вздохом произносят имя Гримальди *. Не желая умалить достоинств этого замечательного старика, мы должны, однако, сказать, что это сущий вздор. Клоуны, способные заткнуть за пояс самого Гримальди, встречаются каждый день, и никто им, бедным, не покровительствует.

— Я знаю, кого вы имеете в виду,— скажет иной неумытый посетитель заведения мистера Осбалдистона, добравшись до этого места. Отложив в сторону «Смесь», он устремит многозначительный взор в пространство и добавит: — Вы имеете в виду К. Дж. Смита, который играл Гая Фокса * и Джорджа Барнуэла в «Ковент-Гардене».

Не успел неумытый джентльмен произнести эти слова, как его перебивает молодой человек без воротничка, одетый в пальто из грубого сукна.

— Нет, нет,— говорит молодой человек,— он имеет в виду Брауна, Кинга и Гибсона из «Адельфи».

Однако при всем уважении к неумытому джентльмену, равно как и к вышеуказанному молодому человеку в несуществующем воротничке мы не имеем в виду ни того актера, который столь гротескно пародировал папистского заговорщика, ни тех троих комедиантов, которые уже пять или шесть лет подряд неизменно выплясывают один и тот же танец под разными внушительными названиями

и исполняют одну и ту же пьесу под различными звучными титлами. Едва мы в этом признались, как публика, до сих пор молча следившая за нашим спором, спросила, что же мы в конце концов имеем в виду, и с подобающим уважением к ней мы отвечаем.

Всем посетителям балаганов и пантомим хорошо известно, что вершин своего искусства театральный клоун достигает в тех сценках, которые на афишах значатся как «Молочная торговля и посудная лавка», или «Портновская мастерская и пансион миссис Квиртейбл», или еще как-нибудь в этом роде, причем вся соль заключается в том, что герой либо снимает квартиру, за которую не имеет ни малейшего намерения платить, либо обманным путем приобретает разные вещи, либо похищает товары у своего почтенного соседа-лавочника, либо обкрадывает разносчиков из магазина, когда они проходят у него под окнами, либо, наконец (дабы сократить наш перечень), обманывает всех, кого только может; остается лишь заметить, что чем крупнее мошенничество и очевиднее беспардонность мошенника, тем больше восторг и упоение зрителей. Удивительнее всего, однако, что совершенно то же самое изо дня в день происходит в действительности, и никто не видит в этом ничего смешного. В подтверждение нашей точки зрения изложим подробно один акт пантомимы, которая разыгрывается не на театре, а в жизни.

Достопочтенный капитан Фиц-Вискер Фирси в сопровождении своего лакея Доэма — слуги с виду в высшей степени респектабельного и к тому же поседевшего на службе в капитанском семействе — осматривает, торгует и, наконец, приобретает в собственность немеблированный дом номер такой-то на улице такой-то. Все соседние лавочники наперебой стараются заполучить капитана в качестве покупателя. Капитан, будучи добродушным, мягкосердечным и покладистым малым, не желает никого обидеть и щедро раздает заказы всем. Вино, провизия, мебель, всевозможные драгоценности и предметы роскоши стекаются в дом достопочтенного капитана Фиц-Вискера Фирси, где их с величайшей готовностью принимает в высшей степени респектабельный Доэм; сам же капитан тем временем важно расхаживает вокруг, и на лице его отражается сознание своего величия, а также классическая

кровожадность, каковыми свойствами должны отличаться и большей частью действительно отличаются военные чины — к вящему восторгу и устрашению плебеев. Но стоит лавочникам удалиться, как капитан с эксцентричностью, свойственной великим умам, при помощи неизменного Доэма, верность и преданность коего составляют едва ли не самую трогательную черту его характера, распродает все имущество с большою для себя выгодой, ибо, хотя вещи сбываются за бесценок, вырученная сумма все же значительно превышает затраты — ведь капитан не уплатил за них ни гроша. После различных махинаций обман раскрывается, Фиц Фирси и Доэма признают сообщниками, и в полицейский участок, куда их препровождают, являются толпой все их жертвы.

Кто не увидит в этом точную копию театральной пантомимы, где Фиц-Вискера Фирси играет клоун, Доэма — Панталоне, а лавочников — статисты? Самое забавное в этой шутке, что угольщик, который громче всех жалуется на обманщика,— это тот самый зритель, что вчера сидел в середине первого ряда партера и громче всех смеялся над тем же представлением, разыгранным к тому же во много раз слабее. Что тут говорить о Гримальди, заметим мы еще раз. Разве Гримальди даже в лучшие свои дни мог в подобных проделках сравниться с Да Коста?

Упоминание об этом последнем клоуне, пользующемся заслуженной славой, наводит нас на мысль об его последнем комическом номере — выманивании векселей у одного молодого джентльмена из военных. Едва успели мы положить перо, чтобы несколько минут полюбоваться великолепным исполнением этой шутки, как нас внезапно осенила мысль о другой стороне нашей темы, и потому мы тотчас же снова беремся за дело.

Все, кто бывал за кулисами, и большинство из тех, кто сиживал в театральной зале, знают, что при исполнении пантомимы очень многих людей выталкивают на подмостки единственно ради того, чтобы их обманывали, или сбивали с ног, или проделывали с ними и то и другое, а между тем мы еще до последней минуты никак не могли понять, для какой в сущности цели сотворено множество странных, ленивых, большеголовых людей, которые часто встречаются то тут, то там. Но теперь нам все это ясно.

Они — статисты в пантомиме жизни, люди, которых втолкнули в нее единственно ради того, чтобы они перекатывались друг через друга, стукаясь головами обо все, что попало. Не далее как на прошлой неделе нам пришлось сидеть за ужином напротив одного из таких людей. Теперь мы припоминаем, что этот человек как две капли воды похож на джентльменов с картонными головами и лицами, которые исполняют подобную роль в театральных пантомимах,— та же глупая деревянная улыбка, те же тусклые свинцовые глаза, тот же пустой, ничего не выражающий взгляд; и что бы ни говорилось, что бы ни делалось на сцене, он непременно появится не вовремя или наткнется на что-нибудь, не имеющее к нему ни малейшего касательства. А мы-то все глядели на человека, сидящего напротив нас за столом, и никак не могли понять, к какому разряду существ его причислить. Как странно, что это только сейчас пришло нам в голову!

Сознаемся откровенно, что арлекин доставил нам много хлопот. В пантомиме реальной жизни мы видим столько всевозможных арлекинов, что, право же, затрудняемся, которого из них выбрать в товарищи арлекину на театре. Одно время мы склонны были думать, что арлекин не кто иной, как некий знатный и состоятельный молодой человек, который, убежав с танцовщицей, прожигает свою жизнь и средства в пустых и легкомысленных развлечениях. Однако, поразмыслив, мы вспомнили, что арлекины иногда способны острить и даже совершать разумные действия, что же касается нашего знатного и состоятельного молодого человека, то думается нам, что он едва ли повинен в подобных проступках. По зрелом размышлении мы пришли к выводу, что арлекины в жизни — это по большей части обыкновенные люди, отнюдь не составляющие обязательной принадлежности каких-либо определенных кругов или сословий, но которых определенное положение или особое стечение обстоятельств наделило волшебным жезлом. И это обязывает нас сказать несколько слов о пантомиме общественной и политической жизни,— что мы тотчас же и сделаем, после чего умолкнем, предпослав здесь лишь замечание о том, что мы отказываемся упоминать о коломбине, ибо никоим образом не одобряем характера ее отношений с

разноцветным любовником и ни в коем случае не чувствуем себя вправе представить ее высоконравственным и почтенным дамам, которые внимательно читают наши пространные рассуждения.

Мы утверждаем, что открытие сессии парламента — не более как подъем занавеса перед большой комической пантомимой, и что всемилостивейшую речь его королевского величества по случаю начала таковой не без успеха можно сравнить со вступительной речью клоуна: «А вот и мы! Милорды и джентльмены, а вот и мы!» Нам кажется, что это вступление отлично передает смысл и содержание умилостивительной речи премьер-министра. Если вспомнить, как часто произносится эта речь и притом тотчас же после *перемены декораций,* сходство будет полным и еще более разительным.

Быть может, никогда еще состав исполнителей нашей политической пантомимы не был так богат, как ныне. Особенно повезло нам с клоунами. Никогда еще, кажется, они так ловко не кувыркались и не исполняли свои фокусы с такой готовностью на потеху восхищенной толпе. Их неуемное пристрастие к выступлениям дало даже повод к некоторым упрекам: так, говорят, будто, разъезжая с бесплатными представлениями по всей стране, когда театр закрыт, они опускаются до уровня шутов, унижая тем свою почтенную профессию. Само собою разумеется, что Гримальди никогда не делал ничего подобного; и хотя Браун, Кинг и Гибсон между сезонами ездили в Сэррей, а мистер К. Дж. Смит иногда выезжал в Сэдлерс-Уэллс, мы не находим в истории театра такого прецедента, чтобы все акробаты разъехались на гастроли по провинции, за исключением неизвестного джентльмена, выделывавшего сальто под маркой покойного мистера Ричардсона; однако он также не может почитаться авторитетом, ибо никогда не выступал на настоящих подмостках.

Оставив в стороне сей вопрос — в конце концов это лишь дело вкуса,— мы можем с гордостью и радостью в сердце думать об искусстве наших клоунов, выступающих во время сессии парламента. Изо дня в день они вертятся и кувыркаются до двух, трех, а то и четырех часов утра, откалывая самые удивительные фортели и награждая друг друга забавнейшими тумаками, не выказы-

вая при этом ни малейших признаков усталости. Все это проделывается среди невероятного шума, возни, воя и рева, перед которыми бледнеет поведение самых буйных завсегдатаев шестипенсовой галерки на второй день святок.

Особенно любопытно наблюдать, как повелитель, то есть арлекин, по мановению своего начальственного жезла заставляет какого-нибудь из этих клоунов проделывать самые неожиданные телодвижения. Под неотразимым влиянием этих чар клоун внезапно останавливается как вкопанный, не шевеля ни руками, ни ногами, в единый миг лишается дара речи или, наоборот, необычайно оживляется, извергает целый поток совершенно бессмысленных слов, корчится в самых диких, фантастических судорогах, извиваясь по земле, и даже вылизывает языком грязь. Подобные представления скорее удивительны, нежели забавны, вернее, они просто отвратительны для всех, за исключением разве любителей подобных фокусов, к которым, признаться, мы не испытываем дружеских чувств.

Странные, чрезвычайно странные штуки проделывает также и арлекин, который сейчас держит в руках упомянутый выше волшебный жезл. Стоит только помахать им перед глазами у человека, и у него тотчас вылетят из головы все прежние убеждения, а их место займут совершенно новые. От одного легкого удара по спине он совершенно перекрашивается. Есть даже такие искусные фокусники, которые при каждом прикосновении этого жезла меняют обличье, проделывая это с такой быстротой и ловкостью, что самый зоркий глаз не может уследить за их эволюциями. Время от времени гений, вручающий жезл, вырывает его из рук временного обладателя и передает новому фокуснику; в таких случаях все актеры меняются ролями, а беготня и колотушки начинаются сызнова.

Мы могли бы еще дальше продолжить эту главу, могли бы, например, распространить наше сравнение на свободные профессии, могли бы — в чем, между прочим, и состояла наша первоначальная цель — показать, что каждая из них сама по себе маленькая пантомима со своими собственными сценами и действующими лицами,

но, опасаясь, что и так уже слишком много наговорили, закончим на этом месте главу. Один джентльмен, небезызвестный поэт и драматург, писал года два назад:

Весь мир — лишь театральные подмостки,
А люди просто все комедианты *,—

мы же, следуя по его стопам на ничтожном расстоянии в несколько миллионов миль, осмелимся добавить — как бы в виде нового толкования,— что он подразумевал пантомиму и что все мы — актеры в пантомиме жизни.

НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ КАСАТЕЛЬНО ОДНОГО ЛЬВА

В принципе мы питаем глубокое уважение ко львам. Подобно большинству людей, мы слышали и читали о многочисленных примерах их храбрости и великодушия. Мы восхищались геройским самопожертвованием и трогательным человеколюбием, которые побуждают львов никогда не есть людей — за исключением тех случаев, когда они голодны,— и на нас произвела глубочайшее впечатление похвальная учтивость, которую они, как говорят, выказывают по отношению к незамужним дамам, занимающим известное положение в обществе. Все руководства по естественной истории изобилуют рассказами, подтверждающими их превосходные качества, а в одном старинном букваре можно прочесть трогательную повесть о старом льве, отличавшемся высокими достоинствами и строгими правилами, который счел своим непререкаемым долгом в назидание подрастающему поколению сожрать некоего молодого человека, имевшего дурную привычку сквернословить.

Все это дает весьма приятную пищу для ума и, без сомнения, убедительно свидетельствует в пользу львов вообще. Мы должны, однако, признаться, что те отдельные экземпляры, с которыми нам приходилось иметь дело, не обладали какими-либо выдающимися чертами характера и не придерживались рыцарских правил, приписы-

ваемых львам их летописцами. Мы, разумеется, никогда не видели льва в его, так сказать, естественном состоянии, то есть мы никогда не наблюдали, как лев прогуливается по лесу или, притаившись, сидит в своем логове под лучами тропического солнца и ждет, когда мимо пробежит его обед. Но зато нам приходилось не раз видеть львов в неволе, согбенных под тяжестью горя, и мы должны сознаться, что они показались нам весьма тупыми и апатичными существами.

Вот, например, лев из Зоологического сада. Он очень хорош — у него, без сомнения, есть грива, и вид у него весьма свирепый, но — боже милосердный — что из того? Светские львы выглядят не менее грозно, хотя в действительности это самые безобидные существа на свете. Лев из театрального фойе или экземпляр с Риджент-стрит напускает на себя самый зверский вид и страшно рычит, если вы его затронете, но он никогда не укусит; если же вы мужественно нападете на него, он тотчас подожмет хвост и поспешит убраться восвояси. Правда, эти хищники иногда бродят стаями, и если им попадется какой-нибудь очень уж добродушный и робкий на вид малый, они постараются его напугать, но достаточно оказать малейшее сопротивление, чтобы они в страхе разбежались. Это чрезвычайно приятные качества, тогда как льва из Зоологического сада и его собратьев на ярмарках мы порицаем главным образом за их сонливость, апатию и вялость.

Нам, сколько помнится, ни разу не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь из них не дремал, разве только когда его кормят. Мы считаем, что двуногие львы во всех отношениях выше, чем их четвероногие тезки, и смело бросаем вызов всякому, кто пожелает вступить с нами в спор по этому предмету.

При таких убеждениях не удивительно, что наше любопытство было сильно возбуждено, когда на днях одна знакомая дама пригласила нас в гости, решительно заявив, что не примет никаких отказов, ибо — как она сказала — у нее будет лев. Мы тотчас взяли назад свои слова о том, что уже приглашены в другое место, и наше желание пойти к ней сделалось настолько же сильно, насколько прежде было сильно желание отделаться от приглашения.

Мы пришли рано и заняли в гостиной такое место, откуда можно было получше рассмотреть интересного зверя. Прошло два или три часа, начались танцы, зала наполнилась людьми, а льва все не было. Хозяйка дома была в отчаянии — ведь, как известно, одна из особых привилегий этих львов состоит в том, чтобы давать торжественные обещания и никогда их не выполнять,— но вдруг у парадной двери раздался оглушительный стук, и хозяин дома незаметно, как ему казалось, выскользнул на лестницу, чтобы посмотреть, кто там, вернулся в гостиную и, с восторгом потирая руки, необыкновенно значительным тоном возвестил: «Дорогая, мистер Имярек (он назвал фамилию льва) приехал».

При этих словах все взоры обратились на дверь, и мы заметили, что несколько молодых девиц, которые прежде весело болтали и смеялись, тотчас притихли, приняв необычайно томный вид, а некоторые молодые люди, отличавшиеся изысканным остроумием, сразу упали в глазах общества, и теперь все смотрели на них с холодным равнодушием. Даже молодой человек из музыкальной лавки, которого пригласили играть на фортепьяно, был так взволнован, что от избытка чувств взял несколько фальшивых нот.

Все это время из-за двери доносился оживленный разговор, неоднократно прерываемый громким смехом и возгласами: «О! великолепно! бесподобно!» — из чего мы заключили, что лев изволит шутить и что восклицания эти вызваны восторгами его вожака и нашего хозяина. И в самом деле, мы не ошиблись: когда лев, наконец, появился, мы услышали, как его вожак, низенький жеманный человечек, воздев руки к небу и стараясь подавить восторженное выражение на лице, шепчет на ухо некоторым из своих знакомых джентльменов, что Имярек сегодня необыкновенно в ударе!

Лев, о котором идет речь, был лев литературный. Разумеется, среди собравшихся нашлось много людей, которые давно восхищались его ревом и желали быть ему представленными, и нам очень приятно было смотреть, как их подводили ко льву и с каким спокойным достоинством он принимал все их любезности. Это напомнило нам сельские ярмарки, где другим львам приходится без

конца демонстрировать все известные им формы вежливости толпам восхищенных зрителей, беспрестанно сменяющим друг друга.

Пока лев таким образом выставлял себя напоказ, его вожак, не теряя времени даром, сновал в толпе, усердно расточая ему хвалы. Одному джентльмену он шепотом повторял какую-то изысканную остроту, произнесенную царственным зверем, когда тот поднимался по лестнице, что, несомненно, делало произведенное им умственное усилие тем более поразительным; другому он скороговоркой давал краткий отчет о состоявшемся накануне званом обеде, где двадцать семь джентльменов дружно встали и провозгласили специальный тост за здоровье льва; в то время как дамам он обещал замолвить словечко, чтобы царь зверей украсил своим автографом их альбомы. Затем во всех углах начались небольшие интимные совещания насчет наружности и сложения льва, а именно — оказался ли он ниже или выше ростом, полнее или худее, старше или моложе, чем они ожидали; похож ли он на свой портрет; и какого цвета у него глаза — черные, голубые, карие, зеленые, желтые или смешанные. Во всех этих совещаниях участвовал и вожак. Словом, до тех пор, покуда льва не усадили за вист, он был единственным предметом обсуждения, а затем гости принялись, как всегда, говорить о себе и друг о друге.

Мы должны признаться, что с нетерпением ожидали ужина, ибо если вы желаете видеть дрессированного льва в наиболее благоприятных условиях, то самое удобное для этого время — когда его кормят. Поэтому мы с восторгом заметили распространившееся среди гостей оживление, причина которого была вполне понятна, и тотчас же увидели, как хозяйка дома в сопровождении льва направилась вниз, в столовую. Мы предложили руку знакомой пожилой леди. О добрая душа! В целом свете не найдется дамы, которую было бы приятнее повести к столу, ибо как бы комната ни была мала, а общество велико, она, руководимая каким-то таинственным чутьем, непременно проберется вместе со своим кавалером к самым лакомым блюдам. Итак, мы предложили руку этой пожилой леди, и благодаря тому, что мы спустились вниз по лестнице сразу

вслед за львом, нам посчастливилось занять место почти напротив него.

Вожак, разумеется, был уже там. Он поместился как раз на таком расстоянии от своего подопечного, чтобы, обращаясь к нему, иметь приличный предлог повышать голос до той степени, какая требовалась для привлечения внимания всего общества, и тотчас же принялся усердно демонстрировать льва, заставляя его проделывать все свои фокусы. Каких только блесток остроумия не удавалось ему извлечь из льва! Прежде всего они начали острить насчет солонки, затем насчет курятины, затем насчет пирожного со сбитыми сливками, но самые лучшие каламбуры, без сомнения, относились к салату из омаров — предмет, о котором лев распространялся весьма энергично и, по мнению наиболее выдающихся авторитетов, превзошел самого себя. Этот превосходный способ блистать в свете, по нашему скромному разумению, основан на классических диалогах между мистером Панчем и его хозяином, в коих последний берет на себя всю черную работу и удовлетворяется тем, что прокладывает путь всем шуткам и остротам самого мистера Панча, которому всякий раз удается снискать похвалы и вызвать общий смех. Как бы то ни было, мы рекомендуем этот способ всем львам, настоящим и будущим, ибо в данном случае он имел блестящий успех и совершенно ошеломил всех слушателей.

Когда истощился запас острот насчет солонки, курятины, пирожного со сбитыми сливками и салата из омаров и не осталось больше ни единого повода для каламбуров, вожак решился на чрезвычайно опасную штуку, которую до сих пор еще проделывают с некоторыми львами в бродячих зверинцах, хотя однажды она и кончилась трагически,— он положил свою голову в пасть льва, всецело отдавшись на милость последнего. Босуэл * часто является собой достойный сожаления пример того, к каким печальным последствиям может привести вышеупомянутый подвиг, а другие вожаки и литературные шакалы не раз получали сильные увечья за свою дерзость. Следует отдать справедливость нашему льву — он снисходительно и кротко позволял над собою подшучивать, а затем вместе со своим вожаком отправился домой в извозчичьей

карете — настроенный весьма мирно, хотя и был несколько навеселе.

Находясь в созерцательном расположении духа, мы по дороге домой принялись размышлять о характере и поведении этой породы львов и вскоре пришли к выводу, что наша прежняя симпатия к ним чрезвычайно усилилась и укрепилась после того, что мы недавно видели. В то время как другие львы встречают всякую любезность со стороны общества с видом угрюмым и мрачным, а то и огрызаясь,— этой породе львов, по-видимому, льстит оказываемое им внимание. В то время как первые изо всех сил стараются скрыться от взоров толпы, последние ищут популярности и, в отличие от своих собратьев, которых только силой можно заставить выступать, всегда готовы показать свое искусство восхищенной публике. Мы знавали необыкновенно способных медведей, которые ни за что не соглашались плясать, хотя куча народа с величайшим нетерпением ожидала их выхода; отлично выдрессированных обезьян — они без всякой видимой причины не желали кувыркаться на проволоке; несомненно гениальных слонов, которые вдруг ни с того ни с сего отказывались вертеть ручку шарманки; но нам никогда еще не приходилось слышать о двуногом льве — литературном или не литературном (мы приводим это как факт, делающий величайшую честь всей их породе),— который при первом же удобном случае не ухватился бы с жадностью за любую возможность играть в свое удовольствие первую скрипку.

МИСТЕР РОБЕРТ БОУЛТОН, ДЖЕНТЛЬМЕН, СВЯЗАННЫЙ С ПРЕССОЙ

В зале трактира «Зеленый Дракон», что близ Вестминстерского моста, все каждый вечер толкуют о политике, и главным политическим авторитетом считается мистер Роберт Боултон, именующий себя «джентльменом, связанным с прессой»,— определение в высшей степени неопределенное. Обычный круг слушателей и почитателей мистера Роберта Боултона составляют гробовщик, владелец зеленной лавки, парикмахер, булочник, огромное брюхо, увенчанное человеческой головой и установленное на паре поразительно коротких ножек, а также некий тощий субъект в черном, неизвестного имени, звания и профессии, который всегда сидит в одинаковой позе, с одинаково бессмысленным выражением на длинной физиономии и, хотя вокруг него идет оживленнейшая беседа, не раскрывает рта, кроме тех случаев, когда он выпускает клубы табачного дыма или издает очень громкое, пронзительное и отрывистое «гм!». Поскольку мистер Боултон причастен к литературе, разговор иногда касается литературных тем, но обыкновенно речь идет о новостях дня, которые являются исключительным достоянием этой талантливой личности. Как-то вечером я очутился (разумеется, случайно) в «Зеленом Драконе» и услышал следующий, немало позабавивший меня разговор.

— Не можете ли вы одолжить мне десять фунтов до рождества? — осведомился парикмахер у брюха.

— Под какое обеспечение, мистер Чик?

— Мой инвентарь. По-моему, его вполне хватит, мистер Толстинг. Штук пятьдесят париков, две вывески, полдюжины болванов да чучело медведя.

— Нет, не пойдет,— пробурчал Толстинг,— под такое обеспечение вы у меня ничего не получите. Парики да вывески — одна видимость, с болванами (иронически) я никогда дела не имею, если в том нет особой надобности, а от дохлого медведя мне ровно столько проку, сколько ему от меня.

— Ну, в таком случае,— настаивал Чик,— я вам дам книгу «Стихи Байрона», которая принадлежала Попу *. Она стоит сорок фунтов, потому что на переплете имеются собственноручные каракули Попа. Годится вам такое обеспечение?

— Вот это здорово! — вскричал булочник.— Однако что вы этим хотите сказать, мистер Чик?

— Что я хочу сказать? Да то, что на ней стоит *ахтограф* Попа:

Кто книгу украдет, щелчок получит в лоб,—
Писал владелец Александр Поп.

Это написано на самой книжке, с внутренней стороны переплета, и потому мой сын говорит, что мы сему обязаны верить.

— Однако, сэр,— вполголоса заметил гробовщик, почтительно перегнувшись через стол и пролив грог, стоявший перед парикмахером,— этот аргумент очень легко опрокинуть.

— Быть может, сэр,— возразил Чик, слегка вспыхнув,— быть может, вы сперва уплатите за опрокинутый грог, а уже после возьметесь опрокидывать еще что-нибудь.

— Итак,— произнес гробовщик, любезно кланяясь парикмахеру,— сдается мне, понимаете ли, сдается мне, уж вы меня извините, мистер Чик, да только сдается мне, что в нашей компании этот номер не пройдет — к сожалению, мой хозяин имел честь делать гроб служанке этого самого лорда не больше как лет двадцать назад. Вы не подумайте, джентльмены, будто я этим горжусь,— другие, может, и гордились бы, а я так ненавижу

всякие титулы. Я уважаю лакея какого-нибудь лорда ничуть не больше, чем любого почтенного лавочника, сидящего в этой зале. Я даже скажу — не больше, чем мистера Чика! (Поклон.) Стало быть, этот самый лорд наверняка родился много лет спустя после смерти Попа, и отсюда следует логическое следствие, что ни один из них не жил в одно время с другим. Так вот я и хочу сказать, что у Попа никогда не было никакой книги, что он никогда не видал, не щупал и не нюхал никакой книги (с торжеством), которая принадлежала этому самому лорду. А теперь, джентльмены, когда я подумаю, как вы терпеливо выслушали все мои рассуждения, я чувствую, что обязан наилучшим способом вознаградить вас за вашу доброту, а потому сажусь и замолкаю, тем паче, что я вижу — сюда входит человек достойнее меня. Я не имею привычки говорить любезности, джентльмены, а уж когда я их говорю, то, надеюсь, они бьют в самую точку.

— А, мистер Моргатроид! Кто это бьет в самую точку? — проговорил, входя в комнату, тот, к кому относилось вышеупомянутое замечание.— Я не одобряю, если человек горячится в зимнее время, даже когда он сидит так же близко от очага, как вы. Весьма неблагоразумно этак вгонять себя в пот. В чем причина столь сильного умственного и физического возбуждения, сэр?

Таково было в высшей степени философическое вступление мистера Роберта Боултона — парламентского стенографиста-репортера, как именовал он сам себя (ходячее между его собратьями двусмысленное определение, долженствующее внушить непосвященным уважение к обширному штату нашего министерского органа печати, тогда как для посвященных оно означало, что ни одна газета не может претендовать на их услуги).

Мистер Боултон был молодой человек с несколько болезненным и весьма легкомысленным выражением лица. Одеяние его являло собой изысканную смесь изящества, неряшливости, претенциозности, простоты, новизны и ветхости. Одна его половина была одета по-зимнему, другая — по-летнему. Он носил шляпу новейшего фасона — д'Орсэй; панталоны его когда-то были белого цвета, но воздействие грязи, чернил и тому подобного придало им

какой-то некий вид; на шее у него красовался высоченный черный, зверски накрахмаленный галстук, а вся верхняя часть костюма была скрыта под необъятными складками старой коричневой шинели с собачьим воротником, наглухо застегнутой на все пуговицы вплоть до вышеупомянутого галстука. Пальцы рук мистера Боултона выглядывали из кончиков черных лайковых перчаток, и по два пальца каждой ноги точно так же глядели на свет сквозь носки его сапог. Пусть голые стены мансарды мистера Боултона свято хранят тайну остальных подробностей его туалета! Он был невысок ростом, сухощав и отличался несколько вульгарными манерами. Приход его, по-видимому, произвел на всех сильное впечатление, и он приветствовал каждого из присутствующих снисходительным тоном. Парикмахер подвинулся, чтобы дать ему место между собой и брюхом. Через минуту он уже вступил во владение своей кружкой пива и трубкой. Разговор умолк. Все нетерпеливо ожидали его первого замечания.

— Сегодня утром в Вестминстере произошло страшное убийство,— заметил мистер Боултон.

Все повернулись. Все глаза устремились на мастера печатного слова.

— Булочник убил своего сына, сварив его в котле,— сказал мистер Боултон.

— О боже! — в ужасе воскликнули все разом.

— Да, джентльмены, он его сварил! — выразительно подчеркнул мистер Боултон,— сварил!

— А подробности, мистер Боултон,— осведомился парикмахер,— каковы подробности?

Мистер Боултон отхлебнул большущий глоток пива и раз двадцать затянулся трубкой — без сомнения, для того, чтобы вселить в меркантильные умы слушателей понятие о превосходстве джентльмена, связанного с прессой,— после чего продолжал:

— Этот человек был булочник, джентльмены. (Все посмотрели на булочника, который остановившимся взором глядел на Боултона.) Жертва, будучи его сыном, являлась, следовательно, сыном булочника. У несчастного убийцы была жена, которую он, находясь в состоянии опьянения, пинал ногой и бил кулаками. Он также швырял в нее пивными кружками и бросал ее на пол, а лежа

в постели, душил, запихивая ей в рот значительную часть простыни или одеяла.

Рассказчик отхлебнул еще глоток; все переглянулись и воскликнули:

— Ужасно!

— Достоверно доказано, джентльмены,— продолжал мистер Боултон,— что вчерашнего дня вечером булочник Сойер явился домой в достойном порицания пьяном виде. Миссис Сойер, как подобает верной супруге, отвела находившегося в указанном состоянии мужа в его комнату на втором этаже и уложила на супружеское ложе. Спустя минуту она уже спала рядом с человеком, который на рассвете оказался убийцей! (Глубокое молчание убедило рассказчика в том, что нарисованная им ужасающая картина произвела желаемый эффект.) Примерно через час сын пришел домой, отпер дверь и поднялся наверх в свою спальню. Не успел он (представьте себе охватившее его чувство тревоги, джентльмены), не успел он снять свои невыразимые, как отчаянные вопли (его опытное ухо признало в них вопли матери) нарушили тишину окружающей ночи. Он снова надел свои невыразимые и побежал вниз. Он отворил дверь родительской спальни. Отец его плясал на его матери. Что должен был почувствовать сын! В порыве отчаяния он бросился на своего родителя в ту минуту, когда тот собирался вонзить нож в бок его родительницы. Мать вскрикнула. Отец схватил в охапку сына (который успел вырвать нож из родительской длани), стащил его вниз, засунул в котел, где кипятилось белье, и, захлопнув крышку, вскочил на нее, в каковой позе, со свирепым выражением на лице, и был обнаружен матерью, которая достигла зловещей прачечной в ту самую минуту, когда он занял указанную позицию.

— Где мой мальчик? — вскричала мать.

— Кипит в котле,— невозмутимо ответил добросердечный отец.

Потрясенная чудовищным известием, мать бросилась на улицу и подняла на ноги соседей. Через минуту в доме уже была полиция. Отец сбежал, предварительно заперев дверь прачечной. Полицейские вытащили бездыханное тело сваренного сына булочника из котла и с проворством, похвальным для людей их профессии, тут же спроворили

его в участок. Булочник был схвачен позже на Парламент-стрит — он сидел на верхушке фонарного столба и раскуривал трубку.

Все мистические ужасы «Удольфских Тайн», изложенные в газетной заметке на десять строк, не могли бы так потрясти слушателей. Молчание, самый красноречивый и благородный из всех видов одобрения, служило достаточным доказательством варварства булочника, равно как и свойственного Боултону дара рассказчика, и лишь по прошествии нескольких минут молчание это было прервано негодующими возгласами всех присутствующих. Булочник удивлялся, как британский булочник мог до такой степени опозорить себя и ту почтенную профессию, к которой он принадлежит, остальные высказывали всевозможные недоуменные замечания относительно происшествия, причем немалое изумление вызвал талант и осведомленность мистера Роберта Боултона; сам же он после пылкого панегирика по своему собственному адресу и по поводу своего неизъяснимого влияния на ежедневную прессу принялся с торжественным видом выслушивать все про и контра на тему об автографе Попа, но тут я взял свою шляпу и удалился.

БЫТ АНГЛИЧАН 30 — 60-х ГОДОВ

Читатель, которому открывается мир идей и образов, преображенный творческой фантазией Диккенса, входит в общение с героями его произведений, превращенными благодаря художественному гению Диккенса в живых людей. Этих людей множество — в одном романе «Посмертные записки Пиквикского клуба» больше двухсот пятидесяти персонажей. И все эти люди, встающие один за другим со страниц, написанных Диккенсом, обладают психологической убедительностью. Вступая в мир диккенсовских персонажей, читатель верит Диккенсу именно потому, что все его портреты сделаны по закону художественного преображения действительности, ибо простое копирование действительности ни в какой мере еще не есть искусство.

Чтобы найти пути и средства, которыми пользовался художник для преображения действительности в произведения искусства, надо задать вопрос: какова же была эта действительность? Такой вопрос законен при изучении творчества любого художника, законен он и при изучении творчества великого реалиста Диккенса.

1

В 30—60-х годах Англия все еще с трудом залечивала раны, нанесенные ей войнами, которые она вела с небольшим перерывом в течение двадцати лет. Войны эти закончились только после разгрома Наполеона, и за истекшие пятнадцать

лет последствия наполеоновских войн еще не были ликвидированы для английского народа.

В промышленность внедрялись новые машины, сокращавшие общее число рабочих рук. Фабриканты, нуждаясь в меньшем количестве рабочих для получения своих прибылей, понижали заработную плату и увольняли все новые десятки тысяч рабочих. Положение промышленников и купцов в новых условиях укреплялось в такой же мере, в какой ухудшалось положение трудового люда. Безработица росла, особенно в периоды торговых, а затем промышленных кризисов. Например, в городе Престоне треть всего населения находилась на иждивении органов общественного призрения. Пособия, выдаваемые этими органами, были ничтожны, но у престонцев, которым грозила голодная смерть, не было другого выхода, как не было его и у безработных в других городах. В особенности тяжело пришлось многочисленной армии рабочих, занятых в текстильной промышленности, которой славилась Англия. Как раз в эту эпоху в текстильной промышленности механизированный станок решительно вытеснял ручные станки. Уволенный с фабрики ткач, продолжая трудиться дома на своем ручном станке, за 16—18 часов работы мог заработать в день не больше шиллинга — тридцати копеек серебром (соответственно эквиваленту России той эпохи). Но и те счастливцы, которым удалось остаться на фабрике и перейти на механизированные станки, обречены были с семьей на голодание. В день они зарабатывали не больше двух шиллингов, тогда как фунт хлеба стоил три пенса — десять копеек серебром. Положение рабочих во всех других отраслях промышленности было немногим лучше положения ткачей.

На улицах больших городов дети дрались из-за объедков. В мясных лавках мясо покупали такими порциями, которые могли бы служить только приманкой для крыс.

Промышленник и негоциант, более дальновидные, чем реакционеры-землевладельцы, опасались восстания народных масс, которое могло бы перейти в революцию. Они понимали, что надо всеми мерами предотвратить обнищание масс — оно не сулило добра ни им, ни землевладельцам. Но землевладелец не склонен был выпустить из рук политическую власть, которую сохранял и теперь — к 30-м годам XIX века,— несмотря на то, что потерял экономическое господство. Промышленник уже одержал над ним победу в борьбе за экономическую власть

в стране, и тем более цепко держался землевладелец за свои политические преимущества.

Эти преимущества выражались прежде всего в том, что парламент — палата лордов и палата общин — был в его руках. Таким образом, он мог противодействовать любому законодательному акту, который ослаблял бы его господство и усиливал политическую роль буржуазии.

У землевладельца была надежная защита: закон о выборах в палату общин. Пока этот закон существовал, он был уверен, что правительство находится в его руках и буржуа не сможет провести через парламент ни одного акта, который был бы невыгоден для землевладельца. Пока этот избирательный закон не был отменен, землевладелец знал, что высокие цены на хлеб удержатся в Англии. В процессе борьбы с буржуа он терял одну экономическую позицию за другой, но монополию на продажу зерна (и, стало быть, на снабжение населения хлебом) он сохранил, и эта монополия помогала ему сопротивляться наступлению энергичного буржуа.

Таким образом, на социальном фоне той эпохи разыгралась жестокая борьба классов. Эта борьба началась со столкновения промышленной буржуазии, поддержанной рабочими, и землевладельцев по «больному» вопросу об избирательном законе, который сохранял за землевладельцами господство в парламенте.

Странный, на наш взгляд, был этот закон, если принять во внимание, что он действовал в ту пору, когда английский купец и промышленник уже раскинули свои сети по всему миру и подвалы торговых контор в любом городе ломились от избытка товаров, производимых в самой Англии и ввезенных из-за моря. Давно уже этот закон стал анахронизмом, ибо он по-прежнему препятствовал буржуа быть выбранным в парламент.

Как и в начале XVIII века, избирательный закон давал отдельным местечкам право посылать представителей в палату общин. Эти местечки принадлежали крупным землевладельцам, и жители продолжали посылать одно и то же число членов палаты, угодных землевладельцам, хотя число избирателей уменьшилось за сто двадцать пять лет во много раз. Такие местечки назывались «гнилые», и выборы в них превращались в фарс.

Какое-нибудь захудалое местечко Тивертон с двумя десятками избирателей посылало двух членов в палату общин, а местечко Тэвисток с десятком избирателей — одного. Еще более курьезно протекали выборы в Олд-Сэрум, где из двена-

дцати жителей имели право избирать двух членов палаты только двое. Эти избиратели, конечно, избирали самих себя. Наконец, было и такое прибрежное местечко, которое давным-давно исчезло, поглощенное морем. Тем не менее и это местечко имело право избирать одного члена палаты общин. Комедия выборов происходила так: собственник берега, уцелевшего от затопления, усаживался в лодку вместе с тремя избирателями, и над тем местом, где под водой находилось затопленное местечко, трое избирателей выбирали собственника этого несуществующего местечка членом палаты общин.

А в то же время Лондон мог послать в палату только пять-шесть человек, а такие большие промышленные города, как Манчестер, Бирмингем, Лидс и другие, не посылали ни одного.

В 1830 году не только буржуазная Англия, но и рабочие перешли в наступление против этого закона.

Ожесточенная борьба за реформу избирательного закона, которая продолжалась два с лишним года,— первый этап социально-политической истории Англии в те годы. Буржуазия мобилизовала печать, организовала союзы в разных городах для пропаганды реформы, устраивала грандиозные митинги... Всеми средствами она внушала трудовому народу Англии, что реформа поможет облегчить крайне тяжелое положение народных масс. Несмотря на то, что проект реформы не предоставлял трудовому люду право отстаивать в палате общин свои интересы, буржуа удалось поднять гигантскую волну народного движения. Рабочие массы были втянуты в общую с буржуа борьбу против землевладельцев за билль о реформе.

Эта борьба закончилась принятием нового избирательного закона. Но реформа была такая скромная, что землевладельцы в сущности остались по-прежнему хозяевами в парламенте. А «низшие классы» — то есть трудящийся люд — непосредственно ничего не выиграли от получения городской буржуазией Англии нескольких десятков мест в палате общин.

Развернулся второй цикл борьбы классов в так называемый «ранний викторианский период» истории Англии (названный по имени королевы Виктории, занимавшей престол в течение шестидесяти трех лет (1837—1901). Но противниками в этой борьбе были не буржуа и землевладельцы, а трудовое население Англии — в первую очередь рабочие — и господствующие классы.

Очень тяжелое положение рабочих и ремесленников, создавшееся в 30-е годы, не могло не привести к конфликту между

народом и правящими классами. Для многих буржуазных политиков вопрос сводился к тому, в какой форме возникнет этот конфликт и не разразится ли революция.

Но революция в Англии, как известно, не разразилась. Конфликт привел только к борьбе за «хартию» — к широкому народному рабочему движению, которое вошло в историю под наименованием «чартизм». В борьбе чартистов было немало моментов, позволявших полагать, что это движение неминуемо приведет к восстанию народных масс и к революции. Таких гигантских митингов, таких многочисленных стихийных демонстраций трудящихся еще не знала Англия. На трех митингах, созванных в 1838 году, присутствовало, например, до миллиона человек.

Правительство было испугано масштабами движения. И оно решило подавить его вооруженной силой. Оно приказало войскам обстреливать толпы демонстрантов. Народные массы не ответили на эту расправу восстанием, но, несмотря на это, чартизм нельзя было считать побежденным, темпы движения непрерывно нарастали в начале 40-х годов.

Тогда господствующие классы нашли боковое русло, по которому направили возмущение народа. Началось общественное движение, известное как «борьба за отмену хлебных законов».

Как было упомянуто выше, землевладельцы, пользуясь своим господством в парламенте, решительно препятствовали законопроектам, которые могли бы ограничить, хотя бы в малой степени, их прибыли, связанные с продажей зерна. Для того чтобы бесконтрольно владеть рынком зерна, землевладельцы установили через парламент столь высокие пошлины на заграничное зерно, что иностранные купцы отказались от ввоза, так как это было им невыгодно. Вполне очевидно, что монополия землевладельцев привела к очень высоким ценам на хлеб.

Понятно также, что дороговизна в Англии была тесно связана с высокой ценой на хлеб. И когда чартизм стал угрожать восстанием, буржуазия решила направить гнев народа против землевладельцев. Промышленная и торговая буржуазия организовала через печать и митинги ожесточенную кампанию за отмену хлебных пошлин на ввозимый из-за границы хлеб. Всеми способами она старалась убедить трудящееся население в том, что единственной причиной его тяжелого положения являются эти пошлины. Не будь их, землевладельцы вынуж-

дены были бы сильно снизить цены на зерно, так как ввозной хлеб был дешевле.

Буржуа удалось вовлечь много десятков тысяч трудящихся в борьбу за отмену «хлебных законов». Основанная буржуазией «Лига» развила бешеную пропаганду, борьба Лиги шла параллельно с борьбой чартистов, но этот параллелизм не мог не ослаблять чартизма.

Наконец в 1846 году буржуазии удалось сломить сопротивление землевладельцев, которые увидели, что дальнейшая борьба против удешевления хлеба в самом деле грозит им серьезными последствиями. Пошлины на ввозной хлеб были отменены парламентом. Хлеб подешевел, цены на другие продукты и промышленные товары начали снижаться. Буржуазия выиграла игру, теперь можно было не опасаться немедленного революционного взрыва.

Современники Диккенса, наблюдая широкое общественное движение, вызванное борьбой за отмену «хлебных законов», вместе с тем являлись свидетелями угасания чартизма. Немало причин вызвали это угасание — разногласие в программах вождей чартизма, отход от революционного чартизма колеблющихся рядовых членов, падение цен на предметы первой необходимости, открытие золотых россыпей в Калифорнии и Австралии, усилившее эмиграцию из Англии, и другие. После еще одной вспышки чартистского движения в 1852 году борьба за хартию в Англии стала затухать.

2

Несмотря на отмену «хлебных законов», положение трудящихся оставалось очень тяжелым.

Достаточно было внимательно обозреть Лондон, чтобы в этом убедиться. В западной его части — в так называемом Вест-Энде — можно было видеть бесчисленное количество великолепных особняков, на главных улицах центра можно было удивляться роскоши магазинов, которой не знали магазины Парижа, а в восточной части, за Темзой и на окраинах, можно было наблюдать такую нищету, которую современник Диккенса не мог бы встретить в том же Париже.

Почти в каждом романе Диккенса, в его «Очерках Боза», во многих его повестях и рассказах читатель находит незабываемые описания «Лондона нищих» и незабываемые сцены, участ-

никами которых являются обитатели этих страшных лондонских трущоб. Некоторые из этих трущоб даже имели специальные наименования.

Типичный двор, населенный лондонской беднотой, напоминал узкий коридор, зажатый между высокими деревянными домами. Ширина коридора не превышала иногда трех метров, а длиной он бывал метров пятьдесят, и в этот коридор вел с улицы еще более узкий проход.

Верхние этажи этих домов часто подпирались контрфорсами, которые выдавались вперед настолько, что в нижние этажи солнечный свет совсем не проникал. В таком дворе бывало два-три десятка домов, по восемь комнат в каждом. И в каждой комнате обычно жили десять человек.

Такими домами застроены были целые кварталы в восточной и южной частях Лондона. Но и в центре, неподалеку от самых фешенебельных улиц, их было немало — стоило только свернуть в сторону.

О том, каково было санитарное состояние Лондона в эту эпоху, можно судить по тому факту, что канализационная система Лондона, построенная в середине XVIII века, не была еще заменена новой, хотя население Лондона увеличилось с середины XVIII века в четыре-пять раз. Такой же древней была и система водоснабжения.

Не удивительно поэтому, что улицы вблизи этих трущоб отравлены были миазмами, а эпидемии не прекращались. И нетрудно представить себе условия, в которых росли дети лондонских бедняков.

Бедняки, живущие в городах, вынуждены были браться за любые профессии. В Лондоне сотни мужчин, женщин и детей занимались тем, что вылавливали из Темзы кусочки угля, щепочки, обрывки веревок и т. п. и продавали свою добычу особым скупщикам. Плата была ничтожная — за пятнадцать фунтов этих щепочек и обломков они получали одно пенни — четыре копейки! В Лондоне сотни людей разыскивали в канализационных канавах те же предметы, что в Темзе. За плечами у них висел мешок, в руках была мотыга, и они бродили в подземных сточных канавах, обложенных кирпичами, которые каждую минуту могли обвалиться на них, ибо кирпичная обшивка насчитывала много десятков лет. В Лондоне были сотни людей, которые назывались «грязевыми жаворонками»,— они собирали собачьи нечистоты и сбывали их на кожевенные заводы.

А сколько было уличных торговцев, предлагающих самые разнообразные товары! У этих торговцев были свои традиции и нормы поведения, их организация напоминала организацию профессиональных нищих, от которых они мало чем отличались. И мало чем отличались от нищих бедняки, подвизавшиеся в балаганах (в которых городская толпа могла увидеть уродов, карликов, великанов), или уличные актеры, показывавшие Панча (английского «петрушку»), акробаты, шпагоглотатели, клоуны, дрессировщики или уличные музыканты, игравшие на всех инструментах, имеющихся на земле. Вся эта армия лондонцев влачила самое жалкое существование.

Но и рядовой рабочий бедствовал, он должен был содержать себя и семью на тридцать шиллингов в неделю. Один только хлеб в начале 40-х годов стоил семье четыре шиллинга четыре пенса — седьмую часть всего заработка главы семьи. При этом на долю каждого члена семьи, состоящей в среднем из пяти человек, приходилось только двести пятьдесят граммов в день, а после отмены «хлебных законов» — на сто граммов больше. На мясо семья рабочего тратила семь шиллингов в неделю и на картофель — полтора, за квартиру должна была платить четыре шиллинга. Полтора фунта масла должно было хватить всей семье на неделю, но тогда рабочий мог купить только семьсот граммов сахару, то есть каждый член семьи получал в неделю сто сорок граммов сахару. Истратив на свечи, уголь и мыло три шиллинга, рабочий мог располагать на одежду для себя и семьи и на непредвиденные расходы только четырьмя шиллингами — полутора рублями серебром в неделю. Не удивительно поэтому, что семейные рабочие, имевшие даже постоянный заработок, еле-еле могли добиться того, чтобы семья не голодала в буквальном смысле слова, но даже на самую необходимую одежду они должны были копить шиллинги в течение многих месяцев.

3

В эту эпоху впервые появляются в Англии железные дороги. Первая железная дорога с паровой тягой построена была для общественного пользования в 1825 году между городками Стоктон и Дарлингтон. Длина линии была двенадцать миль, и предназначалась она для перевозки угля. По этой дороге паровоз шел со скоростью шестнадцать миль в час. Прошло пять лет,

и в 1830 году открылась пассажирская линия Ливерпуль — Манчестер. Поезд, шедший по этой линии, с тридцатью пассажирами делал уже тридцать миль в час.

Это строительство привело прежде всего к улучшению исконных средств сообщения между городами. Раньше, например, карета из Лондона в Шрусбери шла двадцать семь часов, теперь то же расстояние она покрывала в шестнадцать, а так называемая карета «Комета» — нечто вроде конного «экспресса» — делала по десять миль в час — скорость, которой не знали до появления железных дорог.

Снабжение междугородних карет лошадьми всегда вызывало много жалоб. Но до 30-х годов владельцы гостиниц и почтовых карет обращали на эти жалобы мало внимания. С появлением железных дорог положение изменилось. В любое время можно было ожидать постройки железной дороги там, где пролегал конный тракт, и поэтому, из боязни потерять клиентуру, владельцы карет и содержатели гостиниц всячески старались, чтобы недостатка в лошадях не было.

Пассажирские кареты, курсировавшие между городами, не придерживались расписания. Владельцами этих карет были частные предприниматели. Места в каретах надо было заказывать за несколько дней до отъезда и вносить аванс.

Читатель получит полное представление о междугороднем сообщении, ибо Диккенс по роду своей работы в газетах изучил его досконально и неоднократно описывал транспорт этой эпохи и придорожные гостиницы; междугороднему сообщению он специально посвятил одну из сценок в своих «Очерках Боза» («Картинки с натуры», 15).

Междугородние кареты были разнообразных цветов — большей частью ярких. Иные кареты носили названия, например: «Комодор» («Пиквикский клуб», гл. 2). В каретах внутри обычно помещались четыре пассажира, а снаружи до двенадцати: впереди, рядом с кучером, сидело двое, двое позади кареты, рядом с кондуктором, а остальные на плоской крыше кареты. Если принять во внимание, что там же помещался и багаж, для которого не хватало места в ящиках под сиденьем кучера и кондуктора, то легко себе представить, какая была теснота на крыше.

Дороги во времена Диккенса улучшились сравнительно с дорогами XVIII века, но все же и тогда было немало трактов, езда по которым грозила пассажирам катастрофой. И по-преж-

нему в весеннюю и осеннюю распутицу кареты увязали в грязи, а канавы и ямы являлись причиной постоянных аварий.

До 1784 года почта в Англии перевозилась вьюками; но в этом году некий Джон Палмер, член палаты общин от города Бат, провел через палату реформу почтового транспорта. Государство приняло на себя организацию сети почтовых контор, отправлявших в другие города специальные почтовые кареты.

Почтовые кареты, в отличие от пассажирских, отходили по расписанию. Они перевозили не только почту, но и пассажиров. И в почтовых каретах было четыре места для внутренних пассажиров, но наружных помещалось меньше, так как на крыше находилась почта. За проезд в карете плата была помильная, очень высокая,— внутренние пассажиры платили пять пенсов с мили, наружные — три пенса. Через каждые восемь миль меняли лошадей.

Вид почтовых карет отличался от вида пассажирских. На дверцах кареты красовался королевский герб. Колеса окрашены были в красный цвет, верхняя часть кареты в черный, а низ — в шоколадный.

В ту пору письма и прочие почтовые отправления оплачивал не отправитель, а адресат. Оплата была сложная, она зависела и от расстояния и от числа листков, которые либо заклеивались облатками, либо пересылались в самодельных конвертах (машинные появились только в конце 50-х годов). Для удешевления пересылки письма писались очень мелким почерком. Подсчет стоимости письма, которое должен был оплатить адресат, обычно был длительным. Нередко адресат отказывался от уплаты и получения письма. Особая почта существовала в пределах Лондона. Оплата городских писем в Лондоне была унифицирована: в XVII веке — одно пенни, а с конца XVIII — два пенса.

В один и тот же год (1844) в Америке и в Англии были проложены первые телеграфные линии общего пользования. В Англии этим телеграфом соединены были Пэддингтон и Слеф, длина ее была двадцать миль.

Во времена Диккенса в Англии для шоссирования дорог применялся способ Джона Макадама. Свои опыты по новому способу шоссирования Макадам начал в 1810 году, и после длительного испытания парламентская комиссия утвердила новый способ. Сущность его заключалась в том, что щебень, покрывавший толстым слоем дорогу, спрессовывался, образуя камен-

ную облицовку. Дороги, шоссированные по способу Макадама, называются его именем. По этим дорогам шли кареты, отличные от наемных, курсировавших в пределах города.

В городские кареты была впряжена пара лошадей. Двигались они очень медленно. В это время в Париже омнибус уже получил широкое распространение, но в Англии он появился только в 1830 году, хотя кареты не вытеснил.

В омнибус впрягали трех лошадей. Рассчитан он был на двенадцать внутренних пассажиров, с которых взимали по шесть пенсов, независимо от расстояния. Но в погоне за барышом кондукторы набивали омнибусы до предела — впихивали по двадцать пассажиров. Только в 40-х годах появились на крыше омнибусов два наружных места, в 50-х годах на крыше были устроены две продольные скамьи.

Тяжелые и медленно подвигающиеся кареты вытеснил новый двухколесный экипаж — кэб.

Кэб был создан в 1823 году, но только в 30-х годах он стал основным средством передвижения по городу наряду с омнибусом.

Форма кэба не была неизменной. Первые кэбы были открытые, желтого цвета. Кучер сидел рядом с пассажиром, но не на скамейке, а на специальном сиденье, прилепленном к кузову. Затем кэб принял другую форму. Он стал закрытым, дверца — в задней стене. Пассажиры сидели друг против друга, а кучер восседал на крыше. И, наконец, кэб принял ту форму, которая стала окончательной. Теперь он назывался «хэнсом-кэб» — закрытая большая коробка с двумя огромными колесами. Дверца появилась сбоку, а сиденье кучера прикреплено было сзади коробки, так что вожжи лежали на крыше.

«Хэнсом-кэб» вплоть до полного вытеснения конного городского транспорта автомобильным являлся основным в Англии наемным экипажем для передвижения по городу. Старинный портшез (переносное кресло в закрытом ящике с оконцем) доживал в 30-е годы последние дни.

Во времена Диккенса стоимость земельных участков еще более повысилась сравнительно с XVIII веком. Поэтому домовладельцы строили дома с тем расчетом, чтобы необходимые для них участки были небольшими. Уже с середины XVIII века приходилось располагать жилые комнаты не вокруг «холла» —

вестибюля,— а во втором и третьем этаже. Такая планировка дома для буржуазной семьи среднего достатка оставалась неизменной. Эти трехэтажные дома имели по фасаду три-четыре окна, то есть были довольно узкими (см., например, «Дэвид Копперфилд», гл. 15, 23; «Николас Никльби», гл. 16). Из «холла» (см. рис. Физа к «Домби и Сын», гл. 17) такого дома дверь направо обычно вела в маленькую комнату о двух окнах в нишах, называемую «приемной». Между камином и окном в этой приемной — дверь, она вела в маленький кабинет главы семьи. Дверь из «холла» налево вела в столовую. Как и «холл», столовую обычно обшивали панелью (см. «Копперфилд», рис. Физа к гл. 22, 28). В столовой — камин, рядом с ним буфет. В углу столовой лестница с перилами (см. «Копперфилд», рис. Физа к гл. 5), она вела на второй этаж. Во втором этаже две маленькие гостиные; благодаря раздвижной стене между ними обе гостиные могли быть превращены в одну комнату (см. рис. Физа к «Никльби», гл. 19). По той же лестнице можно было подняться в третий этаж и еще выше — на чердак (см. «Домби», гл. 30; «Копперфилд», гл. 60). В третьем этаже — спальни. Кухня и службы — в подвале (см. «Никльби», гл. 46). Нередко перед домом был дворик ниже уровня мостовой; с этого дворика ход был в кухню и в помещение для прислуги (см. «Холодный дом», гл. 4).

Дом богатого землевладельца или крупного буржуа планировался иначе (см. «Холодный дом», гл. 6; «Домби», гл. 23).

К помещичьему дому обычно примыкали два крыла. Одно — предназначалось для слуг, другое — для конюшен. При кухне — несколько маленьких комнат: буфетная, кладовая, чуланы.

В городском доме богатого буржуа расположение комнат было иным. В первом этаже — «холл», вокруг которого были столовая, небольшая гостиная и гостиная-зала, кабинет и библиотека. Во втором этаже — спальни, детские, классные комнаты.

В первую половину эпохи (1830—1850) сохранился стиль мебели и декорировки конца XVIII века, во вторую половину (1850—1870) внедряется так называемый «викторианский» стиль.

В 1830—1850 годах основная масса состоятельных англичан меблировала свои дома тяжелой мебелью красного дерева с резьбой. Стиль этой мебели имел большую давность — в 1754 году вышел первый «справочник» фабриканта мебели Чиппен-

дэла, в котором даны были образцы, рекомендуемые его фирмой. Авторы этих рисунков были безвестные художники, работавшие у Чиппендэла, и последний являлся только умелым предпринимателем — не больше. Тем не менее за мебелью, выпускаемой его фирмой и имеющей несомненное стилистическое единство, сохранилось название — мебель «стиля Чиппендэл» (см. рис. Физа к «Пиквику», гл. 31; к «Домби», гл. 21; к «Копперфилду», гл. 14).

Но постепенно в Англии начали появляться предметы меблировки, резко отличные от меблировки стиля Чиппендэл,— так называемый «средневикторианский» стиль, поражающий своей безвкусицей.

Лампы с прямым фитилем, которые можно было видеть повсюду, не означали, что Англия не знала другого освещения. Свечи, разумеется, еще сохранились (см. «Пиквик», гл. 28, 40; «Холодный дом», гл. 3, 4; «Никльби», гл. 55). Диккенс часто упоминал о «тростниковых свечах» — сальных свечах с фитилем из сердцевины тростника.

В первые два десятилетия эпохи Диккенса в лампы наливали сурепное масло, затем его заменили парафином; керосин еще не употреблялся для освещения.

Но уже с начала 40-х годов появилось в домах англичан газовое освещение, хотя Вестминстерский мост был освещен еще в 1813 году.

4

Любопытной чертой общественной жизни англичан прошлого века является пристрастие к крайне замкнутым общественным организациям. Самым ярким выражением этого можно считать английские клубы. Клубы зародились еще в конце XVII века, а в начале XVIII клубов было уже немало не только в Лондоне, но и в других городах. Но в XVIII веке они находились на втором плане — общественная жизнь протекала в основном в кофейнях и тавернах. Правда, эти заведения — в особенности кофейни — сплошь и рядом имели завсегдатаев, объединенных либо общностью политических убеждений, либо общей профессией, но все же и кофейни и таверны открыты были каждому, кто пожелал бы их посетить, тогда как пожелавшие вступить в клуб проходили при вступлении строгий контроль.

Роль кофеен и таверн в организации общественной жизни англичан закончилась в основном к началу XIX века. Наоборот, роль клубов возросла, а число их увеличивалось с каждым годом. Вместе с тем состав членов клубов стал более демократическим, чем раньше. Вступительные взносы в клуб были ранее очень высоки, к тому же в клубы начала XIX века не принимали представителей некоторых профессий: солиситоров — поверенных, хирургов и др. Новые клубы, открывшиеся во времена Диккенса, стали более доступны лицам, не обладавшим большими доходами; тем не менее каждый клуб был замкнутым учреждением, а вступительные взносы даже в недорогие клубы достигали пятидесяти фунтов.

Большинство клубов помещалось в специально оборудованных зданиях, на отделку которых подчас затрачивались большие суммы. Ибо неписаный закон английских клубов требовал предоставления своим членам комфорта, и в достижении этой цели клубы состязались между собой — переманивали лучших кулинаров и пр. На кулинарию клубы обращали особое внимание. Так, например, шефом кулинарного дела в клубе радикалов «Реформ Клуб» был знаменитый француз-повар Алексис Сойер, приехавший при жизни Диккенса из Франции и попавший даже в Биографический национальный словарь Англии.

Руководители клубов заботились о крайне строгом режиме в подопечных им учреждениях. Ни один посторонний не мог войти в клуб. Исключение делалось лишь для знатных и богатых иностранцев. Обедать в клубе разрешалось только в вечерних костюмах, как было принято в самых фешенебельных домах Англии. Курить в некоторых клубах разрешалось лишь в курительных комнатах. В ту эпоху курили трубки и сигары, папиросы появились только в середине 50-х годов после Крымской войны, когда английские солдаты, бывшие в Крыму, позаимствовали от французов привычку курить папиросы. Как правило, в мужские клубы женщины не допускались. Нередко члены клуба проводили там большую часть дня в полном безделье.

5

«Сезон» в Лондоне начинался с апреля и длился по август. В это время открыты были оба главных лондонских театра: Друри-Лейн и Ковент-Гарден, а также Итальянская опера, пар-

ламент, высшие суды и т. д. Поздняя осень и зима — самые плохие климатически времена года в Англии; холодные дожди и туманы с ноября по апрель прерывали «сезон» — Итальянская опера закрывалась, знать и крупная буржуазия проводили время в Бате, Брайтоне и на заграничных курортах. Особенно популярным английским курортом являлся Бат в Сомерсетшире, в ста пятидесяти километрах к западу от Лондона.

Диккенс дал сатирическое описание Бата в «Посмертных записках Пиквикского клуба». В Бате — горячие источники и воды его использовались не только для лечебных ванн, но и для питья. Из всех курортов Англии Бат являлся (да и теперь является) самым фешенебельным. В Бате во времена Диккенса уже была выстроена великолепная галерея (заключавшая горячие источники) и колоннада, перед которыми была разбита большая площадь, откуда открывался вид на старинное Аббатство. Знаменитая батская «Зала для Ассамблей», выстроенная в 1771 году, являлась центральным пунктом для встреч курортной публики.

Кроме Бата, знать и буржуазия посещали в те месяцы, когда «сезон» в Лондоне и в других крупных городах кончался, приморский курорт Брайтон, где не раз проводил осень и Диккенс.

Итальянская опера, переезжавшая к этому времени из Парижа в Лондон, открывалась к началу апреля. Здание Оперы на Хэймаркет, построенное по образцу миланской оперы, было пятиярусным, роскошно, но безвкусно отделанным и недоступным для широкой публики. В партер публика допускалась только в вечерних костюмах, все ложи были абонированы, а места на галерее стоили не дешевле пяти шиллингов.

В Англии существовал закон о «королевских патентах» для театров, с небольшими изменениями он действовал с XVII века. Сущность его сводилась к тому, что классические драмы имели право ставить только театры, имевшие «королевский патент». Эти патенты закреплялись не за труппами актеров, но за театральными помещениями, а актеры, игравшие в помещении с патентом, выделялись из армии английских актеров. Еще в начале XVIII века, при королеве Анне, был издан закон, который по точному его смыслу приравнивал актеров к представителям социальной группы, которые именовались кратко «мошенники и бродяги». Только в 1737 году закон был несколько изменен, он исключил из числа «мошенников и бродяг»

актеров, работавших в театрах с королевским патентом или со специальным разрешением лорд-канцлера. Но власти опасались просветительной роли театра, и новые патенты невозможно было получить руководителям актерских групп, намеревавшимся ставить классические пьесы — например, Шекспира. Поэтому в XVIII веке они должны были либо обходить закон, переделывая трагедии в оперы, либо покупать право участия в управлении театром с «патентом». За это право надлежало уплачивать огромные суммы: Шеридан в 1776 году уплатил Дэвиду Гаррику, уходившему на покой и владевшему только половиной патента, тридцать пять тысяч фунтов стерлингов.

Во времена Диккенса королевские патенты все еще были закреплены только за двумя лондонскими театрами: Ковент-Гарден и Друри-Лейн, а труппа театра «Хэймаркет» имела право играть только летом (зимой здесь играла французская труппа). Но так как закон о патентах давно уже изжил себя (другие театры его нарушали), то надо было добиться его отмены, чтобы создать лучшие условия для роста английского театрального искусства. В 1843 году и другие театры получили право ставить драмы, а не только оперы, пантомимы или водевили.

Репертуар Ковент-Гарденского театра в то время не отличался от репертуара Друри-Лейнского: драмы, оперы, балеты. Оба театра были значительно более доступны широкой публике, чем Итальянская опера,— места на галерее продавались по два шиллинга. К тому же, начиная с девяти часов вечера билеты на спектакль продавались за полцены — спектакли начинались в семь часов («см. «Копперфилд», гл. 61).

Ряд более мелких театров — «Королевский театр Виктории», «Королевский театр Адельфи», «Олимпия» и другие ставили в эпоху Диккенса водевили с музыкой, балеты, пантомимы и т. д.

Лучшим актером эпохи Диккенса был Уильям Макриди, друг Диккенса, долго гастролировавший в провинции, в Америке, во Франции и руководивший некоторое время театром Друри-Лейн. Макриди напоминал методом своей работы Гаррика. В шекспировском репертуаре он создал образы Макбета, Лира, Яго, Кассио, вошедшие в историю английского театра.

Если не считать Шекспира, то едва ли не основными пьесами в репертуаре того времени являлись переделки романов и

повестей Диккенса. Например, в 1846 году переделка повести «Сверчок в очаге» шла одновременно в четырех лондонских театрах.

Но англичане этой эпохи слушали концерты иностранных гастролеров значительно чаще, чем видели зарубежных драматических актеров и актрис. Такие концерты были обычным явлением, так же как и публичные балы. В лондонских залах «Уиллис Румс» устраивались по средам балы. Доступ на них был свободен лишь с 1840 года, и самое название предприятия до конца XVIII века было иное. Это был знаменитый Олмэк, упоминаемый в романах XVIII века, а также Диккенсом. В 1765 году владельцу ресторации Олмэку пришло в голову построить увеселительное заведение, но закрыть в него доступ всем тем, кто не входит в «светское» общество; в смежной с залой комнате шла крупная игра в карты. Любопытно отметить, что в Англии азартная картежная игра была воспрещена законом. Воспрещено было также содержание игорных домов. Однако, невзирая на это, в Англии было их множество. В Лондоне лучшие из них находились на самых центральных улицах, один из них — игорный дом Крокфорда на улице Сент-Джеймс, открыто посещался вельможами и даже герцогом Веллингтоном. Правда, этот игорный дом носил название клуба, но доступ в него был открыт всем «приглашаемым», то есть фактически всем представителям крупной буржуазии и знати, желающим развлечься азартной игрой.

Наиболее популярными карточными играми в частных домах были вист, пикет, «коммерция», «спекуляция», «двадцать одно», «Папесса Иоанна», упоминаемые Диккенсом. В игорных домах играли в «фаро» и в другие азартные игры.

Одним из любимых развлечений английской публики в то время были увеселительные сады. Из двух наиболее известных лондонских увеселительных садов «Воксхолл» и «Рэнлах», предназначенных для состоятельных людей, сохранился при Диккенсе только «Воксхолл».

«Воксхолл» изобиловал различного рода развлечениями. В этом саду было несколько оркестров, театр и многочисленные балаганы с аттракционами; в крытых павильонах шли танцы, с площадок запускались воздушные шары, а в одиннадцать часов вечера в иллюминованном саду устраивали традиционный фейерверк. Первый наш общественный увеселительный сад в Петербурге был открыт в 1793 году по этому

образцу; название его «Воксал в Нарышкинском саду» было искажением «Воксхолл». В начале прошлого века увеселительные сады назывались у нас «Воксалы». Для развлечения более широких слоев лондонского населения служили другие увеселительные сады, среди которых лучшим являлся «Сэдлерс-Уэллс», куда входная плата была невысока — один шиллинг.

Англичане очень увлекались спортом, но грубость нравов, характерная для Англии XVIII века, постепенно смягчалась и жестокие подчас забавы, носившие спортивный характер, уже не имели во времена Диккенса того широкого распространения, какое мы наблюдаем в XVIII веке. Бой петухов, сопровождавшийся всегда азартнейшими пари, еще привлекал к себе внимание, но предприятий, устраивавших это жестокое зрелище, становилось все меньше и меньше. Значительно реже можно было встретить в сельской Англии и травлю быка собаками. Для сельской Англии охота на лисиц оставалась основным видом спорта. Для городской Англии — состязания в боксе.

За столетие до рождения Диккенса были выработаны правила состязаний в боксе и основан специальный театр для состязаний, а в начале 90-х годов XVIII века боксу начали обучать в специальных школах. В рядах любителей и покровителей бокса можно было увидеть и герцога Веллингтона, и известного политического деятеля Роберта Пиля, современника Диккенса, и других его знаменитых современников — Байрона, лорда Пальмерстона, Теккерея.

Скачки и бега оставались по-прежнему национальным спортом, как и бокс.

В те времена игра в футбол, который известен был в Англии еще в XIV веке (но, конечно, не походил на современный), впервые приняла те организационные формы, которые мы видим и теперь,— были созданы клубы, объединенные затем в футбольную лигу. Тогда же начали возникать клубы «регби» (правила этой игры в мяч отличаются от правил футбола). С основанием футбольных клубов начался новый период этого старинного спорта.

Еще с большим правом, чем футбол, может именоваться национальным видом спорта крикет.

Широкое распространение среди имущих классов Англии получил гольф (шотландский спорт, известный с XVI века).

Всеми этими видами спорта занимались мужчины,— женщины из неимущих классов, а также жены и дочери городских буржуа во времена Диккенса спортом не занимались. Но жены английских землевладельцев, живущие за городом, в поместьях, ездили верхом и даже принимали участие в охоте на лисиц. В конце XVIII века возродился старинный английский спорт — состязания в стрельбе из лука.

6

В заключение остановимся на одной стороне жизни англичан, которая плохо известна нашему читателю и занимает особое место в творчестве Диккенса. Мы имеем в виду совокупность юридических институтов, которые входят в понятие правопорядка. Ни один классик с такой тщательностью, полнотой и точностью не описывал судоустройства своей страны, судебного производства, организации адвокатуры и магистратуры (судейских чиновников всех рангов), различия между двумя системами источников права (источник права — закон, обычай, прецедент), как это делал Диккенс. Работа клерком в юридической конторе позволила Диккенсу прекрасно изучить сложнейшую систему английского правопорядка и сделать неоспоримый вывод о значении этого правопорядка в создании и укреплении власти имущих классов над трудовым народом Англии. Художественный талант помог Диккенсу убедительно показать полную беспомощность бедняка, волей судьбы пришедшего в столкновение с системой правосудия, разработанной юристами в течение столетий. Но рисуя это «правосудие», Диккенс предполагал, что его читатель знаком в некоторой степени с основными началами правопорядка в Англии хотя бы потому, что этот читатель — его соотечественник. Что касается читателей-иностранцев, не знакомых со спецификой английских юридических институтов, многое из того, что Диккенс считал всем известным, было им непонятно, а иное ставило их в тупик.

В настоящем очерке, нам думается, было бы целесообразно обобщить, суммировать некоторые данные о юридических реалиях, чтобы эти обобщенные данные помогли легче усвоить беспощадную критику Диккенсом современного ему социального порядка, оплотом которого являлись институты, неведомые нашему читателю.

Чем больше читатель будет знакомиться с творчеством Диккенса, тем чаще ему придется удивляться обилию судебных учреждений, деятельность которых является источником многих бед и несчастий, подстерегающих диккенсовских героев. Он встретится с Судом Общих Тяжб, с Канцлерским судом и Судом Олд-Бейли, с Судом Докторс-Коммонс, с Судом по делам о несостоятельности, с судами мировыми и судами полицейскими. Из текста он поймет, что первые два суда — гражданские, но тут же узнает, что, кроме этих двух судов, в Англии есть еще Суд Королевской Скамьи — тоже гражданский, узнает, что Суд Олд-Бейли — уголовный суд, а Суд Докторс-Коммонс состоит из целой коллекции судов с разной компетенцией. В одном суде дела решаются по одним законам, в другом — те же самые дела — по другим. Хотя мы и упростили разграничение между двумя системами судов (правильней было бы сказать, что «источники права» для решения дел в этих судах различные), но суть дела не меняется. В Англии действительно одни суды в своих решениях опираются на обычаи (так называемое «обычное право») и на предыдущие решения судов (так называемые «судебные прецеденты»), а другие — на приказы лорд-канцлера, который должен был восполнять пробелы общего права, исходя из требований справедливости. Такое разграничение имеет корни в далеком прошлом, о котором нам нет нужды говорить, но результаты этого разграничения были очень плачевны для английского народа. «Справедливость», которая якобы лежала «в основе приказов лорд-канцлера», редко имела что-нибудь общее с подлинной справедливостью. Деятельность Канцлерского суда основана на этой мнимой справедливости, а Суд Королевской Скамьи и Суд Общих Тяжб, где решения принимались на основе обычаев и прецедентов, дают такое широкое поле для злоупотреблений бессовестных юристов, что трудно сказать, какая из двух систем правосудия принесла больше вреда английскому народу.

Переходя к судам уголовным, следует сказать, что читатель не раз встретится с упоминанием о судебных «ассизах». На этих «ассизах» — судебных сессиях — трижды в год решаются дела уголовные, руководит заседаниями судья, присланный из Лондона, и происходят эти сессии в главном городе каждого графства. Кроме таких сессий в начале 30-х годов прошлого века в Лондоне был основан Центральный

Уголовный Суд — Суд Олд-Бейли, которому подведомственны те же дела, что и судам ассизов, а более мелкие преступления подлежат ведению мировых судей, назначаемых правительством, и разбираются на сессиях мировых судей, так называемых «квартальных сессиях», или же отдельными мировыми судьями, смотря по тому, каков характер правонарушения.

Читая у Диккенса описание судебного разбирательства в мировом суде (такой суд есть при Полицейском управлении и называется для краткости Полицейский суд), наш читатель столкнется с фактом для него необычным. Мировой судья не оправдывает подсудимого, но и не приговаривает его к какому-либо наказанию: он «приговаривает» подсудимого к процессу в следующей инстанции и выносит определение о заключении его в тюрьму до суда. Необычной для нашего читателя является и вся процедура взыскания кредитором долга с должника, отказывающегося этот долг уплатить. Диккенс многократно рассказывает о неимущих должниках, которых по английским законам его эпохи кредитор мог заключить в тюрьму впредь до уплаты долга. (В те времена такой порядок существовал и в других странах Европы.) Однако есть некоторые особенности в английской процедуре заключения в тюрьму за долги: после решения специального Суда по делам о несостоятельности о заключении неимущего должника в тюрьму, приказ об его аресте специальный чиновник шерифа (бейлиф) должен вручить самому должнику и только тогда может его арестовать. Но после вручения приказа об аресте бейлиф отвозит должника не в тюрьму, а к себе домой, где за высокую плату предоставляет ему комнату примерно на недельный срок, в течение которого друзья должника имеют право уплатить числящийся за арестованным долг, в случае же неуплаты должник переводится из «заведения» бейлифа в тюрьму. Хорошо знакомый с тюремным режимом в лондонских тюрьмах — Флит, Маршелси, Тюрьма Королевской Скамьи,— Диккенс не раз упоминает еще об одной особенности тюремного заключения за долги в Англии его эпохи — особенности, которая может показаться странной нашему читателю: о возможности, предоставляемой должнику, заключенному в тюрьму, жить вне тюрьмы — в пределах так называемых «тюремных границ» или «тюремных правил», на площади около трех миль в окружности; нечего и говорить,

что плата за такую поблажку была очень высокая, по разработанной тюремным начальством таксе.

Неизвестна нашему читателю деятельность чиновника, совмещающего судейские функции с функциями следователя — коронера,— который производит дознания в случаях скоропостижной или загадочной смерти, а также дознание о причинах пожаров, если есть предположение о поджоге; но решения по всем этим вопросам выносились не им, а «судом коронера», то есть присяжными под его руководством. С «судом присяжных» (жюри) наш читатель встретится не раз, но его может поставить в тупик вопрос: в чем же разница между *большим жюри* и *малым жюри* в уголовном процессе. А различие между двумя этими жюри существенное. «Большое жюри» решает только вопрос, достаточны ли основания для предания обвиняемого суду или нет, но в самом судопроизводстве принимает участие «малое жюри». Такое различие запомнить нетрудно, значительно труднее нашему читателю освоиться с мыслью, что и в гражданских процессах участвовали также присяжные, и это «жюри» называлось «общим». Не менее необычен для нас принятый в Англии в гражданских делах порядок письменных состязаний до суда, то есть обмена заявлениями, ответами на заявления, контрответами и т. д. до той поры, покуда адвокаты обеих сторон не сочтут целесообразным прекратить это весьма выгодное для них состязание.

Читая Диккенса, не перестаешь удивляться тому, с каким знанием дела он рисовал представителей касты правозаступников и с каким профессиональным умением вскрывал ухищрения «законников» всех видов и рангов. Он не только показал нам целую галерею незабываемых портретов юристов (около сорока человек), но дал читателю полную возможность оценить поистине огромную роль английских правозаступников в охране интересов господствующих классов. И достиг он этого простыми средствами: правдиво изобразил все детали хитроумной системы английской адвокатуры. Прежде всего он вывел на сцену представителей различных рангов адвокатуры, точно очертив компетенцию каждого из этих профессионалов. Из его произведений читатель узнает, что основных рангов в английской адвокатуре три — *солиситор* (он же атторни), *барристер*, *сарджент* (он же королевский юрисконсульт), но, кроме этих рангов, существовали во времена

Диккенса еще два вида адвокатов: *плидеры* (то есть поверенные, которые имели право лишь на письменные объяснения в интересах своего клиента до суда) и *прокторы*, а барристеры могли выполнять также функции *юниора*, специального плидера и нотариуса. По английским законам полноправный адвокат (барристер, сарджент) не может входить в непосредственное общение с клиентом помимо поверенных, которые являются посредниками между ним и клиентом.

Если вспомнить о том, что английское законодательство (до сей поры в Англии нет кодекса законов) создало все предпосылки для злоупотреблений адвокатов, которые, при отсутствии кодифицированных норм, могли без конца затягивать любой процесс и опутывать клиента сетью ухищрений,— если об этом помнить, то понятно, что между неимущим людом Англии и правосудием господствующие классы воздвигли высокие стены. Одна из них — необычайная сложность судоустройства и судопроизводства, и другая — система английской адвокатуры.

Читатель Диккенса познакомится со своеобразным учреждением, имеющим прямое отношение к созданию системы адвокатуры. Мы имеем в виду Иннс-оф-Корт (так называемые Судебные Инны) — рассадник юридического образования в Англии и вместе с тем замкнутые кастовые организации юристов, возглавляемые самыми преуспевающими адвокатами,— организации, издавна монополизировавшие право экзаменовать соискателей на звание «барристера» (полноправного адвоката) и давать разрешение выдержавшим экзамен на выступления в судах Англии. Судебные Инны, эти мощные корпорации, владеющие большим имуществом, в ходе своего исторического развития последовательно служили господствующему классу — ранее земельным собственникам, а с течением времени — буржуа.

Роль юристов, прошедших подготовку в Иннах и подвизающихся в многочисленных судах, весьма велика в общественной жизни Англии. Это общеизвестно. Велика она была и во времена Диккенса, и именно «законники» приняли самое близкое участие в разработке и проведении в жизнь одного института, о котором читатель Диккенса узнает из многих его произведений. Речь идет о «работном доме» — о доме призрения бедных. Ни в одной стране Европы, кроме Англии, не созданы

были подобные учреждения, восхваляемые их «создателями», как «самые гуманные», но являющиеся лучшими памятниками лицемерия буржуа. По английским законам, предшествовавшим принятию в 1834 году парламентом билля о «Работных домах», житель Англии, лишившийся по каким-либо причинам (болезнь, старость, длительная безработица) всех средств существования, имел право получать от прихода материальную помощь («приходом» назывался городской район, являющийся самостоятельной административной единицей). Помощь эта была мизерная и не спасала от медленного умирания, но и эта помощь сочтена была английской буржуазией, стоявшей во главе городских самоуправлений и приходов, обременительной для себя, и против этой помощи еще с 20-х годов прошлого века она повела кампанию. Кампания усилилась, когда усилился промышленный и торговый кризис, о котором говорилось выше. Армия безработных, потерявших надежду получить работу, увеличивалась с каждым годом, и вся буржуазная печать, весь аппарат пропаганды буржуа внушал жителям Англии, что помощь прихода беднякам является бременем для налогоплательщика. Но отменить начисто хотя бы мизерную помощь обреченным на голодную смерть людям было нельзя; в эпоху массовой безработицы отмена могла быть чревата социальными потрясениями — это хорошо понимали господствующие классы. И выход нашли — были созданы «работные дома». Бедняку, стоявшему на грани голодной смерти, был предложен выбор между полной отменой какой бы то ни было помощи и помещением в работный дом.

Диккенс не преувеличивал жестокости режима, созданного в работных домах для решившихся войти в них несчастных людей, которые должны были согласиться даже на разлуку с семьей. Не менее точно он изобразил положение сирот, выросших в сиротских приютах при работных домах. В изображении Диккенса работный дом был тюрьмой в подлинном смысле слова, и о тюремных порядках в «домах» хорошо знали советы «попечителей», состоявшие из богатых буржуа, и специальные чиновники по надзору за бедными. Но это не мешало буржуазной прессе провозглашать работный дом благодеянием для неимущих. Диккенс проявил немалое гражданское мужество, развеяв в прах легенду об английских работных домах.

Самые талантливые художники-графики Англии иллюстрировали произведения Диккенса. Замечательного иллюстратора он нашел в лице Хэблота Найта Брауна, чей псевдоним «Физ» навсегда связан с именем Диккенса. Х. Н. Браун иллюстрировал «Пиквикский клуб» (начиная с третьего выпуска), целиком романы: «Николас Никльби», «Мартин Чезлвит», «Домби и Сын», «Дэвид Копперфилд», «Холодный дом», «Крошка Доррит», «Повесть о двух городах», а также частично романы «Лавка древностей» и «Барнеби Радж». Вместе с «Физом» читатель познакомится и с Джорджем Крукшенком, не менее острым рисовальщиком, увидит рисунки Джорджа Каттермола, Джона Лича, Клерксона Стэнфилда, Маркуса Стона, талантливых художников следующего поколения — Фреда Бернарда, Артура Рэкхама и др. Длинная панорама превосходных рисунков поможет читателю увидеть воочию некоторые стороны быта англичан, которому посвящен наш очерк.

В нашем очерке мы пытались очень сжато рассказать о той реальной действительности, которая окружала Диккенса в течение его творческой жизни.

Мы выделили совокупность таких «реалий», знакомство с которыми поможет читателю Собрания сочинений Диккенса воссоздать жизненный *фон* (включая панораму объектов материальной культуры), на котором Диккенс расположил сотни своих персонажей. Этот фон не связан с каким-нибудь конкретным произведением, но он существенен для понимания социального поведения *всех* его персонажей — то есть для знакомства с той самой действительностью, которая питала глубокие корни диккенсовского реализма.

ЕВГЕНИЙ ЛАНН

КОММЕНТАРИИ

ОЧЕРКИ БОЗА

Стр. 51. *Мистер Хоблер* — Фрэнсис Хоблер, современник Диккенса, известный в Лондоне юрист, поверенный при Полицейском суде в резиденции лорд-мэра (Меншен-Хаус), прославился своим остроумием.

Стр. 59. *Принцесса Шарлотта и принц Леопольд* — дочь английского короля Георга IV и ее муж, принц Саксен-Кобургский.

Стр. 60. *Доска для игры в «Папессу Иоанну»* — особо размеченная доска для популярной в Англии карточной игры.

Стр. 92. *Эксетер-Холл* — здание в Лондоне, на одной из главных улиц — на Стрэнде,— воздвигнутое в 1831 году и предназначенное главным образом для религиозных собраний; старушка, упомянув об Эксетер-Холле, тем самым предложила пригласить для выступления в приходе какого-нибудь проповедника.

Стр. 114. *...от Дана до Вирсавии* — библейское выражение означающее «из конца в конец страны»: в библейские времена Дан был на севере Палестины, Вирсавия — на юге; Диккенс имеет в виду путевые очерки Лоренса Стерна «Сентиментальное путешествие» (глава «На улице Кале»).

Стр. 124. *Веллингтоновские сапоги* — сапоги с вырезом сзади под коленом.

Стр. 125. *Том Кинг и Француз* — персонажи в фарсе В. Монкриффа «Мсье Томпсон». По ходу действия весельчак Том Кинг доводит до сумасшествия француза-цирюльника (проживающего в районе Сэвен-Дайелс) своими расспросами о некоем мистере Томпсоне.

Стр. 125. *Кэтнач и Питс* — известные издатели лубков и баллад с нотами.

Хэмптон-Корт — королевский дворец, построенный в начале XVI века; с середины XVIII века не является королевской резиденцией. *Бьюла-Спа* — курорт с минеральными источниками, открытыми в начале 30-х годов, находится недалеко от Лондона.

Стр. 126. *Бельцони* Джиовани Баттиста (1778—1823) — итальянский археолог, откопал в Египте храм Абу Симбель и др.

Стр. 129. *Блюхеровские башмаки* — высокие штиблеты на шнуровке, которые носили при коротких панталонах.

Стр. 130. *...пишет стихи для мистера Уоррена* — то есть стихотворные рекламы для фабричного заведения по производству ваксы Уоррена, в котором Диккенс работал мальчиком; в «Дэвиде Копперфилде» он описал это заведение, назвав его фабрикой «Мордстон и Гринби», и имя Уоррена упоминал в своих произведениях неоднократно.

Стр. 140. *Мистер Мартин.*— Диккенс имеет в виду Ричарда Мартина (1754—1834) — одного из основателей Общества Покровительства Животным.

Стр. 144. *Докторс-Коммонс* — коллегия юристов, имеющих право выступать в специальных судах канонического права (которые именовались так же); в компетенцию этих судов входили дела семейные, наследственные и дела, связанные с функцией Адмиралтейства, причем судопроизводство в них было особое и особая система адвокатуры. Эти суды, так же как и особая коллегия юристов, упразднены были только в 1857 году.

Стр. 145. *Проктор* — юрист, выдержавший экзамен на ведение дел в Докторс-Коммонс, но не имеющий права выступать в этом суде. Такое право имели только специальные адвокаты.

Суд Архиепископа входил в систему судов Докторс-Коммонс и ведал разбором вопросов, связанных с нарушением канонического права.

Стр. 158. *Дэндо.*— Речь идет о Джоне Дэндо, имя которого стало нарицательным: он подвизался в Лондоне в 30-х и 40-х годах прошлого века и прославился тем, что никогда не платил по счетам в ресторанах; он был постоянной мишенью карикатуристов, и ему была посвящена пьеса Стерлинга; умер он в Клеркенуэлской тюрьме.

Стр. 158. *Его преподобие мистер Дилворт* — автор руководства по английскому правописанию; на фронтисписе книги был портрет Дилворта.

Стр. 159. *«Ройял Джордж»* — английский стопушечный военный корабль, с которым в июне 1782 года произошла неожиданная катастрофа: во время стоянки на рейде Спитхед морские орудия переместились к одному борту и корабль пошел ко дну вместе с многочисленной командой, тремястами пассажирами и адмиралом; всего погибло свыше девятисот человек.

Стр. 161. *...закон о городском самоуправлении.*— Имеется в виду закон о реформе городского самоуправления, принятый парламентом в 1835 году и предусматривавший расширение компетенции муниципалитетов, к которым переходил ряд административных функций управления графств.

Стр. 164. *Цирк Астли* — конный цирк, основанный известным наездником Филиппом Астли; в этом цирке ставились мелодрамы, в которых, по ходу действия, на арену выводились дрессированные лошади.

Дюкроу Эндрю — главный наездник в цирке Астли, ставший в 20-х годах известным мимическим актером.

Стр. 173. *Старики пенсионеры* — престарелые моряки, проживавшие в огромном здании Гринвичского Приюта, открытого в 1694 году и вмещавшего до 3000 пенсионеров.

Стр. 174. *..мистера Хорнера, чья громкая слава связана с Колизеем.*— В первом случае Хорнер — герой популярной в Англии детской песенки, во втором — проектировщик огромного здания ротонды вблизи Риджент-парка в Лондоне, называемой «Колизей» и законченной в 1829 году. Здесь была выставлена для обозрения знаменитая панорама Лондона работы Хорнера; в 1855 году демонстрация панорамы была прекращена, и в 1875 году «Колизей» был срыт.

Стр. 175. *«Балаган Ричардсона».*— Популярный в 30—40-х годах бродячий «театр» Ричардсона был одним из самых общедоступных увеселений; места на «галерке» стоили шесть пенсов — цена невысокая, если учесть современные Диккенсу высокие цены на зрелища; у Ричардсона ставились мелодрамы с убийствами, актеры пели куплеты, шли пантомимы, любимые в ту эпоху,— и все это в один сеанс.

Стр. 182. *«Снять с него голову!»* — Диккенс описывает постановку переделки драмы Шекспира «Ричард Третий», принадлежащей перу Колли Сиббера (1671—1757). Ни этой реплики, ни следующей в шекспировском тексте нет.

Стр. 182. *Сэдлерс-Уэллс* — общедоступный лондонский увеселительный сад с театром; он был основан в 1683 году некиим Сэдлером на его участке, где были открыты минеральные источники (уэллс — источники), для развлечения всех пользующихся целебной водой. С конца XVIII века здание сдавалось в аренду третьеразрядным труппам драматических актеров.

Стр. 183. *Граф д'Орсэй* — француз, законодатель лондонских мод в начале XIX века.

Стр. 187. *Миссис Сиддонс* — знаменитая английская трагическая актриса Сара Сиддонс (1755—1831; сестра известного актера Кембла); прославилась исполнением ролей в шекспировских трагедиях; ушла со сцены в 1818 году.

Стр. 190. *Мистер Симпсон* — известный в 30-х годах директор сада Воксхолл.

Блекмор — американский канатоходец, с 1823 года в течение нескольких лет работавший в саду Воксхолл.

Стр. 191. *«Танкред»* — опера Россини, поставленная в Лондоне в 1820 году.

Стр. 192. *Мистер Грин* — известный аэронавт Чарльз Грин (1785—1860); регулярно совершал полеты на воздушном шаре в саду Воксхолл; в 1836 году он поставил мировой рекорд дальности полета — от Лондона до Нассау, в Германии.

Стр. 195. *...кара, постигшая Иксиона...*— Иксион — по греческой мифологии — предок кентавров; за оскорбление богини Геры Зевс покарал его, привязав к вечно вращающемуся колесу.

Стр. 199. *Дворики* — площадки ниже уровня тротуара перед входом в подвал, где помещаются кухня и службы.

Стр. 205. *Линкольнс-Инн-Филдс* — большая площадь перед зданиями Линкольнс-Инн, где находилась юридическая контора одного из патронов молодого Диккенса в бытность его младшим клерком. Так же, как и упоминаемая Диккенсом улица *Бедфорд-Роу*, находящаяся поблизости, площадь эта была облюбована юристами всех рангов.

Стр. 214. *...подобно Цинциннату...*— Цинциннат (род. ок. 519 г. до н. э.) — римский политический деятель; по преданию, скромно жил в деревне, сам обрабатывал землю. Дважды был избран диктатором, но, сложив с себя обязанности диктатора, возвращался в деревню.

Стр. 237. *Обелиск* — колонна, воздвигнутая в южном Лондоне в 1771 году в честь лорд-мэра Кросби.

Стр. 240. *Поль Прай* — герой одноименной комедии Джона Пула (1786—1872), бездельник, суюший нос в чужие дела. *Калеб Уильямс* — герой одноименного романа Уильяма Годвина (1756—1836), бедняк, борющийся против произвола аристократии.

Стр. 253. *«Воронье гнездо»* — лондонские трущобы в приходе Сент-Джайлс.

Стр. 259. *Первые часы Фергюсона* — часы с деревянными колесами, сделанные в XVIII веке шотландским астрономом Фергюсоном и вызывавшие восхищение современников.

Стр. 268. *«М-р Кеч».* — Английский палач Джон Кеч занимался своим ремеслом с 1663 по 1686 год; имя его стало в Англии нарицательным.

Стр. 269. *Миссис Фрай... миссис Рэдклиф.* — Миссис Элизабет Фрай (1780—1845) — член религиозной секты квакеров, принимавшая деятельное участие в борьбе за улучшение условий в английских тюрьмах. Анна Рэдклиф (1764—1823) — известная романистка, автор многочисленных романов «ужасов» («готического жанра») «Удольфские тайны» и др.

Стр. 273. *Бедлам* — больница для умалишенных; название «бедлам» стало нарицательным для обозначения сумасшедших домов вообще (искаженное Bethlehem Hospital — больница Марии из Вифлеема).

Стр. 274. *Бишоп и Уильямс* — известные убийцы, казненные в Лондоне в 1831 году. Трупы своих жертв они продавали в анатомические театры.

Джек Шеппард... Дик Терпин — известные разбойники в Англии XVIII века, казненные в Лондоне; сложено немало баллад об их похождениях, а Дик Терпин даже стал героем романа Уильяма Эйнсуорта (1805—1882) «Руквуд».

Стр. 291. *Гессенские сапоги* — сапоги, натягивающиеся на узкие штаны и украшенные наверху кисточкой.

Стр. 292. *Новая полиция* — так называлась лондонская полиция первое время после ее реорганизации в 1829 году.

Стр. 293. *Рибстоновское яблоко* — сорт сладких яблок.

...завсегдатаями клубов Брукса и Снукса или игорных домов Крокфорда и Бегнидж-Уэллс. — Диккенс сопоставляет фешенебельный клуб Брукса на Сент-Джон-стрит с дешевым общедоступным клубом Снукса и дорогой игорный дом Крокфорда с дешевым увеселительным заведением Бегнидж-Уэллс, где шла карточная игра.

Стр. 293. *Квадрант* — отрезок Риджент-стрит в том месте, где эта улица делает поворот.

Стр. 298. *Бэртонский эль* — известный в Англии эль, производимый в г. Бэртон.

Стр. 300. *Французские лампы* — лампы с растительным маслом, усовершенствованные во Франции, где Леже первый ввел в 1783 году плоский фитиль.

Сомерсет-Хаус — огромное здание, занятое многочисленными правительственными учреждениями; в Сомерсет-Хаусе служили отец и дядя Диккенса.

Стр. 314. *...тех двадцати миллионов, которые заплатили за их нее освобождение.*— В 30-х годах XIX века прошли законы об освобождении рабов во всех колониях Англии. Бывшим рабовладельцам была выплачена компенсация в сумме 20 млн. фунтов стерлингов.

Стр. 322. *...у Офлея...*— Таверна Офлея находилась в районе театра Ковент-Гарден.

Стр. 330. *Киддерминстерский ковер* — дешевый сорт английских ковров, производимый с давних времен в г. Киддерминстере.

Стр. 339. *...в Тарнстайле* — то есть в районе, облюбованном портными для жительства и работы.

Стр. 343. *Статуя на Чаринг-Кросс* — конная статуя Карла I Стюарта, поставленная в центре Лондона в 1674 году.

Стр. 348. *Дамон и Финтий.*— Диккенс шутливо ссылается на классический пример верной дружбы: Финтий, приговоренный к смертной казни за борьбу против сиракузского тирана Дионисия I (ок. 406—367 гг. до н. э.), добился трехдневной отсрочки при условии, что заложником вместо него останется Дамон. Тот выполнил просьбу друга, а Финтий явился точно в положенное время.

Стр. 357. *Колд-Бат-Филдс* — одна из лондонских тюрем с очень строгим режимом.

Стр. 369. *...письма лорда Честерфилда...*— известный литературный памятник («Письма лорда Честерфилда своему сыну»), является сводом житейских и моральных правил английской аристократии XVIII века.

Стр. 384. *«Легкая гитара»* — популярная песенка, музыка Бернетта.

Стр. 385. *Орсон* — герой старинного французского романа о Валентине и его брате Орсоне, жителе лесов, вскормленном медведицей.

«Di piacer» (итал.) — известная ария из оперы Россини «Сорока-воровка».

Стр. 386. *...подобно Навуходоносору, принялся за кресс-салат.* — По библейскому преданию, вавилонский царь Навуходоносор (604—561 гг. до н. э.) за грехи «отлучен был от людей, ел траву, как вол...»

Стр. 387. *Линдли Меррей* (1745—1826) — автор многочисленных учебников английской грамматики, американец по происхождению, поселившийся в Англии.

Стр. 392. *Капитан Росс* — известный арктический мореплаватель, вернувшийся в Англию в 1833 году после четырехлетних поисков северо-западного прохода (вокруг Канады); вслед за этим в некоторых театрах были поставлены на сцене пьесы, где он был главным героем.

Стр. 399. *Мистер Робинс* — Джордж Робинс, известный аукционист. Аукционный зал Робинса находился на площади Ковент-Гарден и привлекал много состоятельных покупателей.

Стр. 421. *Мошелес* Игнац (1794—1870) — пианист и композитор. Уроженец Праги.

Стр. 428. *...из Темпла* — то есть из района юридических контор. Название «Темпл» стало нарицательным для обозначения профессии лиц, которые там проживают.

Стр. 446. *Пограничная охрана* — корпус по борьбе с контрабандой, организованный в 1815 году.

Стр. 454. *Джордж Барнуэл* — герой известной драмы Джорджа Лилло («Лондонский купец, или История Джорджа Барнуэла», 1731). Подмастерье Джордж Барнуэл под влиянием своей возлюбленной совершает преступление — обкрадывает хозяина и с целью грабежа убивает дядю.

Олбени — фешенебельные меблированные комнаты на Пикадилли (одна из центральных улиц Лондона); проживание в этих комнатах являлось своего рода доказательством принадлежности к «светскому» обществу.

Монтгомери Джек — популярный в начале XIX века поэт, автор поэмы «Вселенная до потопа» и др.

Стр. 488. *Темпл-Бар* — каменные ворота с надстройкой, воздвигнутые в 1672 году в том месте, где кончается Стрэнд и начинается Флит-стрит, то есть на границе между Вестминстером и Сити — центральной торговой частью Лондона, еще сохранявший во времена Диккенса некоторую административную автономию. Ворота были увенчаны железными пиками, на кото-

рых в прошлом выставляли головы казненных. Снесены в 1878 году.

Стр. 491. *Павел... Виргиния* — персонажи одноименного романа французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814).

Стр. 524. *...в книге у кузнеца...* — По английским законам времен Диккенса гражданская регистрация брака была обязательна, но ей должно было предшествовать двухкратное оглашение в приходской церкви имен жениха и невесты; если по каким-либо обстоятельствам последние хотели избежать этого, то надлежало купить лицензию (разрешение на брак) в канцелярии генерального викария англиканской церкви в Лондоне или в канцелярии епископа на местах; но бывало и так, что вступающие в брак по каким-либо причинам не желали обращаться в эти канцелярии; тогда они прибегали к так называемому «шотландскому» браку, то есть пересекали границу Шотландии и в ближайшем селе «регистрировали» свой брак без всякого оглашения, без лицензии и без свидетелей. Для таких браков была облюбована деревня Гретна-Грин неподалеку от границы в шотландском графстве Дамфрис; в этой деревне книга записи бракосочетаний хранилась у местного кузнеца.

Стр. 526. *«Мазаньелло»* — опера Карафы по драме Моро. Мазаньелло — вождь восставших в 1647 году неаполитанских рыбаков, убитый подосланными герцогом агентами. На эту же тему французским композитором Обером написана была опера «Немая из Портичи».

Стр. 527. *Фенелла* — героиня вышеупомянутых опер Карафы и Обера.

Стр. 532. *«Люди Прометея»* — единственный балет Бетховена, поставлен в 1801 году, позднее переименован в «Прометей».

Стр. 538. *Сэр Чарльз Грандисон* — «идеальный» герой сентиментально-нравоучительного романа Сэмюела Ричардсона (1689—1761) «История сэра Чарльза Грандисона». Это о нем писал Пушкин: «Бесподобный Грандисон, который нам наводит сон».

Стр. 545. *Стрифон* — персонаж из поэмы Сиднея «Аркадия» (1581), возлюбленный Хлои; имя, ставшее нарицательным.

Стр. 561. *...на тот берег Темзы...* — то есть в долговую тюрьму; заведение Соломона Джейкобса — дом бейлифа, где за высокую плату арестованным предоставлялись комнаты. Если

долг не погашался в течение нескольких дней, арестованного переводили в тюрьму.

Стр. 580. *Он чтил память Хойла.*— Эдмунд Хойл (1672—1769) — англичанин, автор трактата о висте и сочинений об азартных играх.

Стр. 602. *Уайтфрайерс* — бывший монастырь «белых монахов» — район Лондона, пользовавшийся во времена Диккенса дурной славой; в его лачугах и мансардах скрывалось немало преступников.

МАДФОГСКИЕ ЗАПИСКИ

Три последних рассказа: «Пантомима жизни», «Некоторые подробности касательно одного льва» и «Мистер Роберт Боултон, джентльмен, связанный с прессой», не входят в цикл «Мадфогских записок», а принадлежат к так называемым «разрозненным главам Боза».

Стр. 615. *Город Мадфог.*— Под названием «Мадфог» Диккенс описал город Четем, где он провел свое детство.

Стр. 617. *Виттингтон* — герой популярной английской народной легенды, неоднократно упоминаемый Диккенсом. Легенда рассказывает о том, как бедный ученик лондонского торговца мануфактурой Дик (уменьшительное от имени Ричард) Виттингтон не вынес жестокого обращения хозяина и пытался от него бежать; но не выполнил своего намерения, ибо в звоне колоколов церкви Сент-Мэри-Ле-Боу явственно услышал голос, вещавший: «Вернись, Виттингтон, трижды лорд-мэр Лондона». Послушный этому зову, Дик вернулся назад и благодаря счастливой случайности фантастически разбогател (он продал кота какому-то восточному царьку, в стране которого водилось множество мышей), женился на дочери своего хозяина, стал почтенным купцом, и сограждане трижды избирали его лорд-мэром. Исторической основой этой легенды является биография Ричарда Виттингтона, трижды избиравшегося лорд-мэром (в 1397, 1406 и 1419 гг.).

Стр. 622. *Аппарат капитана Мэнби* — спасательный аппарат Джорджа Мэнби, английского изобретателя (1765—1854), получивший признание в 1808 году, когда благодаря этому изобретению была спасена команда брига «Элизабет», потерпевшего крушение.

Стр. 635. *Съезд Мадфогской Ассоциации.*— Оба отчета о съездах Мадфогской Ассоциации — сатира на ежегодную конференцию Британской Ассоциации прогресса в науках; эта Ассоциация была основана в 1831 году известным шотландским физиком сэром Дэвидом Брустером, изобретателем калейдоскопа, автором «Оптики», «Новой системы освещения для маяков», биографом Ньютона.

Стр. 654. *Мунго Парк* (1771—1806) — известный шотландский путешественник, проникший в Центральную Африку, первый из европейцев, достигший берегов Нигера; описание своих путешествий он издал в 1799 году, оно имело большой успех. В 1805 году он отправился во второе путешествие в глубь Африки, из которого не возвратился.

Стр. 689. *Гримальди* — знаменитый английский клоун (1779—1837), прославившийся в пантомимах, шедших на сцене театра Сэдлерс-Уэллс в Лондоне. Диккенс был большим его поклонником, редактировал «Мемуары Джозефа Гримальди», которые вышли в 1838 году и предпослал им предисловие.

Гай Фокс — один из участников католического заговора 1605 года в Лондоне; организаторы этого заговора Роберт Кетсби и другие дворяне-католики назначили выступление своих сторонников на ноябрь: сигналом к восстанию должен был послужить взрыв парламента во время открытия его, на котором должен был присутствовать король Иаков I; Гай Фокс — один из главных заговорщиков — должен был взорвать бочки с порохом в подвале палаты лордов, но 5 ноября, за день до открытия парламента, бочки с порохом были обнаружены и планы заговорщиков расстроены. На плахе погибли вожаки католического заговора и среди них Гай Фокс.

Стр. 695. Шекспир, «Как вам угодно», акт II, сц. 7.

Стр. 700. *Босуэл* Джеймс (1740—1795) — друг и биограф Сэмюела Джонсона (1709—1784), писателя, журналиста и лексикографа. Джонсон отличался вспыльчивым и неуживчивым нравом. Диккенс в шутку приравнивает его к дикому зверю, а Босуэла — к вожаку.

Стр. 703. *Поп* Александр (1688—1744) — английский поэт.

ЕВГЕНИЙ ЛАНН

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИИ «ОЧЕРКОВ БОЗА»

1833,	дек.	Обед на Поплар-Уок (В «Очерках Боза» переиздано под заглавием «Мистер Минс и его двоюродный брат».)	«Monthly Magazine»
1834,	янв.	Миссис Джозеф Портер «из дома напротив»	
	февр.	Горацио Спаркинс	
	апр.	Крестины в Блумсбери	
	май	Пансион, 1	
		Пансион, 2 (Впервые подписано «Боз».)	
	сент.	Происшествия в Брэмсби-Холле (Подписано W. P. В «Очерки Боза» не вошло.)	
	окт.	Прогулка на пароходе	
1835,	янв.	Эпизод из жизни мистера Уоткинса Тотла, гл. 1	»
	янв. 31	Стоянки наемных карет	«Evening Chronicle»
	февр.	Эпизод из жизни мистера Уоткинса Тотла, гл. 2	«Monthly Magazine»

1835,	февр. 7	Питейные дома	«Evening Chronicle»
	февр. 19	Утренний дилижанс	
	февр. 28	Наш приход	
	март 7	Дом (В «Очерках Боза» — «Наш ближайший сосед».)	
	март 17	Лондонские развлечения	
	апр. 7	Банкеты	
	апр. 11	Кухня Беллами (В «Очерках Боза» — «Парламентский очерк».)	
	апр. 16	Гринвичская ярмарка	
	апр. 23	Мысли о людях	»
	май 9	Цирк Астли	
	май 19	Наш приход	
	июнь 6	Темза	
	июнь 16	Наш приход	
	июнь 30	Лавка ростовщика	»
	июль 14	Наш приход	
	июль 21	Улицы. Утро	
	июль 28	Наш приход — рассказ мистера Банга	»
	авг. 11	Любительские театры	»
	авг. 20	Наш приход	»
	сент. 27	Сэвен-Дайелс	«Bell's Life in London»
	окт. 4	Мисс Эванс и Орел	
	окт. 11	Школа танцев	
	окт. 18	Веселая почка	
	окт. 25	Любовь и устрицы (В «Очерках Боза» — «Неудачная любовь мистера Джона Даунса».)	»
	нояб. 1	Несколько слов об одном кондукторе омнибуса (В «Очерках Боза» — «Последний кэбмен и первый кондуктор».)	»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лондонские типы

Рассказы

МАДФОГСКИЕ ЗАПИСКИ

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС
Собр. соч., т. 1

Редактор А. Миронова
Художник Е. Семпер
Художеств. редактор Л. Калитовская
Технический редактор Г. Каунина
Корректоры В. Седова и Е. Козлова.

Сдано в набор 15/VI 1957 г. Подписано к печати 9/IX 1957 г. Бумага 84 × 108 1/32 — 23,62 печ. л. = 38,74 усл. печ. л. 37,54 + + 1 вкл. = 37,59 уч.-изд. л. Цена 11 руб. Тираж 600 000 экз. (200 001 — 600 000)

Гослитиздат
Москва, Б-66, Н.-Басманная, 19.

Отпечатано на бумаге Сухонского целлюлозно-бумажного комбината.

Набрано в типографии „Красный пролетарий"

Отпечатано в Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Московского городского Совнархоза. Москва, Ж-54, Валовая, 28. Заказ № 1068.